ВЕРА КЕТЛИНСКАЯ

ИНАЧЕ ЖИТЬ НЕ СТОИТ

ВЕРА КЕТЛИНСКАЯ

ИНАЧЕ ЖИТЬ НЕ СТОИТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
МОСКВА—1963

Р2
К37

Читатели хорошо знают романы Веры Кетлинской «Мужество», «В осаде», «Дни нашей жизни».

Новый роман В. Кетлинской «Иначе жить не стоит» является первой книгой дилогии. Автор задумал показать судьбы советских людей в их развитии на протяжении одного из сложнейших двадцатилетий советской истории, примерно с 1936 по 1956 год.

Первая книга романа начинается несколько необычно — как бы с конца, с дней войны, когда герои романа проходили через решающие испытания. Потом автор ведет читателя назад, в события, начавшиеся за несколько лет до Отечественной войны, и раскрывает условия, в которых росли и формировались ее герои.

Трудные, напряженные годы! В. Кетлинская показывает их во всей сложности. Творческий труд, смелые поиски новых путей в науке и технике, вдохновляемые духом созидания и преобразования страны в эпоху первых пятилеток социалистического строительства. И, одновременно — нарастающая военная опасность, разрастающийся культ личности Сталина и связанные с ним произвол и беззаконие.

Ничего не скрывая и не приукрашивая, автор показывает, как по-разному вели себя люди в той обстановке, видит и все тяжелое, болезненно отражающееся на судьбах людей, но видит и все то главное, решающее, что двигало вперед развитие советского общества, создавало мощь Советской державы и помогло ей морально и материально выдержать единоборство с фашистскими полчищами.

Роман Веры Кетлинской отвечает на многие вопросы, волнующие советских людей и сегодня поднимает проблемы личного и общественного, счастья и долга, воспитания характеров в борьбе за свои убеждения, проблемы дружбы и любви, товарищества и соперничества...

Сейчас Вера Кетлинская работает над второй книгой дилогии.

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СПУСТЯ

Он бежал, обгоняя товарищей, перескакивая через наметы закопченного снега и стараясь не оступаться в воронки. Он помнил, что нужно во что бы то ни стало добежать до градирни, откуда бьет пулемет, и в то же время помнил, что это недоброе поле — то самое, по которому они с Витей шли из Тулы в последний мирный вечер, но тогда оно было ярко-зеленое, в лиловых цветах клевера и белых ромашках, Витя срывала метельчатые травы и шлепнула его по руке, когда он захотел поцеловать ее тут же, среди поля, пусть завидует, кто увидит! А Палька Светов и увидел. Посмеялся и сказал, что они целуются прямо над огневым забоем. Витя удивилась: как странно, что где-то в глубине под этим деревенским полем бушует пламя, а Светов хохотнул: бушует! Если бы оно бушевало, мы бы получали один дым, это означало бы, что мы не умеем управлять процессом! Он водил их по станции, и дал заглянуть сквозь щель внутрь градирни на переливающуюся прохладную воду, и хвастался, и заставлял их всем восторгаться, а потом посерьезнел и сказал: «Работы еще — уйма! Уйма»! А теперь Светов где-то воюет, и неизвестно, жив ли, станция — в развалинах, и надо добежать сквозь огонь и дым до той самой градирни и точно метнуть гранату в узкую щель.

Он вдруг будто наткнулся грудью на раскаленное острие и успел жгуче удивиться, что это он — убит.

Он так и подумал: убит.

Хотя все его тело было устремлено вперед, он упал не вперед, а назад, в обжигающий холод снега, но снег, и боль, и посвист пуль сразу исчезли, он увидел свою лабораторию — свой рабочий стол, лист с кривыми распространенности элементов и среди них непонятно крутую пику аргона... Он снова пережил ошеломляющую радость той счастливой догадки: распад калия-40 — аргон... Распад калия-40 — аргон!.. Аргонный метод!..

Но я не записал.

Никто не знает. И уже не узнает?!.

Мысль была так страшна, что он заставил себя открыть глаза и стынущим взглядом увидел пасмурное неподвижное небо и мелькающие на нем фигуры бегущих солдат.

Он уже не слышал и не чувствовал, как пожилой солдат упал рядом с ним в снег, испуганно пробормотал: «Ты что, академик?» — и, дотронувшись заскорузлыми пальцами до чистого юношеского лба, горестно прошептал: «Вот ведь как, Илюша...»

Мяч подпрыгнул, ударился о ствол лиственницы и покатился к воде. Галя съехала по обрыву, чтобы перехватить его, но мяч катнлся быстрей и вот уже закачался на воде, как будто стоя, весь на виду и — недоступный. Течение приткнуло его к сплотке бревен, покрутило и медленно потащило на стремнину.

Галя сбросила тапки и вступила на покачивающиеся бревна. Пока она добралась по ним до края ближайшего плота, мяч отнесло к следующему. Оглянувшись, не видят ли ее из окон госпиталя, Галя побежала по плотам наперерез. Теперь она опередила мяч, нужно было лежа подстеречь его и схватить двумя руками...

Она схватила его двумя руками и от радости не сразу поняла, что произошло. Плот весело раскачивался вместе с нею, разворачиваясь по течению, и вода весело журчала. Галя вскочила и тотчас присела, потому что край плота юркнул под воду и вынырнул мокрым, скользким, и журчащего течения уже не слышно было: течение и бревна шли вместе по извилинам реки — к повороту. Излучина была крутая,

с песчаной отмелью, издали казалось, что плот упрется в песок, и Галя, прижав к себе мяч, приготовилась спрыгнуть на отмель. Но плот не ткнулся в песок, он крутанулся вместе с течением и остался на стремнине.

И тут Галя услыхала глухой рокот воды на порогах.

«Думал — проскочит, а лодку ка-ак брякнет о камень...» — рассказывала повариха. Три человека утонули тогда. Еще до войны. Кузька говорил: если есть характер, всегда найдешь выход. Лейтенант, что без ноги, смеялся: «Ты, Галочка, как мальчишка, не перепутали твои родители?» Что бы тут сделал мальчишка? Кузька — что сделал бы?

Отмель осталась позади. Русло сжималось в скалах. Вода завинчивалась воронками, стала темной и сердитой.

Закусив губу, Галя легла на середину плота, подбородком ожесточенно прижала мяч, распластала руки и вцепилась пальцами в осклизлые выпуклости бревен. Если вцепиться крепко, не слететь — пронесет.

Теперь вода не журчала, а ревела. Толчок! Еще толчок. Как ревет вода! Во всем теле отдаются толчки. Закрыть глаза, так легче. Треск. Вода окатила всю. Не выпустить мяч! Треск. Прыжок. Плот становится дыбом. Удержаться! Удержаться! Еще прыжок, треск. Ма-ма! Все вертится...

Что это?

Плот тихо покачивается. Рев воды остался позади. И страшные пороги отсюда кажутся нестрашными: торчат из воды несколько камней, а вода разбивается о них, разбрасывая искрящиеся брызги.

Мяч цел.

Еще поворот — и запруда.

Тапки остались там, под обрывом.

Только бы не опоздать к ужину! Только бы не опоздать, а то мама найдет тапки и с ума сойдет. Только бы не опоздать и чтобы мама не узнала...

Она садится на плоту и зажимает мяч в коленях. Почему-то мелко трясутся колени. И руки. И даже зубы лязгают.

Вот бы рассказать Кузьке! И Матвей Денисовичу. Он, наверно, не раз бывал в таких переделках. Это и есть «переделка». Вот оно что такое. И Никите рас-

сказала бы, если б Никита был здесь. А так никому нельзя. Разве что лейтенанту без ноги — тот не проболтается.

Он проходил по длинным школьным коридорам, уставленным койками. И в открытые двери классов были видны койки — одна к одной, много коек. И на всех лежат или сидят раненые. Стены белые, койки белые, марля бинтов белая. И где-то тут — Татьяна в белом халате, как у санитарки, что поспешает за ним и приговаривает:

— То-то обрадуется наша золотая, вот радость-то голубушке, вот дождалась-то.

Это про Татьяну.

Пока он мчался сюда, он знал, что едет за своими Рыжиками, большим и маленьким, что они временно пристроились в госпитале, что они его ждут. Сейчас он впервые увидел место, где Татьяна не только как-то существовала — где она работала. Вон сестра в белой косынке склонилась над койкой, видна обнимающая ее за шею мужская рука,— этой сестрой могла бы быть Татьяна. По коридору идет, отирая со лба пот, женщина в забрызганном кровью халате,— и это могла бы быть Татьяна?!

Санитарка остановилась на пороге спортивного зала,— в нем еще сохранилась шведская стенка, на перекладинах висели в ряд полотенца. Тут коек было особенно много.

— Татьяна Николаевна! — громким шепотом позвала санитарка.

Татьяна сидела на одной из коек и на колене скатывала бинт. Она подняла глаза — и вдруг вскочила и прежним легким шагом побежала через весь зал к двери. От виска отлетала рыже-золотистая прядь. И все ярче — словно разгораясь — бил ему навстречу слепящий свет.

— Олешек!

Они взялись за руки, стесняясь поцеловаться. На них глядели десятки глаз, глядели сочувственно, ревниво, печально или раздраженно, кто как, но все — не отрываясь.

— У меня всего три дня! — счастливой скорого-

воркой сообщал он.— Нас перебазировали в Красноярск, пока перевозят и утрясают, помчался забрать тебя и Галинку. Я уже забронировал билеты, так что...

И тут она сказала:

— Нет!..

Вскинула руку, ладонью вперед, как бы отталкиваясь, и быстро выдохнула:

— Нет!..

— Нет? — шутливо повторил он и поймал ее руку и погладил розовую шершавую ладошку.— Разлюбила?

— Нет,— уже по-иному, смущенно сказала она и оглянулась, как бы ища поддержки и объяснения у всех этих глаз — сочувственных, ревнивых, печальных, злых, всепонимающих и просто любопытных.

Связь не работала, а ждать темноты было невозможно. Хотелось вырваться из этого чертова пекла. И нужно было поскорее доложить начальнику штаба о появлении новой немецкой дивизии. Еще думалось о том, что радистка Лиза ждет не дождется его, будет приятно прийти к ней и первым делом выпить чаю, много горячего крепкого чаю.

— Прорвемся, если полным ходом,— сказал Игорь и любовно оглядел машину: он недавно вместе с водителем поставил новый мотор вместо разбитого, залатал ее и отладил.

— На том участке днем не ездят,— мрачно сказал водитель, но вспомнил, как этот отчаянный капитан трое суток возился с машиной, не по приказу, а по доброй воле, вздохнул и добавил: — Разве что на фукса.

Пока машина шла лесочком, Игорь прислушивался к рокоту мотора и думал, что мотор свободно выжмет и восемьдесят, и сто на том проклятом участке. От неожиданности немцы могут не сразу отреагировать. Дорога пристреляна, но если промчаться на большой скорости...

За последними деревьями — это были раскидистые дубы, окруженные молодой порослью,— открывался голый взгорок, за которым опять начинался дубняк.

Засвистел ветер.

С той горушки отчетливо виден этот взгорок и дорога. И машниа.

Мотор завывает, он выжимает больше, чем возможио.

Разрывов ие слышио, только вндны взметы жирной землн — справа, слева, чуть впереди, опять справа. Еще раз взметнулась земля, ударив мокрыми комьями по крыше машниы.

— Проскочили! — облизывая губы, сказал водитель, когда по стороиам встали дубы.

Холодиая огненная вспышка возникла совсем близко, справа, и иесколько дубков, роияя землю с корней, взлетелн кверху, а потом иачали оседать к обочине. Игорю показалось, что дверца машнны распахнулась н тотчас захлопиулась, ударнв его выше локтя.

— Проскочили,— подтверднл он, когда, почти не сбавляя скорость, машниа свериула с дороги на проселок, к штабу.

— Я уж думал, покойник! — весело сказал водитель.— Закурим?

Игорю хотелось потереть ушибленную руку, он попробовал это сделать, но невыносимая боль пронзила его тело до кончнков пальцев на ногах. Он еще подумал: закурить! — но к горлу подступила тошнота, и ои начал валиться влево, на водителя.

Матвей Денисович взбирался по тропе иеутомимым шагом старого изыскателя. За его спнной прерывнсто дышал Юрасов, по шуршанию осыпи было понятно, как иеточен его шаг.

— Последияя сопка! — ободряюще крнкнул Матвей Денисович.

Она казалась невысокой, эта последняя сопка, но карабкались еще минут сорок. Юрасов все чаще спотыкался.

И вот — перевал.

Какой простор вокруг! Куда нн поглядншь, курчавится и сияет зеленым многоцветьем тайга. Вннзу — широкая падь с поблескивающей речкой, тут речка выглядит мнрной, но километрах в трех отсюда она водопадом кидается со скалистого обрыва; нздали,

среди темных скал и хвои, водопад кажется струей чистого серебра, а прислушаешься — струя ревет грозно и беспокойно. Она — могучая сила, и в самый короткий срок ее нужно превратить в рабочую энергию для двух заводов, что уже поднимаются вон за теми сопками...

Юрасов белоснежным платком вытер лоб и шею, распахнул кожаную куртку — из-под куртки выглянула накрахмаленная рубашка, щегольской узел галстука. Рубашка, галстук и бархатистая серая шляпа при кожанке и охотничьих сапогах — это нелепое сочетание у Юрасова не казалось смешным.

— Мы облазили сто километров вокруг, — сказал Матвей Денисович,— лучшего створа не найти. И всего двадцать три километра по прямой...

Ему хотелось услышать похвалу знаменитого гидротехника, но Юрасов заговорил о другом:

— Завтра же потянем сюда временную линию передачи. Обрубим ветви с сосен — вот и столбы. Станцию будем строить ряжевой конструкции, все, что можно, — из местных материалов. Бетон — только на фундамент. Сегодня главная задача — дорога! Оборудование на себе не потащишь.

— Дорога строится с двух сторон. Все силы — там. Мои изыскатели тоже добровольно пошли, вместо отдыха.

И, опять не похвалив, Юрасов сказал:

— Вас мы скоро перекинем на Иртыш, большое дело там начинается.

Он первым пошел вниз по петляющей тропе. Услыхав голоса, заторопился — и вдруг замер над кручей.

С кручи был виден карьер, откуда брали гравий, и участок строящейся дороги, перерезанный речкой. Множество женщин и девчат, в низко повязанных платочках, в мужских сапогах, нагружали тачки и бегом, бегом, бегом гнали их по доскам на трассу, вываливали гравий и тоже бегом гнали пустые тачки к карьеру. Вот две тачки сцепились бортами, одна опрокинулась... Девчата переругиваются неистовыми голосами. Сзади напирают другие, тоже кричат во весь голос... У речки начали ладить мост. И там почти все — женщины и девчата. Вот группа подтягивает на волокуше толстое бревно. Маленький старичок прораб,

прошедший с Юрасовым все стройки, пытается помогать и ритмично выкрикивает:

— Е-ще рррaз! Е-ще рррaз!

Юрасов проводит рукой по лицу. Глаза его влажны.

— Боже мой!.. Помните, на Волховстрое? Тачки... артели... салазки... Сотни людей в котловане и три деррика, да и то деревянные... Уже на Днепре все было по-другому.

Они стоят рядом, сразу постаревшие: резче морщины, тусклее глаза. Большое двадцатипятилетие труда — это их молодость и зрелость. Годы поисков и усилий воплощались в гидростанции, заводы, города. Казалось — на века...

— Только подумать, что ее взорвали...

Юрасов не докончил, но Матвей Денисович и так понял. Сколько раз он пытался, сквозь боль и гнев, представить себе светлую красавицу — днепровскую плотину — в развалинах, и не мог.

— Где-то в тех местах воюет мой Игорь...

Это он пытался представить себе много раз на дню — дымные поля сражений и воюющего сына. И тоже не мог — нынешние бои так мало похожи на бои его юности. Теперь воюют моторы, моторы, моторы. А значит, и заводы, что поднимаются за теми сопками. И вот эта кустарная гидростанция, воздвигаемая женскими руками.

Волокуши застряли на взгорке. Девчатам никак не сдвинуть их. Впрягаются, тянут, толкают сзади...

— А ну, взя-ли! А ну, друж-ней!

Матвей Денисович тяжело скатывается вниз и пристраивается в упряжку, подставив плечо под веревку.

Юрасов крутит шеей, будто тесен стал воротничок, потом легкой походкой, как всегда прямой, подтянутый, спускается вниз и тоже подставляет плечо и тянет, тянет изо всех сил...

— Взя-ли! Взя-ли! По-шла-а!

Когда он входил в кабинет, гордо развернув плечи под замызганным ватником, всегда казалось, что он тут главный, и начальник становился суетлив. Но сегодня он забыл расправить плечи.

— Гражданин начальник, я еще раз прошу и требую...

— Садитесь, Егор Васильевич, и отбросьте формальности, когда мы одни.

— Александр Антонович! Что меня держит здесь — ошибка или преступление,— этого я касаться не буду. Но меня не имеют права... я не могу сидеть тут в безопасности, когда немцы в Донбассе и на Волге. Я имею право защищать... умереть за мое! Мое!

— Вы знаете, все, что я лично мог... Я поставил вас во главе мастерских. Вы даете оборонную продукцию.

— Ее выпустят и без меня! А если бы я... если бы меня перебросили в Донецк... как бежавшего из лагеря, понимаете? А *свои* меня знают, они никогда не поверят, что Чубак... Я же могу столько сделать!

Начальник вздохнул и развел руками.

Чубаков поглядел на него и уже безнадежно повторил:

— Когда немцы в Донбассе и на Волге... Я мог бы столько сделать!..

Привез посылку тот же сержант, что и в прошлый раз. Сержант, который нарочно подчеркивал:

— Подполковник интендантской службы послал...

— Подполковник интендантской службы приказал...

Никто, кроме него, не называл так Костю. Говорили просто — подполковник. А этот исполнительно играет глазами и думает про себя... что он думает?

Она еще не успела распаковать посылку, когда в кабинете зазвонил телефон. Теперь, когда всё и все сдвинулись с мест, а частые телефоны мало где работали, это случалось редко.

Многоголосый шум хлынул ей в ухо; телефонистка грозно предупредила: «Вызывает Куйбышев, не отходите!»; потом очень долго не соединяла с Куйбышевом, а кто-то далекий кричал: «Отгружаю три вагона! Три вагона!» Настойчивый женский голос требовал: «Небольшую статью, строк полтораста, но покрепче!», а другой женский голос молил: «Приезжай хоть на один день, ты же можешь, на один день...» И вдруг

без предупреждения раздался совсем близкий голос отца:

— Людмила? Сегодня мне сообщили, что под Обоянью убит Анатолий Викторович. Ты слышишь? При нем нашли твою фотографию. Я подумал, что все-таки следует известить тебя.

После паузы голос добавил:

— И еще убит Арон. Под Ленинградом. Ты, очевидно, здорова? Ну, вот и все.

И сразу — щелчок разъединения.

Люда на цыпочках вышла из кабинета и села на диван, оттолкнув раскиданные по нему свертки. Хотелось зареветь — и не получалось. Стукнула себя кулаком по колену и сказала:

— Дрянь!

Прислушалась к себе: ужасно ли это? Удивилась, что нет, не очень. И снова побелевшими губами шепотом сказала:

— Дрянь!

Грязный до черноты мальчишка толкал перед собою тачку с углем. Обычный мальчишка, раскопавший на терриконе куски угля и спекшуюся угольную пыль.

— Мальчик, продай угля! На кукурузу сменяю!

Катерина выглядывала через забор, окружавший землянку. Землянка давно скосилась набок и совсем вросла в землю; забор, сбитый из разномастных трухлявых досок, грозил обрушиться. Забор не укрывал Катерину, видна была ее старая рваная кофта и шахтерские штаны. Нечесаная, на щеках сажа.

— Чего смотришь? — улыбнулась она прежней быстрой улыбкой. — Так теперь верней. Заходи во двор.

Мальчишка протолкнул тачку в узкую калитку. Развернуть ее тут негде, придется вытягивать назад... Катерина быстро набрала угля в ведро и пошла в комнату. На кровати спала девочка — розовые щеки на чистой, странно чистой наволочке. Катерина засунула руку под подушку, что-то быстро вложила в ведро, еле слышно сказала:

— Половину отдай Сверчку. Разбросать сегодня ночью. Наши близко... А домой не ходи.

— Почему?

Он второй день мечтал заскочить домой, умыться, поесть хоть чего-нибудь горячего, домашнего.

— Я тебе должна сказать, Кузя.— Она отвернулась от него и твердо выговорила: — Вчера твоего папу... В шахте... Расстреляли и сбросили в ствол...

Несколько минут оба молчали, потом он еле слышно спросил:

— Мама где?

— С мамой — люди,— строго сказала Катерина и положила руку на его сжавшиеся плечи.— А тебе нельзя. И ты иди, нехорошо тебе тут задерживаться.

Пакет из ведра уже скользнул под угли. Она помогла вытолкать обратно тачку. Держась за колючие доски, проводила взглядом худенького оборвыша — локти торчат, лопатки торчат, плечи узкие, зябко сведенные. А наклон головы — Вовин, упрямый. И улыбка — Вовина. Только когда-то он теперь улыбнется!

Город еще дымился.

На проспект Красных шахтеров не пускали: там работали саперы. Машины шли в объезд, по Косому переулку. Переулок всползал иа горку,— оттуда, с горки, они впервые увидели разбитый скелет Коксохима, по-прежнему похожего на крейсер, но крейсер, только что вышедший из боя: две его трубы гордо поднимались в чистое, бездымиое небо, две другие были снесены или взорваны, торчали коротышки с зазубринами наверху.

Машина покатилась под горку и обогнула шахту. Знакомые терриконы, стоящие рядом и уже давно сросшиеся внизу... Поваленный набок копер... Опрокинутые скипы без колес... Землянка у подножия одного из терриконов, когда-то оставленная Чубаком как музейный экспонат прошлого,— каменной ограды и мемориальной доски уже нет, а в землянке, похоже, кто-то живет.

Трое друзей стояли в кузове и смотрели, смотрели на все, что было знакомо с детства и теперь так горько изменилось, и еще чаще — вперед, туда, где за крышами и деревьями не было видно, но могло вот-вот показаться... Что? Что они увидят там, где когда-то

так изящно изгибались трубы, высились башенки скрубберов, белели здания компрессорной и насосной, разбегались от голубой подстанции жилы проводов...

Им еще предстояло все, что выпадало людям, с боями вернувшимся на истерзанную родину: все удары, вся боль, все волнение поисков близких... Но в эти минуты, когда должна была вот-вот показаться навеки милая станция, они думали только о ней.

И они ее увидели.

Они соскочили с машины у закопченной стены с черными проемами на месте окон и зловещей пустотой внутри.

Они вошли на территорию станции через ворота, хотя ворот уже не было и от ограды остались одни обломки. Первое впечатление неузнаваемой перемены было от зелени: акации и клены, которые тут посадили в первый год под лозунгом: «Каждый должен посадить пять саженцев!»,— эти акации и клены уже сомкнулись кудрявыми кронами.

В конце главной аллеи несколько акаций стояли голые, засохшие, по краю глубокого окопа торчали их обрубленные корни.

На дне окопа лежало два трупа: один лицом вниз, в каске с облупившейся свастикой, другой на боку, соломенные волосы присыпаны землей.

Компрессорной нет, один фундамент. Насосная сохранилась, только угол здания будто вырван клещами. Подстанция — груда камней и покачивающиеся под ними сорванные провода.

Изрытое снарядами поле еще хранило следы прежнего: уцелели бетонные стойки, на которых когда-то лежали трубопроводы, кое-где чернеют выходящие из скважин трубы без «головок» — «головки» сняли перед отступлением, так же как компрессоры и аппаратуру.

Трое стояли, сняв фуражки, над этим кладбищем.

— Все начинать с начала...— сказал младший из трех и сурово сжал дрогнувшие губы.

Рука друга легла на его плечо. Голос звучал рассудительно:

— Почему с начала? Не с начала, а с середины. Вернее, с той же точки.

С той же? Как из дальней дали, сквозь тягостное напряжение военной страды пробилось воспоминание об ином, счастливом напряжении труда и нелегких исканиях, когда каждый успех выдвигал новые, еще не решенные задачи, когда было столько догадок, и споров, и опытов, и надежд... Какой желанной и пока недостижимой показалась двум друзьям та самая точка, и как остро захотелось вернуться к ней, чтобы двинуть вперед, и какой отрадой привиделось все, что могло ожидать их на этом возобновленном пути,— и борьба, и осложнения, и новые искания, и труд, труд, труд... Дорваться бы!

Третий, самый старший и по возрасту и по воинскому званию и вместе с тем по всей повадке — самый неисправимо штатский, уже по-хозяйски осматривался и прикидывал, с чего начинать.

— Где людей найти, вот вопрос,— сказал он озабоченно.— А камень на камень быстро складывается.

— Слушайте! — вдруг пораженно воскликнул младший, и лицо его осветилось чистой радостью.

Повиснув над этим горьким полем и трепыхая крылышками, в небе торжествующе заливался жаворонок.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НАЧАЛО

1

Они шагали втроем, плечом к плечу, прямо по сочной, еще не успевшей выгореть степи, никуда не спеша, позволяя ветру подталкивать их в спину. Сильный и теплый, он трепал и спутывал их волосы, вздувал рубахи и носился вокруг них, то вскидывая, то пригибая зеленые метелки типчины, раздувая золотистые сквозные шары молочая и совсем расстилая по земле и без того поникшие кисти шалфея. Наиграется вволю, пахнет в лицо горьковатыми запахами полыни и чебреца, а потом сдует с ближнего терриконa бурую донецкую пыль, смешанную с черной угольной, понесет ее облаком над степью да и уронит на кусты ежевики по краям балки, на серебристые хвосты цветущего ковыля. Затихнет, даст услышать смягченный расстоянием грохот угля, ссыпаемого в бункера, разноголосую перекличку маневровых паровозов и трезвон бегущего под уклон трамвая, поколышет дымную пелену над заводами и станцией — и вдруг бросит в степное раздолье кисловатый запашок угля.

Друзья шагали размашисто, дышали во всю грудь и говорили во весь голос. Поговорят, необременительно помолчат — и снова кто-нибудь из трех выскажет мелькнувшую мысль; подхватят ее — хорошо, не подхватят — тоже не беда. Только одного они не касались: официального извещения со штампом Академии наук, полученного Сашей Мордвиновым, хотя именно это извещение, сулящее разлуку, оторвало их сегодня от субботних дел.

— А что, если так идти и идти, не сворачивая? Через балки, через речки, через

города — напрямки. За сколько дней мы бы до Москвы дошли?

Так спросил Палька Светов, самый молодой из трех,— черноглазый, с юношески гладкими щеками и решительно выдвинутым подбородком.

— Отсюда напрямик не Москва, а Харьков,— сказал Саша Мордвинов и остановился, чтобы ориентироваться по низкому закатному солнцу.

Он был высок, тонок, загорелое лицо казалось светлым оттого, что глаза очень светлые, мягко-серые, а волосы белесые. Прищурясь, он оглядел горизонт, взрезанный тут и там крутыми холмами терриконов, похожими на вулканы, но вулканы, все как один, с вершинами набекрень; раскинул руки, определяя направление, и не без педантизма уточнил:

— Так — север, так — запад. Конечно, Харьков.

Некоторое время они спорили, как идти на Харьков, а как — на Москву, спорили так, будто им вот сейчас предстояло идти туда.

— Поезд довезет, была бы причина ехать, — лениво подал голос Липатов и замолк.

Добрая, хитроватая улыбка еще долго не сходила с его лица — то дрогнет на губах, то подчеркнет первые морщинки возле глубоко посаженных голубеньких глаз. Низкорослый, костистый, с прочно подведенными углем ресницами, он был самым старшим из трех — скоро тридцать. Вместе с друзьями он остановился и вместе с друзьями, равняя шаг, пошел дальше, но думал свою думу. Когда он прислушался, друзья обсуждали, помогает ли альпинизм вырабатывать характер.

— Характер — это воля плюс выдержка и упорство,— говорил Саша.

— Чего стоят упорство и воля, если они просто так, без всякой пользы! — горячился Палька.— Плевал я на характер, если он не устремлен на настоящее дело!

— Чем плевать, лучше тренировать характер,— улыбнулся Саша.— В том числе и выдержку.

— На что он намекает, Палька, ты не знаешь? — поддразнил Липатов.

— Не знаю,— буркнул Палька и ожесточенно двинул ногой круглый кустик синеголовника, но кустик

устоял, не надломился, и Палька виновато поправил его носком ботинка.— Я знаю, что и чувство коллектива и эта ваша выдержка вырабатываются в деле! На чем-то большом! Когда — умереть, но добиться!

Он склонил голову так, что уперся подбородком в грудь, и сказал с тоской:

— Хочу такого. А где оно? Китаевские «битум-альфа», «битум-бета»... сколько можно!

Саша глядел огорченно, понимая, почему Палька томится сегодня, почему такой невыносимой показалась методическая возня с навесками угля, которую навязал ему Китаев для своей нескончаемой работы о природе спекаемости углей... Конечно, вышло обидно. Вместе, втроем, кончали Донецкий институт угля. Ну, Липатов,— горняк, он и не претендовал ни на что другое. А они с Палькой решили — в науку! Радовались, что их оставили при кафедре. И вдруг одного из двух, Сашу, выдвинули в аспирантуру лучшего в стране столичного института. Работать под руководством академика Лахтина! Еще месяц назад он и мечтать об этом не смел.

— Это же только зачин,— сказал Саша,— за химией будущее. Осмотришься — нащупаешь самое интересное. А в отпуск приедешь ко мне, сходим в академию...

Он хотел самого доброго, ввести Пальку в круг новейших проблем, поискать для него перспективную тему — уж там-то, у Лахтина, сконцентрировано все главнейшее, что есть и будет... Но Палька с мальчишеской нетерпимостью отверг будущую помощь.

— Ну да, в отпуск! Хвостиком ходить! Я не в отпуск... Если я захочу, так я!...

Он сам не знал что́. И не зависть томила его, хотя именно бумажка из Академии наук растревожила его сегодня. Успех Саши открыл ему, что возможностей много и кафедра Китаева — лишь ступенька к настоящему увлекательному делу, надо только понять — какому, и перешагнуть. Только бы ухватить, а там он своего добьется! Недаром же его в двадцать два года оставили аспирантом при кафедре, и Китаев, скрепя сердце, сказал, что Павел Светов «многообещающий, способнейший юноша, хотя упрям, заносчив и неуравновешен...»

Палька гордился второй частью характеристики не меньше, чем первой. Виноват ли он, что старик хочет покоя, а он не хочет просиживать брюки за пустяковыми лабораторными анализами истолченного в пыль угля — только для того, чтобы установить природу спекаемости, когда уж если заниматься этим, то так, чтобы поднять производительность коксовых печей, чтобы перевернуть дыбом весь Коксохим!

Год назад Палька и подумать не мог, что его незадачливый приятель Федька, вынужденный уйти из школы в шахту, станет знатным забойщиком, чуть ли не наравне со Стахановым, а теперь Федька руководит на своем участке школой стахановского труда, и в газете пишут: «Федор Никитич Коренков сказал...» Ближайший сосед, Остапенко, ездил на совещание в Кремль и запросто беседовал с Орджоникидзе и Сталиным. Липатушка со старым Кузьменко борются за сплошь стахановский участок. Серега Маркуша — вместе кончали институт — пошел на Коксохим сменным инженером, рабочие поначалу вышучивали его, а теперь, говорят, какой-то новый метод придумал...

Палька не мог высказать всего, что бродило в нем, и сам почувствовал, что ответил заносчиво, нелепо. Саша поморщился и промолчал, Липатов начал подзуживать:

— Еще бы! Если ты захочешь, ты и в Кремль попадешь! Только намекни, самолет пришлют! Почетный караул выставят!

— Не дразни его, Липатушка, взорвется.

— А почему не попасть? — продолжал ерепениться Палька.— Ты что ж, думаешь, я буду всю жизнь у Китаева в подсобниках корпеть? Слушать его поучения? — Он согнулся, вытянул шею и проскрипел старческим монотонным голосом: — «Научное знание, мой юный друг, слагается из мельчайших частных выводов, и ваш кропотливый, незаметный труд в конечном счете...» Да ну его к черту!

— Какие уж там частные выводы, ты всю химию враз перевернешь!

— Брось, Липатушка, ведь взорвется.

Палька ринулся на Липатова и дал ему хорошего тумака, потом наскочил и на Сашу. Некоторое время

они боролись, стараясь повалить друг друга, затем отдышались, подставляя под ветер распаленные лица, и зашагали дальше, довольные — никто никого не повалил. Но оттого, что им было так легко вместе, каждый по-своему ощутил: неразлучной троице — конец.

Саша подумал: что ж поделаешь, одно находишь, другое теряешь.

Палька подумал: нас объединял Саша. Саша был главным. А как же теперь? Три минус один не всегда два.

Липатов с горечью прикидывал, что без Саши будет совсем скучно, если Аннушка не приедет. А где она? Ждешь, ждешь...

Не принято было у них говорить о чувствах, Липатов сам не заметил, как у него сорвалось с языка:

— Эх, и жалко же терять тебя, Сашко! И рад за тебя, и жалко. Дружбы нашей.

Палька даже отвернулся: ну зачем он так?

Липатов смутился и от смущения продолжал другим, дурашливым тоном:

— Женишься — раз, в Москву укатишь — два.

— Ну что ты ерунду городишь? Москва близко.

— И жена близко, да вроде проволочного заграждения.

— Чудак, ты ведь сам женатый.

— Ну, я!..

— Он холостой женатый, — сказал Палька.— Мужзаочник!

Липатов уныло усмехнулся. То, что казалось Пальке забавным, было для него хоть и привычно, но трудно. Он женился очень молодым, это была первая «комсомольская свадьба» в поселке, молодые торжественно поклялись ни в чем не стеснять свободу друг друга; но вышло так, что этим воспользовалась только Аннушка: поехала учиться, затем вечно пропадала в экспедициях то на севере, то на юге, возвращалась домой измотанная, с запавшими щеками, в истрепанных ботинках. Липатов волновался о ее здоровье, каждый раз откармливал ее и выхаживал, он никак не мог представить себе, как она живет одна среди чужих мужчин, ходит пешком по горам, ночует у костров, мокнет под дождем и носит на спине мешок с пробами пород... «Я же не одна, с товарищами», — объясня-

ла она, и тогда он томительно ревновал ее к этим неизвестным товарищам. Их восьмилетняя дочь воспитывалась в Ростове у тетки — считалось, что тетка опытный педагог и сумеет дать Иришке хорошее воспитание; правда, Липатов замечал, что во время своих приездов домой Иришка лихо ругается во дворе с мальчишками, удивляя их ростовским шиком выражений, витиеватых и обидных,— но что поделаешь, если мать — редкий гость дома! Отдохнув и пополнев, Аннушка опять уезжала в какие-то неведомые места — на карте таких названий не найдешь. Липатов писал письма как на тот свет. Ответы приходили через месяц, а то и через два, иногда и сама Аннушка уже была дома и сидела напротив него в домашнем халатике, так что рассказы о скитаниях и приключениях казались особенно невероятными.

В это лето Аннушка работала с экспедицией поблизости, в Донбассе, изучая что-то связанное с грунтовыми водами; Липатов отказался от путевки на Кавказ, надеясь, что Аннушка будет приезжать домой по субботам, но она все не приезжала, и адрес у нее был невнятный: до востребования, почтовый ящик.

— Мой случай особый,— со вздохом сказал Липатов. — А вообще-то известно: женишься — переменишься.

— Ты Любу, кажется, знаешь,— обиженно возразил Саша.

Да, они с детства знали Любу и все-таки ревновали...

— Так ведь я и то знаю, что у хорошей женки муж по ниточке ходит и по сторонам не глядит.

— Неумно.

— Брось, Липатушка, женихи — народ нервный! — начал поддразнивать Палька.

Саша сказал строго:

— Хватит! Перемените пластинку!

И в его голосе прозвучала знакомая друзьям категоричность, с которой нельзя было не считаться.

Не тяготясь молчанием, каждый из трех продолжал мысленно кружить вокруг этой интересной темы.

Саша думал: какой вздор! С Любой просто не мо-

жет быть ничего подобного, у нас совсем не те отношения...

Палька думал: в данном случае скорее Люба будет по ниточке ходить, но на кой черт так рано жениться? Нет, я такой хомут не надену, дудки!..

А Липатов посмеивался про себя: что они оба понимают? Женишься — думаешь одно, а получается другое. У нас с Аннушкой никто по ниточке не ходит... а разве это семья? Вот и реши, как лучше!

Они подходили к Дубовой балке, где еще устояло несколько старых дубов из большой, некогда шумевшей тут рощи. Старики рассказывали, что в первые же годы, когда бельгийцы построили шахту, они вырубили рощу для крепи. Уцелевшие дубы теперь начали сохнуть — над их разлапистой листвой торчали сухие голые ветви.

Липатов замурлыкал тебе под нос:

Как заду-у-у-мал сын жени-и-ить-ся,
Дозволенья стал просить...

Песня была унылая, и, хотя припев у нее был «Веселый да разговор!», веселого в ней ничего не было, песня кончалась смертью. Но тягучее мурлыканье Липатушки заглушил счастливый голос Саши, за Сашей звучным тенорком вступил и Палька:

Отец сы-ы-ыну не нове-е-е-рил,
Что на свете есть любовь...
Веселый да разговор!

Песня смолкла вдруг, на полуслове.

На той стороне балки появилась женщина.

Она была еще далеко, но в лучах заходящего солнца ее высокая фигура в белом платье казалась искрящейся и очень стройной. Шла она вольным шагом человека, наслаждающегося и ходьбой, и солнцем, и ветром.

— Чья такая?

— Вроде не наша.

— Ин-тер-ресно.

Незнакомка увидела их, настороженно замедлила шаг, потом смело сбежала по спуску, перескочила через убогий ручеек, струившийся по дну оврага, и начала подниматься по склону.

Все трое с молодой непосредственностью устави-

лись на нее. Лицо свежее, по-северному не тронутое загаром. Волосы рыжие или кажутся такими в закатном освещении.

Никто не успел разглядеть ее толком. Она прошла мимо и тоже оглядела их независимо, с легким любопытством.

Не сговариваясь, друзья повернули вслед за нею к поселку. Теперь низкое солнце светило им в глаза, а женщина двигалась перед ними четким силуэтом, окаймленным золотой полоской.

— Вот это краля! — сказал Липатов.

Саша усмехнулся:

— Что, зацепило?

Друзья знали способность Липатушки мгновенно влюбляться и привыкли подшучивать над этим.

— Ты, жених, молчи уж! Кому-кому, а тебе на женщин теперь не засматриваться. Засматриваться предоставь другим.— И Липатов кивнул на Пальку, который так и шагал с приоткрытым ртом, не отводя глаз от светящегося силуэта.

Палька покраснел.

— А чего засматриваться? Подумаешь, невидаль!

— Оно и заметно.

— Что заметно?

— Что невидаль! Даже рот раскрыл.

Женщина остановилась — и разговор разом оборвался. Она прикрылась рукой от солнца и неторопливо разглядывала все, что раскинулось перед нею. И трое друзей придержали шаг, оценивая знакомую картину по-новому.

С детства они привыкли к тому, что за родным поселком — степь. В детстве степь казалась почти неоглядной, а потом — потом уже и не думали, какая она, настолько она была своя. Теперь же вдруг увидели, как она ограничена со всех сторон: позади, за Дубовой балкой, совсем близко вырастает поселок Азотнотукового завода, а справа километрах в полутора тянутся многочисленные здания самого завода и высятся его трубы — две дымят, а третья распустила по ветру ярко-рыжий лисий хвост — отходы производства, окислы азота.

Слева степь обрывалась у другой балки — Дурной, куда стекала сажа от Коксохима. Сажа оседала по бе-

регам озерка, разлнтого в ее шнрокой чаше; время от времени грузовнки забиралн сажу и увозили куда-то. Вымахнув прямо на край балкн, один к одному лепнлнсь неказистые домншки Нахаловкн — шахтерского поселка, возннкшего тут стнхийио; каждый стронл так, как бог на душу положит, в большинстве «землянкн», то есть глиняные мазанки, поставленные прямо на грунт, с крошечнымн оконцами н крнвыми трубами. Чубаков мечтал снести Нахаловку, переселнть ее жнтелей в новые дома — да скоро лн настроншь этих домов для всех, когда народу все прнбывает!

Два террикона стояли рядом, сросшнеся между собою, как две вершиины Эльбруса, только вершнны были чериые, увеичаиные скиповымн подъемниками; склоиы дымнлнсь, будто лава после недавнего извержения вулкана,— тлели выкинутые вместе с породой угли н сера. Чериые вершины отвалов господствовалн над всей округой; если присмотреться, их можно насчитать десятка полтора, а то и два. Мнмо шахты, по мосту, перекннутому через отрог Дурной балки, бежал красный трамвайчнк, гордость поселка, — его пустили всего год назад, и дорогу из Донецка в поселок замостнли год иазад. Это было торжество, Чубаков пронзнес речь, а самый старый житель поселка, дед Ннкнфор, перерезал ленточку... Но заезжей красотке, вероятио, кажется, что дорога была всегда, она н не поверит, что тут после дождя в жидкой глине тоиули лошадн...

Прямо перед инмн — н перед иею — в яркой зелени молодых садов стройнымн рядами стоялн домнкн поселка нмеии Челюскинцев. Трое друзей помнилн, что тут иедавно была степь, помннлн домашине разговоры о новой затее: государство дает шахтерам ссуды с рассрочкой на миого лет, помогает матерналом н транспортом — стройтесь, товарнщи шахтеры! Трудно шлн людн на такое необычное дело, сперва н десятка застройщиков ие набралось, а потом понравнлось, поселок иачал расти н растн. В то время только и разговору было о спасеннн челюскинцев со льдниы, так что новому поселку прнсвоили нмя челюскиицев, а улнцы между порядкамн иазывали как кто хочет, но все выбнрали иазваиия торжественные — именн

Парижской коммуны, Социалистическая, Революционная, имени Артема... Улицу, где поселились Световы, иазвали имеием Клары Цеткии: ее бесстрашиая речь при открытии рейхстага осталась в памяти, и всем казалось, что таким изваиием они бросают вызов фашизму, вызов Гитлеру, который в те дии захватил власть и пер в диктаторы.

Отсюда, из степи, домики поселка виделись малеиькими и до смешиого одииаковыми: стена в три окошка иа улицу, да пристроечка вераиды, да иегустая зелеиь яблоиек, абрикосов и вишен, что еще не успели разрастись, а иад всем этим, замыкая порядки домов, даже издали мощиая махина Коксохима: на фоие пылающего заката будто плывет четырехтрубиый крейсер, смешивая с облаками тяжелые клубы своих дымов.

Женщииа разглядывала все это, козырьком пристроив над глазами незагорелую руку. Видела ли она все то же, что и оии? Или сморщила тоикий иос: дымио, пыльио... Кто зиает, что видит залетиая птаха, иевесть зачем прибывшая сюда?

Солице опустилось за трубы Коксохима, золотая кайма погасла, фигура жеищиины стала обыдениой. И эта обыдениая женщииа, подойдя к окраине поселка, рупором сложила ладоии и протяжно выкрикиула:

— Галии-ка! Галю-у!

Белое платье промелькиуло мимо палисадников и скрылось в проулке.

Саша скосил глаза иа часы — Люба уже дома.

— Наконец-то я вас иашел! — раздался сбоку отчаяииый возглас, и, откуда ни возьмись, метиулся к иим худеиький париишка лет двенадцати. Его босые ноги отважно приминали и траву, и крапиву, и колючки.

— А чего тебе? — иебрежио отозвался Палька.

Париишка ие ждал такого вопроса. Выражение радости сошло с его лица, он отвериулся и уже ие старался попасть в иогу.

— Ну что, Кузька? — ласково спросил Саша, обнимая его за плечи.

Кузька вывернулся из-под обиимающей руки: Саша был женихом сестры, его виимаиие дешево стоило. Саше ои так же ие иужен, как и другим; вот ведь раз-

говаривали о чем-то своем, а подошел к ним — замолчали...

— Все в порядке, пьяных нет! — со злостью крикнул Кузька и, засвистев, побежал вперед, припадая то на одну ногу, то на другую, когда подворачивались колючки.

— Пошли к Кузьменкам? — предложил Саша.

— Да стоит ли? — насмешливо откликнулся Палька.

И они пошли вслед за Кузькой в поселок.

2

Кузька вихрем пронесся мимо землянок Нахаловки и вбежал в окраинную улочку поселка Челюскинцев, где недавно играли в городки, но никого из мальчишек уже не было. Линии, обозначавшие города, наполовину замело пылью.

Кузька потопал по ним босыми ногами и побрел куда глаза глядят, стараясь подавить обиду.

Сделал глупость, поперся за людьми, когда у них свой разговор — ну, ладно! Но Палька-то заважничал! «Чего тебе?» Липатов — начальник участка да еще член парткома, но он-то как раз и не задается. Саша хоть и пришился к Любе, но все знает и говорит очень интересные вещи. «Вторая пятилетка — пятилетка химии» — почему? Шахтеры гонят добычь — пятилетка. Реку Днепр перегородили — пятилетка. Почему же химия? Саша говорит: «А ты знаешь, что пуговицы из творога делают?» Он знает, кажется, все на свете. А Пальке чего гордиться? Мама говорит, он был «сущее несчастье» и она полотенцем гнала его от забора: «Ступай, ступай, занимается Никита, нечего посвистывать!» А Никита через забор перескакивал к нему, и они пугали парочки в саду, один раз живую крысу спустили по водосточной трубе школы прямо девчонкам под ноги. Отец говорил: «Плохая у тебя компания, Никита!»,— это про Пальку. А теперь, скажи пожалуйста, какой серьезный!

Обидно, потому что Палька все-таки молодец. И Саша, и Липатов. Ни от кого не услышишь таких разговоров, никто не спорит так много о самых разных вещах... Жалко им, что Кузька послушает?

Никто не понимает Кузьку, даже мама: «Где шатаешься?», «Опять рубаху порвал!», «Чего сидишь без дела, сходи в лавку!» А Кузька не шатается и не сидит без дела. Он думает. Он слушает. Он читает все, что попадает под руку, и особенно газеты. Другие мальчишки считают, что в газетах — скука, Кузька не согласен: он всегда вычитывает там важное. Вредителя разоблачили... При взлете учебного самолета сломалось шасси, летчик шесть раз вылезал на плоскость, пытаясь починить, а потом ловко посадил самолет на одно колесо... В Магнитке задули новую домну, как странно: «задули»... На зимовке в Арктике медвежонка белого поймали и приручили... Старший лейтенант Филонов на мотоцикле «Красный Октябрь» прыгнул с помощью трамплина на семь, потом на десять, потом на тринадцать метров... Пограничники выловили банду шпионов и диверсантов...

И почему-то все самое интересное происходит именно теперь, когда Кузьке никуда ходу нет. Кузька не собирался стать шахтером, его манили необыкновенные профессии: водолаз, верхолаз, исследователь вулканов. Но если б он был шахтером, как брат Вовка, он закатил бы такой стахановский рекорд, что никто не обогнал бы!

Все только отшучиваются, если человеку двенадцать лет. И все свои мысли и разговоры берегут промеж себя: «Ты чего тут крутишься?!», «Спать пора!», «Зачем ты взял мою книгу, это еще что за новости — книги таскать!» А Кузьке нравятся те книги, что читают взрослые. Не совсем понятно, но тем интересней думать над ними, добираться до смысла. И Кузьке нравится слушать, как отец с Липатовым говорят о Гитлере и об итальянских «молодчиках», о том, кто и почему просчитается; это у них получалось очень убедительно; даже странно, почему отец и Липатов так здорово все понимают, а те, кто «просчитается», не понимают...

Пойти домой, что ли?

Не доходя до своей калитки, Кузька увидел девчонку в розовом платье на заборе панфиловского дома. Она преспокойно пригнула к себе ветку вишни и что-то на ней рассматривала. Что она там рассматривает? И что это за девчонка такая — с большим бан-

том в рыжеватых растрепанных волосах, в платье с оборками и белых носочках?

— Эй ты, пигалица! — крикнул Кузька.

Девчонка не вздрогнула и не смутилась, а весело повернула к нему скуластое, выпачканное вишневым соком лицо.

— А тебе жалко?

— А ну, слазь!

Девчонка не слезла, она запустила в рот несколько вишен и выплюнула на Кузьку вишневые косточки. В ту же минуту она слетела с забора от сильного удара по ногам. Видимо, Кузька не рассчитал — девчонка так грохнулась об землю, что осталась лежать и заскулила. Испугавшись, Кузька сказал для храбрости:

— Ну вот, теперь реветь будешь.

Но она вскочила, как на пружинке, размазала по лицу пыль и сказала, презрительно поблескивая сухими глазами:

— Вот еще! Из-за всякого сопляка буду я реветь!

Если бы это была своя, поселковая девчонка, он бы знал, как с нею поступить. Но в этой нарядной городской девочке, неожиданно находчивой, было что-то непонятное и сдерживающее. Вместо того, чтобы дать ей затрещину, Кузька засмеялся и сказал примирительно:

— Ишь ты, какая отчаянная!

Девочка подмигнула и тоже примирительно спросила:

— А вишни чьи? Ваши?

Тогда он подпрыгнул, пригнул ветку и щедро предложил:

— Бери.

Но она, видно, уже наелась или разрешение лишило вишни всякой привлекательности. Кокетливо улыбаясь распухшими губами, она сорвала две сережки и нацепила их на уши. Глаза у нее были темные и блестящие, как эти вишни. Вишневый сок лиловыми разводами застыл на ее щеках и крепких скулах.

— Ты откуда взялась?

Девчонка мотнула головой в сторону города.

— Приезжая?

— Ага.

— Откуда?

— Из Москвы.— Она подумала и важно добавила: — Кончим дела и поедем в Сухум.
— А чего вы тут делаете?
Девчонка оглядела Кузьку и гордо проронила:
— На консультации приехали. — Но тут же, устыдившись, добавила: — Это папа. Мы с ним...
— Он кто?
— Профессор.
— Про-фес-сор? А по чужим садам вишни воруешь. Профессорша!
Девчонка хмыкнула и доверительно сказала:
— А мой папа тоже вишни воровал. И яблоки.
Кузька ответил доверием на доверие:
— Я тоже.— И вернулся к тому, что его интересовало: — Он по какой науке профессор?
— По химии.— Помолчала и прибавила: — Гео.
Он не понял, но спросить постеснялся.
— Химия сейчас самое важное. В этой пятилетке.
Девчонка кивнула не очень уверенно и в свою очередь спросила:
— А вы кто?
— А мы шахтеры. И отец, и брат.
— У тебя один брат?
Кузька помолчал и неохотно ответил:
— Два.
— Вот счастливый! У меня — никого... А второй — кто?
— Какая любопытная! Кто да кто. Зачем тебе?
Где-то за домами, то ближе, то дальше, женский голос звучно выкликал какую-то Галинку-Галю-у... Уж не ее ли? Но девчонка и ухом не повела.
— А ты в каком классе?
— В шестом... перешел.
— А я в третьем... перешла.
Кузька только успел подумать, что девчонка еще мелкота, как она придвинулась поближе и чистосердечно предложила:
— Давай дружить, а?
Он подумал, что она все-таки молодец, не заревела и вообще ведет себя что надо; не отвечая, спросил:
— Как тебя звать-то?
— Галина. А тебя?
— Кузь... Константин.

— А Кузь это что?

— Это меня ребята зовут так. Кузька. Кузьменко моя фамилия.

— И я тебя буду звать Кузька, хорошо?

— Зови, мне-то что!

— В гостинице такая скучища! Ребят ни одного, внизу рояль стоит, а играть запрещают. Ты ко мне приходи, у папы такие альбомы есть! В красках. Придешь?

— С чего я вдруг пойду?

— А просто... Ты в этом доме живешь?

— Не. Вон в том, где дуб, видишь? А эти альбомы о чем?

— Научные, — туманно ответила Галинка: должно быть, не читала в них ничего, только картинки смотрела.

— А я тут два дня вредителя выслеживал.

У девчонки округлились глаза, округлился рот — вот это да!

— А ты думала, о бдительности просто так пишут?

Галинка растерянно молчала: она совсем об этом не думала и не читала.

— А он чего делал?

— Ничего не делал. Ходил, смотрел. С фотоаппаратом. Я ему два снимка засветил. Обломком зеркала.

Он не торопился рассказывать, наслаждаясь ее потрясенным видом.

— А он... чего снимал?

— Землянки,— с презрением бросил Кузька.— Делал вид, что снимает старорежимные землянки. А поверх них завод видно, чуешь?

— Чую... А потом? Арестовали его?

— Исчез он куда-то. Сел на трамвай и уехал в город. Я и туда ездил. Не нашел.

Конец рассказа получился слабее начала, Кузька и сам почувствовал это, и по лицу девчонки видно было. Она оглянулась, запоминая место.

— Так ты в том, где дуб? Я завтра приду после обеда, ладно? И свистну.

— Свистнешь?

Она сунула два пальца в рот и пронзительно свистнула — не хуже мальчишки. И сразу из-за домов донеслось:

— Галин-ка! Галю-у!

Галинка пригладила без особого успеха волосы, придержала одной рукой бант, а другой рукой сильно дернула за прядку, на которой он держался, чтобы бант встал на место.

— У тебя все лицо вишней перемазано.

— Ну и пусть.

— А ты скуластая.

— Это я в папу. Папа тоже скуластый.

— Тебя кличут?

— Кого ж еще!

Она звонко отозвалась: «Иду-у-у!» — и, не прощаясь, побежала на зов, вздымая тучи пыли.

3

Перейдя по камням черное болотце в отроге Дурной балки, друзья поднялись к крохотной мазанке, приткнувшейся на скате.

— Ты жива еще, моя старушка! — пропел Липатов.

Саша на минуту остановился, оглядел и землянку, и кособокий очаг с высокой кривой трубой, стоявший в пяти шагах от нее, и разросшиеся, пышно цветущие кусты шиповника.

— Цветут,— посуровев, отметил Саша и прошел, склонив голову как перед могилой.

Когда-то, несмышленышем, он ненавидел эту убогую землянку и чудного старика, жившего в ней. Старик был до жути худ, жилист, остронос. Его руки с длинными пальцами всегда шевелились, будто хватали, мяли что-то невидимое. В Нахаловке старик слыл «тронутым», мальчишки смеялись над ним, и для Саши было страшным открытием, что этот «тронутый» — его дядя. После похорон матери дядя цепкой рукой взял Сашу за плечо и повел к себе.

Что это был за диковинный человек! Один из старейших шахтеров в поселке, он в молодости много пил и случайно пережил памятную в Донецке катастрофу, когда от взрыва газа погибла в шахте вся смена, пятьсот тринадцать человек. Было это в понедельник. Запив в субботу и закатившись «гулять» на соседнюю шахту, дядя явился домой во вторник, когда его жена

уже сутки считала себя вдовой. С тех пор он стал пить еще больше, оглаживая бутылку и приговаривая:

— Спасла, родимая! Выручила, милая!

Как и почему покинула его жена, никто толком не знал. Когда Саша поселился у дяди, тот жил один, почти не пил и в шахте не работал: болел силикозом. Целыми днями старик читал, философствовал и что-либо придумывал. Одно время он решил культивировать шиповник, для чего пересадил к мазанке несколько кустов, подреза́л их ветви, удобрял землю, поливал кусты каким-то раствором, оставлял только самые крупные бутоны и рано утром, как ребенок, бежал посмотреть, не произошло ли чудо, не распустилась ли роза... Где-то прочитал он о лечебных травах, увлекся, бродил по степи в поисках каких-то особых трав, неизвестных медицине, варил их и настаивал на водке, устраивал причудливые смеси — и уверял Сашу, что вылечится сам и будет лечить других лучше всяких докторов. Однажды он заявил, что берется за ум и обеспечит верный заработок, чтобы Саша мог учиться. Два дня он малевал огромную вывеску:

ПРИНИМАЮ ПОЧИНКУ РАЗНУЮ ОБУВ
ЗАЛИВКА ГАЛОШ ЛУДИТЬ ПАЯТЬ

Сперва в Нахаловке только смеялись над затеей «тронутого», потом круглолицая девчушка с косой принесла в узелке четыре пары сношенной детской обуви — из семьи Кузьменко — и сказала:

— Когда почините, мама пришлет папины.

После Кузьменок и другие стали приносить обувь, но чинил их с грехом пополам Саша; дядя только руководил: он был дальнозорок, гвоздики расплывались у него перед глазами, заплатки ложились не на место. Дырявой посуды и ведер набиралось немало, но дядя так и не научился лудить-паять; лудил-паял Саша, вернувшись из школы, а дядя ходил вокруг него, размахивая жилистыми руками, и рассуждал.

— Весь мир,— говорил дядя,— разделен надвое: вампиры-кровососы и трудящие. Когда во всем мире задушат вампиров, засияет ярче солнца гений человечества...

Наплевал я на сытое брю́хо,— говорил он,—

и ты плюй на это. Главное есть человеческая мысль, ее развивай, Саша!..

Когда дядя слег, Саша бросил школу и поступил на шахту в насосную. Ночами дядя маялся кашлем и бессонницей, Саше приходилось сидеть возле него и читать ему книгу за книгой: слушая, дядя забывал кашлять. Кузьменковская девчушка Люба приносила в глечике то бульону, то молочка для больного. Однажды она сказала Саше, что папа предлагает устроить дядю в больницу. Саша был бы не прочь, он устал до одури, но дядя смертельно боялся больницы, и Саша непреклонно заявил, что дома дяде лучше, дома — воздух и есть кому читать вслух.

— Но ты же работаешь! — прошептала Люба.

И тут Саша ответил со страстью:

— Избавить меня хотите? Думаете, тронутый, пусть помирает? А он совсем не тронутый. У него... у него жизнь не вышла, вот что!

Это ему открылось как-то во время ночной беседы с дядей — не вышла. Целая жизнь не вышла... и вот кончается.

Уже давно схоронили дядю. Уже закончил Саша вечернюю школу, потом институт... а все, проходя мимо дядиной землянки, скорбел об этой несостоявшейся жизни и чувствовал себя без вины виноватым.

Землянка осталась позади, с нею отошло и воспоминание.

После беспорядочно скученных, залатанных хибарок Нахаловки поселок Челюскинцев казался особенно просторным, нарядным. Одинаковые домики имели каждый свое лицо: кто украсил фасад затейливой резьбой, кто покрасил в два цвета ставни, тут веранда мигает цветными стеклами, там прилажено крыльцо на колонках, обвитых диким виноградом...

Домик Световых стоял не в общем ряду, а в самой глубине участка, к нему вела узкая тропка, а по сторонам ее все было засажено молодыми яблоньками и овощами — так распорядилась сестра, она верховодила в семье, и она, а не мать «сводила концы с концами». Переехали они сюда из рабочей казармы, строиться помогала шахта — ради памяти Кирилла Светова, сложившего голову в боях за революцию. Катерина и ссуду брала на свое имя, и сажала все,

и брата понукала, чтоб таскал воду от колонки — поливать...

Скосив глаз через забор — нет ли в огороде сестры,— Палька вместе с друзьями перешел на другую сторону улицы, где наискосок жили Кузьменки.

Это был самый приметный дом в поселке, да и во всей округе. Среди одноэтажных донбассовских домиков он выделялся тем, что у него была надстройка — мансарда с аккуратным балкончиком, вобравшим в свою ограду ствол большого старого дуба, отчего казалось, что дом и дуб обнимаются. Когда строились, дуб сберегли, и вокруг дома все засадили, а когда Вовка подрос и захотел отделиться от беспокойных младших братьев, на земле негде было пристраивать комнату, и Вовка нарушил обычай, как говорила мать,— полез на верхотуру. Приметным был и участок вокруг дома — ни у кого не успела так разрастись сирень, ни у кого так не курчавились деревца и ягодники; соседи кивали на хозяйку: еще бы, любительница, с утра до ночи в саду возится! — другие завидовали: так ведь поливают сколько, колонка у них! Трубы проложил, колонку установил за домом сам Кузьма Иванович с сыновьями, освободив свою Ксюшу от коромысла.

Хозяйка и сейчас была в саду — стоя на табуретке, подвязывала ветку абрикосового деревца, чтоб ветка не залезала в окно.

— А-а, наши хлопчики! — звонко крикнула она.

У нее была маленькая полная фигурка, ладно обтянутая синим в горошек платьем, и милое подвижное лицо из тех, что долго сохраняются молодыми — было бы настроение хорошее.

— Здрасьте, Ксюша Кузьминишна! — крикнул Палька, пользуясь уважительно-ласковым прозвищем, утвердившимся за всеми членами этой семьи,— Кузьмичи.

— Шли по домам, а ноги привели к вам! — подхватил Липатов.— Можно до вашей хаты?

И только Саша почтительно поклонился будущей теще:

— Добрый вечер, Аксинья Петровна!

— В хате вам делать нечего! — шутливо откликнулась хозяйка.— В огороде для вас интересней.

В огороде склонились над грядкой две девушки. Две косы — черная и русая — спадали на ярко вышитые украинские рубахи. Две пары рук тщательно пропалывали капусту. Поглощала ли работа все внимание этих тружениц настолько, что они не слыхали голосов пришедших, или таковы уж законы девичьей гордости? Саша поднял камешек и осторожно бросил его в огород. Девушки дружно вскрикнули, оглянулись, засмеялись. Одна из них не выдержала и сама побежала навстречу гостям, заправляя за ухо выбившуюся светлую прядку.

Оторвавшись от подруги, она тотчас забыла все правила девичьей игры. На ее простеньком, круглом, совсем юном лице, обращенном к Саше, проступила такая беззаветная радостная преданность, что Липатов и Палька, застесняавшись, заторопились прочь.

Субботние послеполуденные часы, видимо, были использованы с толком: абрикосовые и вишневые деревца окопаны и политы, ягодники подвязаны и тоже политы. Лопаты стояли рядом, воткнутые в землю, лейки сохли, перевернутые, а работники — отец и сын — вовсю намывались у колонки.

Заря окрашивала в розовый цвет их обнаженные спины и руки — у обоих одинаково мускулистые и складные, хотя один был выше и тоньше, а другой шире и кряжистей. Кузьма Иванович первым накрепко растерся полотенцем, накинул чистую рубаху, и сразу, как только здоровое, кряжистое тело скрылось под рубахой, заметнее выступило по-стариковски морщинистое лицо с седыми усиками.

— А-а, мушкетеры! А куда третьего подевали?

Не дожидаясь ответа, он взял под руку Липатова и повел его к дому, торопясь закурить трубку и высказать то, что его занимало.

— Нет, Михайлыч, как тебе нравится это английское гостеприимство?! Риббентроп гостит в имении лорда Лон... Лон...

— Лондондерри.

— Во-во! Якшаются с фашистами, лебезят перед Гитлером, а Чемберлен и Черчилль требуют усиления вооружений. Как ты это понимаешь, а?..

Вовка все еще фыркал и ухал у колонки: Палька щедро поливал его вздрагивающую от холода спину.

Оставшись одна, вторая девушка бросила работу, выпрямилась, потянулась всем своим сильным, статным телом и не спеша направилась к парням у колонки. Ее черные глаза глядели на них лукаво и смело.

— Хватит тебе, Вовка! — сказала она и закрыла кран.— Размокнешь.

Он повернул к ней покрасневшее от воды лицо с застенчивой кузьменковской полуулыбкой.

— А тебе жалко будет?

— Не надейся,— сказал Палька.— У этой девицы сердце из ржавого железа.

— А ты помолчи, когда старшие разговаривают!

Оба озорно улыбнулись и стали удивительно похожи. Девушка была сестра Пальки, Катерина.

— Ты ошибся калиткой,— сказала она брату,— твоя наискосок через улицу.

— Повторяю твои ошибки,— откликнулся Палька и подтолкнул Вовку, который стыдливо прикрыл полотенцем голую грудь.— Ты не знаешь, ради кого она бегает сюда полоть ваш огород, когда свой зарастает сорняками?

Вовка молча улыбался и следил влюбленным взглядом за уверенными движениями Катерины. Она ополоснула руки, набрала воды и теперь пила из ковша, роняя на землю блестящие капли.

— Дай-ка полотенца краешек,— попросила Катерина, помахивая мокрыми руками.

— Я сам тебе вытру... Ой, как ты оцарапалась!

— Ажину искала в балочке.

— Что ж без меня? Я б тебе самые верхние пригнул.

— Думаешь, сама не добралась?

Палька почувствовал себя лишним. Поразмыслил: подразнить сестру еще или не стоит?.. Но вечер был так хорош, так светло сияла заря и такой особый, независимый от зари горячий свет играл на лицах обоих при этом как будто незначительном разговоре, что Пальку пронзила зависть. Он поплелся к веранде и присел на ступеньку рядом с Кузьмой Ивановичем и Липатовым, которые, покуривая трубочки, уже точно установили, что Англия поощряет германский фашизм и сама себе роет яму.

— Люба, Катериночка, собирайте на стол! — из летней кухни закричала Кузьминишна.— Павлуша, открой-ка погреб! Вова, отец, садитесь за стол да гостей зовите! Костя, раздуй самовар, чтоб песни пел!

— Всем дело нашла,— сказал Кузьма Иванович и выбил трубку.— Пошли, раз такой приказ вышел.

Через несколько минут все собрались на веранде за столом, на котором победно трубил, роняя в поддон красные уголья, «его величество самовар» — так прозвал его Липатушка. Липатов давно был своим в этом доме — он входил в шахтерскую жизнь под началом Кузьмы Ивановича, а теперь они работали вместе: молодой инженер и опытнейший мастер. Липатов ввел в дом своих друзей по институту, помогавших ему осваивать премудрости теории. Теперь и Саша стал своим — свадьба назначена на август. На особом, почетном положении бывала тут и Катерина: все хотели, чтоб она вошла в семью женою Вовы, а она медлила, лукавила, отшучивалась.

Один Палька еще чувствовал себя здесь немного скованным. Он дружил с Вовкой и любил его даже больше, чем когда-то любил его младшего брата, Никиту, прежние грехи Пальки как будто забыты... Но мог ли он сам забыть, что, увлекшись наукой, он просто отбросил, как помеху, дружбу с Никитой, а Никита отбился и от учебы и от работы, Никита стал горем этой семьи...

Семья Кузьменко была одной из самых уважаемых семей на шахте. Кузьма Иванович работал тут больше тридцати лет, участвовал в двух революциях, отсюда уходил воевать с Деникиным и разными бандами, потом восстанавливал шахту и гнал добычь на помощь разоренной республике, здесь же вступил в партию большевиков. Уважали семью и за Вовку, и за Любу. Вот только Никита...

О Никите обычно не заговаривали, чтоб не мрачнел Кузьма Иванович, не туманилась Ксюша Кузьминишна. Но сегодня именно она заговорила о нем:

— А мы от Никитки письмо получили!

— Ничего там особенного нет,— сдвинув брови, пробурчал Кузьма Иванович.— Приедет — поглядим.

— Да ведь интересно,— виновато сказала Кузьминишна и вытянула из кармана письмецо.

Этой весной, отчаявшись обуздать сына, Кузьма Иванович с помощью Аннушки Липатовой пристроил Никиту рабочим в изыскательскую партию. Начальнику партии Митрофанову, с которым Кузьма Иванович когда-то вместе воевал против басмачей, была послана секретная просьба: бери хоть кнут, хоть вожжи, а зажми его в кулак — не слушался отца, пусть послушается кнутца... Со дня отъезда Никита прислал только одну открытку, а вот теперь письмо.

Кузьминишна торжественно читала имена всех присутствующих — им передавались приветы с веселыми добавлениями.

— «...Еще привет Катеринке, надеюсь, ее язычок не притупился. Еще передай Вовке...» Ну, это я пропущу,— многозначительно сказала она, зыркнув глазом на Катерину.— «А мою маленькую маму...» Вот озорник-то! «...мою маленькую маму поднимаю в воздух и целую в обе щеки...» — Она рассмеялась по-молодому звонко, счастливая этой лаской.

— Как он там, освоился? — осторожно спросил Палька.

— «Если удастся приехать, как мы хотим, заберу с собой хоть на неделю Кузьку — пусть поглядит работу на буровых вышках и узнает, что у него под ногами...» Значит, освоился, верно? — с надеждой сказала Кузьминишна и обвела всех умоляющим взглядом, чтоб подтвердили: да, освоился и полюбил свои буровые вышки, вот и братишку хочет взять...

— Обязательно поеду! — выкрикнул Кузька.

— «А приехать мы собираемся, как только отремонтируем машину, может, в ближайшую субботу или в следующую, товарищ Митрофанов хочет повидать папу...»

Липатов напряженно ждал хоть словечка об Аннушке, но Кузьминишна уже сложила письмо: видно, нет ни словечка.

— Если в эту субботу, должны б уже быть,— сказал Кузьма Иванович и поглядел сквозь листву на улицу. Тихо на улице, тут и там мелькают огоньки, из садочков доносятся негромкие голоса — чаевничают люди, отдыхают.

— На машине — значит, близко,— вслух подумал Липатов.

И вдруг странно-хриплый неистовый гудок возник вдали, и на темную листву сада лег качающийся свет автомобильных фар.

4

Машина, остановившаяся возле калитки, была странным сооружением: высоко посаженный кузов на разномастных колесах, обтянутый зеленым брезентом верх с перекошенными оконцами. Неистовый гудок исходил из диковинной трубки, похожей на маленькую граммофонную трубу.

Передняя дверца посопротивлялась и с дребезжанием вывалилась наружу, выпуская ширококостного бритоголового человека того неопределенного возраста, когда можно дать и сорок лет и шестьдесят. С удовольствием расправляя спину и затекшие ноги, он окинул взглядом встречающих, ища одно, самое нужное лицо, и, найдя, протянул обе руки:

— Кузьмич! Дорогой! Экой ты стал! Патриарх, а?

Они обнялись и трижды поцеловались.

— Да где ж твои кудри, Матвей Денисович?

— Сыну напрокат отдал, Кузьмич, без них прохладней.

Водитель машины, пригнувшись к раскрытой дверце, не без насмешливости наблюдал и встречу старых приятелей, и столпившихся у машины людей. Приметив два девичьих лица, он вынул гребенку, расчесал вьющиеся кудри, забросил их назад, открывая высокий лоб с густыми бровями вразлет, и только тогда, посмеиваясь, откинул переднее сиденье, чтобы выпустить тех, кто сидел сзади. Видно, это было не просто. Какая-то суета произошла под брезентом, прежде чем из машины высунулась, нащупывая ступеньку, нога в маленьком сапожке.

— Аннушка! — сдавленным голосом выкрикнул Липатов и бросился вытаскивать из машины тоненькую женщину в старой, видавшей виды курточке, в голубом вылинявшем берете, из-под которого торчали короткие светлые волоски.

— Вот и приехала! — сказала Аннушка, высвобождая из машины вторую ногу. — Да, видно, зря! Заезжаю домой, а дом на замке! Соседи говорят — до ночи

не бывает. Я еще проверю, где ты гуляешь до ночи!

Липатов блаженно усмехался — все, слава богу, как всегда! Приехала — и оказывается, это он неизвестно где и с кем мотается, а она — заботливая жена!

— Меня-то выпустите или нет? — раздался из-за ее спины веселый голос.

— Никитка!

Материнские руки обхватили его, потянули к себе, прижали, огладили и замерли на его шее. Растроганный Никита припал чубастой головой к ее щеке, уже мокрой от слез.

— Мамо... да ну, мамо... — бормотал он, всем существом откликаясь на ее родное, всепрощающее тепло.

— Ну, здравствуй, сын!

Это был отец — его сдержанный голос, его зоркие глаза, засматривающие прямо в душу — какова то она, душа?

Мать отвела руки, отступила. Сын подошел к отцу, обнял, поцеловал в колючую щеку и почувствовал, как ответно дрогнул отец. А тут подскочила сестра, потянулись навстречу дружеские руки... Все тут, все в сборе, и, что бы там ни было, все рады... Ох, хорошо вернуться домой!

— Надолго ли?

— До понедельника, на рассвете выедем.

В короткую минуту тишины ворвался восторженный возглас Кузьки:

— Вот это механика!

С первой минуты его внимание приковала невиданная машина, на которой гости приехали и еще собирались уехать обратно.

— Ох-хо-хо! Вот и ценитель нашелся! — захохотал бритоголовый.— В эту диковину, братишка, вложено смекалки побольше, чем в Эйфелеву башню. А называется она «рыдван моей бабушки». Ее конструктор скромничает, но мы его сейчас обнародуем. А ну, Игорь, вылезай! Прошу любить и жаловать — мой сын.

Игорь и не думал скромничать. Вольно развалившись на сиденье, он от нечего делать выбирал, которое из двух девичьих лиц милее. Когда отец позвал его, девушки устремили на него любопытные взгляды;

под этими взглядами было особенно приятно показать свое сооружение и лениво-небрежно, будто он всю жизнь собирал машины, рассказать, что из чего сделано.

Неказистый вид машины не только не смущал Игоря, а усиливал его гордость. Из хороших частей и материалов любой дурак сделает, а вот из всякой рухляди — тут нужны и голова, и руки. Девушки, кажется, глядели на него самого, а не на машину. Настоящий интерес проявлял только паренек по имени Кузька, молодой человек, которого называли Палькой, и, как ни странно, мать Никиты: она потрогала и то и это, погудела в гудок и все ахала и оглядывалась на мужа, призывая его восхищаться.

— Неужто все сами сделали? — восклицала она.

— Сам. Да вот Никита помогал мне,— добавил Игорь, чтобы доставить ей удовольствие; в действительности Никита просто болтался рядом, чтобы не было скучно.

Кузьминишна просияла, а Кузьма Иванович как бы вскользь спросил:

— Что ж, и в моторе разобрался?

— Да нет...— с застенчивой полуулыбкой ответил Никита.

Между тем молодежь уже завладела Игорем, и он охотно подчинился суете провинциального гостеприимства, не очень-то стараясь запоминать имена новых знакомых — все равно: встретились — и простились. Кто-то поливал ему на руки из ковша, кто-то подал вышитое полотенце (одна из девушек, но которая?), а Кузька все крутился под рукой и ненасытно расспрашивал, какой в машине мотор и откуда взяли такой гудок...

— А ну, хлопцы, кому сапога не жалко? — крикнул девичий голос из летней кухни — одна из девушек (но которая?) тщетно пыталась раздуть угли в самоваре.

— Мне не жалко! — воскликнул Игорь, устремляясь к девушке.— Только я уж сам, руки перемажете.

Девушка выпрямилась, он увидел в луче света, падающем с веранды, ее гордое лицо и горячие, лукавые глаза.

— Попробуйте,— сказала она.— Такое чудо техники построили, так неужто самовар раздуть не сумеете!

Он с удовольствием слушал ее мягкий южный говор, так пленявший его, москвича, в этих новых для него местах. Ожесточенно сжимая в гармошку и разжимая голенище, он старался припомнить, что рассказывал Никита о своей семье, одна у него сестра или две и о какой говорилось свадьбе. Теперь он знал, что именно эта девушка милей, и жених был здесь лишним. Но жених оказался тут как тут:

— Давайте я. Вы ж с дороги...

Угли не раздувались, Игорь охотно отдал сапог, и в новых руках сапог так бешено запрыгал, что в самоваре разом вспыхнуло алое пламя.

— Сапог-то отдай, Вовка, не скакать же гостю на одной ножке,— сказала девушка.— И углей подложи. Пойдемте в дом, Игорь... простите, не знаю, как по батюшке.

— Откликаюсь на Игоря без батюшки.

— Ну, пошли, Игорь просто так.

Вовка мрачно смотрел, как они шли по двору, перекидываясь шутками, поднялись на веранду, но не вошли, а остановились у двери, и этот кудрявый парень зачем-то потянулся за абрикосами (ведь зеленые еще!) и притворялся, что ему нравится эта кислятина, а Катерина из его рук губами поймала абрикос и тоже сделала вид, что ей нравится... И откуда он взялся, строитель бабушкиных рыдванов?!

Когда Вовка внес на веранду самовар, приезжие с аппетитом уплетали ужин, а Катерина сидела напротив Игоря, подперев голову руками, и была особенно красивая — вызывающе красивая.

Мать приняла самовар и снова приросла взглядом к Никитке. Широкоплечий, как отец, самый высокий и сильный в семье, Никитка рьяно перемалывал мясо крепкими зубами. Тщательно лелеемый чуб падал на лоб, прикрывая одну бровь и веселый глаз — самый его веселый глаз, которым он любил подмигнуть как раз в ту минуту, когда надо бы отругать его. Ох, Никита, совсем взрослый стал, и такой завидный парень, что девушки и там, небось, вьются кругом да около, хлопцы и там, небось, наперебой зовут в компанию!.. А ты и рад, Никитка? Это ничего, это молодость... Только удержался бы ты на той работе! Удержись, Никитка, пора научиться хоть какому делу, ведь два-

дцать третий год! Любо ли тебе там, сынок? Не слишком ли тяжело на этих буровых? Не слишком ли суров начальник?..

Сотни вопросов горели на губах у матери, но не задала ни одного: где уж тут, при всех!

Какой-то интересный разговор завязался за столом, так что и Павлушка Светов весь загорелся, и Костя сам не свой стал, и старик оживился — любит поговорить! Все приметила Кузьминишна, а вникнуть в разговор не могла: слишком устала она и от хлопотного дня, и от старания всех приветить, и от тревожного предвкушения предстоящих разговоров с глазу на глаз и с сыном, и с этим его начальником — каков-то он, что за человек? Ведь ему одному, каков бы он ни был, до конца поверит Кузьма Иванович.

Сколько раз старалась она представить себе человека, который должен «хоть кнутом, хоть вожжами» зажать ее сына в кулак. И вот он сидит перед нею, ширококостный, сутулый, бритоголовый, пьет третий стакан крепкого чаю и молчит. Не улыбнется. Бирюк бирюком. Как под таким работать?..

И вдруг бирюк отставил стакан, в упор глянул на Аннушку и на сына, снова на Аннушку и снова на сына, спросил:

— А вы понимаете, геолог и гидротехник, перспективный смысл этой работы?

Игорь смотрел на отца выжидательно и почему-то недоверчиво, даже с досадой, Аннушка быстро и радостно ответила:

— А как же! — И стала пояснять, обращаясь к Кузьме Ивановичу и мужу: — Вы же знаете, что такое грунтовые воды для шахтеров. Пытка! А под нашей речонкой залегают мощные пласты угля, ее воды фильтруются через грунт и создают труднейшие условия для добычи («добыча» она произносила с ударением на первом слоге, по-шахтерски)... А мы эту речонку берем и поворачиваем в новое русло, сами приказываем ей: иди сюда, тут ты вредить не сможешь!

Теперь и Кузьминишна поняла, обрадовалась. Посмотрела на Никиту — доволен ли он, что работает в таком важном деле. Никитка уплетал пирог. Может, и не слышит?

Кузьма Иванович тоже глянул на Никиту.

— Ну как, сын, интересное дело?

Никита перестал жевать, усмехнулся:

— Наше дело простое. Где прикажут бурить, там и бурим.

Кузьма Иванович поморщился, Игорь вызывающе сказал:

— А это и есть для нас самое главное — буровые работы.

Митрофанов фыркнул, но промолчал, только протянул стакан — еще чайку!

Палька Светов заинтересовался, на сколько километров новое русло, нет ли по пути городов и селений. Аннушка объясняла, чертя вилкой по скатерти.

— Да я не о том, — прервал Матвей Денисович, наклонив голову и выставив крутой лоб, будто собирался боднуть кого-то. — Эта речонка пустяшная. А не думаете ли вы, что настает пора распоряжаться, свободно и сознательно распоряжаться природой в интересах общества?

— Вот именно! — вскрикнул Палька.

— Ну а конкретнее? — спросил Саша.

— Я думаю: на нынешнем уровне техники государство может начать планомерное и масштабное улучшение природы в интересах своего экономического развития. Наша речушка — акт местного значения, не отражающийся на экономике и климате даже Донбасса, а ведь можно себе представить...

Кузьминишна начала терять нить разговора. Бирюк говорил словами, которых она не понимала, вернее, каждое в отдельности и разобрала бы, но, когда они соединялись все вместе в ученую речь, общий смысл ускользал от нее, и она снова со страхом подумала: нет, не сумеет бирюк живую Никиткину душу понять и обуздать...

Но тут у бирюка засветилось лицо: и угрюмые глаза, и сухие губы, и лоб, прорезанный белыми, незагоревшими полосками морщин, и щеки с пробивающейся седой щетиной — все засветилось, заиграло, и стало видно, что никакой он не бирюк, а чистый и горячий человек.

— Ты помнишь, Кузьма, Каракумы, а? Неделями песок на зубах, а? В волосах песок, в пище песок, а вода — будь у нас золото, мы бы его вес на вес об-

меняли на воду! Помнишь? Так разве мы не можем повернуть воду туда, в песчаные пустыни?

— В пустыни? — охнул Кузька.

— Голое небо над головой! Сутки, неделю, месяц — голое небо, без единого облачка. Раскаленное небо!.. А дать туда воду, ты понимаешь. Кузьма?! Облака будут! Ого-го-го! Конец голому небу! Засухе! Бесплодию пустынь!..

— Вон куда ты клонишь! — сказал Кузьма Иванович.— Оно бы и замечательно, да только как?

— Пожалуй, это осуществимо,— задумчиво сказал Саша.— В принципе.

— Конечно! — воскликнул Палька.— Но какую реку?

И что тут поднялось!

Дерзкие предложения посыпались одно за другим: уже и Волгу начали куда-то заворачивать, и Дон потревожили; кто-то махнул на Урал и тоже повернул — не горный хребет, а Урал-реку...

Катерина сидела, подперев голову рукой, устремив глаза поверх спорящих; поглядит на притихшего Вовку — и снова отведет взгляд.

— Двенадцатый час, папа! — вдруг резко сказал Игорь.— И пока нам важнее хорошо и в срок отработать данные по нашей речушке.

Он сделал упор на слова «хорошо» и «в срок».

Митрофанов-старший сразу осел, смущенно задвигался.

— Мы ж еще хотели Русаковского навестить. Гостиница от вас далеко?

Пошли мелкие разговоры о том, как проехать в гостиницу, условились, что завтра Митрофановы приедут обедать. Матвей Денисович говорил добродушно, но Кузьминишна видела: что-то в нем погасло. И она с недоброжелательством покосилась на Игоря: зачем он так?

Еще меньше ей понравился Игорь минутой спустя, когда снова оказался с Катериной на крылечке.

Она хотела выйти, отвлечь Катерину, но тут же забыла об этом, потому что Кузьма Иванович и Митрофанов перед прощанием ушли вдвоем в комнату. О Никите разговор? Никита понял это и мгновенно исчез. Калитка не хлопнула, но уж мать-то знала, как

ловко он перемахивает через забор и как нескоро возвращается.

Уход с веранды двух старших мужчин был сигналом, все разбежались кто куда. Собирая посуду, Кузьминишна слышала голоса и шепот во всех углах сада, узнавала: под сиренью шепчутся Люба с Сашей, на крыльце сидят, обнявшись, Липатовы, а по дорожке прогуливаются втроем Катерина, Вовка и этот приезжий. Катерина и приезжий непринужденно болтают, смеются, а голоса Вовки и не слышно.

Кузьминишна снесла посуду в летнюю кухню, постояла в раздумье — мыть ее или оставить до утра? — беспечно махнула рукой и пошла в сад — что я, хуже других? Все гуляют, а я буду гнуться!

Под вишней, на скамеечке, сидели Палька Светов и Кузя.

— Костенька, спать пора! — сказала Кузьминишна, ласково подтолкнув сына, и сама подсела к Пальке, обняла, засмеялась: — А тебе и парочки нет, кроме Кузьки?

Палька пожал плечами, с тоской сказал:

— В гидротехники пойти, что ли... Вон что люди делают!

Кузьминишна кивнула, мечтательно глядя перед собою.

— Я бы сама куда ни есть помчалась, да старика разве сдвинешь!

Она сорвала несколько вишен, поиграла ими. В льющемся с веранды мягком свете Палька видел молодой блеск ее глаз.

— Вот Люба...— Она бросила в рот вишню, протянула парочку вишен Пальке.— Конечно, Саша славный. Даже очень славный,— поправилась она,— но будь я сейчас на ее месте, ни за что не торопилась бы, сама как-нибудь судьбу свою сделала, а там можно и замуж, и детей, и все. Достигнуть сперва надо.

— Саша ей не помеха,— заступился за друга Палька.

— Ну как же! Вы, мужчины, даже в толк не возьмете, сколько от вас помехи. Самый что ни есть лучший мужик в доме — такая забота! Суета за троих — и то и се. И мысли всякие женские. Ты молодой, не знаешь. А любовь, думаешь, мало чего стоит?

Она повернула голову к Пальке, и было в ее лице в эту минуту то самозабвенное выражение, которое так пленяло когда-то молодого Кузьму Ивановича, а теперь оживало и в Любе, и в Вовке, и даже в Кузьке.

— Когда любишь, Павлуша, кругом как туман стоит и в этом тумане один дорогой сияет.

Палька жадно слушал ее молодой голос и те, другие, приглушенные голоса, доносившиеся из-за кустов, и ему вдруг томительно захотелось такой любви, чтобы кругом туман и только одна дорогая сияет. Мимолетно прошла перед ним и удалилась женская фигура, словно окаймленная золотой полоской. Рыжая-золотая — кто она?

— ...сердце наше, Павлушка, и к любви и к боли нежное. И через эту женскую природу трудно перескочить.

— А зачем перескакивать?

— А затем, дорогой, что не хочется всю жизнь пристяжной бегать.

— Так ведь теперь женщинам все дороги открыты — скачите на здоровье!

— Открыты! А взгляд на нас у мужиков... как бы тебе сказать... и с уважением, да снисходительный. А это силу отбивает. Да что скрывать, — она снизила голос до шепота, будто ему одному сообщала большой секрет,— мы сами на себя часто со слабостью смотрим. Я вот все думаю и гляжу... Нет, будь я на месте Любы, иначе бы жила!

— Молода еще.

— Молода! А ты не молод? Ты вот мечтаешь реки поворачивать, горы двигать...

Она запнулась — горькая мысль о Никитке обожгла ее: а он-то! Водка да гульба, работы поменьше, заработок побольше — вот и вся его мечта. Теперь, как и раньше. Сердце матери не обманешь, сердце чует, что никакого приятного разговора у Кузьмы Ивановича с Митрофановым нет, приятные разговоры короче...

Но об этой боли никому не скажешь. Заглотнула ее, тряхнула головой, продолжала:

— ...почему бы и Любке не мечтать? Так нет же... На Сашу своего очи подняла — и все. Окликни — не услышит.

В темноте не разглядеть было ни Любу, ни Сашу, белела лишь рубаха Любы да чуть обозначались светлыми пятнами их лица.

— Любовь! — с легким вздохом сказал Палька.

— Любовь! — в тон ему повторила Кузьминишна и, отгоняя непрошеную и смешную завись к молодым, шутливо сказала: — А что совсем досадно, так ведь и Вовка у меня такой же дуралей! И с Катеринкой они будто поменялись.

— Небось сына жалеете? — буркнул Палька, скрывая смущение: он заметил сегодня кокетство сестры и злился на нее.

Кузьминишна замахала руками:

— Еще чего! Эти огорчения, Павлуша, не смертельные. Я своего тоже крутила — дай бог! Ничего, выжил. Катерина — девка сильная, сама себе голова. Одно не пойму: что у них с Вовкой происходит? — Ее голос потерял веселую таинственность, она снова стала матерью, озабоченной бедами и тревогами детей.— Иногда даже зло берет. Ну сколько времени тянуть будут?

— А куда спешить? Сами же говорили, скакать куда-то там надо!

— Ой, верно! Подцепил!

Она звонко рассмеялась на весь сад.

Из темного окна — света в доме не зажигали — Кузьма Иванович спросил удивленно и нежно:

— Ты, Ксюша?

Через минуту они вышли. Матвей Денисович начал созывать своих и прощаться. Кузьма Иванович мимоходом сжал локоть жены и шепнул:

— Все в порядке, Ксюша.

Она тоже мимолетно улыбнулась ему, хотя поняла, что с Никиткой все еще далеко не в порядке и приняты какие-то строгие решения, но Кузьма Иванович хочет поберечь ее и всю тяжесть принять в одиночку на свои отцовские плечи.

5

Последними у калитки остались Катерина с братом и Вовка. Вовка так ожесточенно крутил щеколду, что казалось: вот-вот сорвет ее.

— Пойдем до дому, Катерина? — зевая, позвал Палька.

— Вот еще, с братом ходить! Как-нибудь найдется провожатый.

— Тогда счастливо оставаться!

Две пары глаз проводили Пальку через улицу и палисадник. Когда стукнула за ним дверь дома, Вовка спросил, взглянув на Катерину из-под насупленных бровей:

— Это о каком же провожатом ты говорила?

— А о тебе!

— Что же шофера не взяла? Подвез бы на своем рыдване.

— И подвез бы, да развернуться негде.— Так как Вовка молчал, Катерина с вызовом добавила: — И не шофер он, а студент. Четвертого курса.

— Все доложил!

— Почти. Вот только не успел доложить, чи есть у него зазноба, чи свободный. Придется спытать.

— Дразнишь?

Он переминался с ноги на ногу, беспомощный перед ее независимостью. Она долго рассматривала, будто изучала его несчастное лицо и всю его поникшую фигуру, потом заговорила со злобным отчаянием:

— А почему бы мне и не дразнить тебя? Погляди на Пальку! Моложе тебя, а уже аспирант! Саша всего на год старше, и Саша один из такой нужды пробивался! В Москву посылают, ученым будет! И если Люба выходит замуж, так она знает, что человек достоин, что...

— Тебе ученого надо? В Москву надо? Так вот этот студентик — пожалуйста!

— Наплевать мне, ученый или кто! Федька Коренков был сопляк сопляком, а теперь весь Донбасс знает. Генька Ежиков в институт готовится — и поступит! Все, все, все двигаются в жизни! Я сегодня смотрела — люди говорят, мечтают, а ты молчишь! Сказать нечего!

— А может, и есть! Может, и не стою на месте? — о чем-то раздумывая, произнес Вовка.

— Не стоишь? На шахту да из шахты, поел, погулял — вот и вся твоя жизнь.

— Нет, не вся,— по-прежнему не обижаясь, медленно возразил он.— Ты просто не знаешь. И не спрашивай больше.

— Такие секреты, что и спросить нельзя?

— Придет время — узнаешь.

— Так придет время — я и пойду за тебя!

— Если бы ты хотела... если бы ты любила... Эх, да что говорить! Тебе ведь только понасмехаться.

— Видно, хорош секрет, если ты заранее знаешь, что я буду насмехаться!

— Я просто знаю, что ты...— Он начал со страшной злобой, но сам испугался того, что хотел сказать, и не докончил.

— Что же ты знаешь про меня?

— Ничего.

— Маловато, чтоб жениться!

— Катерина!

— Двадцать четыре года Катерина. И пора спать.

— Спокойной ночи.

— Ты меня не проводишь?

— Я думал, тебе это не нужно.

— И не поцелуешь?

Он рванулся к ней, но она отскочила и засмеялась по ту сторону калитки.

Они молча прошли через улицу до ее дома. Она уже готовилась ускользнуть, оставив его растерянным, сбитым с толку ее горячим, неожиданно оборванным поцелуем, когда он схватил ее за руки так, что она вскрикнула от боли, и заговорил необычно гневно:

— Так вот, Катерина! Ты думаешь, я шляпа, потому что с тобой я действительно шляпа, если не обломал тебя до сих пор! Ты думаешь, я ни на что не способен. Что ж, думай! Видно, ты неразборчива — терять время с таким человеком! Теперь я не хочу больше, поняла?!

Катерина, остолбенев, всматривалась в еле видное лицо своего возлюбленного — даже в потемках угадывалось выражение ненависти. И что он только говорит? Вовка, ее податливый, добрый Вовка!.. Ненавидит? Не хочет ее?.. Она пыталась сказать хоть слово, но он продолжал еще отчаянней:

— Я тебе сейчас все скажу, все и в последний раз! Ты мне закрутила голову, тебе нравится мучить

такого теленка, каким я был с тобой... Хватит! Я не такой. И мне не надо жены, которая любит не меня, а поездки в Москву! Да, да, не возражай, довольно я тебя слушал! Довольно я из-за тебя глупостей наделал! Чтоб видеть тебя каждый вечер, я ночами не спал, чуть глаз не лишился — хватит! Не хочешь выходить за меня, не надо!

— Володичка...

— Нет, нет, молчи, довольно! Тебе нужны ученые — ищи, держать не буду! Не хотела быть мне другом, не надо! Справлюсь без тебя! Прощай!

— Володичка...

— Нет, нет, поздно!.. Я себе на сердце наступаю, Катерина! — вдруг со слезами в голосе сказал он.— Но я тебе клянусь, что все кончено. Больше ты моего унижения не дождешься.

Он отшвырнул ее руки и побежал вдоль улицы. Она окликнула его — не остановился. Побежала за ним — исчез в темноте. Тогда она припала к столбику калитки и затихла, прислушиваясь, как тявкают — все дальше и дальше — потревоженные собаки.

А Вовка бежал, не сбавляя шагу, мимо спящих домиков, мимо землянок старого поселка — в степь. Он слышал, что Катерина звала его, но не вернулся. Нет, нет, кончено!

Постепенно бег перешел в неверный, спотыкающийся шаг. Вовка увидел черную, пустую степь, увидел небо в больших, ярких звездах. Бросился на землю, на душистую, мягкую от густой травы, все еще теплую землю. Конец! После всего, что он наговорил ей, отступить невозможно. И ведь он прав, прав!.. Хотя такая правота убить может. Как же это будет? Ежедневно проходить мимо ее дома — и не остановиться, даже если она у калитки. Пройти мимо ее компрессорной — и отвернуться. Она придет к Любке (кто может запретить ей зайти к подруге?), а он будет сидеть, как проклятый, на своей верхотуре, не сойдет, не заговорит... Ну и пусть разрывается сердце — не сойдет!

А может быть, это все неправда, может быть, он сам виноват, что скрывал от нее?.. Зачем он скрывал?

Он начал припоминиать, как все случилось. Прошлым летом Катерина подала документы в заочный педагогический. В те дни их отношения только начинались, Катерина была нежней, но ее насмешки и тогда донимали его. Решение Катерины учиться взволновало его и пристыдило. Как же так? Девушка получит образование, занимаясь вечерами (она вытянет, в этом можно ие сомневаться!), а он, мужчина, отстаиет!.. Он терзался несколько месяцев, не сделав решительного шага. Отъезд Катерины на зимнюю сессию ошеломил его. Вот оно, самое страшное! Тут она на глазах, а в Ростове?.. Кого она там встречает, с кем из студеитов дружит?.. Именио во время двухнедельного отсутствия Катерииы он решился. Был составлен жесткий план подготовки. Полторы недели он занимался все вечера без передышки и в полном объеме ощутил свое невежество. Но вот вернулась Катерина — счастливая, полная впечатлеиий и соскучившаяся без него, — да, она соскучилась, три вечера подряд они были неразлучны, Катерина была такой доброй, что он ошалел от счастья. Когда он немиого опомнился и решил вернуться к занятиям, у него ие хватило сил отказаться от встреч с Катериной, и он иаверстывал иочью. Катерина сама заговорила с ним об учебе: пора браться! Неужели ты так и останешься неучем?.. Он чуть было не признался ей во всем, но испугался. О-о! Ои знал, что скажет Катериа! Обрадуется, похвалит и начнет «помогать» ему, всячески сокращая встречи. Нет, этого он не хотел. И вот уже седьмой месяц он втайне от нее занимался ночами, дурея от любви и от усталости. Деиь — в шахте, вечер — с Катерииой, ночью — за книгами. На сон оставалось четыре часа. Он был очеиь здоровым парнем и сумел выдержать, ио глаза резала боль, пришлось потихоньку бегать в поликлинику. Ничего! Ои мечтал, что она иакоиец выйдет за него замуж, и ои преподнесет ей, как свадебный подарок, поступление в институт. Ты видишь, Катерина, какой у меня характер! И когда я кончу, я буду не из тех мальчиков с дипломом, что испуганио озираются в шахте, нет, я прошел почти все шахтерские специальности, я буду настоящим инженером... Ты сможешь гордиться мною... Так он думал

тогда, наивный дурак! А она крутила ему голову как хотела.

Припомнив каждую встречу, каждую насмешку Катерины, все ее лукавые выходки и сегодняшнее заигрывание с этим студентиком, он с горьким успокоением признал, что был прав, что она злая, своевольная, не пойдет она за шахтера — просто развлекается, пока не подвернулся жених получше. Значит, конец!

Когда он возвращался домой, звезды уже побледнели и ознобом сводил плечи предутренний холодок. Закрывая за собой калитку, он почувствовал, что кто-то стоит, притаившись, рядом с калиткой и взволнованно дышит.

— Кто здесь? — спросил он свирепо.

— Володичка...

Она прижалась к нему, обхватила его голову захолодевшими руками.

— Не сердись, Володичка, я все-все время стояла здесь и ждала... Это у меня характер такой, будь он проклят, а я люблю тебя!.. Неужели мне аспиранта нужно! Мне для тебя хотелось, за тебя обидно было — ты же лучше их всех!

— Катерина,— сурово сказал он, задыхаясь от счастья. — Если ты думаешь сломить меня, если ты рассчитываешь...

Она выпустила его и вскинула гордую голову. Он со страхом понял, что обидел ее, но Катерина произнесла торжественно:

— Клянусь тебе: люблю и выйду за тебя, когда ты захочешь. Хоть завтра. Хоть сегодня. Хочешь, сейчас разбудим всех и скажем? Хочешь... хочешь, я сейчас пойду к тебе и у тебя останусь?

Он молчал. В эту ночь он принял безжалостно твердые решения и сейчас никак не мог поверить, что они не нужны.

— Ты что же... не хочешь?!

Тогда он схватил ее за плечо.

— Да, пойдем! Пойдем! Теперь я тебе покажу, чем я занимался, пока ты издевалась надо мной!

Он увлек ее к дому, яростно сжимая ее плечо, охваченный одним желанием — восторжествовать, доказать, увидеть ее раскаяние.

На скрипучей лесенке он опомнился, выпустил ее плечо:

— Тише. Услышат.

— А я целого света не побоюсь! — И она первою взбежала по крутым ступенькам.

Кузьминишна проснулась, когда хлопнула калитка и в саду зазвучали возбужденные голоса. Никитка? Она со страхом прислушалась — с кем это он и очень ли пьян? Судя по голосам, пьян. И с ним женщина. Господи помилуй, хоть бы старик не проснулся! Голоса приблизились к дому — да что он, с ума сошел, девку в дом вести? Такого еще не бывало. Вот вам и чужие твердые руки — пуще разбаловался!

Но что это? В коридорчике, почти под дверью, Вовкин шепот: «Тише»,— и Катеринкин смелый, громкий ответ. Ишь ты, целого света не побоялась, среди ночи к милому пришла и каблучками притопывает, чтоб слышали! Ай, невестушка, как долго упиралась и как отчаянно в дом вошла!

Лежала Кузьминишна не дыша и все прислушивалась: вот прикрыли дверь наверху, вот смутно доносится Вовкин сердитый (почему сердитый?) голос... Ласково засмеялась Катерина... Тишина. Тишина. Тишина...

Кузьминишна быстро натянула на голову одеяло. Она ничего не осуждала, только радовалась за сына и старалась понять, что же сегодня произошло между ними.

Примостившись поудобнее к плечу похрапывающего мужа, Кузьминишна уснула с удивленной улыбкой на лице и уже не слыхала, как скрипнуло окно соседней комнаты и, шаркая ногами по карнизу, перекинулся через подоконник и грохнулся на постель Никита.

6

Павел Светов остановился на скрещении двух улиц: одна вела к столовой ИТР, другая — к институту. Было бы неплохо подзаправиться после нескольких часов, проведенных в технической библиотеке в поисках пустяковой справки. Но и лаборатория притягивала: он еще не был там сегодня и чувствовал пустоту дня, как всегда, когда приходилось отрываться от реального

дела. В этот обеденный час в лаборатории особенно хорошо: нет старого дотошного лаборанта Федосеева, сующего свой нос в каждую пробирку, все разбежались кто куда. За окном знойный день, а тут прохладно, отблески солнца дробятся в колбах, слышно, как этажом ниже тикают стенные часы в директорском кабинете... И становится удивительно приятно оттого, что ты один и что ты работяга, каких мало.

Он совсем было решил идти в институт, но голодное воображение подразнило его видением бифштекса по-деревенски, прикрытого горкой жареного лука.

В полупустой, пронизанной солнцем столовой Палька выбрал столик у окна, заказал самые соблазнительные блюда и попросил газеты.

Он видел себя как бы со стороны, глазами сидящих в зале людей: вошел научный работник (молодой, но талантливый: о, этот далеко пойдет!), заказал борщ флотский, бифштекс по-деревенски и мороженое, привычно листает подшивку и просматривает газеты наметанным глазом — не подряд, как новички, нет! — он знает, где что. Передовая — ого, о нас! «Условия победы стахановского движения». Донбасс после побед прошлой осени покатился назад, давали 240—250 тысяч тонн угля в сутки, теперь 185—190 тысяч тонн. Почему? «Люди возомнили, что дальше победа придет уже сама собой, а стахановское движение разовьется самотеком...» Ох, нет! Кузьма Иванович говорит — начальство не справляется, Липатов говорит — организация подготовительных работ хромает, Вовка ворчит, что задерживает откатка. Ага, тут как раз об этом и говорится. Правильно!

Ну а как автопробег Горький — Памир? Каракумы пройдены. От Копикли (где это?) до Ашхабада автоколонна прошла за пятьдесят девять часов, включая остановки и ночевку. Двести восемь километров шли по барханным пескам при 68 градусах жары! 68 градусов! Об этом и говорил Митрофанов: раскаленное небо, песок на зубах, в пище песок, а воду обменяли бы на золото, вес на вес! Здорово все-таки, если сумеют повернуть туда воду...

Интересная статья «Металл новой эпохи». До чего хорошо звучит— металл новой эпохи! О чем это? А, металлический магний! «Мы вступаем в эпоху лег-

ких металлов...» Алюминий — и тот уже тяжел! Металлический магний «легче железа в четыре раза и намного легче алюминия». Главный его недостаток — быстрая окисляемость. Понятно. «Найдены, однако, методы, позволяющие...» Какие?

Раздумывая о химических превращениях, над которыми бьются неизвестные энтузиасты металлического магния (ведь вот нашли же люди дело под стать новой эпохе!), Палька уже взялся за мороженое, да так и замер с приоткрытым ртом...

В столовой появилась женщина в желтом полотняном платье, схваченном у талии пестрым кушаком. Она медленно шла через зал сквозь солнечные лучи, и каждый раз, попадая в солнечный луч, ее волосы вспыхивали темным золотом. Она!

Женщина остановилась, оглядываясь в поисках свободного места. Свободных столиков уже не было, но многие стулья были еще не заняты. Палька поспешно подтянул к себе газеты и посмотрел прямо в лицо женщины. Она поняла приглашение и неторопливо подошла.

— Вы кончаете? — проронила она, садясь и обнаженной до плеча, чуть тронутой загаром рукой задергивая занавеску.

— Скоро,— ответил он и заказал еще порцию мороженого.

Женщина, не глядя на него, слегка улыбнулась.

Он протянул ей карточку.

— Благодарю вас,— бросила она таким царственным тоном, что Палька не решился на дальнейшие попытки завязать знакомство.

Женщина заказала фаршированные помидоры. Без супа. «Потолстеть боится»,— со злорадством решил Палька и, закрывшись газетой, начал исподтишка разглядывать соседку.

Волосы не были золотыми, они были рыжие, очень красивого медного оттенка (может, крашеные?). С той стороны, где солнце бросало сквозь занавеску желтый свет, волосы как бы дымились, их цвет напоминал зарево. Кожа нежная, просвечивающая, над висками голубеют жилки. Брови круглые и узкие, темнее, чем волосы (это уж факт — крашеные!). А волосы не кра-

шеные. Очень красивые волосы! И лицо... Не скажешь, что красавица, а хочется глядеть и глядеть.

Она будто и не замечала Пальку, ее зеленовато-карие глаза рассеянно блуждали по залу, так что можно было беспрепятственно разглядывать ее из-за газетного листа. И вдруг она быстро в упор посмотрела на Пальку (значит, все время замечала его уловки?) и, отвернувшись, усмехнулась уголками губ.

Гордячка!

Палька ожесточенно листал подшивку. Главное, не обращать на нее внимания. Подумаешь, не видал он таких барынек!

— Две порции мороженого сразу,— мелодичным, смеющимся голосом сказала она официантке. Это был вызов ему, Пальке. Но он только упрямее пригнулся к газетному листу.

Официантка ушла за мороженым и пропала.

Женщина поправила прическу, солнечный зайчик от ее часиков скользнул по лицу Пальки, затанцевал на обороте газетного листа.

Палька упрямо читал: «...объем потребления каучука считается одним из важнейших показателей уровня культуры, техники и обороноспособности страны...» Зайчик все еще прыгал. Нарочно она, что ли? Палька заставил себя заинтересоваться проблемой синтетического каучука: «...в будущем году мы оспариваем у Англии второе место в мире. Впереди нас остаются только США». Это здорово! Вот она, моя химия!

Зайчик погас. Женщине принесли мороженое. Уйти немыслимо, смотреть на нее нельзя ни в коем случае, этого она не дождется!

Ну а за границей что? Ничего хорошего! Гляди-ка, до чего разгулялись фашисты! Гитлер отправляется в морское путешествие вдоль берегов Швеции и Норвегии. Геббельс и Геринг собираются в Грецию... Немецкий генерал Рейхенау едет в Нанкин, чтобы преподнести Чан Кай-ши саблю в подарок от Гитлера...

— Мерзавцы! — пробормотал Палька и, перевертывая лист, мельком глянул на соседку.

Она доедала мороженое, розовым язычком облизывая ложку.

Он нахмурился и уткнулся в газету.

Опять запрыгали зайчики, на этот раз от стакана. Женщина маленькими глотками пила лимонад.

Остались одни объявления. Чтобы не глядеть на нее, начал читать объявления: «Нужны инженеры и строители всех специальностей», «Срочно в отъезд требуются техники и рабочие, знакомые с буровыми работами...», «Прием на краткосрочные курсы монтажников металлоконструкций», «Союзкультторг НВКТ СССР объявляет всесоюзный конкурс на лучшую куклу...» Вот оно как! На лучшую куклу! «Управление по делам туризма и экскурсий организует и проводит...» Отправиться, что ли, в какой-нибудь сногсшибательный поход на Памир или на Алтай? «Комитет химизации и комиссия по подземной газификации угля объявляют всесоюзный конкурс на проект...» Что это такое — подземная газификация угля? Странно, ничего не слыхал о ней! «Материалы и условия конкурса высылаются по требованию...» Непременно напишу, пусть вышлют. Чем черт не шутит!..

Женщина допила лимонад и расплачивалась, выискивая на дне сумочки мелочь, так как у официантки не было сдачи. Палька встал, бросил поверх ее денег свой червонец, процедил: «Сдачи не надо!» — и пошел к выходу. Он успел заметить, что женщина вспыхнула от такой явной невежливости. Ну и пусть! Может задаваться сколько хочет. Он сейчас пойдет на почту и потребует выслать условия конкурса, а потом разработает, чего доброго, самый лучший проект — конечно, разработает! — и тогда она еще пожалеет. «Талантливый молодой ученый Павел Кириллович Светов...» Газификация угля. Подземная газификация угля. Любопытно!

Отправив запрос, Палька заспешил в институт. Прямо над парадным входом старого особняка, построенного еще бельгийцами, над одним из чванливых львов, карауливших теперь профессора Китаева и директора Сонина,— окна китаевского кабинета. Было бы лучше проскочить в институт двором, но во дворе шла стройка: к маленькому особняку пристраивали четырехэтажное новое здание — к рукаву пришивали кафтан. Вход со двора закрыли, чтобы оттуда не заносили известковую пыль.

Палька благополучно проскочил в лабораторию,

не попав на глаза Китаеву, но лаборант Федосеев, поджав губы, сообщил, что Китаев дважды справлялся, кто из аспирантов отсутствует.

— Федосеич, . вы слыхали что-нибудь о подземной газификации угля?

Федосеич знал все, что касалось угля и химии. Пальке казалось, что он родился одновременно с химией и химия не могла существовать без Федосеича. Но и Федосеич ничего не знал о подземной газификации угля. Черт возьми, это что-то абсолютно новое!

Непонятная подземная газификация сливалась в его воображении с дымящимися на солнце волосами. Вот ведь далась мне эта рыжая! Откуда она свалилась? И почему ходит, как к себе домой, в столовую ИТР? Если бы она была новым инженером, Палька давно услыхал бы, что на шахты прибыла столичная краля...

— Павел Кириллович, вас зовет профессор Китаев.

Вот оно! Начинается...

Кабинет Ивана Ивановича Китаева был похож на захудалую лабораторию со случайным оборудованием: профессор любил помудрить наедине и постоянно запрашивал из лаборатории то одно, то другое — Федосеич ворчал, но покорно носил. Аспиранты прозвали этот кабинет «кельей алхимика».

— Добрый день, добрый день, мой юный друг! — приветствовал Пальку профессор.— С утра вас не видал и соскучился.

— Я был в технической библиотеке, искал справку о...

— Да разве я проверяю вас! — воскликнул Иван Иванович, отмахиваясь короткопалой сморщенной ручкой. — Вы же знаете мои принципы: научный работник подчиняется только своей научной совести и внутреннему чувству долга. Зачем же мне допрашивать вас, где и почему вы отсутствовали половину рабочего дня?

— Иван Иванович, вы что-нибудь слыхали о подземной газификации угля?

Китаев не любил, чтобы его перебивали.

— Мой принцип состоит в том, что только силой научного авторитета я воздействую иногда на умы

моих учеников,— окончил он.— Какая газификация? — процедил он, снимая очки и внимательно разглядывая Пальку.— Неужели вы опять, Павел Кириллович, стремитесь уклониться от хода научного мышления в некие проблематические дебри, коих так много возникает справа и слева от науки?

Заглотнув насмешливый ответ, Палька вежливо объяснил: прочитал объявление и надеялся, что профессор что-нибудь знает...

— Не слышал и не думаю, чтобы частные инженерные задачи могли привлекать внимание юноши, посвятившего себя науке,— проворчал Китаев и надел очки.— Я вас потревожил для того, чтобы уточнить актуальную проблему отпусков. Помнится, вы хотели поработать часть отпуска, чтобы закончить начатое нами исследование. Могу ли я считать, что ваше научное рвение не ослабело?

— Можете,— сказал Палька, переступая с ноги на ногу.

Такое необдуманное решение он высказал сгоряча месяц назад: надеялся развязаться с «навесками» и с осени взяться за самостоятельную тему. А сейчас вдруг представилось, что отпуск можно использовать для разработки проекта этой непонятной газификации... Но не говорить же об этом старику!

Китаев снова снял очки и несколько ласковее поглядел на аспиранта. Человек одинокий и целиком погруженный в жизнь института, он ненавидел отпускные месяцы и желал бы видеть своих аспирантов погруженными в работу, без всех глупостей, которые постоянно отвлекают их от дела: то любовь, то какие-то спортивные занятия (гоняют мяч, как маленькие, или стараются дальше всех забросить дурацкое копье — первобытное занятие, достойное дикарей, а не научных работников!). От Светова он все время ждал чего-либо подобного. Как ни странно, неуравновешенный юноша, именуемый товарищами «Палька» (!), до сих пор ничего не выкинул, да еще частью отпуска жертвует.

— Вот и чудесно,— протянул Китаев.— Извините, что оторвал вас в рабочее время, Павел Кириллович. Загляну к вам позднее или завтра утром.

Палька ушел, ругаясь про себя. Милое обещание

означало: я рядом, я проверяю. И на кой черт было жертвовать половиной отпуска?

Перед ним опять возникла рыжая-золотая с ее повадками гордячки и удивительным лицом, на которое хочется глядеть и глядеть. Есть такое слово — ненаглядная. Вот это оно и значит: глядишь и не наглядишься.

На следующий день он снова встретил ее, она вышла из столовой и запросто попрощалась с двумя институтскими доцентами. Была она не одна, а с девочкой лет десяти, девочка тоже поклонилась, розовый бант на ее волосах смешно подпрыгнул.

— Очаровательная женщина! — сказал один из доцентов, рассеянно здороваясь с Палькой.

— Не разглядел,— притворяясь равнодушным, буркнул Палька.— А кто она такая?

— Как, вы не знаете? Татьяна Николаевна, жена профессора Русаковского.

Имя Русаковского было широко известно. Недавно Русаковский приехал с комиссией принимать государственные экзамены и консультировать угольные тресты. Пальке не пришлось встречать его, профессор представлялся ему вторым, улучшенным, более роскошным изданием Китаева. И вдруг такая жена!

Три дня подряд Палька утром и вечером проходил мимо гостиницы, но все окна были затянуты одинаковыми занавесками. Где там прячется ненаглядная? В столовой он сидел так долго, что официантки теряли терпение. На пятый день у него не оказалось денег, он ел одно мороженое, обильно заедая его хлебом.

— Вы кончили? — спросила официантка, сметая крошки.

Палька вышел злой, негодующий. Какого дьявола он тут торчит? На что ему сдалась эта рыжая? Раз у нее такая дочь, ей не меньше тридцати. Выскочила замуж за старика ради денег и ученого звания! Ну и пусть наслаждается всем этим, ему наплевать.

Он снова представил себе ненаглядную, шагающую по степи в золотой солнечной каемке. На что ей муж и дочь? Он подошел бы к ней: «Здравствуйте, вы, очевидно, любите нашу степь?» — «Да,— сказала бы она с улыбкой,— степь нельзя не любить». Он взял бы ее за руку и повел по степи, и привел бы ее в балочку,

где растет ежевика, и залез бы в колючие кусты, и наклонял бы ей ветки с сочными, черными ягодами, чтобы она полакомилась, не оцарапав свои красивые руки.

— К черту!

Вовка и Катерина — пара, ровня, он может залезть ради нее в колючие заросли, не теряя достоинства, она сама не промах. А эта городская красотка будет стоять с царственным видом, будто так и надо. Нет, к черту! Пора заняться делом.

Приняв решение, Палька повеселел и деловым шагом отправился в техническую библиотеку поискать сведений о подземной газификации угля. Поднимаясь по лестнице, он с удовольствием думал, что умеет справляться с глупыми увлечениями.

Войдя в библиотеку, он растерялся от неожиданности: рыжая-золотая была там. Положив на барьер обнаженные руки, она болтала с библиотекаршей, пока та по длинному списку подбирала ей литературу.

Обе повернули головы к вошедшему. Покраснев, Палька наклонился и сказал: «Здравствуйте» — без добавления имени и отчества библиотекарши, так что приветствие могло относиться к обеим женщинам. Рыжая чуть наклонила голову, губы ее насмешливо дрогнули. Но голос был приветлив, очаровательный, немного певучий голос:

— Пожалуйста, товарищ, берите, что вам нужно. У нас дело долгое.

Уж не думает ли она спровадить его? Этот номер не пройдет!

— Спасибо, у меня тоже долгое дело.

И он попросил каталог заграничных журналов.

Устроившись у окна, он прислушивался, что берет рыжая. Специальные книги по горному делу, геологические журналы, несколько справочников... В мягком свете, царившем в глубине комнаты, ее волосы приобретали тяжелый медный оттенок, матово-зеленое платье открывало плечи, плечи чуть-чуть порозовели от солнца, а спина бронзовая,— видно, прячет лицо от загара, все достается спине. Палька опустил взгляд и увидел ее ноги в тонкой паутинке и совсем новых туфлях на высоченных каблуках. И как она ходит на таких!

— Павел Кириллович, вам что? Я иду за журналами, зараз принесу.

Было приятно, что библиотекарша назвала его по имени и отчеству: пусть видят, что он тут человек свой. Он выбрал наугад два немецких журнала.

— И опять я вам перебежала дорогу! — воскликнула рыжая.— Оба в моем списке.

Журналы были чудесным поводом для продолжения знакомства.

— Куда вы набираете такую кучу книг? Вам на месяц хватит.

— Неужели вы думаете, что я буду читать всю эту скуку? — со смехом воскликнула она. — Я беру для мужа.

— Слава богу! Вам совсем не идет читать всякую ученую муть.

— О-о-о, да вы забияка!

Они, улыбаясь, разглядывали друг друга. Библиотекарша принесла журналы. Но Палька облокотился на барьер и продолжал разговор, принимавший все более веселый характер.

— Только муж способен нагрузить женщину этакой кучей книг.

— Он просил не брать все сразу, но в то же время намекнул, что все книги ему нужны сегодня вечером.

— Вряд ли ваши каблучищи рассчитаны на такую нагрузку.

— Если они треснут, ему придется купить мне новые туфли, вот и все.

Библиотекарша решила вернуть обоих к делу:

— Кому же записать журналы?

Рыжая мило улыбнулась:

— Все-таки мне.— И обратилась к Пальке: — Вам они очень нужны?

— Очень. Я их просматривал, но мне нужно сделать выписки,— соврал Палька, лихорадочно придумывая лучший способ превратить эти журналы в естественный повод для встреч.

— Как же быть? — спросила она, невинно распахнув глаза.

— Берите! Я их возьму у вас на несколько часов, а вечером отдам.

— Чудесно! Но где же я вас увижу?

— А где хотите. Я свободен и...

— Надеюсь, это вас не затрудиит?

Ее глаза так явио смеялись, что Палька решил не поддаваться.

— А если и затруднит? Журналы-то мне нужиы!

Конечио, оии вышли вместе. Чтоб гордячка ие задавалась, Палька предоставил ей нести связку книг и только в конце квартала сиисходительио сказал:

— Каблуки проверили, теперь давайте мне.

Они дошли до гостииицы, превесело болтая. Возле подъезда оиа хотела остановиться, ио Палька шагиул в дверь.

— Доставлю до места изиачения, Татьяиа Николаевиа!

— О-о! Откуда вы зиаете, как меия зовут?

— Догадался.

— Однако вы действительно заноза, Павел Светов!

Тут иастала его очередь удивиться.

Уже у своей двери оиа добродушио улыбнулась:

— Я о вас зиаю гораздо больше, чем вы предполагаете, причем из самого иадежного источиика.

Кого же оиа сочла «надежиым источииком»? Китаева?..

Войдя вслед за иею и бросив книги на стол, он согиулся, сморщил лицо и проговорил монотонным, слегка шепелявым голосом:

— Из этого самоиадеяииого молодого человека мог бы выросли под моей иепрестаииой опекой иеплохой иаучиый работиик, если бы ои ие был так упрям, дерзок и иепослушен!

Сходство получилось явное. Татьяна Николаевиа расхохоталась.

— Вам очеиь трудио с иим?

— Постарайтесь представить себе!

— Бедняга! Начииаю уважать ваше терпеиие.

— Это не самое лучшее мое качество. Есть и другие.

Они стояли посреди комиаты и смеялись, она ие спешила выпроводить его. Но тут, как назло, в комнату ворвалась девочка с мячом, в грязном платье, с расцарапаниыми колеиками.

Татьяна Николаевна всплесиула руками:

— Вы посмотрите иа иее!

Девочка спрятала за спину руки с мячом и прошла мимо Пальки, исподлобья мрачно оглядев его.

— Немедленно умойся и переоденься,— строго приказала Татьяна Николаевна, вынула из пачки два журнала и протянула Пальке.

— До вечера,— певуче сказала она.

Вечером, подойдя к гостинице, Палька сообразил, что ее муж, вероятно, дома и, следовательно, придется отдать журналы и уйти, не обеспечив новую встречу. Нет, такой глупости он не сделает! Зайти нужно утром, когда муж в институте.

Чтобы скоротать время, он направился к Кузьменкам. Саша с Любой сидели у садового стола. Люба шпилькой вынимала косточки из вишен, ее пальцы были запятнаны соком, а Саша следил за каждым движением ее пальцев и что-то тихо рассказывал ей.

Палька повернулся и ушел. Все влюблены, все счастливы. «Как туман стоит, и в этом тумане одна дорогая сияет...» Захотелось немедленно помчаться к Татьяне Николаевне. Ненаглядная — это ей подходит. Ненаглядная...

На улице он с удивлением увидел ее дочь. Скуластенькая, совсем не похожая на мать. Что она тут делает?

Девочка вскарабкалась на забор, положила два пальца в рот и свистнула, как мальчишка. И тотчас откуда-то появился Кузька.

— За ажиной пойдем? — спросила девочка.

— Можно.

Как они умудрились познакомиться? И девочка уже называет ежевику по-украински — ажина. И свистит, как мальчишка. Видно, ненаглядная не перегружает себя заботами о воспитании дочери.

Палька долго бродил один. Ни читать, ни работать он не мог. Скорей бы настало утро!

Подходя к дому в темноте, он увидел у калитки две фигуры. Катерина и Вовка? Вовка обнимал Катерину и целовал, целовал ее...

Отшатнувшись, Палька походил по улицам и вернулся. Те двое еще целовались. Палька хотел свистнуть, но что-то удержало его. Он снова побродил, с тоской и надеждой думая о том, что у него все слож-

нее, труднее, но и у него будет любовь. Не может не быть.

В третий раз он подошел к своей калитке, издали начав шаркать ногами и насвистывать.

— Ты, Палька?

— Простите, если помешал.

— Ну что ты! — лицемерно пробормотал Вовка.

Катерина засмеялась, стремительно вскинула руки на плечи своего милого, поцеловала его и убежала домой.

— Выходит, в родственники набиваешься, Вова?

Вовка перевел дыхание и робко сказал:

— Выходит... А что?

Получасом позднее Палька ворочался в постели, вспоминал блаженное выражение лица своего приятеля, вспоминал, как Катерина вскинула руки и при брате поцеловала Вовку. «А меня? Будет ли когда-нибудь, что *она* вскинет руки и поцелует меня?.. Может ли *она* полюбить меня?» И сам испугался этой мысли.

В одиннадцатом часу утра он постучался у ее двери. На ней было что-то длинное, легкое, невероятно прекрасное,— такие платья Палька видел только в кинофильмах. Он стоял и молча теребил журналы.

— А я думала, вы удрали с этими журналами.

Солнце падало в окна двумя сверкающими полосами. Одна полоса подобралась к ногам ненаглядной. Солнечный блик дрожал на ее щеке. Она смотрела на Пальку вопросительно и немного испуганно.

— Сядьте, пожалуйста, к окну, — умоляюще сказал Палька.— Вот сюда, на солнце.

— Какой вы сегодня странный,— сказала она и села. Что с ним случилось за неполные сутки?

Она хотела встать, потому что нелепо подчиняться прихоти малознакомого юноши, который молчит и смотрит не отрываясь, но Палька грубовато сказал:

— Сидите! У вас волосы на солнце светятся. Вам всегда надо на солнце быть.

— Всегда?

— Да, всегда.

Оттого, что она подчинилась, Палька обрел уверенность, и она это заметила.

— Почему вы не пришли вчера вечером?

— Догадайтесь, если можете.

Она, конечно, догадалась, но сказала невинно:

— К счастью, у мужа было заседание до ночи, так что журналы не понадобились. А сейчас мне нужно в город. Подождите минутку, выйдем вместе.

Она ушла в другую комнату и прикрыла дверь. Значит, вчера она была свободна целый вечер... А он скитался один! Действительно ей нужно в город или она наказывает за вчерашнее? И какой предлог найти для новой встречи? Кино, театр — так начинают ухаживать за девушками, а тут — муж, дочка!..

Татьяна Николаевна появилась снова, в желтом платье с пестрым кушаком, которое было на ней в столовой, когда он бросил червонец поверх ее денег. Помнит она об этом?.. Вид у нее царственный и отчужденный.

— Вы спешите? — оробев, спросил он.

— Мы идем на солнце! — нараспев сказала она, запирая дверь, и метнула быстрый взгляд, от которого у него заколотилось сердце.

Она зачислила его в спутники и мило командовала им, заходя то в один магазин, то в другой за всякими пустяками. Но на улице то и дело попадались ее знакомые, она останавливалась и болтала. Чаще всего это были институтские работники, знавшие Пальку. Самолюбие Пальки страдало, и в то же время он гордился: да, она идет с ним, а не с кем-либо другим! Он сам добился ее внимания и теперь уж не упустит ее!

— Вы гуляете в степи? — улучив минутку, спросил он.

— Случается,— пропела она и тут же обрадованно откликнулась на приветствие знакомого и остановилась поболтать.

Палька злился и подбирал слова, чтобы самым простецким тоном предложить ей погулять вместе по степи, и вдруг начисто забыл о ней.

Протяжные, тревожные гудки заполонили город.

Протяжные, тревожные гудки...

— Беда! Беда! Беда! — кричали гудки на весь этот город, где не было ни одной семьи, не связанной с шахтой.

— Скорей! Скорей! Скорей! — кричали гудки, сея ужас перед еще неизвестной бедой и взывая о помощи...

Автомобиль, катившийся по улице, круто развернулся перед носом трамвая и помчался в обратную сторону, к шахте.

Люди, только что мирно шагавшие по своим делам, на миг обмирали и, забыв обо всем, вскакивали в трамваи или пускались бегом туда же, к шахте.

Женщина, вышедшая из магазина с покупками, закричала истошным голосом и, в беспамятстве роняя пакеты, побежала к шахте.

Перекрывая протяжные гудки своим зловещим трезвоном, прогрохотали пожарные машины — к шахте.

Завывая, пронеслись две кареты «скорой помощи» — к шахте.

Палька тоже побежал в нарастающей толпе.

В трамвай было не влезть, он прицепился к нему с той стороны, где цепляться не полагалось, и сразу оказался притиснутым к обшивке чьими-то телами. На подъезде к шахте трамвай замедлил ход, тщетно названивая, чтобы его пропустили: во всю ширину улицы бежали, бежали, бежали шахтеры второй смены, жены и матери, школьники, шахтерские деды с палками...

Вход в шахту был оцеплен.

Большая толпа стояла полукольцом у входа — страшная своей молчаливостью толпа. Шахтеры второй смены подбегали, тяжело дыша, и проходили сквозь толпу, ничего не спрашивая. Во дворе шахты они собирались в группы, один из начальников тыкал в кого-нибудь пальцем — вот старшой! — и группа во главе со старшим без слов шагала к подъеминку и уносилась вниз.

— Светильный газ... газ... газ...— тихо говорили в толпе.— Взрыв... Обвал... От газу...

Иногда взмывал женский замирающий голос:

— А люди? Люди? Много там?

— Не знаем,— осуждающе отвечали голоса, и женский голос смолкал, и отчаянное женское лицо застывало, как маска, как все лица вокруг.

Палька выискивал знакомых, чтобы его пропустили сквозь оцепление и позволили войти в одну из спасательных групп. Липатов пробежал по двору, но на зов Пальки отмахнулся, даже не поглядев. Затем Палька увидел Сашу Мордвинова, уже в шахтерской робе. Саша вместе с одним из инженеров направлялся к подъемнику.

Совсем близко от Пальки раздался неистовый выкрик:

— Саша, не надо! Саша, не ходи!

Саша на миг обернулся, заметил в толпе рвущуюся к нему фигурку в белом халате и косынке, резко отвернулся и вошел в клеть.

Женщины без сочувствия поглядели на Любу и отвернулись от нее, как от чужой. И Кузьминишна, стоявшая рядом с дочерью, отвернулась. Люба, побелев, опустила голову.

При первых звуках сирены Кузьминишна кинула все дела и, как все шахтерские женщины, побежала к шахте. Она не знала, на каком участке произошло несчастье, и никто ей не сказал об этом, но по тому, как ее без слов пропускали вперед, она поняла, что несчастье произошло именно там, там, где ее муж и ее сын. Тридцатилетний опыт шахтерской жены подсказывал ей, что спрашивать ничего не нужно: все, что знают в окружающей ее толпе,— только слухи и домыслы. Надо ждать. Ждать час, или много часов, или сутки. Ждать...

И все ждали. Ждали матери и отцы, жены и дети. Ждала мать Пальки и сотни женщин, подобных ей. У них не было сейчас под землей ни мужа, ни сына. У них были — люди.

Большая напряженно застывшая толпа — все лица обращены к подъемнику, все глаза прикованы к его темной пасти, куда изредка входят и откуда никто не выходит.

Но вот с тихим гудением поднялась клеть, и у выхода забелели халаты санитаров.

О, эти долгие минуты последнего ожидания, когда все самое страшное становится пугающе близким, вот-вот обрушится на тебя!.. Когда предчувствие горя и надежда сливаются в единый трепет... Когда ты еще не можешь разглядеть в очертаниях тела и закину-

го лица дорогие или чужие черты... Долгие минуты последнего ожидания перед тем, как ты узнаешь, тебе ли выпало самое страшное горе, и, может быть, если не тебе,— обрадованно кинешься навстречу своему любимому и все равно не сможешь радоваться, потому что горе рядом и кто-то уже забился в рыданиях, и на лице дорогого тебе человека лежит та же печать потрясения, как и у всех, кто был там.

И вот уже вынесены из клети носилки. Кто? Чей?

Сотни глаз впились в лицо того, кто лежал на них. А затем толпа зашевелилась и расступилась, пропуская вперед ту, которой всего нужнее. И женщина в голубом платочке одна пробежала по двору и без крика склонилась над черным от угольной пыли лицом, подрагивающим в такт покачиванию носилок. Глаза раненого приоткрылись, черные губы раздвинулись, силясь что-то сказать. Женщина всхлипнула, положила руку на черный лоб и пошла рядом, плача от боли и от радости: жив! И вся толпа перевела дыхание: жив.

Вторые носилки.

Кузьма Иванович шел сбоку. Весь в угле и в поту, он тяжело, неотступно шел сбоку, стиснув губы и глядя прямо перед собой. Иногда он спотыкался на неровностях двора, выправлял шаг и снова шел в ногу с санитарами, глядя прямо перед собой.

Его губы дрогнули, когда он увидел жену, дрогнули и снова окаменели.

Кузьминишна на цыпочках пробежала по двору, беззвучно вскрикнула и упала на неподвижное тело того, кто был ее сыном.

Санитары опустили носилки. Кузьминишна быстрыми руками огладила голову, лицо, плечи сына и припала к холодеющему телу.

— Ксюша!.. Ксюша!.. Ксюша! — звал Кузьма Иванович.

Палька стоял рядом и не отрываясь смотрел на искаженное судорогой, окровавленное лицо друга. На секунду в памяти возникли две слившиеся фигуры у калитки, блаженное лицо живого, счастливого Вовки, его робкий ответ: «Выходит... А что?».

— Мамо, мамочка! — плача, повторяла Люба.

Кузьминишна оттолкнула дочь, оттолкнула мужа и врача. Ее руки оторвались от перекладин, расправили и пригладили спекшиеся от крови волосы, платком отерли уголь и кровь со лба и щек сына.

— Берите носилки,— приказал санитарам врач.

Ничего не слыша, Кузьминишна все гладила, оправляла, прибирала родное бездыханное тело. Кузьма Иванович отвернулся, засопел носом, смежил веки. По черному лицу покатились слезы, оставляя белые бороздки.

И тогда Палька решительно подхватил и поднял Кузьминишну. Крепко держа ее и прижимая к себе, он впервые вспомнил о сестре. Она сегодня работает в ночь, а с утра на велосипеде поехала купаться. Как сообщить ей, и что с нею делать?..

Но в это время сомкнувшаяся вокруг носилок толпа снова раздвинулась, как по команде. По узкому проходу бежала Катерина. В красном сарафане, таком чудовищно праздничном в эту минуту, она бежала напрямик к своему горю. Добежав, с разбегу остановилась над самыми носилками. Ее руки взлетели и сцепились у горла.

— Да покричи, покричи! — не выдержав ее молчания, выдохнула какая-то женщина и попыталась обнять ее.

Катерина повела плечом, скидывая чужую руку, и продолжала стоять, сцепив руки у самого горла.

— Берите носилки! — крикнул врач и согнутым пальцем вытер глаза.

Санитары подняли носилки и понесли их, обходя застывшую на месте Катерину.

— Катерина, пойдем, ну, пойдем! — бормотал Палька, топчась рядом с нею.

Вынесли третьи носилки. Женский вопль встретил их.

От этого вопля Катерина очнулась, безразлично отвернулась от чужого горя, рванулась туда, где санитары уже вдвигали носилки в санитарную машину... Плечом отодвинула брата и стремительно пошла прочь от людей — излишне твердой походкой, в праздничном красном сарафане, все так же сцепив руки у горла.

8

Инженер Катенин проснулся. По тусклым щелям между занавесями Катенин понял, что еще рано, и торопливо закрыл глаза, удерживая сон. Но мысль уже работала по-дневному. Уснуть не удастся. Его разбудило... Что? Не звук извне, не привычка, нет, что-то тревожило, мешало.

Он повернулся на спину и постарался вспомнить — что. Перебирал новости, рассказанные женой и дочерью вчера вечером, когда он вернулся из Донбасса. Новости были мелкие, обыденные. Обычно все, связанное с дочерью, вызывало у него тревогу, но вчера Люда выглядела превосходно, а самый подозрительный поклонник — майор — уехал в летние лагеря, так что и тут никаких страхов не было. Катя? Но что могло случиться с Катей? Вот она посапывает рядом, и все в ней знакомо, привычно и мило. На службе, в управлении техники безопасности? Но и там все в порядке. Несколько дней назад он очень волновался из-за аварии на одной из шахт, по дороге в Донецк представлял себе разные неприятности. Грозная комиссия, созданная для расследования, могла раздуть упущения, которые всегда обнаруживаются после аварии... Выводы комиссии были благоприятные для Катенина, а привлечение профессора Русаковского к разработке методов предупреждения взрывов газа было его заслугой. Так что же?

Похороны погибших... Да, это тяжко. Он всегда старался избежать похорон, но на этот раз пришлось присутствовать. Тысячи людей шли за красными гробами. Шахтерский оркестр неумело играл траурные марши. Над холмиками непросохшей земли плакали жены, матери, ребятишки... Катенину запомнилась девушка, неподвижно стоявшая над могилой самого молодого из погибших. Кто она: жена, невеста? Она не плакала, и от этого ее горе выглядело еще страшнее.

Там, на кладбище, в его памяти ожил давний день, когда он практикантом начал работать в шахте. Ранним утром, в сером полумраке, он шел в толпе молчаливых шахтеров, выделяясь новой чистой робой. Он чувствовал себя чужим среди этих черных теней и об-

радовался, когда увидел светлую домотканую робу такого же, как и он, новичка. Катенин спросил как можно солидней: «Что, братец, первый раз идешь?» У парня было курносое деревенское лицо, светлые глаза под белесым чубом. «Впервой. Оженился недавно, мы сами бедные и невесту взяли из бедных, по любви. Поработаю до весны, сколочу деньг, купим корову...»

Они расстались у клети. Страшной показалась Катенину шахта: теперь и представить себе трудно шахтерский труд в те годы, когда ни механизации, ни техники безопасности не было,— дикий труд кайлом, на карачках или лежа, в черных, душных недрах земли... Среди дня прозвучал сигнал тревоги. Катенин побежал к месту обвала, хотя больше всего ему хотелось бежать вон из шахты. И первое, что он увидел в мутном свете шахтерских ламп, были торчавшие из-под обвала ноги в светлой, еще не испачканной робе...

Вернувшись осенью домой, Катенин признался своему другу Арону Цильштейну: сделал ошибку, не полюбил и не полюблю свою профессию. Арон сказал со свойственной ему прямолинейностью: «А ты думал, шахта — рай? Конечно, можно переменить профессию и самому избежать этого ада, но я бы добивался, чтоб ада не было ни для кого!» Арон и не мог ответить иначе. Катенин избегал политики, его желания были скромней: кончить горный институт, стать инженером, жениться на Кате. Он этого добился. Арон повлиял на него только в одном: Катенин отказался от протекции отца-профессора, желавшего оставить сына при себе, и поехал с молодой женой в Донбасс. Годы были трудные: война, потом революция, гражданская война, разруха... Где-то в самом центре революционных боев мотался Арон. Катенин воспринимал все происходящее из глубины своего маленького дорогого мирка — Катя и крошечная Люда. Все его помыслы были направлены на то, чтобы обеспечить незыблемость этого мирка. Чем только не занимался он в то время! Когда началось восстановление угольной промышленности, Катенин вернулся на шахту. Он избегал и большевиков с их агитацией, и всяких контрреволюционеров и саботажников, которых тогда хватало, работал со свойственной ему добросовестностью.

И вдруг его увлекли темпы работ и огромные начинания по охране труда, по технике безопасности, по механизации угледобычи. Он написал Арону, узнав, что друг юности работает в Москве: «Вы (он имел в виду — большевики) хотите все пропитать политикой, а я делаю для народа самое главное — улучшаю труд, практически работаю для того, чтобы ликвидировать «ад», помнишь давний разговор?» Арон ответил: «Узнаю старого скептика и приветствую, но ведь это «политика» дала тебе возможность заниматься ликвидацией «ада». Будешь в Москве, приходи, вспомним прошлое и поговорим о будущем». Арон стал крупным специалистом по газогенераторам, его имя мелькало в технических журналах. А Катенин? Устал ли он, начал ли стареть?.. Какая-то вялость сковала его, особенно после того, как Люда заболела воспалением легких и Катя взбунтовалась: хватит донецкой пылью дышать!

Он добился перевода в Харьков, в управление. Работа отошла на второй план. Семья — в этом была вся жизнь. Люда, ее занятия музыкой, ее хрупкое здоровье, ее капризы... Иногда он горько задумывался: жизнь перевалила за половину, а чего-то самого главного так и не сделал. Правда, в последние годы ощущение неполноценности, незавершенности приходило к нему все реже.

Но именно оно разбудило его сегодня.

«Да, да, да! Я еще могу что-то сделать. Что?»

Вчера ночью, лежа в постели, он рассказал Кате о похоронах погибших шахтеров.

— Но что же делать? — сказала Катя, вздыхая.— Под землей не убережешься. Ты же сам говорил, что какой-то процент непредусмотренной опасности неизбежен.

Она заснула раньше, чем он. Катенина томила мысль об этом неизбежном проценте. Когда-то процент увечий и смертей в шахтах был огромен, теперь он намного меньше. Но разве это утешение? Самый малый процент — это человеческие жизни, какой-нибудь паренек, женившийся по любви, крах надежд какой-нибудь девушки, красивой и полной сил... «Но что я могу сделать?» С этим горьким чувством он заснул.

А мысль пробилась сквозь сои. Что-то ие сделано. Где-то рядом, нет, в ием самом жнвет способиость, сила для свершения. Чего? Надо только найтн, вспомнить... Что-то иамеченное, ио забытое, оттесненное повседневиостью. Что же? Что?

Щели между занавесямн стали яркимн, в спальие посветлело. Катя сладко зевнула, иакниула халат и вышла из спальии. Через полчаса оиа верится будить его.

Он рассеяиио оглядел зиакомую комиату. Утреиний свет блестел в зеркале платяного шкафа, играл на лакироваииой поверхности бюро — дорогого бюро красиого дерева, пленявшего Катениия множеством затейливых потайных ящнчков.

Вот оно! Вот!

Он вскочнл, как в юности, одним движеннем и подбежал к бюро. Лихорадочио искал ключи, иажимал секретиые киопкн, выдвнгал ящики, за которыми открывались тайннки, перебирал бумаги, блокиоты, старые письма... Вот оно, письмо Ароиа!

— Всеволод! Без халата? Босиком!

Он виновато обериулся. Екатерина Павловна отметила молодое оживление в его лице.

— Мие тут одно письмо понадобилось...

— Вода иагрета, Люда просиулась.— сказала оиа и ушла.

Ои любнл в ней эту безошнбочиую деликатиость: оиа жнво интересовалась его делами, ио никогда не иадоедала вопросами, должно быть, давио убедилась, что он сам обязательио расскажет. И сейчас, только она успела выйти, Катеиииу захотелось вернуть ее и рассказать о пнсьме Ароиа.

«...Дружище! Меия включнли еще в одиу комиссию, на этот раз очеиь интересиую. Предполагается разработать способ подземной газнфикацни угля, то есть замеиить подземный труд шахтеров каким-то процессом превращения угля в газ под землей. Пока ничего коикретиого, собираются объявить коикурс иа лучшнй проект. Посылаю тебе первый иабросок условий конкурса, мы будем его обсуждать иа блнжайшем заседаиии. Попытка заменить подземный труд — иитересно! Вот бы ты взялся и разработал проект. Попробуй, а?»

Письмо и тогда взволновало Катенина, он решил написать Арону, посоветоваться, подумать. Но у Люды шли экзамены, Катенин повторял с нею все предметы подряд: историю и грамматику с синтаксисом, алгебру и географию, даже историю музыки. Письмо Арона было отложено и забыто.

А ведь это и есть, это может стать лучшим делом жизни!

Написать, нет, попросту поехать в Москву к Цильштейну, разузнать, вместе с ним разработать проект...

Он заспешил в ванную комнату, выплеснул из кувшина приготовленную для него теплую воду и с непривычным удовольствием накрепко растерся холодной.

— Суть в том, что у каждого человека должно быть свое, главное дело,— сказал он за завтраком, обращаясь к бездумно-радостным глазам дочери.

— Ну конечно! — согласилась Люда и посыпала яичницу укропом.

— Не каждый его сразу находит,— продолжал Катенин.— Иногда люди и не догадываются, что без этого нельзя.

Дочь не ответила. Екатерина Павловна приглядывалась к мужу, но в разговор не вступала. Только в передней, провожая его, тихо спросила:

— Что-нибудь интересное?

— Да вот... Еще самому не ясно.

Неожиданно для себя он подхватил жену, приподнял, поцеловал и быстро опустил, переводя дух: Катя стала тяжеловата.

— Рубикон! — воскликнул он.— Стоит перешагнуть — и вся жизнь может перемениться! В общем, я на днях поеду в Москву, а там... Ох, Катя, как я был глуп!

И он сбежал по лестнице, чего не делал уже лет двадцать.

9

Из поездки в Донецк Матвей Денисович Митрофанов вернулся в лагерь экспедиции более угрюмым и ершистым, чем обычно. На обратном пути «рыдван моей бабушки» пять раз выходил из строя, и сонный

Игорь неохотно, без увлечения чинил его, переругиваясь с Никитой.

Поездка, казавшаяся такой приятной, закончилась плохо. В гостинице Матвей Денисович не застал своего друга. Профессор Русаковский уехал в Ростов, а жене профессора было не до него: в ее двойном провинциально-роскошном «люксе» играл патефон, пятеро мужчин стоя ждали, пока хозяйка выпроваживает непрошеных гостей: вероятно, они по очереди танцевали со своей единственной дамой. Игорь заглядывал через плечо отца, он охотно примкнул бы к веселой компании, а слишком оживленная и слишком красивая жена профессора бросила ему откровенно кокетливый взгляд и, прощаясь, некстати рассмеялась.

— Вертушка! — сердито определил Матвей Денисович, как только дверь за нею закрылась.

— Она достаточно красива для того, чтоб не быть скучной.

Игорь любил изрекать подобные глупости назло отцу. Они поссорились, лежа в постелях, не из-за жены профессора, а из-за хода дел в экспедиции. Что ж, недостатков и неурядиц хватало: два буровых станка были на ремонте, и ремонт затянулся,— но найдется ли экспедиция, где все идет гладко? Недовольные считали, что начальник мягок и неэнергичен. Игорь — родной сын! — наслушался их воркотни и требовал, чтобы отец «поднял на ноги» все районные, областные и центральные организации, будто у них нет другого дела.

Утром Игорь повез отца на квартиру к директору, но тот был на рыбалке. Игорь разузнал, где директор удит рыбу, и повез отца за десять километров на рыбалку. Хорошо, что клев был отличный и директор в добром настроении. Об ускорении ремонта договорились, но на обед к Кузьменкам опоздали; хозяйка жаловалась, что все «перестоялось». Во время обеда Игорь скучал (девушек не было!), а потом удрал вместе с Никитой. Жалея друга молодости и его жену, Матвей Денисович утаил многие грехи Никиты, решив, что сам обломает парня. Мог ли он знать, что в тот же вечер Никита втянет Игоря в свою неважнецкую компанию и что Игорь среди ночи ввалится в гостиничный номер совершенно пьяным!

— Не сердись,— сказал Игорь поутру, как ни в чем не бывало поднявшись и торопя отца.— Перебрал с непривычки. Но как там пели! Как плясали! Ты видал, папа, настоящий гопак?

— Гопак видал, а тебя пьяным впервые увидел,— сказал Матвей Денисович.— Никита придет сам или его по канавам искать?

Никита ждал их у Липатовых — трезвый, румяный, с кошелкой домашних пирожков.

Всю дорогу Никита пел песни, вероятно, те, что накануне понравились Игорю. Игорь пытался подпевать. И Аннушка подпевала: ей не было дела до того, что вчера этот бездельник напоил Игоря!

В довершение всего Никита весьма легкомысленно отозвался о коллекторе Леле Наумовой, которую молодежь звала отчаянной Лелькой. Эта девица к своим двадцати четырем годам успела побывать во многих экспедициях, поработала и на буровых, и возчицей, и коллектором. В Средней Азии она отбилась от партии во время песчаной бури и все-таки уцелела, да еще и сохранила инструменты. Совсем недавно, работая на отдаленной буровой, она на спине принесла Митрофанову мешок с пробами, когда он срочно их затребовал, не зная, что машина сломалась. Пришла босиком, с израненными ногами, злая, как черт, крепкими словцами определила во всеуслышание, какие в экспедиции машины, какие шоферы и какие начальники, сходила в баню, заставила сапожника срочно подбить подметки к развалившимся сапожкам и в тот же вечер пешком ушла обратно, боясь, что без нее перепутают керны... Матвей Денисович ценил Лелю и старался не замечать, что она слишком вольно ведет себя с парнями, что она невоздержанна на язык. Что же делать, была беспризорной, из трех детдомов убегала, ни в школе, ни на производстве не прижилась, а вот изыскательное кочевье полюбила!

Дребезжание и пыхтение «рыдвана», появившегося в палаточном лагере, привлекло всех, кто был поблизости. Выбежала на крыльцо кернохранилища и Лелька — босая, в узкой юбчонке и белой майке, в украинском широкополом бриле. Надвинула бриль на лоб, чтоб заслониться от солнца, пошла к машине, крепкими ногами раскидывая пыль, голым плечом раздвину-

ла столпившихся товарищей и остановилась на самом виду. Курносая, большеротая, с блестящими глазами того неопределенного цвета, который она же сама называла «сер-бур-козюльчатым», она отнюдь не была красивой, но было в ней что-то такое вольное, дикое, зовущее, что и Матвей Денисович иной раз заглядывался на нее. «Ох, Лелька, бесшабашная душа, я бы и поберег тебя, да стар и ни на что тебе не нужен, а все эти парни, с которыми ты так отчаянно, без опаски, хороводишься, не доведут они тебя до добра, неужто сама не понимаешь?!»

Ничего она не понимала. Стояла подбоченясь, поводя голыми плечами, и из-под полей бриля глядела на приехавших парней. Через минуту Никита оказался рядом с нею возле кернохранилища. Матвей Денисович с острой неприязнью окликнул Никиту, послал за старшим буровым мастером, а сам подумал: «Разошлю их в разные стороны, а если обидит ее — голову сверну!»

Буровой мастер пришел раздраженный: надо перевозить буровую вышку, а трактор опять поломался. Тут же пришел старший механик со своими неприятностями, потом завхоз. Все это было обычно, без ежедневных затруднений в экспедиции не обойдешься, но Матвею Денисовичу они были сегодня в тягость — он торопился всех отправить вон и остаться наедине со своими мыслями.

Уже стемнело, молодежь разожгла костер и пела песни, когда Матвей Денисович уединился в палатке и тяжело опустился на табурет возле колченогого стола, заваленного бумагами и пробами.

И сразу забылись сегодняшние заботы и неприятности. Глаза смотрели и не видели ни колеблющегося света лампы, ни захламленного стола; они видели совсем другое, навсегда памятное, до осязаемости реальное. Круглятся песчаные барханы... Порыв ветра — и сотни струек стекают с верхушек барханов, песчинки бегут и бегут, как живые. Пески движутся. Движутся, движутся пески, гонимые ветрами, и среди этих песков стоят странные, насквозь просвечиваемые заросли безлистых кустов саксаула. Ветер сдувает песок с их корней, солнце сжигает их безрадостные ветви, но они живут, уцепившись за неласковую,

опаленную зноем почву, цепкими разветвленными корнями удерживают текучие пески и сосут, сосут из глубинного слоя скудную влагу...

Как давний мираж возникла среди разбросанных бумаг и камней свежая травинка с крохотной капелькой росы на сгибе. И Матвей Денисович улыбнулся этой капельке — неутомимой работяге.

Капелька воды — вечная путешественница. Вот она скопилась из мельчайших частиц влаги. Отяжелела. Скатилась с травинки на землю. Миллиарды таких капелек образуются как бы из ничего, высасывая влагу из воздуха. Они набухают и скатываются, уходят в землю и, казалось бы, исчезают бесследно, но и они продолжают свой путь подземными ключами... Вечный круговорот! Капля скатывается, куда-то стремится, испаряется, в облаке пара несется над землей и, как любящая дочь, опять припадает к родной земле... Что дает ей движение? Мотор — солнце. Безотказный гигантский насос! Солнце испаряет миллиарды капель, поднимая их с нагретой поверхности морей и океанов. Солнце нагревает воду и землю, и холодные потоки воздуха устремляются туда, где теплее, вытесняя другие потоки — теплые. Образуются ветры. Ветры несут миллиарды капелек и роняют их на землю дождем или снегом. Лежат капельки сверкающими кристаллами и ждут своего часа. Приходит весна, снега тают, журчащими струями устремляются в ручьи, в реки, все дальше, все больше, все шире — половодье. Так, путешествуя, капелька питает землю, растит хлеба и деревья, растворяет соли земли и перемещает их с одного места на другое, озорует и кормит, обрушивает на людей бедствия наводнений и дарит благодать изобилия и снова уносится в моря и океаны, где мотор-солнце запускает свой бесшумный насос.

Мудрый круговорот. И все же неточный, беспощадный к одним и сверхщедрый к другим.

Когда это было? В двадцать первом он приехал в Алма-Ату через несколько дней после того, как селевой поток обрушил на город страшную лавину камней и жидкой грязи. Улицы были завалены камнями, щебнем, землей. Обезумевшие люди искали в этом хаосе трупы своих близких...

А наводнения на Великой китайской равнине? После десятидневных дождей река Хуанхэ вырвалась из своего русла на густо населенную низменность, снесла больше трех тысяч деревень и поглотила в своих беснующихся водах семь миллионов людей. Семь миллионов!..

Природа и мудра, и капризна. Могучие потоки воды она выносит на север, в Ледовитый океан, а на юге, там, где солнце и вода обеспечили бы благоденствие целых народов, там воду продают стаканами. Говорят — бесплодные пески. А на самом деле пустыня таит в себе сказочное богатство! В течение тысячелетий разливались и прихотливо перемещались воды Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, оставляя после себя ценнейшие наносы. Академик Обручев утверждает, что по структуре трудно найти почвы плодороднее, чем в Каракумах и Кызылкумах. Стоит дать сюда пресные воды — и «пески» покроются фруктовыми садами и хлопковыми плантациями...

Но как изменить условия, созданные самой природой? Научимся ли мы когда-либо, сумеем ли мы создавать новые условия, диктуя природе свою разумную волю?

Вот мы возимся с этой донецкой речушкой, которая летом похожа на ручеек. Мы проложим ей новое русло и не позволим затапливать шахты. А если отвести по-своему, так, как нужно нам, большую многоводную реку и перегнать воду в эти выжженные солнцем пустыни? Хуанхэ несколько раз сама меняла русло. Почему же нам не изменить течение рек по инженерному расчету, по хозяйственному плану? Именно теперь, в годы громадных преобразований страны, мы можем взяться и за эту проблему. Я докажу, что бесхозяйственно оставлять втуне сказочные богатства юга!

Войдя в палатку, Игорь увидел странную картину: отец сидел в одних трусах возле коптящей лампы и что-то чертил на самодельной карте, где смутно угадывались очертания Каспийского и Аральского морей. Вид у отца был вдохновенный и... нелепый.

Игорь подкрутил фитиль и сухо сказал, что керосин выгорел.

— Так налей керосину,— буркнул Матвей Денисович, прикрывая локтем самодельную карту.

— Спать пора,— повторил Игорь, но взял лампу и пошел к завхозу.

— Матвей Денисович спит? — угрюмо спросил завхоз.— Напомни ты ему, Игорь Матвеевич, пусть позвонит насчет солярки! Ведь на один день осталось, я же...

— А почему вы сами не напомните? — огрызнулся Игорь.

— Три раза напоминал! Ведь если станет движок...

Игорь вернулся к отцу сердитым.

— Папа, почему ты не позвонил насчет солярки?

Матвей Денисович отсутствующим взглядом посмотрел на сына, не сразу понял вопрос, потом рассердился тоже:

— А ты что за контроль? Не в свои дела суешься! — Расстелил постель, улегся, со вздохом пробормотал: — Ты мне напомни утром. Черт его знает, как это я забыл!

Игорь рывком сорвал с гвоздя полотенце, ушел мыться. Долго пропадал в своеобразном «клубе» возле умывальника — в палатку доносился его раздраженный голос и девичий смех. Вернувшись, Игорь швырнул полотенце и со злостью сказал:

— Напоминают о нарядах. Ведь группа Сысоева утром уходит!

— Кто это там... напоминает?

— Ну, Лелька.

— А кто ее зачислил в группу?

— Анна Федоровна, наверно. Кому она подчинена, тот и зачислил.

— Никуда она не пойдет!

Игорь задул лампу и лег.

— Коллекторами распоряжается Липатова, зачем тебе вмешиваться? — сдерживая раздражение, заговорил он.— А вот руководители групп... В конце концов, Сысоев такой же практикант, как я. Почему все его да его? Ты прекрасно знаешь, организатор он неважный. На восьмой точке сколько валандался! А меня никуда! Несправедливо это.

Матвей Денисович закряхтел, но промолчал. Они

лежали в темноте, оба раздраженные. Наконец Игорь тихо сказал:

— Папа, прошу тебя... Отпусти меня с этой группой! Не могу я здесь. Штатный напоминальщик при родном отце! Нехорошо. Руководителем группы не доверяешь, пошли буровым рабочим. Я ж буровые работы знаю! Кем хочешь пошли...

После долгого молчания Матвей Денисович обиженно ответил:

— Ладно. Надоел отец — иди.

— Кем? — обрадованно спросил Игорь, пропустив мимо ушей горькие слова отца.

— Руководителем группы пойдешь. А Сысоева пошлю на завод торопить ремонт.

— Ты увидишь, папа, я справлюсь!

— Вот что, сын. Вчерашнее я тебе простил, но если на работе себе позволишь... если ты Никиту не скрутишь в бараний рог... если произойдет хоть малейшее нарушение...

— Не произойдет! И Никита не такой уж худой парень, меня он слушаться будет.

Оба одновременно вздрогнули и подскочили на койках: где-то неподалеку взвизгнула девушка, потом раздались звуки борьбы, приглушенные голоса, звонкие хлопки пощечин...

— Уйди, гад! — отчетливо крикнул девичий голос.

Мимо палатки прошуршали легкие шаги босых ног.

— Леля Наумова,— узнал Матвей Денисович.— И твой хороший, послушный Никита.

— Может, и не он?

— Он. Кто ж еще?.. А Наумову я не пущу с вами.

— Как хочешь. Только Соню я не возьму: мне коллектор нужен, а не барышня с маникюром.

— Кого пошлю, того и возьмешь. Рано еще условия ставить.

Они долго лежали, не разговаривая и не засыпая. Полог палатки был откинут, и оттуда веяло теплым ветерком, запахом степных трав, привядших от жары.

— Игорек, ты спишь? — прошептал Матвей Денисович.— Знаешь, то, что я говорил о переброске рек,

это ведь не фантазия. Это вполне осуществимо при нынешнем уровне техники. И это обязательно будет!

— Возможно, только не скоро,— без интереса отозвался Игорь.— И пока у нас на очереди другие дела.

Через минуту он сказал мягче:

— Спи, поздно.

— И откуда у тебя такой рационализм? — вздохнул отец.— Как можно жить, не заглядывая в будущее?

Игорь не ответил. Ему хотелось сказать многое, но все, что просилось на язык, было явным осуждением отца. Он с детства мечтал быть таким же, как отец, скитаться по диким, необжитым краям, по берегам горных рек, всегда налегке, всегда преодолевая препятствия. Еще в школе он изучал все, что может приблизить заветную цель. После окончания школы нанялся подсобным рабочим по бурению в геологическую экспедицию и осенью встретил отца, приехавшего из Казахстана, рассказами о собственных приключениях. Отец высмеял хвастливые подробности, несколькими вопросами ткнул сына носом в его безграмотность и обещал взять Игоря с собой в следующую экспедицию — «если будешь учиться так, что мне не будет стыдно за тебя...» И вот они вместе в экспедиции, живут в одной палатке, близки, как никогда... и, как никогда, далеки. Мог ли Игорь думать, что это ему будет стыдно за нераспорядительность и забывчивость отца?

Перед рассветом Игорь вскочил счастливым: кончилась должность «штатного напоминальщика», начинается самостоятельная работа! Две буровые вышки, целая группа людей, подчиненных ему, зависящих от его умения и заботливости... Уж он-то ничего не забудет!

Отец вышел провожать группу.

По-деловому прощаясь с ним, Игорь впервые заметил, что отец стареет: могучие плечи сутулятся, лицо изборождено морщинами. Дрогнув от нежности к этому стареющему человеку, Игорь сжал его руку, заглянул в подпухшие за ночь глаза:

— До свидания, папа,— шепнул он.

Коллектора Соню подсаживали с двух сторон в кузов грузовика: эта жеманница даже в кузов залезть не умела! Игорь подмигнул Лельке Наумовой; потихоньку от отца Игорь уже договорился и с Липатовой и с самой Лелькой, что через несколько дней, закончив обработку кернов, Лелька приедет сменить Соню. Какая бы она ни была, Лелька, а каждая группа радовалась ей, как лучшему коллектору, которого не испугают ни ливень, ни холод, ни дальние расстояния.

Никита первым перевалился через борт грузовика и сидел, отвернув лицо. На его скуле отчетливо виднелся синяк. Происхождение синяка не вызывало сомнений, а Лелька косилась на него смеющимися глазами. Если бы Никита мог, он соскочил бы с грузовика и дал ей основательный подзатыльник. Подумаешь, эко дело, поймал в потемках и поцеловал! Что он, не знает, как она путалась с разными парнями? Сама задевает, дразнит, а чуть тронешь — разыгрывает недотрогу! Добро бы шлепнула слегка, ради кокетства... так нет, чуть скулу не свернула... Остается? Тем лучше.

Грузовик пошел прямо по степи, подымая рыжую пыль. Никита оглянулся — Лелька смотрела на него и, невинно улыбаясь, махала рукой. И такой желанной она показалась ему, что Никита стиснул челюсти от злости. Ну, погоди, доиграешься!

Работа под началом Игоря рисовалась Никите чем-то вроде прогулки: приятели ведь! Но, став начальником группы, Игорь сразу изменился: отдавал распоряжения голосом, не допускающим возражений, придирчиво проверял работу, отчитывал за промахи. Правда, сам он работал больше всех и не корчил из себя начальство; когда грузили на тракторный прицеп буровую вышку, подставлял плечо там, где всего тяжелее. По вечерам, у костра, он пел песни и дурачился со всеми, но если он говорил: «Хватит, товарищи, пора спать!» — все подчинялись. Однажды парни сбегали за шесть километров в село и принесли две бутылки водки. Игорь встряхнул одну бутылку и сильным ударом под дно вышиб пробку, потом сделал то же со второй бутылкой, потом взял обе за горлышко, перевернул их и вылил водку.

— Деньги могу вернуть, если вам жалко, а в экспедиции пьянки не будет!

И никто не рискнул возражать: его требовательность нравилась.

Только Соня возненавидела нового руководителя. Игорь беспощадно гонял ее от одной вышки до другой: хочешь быть изыскателем — так работай, не хочешь — скатертью дорога, выходи замуж за счетовода и сиди дома! Соня глотала слезы — почему за счетовода? Нанимаясь в экспедицию, она представляла себе, что мужественные скитальцы все разом влюбятся в нее. А тут грубияны, никто не ухаживает, да еще нахваливают разгульную Лельку за то, что та не побоялась ночью протопать семнадцать километров!

Никита не знал, что Лелька должна приехать, и от нечего делать попытался ухаживать за Соней, но Соня жеманничала, ему стало противно.

Повалившись на брезент прямо под открытым небом, Никита закидывал руки за голову, смотрел на звезды и думал о том, что в этих скитаниях есть толк и удовольствие; пожалуй, тут стоит закрепиться. Потом вспоминал Лельку и ревновал ко всем парням, какие только есть в центральном лагере,— с кем она там хороводится, кого предпочла настолько, что грубо оттолкнула его, Никиту?

Был знойный полдень — в небе ни облачка, над степью марево, в сапогах печет ноги, а скинешь сапоги, ступать больно: так колется стерня. Все утро устанавливали на новом месте вышку, намаялись. Никита не захотел полдничать, жадно выпил ковш холодной воды, разыскал кусочек тени под кустами и лег, раскинув руки. Заснул он мгновенно и проснулся оттого, что кто-то щекотал ему нос травинкой.

Перед ним стояла Лелька в алой кофточке без рукавов и в серых бумажных брючках, заправленных в сапоги.

— Вставай и танцуй, лежебока! Тебе письмо.

Письмо — из дому, больше получать неоткуда. Лелька была гораздо интересней родительского письма.

— Откуда ты взялась?

— С неба упала!

— На чертовом помеле прилетела, что лн? Оно тебе в самый раз.

Лелька уселась рядом с ним н дернула его за чуб.

— Вставай н танцуй, а то не дам пнсьма.

— Дашь!

— Не дам!

— Сам возьму!

Он схватнл ее за плечн и так крепко стнснул, что она вскрнкиула. Руки ее он предусмотрительно зажал, чтобы не дралась. Но Лелька н не собнралась драться, исподлобья глядела на него — н как-то необычно, непонятно. Он нзловчился н поцеловал ее в губы. Оиа затнхла, глаза прикрыла... но через минуту нзо всех снл толкнула его: «Ты опять!..» Однако не ушла.

Смущеииый, он осторожно выиул нз ее несопротнвляющнхся пальцев пнсьмо, надорвал конверт. Почерк удивнл его.

— От батьки,— пробормотал ои н перевериул листок, рассчнтывая увндеть знакомые матерннские каракулькн, набегающне друг на друга, но на обороте ннчего не было. Отец пнсал редко н только тогда, когда счнтал нужиым отругать сына. За что же на этот раз?

Лелька склоиила голову к его плечу и начала чнтать вместе с ннм. Он воспользовался этим н обнял ее одной рукой, но рука тут же соскользиула.

«Дорогой Никита, нзвещаю тебя, что у нас случнлось большое несчастье и горе. Вова...»

Оин вместе прочнталн чудовнщиое известне, потом перечнталн сиова и снова... Вовки больше иет! Вовка погнб!

Он долго не мог освонться с тем, что это правда н от этого ужаса никуда не денешься. Потом он почувствовал, что теплая рука сжала его пальцы. Рядом был человек. Никита привалился к Лельке тяжелой головой, привалился, как к матери, н всхлнпнул.

— Поплачь,— шепиула она,— поплачь...

Сразу повзрослев, оиа тихонько гладнла его крутые плечн, смотрела на его поникшнй чуб, на бесснльно упавшне большне, грубые руки. От него пахло табаком, пóтом и полынью, а может, это степь прнмешнвала ко всему запах полынн. «Плачет, как ребенок. Я не плакала, когда умерла мать, только губы нску-

сала. А он плачет. Не грубый он и не скверный, грубые и скверные так не плачут. Глупый он еще. И балованный...»

Осторожно перебирая волосы Никиты, она широко раскрытыми глазами глядела поверх его головы в дальние дали, каких и в степи не увидишь, глядела и видела свое — новое, трудное, такое трудное, что неизвестно, одолеешь ли.

«Как я с таким?» — сама себя спросила она и изумленно улыбнулась тому, что пришло к ней, и утешающим материнским движением прижала к себе Никиту.

— Горе-то какое! И кто ж он был тебе — старший или младший? Ты мне расскажи, расскажи, облегчи себя.

10

На семью Кузьменко упала черная тень горя.

Кузьма Иванович по-прежнему вставал на рассвете и уходил в шахту. Потом вскакивала Люба, спешила в свой детский сад. Кузька, похватав на кухне всего, что приглянется, убегал по своим мальчишеским делам. Кузьминишна по-прежнему поднималась раньше всех, стряпала, стирала, убирала комнаты и двор — заведенный порядок жизни не мог нарушиться и не нарушался, но весь дом притих. Даже Кузька, возвращаясь домой, уже не перемахивал через забор, а проскальзывал в калитку, прислушиваясь к непривычной тишине. Люба не пела и не улыбалась, а Саша редко заходил в дом, они встречались на улице. Люба возвращалась одна, с виноватым лицом, и спрашивала шепотом: «Что мама?»

Так же, как и раньше, настроение в доме определялось Кузьминишной. А Кузьминишна, механически выполняя все, что нужно, ничего не видела и не слышала, ничем не интересовалась, ни во что не вникала сердцем. Среди повседневных хлопот она вдруг припадала к стене, или к забору, или к оконному косяку и плакала, безнадежно и отчаянно плакала, забыв, для чего сюда пришла. Все, что прежде радовало, теперь вызывало у нее приступы отчаяния. Когда приходил с работы Кузьма Иванович, она вспоминала, что раньше приходило двое. Заметив у калитки Любу

и Сашу, она оплакнвала сына, который уже не узнает счастья. Ее оскорбляло, если кто-нибудь садился на Вовино место, а если стул пустовал, она убегала в темный угол выплакаться. Оставаясь одна в доме, она поднималась в комнатку сына, перетнрала его книжкн н рыдала над ннмн.

Там, иаверху, оиа видела Вову такнм, каким он был перед смертью,— взрослым, упорно сндящим над книгамн, и оплакивала его мечты, его надежды, все, что было так важно и иужио ему самому и о чем догадывалась только мать. Внизу, среди обнходных вещей, сын возннкал в памятн маленьким, во всем зависимым от нее добродушным мальчиком; она снова пеленала его, купала в корыте н кормила грудью, находила первый зубок, раздвигающий розовую десну, брала иа руки и качала своего желанного сыночка, своего первенца, н плакала, плакала, плакала, потому что руки былн пусты.

Все домашние пугалнсь, когда заставали ее такой.

Катерина не приходила совсем.

От Пальки знали, что Катернна никого не подпускает к себе — нн мать, ни брата, нн подруг.

Однажды Люба все-таки зашла к ней — одна, без Саши,— но Катернна сухо сказала:

— Оставь, Люба. У тебя — свое, у меня — свое.

И Люба отступнла, потому что сказать ничего не могла; как ни жалела она брата, ее горе было несравнимо с горем Катерины, а ее собственное счастье оставалось счастьем.

Затем пришел Кузьма Иванович.

— Ты бы зашла к нам, Катерина.

Она вскинула глаза, но промолчала. Старик грустно и заботливо глядел иа девичье померкшее лицо, в глаза, полные муки.

— Не сторонись, дочка,— сказал он, нздав носом какой-то звук.— Всем тяжело. Ты не сторонись.

Она поднялась, бросила:

— Пойдемте.

Перешла улнцу, вся подобравшнсь, чтоб не разрыдаться, н вошла в дом спокойной. Но когда она увидела совершенно неузнаваемое лицо Кузьмннншны н ее дрожащие, что-то перебирающие пальцы, не выдержала, опустнлась на пол рядом с Кузьмнннщной, по-

ложила голову на материнские руки и, целуя их, заплакала. И Кузьминишна заплакала, но более легкими слезами, чем обычно.

— У вас другие дети есть,— выплакавшись, твердо сказала Катерина.— Вам жить нужно. Для них. Мне хуже. У меня теперь никого. А я и не жила еще.

Кузьминишна страстно возразила:

— Никто мне теперь не нужен. Никто. Видеть их не хочу!

— Это пройдет,— сказала Катерина.— Пройдет! У вас дочь, у вас Никита... Костя подрастает... Пройдет это!

— Мать,— сказала Кузьминишна,— мать никогда не забудет.

Они долго плакали, говорили и снова плакали.

Кузьма Иванович думал, что с этого вечера они будут часто горевать вместе, но Катерина заходила редко, будто исполняя обязанность, и старалась не оставаться с Кузьминишной вдвоем.

Тогда он вызвал Никиту.

Поезд приходил ночью, от вокзала до поселка было далеко. Никита не захотел ждать первого трамвая и пошел пешком, заранее пугаясь того, что его ждет дома. Вчера Лелька провожала его на станцию и всю дорогу учила: «Ты поплачь с ними, а потом говори о своем, о своем». Вероятно, она была права, но о чем своем говорить, когда в семье такое горе?

И вот показались вдали крыша под старым дубом, три окошка с бело-голубыми ставенками, теплый дымок в глубине двора, у летней кухни — родной дом, лучше которого нет на свете. Никита побежал, надеясь еще застать отца, и действительно, открыв калитку, сразу увидел его: Кузьма Иванович шагал навстречу старческими мелкими шагами (боже мой, откуда у него такая походка?), ссутулив плечи... Да когда он успел постареть?..

Никита рванулся к отцу, и отец обнял его, чего никогда раньше не делал, и прижался головой к плечу сына. Плачет? Нет, не плачет.

— Ну, я пошел,— сурово сказал отец,— а ты с мамой... побудь...

Оба оглянулись на легкий вскрик и увидели мать — она быстро шла между огородными грядками, протя-

нув руки навстречу Никите, глядя на Никиту, сквозь слезы улыбаясь Никите. Никита подбежал к ней и подхватил ее, увидел ее поседевшие волосы под сбившимся черным платком и сам заплакал от жалости к ней.

— Как же ты... пешком? — спросила мать, отворачиваясь от его слез, и энергично потянула его к колонке.— Давай-ка, помойся с дороги, я тебе полью. Самовар горячий еще, яишню сделаю...

Никак не ждал Никита, что встреча будет такой. Покорно мылся, покорно, стыдясь доброго аппетита, съел яичницу. Выбежала заспанная Люба, поцеловала, шепнула:

— Ты с мамой побудь, не уходи от нее!

И заспешила на работу. Потом появился Кузька, присел к столу, но не разговаривал с Никитой, а пугливо косился на мать.

— Вот хорошо, что приехал,— как взрослый, шепнул он, когда мать вышла.— Она совсем другая при тебе.

И тоже заторопился уходить.

Другая? Мать казалась Никите такой же, как всегда, только седины прибавилось да движения суетливей. Но хозяйственна по-прежнему: накормила до отвала и сразу все прибрала, смела крошки со стола, скомандовала:

— Вынеси самовар да захвати ведро, воды принесешь.

Никита вышел в сад. День начинался жаркий, безветренный; после ночи, проведенной без сна, Никите хотелось спать. Он подставил руку под струю воды, освежил мокрой ладонью лицо и волосы, завистливо поглядел на тенистое местечко под кустами, где они с Вовкой любили поспать в жару. Он и сейчас лег бы, но воспоминание о брате пронзило его тоской, а затем он вспомнил о матери и уже не поверил ее хлопотливому спокойствию.

На веранде матери не было, в кухне тоже не было. Никита заглянул в родительскую спальню — и там нет ее. Где ж она? Он был не из чутких, но горе будто подтолкнуло его и повело наверх, по скрипучим ступенькам, в низкую комнатку под крышей. Мать стояла по-

среди комнатки, прижав руки к щекам, и покачивалась из стороны в сторону.

— Мамо... ну, мамо...

— Нет его, нет! — быстро сказала мать.

Никита растерянно оглядывал комнату. Все тут было как раньше: на столе лежали книжки и раскрытая тетрадь, будто Вова только вышел и вот-вот вернется.

— Как это случилось, мамо? Я ж ничего не знаю.

Он в самом деле хотел знать, как погиб Вова, ему и в голову не приходило, что этот вопрос нужней, чем слова утешения. Мать окружали люди, знавшие подробности несчастья не хуже ее, ей некому было все рассказать, все выплакать. И поднялась она сюда оттого, что Никита не спросил о брате, как бы забыл о нем, а сердце ее боялось забвения и дрожало от гнева ко всем, кто мог забыть.

— Около полудня,— сказала она, расширив глаза, потому что перед нею ожил тот день и тот час,— я окучивала капусту. И вдруг как загудит...

Она рассказывала все-все, как было, и жадно ловила на лице сына отражение собственного ужаса, отчаяния, боли, безнадежности. Потом, рассказав про тот день, снова вспомнила Вову живым, упорным, любящим, и начала рассказывать про живого так, как можно говорить только о мертвом,— ничего не утаивая.

— Скрывал он, да разве от матери скроешь? В полночь свет-то отключают, так он лампу завел — говорил: почитать перед сном. Нальешь ему полную лампу керосину, а утром смотришь — весь выгорел. Сколько просидеть нужно, чтоб выгорело до дна?

Что-то у него не ладилось с Катериной. Гордая она была (про нее, как и про Вову, мать говорила в прошедшем времени, словно Катерина умерла вместе с ним).

А потом вдруг сама пришла к нему. Каблучками по лестнице притопывала, не хотела таиться. Утром в сенцах столкнулись, она говорит: «Доброе утро, Аксинья Петровна!» Вся вспыхнула, а голова поднята. Вова проводил ее до калитки, вернулся ко мне, за плечи взял и лбом об щеку мою потерся. А сам счастливый-рассчастливый...

Солнце прошло через комнатку и ушло, а Кузьминишна все говорила, говорила. Молча, с туповатым недоумением на лице слушал Никита. Ничего-то он, оказывается, не знал о брате! Посмеивался над ним: тихоня, увалень. Снисходительно спрашивал: «Как живешь, Вовка?» — и не ждал ответа: казалось, что интересного может быть у Вовки? Жалел брата: влюбился в самую бедовую девчонку, разве такая полюбит? А оно вот как получилось...

За окном ожила, зашумела тихая улочка: хлопали калитки, перекликались голоса, шелестели по пыли шаги. Вечерняя смена направлялась к шахте.

— Ой, обед-то я и не начинала! — вспомнила Кузьминишна.— Ты вот что... Отдохни пока. Тут. А потом, если хочешь... Возьми книжки его, какие нужные для тебя.

Требовательно заглянула в глаза Никиты, ничего не прочитала в них, кроме смущения, вздохнула со всхлипом и пошла вниз.

Никита остался сидеть у стола.

Вместе с известием о смерти брата вторглось в его жизнь что-то совсем новое. Горький час, когда он плакал на груди у Лельки, перевернул его душу. Впервые в его отношения с девушкой вмешалось что-то постороннее, впервые он искал у девушки не поцелуев, не телесных радостей, а душевной помощи. Два дня он почти не расставался тогда с Лелькой, подолгу рассказывал о брате, о матери, о своем детстве. Лелька слушала и только изредка задавала вопросы, на которые трудно ответить. «Ты чего в жизни больше всего хочешь?» Ничего он особенного не хотел, кроме развлечений, но ответить так было совестно, да и несчастье, ошеломив его веселую голову, отодвинуло былые интересы. «Ты какие книги любишь?» Никаких он не любил, в школе читал с грехом пополам то, что полагалось, а потом и вовсе не брал книгу в руки. Лелька любила приключения и путешествия. В вечерней темноте, перебирая его волосы, она пересказывала ему истории разных путешественников. Прочитанное путалось в ее голове, обрастало выдумками, но Никита всему верил и с уважением думал о том, как много она знает. Проводив его ночью до палатки, Лелька целовала его в щеку и ускользала в темноту.

В другое время Никита пошел бы за нею, теперь было стыдно.

— Пришьет тебя Лелька! — посмеялся Гошка, один из молодых буровых мастеров.

Про этого парня говорили, что он путался с Лелькой. Никита невзлюбил Гошку, ответил сухо:

— Не твоя забота!

Но его самого начинала пугать растущая душевная близость с девушкой и ее властная повадка. Что же это такое? Не объяснились, не женихались, а получилось, что связаны и есть у нее какие-то права на него!

— Тебе надо определить, кем ты будешь, ты же такой способный! — однажды сказала Лелька.

Откуда она взяла, что он способный? Возражать не приходилось. Не дурак же он в самом деле! Но что значит — определить? Или она тоже хочет загнать его учиться? А сама-то она что? Работает коллектором, а написала «калектор», Никита поправлял.

И вот теперь — рассказ матери. Как сильно должна была любить Катерина, чтобы ночью, не таясь, самой прийти к Вове, и остаться до утра, и выйти с поднятой головой! Никита пользовался успехом у девушек, чем Вова похвастаться не мог, но ни одна девушка не решилась бы на такой поступок, даже самые разгульные девчонки побоялись бы родителей Никиты. Да, тут любовь, какая-то особая, гордая любовь!

И еще — книги. Вова потихоньку ото всех учился, готовился поступать в институт. Просиживал ночи, так что выгорал весь керосин. А ведь у Вовы была хорошая специальность, вышел в стахановцы, зарабатывал побольше инженера. Что же его заставляло гнуть спину над книжками до рассвета?

Никита осторожно тронул одну книжку, другую... Алгебра для девятого и десятого классов. История СССР. Астрономия — это что-то о звездах. Зачем Вовке нужно было знать расстояние от Земли до звезд?

А вот в тетрадке — не то письмо начато, не то дневник. Похвалы какой-то Татьяне, затем старательно выписанный стих:

За что ж виновнее Татьяна?
За то ль, что в милой простоте
Она не ведает обмана
И верит избранной мечте?

За то ль, что любит без искусства,
Послушная влеченью чувства,
Что так доверчива она,
Что от небес одарена
Воображением мятежным,
Умом и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцем пламенным и нежным?
Ужели не простите ей
Вы легкомыслия страстей?

Совсем странно. Что за Татьяна? И почему Вова переписал этот стих?

Никите вдруг захотелось приложить эти строки к другой девушке. Захотелось увидеть свою Лельку именно такой — с «воображением мятежным... и сердцем пламенным и нежным». Он адресовал к себе вопрос поэта: «Ужели не простите ей вы легкомыслия страстей?» Но тут на память пришел Гошка с его нахальным смехом. Лелька путалась с ним. И с шофером Терентьевым тоже. «Легкомыслие страстей»? Ну нет! Такие вещи не прощают. Погулять с нею можно, но на серьезное пусть не рассчитывает! «...любит без искусства, послушная влеченью чувства» — это все-таки очень хорошо! И похоже на Лельку...

Задумавшись, он навалился грудью на стол и незаметно задремал. Проснулся от тихого голоса матери:

— Никитушка, отец пришел. Обедать!

Тело затекло в неудобном положении, мысли путались.

— Ты книжки возьми, Никитушка. Надумаешь учиться, а книжки все под рукой. Вова-то рад был бы. Он тебя жалел, Вова.

Жалел?

Мать собирала учебники дрожащими руками. Сложила книжки стопкой, перевязала. Припала к ним мокрым от слез лицом.

— Возьму, мамо. Возьму!

Три дня провел Никита дома. Никуда не выходил, старых приятелей и подруг не навещал. Подолгу лежал в саду под кустами или сидел в комнатке Вовы, раздумывая о своем. Жизнь напирала со всех сторон, чего-то требовала от него, куда-то толкала. Куда? Зачем?

Уезжая, он все-таки взял стопку книг, тщательно перевязанную матерью, и в последнюю минуту, взбежав наверх, свернул трубкой и сунул в карман тетрадку со стихом о легкомысленной Татьяне.

11

Палька Светов физически ощущал, как из него «выходит» мальчишество. Веселая беспечность возникала все реже и не удерживалась.

Оказывается, можно уйти из жизни, так и не сделав ничего заметного. Жил на свете умный, хороший парень. Ждал от жизни многого. Нет, не только ждал — напористо шел к цели. И вот ничто не сбылось. Человека нет. И память о нем быстро выветривается.

Говорят — любовь, дружба... А что это такое? Пока все хорошо, друзей полно и любовь кажется сильной,— вскинула тебе на плечи легкие руки и поцеловала перед целым светом... Но вот ты умер, и все, «отдав долг», торопятся жить без тебя. Два-три человека поплачут. Да и долго ли поплачут?

Все любили Вову. Все любили семью Кузьменко. Чуть ли не каждый вечер сбегались в приветливый дом. А теперь изредка заходят по сердечной обязанности и стараются скорее уйти. И я так же, как другие. Саша ходит ради Любы, но и они норовят отстраниться от домашнего горя. Липатушка и тот не показывается, говорит — авария сорвала выполнение плана, нужно вытягивать. Да ведь и раньше случалось, что план вытягивали, а все равно прибегал!

Нас было трое, закадычных дружков. Занимались вместе, натаскивали Липатушку по теоретическим предметам, а чуть дело доходило до практики, учились у него. Считалось — дружба до гроба. Потом Липатушка ушел в шахту, малость оторвался. Теперь уедет Саша. У каждого свое. И каждый помчится к своему, забывая о старых друзьях. Значит, прочного ничего нет?

Даже любви?..

Да, да, да!.. Любви нет. Мечты о любви, вера в любовь — мальчишество, бредни. Любовь — такой же эгоизм, как все остальные чувства. Люди хватают то, что дает им жизнь, наслаждаются, обманывают себя

и других красивыми словами, а отнимет жизнь любимую игрушку — всплакнут и торопятся завести другую. Уж если Катерина...

Чему можно верить, если Катериа...

Все мысли возвращались к ней, к Катерине, к сестре. Он не мог глядеть иа нее без раздражения. Катерина лн ие горевала так, что пугала всех своим неумерениым отчаяиием!

— Я и подойти к ней боюсь,— шептала мать.— Заговорю — молчит. Заплачу — уйдет. Я и спать боюсь: не сделала бы над собой худого.

Мать была раио состарившейся, усталой женщиной, совершенио ие похожей иа своих статных, бойкнх детей,— казалось, вложила в них все, что пмела, а сама осталась ни с чем. Да так оио прнмерно и было. Рассказывалн, была она когда-то хороша собой, да больно тиха, а Кирька Светов был парнем озорным, непокориым. Выпало ей иа долю короткое счастье нли нет, но горюшка хватила через край. Только чугунный обелиск с голубым земным шаром и красной звездой наверху остался ей иа память о муже,— обелиск стоял на кургане как раз посередиие между Доиецком н шахтой, там, где теперь построили мост, и лежало в той братской могиле больше ста революциоиных бойцов. На одной из граней обелиска были выбиты торжественные слова Карла Маркса: «Погибшие товарищи воздвнгли себе памятиик в великом сердце рабочего класса», иа другой — слова, сочиненные шахтерами: «Вашн трупы послужат стеной, через которую контрреволюциоиные силы ие посмеют больше шагнуть в Красный Донбасс!»

Товарищи погибших бойцов пошли воевать дальше, а Марья Федотовиа, поплакав, поступила на шахту, на лесной склад, вечерами подрабатывала стиркой и мытьем полов в городе. Иногда брала с собой и Катерину — иа помощь. Но в школу обоих детей посылала и иад Палькииыми двойками плакала. Когда Катерине стукнуло шестиадцать, товарнщи Кирилла пристроили ее ученицей в компрессорную, в двадцать она стала машиннстом компрессора. Марья Федотовна мечтала выдать Катериу замуж и нянчить внуков. И вот — иовый удар.

— Поговори с нею! — умоляла мать.— Может,

уехать ей на время? Истает она... Меня не слушает, а тебя, может, и послушает.

Палька сам не знал, как подступиться к сестре. В ту пору многие тревожились о ней, товарищи из компрессорной останавливали Пальку на улице и давали всякие советы, предлагали денег собрать, чтоб отправить Катерину в Ростов ли, в Москву ли, а то и на курорт. Палька жалел сестру, но гордился ею. Любовь!

И вдруг...

Перемена произошла в один день, разом.

Воспрянула Катерина, да так, что неловко стало перед людьми, а Кузьменкам и в глаза смотреть стыдно: уж больно быстро утешилась!

Повстречал ее как-то после работы, идет вместе с механиками и машинистами, глаза блестят, задирает всех озорными шутками и даже не думает, что́ люди скажут, что́ подумают.

Ни с того ни с сего затеяла генеральную уборку, с бешеной энергией переворошила весь дом, моет, скребет, обметает пыль, все перетряхивает и среди этого кавардака вдруг запоет, как прежде, оборвет песню на полуслове, а немного погодя забудется и опять поет...

«Вот тебе и любовь! — с горечью думал Палька.— Значит, грош цена самым сильным чувствам. Ты нужен и дорог, пока на глазах. А помрешь — сгниешь без следа, будто и не жил».

Нет, он не хотел сгнить без следа. Смерть отступает перед славой. Вольтова дуга, таблица Менделеева, закон Мозли, Бутлерова теория строения, реакция Гриньяра... Любящие могут разлюбить, друзья могут забыть, а люди живут в сделанном. Наука может пойти дальше, но их имена все равно не вычеркнешь из истории познания. Надо работать так, чтобы сделанное тобой осталось надолго.

Но где оно, его дело?

Ответа из Москвы не было, непонятная подземная газификация теряла свою заманчивость. Вероятно, чепуха. «Частная инженерная задача», как говорит Китаев.

Так где же оно, мое дело?..

В институте началась работа, связанная со светильным газом и предупреждением подземных взры-

вов. Может быть, это дело и есть мое? Во главе стоит Русаковский, столичное светило. Группа научных работников собирается у него в гостинице, туда же ходят инженеры-практики, Липатов тоже. Работой группы интересуются в партийных организациях, о ней расспрашивают шахтеры...

Палька пошел к Китаеву.

— Это же совершенно не ваш профиль, Павел Кириллович,— сказал Китаев.— Вы опять разбрасываетесь во вред науке и самому себе. Наука еще выдержит, поскольку у нее есть и другие служители. Но вам, мой друг, пора понять, что есть принципиаль-ней-шая и сушест-вен-ней-шая разница между научным работником и молодым теленком, который скачет туда-сюда, подкидывая ноги.

— Насколько я знаю, старых телят не бывает,— сказал Палька и ушел, чтобы не наговорить дерзостей.

Мать обрадовалась его приходу, она так и летала по дому. Ей не было никакого дела до людского забвения и посмертной славы.

— Садитесь за стол, детки, я вареников наготовила целое блюдо!

— Не хочу,— огрызнулся Палька, однако вдвоем с сестрой очистил блюдо.

Сестра заговаривала с ним, а он не отвечал и отводил взгляд: цветущий вид Катерины раздражал его. Хоть бы притворялась, что ли!

Он ушел к себе и уселся на подоконник. После вареников грустить было трудно, но делать ничего не хотелось. Да и что делать? Нечего! Дни проходят за мелкими опытами ради «частных научных выводов» Китаева, а чем они лучше «частных инженерных задач»? Старик пятый год собирается обогатить науку статьей о природе спекаемости, где он сошлется на бесчисленные опыты, «проделанные под моим руководством», и, быть может, в примечании самым мелким шрифтом упомянет фамилии учеников. Попытка попасть в группу Русаковского — самообман, просто захотелось проникнуть в тот гостиничный номер! Не вышло, и очень хорошо. С этим покончено. Не искать встреч. Не думать. Забыть...

Скрипнула, приоткрываясь, дверь.

— Да ты не работаешь! Каким чудом ты дома?

— Тебе показалось — меия иет дома.

Не смущаясь приемом, Катерниа вошла и стала у окиа рядом с братом. Ее иоздри жадио втяиули усилившиеся к вечеру запахи сада — иагретой коры, яблок, маттиолы.

— Вечер-то какой!

— Вот и шла бы гулять.

— Гулять?

Оиа усмехиулась, села иа подокоииик, по-хозяйски подтяиула под ноги стул, охватнла колеии сильиыми, загорелыми руками.

— Мне с тобой поговорить иадо, Палька.

— Ну?

— Не «иу», а слушай. Мие больше ие с кем. Если с мамой, оиа в слезы, я раскричусь, и выйдет свалка...— Оиа помолчала, подыскнвая слова.— Ты знаешь, Палька, какие у нас отиошеиия были... с Володей?

Вот и пойми женщин!

— Брось, сестреика. Что старое береднть?

— Зачем бередить? — откликиулась Катериа и подияла ясиое лицо.— У меия ребеиок будет.

Палька чуть не свалился с подокоииика, а Катерина продолжала:

— Вот н ие забудется. Если сыи — Владнмиром назову. Ты чего как в обмороке?

Глянула вызывающе, а лицо светится. Но ведь это безумие какое-то! Теперь, после случившегося...

— Трудио тебе будет, одиой-то...

— Дурак! — ласково ответила Катериа.— Одиой трудио, а я ведь теперь не одна буду.

— Да, ио воспитать, растить...

— А я что, нивалид? Квалификации иет? Заработать ие сумею?

— Да, но... Коиечно, дело твое...

— Заикаешься, как заика! — с гневом прервала она.— Говори уж прямо: ии жеиа, ни девка — и ребеиок без отца. Задело? А мие все равио!

Никогда Палька ие думал, что можио плакать от жалости, а тут от слез глаза защипало.

— Катерника, ты ж еще молодая!

— А рожать надо в старостн, да?

— Ты погоди. Случилось большое несчастье. Вову не вернешь. А у тебя впереди вся жизнь.

— Я Володю никогда не забуду.

Со дня несчастья она говорила «Володя» вместо прежнего панибратского «Вовка». И брат подчинился этому.

— Ты пойми, не кончается жизнь в двадцать четыре года! Пусть не так, как Володю... Но ты еще встретишь кого-нибудь. Да погоди ты! — прикрикнул он в ответ на ее негодующий возглас.— Не зарекайся, дуреха. Неужели ты до старости одна жить будешь? Не полюбишь никого?

— Может, и полюблю,— медленно сказала Катерина и с ненавистью взглянула на брата.— Зарекаться глупо. Жизнь длинная. Но при чем здесь это?! И неужели я ради этого... сейчас... Ах, ничего ты не понимаешь! — со слезами в голосе выкрикнула она и встала.

Палька придержал ее за локоть, неумело погладил по спине.

— Катеринка, давай не ругаться!

Слезы опять обожгли глаза. Что ж она делает с собой? И ничего нельзя изменить. Другие как-то избавляются, хоть и запрещено. Но Катерину разве уговоришь?

— Лишь бы ты не пожалела потом.

— А я, может, только теперь саму себя жалеть перестала.

Она перекинула ноги через подоконник, соскочила в сад. И он соскочил за нею. Обнявшись, медленно прошли по дорожке и остановились у забора, закинув на него локти. Здесь к запахам сада примешивались вкусные дымки самоваров и очагов. Под деревьями и у калиток вспыхивали огоньки папирос, отовсюду неслось журчание голосов — неторопливый вечерний ручеек.

Западный край неба был еще желт, но краски быстро меркли.

— Фимка, в киношку пой-де-ем? — что есть силы закричал через улицу соседский хлопец.

— Пой-де-ем! — издалека откликнулся Фимка.

Стайкой прошли принарядившиеся для гулянья девушки,— наверно, в сад имени Первой Пятилетки,

называемый в быту просто «Пятилеткой» или «Чубаковским парком».

Прошел, петляя, непутевый Тимоха — запьянцовский малый, которого то выгоняли с шахты, то, пожалев и поверив клятвам, принимали снова.

— Э-эй, держись за землю, Тимоха! — крикнула ему Катерина.

— А я — ничего,— убедительно сказал Тимоха и зашагал очень прямо, железными негнущимися ногами.

Затем в конце улицы появился незнакомый франт в мягкой шляпе, сдвинутой на одно ухо. Два пышных цветка — две канны — пламенели в его руке, выглядывая из газетины.

— Гляди, Катерина, что за щеголь топает?

— От Ваганихи кто-то,—сказала Катерина. Только у десятника Ваганова разводили канны, старая Ваганиха ими тишком подторговывала.

С любопытством людей, выросших в поселке и знающих всю его жизнь, брат и сестра вглядывались в приближающуюся фигуру.

— Фу ты, это же Липатов!

Катерина весело охнула и перегнулась через забор:

— Липатушка, ты куда, на свадьбу?

Он не остановился, только помахал рукой и на ходу лицемерно удивился: а что такое?

— Шляпа откуда? Прямо англичанин какой-то!

Липатов дернул плечом и заторопился дальше. По скованной походке можно было заметить, как его смущают взгляды некстати выглянувших друзей.

— Чудеса!

— Честное слово, Липатушка опять влюбился!

Катерина схватила брата за руку:

— Пойдем за ним! Пальчик, пойдем!

Как ребята, крадучись вдоль заборов, они пошли за Липатовым.

Липатов дошел до трамвайного кольца и уселся в первом вагоне, Палька и Катерина влезли во второй вагон.

— Ты следи, где он сойдет.

— Если у сада, значит, свидание. Цветочки! Шляпа!

— Ах он, старый черт!

«Старый черт», приосанясь, вошел в сад, обогнул

центральную клумбу и остановился под скульптурой шахтера. Казалось, шахтер вонзал остріе отбойного молотка прямо в его заемную шляпу.

— Подождем немного...

— Смотри, мороженое привезли!

Пока они ели мороженое, Липатов куда-то исчез. Сад был молодой, но кусты успели разрастись, а в боковых аллеях было много беседок и укромных скамеек. Весь Донецк знал, что на заседании бюро горкома Чубак сказал строителям сада: «Позаботьтесь о влюбленных, сухари вы этакие!» Вот и попробуй теперь отыщи Липатова с его каннами!

Палька отступился бы, он все еще был взволнован и ошарашен, но Катерина искала Липатушку с полным увлечением. Какая она еще девчонка! Не приснился ли недавний разговор?..

Вспыхнули фонари на главной аллее и на танцевальной площадке. Боковые аллейки, перечеркнутые полосами теней, выглядели заманчиво, туда сворачивали парочки. Катерина и Палька пробежали по аллейкам, исподтишка перемигиваясь со знакомыми — открыто здороваться было тут не принято. Палька развлекался, опознавая, кто с кем гуляет, и вдруг дернул сестру за руку:

— Хватит! Нашли занятие, пинкертоны!

Что угодно, но это уж слишком! В уединенной беседке развалился на скамье Липатов — в позе светского болтуна, окончательно свернув шляпу на ухо. А рядом сидела о н а,— блики света от дальнего фонаря чуть покачивались на рыжих удивительных волосах, на ее коленях — те самые канны.

Увлекая сестру к выходу, Палька трясся от злости. Лицемерная тихоня! Лиса! И еще женатый человек! И эта тоже хороша — профессорша, а бегает на свидания в темные аллейки! Каким же он был дураком, не решаясь пригласить ее на невинную дневную прогулку!..

— Ты иди, Катерина, мне нужно к приятелю.

Катерина заупрямилась, ему не сразу удалось отправить ее домой.

Парочка по-прежнему любезничала в беседке, только теперь Липатов снял свою дурацкую шляпу и крутил ее на кулаке.

Палька разболтанным шагом прошел по аллейке и как бы случайно наткнулся на них:

— Кого я вижу!

Даже в полумраке заметно было, как побагровел Липатов. А Татьяна Николаевна не смутилась, она обрадовалась Пальке и усадила его между собой и Липатовым. Обида сразу улетучилась. Покраснев не меньше приятеля, Палька молчал и растроганно думал, что она милая, милая, милая.

— Куда же вы дели красивую девушку, с которой мы вас видели полчаса назад?

— Ушла домой.

Он отнюдь не хотел признаваться, что гулял с собственной сестрой. Пусть думает, что у него есть девушка, да еще красивая! Но Липатов объяснил, мстительно улыбаясь:

— Это его сестра. Она так же любопытна, как ее брат.

Татьяне Николаевне что-то не понравилось. Ее брови надменно взлетели. Холодно, как бы снисходя до разговора с ним, она сообщила, что хочет использовать пребывание в Донбассе для ознакомления с шахтами, ведь она училась в Горном и теперь помогает мужу: Иван Михайлович любезно обещал...

Палька почти не слушал. Все это не имело никакого отношения ни к его любви, ни к тому, что рядом сидит один из его лучших друзей — сидит враждебно настороженный, злой. Глупо, глупо, глупо! Она была приветлива и проста с ними, а они повели себя, как два идиота. Сейчас она встанет и уйдет навсегда.

— Становится свежо.— Татьяна Николаевна передернула плечами и поднялась, уронив канны.

Оба пошли провожать ее — один справа, другой слева.

Липатов завел нудный разговор о работах по светильному газу. «Мы, шахтеры, с нетерпением ждем...» То-то ей весело!

Возле гостиницы остановились. Она насмешливо смотрела то на одного, то на другого. Поразвлекается их глупостью и уйдет.

Отчаяние придало Пальке смелости — будь что будет! С неуклюжей решительностью он попросил еще

иа два дия журиалы — те самые, что давно вериулись в библиотеку.

— Я спрошу мужа,— без запиики ответила Татьяиа Николаевиа.— Попробуйте забежать завтра утром.

Ее глаза смеялись. Эх, если бы тут ие было Липатова!.. Но Липатов был тут. Ои длииио и цветисто передавал привет профессору.

— Спасибо, что проводили,— с затаеииой иасмешкой сказала Татьяиа Николаевиа и скрылась за массивиой дверью гостииицы.

Два друга побрели по улице.

Пальке хотелось обиять Липатушку и шепиуть ему доброе слово, ио вместо этого ои ие без яда спросил:

— Что пишет Аииушка?

Липатов иахохлился еще больше.

— Ничего особеииого. Ты иа трамвай?

— Ага.

С подиожки трамвая Палька еще раз увидел друга: зажав в кулаке иеиужиую шляпу, Липатов мрачио шагал к своему одииокому жилью, где в отсутствие Аииушки всегда пахло размокшими окурками и брызой. Соскочить бы сейчас, догиать его, выпить с иим мировую...

Вот и тресиула дружба.

Три мииус одии мииус одии — едииица.

А завтра утром... Да иичего ие будет завтра утром! Ровио иичего! Что я такое в ее глазах? Ничто! Кто я вообще? Никто! Аспираит, кропотливо подготавливающий «частные выводы»... Так идут дии, идут годы. Скоро двадцать три...

Успех приходит к упориым. К тем, кто ищет главное, ие разбрасываясь по пустякам и зиая, чего хочет. Не теряя ии одиой мииуты зря.

Вспомиив суровые решеиия, прииятые иесколько часов иазад, он ужасиулся тому, что иачисто забыл о иих, стоило ему увидеть иеиаглядиую.

12

Дома его ждала баидероль из Москвы.

Катерииа крутила ее в руках — смотри-ка, Палька, казениая, с печатями!

— Пустяки, библиографическая справка,— выхватывая ее, объясиил Палька и заторопился к себе.

Никому в мире не сказал бы он, сколько иадежд разгорелось в нем прн внде этой бандероли!

— Спокойиой иочи, Павлнк! — кркнкнула вслед Катерина.

Излишняя вежливость была у ннх не в ходу. Ои иевольно оглянулся — Катернна стояла в дверях, жалобно улыбаясь. Должно быть, нарочно не ложилась н ждала брата, чтобы поговорнть о своем... Ннчего, Катерина, сестренка, все будет замечательно! Ты увидншь, увндишь!

Он рванул обертку.

Условия конкурса были отпечатаны на нескольквх страницах папиросной бумагн; Пальке достался тусклый, малоразборчнвый оттнск.

Суть задачн терялась среди подробностей и частностей. Палька с трудом уловил: нужно найти способ сжигання угля под землей, то есть перенестн метод обычного газогенератора в подземные условня. В спецнальные шахты, что ли? Чтобы не вывозить уголь на-гора́?

Честолюбнвые мечты потускнелн. Задача выглядела неинтересной. Да н дело здесь не для химика, а для горного ннженера илн спецналнста по газогенераторам. Та самая «частная ннженерная задача»...

Ннкогда еще ои не чувствовал себя такнм подавленным всем, что на него иавалнлось, и всем, что от него ускользнуло.

Он заснул среди размышленнй, полных горечн. Но и во сне продолжалось беспокойство: в отрывочных виденнях мелькал Липатов с двумя каннамн н нстошно крнчал маленький ребенок, а Татьяна Ннколаевна щурнлась н говорнла: «Я не знала, что эта краснвая девушка замужем!»

Солнце ударнло в глаза и разбуднло. Серебрнстый тополек шелестел у самого окна. Заиимался нскрнстый деиь, сулнвший только хорошее. Молодое тело отдохнуло за ночь и не хотело инчего знать о тревогах духа. А дух уловил веселый шепоток тополниых листьев: «Сегодня ты ее увиднщь...» И для чего терзаться, для чего отказываться от радости, когда радость сама позвала: «Попробуйте забежать утром»!

Умываясь во дворе, он крикнул матери: «Голодеи,

как собака!» — и впрыгнул в окно, чтобы в ожидании завтрака получше одеться.

На столе валялись материалы конкурса. При виде этих тусклых страниц Палька снова испытал вчерашнее разочарование, но быстро погасил его. Слишком солнечный день, слишком скучно предаваться досаде...

Он выбрал самый яркий галстук и, повязывая его, заглянул на первую страницу конкурсного задания. Нет, ничего привлекательного! Вчера он не все разобрал, пожалуй, тут есть интересные вопросы... но конечно же это не то единственное в мире дело, которое где-то, несомненно, ждет его! А все-таки занятно. Большая экономия на транспортировке угля. Очевидно, потребление угля частично вытеснится потреблением газа. Прямо по трубам из шахты? Надо подумать. В ожидании лучшего можно заняться и этим, почему бы нет?

Он открыл дверь и закричал во весь голос:

— Го-ло-ден!

— Как со-ба-ка! — из кухни откликнулась мать.

Она сегодня на редкость весела. Ох, бедняга, и расстроится же она, когда узнает...

Жаль, что подземная газификация оказалась делом инженерным. Конечно, газогенераторщики набросятся. Вероятно, уже набросились.

Палька перелистывал материалы, прислушиваясь к шипению сала и стараясь угадать по запаху, что там жарится. И вдруг он заметил небольшой листок, подколотый в конце, после условий конкурса.

«Приложение: статья В. И. Ленина «Одна из великих побед техники», напечатана в 1913 году в «Правде».

Что такое? Статья Ленина?!

«Всемирно-знаменитый английский химик Вильям Рамсей (Ramsay) открыл способ непосредственного добывания газа из каменноугольных пластов».

После первых же строк у него перехватило дыхание: да ведь это, оказывается, совсем другое! Это же потрясающее, грандиозное дело!.. Не имея терпения читать все подряд, он жадно выхватывал самое удивительное:

«Открытие Рамсея означает гигантскую техническую революцию...»

«Способ Рамсея превращает каменноугольные рудники как бы в громадные дистилляционные аппараты для выработки газа».

«Громадная масса человеческого труда, употребляемого теперь на добывание и развозку каменного угля, была бы сбережена».

Да что же это такое?! Почему никто не знал об этом? В 1913 году... в подпольной «Правде»... Я родился год спустя... И с тех пор никто! Ничего!

Это было так невероятно, что он еще раз перечитал статью с начала до конца, находя в ней все новые, еще более поразительные мысли. Не поверил себе, разыскал 368-ю страницу в XVI томе Ленина и заново перечитал... Да, статья существует, том с этой статьей стоит у меня на полке, в томе есть закладки... Готовясь к политзанятиям, к экзаменам, я читал в этом же томе другие статьи... может быть, касался и 368-й страницы, но перелистывал дальше...

— Павлу-ша, го-то-во!

Было страшно оторваться от статьи, будто стоило выйти — и все развеется, как сон. Так вот что такое подземная газификация угля! Не какая-то там экономия на транспортировке, не какое-то усовершенствование, а ликвидация подземного труда! Экономика высшего, коммунистического общества!

И все это выпало мне! Больше двадцати лет оно ждало меня, это чудесное дело, которое перевернет всю промышленность!

Он дочиста съел завтрак, но так и не заметил, что нажарила мать. Книга стояла перед ним, опираясь на корзинку с хлебом.

«Но последствия этого переворота для всей общественной жизни в современном капиталистическом строе будут совсем не те, какие вызвало бы это открытие при социализме...»

Понятно. Очень нужно капиталистам тратиться на переоборудование промышленности и транспорта! Им проще эксплуатировать дешевый труд. Они ж сами не работают под землей, а только собирают барыши!

«Рамсей ведет уже переговоры с одним владельцем каменноугольных рудников о практической постановке дела».

Это было в 1913 году. Ясно, что Рамсею не удалось провести опыт. Почему? Вероятно, стали на дыбы и шахтовладельцы, и пароходные компании, и железнодорожные... Еще бы, надо все менять! Вот он, капитализм,— ради сегодняшней экономии угробили великое открытие!

А теперь я, Павел Светов, разработаю и осуществлю его. Да, во что бы то ни стало! И будет то, что пишет Ленин,— при социализме. Освобождение миллионов шахтеров от подземного труда. Сокращение рабочего дня. Избавление от дыма и копоти. В корне изменится вся угледобыча... Значит — и наша шахта? Перестроится весь транспорт... Электропоезда? Намного быстрее пойдет все, все строительство... Ух ты!

Покончив с завтраком, он бросился перечитывать условия конкурса. Теперь, когда он понимал гигантское значение дела, материалы показались содержательнее. Но ясно, что сама комиссия понятия не имеет, как все будет. Это скажет он, Павел Светов!

Я?.. Может ли это быть? Я? Именно я?..

Успех приходит к упорным. Успех — это труд. Так разве у меня не хватит упорства, энергии, способностей? Да я всю жизнь положу!..

Только надо начинать немедленно. Немедленно!

С чего же?.. С чего начинал Рамсей и к чему пришел?

Он перебрал все свои учебники в поисках какой-нибудь ссылки, намека... Ни-че-го! Значит, нужен Рамсей! Ведь не может быть, чтобы от такого открытия не осталось хотя бы статьи, заметки, набросков... «Способ Рамсея превращает каменноугольные рудники как бы в громадные дистилляционные аппараты...» Так пишет Ленин. Громадные дистилляционные аппараты для выработки газа... Ленин где-то прочитал об этом! И сразу оценил открытие целиком, во всем его значении. Сам Рамсей, конечно, и половины не видел... иначе, наверно, повоевал бы?..

И все-таки: как оно получалось у Рамсея?

Он помчался в техническую библиотеку и перерыл ее всю. Сочинения самого Рамсея нашлись в разрозненных изданиях на английском и немецком языках. Палька впился в них, напрягая свои скудные познания и пользуясь словарями. Библиотекарша пыталась

помочь ему, но быстро устала н предоставнла ему одному хозяйничать на полках.

Запыленный, голодный, с иоющей спиной, он вышел из бнблиотеки, так и не узнав ничего об открытин Рамсея. Как нн странио, на улице темнело. В окнах загорались огии. Вечер?

Ну, вечер так вечер, а надо пойти в лабораторию. Только поесть бы! Поесть, а потом закрыться и думать, думать, думать... С этого и следовало начинать! Если б у Рамсея что-то было, в Москве знали бы... как я ие сообразил сразу! Он купил два батона и полкило колбасы.

— Федосеич, родненький, я тут поработаю, ладно?

Он закрылся на ключ и сел на свое любнмое место — отсюда днем видно иебо и верхушки акацнй. Теперь за окном мрак. Ничто не отвлекает. Можно вытянуть ногн, заложить руки за голову и думать, думать...

Итак, способ Рамсея иеизвестен. Рамсей ннчего не напнсал, ничего не оставил. Может, в Англни н найдутся люди, которые знают, помнят. Но кто станет разыскивать их? И захотят ли они делиться с нами?

Значнт, передо мною голая задача — найти способ превращения угля в газ под землей. И все. Очень хорошо!

От чего же оттолкнуться? От принцнпа обычного газогенератора? Посмотрим обычный газогеиератор!

Он пробрался в справочную библнотеку, открыв ее ключом от лабораторни (секрет сходства ключей знали в институте все, кроме Федосеича и библнотекаря). Достал нужный справочник. Что же, принцип знаком. Но все-таки зарисуем схему, выпишем основные данные...

Что тут главное? Не сам процесс горения, а то, что уголь подается раздробленным. Сама схема газогенератора проста: вот так-то и так-то подается воздух, здесь образуется газ, тут он выходит по газоотводной трубе... Все просто! Но газогенератор — машина. А у меня — огромные залежи угля в недрах земли. Как превратить подземное царство в тот «огромный дистилляционный аппарат»?..

Какое-то подобие машины, опущениой под землю. К ней подается по желобу или конвейеру раздроблеи-

ный уголь... Да, но какое же это к черту освобождение от подземного труда, еслн иадо предварнтельно вырубать н дробнть уголь?!

А как избавнться от необходнмостн дробления, когда «качество газа завнсит от качества угля и равиомерности дробления его»?..

Как нзбавиться, еслн это закон? Опровергнуть закон?!

Спокойствне, спокойствне, Павел Светов! Давай-ка с самого иачала...

Когда Федосеич раннHм утром пришел в лабораторию, Палька был там. По встрепаниому виду аспиранта, по клочьям нсчерканной бумагн на столе н иа полу лаборант безошибочио определнл, что ночь не дала результата.

— Не допер? Еслн подсобнть нужно, скажи, подсоблю.

Палька обнял его и загляиул в его выцветшие глаза свонмн покрасневшимн от бессонной иочи, но яркнми н будто пьяными глазами.

— Не додумался н не сразу додумаюсь, но дело такое, что не жалко целый год не спать! А уж допру обязательио!

И чмокиул старнка в мягкую, только что выбрнтую щеку.

Федосеич поиятлнво кнвнул и иачал собнрать раскнданные бумаги. За долгую жизнь этот тихий лаборант хорошо узнал трудиость и длнтельность всякого научного искання. Он понимал толк в усталостн и возбужденин, сопутствующнх творчеству, н любнл вндеть людей в таком состоянин. Он любил перекннуться с инмн шуткой и проводнть их взглядом — слова, походка, двнжения у иих особые, невсегдашние. Он собнрал н прятал смятые запнскн н перечеркнутые формулы, потому что знал: пройдя от начальиого, отвергиутого варианта сложиый путь догадок н откровеинй, исследователь иередко возвращается обогащенным к нсходному пункту н понимает свою первую ошнбку, н находит то, чего не хватало вначале...

А Палька шел домой, расслабнв мускулы и предоставнв рукам и ногам болтаться, как им будет угодно.

Мать выскочила навстречу, укорнзненно покачала головой, но не посмела спросить, где он провел ночь.

— Ее зовут Хнмня, и она прелестна! — сказал Палька и грохнулся на стул.— Голо-ден!

— Как собака,— сквозь зубы докончнла мать.

Он жадно ел, всецело отдаваясь этому занятию н по-прежнему нн о чем не думая. Зашел было к себе, постоял у кроватн, но понял, что заснуть ие сможет, и снова вышел из дому. Ноги вывели его в степь. Отойдя подальше, он лег прямо на землю, еще прохладную после ночн.

Как давно он не был в степн утром! Как здесь сильно и горьковато-сладко пахнет! Чем это? Травы полегли, желтеют, а полынь еще стоит, распрямив свон матовые листочки. Горечь от полынн. Илн от чебреца? Вон его сколько на склоие — сплошной лнловый коврнк. И тоже начннает прнвядать. Совсем блнзко трижды просвнстел перепел — фить, фить, фи-н-ить! Подружку выкликает? Или у него тут перепелята укрыты в траве?.. Прямо над головою Палькн зазвучала песня, звонкая-презвонкая. Жаворонок! Палька посмотрел вверх: вот он вснт в небе, как на ниточке, трепеща крылышками, и поет-заливается о том, что жнзнь прекрасна, прекрасна, прекрасна!

Если смотреть снизу вверх, видно, как колеблется воздух,— нспаряется роса. Колеблется и чуть-чуть нскрится.

В поселке каждое окошко сверкает, отражая солнце. И на мрачных скатах террнконов то тут, то там что-то поблескнвает. И далеко-далеко, средн городских крыш, еле проступающнх в солнечном мареве, ослепительно сверкает стеклянная крыша нового уинвермага.

А иад всем этнм ясным утренним блеском — сколько виднт глаз, от одного края горизонта до другого — тянется пелена дыма и копоти. Над шахтами, над заводамн, над железнодорожной станцией тяиется, покачивается темная пелена, заслоняя голубнзну неба.

Этого не будет!

Не будет дыма, грязн, копотн.

Не будет черных груд угля, ожидающего погрузки.

Не будет нескончаемых угольных составов, с громыханием уходящих во все концы...

Не будет угольных топок и почерневших кочегаров, задыхающихся от нестерпимого жара... У кочегаров и шахтеров угольная пыль въедается в кожу, скоро этого не будет.

Люди не будут спускаться под землю, в черные пасти лав и уступов, они никогда уже не будут прислушиваться к зловещему гулу оседающей породы, не будут принюхиваться к спертому воздуху шахты, почуяв еле ощутимый кислый запашок сочащегося газа...

Миллионы людей (ведь их миллионы, если взять весь земной шар!) выйдут на солнце, на вольный воздух, чтобы никогда больше не спускаться вниз.

А Вова погиб. Погиб, еще ничего не зная. Он любил Катерину и мечтал учиться на горного инженера. Если б он был жив, он бы так радовался ребенку! Дико, что Вова не успел узнать о ребенке. Он лежал на носилках, не похожий на себя, весь в крови и угле...

Сестренка, этого больше не будет!

Люба, девчонка пугливая, ты стала бояться шахты, дрожишь за своего Сашеньку, когда он спускается туда,— обещаю тебе, я уничтожу подземный труд! Кузьмич прикрикнул на Любу: «Молчи, дура! Не болтай вздор! Я тридцать лет в шахтах работаю, и чтоб родная дочь паинку разводила — не позволю!» Он любит шахту, с гордостью говорит: «Мы шахтеры...» А я? Разве я не люблю? Я тоже люблю, горжусь, что я потомственный горняк. Настоящий шахтер никуда не уйдет от угля. Тут есть гордость и слава. Но кто захочет рубать кайлом, когда есть пневматический молот и врубовая машина? Кто будет цепляться за фонарь, когда светит электричество? И кто откажется от солнца? От теплого ветерка?

Влетит ветерок в окна станции управления. Станции управления подземной газификацией! Стены выложены белыми кафельными плитками, рабочие чистой тряпкой протирают никелированные части, легкий поворот рукоятки направляет сложный процесс газификации угля, процесс, происходящий глубоко под землей!..

Это уже не единоборство человека с природой. Это — уверенное управление послушной, подчинившейся человеку стихией.

И это коммунизм!

Кузьмич станет к пульту управления. Сын Катерники и Вовы станет к пульту управления. Бесшумные электровозы помчатся по всем дорогам — через сады, через бездымные города. По невидимым, уложенным в землю трубам полетит газ к городам, заводам, пристаням. В сверкающих баллонах будет грузиться легкое волшебное топливо.

На белых лепестках акации не будет налета угольной пыли. И не будет висеть вон там, над родным городом, темная пелена дыма...

Он вдруг приподнялся, не веря своим глазам.

Совсем недалеко от него вольно шагала по желтеющей траве Татьяна Николаевна. Легкий шарф реял вокруг ее плеч. Полотняная шляпа прикрывала от солнца ее лицо.

Трепет восторга поднял Пальку и бросил к ней навстречу.

— Вы! Вы! — повторял он, хватая и сжимая ее руки.— Дорогая, хорошая, вы!

Она стояла растерянная, испуганная. Он возник неизвестно откуда, прямо из земли. И он был, несомненно, пьян. Она попыталась говорить с ним, как с нормальным:

— Отчего вы не зашли вчера?

— Не зашел? Вчера?

Он с трудом понял, о чем она спрашивает.

Да, для всех людей раздельно существовало вчера и сегодня, утро и вечер, день и ночь. Когда-то он делил время так же, как все люди, и у него были свои планы и стремления. Тогда он обещал зайти к ней за журналами. Но какое это имеет значение сейчас! Вчерашнее откинуто. Но из вчерашнего пришла женщина. Он любит ее. Любит сильнее, чем вчера, потому что сегодня все стало огромным. Любит и не может не рассказать ей немедленно все, все...

— Наплевать, что было вчера! — воскликнул он, бросая пиджак на траву.— Сядьте и слушайте! Мне надо столько рассказать вам, чтоб вы поняли! Дорогая, золотая, какая вы умная, что пришли!

Она дала усадить себя на пиджак, но все еще сопротивлялась странному тону, взятому Палькой.

— Да я не к вам пришла, с чего вы взяли? Или степь — ваш дом?

— Не надо,— умоляюще прервал ее Палька.— Вы тут — и все.

Он лег на траву и подложил под голову кончик ее шарфа.

— Слушайте! Вы слышите — жаворонок?

— Да. Их тут много.

Он сердито дернул губами.

— Вот этот... Вы понимаете, что он поет?

Она была достаточна умна, чтобы прислушаться и промолчать.

— Вы когда-нибудь представляли себе коммунизм?

Более неожиданного вопроса в эту минуту нельзя было придумать.

— Не так, как в теории,— захлебываясь, продолжал Палька.— Уничтожение противоположности между городом и деревней, между трудом умственным и физическим и так далее. Нет, а зрительно? В деталях? Какие будут дома? Как будут передвигаться люди: в автомобилях, облегченных, как велосипед, или в индивидуальных самолетах, как у Маяковского? И каким будет вот этот самый умственно-физический труд?

Она решила, что он, возможно, и не пьян, а только очень влюблен. И хочет говорить с нею, как с самим собой, все мужчины стремятся к этому, и чем лучше слушает женщина, тем сильнее они любят.

— Это так неясно...— протянула она, чтобы дать ему повод высказаться.

— Наоборот, теперь уже ясно! — вскричал он.— В том-то и дело, что теперь уже все ясно!

И он начал сбивчиво и восторженно рассказывать о том, что он только что увидел, заглянув в будущее. И о Кузьмиче, и о ребенке Катерины, и о цветах без угольной пыли на лепестках, и о белых кафельных плитках на какой-то станции, и о Рамсее, унесшем в могилу свое изобретение. Он пересказывал ей какую-то статью Ленина, от возбуждения глотая слова и не заканчивая мысль, и снова говорил о старом Кузьмиче и о погибшем Вовке...

Она плохо понимала его, но слушала, изредка откликаясь коротким возгласом, и думала о том, что этот аспирант — очень славный, увлекающийся юноша, и она не виновата, что ей приятно встречаться с ним и приятно, что он влюблен. И еще она думала: сказать мужу или не стоит придавать значения?

А Палька рассказывал, что он делал вчера и сегодня, вернее, с той минуты, как прочитал ленинскую статью,— последующие часы слились для него в одно бессонное, тревожное и счастливое время.

Выплеснув из себя все, что наполняло его, он уверенно потянул к себе руку Татьяны Николаевны, прижался к ней щекой и затих. Она скосила взгляд на часы: поздно, пора идти.

— Нет, нет, не надо уходить,— почуяв это, пробормотал Палька.— Дорогая вы моя, дорогая, как мне сейчас хорошо!

Она молчала, обдумывая, что делать. Галя должна прийти домой, ее надо накормить. И муж забежит позавтракать. А тут этот сумасшедший со своими странными мечтами...

И вдруг она заметила, что он спит. Сонное дыхание вздымало его плечи, обтянутые белой рубахой. Слишком пестрый галстук сбился на сторону. Лица почти не видно, но щека по-юношески гладкая, и уголок губ, уткнувшихся в ее ладонь, влажен и свеж.

Осторожно, чтобы не разбудить его, она вытянула свою руку, прикрыла его плечи пиджаком. В порыве нежности провела кончиками пальцев по всклокоченным волосам.

Когда он проснулся, ее не было рядом. Над посеревшей степью зажглись первые неяркие звезды. Тянуло холодком. И не понять было, приходила она сюда или только снилась.

13

Накануне первого дня отпуска Катенин выехал в Москву. Ответная телеграмма Арона Цильштейна гласила: «Предоставлю квартиру и сердце телеграфируй приезде закажу оркестр». Все тот же Арон, прикрывающий чувствительность иронией!

Катенин старался представить себе встречу с дав-

ннм другом — и не мог. Шутка сказать, девятиадцать лет!

В юности нх дружба была, как говорнл Арон, «едниством противоположиостей». Свел нх Катениио-отец, который покровительствовал Арону нз прннцнпа: профессор презирал аитисемнтизм и осуждал бездарную политнку царского правнтельства. Правда, поздиее ои иазывал Арона «комнссаром-недоучкой» н умер, так н ие прнзиав большевнков. Но в годы, когда Катеиии был студентом, отец помог талаитливому юиоше преодолеть миогочнслеиные рогатки, преграждавшие евреям путь к образоваиию. Арон был прописаи в столице в качестве слугн профессора Катеиииа, зарабатывал иа жизнь пнсарем у присяжиого повереииого, ночевал в каморке у дворника н вольиослушателем посещал лекции в Политехиическом иистнтуте. Кроме того, ои прниимал участие в революциоиием движеиин. Квартира профессора была для иего безопасным прибежнщем, изредка местом встреч с нужиыми людьми. Были дин, когда молодой Катеинн хотел вступить в революциоииый студеический кружок, ио Арои деликатно отвел его просьбу. Не доверял? Не считал подготовлеиным к борьбе? Или предпочитал сохраиить дом Катениных как удобную ширму?.. Катеинн не настанвал, даже испытал облегчение оттого, что не нужно рисковать собой. Ои был влюблеи в Катю, прнблнжались выпускиые экзамеиы. Все убедительней звучали доводы отца: «России иужиы ие буитовщики, а грамотиая иителлигеиция, способиая управлять и производить,— ие век же мы будет отдавать иаши богатства, нашу промышлеиность на откуп ииостраицам, нщущнм поживы! Рябушииских и Распутниых могут оттесинть с исторнческой сцеиы только эиергичиые инжеиеры и оргаиизаторы. Победят ие революцноиеры, а трезвые умы и точные зиаиия».

Арои подшучивал: «Учись, учись, трезвый ум, тебе даже ие нужио продаваться каким-нибудь Нобелям, возле папы тебя н сквозиячком ие продует». Когда молодой иижеиер из гордостн отказался от протекцни отца, Арон уднвился: «Не ожндал! Да ты молодец, Всеволод!» — и Катеинн был счастлив.

Каков же он теперь, этот старый друг?..

Москва... Выйдя из вагона, Катенин боялся не узнать Арона, но сразу же увидел бегущего к нему добротно-округлого, розоволицего человека с глазами и улыбкой прежнего Арона. Чуть задыхаясь после бега, Арон подтолкнул пальцем свою заграничную велюровую шляпу так, что она съехала на затылок, и сказал прежним ироническим голосом:

— Оркестр опоздал, я чудом поспел, но встреча друзей состоялась. А ну-ка, покажись, трезвый ум, как тебя жизнь обработала?

Затем он облобызал Катенина, опахнув его запахом одеколона, и вырвал у него чемодан.

— Еле удрал из наркомата. У меня сегодня три заседания в противоположных концах города!

В машине Арон заговорил напористо, не ожидая ответа на вопросы:

— О чем советоваться? Продумал ты главное решение? Не знаю, сумею ли я помочь тебе, но тогда разыщем нужных людей, из-под земли достанем.

Он погладил обивку машины и без перехода сказал:

— Премия! Пер-со-наль-на-я машина. А? Вот тебе и нищий студент, прописанный лакеем профессора Катенина!

И опять-таки не ожидая ответа, перескочил на новую тему.

Открыв дверь своим ключом, он закричал на всю квартиру:

— Лена! Сыны-ы! Обедать!

И объяснил, вводя гостя в кабинет:

— Они на даче, приехали обеспечить гостеприимство, а потом мы — холостяки!

Не дав Катенину опомниться, повел его мыться, затем показал свою библиотеку, тут же сбрасывая на диван книги, которые могли пригодиться Катенину. Познакомил со своей пожилой приветливой женой и двумя сыновьями — сыновья были до смешного похожи на молодого Арона и одновременно на только что оперившихся щеглят.

Обед был долгий, беспорядочный, веселый. Щеглята ничуть не стеснялись гостя и громко рассказывали все, что произошло на даче в последние дни,— какой-то заплыв, ловля раков, драка с мальчишками Ере-

меевской дачи... Арону их рассказы были по-настоящему интересны, глаза его сверкали, как в молодости. Он тут же обещал вместе с Катениным приехать в субботу и отправиться с ночи удить рыбу.

— Да я никогда...— начал было Катенин, но Арон замахал руками:

— Не спорь! Это увлекательно до черта! Надо ж когда-то начать! И какой ты будешь изобретатель, если не научишься терпению? А рыбная ловля — высшая школа терпения!

После обеда друзья заперлись в кабинете. Катенина разморило с дороги, он мечтал прилечь на часок, но Арон и не вспомнил про свои три заседания, расположился в кресле и быстро спросил:

— Итак, берешься за газификацию. Ради чего?

И поглядел испытующе.

— Ну... это же интересно! Огромная техническая задача...

— Слава? Деньги?

Это был прежний Арон — проницательный и беспощадный.

— Не откажусь ни от того, ни от другого, но не это главное.

— А что же?

Катенин поморщился. Трудно раскрыть себя так, сразу, после девятнадцати лет разлуки.

— Что твоя Катя? — спросил Арон, и эта его догадливость была новой чертой, приобретенной с годами.— У тебя ведь сын? Или дочь?

— Дочь,— с благодарной улыбкой сказал Катенин.— И очень удачная дочь. Музыкантша. Красавица. В Катю...

— Да ты и сам неплох! — воскликнул Арон, оглядывая друга.— Рост, осанка, барственное лицо — как у твоего отца. Ну а другие красавицы как?

Катенин удивленно вскинул брови. Арон расхохотался:

— Ну, ну! Вижу: хороший семьянин и сама строгость!

Он одобрительно кивал головой, но Катенин понял, что Арон если и семьянин, то отнюдь не строгий.

— Хорошо или нет, но так получилось,— с легкой

завнстью к жнзнелюбню друга проговорил Катенни.— Ценю то, что нмею, да н годы...

— О! Впрочем, да, годы... К старости повериуло, а, Сева?

— Вот именно,— подхватил Катенин без всякой грусти, потому что чувствовал себя на подъеме н в этом разговоре обрел нскренность.— Вторая половнна жнзни! И хочется сделать, обязательио сделать что-то значительное. Чтоб знать: жнл не зря.

Арон кивнул, не перебивая.

— Помнишь, я тебе говорнл когда-то: сделал ошнбку, ие полюбнл и ие полюблю свою профессию... Я не могу сказать, что так и вышло. Увлекся тем, что меияет ее. Зиаешь, размах механнзацнн н прочее. Коечего добнлся. Но сейчас я поиимаю: это была лишь подготовка. Ты мне послал жар-птицу — я подхватнл ее перо. Сейчас мне кажется, что жизнь начниается завтра. Вот почему я к тебе прнмчался.— Пока ои говорнл, его иетерпенне сиова разгорелось: — Не томи, Арон. Расскажн, что за комнссня создана? Есть лн уже проекты? И вообще, как она тут представляется, эта подземиая газнфнкацня? Откуда это пошло — коикурс? Кто заинтересован?

— Алымов,— почему-то сердито сказал Арон.

— Алымов? Это кто же?

— Да так, однн горячнй дядька. Ои н заворачивает. А комиссия — как большннство комнссий. Имена н звания. Все заияты тысячей дел, инкого ие соберешь. Меия тоже... не соберешь!

Арон прошелся по кабннету и остановнлся перед Катенным, как-то по-юношески улыбаясь.

— Комиссня — что! Ты вот послушай такую сказочку. На Кубаии, в казачьей стаиице, жнл-был обычный кавалернйскнй полк. Что делают в таком полку? Чистят и купают коией, скачут там нли рубят лозу. Два или трн раза в иеделю политруки проводят полнтзаиятня, а крестьянские и рабочне парии стараются изучнть констнтуцню, историю партии и прочее. Так прнмерно? И вот иа такой полнтбеседе паренек-кавалернст спрашнвает своего политрука: «Я прочел у Ленина статью о великой победе техники. Будто уголь можио сжигать под землей. Я сам шахтер. Партия прнзывает шахтеров увелнчить угледобычу. Так

вот, товарищ политрук, интересуюсь, что у нас делается по этой статье?» Политрук был умный, сказал: «Не знаю, но узнаю» — и побежал к комиссару. Тот — в библиотеку. Все читают статью, все ищут сведений, что у нас делается,— и не находят. И тогда полк пишет письмо: «Всем! Всем! Всем!» В Совет Народных Комиссаров, в ВСНХ, в газеты, в вузы, в научно-исследовательские институты... Вот как! И право подписи предоставляется отличникам боевой и политической подготовки. И подписывают письмо торжественно, на сцене клуба, под аплодисменты. Письмо летит в десятки адресов, и везде хватаются за статью Ленина, и везде убеждаются, что ни за границей, ни у нас ничего не делается. Впрочем, кое-где письмо подшивали в папку с надписью «В дело» — есть такая форма безделья. Но кавалеристы нашумели в десятках учреждений и редакций. Добрались до Серго Орджоникидзе. Тут все и завертелось. Вызвал Серго своих угольщиков, спрашивает: что писал Ленин об угле? Они сыплют цитатами, а об этой статье — ни слова. Не знают...

Катенин спросил пересохшими губами:

— О какой статье ты говоришь? Я ведь тоже не знаю.

— Не знаешь?! Это ж самое главное! — Арон схватил и развернул том на закладке.— На, читай!

Катенин читал и перечитывал ленинскую статью. Арон вышел проводить жену и детей — они уезжали на дачу. Все трое заглянули проститься с гостем, напоминали о рыбалке. Катенин рассеянно отвечал: спасибо, обязательно! Он был потрясен. На какую неожиданную высоту взметнулась облюбованная им задача! «Переворот в промышленности, вызванный этим открытием, будет огромен...» Какая удивительная удача! Какие перспективы!

— Освоил? — Арон положил руку на плечо Катенина.— Ты спросил, кто заинтересован и кто участвует? Так вот, заинтересованы кавалеристы, понимаешь? Рядовые советские бойцы, которым есть дело до всего, и до технической революции тоже. Мы механически повторяем, что наши солдаты — граждане. Вот оно, гражданское сознание! И совестью отвечать ты будешь перед ними. Перед народом.

Прежняя насмешливость мелькнула в его лице.

— Как видишь, трезвые умы широко распространились. И они таятся не только под черепными коробками избранных интеллигентов.

— Отец был человек старого воспитания,— виновато объяснил Катенин.— Разве он мог...

— Твой отец был золотой старик! — воскликнул Арон.— Недавно я ездил в Ленинград. Разыскал его могилу и положил на нее охапку цветов. Полевых. Сам набрал за городом. Потому что он был — дай бог всякому такое сердце и такую широту! — Он гневно оглядел Катенина.— Ты и не понимаешь, какой у тебя был отец! Говоришь, большевиков не признавал? Да проживи он еще немного, он был бы у нас самым неутомимым, преданнейшим работником! Как Бардин и Павлов, как Графтио и сотни других! Да знаешь ли ты, что он меня от тюрьмы спас? Что у него в кабинете целый месяц наши шрифты хранились?

Катенин смотрел растерянно: ничего он об этом не знал.

— Так вот, думай и начинай,— без всякого перехода сказал Арон, взглянув на часы.— Задача — во! Громада! В комиссии никто ничего не смыслит в этом, проектов еще нет; как ее осуществить, эту подземную газификацию, не знает никто. И я не знаю. Но я тебе помогу чем могу. Завтра с утра поедем поглядеть разные типы газогенераторов в чертежах и в действии. Принцип и тут и там одинаков, только условия под землей другие. Материалы, чертежи, всю науку — черпай, не стесняясь, все тебе дам. Про отпуск забудь. Вот тебе кабинет, вот тебе ключ. Никто тебе не помешает. Литература по газогенераторам у меня вся, какая только существует на свете. Что тебе еще? Ватман понадобится — вон там, в шкафу. Готовальня, тушь, линейка — на столе. Талоны в столовую для ученых людей я тебе достану. Сиди, думай, решай. Спать будешь на диване. Простыни и одеяло — вот они.

Катенин подошел к нему, протянул обе руки:

— Арон, давай вместе!

— Э-э, нет! Это — нет. Да и зачем тебе? Чудак! Ты и один одолеешь.

— Арон, мне очень приятно с тобой. Будто моло-

дость вернулась. Только я теперь умнее и... смелее. Давай вместе!

Но Арон отмахивался, покраснев и отводя глаза.

— Но почему? Не веришь в мои силы?

— Я и так два года в отпуску не был. А потом...

Он снова глянул на часы, доверительно наклонился к другу:

— А потом — что ты хочешь! — я стал немного легкомысленным. Я работяга, муж, отец, я все это люблю и берегу... но иногда я исчезаю из дому — и это лучшие часы моей жизни.

Он еще понизил голос:

— Ты вот говорил — вторая половина жизни, слава, хочется оглянуться перед концом и сказать себе, что не только скрипел, но и сделал что-то. Я тоже... Нет, я не скрипел! С пятнадцати лет работал, боролся, всего себя выкладывал. Но я хочу жить сегодняшним днем, пока я еще не стар, пока... Ну да ладно, мне пора!

В передней он вспомнил:

— Ужин на кухне под салфеткой. Чайник и примус там же, на плите.

— Ты придешь поздно?

Арон покраснел, засмеялся, хлопнул Катенина по плечу:

— Все такой же! Ну пока! Утром увидимся!

И исчез.

Катенин постелил себе на диване и лег. Свежие простыни напомнили об усталости — ах, как хорошо вволю поспать после дороги и стольких новых впечатлений! Кавалеристы... как странно! «Трезвые умы распространились...» Подпольные шрифты в кабинете отца... Статья Ленина... Я будто почувствовал, что в этом деле — мое счастье, моя вторая и, может быть, лучшая молодость. Предложить проект, осененный именем Ленина, добиваться его осуществления, опираясь на доводы Ленина... Еще сегодня утром я понятия не имел о том, как это значительно! Но почему же Арон, знающий всю важность проблемы, отказался работать вместе?..

Катенин был убежден, что Арон не дал настоящего объяснения. «Легкомыслие», «лучшие часы жизни»... Влюблен и любим? Последняя любовь? Может

быть, ио... Все-таки не верит в мои силы? Или ие верит в свои способиости к творчеству? Или все дело в том, что его жизиь — полиа? Что ои и так увлечеиио работает, любит свое дело, никогда ие зиал упадка сил и глухой иеудовлетвореииости собой?..

Начались дии работы, поисков, изучеиия новых проблем. Отпуск проходил. Катя спрашивала в письмах: «Когда приедешь?» Ои отвечал уклоичиво. Арон помогал как мог, подсказывал, где о чем прочитать, зиакомил с полезиыми людьми. Увлекаясь, ои вместе с Катеииым часами обдумывал, обсуждал, искал решеиия, а потом вдруг иадолго исчезал из дому.

Всеволод Сергеевич работал методичио и без отдыха, не позволял себе ни торопиться, ни отвлекаться.

Схема подземиого газогеиератора прояснялась. Проясиялась без счастливых догадок — все давалось постепеиио, изучеиием и трудом. Иногда Всеволод Сергеевич с тревогой размышлял: может, мие чего-то главиого не хватает? Может, решеиие должио осеиить сразу, а меия не осеияет, потому что иет талаита?..

Перед ним вставала иепреодолимая трудиость: предварительиое дроблеиие угля требовало участия людей в подземиых работах, а без предварительиого дроблеиия угля не могло быть процесса выработки газа. Ои утешал себя: людей потребуется иамиого меиьше, чем при обычиой угледобыче. Это уже громадиый плюс!

Из истории великих открытий ои хорошо зиал, как часто идея рождается от случайиого толчка, подсказывается самыми бытовыми иаблюдеииями. Упало с дерева яблоко — и определился закои земиого тяготеиия. Где оио, мое яблоко?

Но иичто не падало, ие загоралось, ие взрывалось. Мысль пришла иезаметио; сперва Катеиииу показалось, что ои где-то вычитал ее и только ие может вспомиить — где. Стараясь сократить подземные работы до мииимума, ои совершеиио будиичио подумал: а если замеиить отбойиый молоток подземиыми взрывами? Пробурить скважииы, заложить в каждую взрывной патрои? Огиевой забой будет приближаться к очередиому патроиу, иагревать его и вызывать взрыв, а взрывом будет дробиться уголь. Важно обеспечить равиомериую постепеииость взрывов.

Сформулировав мысль, он остолбенел: откуда это пришло к нему? Кто, где, для чего применял такой метод?

Он не мог вспомнить.

Нет, нигде и никогда не читал он ни о чем подобном.

И тогда в душе возник ликующий вопль: «Да это же мое, мое собственное!!»

Солнечный полдень, тишина, ни души вокруг. Некому крикнуть: «Эврика! Нашел!» Всеволод Сергеевич пробежал по всем комнатам пустой квартиры. Остановился перед трюмо. Зеркало отразило седеющего, почтенного человека с ошалелым взглядом.

В кухне он выпил воды из-под крана (Катя назвала бы его сумасшедшим, посулила бы тиф и дизентерию!). Захотел есть, разыскал в холодном шкафу котлеты и огурцы. Котлета в одной руке, надкусанный огурец в другой,— пошел в кабинет Арона и остановился над листом бумаги, где еще ничто не было зафиксировано. Заглотнув в два приема котлету, чтобы освободить руку, он начал зарисовывать схему процесса так, как ему представилось. Зарисовал — и мысль, воплощенная в инженерный чертежик, понравилась еще больше. Почти не думая, надписал: «Метод взрывов В. С. Катенина».

Когда вернулся с дачи Арон, Катенину удалось рассказать о найденном решении без восклицательных знаков. Но Арон сам воскликнул:

— Да это же великолепно! Это же открытие!

Арон наполнил квартиру шумом. Вытащил из шкафа белую скатерть, а из-под дивана — коньяк, пустил в ход все запасы. Выпив, Катенин размяк и собрался помечтать, но Арону не сиделось.

— Берись, дружище, и работай без передышки! Как только оформишь, повезу тебя в комиссию, будем добиваться немедленной постановки опыта. Не теряй ни минуты!

Он переоделся, побрызгался одеколоном, от двери сказал:

— Все! Больше мешать не буду!

Катенин смутно понимал, что последние слова Арона — лицемерие. Но Арон прав: теперь, когда метод найден, стоит торопиться.

На следующее утро пришла телеграмма:

> Люда вышла зама живут пока дома удержать ие могла случилось быстро очеиь растроеио катя.

Катеиин долго ие мог поиять эту явио перевраииую телеграмму. Что зиачит «зама»? От чего Катя ие могла удержать? Кто «живут пока дома»? Что «случилось быстро» и что «растроеио»?

Арон расхохотался — вот так штука! Никакого «зама», твоя Люда выскочила замуж, пока ты тут изобретаешь! И она права, твоя девочка! Раз полюбила — отчего ие выйти?

Замуж? Люда? Это дурацкое «зама»...

— Может, замуж за зама? У тебя заместитель молодой? Да не расстраивайся, чудак, все девушки выходят замуж, это же естествеиио!

Нет, это было не естествеино, а чудовищио! Люда, хрупкая девочка, со слабыми легкими,— замуж? Ни с того ни с сего, в отсутствие отца, не подождав, ие посоветовавшись, стала жеиой... кого?! Какого-то чужого, грубого мужлана!.. Да, грубого и нечестного! Чем иначе объяснить такую иеприличиую поспешиость и вопиющее иеуважеиие к отцу. И эти слова «очень растроено», что озиачает — Катя очеиь расстроеиа... Еще бы!

Арои достал билет иа самолет. Проводил иа аэродром. Успокаивал. Убеждал поскорее дорабатывать проект...

— Я так и ие был в комиссии,— вспомиил Катенин.

— Я им говорил о тебе. *Они* ждут. Почва взрыхлена и удобреиа, остается бросить семя.

И об этом Арои подумал!

Шагая по краю летиого поля в ожидаиии посадки, оба чувствовали, что сдружились сильнее, чем в юности, что расставаться жаль. И что проект подземиой газификации стал их общим делом, общей гордостью.

— Арои! Еще раз прошу: давай вместе. Ты так миого помог мие. Почему ты ие хочешь?

Арои лучезарио улыбнулся и подмигиул:

— А члеиа комиссии ты не учитываешь? Куда выгодиее иметь ие соавтора, а друга в комиссии! Как говорится, блат!

Катенин уже не раз с удовольствием думал о том, что Арон будет участвовать в обсуждении проекта. Но тем более невозможным были слова Арона. Арон и — блат!

— Ты не доверял мне в юности, я не обижаюсь, я тогда и не заслуживал... Но теперь... в вопросах техники...

Хриплое радио объявило о посадке на Харьков.

— Не чуди, Сева,— с особой ласковостью сказал Арон.— Я не только верю в тебя, я... в общем, я желаю тебе огромного успеха, славы, широченного поля деятельности... ну, и приличного зятя, тестя или как он там называется! — шутливо добавил он.— Кончай проект. И пиши! Обязательно пиши, как и что!

Он постоял на поле, пока не скрылись в утренней дымке поблескивающие крылья самолета, уносившего сына профессора Катенина. Не доверяю? Чудак! Не объяснять же ему, что сам он тут ни при чем, что есть такие вещи, как благодарность и возврат долгов... Только бы ему удалось!

А Катенин глядел в окно самолета. Небо было широченное, удивительно легкое, поля внизу — чисто изумрудного цвета, поезд, пробегавший внизу, был похож на детский заводной, а дым из трубы паровоза, казалось, не поднимался вверх, а расстилался по земле вместе с летучей тенью от самолета. Как прекрасно было бы это утро, весь этот мир с его трудом и надеждами, если бы не Люда. «Вышла зама...» Боже мой, только бы это оказалось ошибкой!

Когда он вихрем пронесся по лестнице и поднял трезвон у двери своей квартиры, открыла Екатерина Павловна.

— Сева! — вскрикнула она, обнимая его, и заплакала. Но он отлично видел, что она уже не расстроена, что она особенно тщательно одета и причесана, даже серьги надела.

— Ну? — спросил он, скидывая пальто прямо на пол.

— Вот тебе и ну! — сказала она виновато и весело.— Такая уж наша судьба. Узнавать последними. Вышла замуж.

— Да за кого? — с отчаянием выкрикнул он.

— Господи, разве я не написала?! Да за своего

майора... за Анатолия Викторовича... Неужелн я не написала? Но он очень мнлый и очень любнт ее, и, знаешь, в конце концов, может, оно и к лучшему...

— Я внжу, ты тоже влюблена в него,— раздраженно прервал Катенин.— С ума посходили!

— Тсс... она дома.

— Ну н что? Радоваться прикажешь? Поздравлять? Хвалнть?

— Сева, умоляю тебя... Конечно, это вышло так скоропалительно...

— Ты скажи, почему нужно было так неприлично торопнться?

— Боже мой, Сева... Ну, влюблены, ну, решили... теперь все проще, чем в наше время. Он приехал из лагерей, встретнлнсь... Разлука многое проверяет... Я тебя уверяю, он такой мнлый н порядочный...

— Это я уже слышал. Где Людмила?

— Спит.

— В полдень — спнт? А этот ее... супруг?

— Он уехал на службу... Сева, умоляю тебя!

Оттолкнув жену, он, не стучась, вошел в комнату дочерн. Люда лежала в постели, но совсем не спала — внднмо, услыхала голос отца.

— Папка! — восторженно проворковала она. — Папка приехал!

И, закрыв голову рукамн, со смехом сказала:

— Еслн сердишься, бей! Я приготовнлась к хорошей трепке!

Обняв отца за шею, она целовала его, дурачнлась, охала, снова целовала и между поцелуямн и смехом говорнла:

— Виновата! Оправданнй нет! Влюбилась! Прнвела в дом чужого, страшного мужчнну! С пистолетом в кобуре!

— Люда, ты подожди, ты...

— Папочка, уже поздно! Он уже тут! Если б он не уезжал в чертову рань на службу, ты бы сейчас увндел рядом со мной во-от э-та-ки-е страшные черные усы!..

Серьезного разговора с дочерью не получнлось. И рассказа о методе взрывов тоже не получилось: н жена и дочь былн заняты свонм. Но днем заехал обедать майор — Катенин впервые рассмотрел его как

следует и не мог не признать, что Анатолий Викторович — славный, застенчивый и очень влюбленный человек. Страшных усов у него не было, но ему перевалило за тридцать, и легкие морщинки уже намечались под усталыми глазами. После первых минут взаимной настороженности именно майор заинтересовался изобретением Катенина и долго расспрашивал о всяких подробностях: бывший механик, он легко улавливал особенности и трудности новой технической проблемы.

— А теперь скажите мне, Анатолий Викторович, почему вы так поторопились? — спросил Катенин, оставшись наедине с майором.

— Я целых два года торопился,— со вздохом ответил майор.— Это Людочка все тянула... Поймите меня, Всеволод Сергеевич!

— Но почему было не подождать... хотя бы моего приезда.

— Она... мы... порешили отпраздновать свадьбу, когда вы приедете...

— Вы еще не зарегистрировали брак?

— Как можно! — вскинулся майор.— Мы зарегистрировались еще там, в лагерях...

Поняв, что проговорился, майор густо покраснел.

— Люда ездила к вам в лагеря?

— Всеволод Сергеевич! Я вас уверяю... Когда мы уже решили, она вдруг приехала в гости... Вы не подумайте...

У Катенина создалось впечатление, что майор выгораживает ее, но торопливость была продиктована Людой. Господи, до чего сумасбродная девочка!

— Как же вы собираетесь жить дальше? Ведь у Люды талант, ей нужно учиться.

Майор поднялся и сказал торжественно:

— Я люблю ее, Всеволод Сергеевич, и сделаю все, чтоб ей было хорошо. На уроки я ее сам отвозить буду. А жить... у меня есть комната в военном городке, очень хорошая комната... Но Людочка сказала, что не хотела бы расставаться с вами. Будет так, как решите вы.

Когда майор снова уехал на службу, Катенин позвал дочь.

— Он тебе понравился! — заявила Люда, ласкаясь к отцу.

— Мне хотелось бы, чтобы ты закончила учебу...
— Так я и кончу!
— Люда, ты теперь замужняя женщина. У тебя будут домашние заботы...
— Какие же заботы, когда мы живем здесь?
Катенин усмехнулся чистосердечности ее молодого эгоизма. Правда, какие у нее заботы? Просто лишние заботы маме...
На следующий день Люда подробно расспросила отца о методе взрывов, рассмотрела набросок схемы и постаралась понять... Муж ли рассказал ей? Или сама вспомнила?
— Ой, папка, какой же ты у меня умный, оказывается! — Ее лицо зарделось, глаза заблестели.— Если примут... мы переедем в Москву, да?
— Ну, об этом пока рано думать. И потом... ты-то все равно останешься, ты же замужем, девочка!
Она застыла с приоткрытым ртом.
Досада и недоумение так явно читались в ее лице, что Катенин отвел глаза и начал кнопками закреплять чертеж — пора было приниматься за работу. Две тонкие руки обвили его шею.
— Ой, папочка, я не хочу без тебя...
— Людочка, я ж еще никуда не уезжаю! Наконец, ты сама решила свою судьбу.
Она пошлепала его по щекам.
— Ты еще недоволен, что твоя единственная доча по-прежнему дома и больше всех на свете любит своего папку?!
Он растрогался, но холодок в сердце остался. Весь этот день он принимался чертить — и надолго задумывался, опустив руки на чертеж. Кажется ему или так и есть то, что приоткрылось сегодня в дочери?
Недавние дни в Москве казались далекими-далекими. Счастливый, целеустремленный человек жил там в пустой квартире Арона Цильштейна, творил, мечтал, ни о чем другом не думал и ни от чего не страдал. Энергичный, деятельный человек по вечерам ожидал своего друга и тут же выкладывал ему свои сомнения и вопросы, и друг заинтересованно помогал... Очень его не хватало сейчас, Арона!
До конца отпуска осталось три дня. Два дня. День. Вот уже и на работу вышел, нахлынули повседневные

дела. В субботу отпраздновали свадьбу; свадьба запомнилась усталым лицом Кати и счастливым — Анатолия Викторовича, шумной суматохой в доме и непроходящей неловкостью перед зятем оттого, что Люда играет, да, талантливо играет роль юной, застенчивой новобрачной.

Назавтра он выехал на одну из шахт, где на участках глубокого залегания происходило много несчастных случаев. Несколько часов провел на этих участках, в штреках, продуваемых насквозь мощной струей холодного воздуха, смягчающего невыносимую жару земных глубин. Простудился. Возвращался больным. Температура вызывала озноб, кашель не давал уснуть. И тут, бессонной ночью в темном вагоне, к нему пришел стыд. Мучительный и гневный стыд. Как я смею отвлекаться, медлить, терять время на посторонние переживания, когда в моих руках метод, способный избавить тысячи людей от тяжелого и опасного труда под землей? Как я смею лениться оттого, что рядом нет стимулирующей энергии Арона? Или я не в состоянии осуществить свою — свою собственную! — идею без подталкивания и чужой помощи?

Проводив врача, предписавшего постельный режим, Екатерина Павловна вернулась к больному и не поверила своим глазам: в телогрейке, с забинтованным горлом, сразу осунувшийся и пожелтевший, Всеволод Сергеевич вдохновенно размечал чертеж и беспечно напѐвал песню их студенческой юности: «Крамба-ам-були — отцов наследство...»

14

Игорь мчался по степи на подножке грузовика, вглядываясь в приближающиеся огоньки станционного поселка. Когда шофер резко тормозил, чтобы в темноте определить дорогу, слышно было, как дружно стрекочут кузнечики. Потом к этому звуку присоединились дальние, тревожащие — многоголосый пьяный крик.

— Нажимай! Черт с ней, с дорогой! — умолял Игорь.

Разморенный горячей баней, ужином и накопившейся за много дней усталостью, он крепко спал, когда

отец растолкал его и погнал в поселок, потому что заведующая чайной сообщила: «Ваши хлопцы буяият, вызываю милицию, лучше забирайте их сами!» Изыскатели за один субботний вечер давали чайной доход, равный недельному, их там привечали, и, если иной парень не в меру выпьет, панику зря не разводили. Значит, дело серьезное.

Когда Игорь на ходу соскочил возле чайной, криков уже не было. И никакого буйства не было. На крытой галерейке, где любили пировать изыскатели, в компании незнакомых Игорю молодых людей сидела Лелька Наумова в своем единственном шелковом платьице, с цветком в волосах, азартно веселая и очень бледная,— вероятно, выпила лишнее. Перед чайной, в потемках, подступавших к светлому кругу, отпечатанному на земле уличным фонарем, полукольцом теснились люди. Среди них Игорь увидел кое-кого из своих изыскателей и двух подавальщиц в белых наколках; все чего-то ждали, но не переступали через край светлого круга, усыпанного осколками стекла и черепками битой посуды.

В центре круга, опираясь спиной о фонарный столб, одиноко стоял Никита Кузьменко. Он не казался пьяным: стоит себе принаряженный для гулянья красивый паренек с молодецки развернутыми плечами, светлый чуб свисает на лоб, на губах детская, подкупающая улыбка.

— Что стряслось? — спросил Игорь.

Захлебывающийся, шалый голос Лельки пояснил:

— У нас тут представление, Игорь Матвеевич, идите в первый ряд балкона. Очень интересно!

В это время на земле, у ног Никиты, что-то заворочалось, закряхтело, заохало — какой-то странный белый мешок. Никита мгновенно вскинул над головой руку с финским ножом и бешено рявкнул:

— Лежи! Убью.

Взвизгнули девушки. Из открытой двери чайной донесся женский голос, кричавший в телефон: «Милицию! Алло! Алло! Милицию!»

Игорь хотел подойти к Никите, но его удержали. Со всех сторон раздались предостерегающие возгласы: «Не троньте! Убьет! С ножом кидается! Глядите, что с хлопцем-то сделал!»

Игорь вгляделся: у ног Никиты лежал человек, закатанный в скатерть; с одного конца свертка торчали ноги в изыскательских сапогах, с другого конца — голова с кляпом во рту.

— Кто это там? Товарищи, что же вы стоите?

Свои хлопцы ответили из темноты:

— Пробовали! Порежет, хуже будет. Не в себе он! Что ж его, под тюрьму подводить?

Лелька снова подала голос:

— Гошка там. Отдыхает. Очень даже удобно. Как младенец спеленатый.

Буфетчица нашептывала в самое ухо Игоря: «Она все время и подзуживает... из-за нее все... Тоже выпивши...»

Чувствуя, что на него смотрят и медлить — значит показать, что испугался, Игорь решительно вступил в светлый круг, но Никита в неистовстве заорал:

— Не подходи! Убью!

— Меня-то не убьешь, не за что,— как можно добродушней сказал Игорь, рисуясь под взглядами зрителей.— Убери нож, приятель, да собирайся, поздно уже, я за вами на машине приехал.

Никита узнал Игоря по голосу, уставился на него мутным взглядом, снова подкупающе улыбнулся:

— А я что? Я ничего. Не подойдешь — не трону.

И вдруг, сильным взмахом руки с ножом очертив пространство вокруг себя, вызывающе выкрикнул:

— А подойдет кто — зарежу! И не обижайся! Сказано, не подходи!

Игорю оставалось каких-нибудь три-четыре шага. И помирать от ножа пьяного хулигана не хотелось. Но разве Никитка способен поднять на него руку после всех дней, проработанных бок о бок?

— Ты что, не узнал меня, Никита? — мирно спросил он и шагнул вперед.— Это ж я, Игорь. Погуляли и хватит. На, закури. Спички у тебя есть?

Никита удивленно поглядел, переложил нож в другую руку, достал коробок. Игорь подошел вплотную, они закурили от одной спички. Папироса прыгала в руке Никиты, он проносил ее мимо рта.

— Вот так.— Игорь всунул ему папиросу в зубы, кивнул на спеленатого Гошку.— Этот пусть лежит, а мы поедем. Да убери нож, что ты размахиваешь им,

как мясник, еще порежешься спьяну. Дай-ка мне его, вернее будет.

Нож сам выскользнул из ослабевших пальцев Никиты. Теперь видно было, что пьян он мертвецки.

Под восторженный шепот девушек, чувствуя себя героем, о котором завтра будут рассказывать и в лагере и в поселке, Игорь обнял Никиту и потащил к машине.

Полукольцо зрителей распалось. Куча парней со смехом развязала Гошку — Гошка был тоже пьян, грязен, измучен и, встав на ноги, заплакал. Когда всхлипывающего Гошку привели к машине, Никита уже спал.

— Парни, в кузов! — командовал Игорь.— Наумова, сядешь в кабину! Давайте поворачивайтесь, и так прославились на весь район!

Притихшая Лелька потянула его за рукав:

— Игорь Матвеевич, я уж с Никитой, в кузове, растрясет его. А Гошка пусть в кабине, вон какой он... жалкий.

В пути Никиту вырвало. Лелька держала его голову и ласково приговаривала:

— Ничего. Ничего. Ты не смущайся, это ничего. Полегчает.

— Ты бы там вот так помурлыкала,— сказал кто-то из парней.

— Молчи уж лучше, храбрец! — огрызнулась она.

Когда приехали в лагерь, Лелька помогла спустить Никиту на землю, проследила взглядом, как его втащили в палатку, сбегала за ведром и тряпкой, не стесняясь, высоко подоткнула подол нарядного платья и прикрикнула на шофера:

— Чего стоишь столбом? Посвети, я в кузове приберу!

Митрофанов опрашивал свидетелей. Парни переминались с ноги на ногу, отвечали неохотно. В общем, дело представлялось так: Никита и Лелька уже неделю в ссоре; сегодня вечером Лелька была очень веселая и села с местными хлопцами, Никита озлился, задирал и ее и хлопцев, а Гошка сказал «нехорошее» про Лельку, мол, нечего с такой путаться. Никита ударил его бутылкой, повалил. Кое-кто пробовал вмешаться, но Никита всех раскидал, содрал со стола скатерть и спеленал Гошку, а в рот ему сунул кепку,

чтоб не кричал. В этом месте рассказа свидетели фыркали, вспоминая смешные подробности, о которых не стоило докладывать начальнику. О ноже не помнил никто,— какой нож? У Никиты вроде и не было никакого ножа. Перочинный, что ли? Не видали... А что грозился Никитка — так ведь спьяну чего не сболтнешь!

— Ладно, идите проспитесь. Утром будем решать,— сказал Матвей Денисович.— И отдайте нож. У кого он?

Отобрав нож, Игорь засунул его в карман, но в пути нож исчез. Дружки ли выручили Никиту? Или все та же Лелька сообразила?

Воскресный день выдался пасмурный, дождливый, под стать настроению изыскателей. В палатку начальника по очереди вызывали всех, кто гулял вчера в поселке. Кроме Матвея Денисовича, которого никто не боялся, там сидели еще старший геолог Липатова (вдвоем с Митрофановым она составляла партийную часть экспедиции) и механик Сторожев, человек пожилой, совершенно не пьющий по причине язвы желудка и очень придирчивый, что тоже относили на счет язвы. Выходившие из палатки предупреждали товарищей, что механик задает каверзные вопросы и «подводит Никиту под увольнение».

Сам Никита спал беспробудным сном. Лелька выпросила на кухне рассолу и поставила возле него.

Гошка тоже спал, но за ним послали. Лелька перехватила его по пути:

— Что ты про меня худое сказал — твое дело, такая уж у тебя совесть! На это я плюю! Но если ты Никиту подведешь, жизни не обрадуешься! Так и знай!

Испугался ли он Лелькиной угрозы или не хотел топить товарища, но на все вопросы отвечал уклончиво, отговаривался тем, что сам выпил изрядно, а насчет ножа сказал:

— Не помню. Кричать-то он кричал — «убью!»— а был ли нож, не знаю.

Еще утром заведующая чайной сообщила по телефону, что вчера побили посуды на двести двадцать рублей да за «амортизацию скатерти» еще тридцать. «Будете оплачивать или передавать в суд?»

Пока шли допросы, товарищи Никиты вместе

с Лелькой собрали всю сумму — двести пятьдесят рублей. Было решено, что Никита сходит в чайную, извинится и внесет деньги.

Но все повернулось по-другому.

Проснувшись с гудящей головой, Никита жадно выпил рассолу, узнал, кто его принес, и с горделивой улыбкой попросил приятеля кликнуть Лельку. Но Лелька, задрав нос, презрительно бросила:

— Нашел девочку — бегать! Если нужно, сам прибежит! А мне на хулигана глядеть неинтересно.

И ушла под дождем в степь.

Приятель передал все, как было. Никита выругался и уткнулся лицом в подушку. Когда он встал, где раздобыл водки, никто не заметил. Увидели Никиту уже пьяным и до того злым, что казалось, сейчас повторится все вчерашнее.

— Ну, вот! — угрюмо сказал механик.— Вы его спасаете, а он, гад, над вами издевается.

— А по-моему,— сказала Аннушка,— тут дела любовные, и говорить надо с Лелькой и Никитой, больше ни с кем. Глупые они. И гордые. Друг перед дружкой задаются.

Так и решили: Матвей Денисович поговорит с Никитой, когда того приведут в чувство, а Липатова по душам потолкует с Наумовой.

Лельку долго звали, аукая так, что за десять километров можно было услышать. Наконец она явилась — мокрая с головы до ног, с пылающими глазами. Вид у нее был вызывающий и несчастный.

— Переоденься и приди ко мне,— сказала Аннушка, качая головой.— Сумасшедшая ты девка!

Разговор не получился. Лелька отмалчивалась, смотрела себе под ноги, кусала губы.

Услыхав, что Никита снова напился, она впервые подняла голову:

— Ну и дурак!

А в глазах блеснуло торжество.

— Любит он тебя, Леля. И ты, видно, любишь.

— А на что он мне сдался такой?

— Какой «такой»? Мальчишка еще, вот и все. Когда женщина любит, она может из человека что угодно сделать.

— Горбатого могила исправит!

— Так чего ж ты его защищала вчера, нож спрятала?

— Дура была.

Аннушка вздохнула и совсем тихонько спросила:

— А может, ты сейчас дуришь?

Лелька дернула плечом, снова опустила голову. Хороший человек Липатова, хочет помочь... да разве тут поможешь? Она добивается разговора «по душам». Лелька и рада бы... да как рассказать о своей любви, о своей женской обиде?

Ведь по-хорошему все началось, не так, как с другими! Слезы его вытирала, добрыми советами проводила к родителям, а потом три ночи подряд по двенадцать верст бегала к ночному поезду — встречать. Встретила. Обрадовался он... Пошли вместе через степь, да так и не дошли до лагеря. Стог сена попался — он и был первым приютом их любви. Заплакала там Лелька, горько заплакала, что не девушкой пришла к нему, не убереглась, не чуяла, что есть настоящая любовь. Он утешил: «Все равно мне! Только молчи!» — не хотел ревность свою распалять, закрыл ее рот поцелуем, обнял так, что и сама она забыла обо всем на свете. Щекочущий запах сена и терпкий запах полыни слились для нее в ту ночь со всем прекрасным, что дала любовь. Она и сегодня, носясь по степи под дождем, бледнела от запаха увядших трав и полыни... Где она, та святая любовь? Где тот ясный утренний свет, что разбудил ее, счастливую, на груди у Никитки? Еще сонный, Никитка крепко обнял ее и сказал ей такие слова, каких она и не слыхала никогда. Серденько, ласточка, голубой лучик, травинка моя полевая... Обоим нужно было на работу, они пошли, обнявшись, и о чем только не говорили в то утро! Каких только планов не обсуждали! И главный план сложился такой, что Никитке нужно учиться, а Лелька будет помогать ему, сама Лелька и потом успеет, а Никитка — мужчина, ему без образования нельзя, он способный, ему геологом нужно быть, а Лелька с ним всюду ездить будет, хоть в Заполярье, хоть на Памир, такого коллектора в самую тяжелую экспедицию утвердят охотно...

Весь тот день они улыбались друг другу, как люди, владеющие чудесным секретом. А вечером... Подгово-

рила она повариху, с которою жила вдвоем в женской палатке, поехать попутной машиной за продуктами — до утра. Успела шепнуть об этом Никитке. Весь вечер ждала, замирая, припав к пологу палатки. Слышала, как парни возвращались с купания, курили и болтали у костра, слышала, как затаптывали костер и, зевая, собирались спать. Совсем близко от Лелькиной палатки прошли они всей гурьбой, и кто-то спросил: «Чего отстаешь, Никитка?» — и тут Никитка, хохотнув, хвастливо сказал: «Кто куда...» Парни загоготали все разом, а Никита поднял полог палатки... Откуда только сила душевная взялась у Лельки не завыть, не зареветь сразу! Вытолкнула его с размаху, закричала так, чтоб парни услыхали: «Хвастун! Хулиган! Кобель! Сосунок паршивый!» Многое еще кричала вслед... Но парни не гоготали больше — затихли, и Никита уполз в свою палатку, как побитый щенок... И с того дня кончилось все. Мрак. Тишь. Комок в горле.

Но как об этом рассказать? И кто тут поможет, если обманула та самая святая любовь? Если нет такой любви?

— Не нужен он мне вовсе! — отрезала она, не поднимая глаз.— Что спасла его — так зачем парня гробить? Но больше ничего у нас быть не может!

Аннушка снова вздохнула и рассудительно возразила:

— А мне кажется, Лелечка, нужен он тебе.

Лелька уперлась взглядом в пол, долго молчала — и вдруг, вскинувшись, быстро и гордо выговорила:

— Нужен? А зачем? Спать вместе? Так у меня с кем спать всегда найдется, только моргни. Мне просыпаться не с кем.

Говорить с Никитой было невозможно, его с трудом утихомирили. Игорь приставил к нему парней, а сам повез отца на станцию — улаживать отношения в чайной.

«Бабушкин рыдван» чихал и тащился еле-еле, норовя остановиться совсем. Игорь не сердился и не пытался, как обычно, выжать из старенького мотора непосильную скорость. После трех недель, проведенных вдали от отца, он радовался возможности без помех побеседовать с ним.

— Я впервые людьми руководил. Самостоятельио! — говорил он, ведя машиину иапрямик, по траве.— Вдруг, думаю, авторитета не хватит? Ничего, получилось. И с Никитой вчера проверил.

— Ошибка твоя была, когда в городе пошел и иапился. Я ие говорю, что выпить нельзя, ио с Никитой ие иадо было. Поиял — почему?

— Я уж думал об этом. Как раз вчера думал... Только сложио все у них. Ведь он за Лелькину честь заступился, папа. Интересио, правда? А поссорились из-за того, что ои пошло, грубо похвастался.

— Леля сильиее его. А вот хватит ли у иее ума вытянуть его?

— Ты ее, иикак, в воспитатели метишь? Ох, папа, ты бы посмотрел иа иее вчера! Выпившая, развязиая, страшио довольиа, что из-за иее такой скаидал, и все подзуживает! Распутиая оиа девчонка.

Матвей Денисович поморщился, с досадой сказал:

— А еще хвастаешься: руководил! Самостоятельио! Авторитет! Что ты в людях поиимаешь? Ты в душу ее загляиул? Какое детство у иее было, знаешь? А как работает, видал? Ага, работу ты еще ие видишь... А какая ж работа хороша без души? Ты говоришь — распутиая. По фактам судить — похоже, что так.

— А я по фактам и сужу!

Игорь сказал это и тотчас пожалел, что ие сдержался: отца прямо-таки затрясло. Чего ои так?

— Веришь ты мие, что я тебе добра хочу? — вдруг угрюмо спросил отец.— Покажи мие десять лучших девушек, все мие казалось бы, что ии одиа тебе не пара. Не потому, что ты больио хорош, а потому, что я отец. Родительское пристрастие...

— Ну?

— Так если б Лелька тебя полюбила и ты — Лельку, я бы ии слова против ие сказал. Вот и соображай, что оиа за человек.

— Лелька?

— Леля Наумова. Да.

Осторожио объезжая кусты и ямы, Игорь обдумывал иелепые слова отца. А отец сиова заговорил, как будто бы о другом, ио оказалось, все о том же:

— Вот ты миою недоволеи как руководителем. Ворчишь: то ие так, это не сделаио. А спроси любого —

хоть раз обидел я зря человека? Хоть раз отмахнулся, когда помочь иадо? Или, если доверить иужно, было ли так, чтоб я ие доверил человеку? А доверие — великая вещь. При иедоверии только святой хорошо работает, а обмаиуть доверие — это подлецом надо быть. Вот я и проверяю. Помнишь, Сорокииа выгиал? Мие тогда пршшивали, что самодур, дескать, ие захотел нсправнть, не дал ошибку отработать. А если ои меия обмаиул? Если он нечестный? Как можно в экспедиции, где половниа работ на доверии... иечестиого держать?!

— Но ведь и везде иельзя? Куда ж их девать, нечестиых? Куда девать дураков? Клеветииков? Я лнчио предпочел бы передушить их, чтоб ие чадилн... но ведь ие передушишь? Иначе как-то иужио. А как?

— Только так, Игорь, как мы и делаем: работать до поту, чтобы новое общество создать. Только так! И чистить иаше сегодияшнее ие словом — делом! Вот я Сорокниа выгиал за нечестиость. И другой выгоиит. Может, ои и поостережется в третий раз?

— А может, тоиьше работать будет?! Ловчее обманывать?!

— Тоньше, тоньше! Тоикое-то рвется!

— Ты, папа, идеалист. Не все же так. Мало ли бывает: подлец человек, да умеет прикииуться, так тоико действует, что ходит в чести и хороших людей гробит. И ие рвется у него ничего. У хорошего человека скорее порвется — ои и ошибается в открытую.

— Вот и борись с подлецами, не жалей мараться. Коиечно, чнстеиьким ходить приятней, ио другого способа покончить с ними нет!

Оии подъехали к чайной. Объясиения и расчеты были иедолги. Пока Матвей Деиисовнч заннмался ими, Игорь с удовольствием осматривал поле вчерашиего боя и слегка красовался перед подавальщицамн, глазевшими из окои.

Матвей Деннсович вышел довольиый, залез в машииу и терпеливо ждал, пока мотор чихал и гудел, не желая заводиться, потом сразу заговорил:

— По-твоему, я идеалист. И ие умею работать. Не умею командовать. А ты мне скажн по своему трехнедельиому опыту: какое главиое качество иужио руководителю?

— Организаторские способности!

— Д-да...— протянул Матвей Денисович.— Недаром ты меня осуждаешь!

— Ну вот...— смущенно пробормотал Игорь, но не возразил.

Ехали молча, каждый думал свое.

— А по-твоему, папа, что главное?

— По-моему, Игорек, главное — умение видеть каждого человека. На что способен. И умение дать ему развернуться. Без этого организаторские способности — одни шум! Вот ты вчера одолел Никиту — хвалю. Сегодня защищал его, чтоб не увольнять,— хорошо! А что делать с этим самым Никитой? Как бы ты решил, будь ты начальник с организаторскими способностями? А?

Вопрос застал Игоря неподготовленным.

— Ты же начальник группы. Завтра или послезавтра получишь новые точки. Возьмешь ты с собой Никиту?

— Возьму!

— А Лелю Наумову?

— Она очень надежный работник, папа. Я бы хотел...

— А я не пущу! Если она его любит и он ее, пусть поскучают врозь. Пусть подумают. Погорюют. Способен ты принять такое решение, хотя тебе нужен надежный коллектор?

— Представь себе, способен,— обиженно проговорил Игорь.

— И Никиту я с тобой не пошлю.

— Почему?! По вчерашней истории ты мог убедиться, что я...

— Убедился, сынок, убедился! Славу завоевал, девичьи сердца покорил. Все девушки в чайной о тебе спрашивали, герой! А вот исправить Никиту ты не сумеешь. Как, по-твоему, чего ему не хватает?

— Чего?.. Ну, дисциплины... Воспитания...

— Чувства ответственности ему не хватает! И самоуважения. Привык он к своей дурной славе да к опеке всяких дядек. Так вот, он у меня поедет один, передовым, на твои новые точки. Подготовить бытовые условия. Дам ему целый список поручений. При-

едем — составим, ты же при мне напоминальщик! Как думаешь, выполнит?

Игорь подумал и чистосердечно признался:

— Не знаю, папа, но мне ужасно хочется, чтоб выполнил!

— И не побоишься везти группу, имея такого передового?

— Не побоюсь,— сказал Игорь, хотя сердце его екнуло: отцу легко делать смелые жесты, а за группу отвечает Игорь, ему работать и ему расхлебывать, если Никита сорвется.

15

По вечерам Саша заходил за Любой в детсад. В этот час у калитки толпились мамы и бабушки, а за самым капризным мальчуганом, тишкинским Данилкой, являлся дед Тишкин, высоченный озороватый старик, когда-то друживший с Сашиным дядей.

— Вышагиваешь? — спрашивал он Сашу, подмигивая.

— Вышагиваю.

Дед пускался в рассуждения:

— Вот ведь какое равновесие природы! До свадьбы, скажем, ты у калитки или на условленном углу выстаиваешь как часовой. А пробежит времечко, и никакая сила тебя не заставит. Зато выйдешь, скажем, с шахты — жена тут как тут, если с получки — деньги давай, если у тебя идея была — не моги, марш домой! Выходит, в среднем одно на одно приходится?

И еще рассуждал дед Тишкин:

— Сколько ж из-за этой самой любви километров исхожено! Если взять в мировом масштабе,— миллиарды! Теперь вот энергию воды используют. А если б употребить в дело эти миллиарды шаго-километров?

Так они беседовали, выглядывая своих: один — Данилку, другой — Любу. Данилка начинал «выламываться», чуть только завидит деда, а Люба розовела и еще более властно управляла ребятами. Сама почти девочка, среди детей она преображалась, каждое ее движение и звуки ее голоса были полны материнской мягкости; она инстинктом знала, как это трогает Сашу, и любила, чтобы он приходил за нею.

Это были их лучшие минуты. Отправив последнего

малыша, Люба снимала халат и выбегала просветленная, несмотря на домашнее горе — счастливая. Они шли под руку, самым длинным путем, вокруг всего поселка. В эти минуты у нее хватало решимости: она сегодня же поговорит с родителями, завтра же пошлет документы в московский институт...

Свернув на улицу Клары Цеткин, Люба пугливо отнимала у Саши руку и вся съеживалась.

— Подожди здесь,— шепотом просила она и робко входила в сад, высматривая, где мама.

Иногда она звала Сашу, если мама немного рассеялась в домашних хлопотах. Иногда безнадежно махала рукой — и он уходил, чтобы прийти поздней и часок погулять с нею перед сном.

— Сказала? — спрашивал Саша.

— Ой, сегодня никак нельзя было!

А дни шли своим чередом, потом уже не шли, а летели с невероятной скоростью, приближая срок Сашиного отъезда. О предстоящей свадьбе забыли все, кроме Любы и Саши, но как заговорить о свадьбе в доме, где властвует горе? Как требовать внимания родителей к разным суетным делам, вроде покупки и шитья зимнего пальто, без которого ехать в Москву невозможно! Список нужных вещей давно лежал в маминой шкатулке поверх квитанций, но как напомнить о нем теперь?

Саша предлагал ничего не шить и не покупать: в Москве понемногу все справят. Люба об этом и слышать не хотела.

— Так что ж, останемся здесь? Откажемся от аспирантуры?

— Нет, нет! Я поговорю сегодня же.

Саша сердился и умилялся. Он не мог осуждать Любу, он любил ее такой, какая она есть. Такой, какой она стала. Ничто не напоминало в ней пухлую, круглолицую девчушку, прибегавшую к дядиной землянке с узелком рваной обуви или глечиком молока; ту девчушку он недолюбливал: благополучная мамина дочка! Заново познакомившись с нею, он увидел тоненькую, застенчивую девушку, самую чудесную из всех, каких он знал. Эта девушка смотрела на него не жалостно, как прежде, а восторженно и почтительно: перед Сашей она благоговела. И в то же время

у нее были слабости, в которых оиа упорствовала, смешные, мнлые слабостн. Она ревииво боялась выдуманных ею же иарядиых столичных лабораиток и ни за что ие соглашалась ехать в Москву без новых одежек. У нее было сложнвшееся представлеиие о свадьбе: пусть ие будет большого гуляиья, ио оии должиы пойти в загс с толпой друзей и подруг, иа иеи будет белое платье, из загса они пройдут пешком по всем улицам. Так всегда бывало в поселке.

И вот пролетали дии, а все оставалось неясиым, иерешеиным.

— Любушка, если ты ие поговоришь сегодия...

— Поговорю! Вот сейчас же приду и скажу!

Саша видел, как она бродит по огороду, теребя коичик косы. Кузьминишиы ие видно было, а Кузьма Иванович, поиурясь, сидел на ступеиьке вераиды. Саша вошел в калитку, ие обращая виимаиия иа отчаяииые знаки Любы.

— Кузьма Иваиович, мне очеиь иужио поговорить с вами.

Кузьма Иваиович раскурил трубку и нетвердой походкой пошел к скамейке под сиренями, где обычио велись ответственные разговоры. Саша шел за ннм, с горьким удивлеиием отмечая его старческую походку и ссутулившиеся плечи.

— В Испаиии-то... серьезио дело оборачнвается,— сказал Кузьма Иваиович.— Не быть бы большому пожару. Как думаешь?

Оин поговорили о иачавшейся граждаиской войне в Испанни, о Гитлере и Муссолиии, помогающих испаиским фашистам. Старик любил порассуждать о междуиародиых делах, ио сегодия он просто оттягнвал другой разговор. И вдруг гляиул Саше в глаза:

— Так что у тебя? Выкладывай.

Люба притаилась поодаль и быстро-быстро шептала: «Господи, только бы обошлось! Господи, только бы согласился!» В бога оиа ие верила, ио ие знала других слов, чтобы выразить свою мольбу о счастье.

Слушая рассудительные Сашины слова, Кузьма Иваиович все ниже опускал голову.

— Матери будет тяжело без Любаши,— подумав, сказал ои, сильно затяиулся и весь окутался дымом.— Вам когда ехать?

— Не позже двадцать пятого августа.

— Конечно, у вас свое. У каждого свое... Ну, ты посиди, я с матерью поговорю.

Он выпрямился — строгий, весь напружиненный от усилий унять собственные чувства — и пошел к жене.

Кузьминишна сидела у летней кухни с ножом в руке. Несколько очищенных картофелин лежало в миске с водой, корзинка с картофелем стояла у ее ног, но Кузьминишна забыла о начатом деле.

— Ксюша,— позвал Кузьма Иванович и осторожно коснулся ее плеча.— Ксюша!

Она встрепенулась, взяла картошку и начала скрести ее ножом.

Не в силах заговорить о том, ради чего пришел, Кузьма Иванович смотрел на нее: сгорбленная, морщинистая, с погасшими очами... старухой стала Ксюша! Старухой...

Он женился на ней тридцать лет назад. Ксюша приехала сюда на заработки из-под Воронежа, снимала угол в убогой хибарке и не чуралась никакой работы. Плохонькая одежда не могла затенить, даже подчеркивала ее здоровую, молодую красоту. На гулянках застенчивый Кузьма не мог пробиться сквозь толпу более смелых парней. За что его полюбила Ксюша, он сам не понимал, только она первая, со свойственной ей стремительностью, сказала ему об этом и тут же убежала от него, и больше месяца он никак не мог поговорить с нею наедине: она краснела и пряталась, едва завидев его. Поженившись, они жили несколько лет как влюбленные, она выглядела все такой же девчонкой, и за нею по-прежнему пытались ухаживать. Когда родился первенец, Вова, Ксюша бросила работу. Потом родился Никита, за ним — Катя, за Катей — Люба. Потом умерла от дифтерита старшая дочь, Катенька... Горе надломило Ксюшу надолго и стерло девичьи черты с ее лица, так что никто уже не заглядывался на нее,— только для Кузьмы Ивановича она оставалась все такой же. К пятидесяти годам она пополнела, командовала мужем и детьми, но по-прежнему смеялась по любому поводу, и морщинки на ее живом лице располагались так весело, что еще подчеркивали ее милую смешливость. И вот как-то

вдруг, сразу — перед ним старуха. Каждое ее движение — родное, каждый ее вздох понятен и доставляет боль. Ей бы немного радости, чтоб как-нибудь ожила, забылась. А вот не отпускает жизнь. И ничего не поделаешь, одним — стариться, другим — начинать.

— Ксюша, август наступает,— сказал он.

— Да, проходит лето,— откликнулась она равнодушно.

— Любу собирать пора. Они до первого сентября в Москве должны быть.

— До первого? — тупо переспросила она.— Ну, еще не скоро.

— Так ведь хоть самую скромную, а свадьбу сыграть нужно.

Она будто не поняла, удивленно повела бровями. Ее лицо говорило: я устала, мне все равно, оставьте меня в покое...

— Да, да, свадьбу,— согласилась она утомленно и вдруг, поняв, всколыхнулась вся и выронила нож.— Свадьбу?!

И разрыдалась, припав головой к столу.

Кузьма Иванович что-то бормотал, пытаясь успокоить ее, но она отталкивала его и сквозь рыдания выкрикивала: «Оставь! Оставьте все! Уйди!» Сердце ее разрывалось от скорби и обиды. Вову уже забыли, она одна вмещает в себе все горе, не разделенное другими. Как они могут думать о какой-то свадьбе, когда он лежит в земле, изуродованный, холодный, когда он уже никогда не узнает счастья...

Люба подслушивала за углом кухоньки. Сперва она расстроилась за себя: не отпустит мама! Но постепенно страдание матери передалось Любе. В порыве самоотречения она тут же отказала себе в праве на счастье и, выбежав из своего укрытия, обняла мать, покрыла ее мокрое лицо поцелуями.

— Мамонька... Родиюшенька... Никуда я от тебя не уеду! Голубонька моя, не плачь! Я останусь с тобой! Ничего мне не нужно, только бы ты не плакала. Не уеду я!

Кузьминишна вытерла лицо передником, отвела обнимающие руки Любы.

— Глупости говоришь. Не нужно это ни тебе, ни мне... Не реви! — прикрикнула она.— Я не малень-

кая, чтоб возле меня сидеть. И ехать вам надо, решено же! Чего глупости лопотать?

Она встала, спросила, где Саша. Саша подошел, склонился и поцеловал ее руку. Это было неожиданно: никто никогда не целовал ей руки, не принято было, казалось смешным, чуждым обычаем. А сейчас растрогало.

— Гостей звать не время,— сказала она, обращаясь к одному Саше,— а среди семьи отметим. И поедете.— Не глядя на Любу, приказала: — Разыщи список, что мы составляли.

С этого дня начали готовиться к отъезду молодых. Нашлось множество дел, без которых не обойтись. Жила себе девушка, работала, гуляла, считалась прилично одетой, а тут оказалось, что и туфли не годятся, и платья не те, и пальто потертое — как в таком по Москве ходить? Мы, слава богу, не хуже других, можем единственную дочку выдать замуж как полагается.

Когда-то Кузьма Иванович удивлялся, зачем Ксюше что-то там шить да справлять, ему только и нужно было — обнять ее и привести в свой дом женой. Теперь он считал необходимыми все приготовления и горячо участвовал в них. Отправлялись за покупками втроем, но Любе и слова сказать не удавалось, старики сами все выбирали и ссорились между собою: что лучше, что к лицу дочери, а что не к лицу? Кузьма Иванович с радостью видел, как усмехается Ксюша его придирчивости при выборе покупок, и нарочно смешил ее, задавая продавцу нелепые вопросы.

По вечерам в доме стучала швейная машина, на обеденном столе расстилались выкройки. Кузьма Иванович садился в уголке с газетой и украдкой поглядывал на жену — прежней отрешенности уже нет, иногда и улыбнется невзначай... Вот и хорошо! От горя одно лечение — жизнь.

Так думал Кузьма Иванович, но вдруг острая тоска хватала его за сердце: Вова! Прикрывался газетой и, заглатывая слезы, думал о том, что все эти хлопоты — короткая передышка. Время пробежит — и оторвется дочка от родного гнезда, потом и Костя упорхнет куда-нибудь. А им, старикам, доживать

в опустевшем доме со своим горем, с воспоминаниями о мертвых детях, с тревогами о живых...

Саша теперь почти не бывал у них. Проводит Любу, постоит с нею немного у калитки и — за книги! С той минуты, когда свадьба была заново решена, он дорожил каждым часом и все подчинял одной цели — прийти к академику Лахтину хорошо подготовленным. Чем усердней он готовился, тем больше пробелов обнаруживал в своих знаниях, тем меньше ценил руководство профессора Китаева. Иногда у него мелькала мысль, что Китаев — узкий, провинциальный профессор из тех, что тянут научную лямку... Саша был склонен к отчетливости суждений, но тут избегал договаривать даже наедине с самим собой: не хотел осуждать своего первого учителя.

Занятый с утра до ночи, Саша почти не замечал исчезновения друзей. Так бывало и раньше, когда он изучал какую-либо новую проблему. Это и есть настоящая дружба: захотелось — зашел или позвал к себе, нужен другу — немедленно откликнулся и помог, а если все в порядке и дел по горло, никто не обидится, что на время оторвался. Но они, видимо, были нужны друг другу — в течение пяти лет всем делились и все знали друг о друге. Поэтому Саша был поражен, когда случайно услыхал, что Палька скоропалительно оформил отпуск. Ушел в отпуск — и не забежал сказать?.. Да и Липатушка как в воду канул!

Сообразив это, Саша заскучал и в тот же вечер пошел к Липатову.

Липатов лежал одетым на постели. Ноги в сапогах закинуты на спинку кровати, в зубах — потухшая папироса. На столе — весь тот беспорядок, который создает мужчина, когда хозяйничает сам. В углу — несколько водочных бутылок и веник, прикрывающий размочаленными прутьями немалую кучу мусора.

— Чего не заходишь, старик? — спросил Саша и понюхал стакан на столе — от стакана пахло водкой.— Прикладываешься?

— Ну и прикладываюсь,— сказал Липатов и спустил ноги.— А что?

Из дальнейших ответов приятеля Саша узнал, что на шахте все «ничего», дочка в Ростове тоже «ничего».

Аннушка «как всегда»... И тут Липатушка вдруг подскочил и раскричался:

— Надоело! Жена она мне или кто? Заочная жена — спасибо! Ставлю вопрос: или приезжай домой, забирай дочку и живем как люди, или... спасибо.

Такие взрывы протеста у Липатушки бывали не раз, но они ничем не кончались: Аннушка приезжала, выписывала ненадолго дочку, стряпала вкусные обеды, а потом снова уезжала; обласканный Липатов покорно провожал ее и некоторое время всем доказывал Аннушкиными словами, что геолог без экспедиций все равно, что рыба без воды, а дочке в Ростове лучше, потому что тетка — педагог.

Чтобы переменить разговор, Саша спросил про Пальку.

— Не видал и не стремлюсь видеть!

Добиться объяснений не удалось.

От Липатова Саша поехал к Световым, но застал только Катерину — она стирала у крыльца белье. Стряхнув с пальцев мыльную пену, Катерина насмешливо воскликнула:

— Ну и чудак! Пальку дома ищет!

— А где он?

— Будто не знаешь?

— Не знаю.

— Нелепые вы какие-то! Когда не надо, по пятам друг друга ходите, а когда нужны — глазами хлопаете.

— Да что такое?

Катерина загадочно улыбнулась. Саша удивленно приглядывался к ней: расцвела, стала будто крупнее и осанистей, в глазах веселые огоньки.

— Ничего не понимаю, Катерина. Загадками говоришь.

— А на загадку есть отгадка.

— Скажешь ты или нет?

— Да что я, шпион своему брату? Чего все видят, то и я примечаю, раз глаза на месте. А тебе сподручней: как-никак ты там поближе.

— К кому поближе?

— Да к профессорам всяким.— Она снова взялась за стирку, сурово сказала: — Иди. Не люблю сплетни-

чать. А ты узнай. И вразуми. Дурной он еще, а ведь на чужой роток не накинешь платок.

На всякий случай Саша зашел к Федосеичу: Федосеич всегда все знал. Ответ старого лаборанта был неожиданным:

— Работает он. Чего изобретает, не знаю, но сидит иной раз до утра. Ивану Иванычу, конечно, не говорим, а лабораторией пользуется. Видать, ничего пока не выходит у него... а старается очень. Расстроится, уйдет — а назавтра опять здесь! Я его пошлю к вам.

Палька пришел очень поздно. Противоречивые отзывы заставили Сашу внимательно приглядеться к другу, но Палька был таким же, как всегда,— ни одержимости изобретателя, ни особого легкомыслия, требующего «вразумления», заметно не было. Он привычно просмотрел названия книг, разложенных по столу:

— Ого! Хочешь явиться пред светлые очи во всеоружии?

Они поговорили об этом с увлечением, как говорили всегда о работе в науке. Но о своих исканиях Палька рассказывать не стал.

— Есть одно дело, которое... В общем, немного погодя расскажу.

— Сглазить боишься?

Палька прошелся по комнате, взглянул на Сашу выжидательно и неуверенно — видимо, и рассказать не терпится, и не хочет до времени хвастаться.

— Чего Липатушка на тебя злится?

Палька расхохотался, но чувствовалось, что ссора с Липатовым все-таки мучает его.

— Да так, чепуха. Позлится и отойдет.

Теперь Саша видел, что с Палькой действительно что-то происходит.

— Ты что такой шалый сегодня?

Палька покраснел и улыбнулся.

— А разве видно?

— Видно. Даже очень.

— Малость влюбился,— с иронической ухмылкой признался Палька.— Ну да глупости это все.

— Если ты влюбился только малость и это кажется тебе глупым,— брось! «Малость» любить не стоит.

— Да нет...

— Кто она?
— Ну, в степи тогда повстречали... такая рыжая, золотая...
Саша весь вскинулся:
— Это ж Русаковская!
— Ну да. Что ж такого?
— Познакомился?
— Ага.
— Бываешь у них?
— У них? — с презрением вскричал Палька.— Я бываю у нее! И вообще, если ты думаешь читать мне нотации...
— Нотаций ты от меня не дождешься,— заверил Саша.— Нашел моралиста — учить себя! Просто мне неприятно, потому что ее муж... И потом, она же намного старше тебя! Ей уже за тридцать, пожалуй. Приехала и уедет, а ты... И чего же ты хочешь?
Так как Палька молчал, Саша уточнил:
— Отбить ее у мужа? Стать любовником на месяц?
Палька вспыхнул.
— Совсем нет! Она не такая, чтобы... Да разве я хотел влюбиться в нее? Но она такая... И что же мне делать, Саша? Я не могу отстать от нее, потому что...
Он смолк, не найдя объяснения. Он сам толком не знал, чего хочет. Отбить у мужа и жениться самому? Мысль показалась нелепой и даже испугала его. Татьяна Николаевна — жена?! Он просто хотел, чтобы она полюбила, чтобы она вскинула к нему на плечи свои легкие руки и поцеловала его... Он предпочитал не помнить о том, что там есть муж и ребенок — эта девчонка, мрачно глядящая исподлобья. Добиться ее — вот чего он хотел. Ее рыже-золотые волосы проблескивали сквозь все его честолюбивые мечты, и ничего он с этим не мог поделать.
— Я хочу, чтоб она полюбила, вот и все.
— Ой, Палька, с ума ты сошел! Жена известного ученого... Совсем она не твоего круга, не твоего уровня... И потом — как ты себе представляешь, что дальше?
— Очень мне нужно загадывать наперед!
Вид у Пальки был смущенный и дерзкий.
— Я не ханжа,— строго сказал Саша.— Но, по-моему, так нельзя. Когда я начал ухаживать за Лю-

бой, я с первого дня знал, что хочу жениться на ней. А ухаживать за чужой женой...

— Очень интересно! — воскликнул Палька, смеясь.— До чего мне хочется отбить ее у этого важного гуся!

— Совсем он не гусь,— сердито возразил Саша.— Большой ученый, умный и милый человек. Да ты хоть знаешь его?

— Не знаю и знать не хочу! Подумаешь!

Саша начал сердиться всерьез.

— Ты спятил, Палька! Я его глубоко уважаю и не позволю, чтобы твое мальчишество...

— Ах, ах, какие нежности! — запальчиво перебил Палька.— Если он настоящий человек, так он не должен терять голову...

— Как ты? — докончил Саша и рассмеялся.— Опомнись, Павлушка! Почему бы тебе самому не поступить как мужчине?

— Отойти?

— Да.— Саша подумал и подтвердил: — Да.

Палька предпочел пропустить эти слова мимо ушей.

— А ты знаешь, что старая лисица Липатов крутит хвостом около нее?

— Да что ты?!

Саша развеселился и начал расспрашивать. Он вовсе не стремился продолжать нравоучение. Черт его знает, как он справился бы с собою в подобном случае! Он был влюблен и понимал, что задушить свое чувство трудно. Нет, он справился бы. Во что бы то ни стало. Но Палька...

— И все-таки подумай. Измена, обман — это противно. Пошлость. Она, говорят, довольно легкомысленная, у нее вечно толкутся мужчины... Я ничего худого не хочу говорить про нее,— возразил он на гневное движение друга,— но я тебя прошу: возьми себя в руки, Палька, и, если можно, отойди.

— Конечно, могу,— буркнул Палька, но всем существом почувствовал, что это невозможно, и добавил: — Только не хочу.

— Работается тебе или нет?

— И еще как!

— Так что же ты такое задумал?

Палька отошел к окну, стал спиною к Саше и заговорил возбужденно:

— Вот ты думаешь: имя, звание, профессор и все прочее, а я — что я? Аспирантик без всякого положения и веса. Наплевать мне на это! Я сейчас такое дело начал... такое дело!.. Сглазить — это вздор! Просто не могу я болтать, когда все во мне бродит и вот-вот вырвется. Чувствую, что все рядом — победа, слава, любовь — все! И отказываться ни от чего не буду. Не могу. Не хочу. Мое!

Саша подошел и сзади крепко сжал его плечи.

— Да нет, я серьезно,— обиженно сказал Палька и повернулся к другу с виноватой улыбкой.— Правда, Саша, у меня сейчас такое время пришло! Такое!.. Ну, я пошел! — вдруг сорвался он.— Я ведь в лабораторию пробираюсь, ночное бдение!

Задумчиво покачивая головой, Саша слушал, как Палька скатился по лестнице и хлопнул дверью внизу. Из всего, что он тут наговорил, Саше ярче всего запомнился его короткий ответ: «И еще как!» Саша верил: если человеку хорошо работается — все остальное придет в порядок.

16

А Палька жил необычно, как в пути.

Родной дом, сестра с ее бедами, друзья, институтские интересы — все существовало будто за стеклом, в стороне от главного движения Палькиной жизни. Ему приходилось иногда вникать в окружающее, но так, как на случайном полустанке: вышел, чему-то удивился, чем-то мимолетно заинтересовался — и вскочил на подножку...

Его воображение создавало все новые и новые газогенераторы. Громоздкие машины различных типов зарывались глубоко в землю, в ее черные недра. Они располагались там по его воле и послушно превращали уголь в газ. Газ струился по трубам, заполнял серебристые баллоны, питал электростанции и заводы...

Но прожорливые пасти машин капризно принимали только раздробленный уголь, и этот уголь приходилось предварительно дробить в подземных выработках.

Люди по-прежиему должиы спускаться под землю, а это значит, что весь замысел ннчего ие стоит. Жалкая полумера, придаток к шахтерскому труду!

Простая истина нз учебников, что от качества дробления угля зависит качество газификации, вставала непреодолимой преградой.

Огромиого дистнлляциоиного аппарата ие получалось.

Иногда ои впадал в отчаяние: решения иет. Не оттого ли ничего ие осуществил Рамсей?..

Отчаяиие вытесиялось упорством и верой, не слепой, а умиой верой: человеческая мысль находит то, что ищет...

В эти дии он повел Татьяну Николаевиу под землю.

Во время короткого свидаиия — одного из свиданий, когда Палька переходил от буриых надежд к бессильной ярости,— она попроснла его передать записку Липатову.

— Так,— мрачно сказал Палька.— Нашли курьера!

— Зачем же? Гермеса! — очаровательио улыбаясь, поправила Татьяна Николаевна.— Против Гермеса вы не возражаете, иадеюсь?

Так она ставила его на место и сама оказывалась высоко иад иим — в мире, где людн с детства знают тысячи никому ие иужиых вещей. Ои мстил ей тем, что разыскивал в эициклопедии всю чепуху, которой она козыряла, н прн случае показывал, что зиает больше, чем она.

Расставшнсь с Татьяной Нниколаевиой, Палька без стесиеиия прочнтал записку.

> *Липатушка (ведь так Вас называют?), завтра муж уезжает в Ростов, и у меня будет несколько свободных дней. Не поведете ли Вы меня послезавтра утром в шахту, как обещали? Жду Вас в 9 часов утра.* *Т. Н.*

Муж уезжает. Великолепио!

Ои помчался на шахту и получил два пропуска иа послезавтра. Потом завериул в бнблиотеку н заучил все, что иаписаио в эициклопедии про Гермеса. У божьего рассыльиого оказалась иагрузка по совместнтельству — иизводить души в подземиое царство. Очень кстати!

В назначенный час он застал Татьяну Николаевну в серой кофте, в простых чулках и старых туфлях без каблуков.

— Куда вы собрались? В туристский поход?

Татьяна Николаевна была раздосадована появлением Пальки и держалась без обычного апломба: чувствовала себя дурно одетой.

— Собираюсь в шахту. С Липатовым.

— Так где же эта старая лисица?

— О-о!

— Уж не об этом ли была записка? Так вот она. Я забыл передать.

Татьяна Николаевна рассердилась. Палька впервые видел ее по-настоящему сердитой — ишь как рассверкалась молниями!

— Ну, не злитесь. Раз уж вы собрались, я вам покажу шахту не хуже, чем Липатов.

— Держу пари, вы прочитали записку!

— А вы думаете, Гермес как действовал? Он же не курьер, а вестник богов! Покровитель путешественников! А по его дополнительной профессии он прямо-таки обязан вести вас под землю.

Она распахнула глазищи и перестала злиться. Конечно, знает этого Гермеса понаслышке. Дамское образование!

— У вас грехи есть?

— Грехи? Найдутся.

— Так пойдемте, я низведу вашу грешную душу в подземное царство.

— О-о! Вы основательно проштудировали энциклопедию! Я сдаюсь.

Как назло, у компрессорной им встретилась Катерина. Черт ее дернул выйти подышать воздухом! Катерина настороженно-иронически оглядела спутницу брата, круто повернулась и ушла.

Татьяна Николаевна не знала, что в нарядной их заставят переодеться в шахтерки, но это не смутило ее, а обрадовало: любят женщины маскарад! Палька не понимал, как ей удалось выглядеть изящно в неуклюжей робе и брезентовой шляпе. Она и держалась молодцом, даже когда клеть понеслась вниз, будто проваливаясь в мокрую темноту,— побледнела, но не позволила себе испугаться.

Пальку веселила мысль, что он натянул нос Липатушке и что Липатушка сегодня же узнает об этом. Однако теперь не Липатову, а самому Пальке предстояло «приобщать к производству» свою даму, и это было стыдно, потому что вокруг трудилось много знакомых. Что Липатов! Сегодня же весь поселок будет обсуждать забавную новость...

Возмещая себе предстоящие неприятности, Палька решил помытарить как следует ненаглядную. Обычно гостей водили по наиболее благоустроенным штрекам, не заставляли карабкаться по стойкам и ползать по низким ходкам, но Палька повел Татьяну Николаевну так, как водили когда-то его самого,— без снисхождения. Пусть узнает, что такое шахтерский труд! Остановившись с нею в проходе, где сверху дождем лилась вода, он нарочно заговорил про обвалы и взрывы, про то, как обрываются клети и забуриваются вагонетки, про суровое братство шахтеров, никогда не покидающих товарищей в беде... Начав рассказывать из озорства, чтобы напугать ее, он сам увлекся и впервые увидел профессию горняка такой мужественной и романтичной.

Когда они прижались к стенке, пропуская вагонетки с углем, Татьяна Николаевна ухватилась за его руку.

— Может, довольно? — подобрев, предложил он.

— Что вы, мы ж еще ничего не видели! — ответила она.— Я хочу побывать там, где были выбросы газа. Это далеко?

Пальке совсем не хотелось туда, он сказал: очень!

— Так пойдемте скорей!

Чертыхаясь про себя, он расспросил, как пройти, и повел Татьяну Николаевну вниз. Спускаться по стойкам было неудобно и утомительно, Палька отвык: в последний раз он спускался в шахту полтора года назад, когда студенты помогали ликвидировать прорыв. Но Татьяна Николаевна быстро приспособилась и скользила со стойки на стойку, как акробатка. Откуда это у нее?

Они оказались в самых глубинных выработках. Влажную и жаркую духоту пронизывали струи холодного воздуха, нагнетаемого насосами вентиляции.

Слышно было, как посвистывает воздух и как шуршит уголь, летящий по склону из лав.

— Здесь и сейчас работают? — шепотом спросила Татьяна Николаевна.

— Да,— таким же шепотом ответил Палька. Он забыл притворяться. Он думал о Вове, который погиб где-то здесь.

И она подумала о Вове.

— С вашим другом... это случилось здесь?

— Где-то тут. Точно не знаю.

— Павел Кириллович... То, что вы говорили тогда, в степи, возможно?

Она была серьезна и бледна, на щеке темнело угольное пятно. Расширенные глаза, уже подведенные угольной пылью, смотрели в глубину узкого туннеля, уходящего в темноту. Он поглядел туда же не своими привычными, а как бы ее глазами и увидел мрачную глубину с поблескивающими гранями угля, движущиеся огоньки ламп; огоньки тлели в пыльном тумане, как будто в них иссякает накал; почерневшие и местами вспученные стойки и верхние бревна напоминали о том, что над их головами нависает тысячетонная толща земли... Ее глазами он увидел знакомых и незнакомых людей, с будничной простотой делающих свою работу. Они наваливались на рукоятки отбойных молотков, ловко подрубая уголь по кливажу. Они нагружали вагонетки. Они гнали вагонетки по рельсам, пригнув головы, чтобы не разбить их о балки кровли. Они перекликались и перешучивались, с насмешливым любопытством оглядывали хорошенькую гостью и отпускали на ее счет игривые замечания. Знали ли они, что в какой-то злой миг навстречу пробивающемуся в глубь пласта отбойному молотку может неожиданно прорваться сокрушительная струя скопившегося в пустотах подземного газа? Знали ли они, что грозное давление земной толщи и размывающая сила грунтовых вод в каком-то непредвиденном усилии могут опрокинуть крепления и обрушиться на головы людей?.. Знали. И все-таки ежедневно спускались сюда и шесть часов подряд рубали уголь. Их почерневшие лица с ослепительными, отчищенными углем зубами были обычными лицами работающих людей, разве что глаза особенно зорки да временами заметишь, как

приклонился человек ухом к стене, вслушиваясь в шорохи и гулы земных недр...

Палька охватил все это глазом, сердцем, мыслью и понял, что породило вопрос его спутницы, и с небывалой силой почувствовал огромность задачи, так дерзко принятой им на себя.

— Это будет! — ответил он.

И сразу ему захотелось походить по шахте одному, без Татьяны Николаевны. Походить одному и свободно пофантазировать, как оно будет, наглядно представить себе еще неведомый гигантский дистилляционный аппарат, в глубинах земли пожирающий уголь и подающий по трубе на-гора́ непрерывный поток газа...

Но Татьяне Николаевне вздумалось попробовать, как «рубают» уголь. Молодой забойщик с нагловатыми глазами снисходительно учил ее держать отбойный молоток. Вокруг сгрудились шахтеры, пересмеиваясь и давая советы. До Пальки доносилось: «Подивиться пришла...», «Оставим ее в бригаде чи нет?» Молодой шахтер без предупреждения включил воздух, и Татьяну Николаевну так тряхнуло, что она чуть не выронила молоток. Шахтеры засмеялись.

Пальке хотелось поскорее прекратить эту сцену, но Татьяна Николаевна засмеялась вместе со всеми.

— Оставить меня чи нет — это и от меня зависит. А я бы поискала бригаду, где парни повежливей.— И пояснила: — Я не из любопытства. Я жена и помощница профессора Русаковского, он сейчас занимается выбросами газа.

Теперь никто не смеялся. Нагловатого парня оттолкнули. Татьяне Николаевне подали молоток, помогли направить пику в пласт. От старания вытянув губы, Татьяна Николаевна налегала на рукоятку. Она торжествующе вскрикнула, когда от пласта отвалился большой кусок угля. Потом отдала молоток — «Тяжелый!» — виновато улыбнулась всем и начала расспрашивать шахтеров о том, что ее интересовало. Держалась она простодушно, с незнакомой Пальке товарищеской повадкой. Ей отвечали серьезно и охотно — жена того самого профессора! Незаметно роли переменились — спрашивали шахтеры, а Татьяна Николаевна отвечала, как могла. Оказывается, она кое-что понимает.

Почему же с ним она никогда не говорит серьезно и дружелюбно? Почему с ним держится так, что у него язык не поворачивается рассказать ей о своих терзаниях, поисках, неудачах?.. Неужели и теперь она не поймет, что к нему нужно относиться серьезно, что она нужна ему гораздо больше, чем ее почтенному супругу, будь он неладен!

Вот она говорит о предупреждении выбросов газа. Конечно, эти работы очень важны, но ведь не они определяют будущее!

Стоя в сторонке, он смотрел на поблескивающие навесы подрубленного угля, ждущие последних толчков молотка, чтобы обрушиться дробящейся массой. Дробящейся! Нигде и никогда не применяли нераздробленный уголь... А он применит. Но как?

Он смотрел на осторожные движения людей в этом черном подземном царстве труда и осознавал, что все его газогенераторы — вздор, бездарные выдумки. Поставь где-то здесь, в глубине земли, самый совершенный газогенератор, организуй конвейерную подачу раздробленного угля от лав к его всасывающей пасти... Все равно нелепость! Процесс горения угля при высоких температурах в соседстве с работающими людьми?..

Значит, я шел по неверному пути — механически копировал надземный процесс. А надо оторваться от имеющихся образцов и найти совершенно новое решение. Но как? Какое?..

Убежать бы отсюда, остаться наедине с бумагой и карандашом! Но Татьяна Николаевна никогда не простила бы ему такого побега, а мальчишеская мысль о Липатушке заставляла быть начеку — уйдешь, а Липатушка прознает, и прибежит, и еще, чего доброго, найдет способ доказать, что знает шахту лучше Пальки и умеет водить гостей более удобными ходами...

Липатов ворвался к нему в тот же вечер.

— Друзья так не поступают! — закричал он от порога.— Вот что я пришел тебе сказать!

— Стоило тащиться для этого по жаре!

— Я говорю серьезно. И если ты думаешь отшутиться...

— Я не знал, что это имеет для тебя такое значе-

ние,— сказал Палька.— Ты — женатый человек, она — чужая жена. Я думал, тебе просто неловко в рабочее время отвлекаться на подобные забавы. Начальник, семейный человек — с чужой женой...

И он уставнлся на Лнпатова насмешливо и вызывающе, всем своим видом говоря: вот н попался! Ннчего подобного я не думаю, а подн-ка выкрутнсь!

— Ну, знаешь!..— багровея, вскричал Липатов.— Это уже чересчур! — и хлопнул дверью.

Палька догнал его у калнтки.

— Лнпатушка, да ты что? Из-за ерунды...

— Ерунда нли нет, но мне противно нметь дело с подобной змеей! — выкрнкнул Лнпатов, дергая калитку, которую Палька придержнвал ногой.— Ты мне больше не друг, и говорить мне с тобой не о чем!

— Прекрасно,— дрогнувшим голосом сказал Палька и распахнул калнтку.— На черта мне дружба, если она летнт из-за дурацкой запнски!

Он вернулся к себе расстроенным. Может ли быть, что эта дружба действнтельно оборвалась? Да нет! Но все же... Интересно, откуда н что он узнал? Может, он был у Татьяны Ннколаевны? Выдала она нсторню с запнской нли не выдала?..

Он помчался в гостнницу выяснять. Так он себя убеждал, втайне надеясь, что удастся провестн у нее вечер. Муж в Ростове. Она скажет: «Мужа нет, поскучаем вместе...»

Дверь прнoткрыла Галя.

— Мама устала и легла спать,— злорадно сообщнла она.— Велела не буднть. Только еслн папа позвоннт, тогда разбуднть.

Палька ушел спотыкаясь — он всегда терялся перед непрнкрытой ненавнстью этой скуластой девчонки.

Рабочее настроенне было вконец нспорчено. Но он не любнл поддаваться дурному настроению и упорно возвращал себя к невеселым утренним выводам: все, что намечено до снх пор, решения не дает. Метод копировання машнны порочен.

Зря лн потрачено время?

Нет, не зря.

Отрнцанне однх методов — это уже шаг вперед, к открытию нового метода. Отрнцанне привычного толкает в неведомое.

Неведомое представало черной толщей угля и серебристыми баллонами газа, черт знает каким способом извлеченного из глубин земли. Где-то посередине, между толщей угля и баллонами, маячило решение...

В таком настроении он и примчался к Саше Мордвинову, узнав, что Саша его разыскивает. В таком настроении он просидел потом добрую половину ночи в лаборатории. Единственным итогом ночного бдения был подробный и придирчивый анализ всего отвергнутого — «что отвергаю и почему». Если бы не сумятица чувств, вызванная разговором с Сашей о Татьяне Николаевне, он был бы совсем счастлив этим итогом. В любви такой ясности не было. И он понимал: ясность для него гибельна, лучше оставить все так, как есть...

Проспав до полудня, он снова поехал в гостиницу.

Татьяна Николаевна взволнованно ходила взад-вперед по комнате и сразу, не здороваясь, сообщила, что пропала Галя. Ускользнула чуть свет (швейцар говорит, еще восьми не было) и до сих пор не вернулась.

— Прибежит,— сказал Палька,— проголодается и прибежит.

— Сама знаю, что волноваться нечего,— согласилась Татьяна Николаевна.— Но куда она помчалась, дрянная девчонка?

Он заговорил о вчерашних впечатлениях. Ненаглядная была невнимательна, поглядывала то на часы, то в окно. Затем она перестала скрывать волнение и перестала заботиться о том, как выглядит,— лицо ее стало простым, милым, беспомощно-растерянным.

— Ну, вот что,— сказал Палька, смело обнимая Татьяну Николаевну и отрывая ее от окна.— Нечего терзаться! Пошли искать!

— Куда? — воскликнула она с отчаянием.

— Я знаю куда.

Пока они ехали трамваем, Палька загадочно отнекивался от ее расспросов. Ему хотелось сказать, что эта противная девчонка вечно болтается с мальчишками и мало похожа на девочку из хорошего дома. Но он промолчал: пусть ломает голову, как и почему Палька сумел найти ее сокровище.

Оии долго бродили по степи. Пальке иравилось слушать, как Татьяиа Николаевиа выкликает дочку — звучиым голосом, иа все лады. Галя ие откликалась, ио возле Дубовой балки иачалось движеиие: малеиькие фигурки перебегали с места иа место и приподиимались иад травою, разглядывая, кто тут бродит и аукает.

Галя появилась иеожидаино и совсем рядом. Оиа ползла к иим по траве, толкая перед собой колючий шар перекати-поля. Голубая леита, которой полагалось красоваться иа ее голове изящиым бантом, была грубо повязаиа через лоб, удерживая торчащие во все стороны ветки. Такие же ветки были запихаиы под лямки платья и за поясок, скрутившийся жгутом.

— Ну чего? Чего? — с досадой прошипела Галя, прижимаясь к траве, чтобы ее ие заметили от балки.

Татьяиа Николаевна несколько мииут разглядывала дочь и вдруг расхохоталась обрадоваино и звоико, повалилась иа траву рядом с Галей.

— Ты мие всю разведку испортишь! — сердитым шепотом сказала Галя.— Вон оии там, у балки. А иаши кольцом охватывают. Видишь, перекати-полей сколько? Это иаши.

— Я ж волновалась, дурешка! Не могла предупредить с вечера! И ты же голодиая!

— Ничего я не голодная, у Кузьки хлеба краюха, мы поели. И ты уходи, ведь все испортишь!

— Знаешь что? — воскликиула Татьяиа Николаевиа.— Ты лежи, а мы пойдем к балке, как будто тебя ищем, и поглядим, сколько там народу, а иа обратиом пути тебе скажем. А?

Галя вспыхиула от удовольствия. Потом иахмурилась и исподлобья оглядела иеприятного человека, который стоял и глазел иа них.

— Нет. Это нечестио. Я сама.

— Чтоб через час ты была дома!

— Через два. Мамочка, через два!

Татьяиа Николаевна подиялась, отряхиула платье, взяла Пальку под руку.

— Пойдемте, будто гуляем. Разведку ие подводить!

— А вы мие понравились,— сказал Палька, когда оии отошли от Гали на достаточное расстояние.—

Я ждал: будет материиская иотация, ругаиь и слезы. А вы сами ие лучше Гали.

— В детстве я была главиой озорницей в озорной компаиии. Я и сейчас озорница, когда удается.

— Ой ли? А иу, пятна́! — Палька шлепнул ее по руке и отскочил.

Они гонялись друг за другом, как ребята. Татьяна Николаевиа бегала легко и быстро. Пальке иикак не удавалось догиать ее.

— Я ж в иституте в стометровке рекорды брала! — посмеиваясь, кричала оиа издали.— Где вам, медвежоиок!

Многоголосый крик прервал их игру. Стая мальчишек мчалась в атаку иа иеприятелей, засевших в Дубовой балке.

— Разведка удалась,— сказала Татьяиа Николаевиа, прислушиваясь к гомону голосов.

— А я вас поймал!

Палька схватил ее и крепко поцеловал, прежде чем оиа опомнилась. Ее ладошка уперлась в его грудь, легоиько отталкивая. Но губы ие сопротивлялись, ие прятались.

Когда оиа, опомиившись, выскользнула из его рук, ои бросился ничком иа выжжениую колючую траву. У иего бешеио прыгало сердце и кружилась голова. И ои боялся взгляиуть на иенаглядную.

Но она сказала смеющимся голосом:

— Это нечестио! Вам надо поучиться у Гали честиым правилам игры.

И Палька, приподиимаясь, с облегчеиием ответил:

— Нет, честио! Я вас поймал — мое право!

Одиако держался смирио и глядел себе под иоги.

Всем своим поведеиием Татьяна Николаевиа старалась виушить ему, что случайный поцелуй иичего не измеиит. Он поиял ее старания и, пригнув голову, брякнул:

— Все равио я от вас ие отстану.

Оиа пустила в ход все жеиские уловки, погладила его по руке, лепетала какие-то ничего не значащие слова.

— Нет! — сказал Палька.— Не увертывайтесь. Я еду с вами.

— Скоро вериется Галя.

— Тогда я приду вечером.

Татьяна Николаевна знала: следует сразу и решительно положить конец его притязаниям. Она сама себе сказала: «Вот теперь перешло». Но вместо решительных слов пробормотала:

— Сегодня я буду купать Галю. После этой разведки...

— Я приду позже. Не весь же вечер вы будете купать ее!

Она помолчала и вдруг скороговоркой произнесла:

— Завтра вечером. В девять.

17

Весь день, и ночь, и новый день он чувствовал на губах тот единственный поцелуй. Катерина, конечно, сразу поняла, что с ним что-то произошло, но ни о чем не спрашивала, только хмурилась. Палька угадывал ее мысли, но ему было все равно. Он стремился к своему счастью, назначенному на девять часов вечера, и ни о чем другом не мог думать.

Все встречные, кажется, понимали, куда он мчится с таким безумным лицом и почему на нем ослепительная рубашка и самый нарядный галстук.

Швейцар в гостинице и рассмотреть не успел промчавшегося метеором молодого человека, а тот уже взлетел по лестнице.

Самой жуткой была минута (о, какая долгая, невыносимая минута!) у двери после короткого стука в ожидании певучего: «Войдите!»

Певучий голос прозвучал, *она* была дома, *она* не обманула...

На ней было то воздушное, длинное, до пят, одеяние, в каком он застал ее однажды утром. Сегодня она была еще прекрасней: ее лицо светилось лукавством, радостью, нежностью и бог знает чем еще, и все это предназначалось ему, ему одному!

Сердце заколотилось так, что весь гостиничный номер заполнился громким тук-тук-тук.

И в эту минуту зазвонил телефон.

— Да. Здравствуйте. Нет, узнала,— говорила Татьяна Николаевна в трубку, блестящими глазами разглядывая Пальку.— Да, приехал. Ночью. Нет, за-

бегал пообедать и снова помчался на заседание. Я думаю, скоро. Хорошо. Передам.

Палька не сразу понял ужасный смысл ее ответов. А она уже шла к нему, улыбаясь.

— Что же вы стоите у двери, Павел Кириллович?

Он отвел ее попытку прикрыть веселой вежливостью свое черное предательство.

— Приехал ваш муж?

— Да, ночным поездом,— как ни в чем не бывало уточнила она.

— И вы об этом знали еще вчера!

Он не спрашивал, он утверждал тоном следователя.

Ее легкие руки взлетели и легли на его плечи. Сколько раз он мечтал, что когда-нибудь почувствует ее руки на своих плечах — но, господи, не так! Не так!

— Ну и что же, друг мой?

Он скинул ее руки грубым движением.

— И вы мне назначили именно сегодня вечером...

— А почему же нет? Ну что вы чудите, Павлик? Разве вы покушаетесь на мое семейное счастье?

Его охватило злобное отчаяние, он выкрикнул:

— Да, покушаюсь! И вы это отлично знаете!

Сам испугался и добавил тише:

— Ну вот, я вас предупредил. По крайней мере честно.

Она шутливо охнула, силой усадила его в кресло и самым веселым тоном начала заговаривать зубы:

— Вы бы видели, как разозлился Липатов! Он встретил меня на улице, когда я возвращалась с шахты. И, как ястреб, ринулся к вам. Наверно, вызывать на дуэль? Или бить? Как тут у вас принято?

Палька натянуто улыбался, готовясь встать и уйти. Но уйти он не успел: уверенная рука открыла дверь, вошел муж.

Сквозь боль и стыд, неловко поднявшись и не зная, куда деть себя, Палька воззрился на этого ненавистного мужа. Профессор был изящен и почти молод — вряд ли ему стукнуло сорок. Он не был красив, но его скуластое, с неправильными чертами, дотемна загорелое лицо было примечательно своей необычностью. В темных глазах с очень яркими белками вспыхивал

и переливался свет,— казалось, в них рождаются и сменяют друг друга очень интересные, еще не высказанные мысли.

— Прости, что запоздал,— сказал профессор и поцеловал руку жены.— К счастью, тебе не давали скучать.— Он приветливо обернулся к Пальке.— А вы аспирант Светов? Мне говорили о вас. Как это вышло, что мы до сих пор не встречались?

— Китаев его просто не пустил к тебе,— быстро объяснила Татьяна Николаевна, помогая Пальке справиться с собой. — Павел Кириллович, изобразите, как он вам ответил!

— Ну, вот еще...

Не то что изображать других, он и себя-то не мог изобразить таким, каким хотел казаться,— сильным и гордым. Он чувствовал себя обманутым простаком и одновременно вором, пойманным на месте замышленного преступления. Из этой пытки был один выход — бегство. Но как убежать?

Профессор заметил смущение аспиранта и привычно старался рассеять его:

— Сегодня утром я беседовал с Мордвиновым. Это ваш друг, не правда ли? Он меня очень заинтересовал.

— Чем?

Палька навострил уши — что бы там ни было, такой разговор упустить нельзя.

— Сосредоточенный и точный ум,— взвешивая слова, определил Русаковский.— Начитан больше, чем можно было ждать. И, что особенно отрадно, нет узости, которая так легко создается специализацией.— Он неторопливо подумал и добавил: — Из таких вырабатываются настоящие ученые. Я завидую академику Лахтину и скажу ему об этом при встрече.

— Мордвинов — самый умный и образованный из нас,— с душевной щедростью объявил Палька, но тут же ухватился за мысль, взволновавшую его самого: — А насчет узости... Простите, Олег Владимирович, но вы сами, наши руководители, куда вы нас толкаете? В узенькие переулочки специализации! Тут стенка, там стенка, а всей ширины — четыре метра! Смотришь на стариков — у них же вся химия в голове! С ее отраслями и боковыми линиями! Одна мудрая голова —

целый мир! А ведь и они когда-то начинали? Их тоже направляли? Академик Лахтин тоже был учеником, но... Менделеева!

— Да,— согласился Русаковский.— Однако сейчас такие науки, как химия и физика, до того разветвились, разрослись, так глубоко проникли в смежные области, что узкая специализация неизбежна. Чтобы узнать хотя бы главное во всех ответвлениях, нужна целая жизнь. Вы рискуете унести свое приобретение в могилу, так и не успев поработать. А ведь знание не самоцель, а средство.

Он говорил сильным голосом человека, давно привыкшего точно излагать свои мысли. А Палька отвечал сбивчиво и, чувствуя это, все больше горячился:

— Двигать науку, не охватив ее? Ее движения в целом? Или нас готовят, чтобы мы исполняли, разрабатывали чужое, открытое другими? Как говорит Китаев: «Частные выводы, молодой человек, в конечном итоге являются тем удобрением...»

Незаметно для себя Палька привычно передразнил Китаева. Татьяна Николаевна поощряюще засмеялась — она то появлялась с тарелками и вазочками, то снова исчезала, мимоходом оглядывая мужа и поклонника.

— Нет, не так! — резко возразил Русаковский.— Растить научных работников на таком приземлении задач нельзя. И вы не поддавайтесь, если хотите работать в науке. Но будем говорить прямо. Масштабы применения науки сейчас таковы, что нужны десятки тысяч специалистов — не всезнаек, не энциклопедистов, а добросовестных отраслевиков...

— ...Не способных двигать науку вперед! — вставил Палька.

— Во-первых, в каждой отрасли науки идет движение, стремительное и крайне интересное. Во-вторых, из этой массы научных работников будут выделяться и выделяются умы крупные, с широким диапазоном. Кто ж их удержит в узких пределах?

Татьяна Николаевна позвала к столу, но Палька уже вцепился в профессора:

— Чтобы создать новое, нужен масштаб! Нужно охватывать всю науку. И даже технику! Занимаешься

химией угля, а тебе иужна технология и теория газогенерации, и механика, и черт в ступе!

Он прикусил язык, но профессор одобрительно улыбнулся.

— Бывает, что и без черта в ступе ие обойдешься, это верно. Но тогда берешь и знакомишься с чертом сам. Сам! И с его ступой тоже! — Ои потянул аспиранта за руку.— А пока пойдемте к столу, хозяйка приглашает.

Эти слова вернули Пальку к мучительиой правде. Да, оиа тут хозяйка профессорской семьи, жена большого ученого, женщина, приилежащая вот этому сильному, иитересному человеку. Ее легкие руки спокойно расставляют закуски и рюмки, подают хозяину бутылку виил и штопор. Четвертой за круглый стол садится начисто отмытая, по-отцовски скуластая девочка с огромным бантом в зачесанных кверху волосах — их дочь, исподтишка посматривающая иа гостя. Девочку раздражают отношения, существующие между мамой и неприятным гостем, который постоянно крутится возле мамы. Ей смешно, что сейчас этот гость сидит перед папой и ведет себя иеуклюже, иеумело. И она торжествует: папа здесь, папа самый главный.

Палька ощущал и свое нелепое положеиие в этом семейном кругу, и свое иеумение управляться за столом, и недоброе внимаиие девчоики. Его подавляло превосходство сопериика, которого он до сих пор считал старым, скучным мужем. И все-таки ему было интересио и хотелось использовать неожиданную встречу: Палька был жаден до умных людей.

— А я думаю, узкие переулочки мешают талаитливым людям по-настоящему расти и открывать новое!

Он выпалил это громко, вызывающе и оттолкиул тарелку с салатом.

— До некоторой степени мешают, во всяком случае, затрудняют,— задумчиво откликнулся профессор.— Но вот вы все время говорите: новое. Открывать иовое, создавать новое. Это довольно абстрактно. А новизна в науке всегда конкретиа. Вы имеете в виду что-то реальное?

— Может быть, и да, ие в этом дело! — ие очень вежливо ответил Палька.— Кого бы вы ии взяли

в истории науки, каждый, кто открыл что-то новое,— гигант!

Русаковский добродушно покачал головой:

— Знаете, молодой человек, если уж заглядывать в книгу истории прогресса, важнее прочитать в ней другое: эта книга писалась и пишется не только яркими одиночками, но усилиями многих малоизвестных ученых и даже практиков. Что такое гениальное открытие? Это результат многолетних исследований, труда и неудач. Годами идет накопление данных, создаются предпосылки, выясняются направляющие и определяющие положения. Само развитие науки подготавливает новый скачок, требует его, прямо-таки взывает к ученым: реши, найди! И вот на груде накопленных знаний и предпосылок вырастает новое открытие, поворачивающее весь ход научного мышления. Вдумайтесь, как часто открытия совершались почти одновременно разными учеными в разных странах. Значит, открытие «носилось в воздухе», назрело в результате достигнутого уровня...

— Это ясно! — опять-таки без лишней вежливости перебил Палька.— Но поймать то, что носится в воздухе, может только талант с широкими знаниями!

Русаковский быстро переглянулся с женой, как бы соглашаясь с ней в какой-то забавной оценке молодого гостя, и терпеливо ответил:

— Так ведь талант — понятие сложное. Химической формулы не выведешь. Я знал одного юношу, поражавшего всех несомненной талантливостью. А из него ровно ничего не вышло. Ум и способности были, но не оказалось главного — целеустремленности. А вот академика Фаворского в юности считали неудачником, его обогнали сверстники, над ним посмеивались, даже советовали идти в оперетту, благо у него был хороший голос и ему сулили большие деньги. А этот «неудачник» упорно шел к цели и к двадцати пяти годам сказал свое, новое слово в области изомерных превращений — вы, конечно, знаете,— а к тридцати пяти годам стал химиком мирового значения.

Профессор разлил по рюмкам вино и был, видимо, не прочь закончить серьезный разговор, но Палька не отступал:

— Ну и что же? К чему вы ведете?

— К тому, что на пороге науки надо сбрасывать, как туфли у порога мечети, честолюбие и жажду славы,— сказал профессор и снова быстро глянул на жену.

— В мой огород? — грубовато спросил Палька.— Так вам меня обрисовали?

— Вас обрисовали с большой симпатией, но честолюбие я нюхом чую. И не осуждаю, а только... предупреждаю. В истории науки самое гениальное открытие — лишь одна страница. И вписывают эту страницу люди, обуреваемые единственной страстью — найти ускользающую, непознанную истину. Только так — найти истину! Самую малую! Рентген вовсе не собирался потрясать мир открытием невидимых лучей. Он просто заметил, что фотопластинки, несмотря на черную обертку, засвечиваются вблизи от разрядной трубки. Замечали это и другие. Но другие заботливо отодвигали фотопластинки, а Рентген спросил себя: почему? Почему? — вот что двигает познание, а не мечты о перевороте в науке.

— Согласен! — вскричал Палька.— К черту мечты о славе! Но можно ли искусственно ограничивать свои интересы и весь свой век копаться в «частных выводах»?

— Это уж вы полемизируете с Китаевым, а не со мной,— улыбаясь, заметил Русаковский.— Я стараюсь не ограничивать, а расширять интересы моих сотрудников. Но, вступая в науку, надо сказать себе раз и навсегда: «Подарков от нее не жду, а жизнь посвящаю без остатка. Если повезет открыть новую частичку истины,— значит, я большой удачник».

— Так надо стремиться к удаче! Браться за главное! — выкрикнул Палька, размахивая вилкой.— Надо свободно искать и определять, что же ты — именно ты! — хочешь и можешь сделать! А нам утверждают аспирантскую тему еще до того, как мы сами поймем, что нас интересует. А потом поди-ка перемени!

— Однако вы свое нашли и переулочек вас не удержал? — вмешалась в беседу Татьяна Николаевна и подняла рюмку.— За ваш успех, Павлуша!

Русаковский тоже чокнулся с Палькой и спросил, что это такое, за что он охотно, но вслепую пьет.

— О-о, очень интересная идея! — воскликнула

Татьяна Николаевна, уверенно завладевая разговором.— Я никогда не выдаю друзей... даже мужу. Но я увлечена идеей Павла Кирилловича, верю в нее... Не будем смущать изобретателя, Олег Владимирович, он сам расскажет тебе, когда захочет.

Ее глаза смеялись.

«Не выдаю друзей... даже мужу». Палька густо покраснел: намек был ясен.

Профессор погрозил пальцем жене:

— Выдавать не выдаешь, а смотри, как смутила молодого человека! Ничего, Павел Кириллович, если есть интересная идея, не робейте. Ухватитесь за нее и работайте. Химия сейчас — царица наук, двадцатый век — век химии. За какую проблему ни возьмись в ней, все ново, все перспективно. Она проникает и в физику, и в биологию, и в космогонию, и в десятки отраслей промышленности, в сельское хозяйство, в строительство... С каждым годом химизация производства будет идти все быстрей и объемней. Быть химиком сегодня — значит стоять в самом центре научного и технического прогресса.

— В самом центре?

— Конечно! Вот вы говорили о механике и черте в ступе. Механики сейчас решают десятки своих проблем с помощью химии, а черт в своей ступе тоже, вероятно, смешивает разные элементы для какой-нибудь чертячьей химической реакции?

Татьяна Николаевна рассмеялась и подбавила Пальке салата и вина, но Палька не замечал ее забот.

— Если химия проникает во все науки, — значит, тем более химик должен быть исключительно широк?

— И конкретен! Вот вы химик по углю. Пока уголь просто сжигали в топках, химия казалась почти ненужной. Но именно химики научили человечество извлекать из угля смолы, масла, бензол и сотни химических продуктов, от аммиака до карболовой кислоты, от взрывчатки до лаков, украшающих мебель. Химия извлекла из черных глыб угля белые кристаллы нафталина и вязкую массу гудрона, устилающую шоссе. Если не ошибаюсь, больше трех сотен химических продуктов из одного угля!

Татьяна Николаевна потихоньку зевнула и предложила выпить за химию.

— Признайся, этим тостом ты хочешь от нее отделаться! — пошутил Русаковский.— Она тебе порядком надоела!

Татьяна Николаевна кивнула головой. Палька возмущенно поглядел на нее и, азартно чокнувшись с профессором, продолжал:

— Все это я знаю. Знаю и то, что уголь иаучатся перерабатывать под землей. Даже очень скоро научатся! Но возьмите то, что сделано химиками в области угля. Оио же сделано потому, что большие умы, гении, открыли новые законы, установили механизмы и законы химических реакций, научились получать тела заданных свойств и структуры. Чистая наука, так? Так кто же будет двигать ее, если новые кадры разбросаны по переулкам?

— А чистой науки нет! — сказал Русаковский и зачем-то положил свою большую ладонь поверх пальчиков Татьяны Николаевны.— Есть теоретическая мысль, основанная на теоретических исследованиях, но и они всегда целенаправленны и находят свое подтверждение в практике. Химия родилась из первобытного костра и первых превращений, открытых с помощью огня. Веками человек бился над познанием вещества. Теперь настала эра его покорения. С феномеиальиой быстротой идет покорение, овладение, превращение одних веществ в другие, создание синтетических и искусственных веществ!

Оборвав свою речь, Русаковский похлопал ладонью скучающие пальчики жены и ласково предложил:

— Может, пойдешь спать, Танюша? У тебя усталый вид.

Палька удивленно пригляделся — да, ее лицо потускиело, веки тяжело опускаются... Но Татьяна Николаевиа встрепенулась, распахнула глаза, сделала милую гримаску:

— Поиеволе заскучаешь! Неужели вам за целый день не надоест ваша царица наук?

Она не скрывала досады. Лукавая затея — свести поклоииика с мужем — обернулась против нее. Как двое одержимых, они говорят о превращениях веществ и, конечно, о веке химии! Татьяна Николаевна давно привыкла к тому, что живет в веке химии, но сильно подозревала, что физики считают его веком

физики, а электрики, еще более узко,— веком электричества.

— Я бы предпочла жить в век рыцарства,— открыто зевнув, сказала она.— Женщине тогда было много веселей.

— Ничего подобного! — с улыбкой возразил Русаковский.— Я бы все равно разыскал тебя и женился, а в те времена я бы стал, конечно, алхимиком и сутками напролет пытался получить золото из разных сплавов, болтал о философском камне и трех элементах.

— Но меня мог бы похитить рыцарь, предпочитающий турниры и любовь!

— Деточка, рыцари никогда не мылись, и от них пахло лошадиным потом. Вряд ли тебе понравилось бы.

Оставив свою ладонь на руке Татьяны Николаевны, Русаковский сам вернулся к прерванному разговору:

— Вы правы только в том, Павел Кириллович, что в отраслевых институтах есть опасность измельчания исследований, ослабления теоретической мысли...

Пальке мешала рука профессора, которая легонько поглаживала руку ненаглядной. Мешали и слова о рыцаре, предпочитающем любовь. «Похитить»... легко сказать! И может ли быть, что это — намек?..

— Но такая опасность,— продолжал профессор,— может подстеречь и академика-теоретика, и целый коллектив, если там захиреет страсть познания и расцветет спекулятивный дух.

Палька вскинулся:

— Что вы имеете в виду?

— Немедленный результат и стремление к нему во что бы то ни стало.

— Позвольте... Поиски немедленного результата вы называете спекуляцией?

Это было непосредственно важно, это ранило Пальку в самое сердце.

— Конечно! — убежденно подтвердил Русаковский.— Ажиотаж осуществления не должен вторгаться в естественную медлительность научного исследования.

— По-вашему... осуществление не дело ученого?

— Разумеется! Наука открывает практике перспективу и дает направление, и сама идет дальше по пути познания.

— А если я что-то новое открыл, я все это брошу и займусь другим, и пусть осуществляют без меня?

Русаковский снисходительно улыбнулся, отпустил пальчики жены и сделал такое движение, будто собирался встать, заканчивая разговор. Но не встал, а шутливо спросил:

— Да что же это за таинственное открытие? Татьяна Николаевна уже стала вашей союзницей... Я заинтригован!

До сих пор Палька оберегал свой секрет даже от друзей. Но слова Русаковского о спекулятивном духе рассердили его, и он раздраженно выпалил:

— Подземная газификация угля — вот что! Вещь, которая перевернет всю промышленность, всю технику!

— А-а! — с улыбкой протянул Русаковский.— Во всяком случае, это один из перспективных аспектов использования угля. Я слышал, что такая задача поставлена и пока не решена. Или это уже запоздалые сведения? Открытие состоялось?

Краснея, Палька поспешно пояснил:

— Никакого открытия еще нет. Думаю. Ищу. Задача трудная.

Русаковский серьезно кивнул и поднялся.

Палька вскочил, поняв обидный сигнал.

Ненаглядная спокойно сидела за столом, лениво бросив на скатерть свои холеные руки.

— Что ж, желаю успеха,— вежливо сказал профессор.— Для химика это интересная задача.

И он отпустил Пальку, как отпускал аспирантов и студентов, когда больше не о чем говорить с ними.

Палька выбежал из гостиницы и привычно поглядел снизу на светящиеся окна номера люкс, на колыхнувшуюся штору, по которой прошла женская тень. Он был благодарен ненаглядной за этот вечер, начавшийся так оскорбительно. Он отмахнулся и от снисходительной профессорской усмешки, и от простого способа, каким профессор выпроводил его. Он был переполнен мыслями, рожденными беседой. Чистой науки нет?.. И в то же время поиск немедлен-

ного результата — спекуляция? Эра покорения вещества... Царица наук... И «ажиотаж осуществления не должен вторгаться в естественную медлительность научного исследования»?..

Над всем этим звучала одна веская фраза: «Для химика это интересная задача».

Для химика.

Не для горняка, не для специалиста по газогенераторам, не для механика... для химика!

Сунув руки в карманы, он размашисто зашагал вдоль трамвайных рельсов, отдыхающих до утра.

Из темноты выплыли терриконы, сросшиеся, как вершины Эльбруса,— сейчас они были совсем черны, только местами розовато тлели угли, подсвечивая дымок.

Грозными дымами и полыханием отсветов открылся Коксохим.

Рядами освещенных окон определились корпуса Азотнотукового.

Ни одного огонька в домах. Добрые люди давно спят. Или работают в ночной.

Для химика...

Конечно же для химика! Как я не понимал раньше? Именно и только для химика!

У него было такое чувство, будто он долго плутал в потемках, а его вывели на свет, в таинственный и ясный мир химических реакций и превращений, где ему предназначено найти и показать людям еще одно простое и только в первые мгновения удивительное чудо.

Придвинув лампу к кровати, Олег Владимирович перелистывал одну из аспирантских работ, а Татьяна Николаевна расчесывала перед зеркалом свои длинные, упругие волосы.

— Даже в волосах угольная пыль,— недовольно сказала она, отряхивая гребень.— Неужели мы и август просидим в этой дыре?

— Ты же знаешь, Танюша, я не люблю ввязываться в практические дела. Но после этой аварии я просто не мог отказаться. И в наркомате просили...

— У Светова там погиб лучший друг.

Содрогаясь, она вспомнила черные недра шахты и ужас, который испытала, представив себе, что

страшная тяжесть земной толщи нависает над ее головой. Потом, уже с улыбкой, припомнила хитрость Светова и обиду Липатова... Поиски Гали и беготню по степи, и неожиданный поцелуй... И свое лукавое обещание «завтра в девять»... Кто мог думать, что Светов так быстро оправится от смущения, вцепится в ее мужа и затеет длиннющий спор! Нет, перед Световым она не чувствовала себя виноватой. А перед Олегом? Когда-то давно она сказала мужу: «Ну да, я кокетка! Но ты же знаешь, это никогда не перейдет...» С тех пор она проверяла себя: перешло или не перешло? Если совесть подсказывала, что «перешло», был один способ освободиться от чувства виноватости — признаться хотя бы наполовину.

— Как он тебе понравился?

— Славный парень. Задира. Из таких часто вырабатываются неплохие работники. Но ты с ним кокетничаешь, рыжок! Знаешь ты это... или невзначай?

Она подвинулась, чтобы в зеркале увидеть мужа. Конечно, ласково и насмешливо улыбается. В первые годы замужества эта улыбка обижала ее — не ревнует! Потом она не то чтобы примирилась, но поняла, что с этой нежной снисходительностью, полной доверия, ей уютно и удобно жить.

— Кажется, знаю,— протянула она.— Мне он нравится — такой самоуверенный заносчивый воробышек. Перышки дыбом.

Она в зеркало шаловливо улыбнулась мужу и продолжала признаваться его отражению:

— Тут как-то Галя пропала из дому, он мне помог найти ее. В степи, с мальчишками... вся утыканная ветками, ползет на животе в разведку! Я даже рассердиться не сумела, такой смешной у нее вид был. А Светов — знаешь, он ужасно увлечен своей подземной газификацией! Представь себе: встречаю его в степи, он кидается ко мне, будто мы с ним родные, хватает меня за плечи, целует, бормочет сумасшедшую чушь про какого-то Кузьмича и ребенка какой-то Катерины, про станции с кафельными полами... Я перепугалась, думала — он пьян. А он, оказывается, прочитал статью Ленина об этой газификации и в такой восторг пришел — переворот! Техническая революция! Угольной пыли не будет, дыма не будет! И все сделаю

я!.. Как ты думаешь, Олешек, может у него что-нибудь выйти?

— Этого никогда нельзя сказать заранее.

— Очень хочется, чтоб ему удалось.

Татьяна Николаевна тряхнула волосами и начала заплетать их. Неприятное ощущение, что ее кокетство перешло за допустимую черту, исчезло. Признание в том, что Светов поцеловал ее, проскочило незаметно. Отражение мужа в зеркале было все таким же спокойным. О-о, да он продолжает одним глазом просматривать аспирантскую работу!

Скользнув в постель, Татьяна Николаевна протянула руку через узкий промежуток между кроватями и прикрыла рукопись:

— Спать пора, профессор! Ты же опять вскочишь ни свет ни заря!

— Этот аспирант назначен на завтра, — сказал Олег Владимирович, снова раскрывая рукопись.— Я недолго...

— Так отмени на послезавтра! Нельзя же так изматываться.

Это говорилось по привычке — Татьяна Николаевна отлично знала, что рукопись он дочитает, консультацию не отменит и жить иначе не сумеет, даже если захочет. Устроившись поудобнее, она смежила веки и улыбнулась. Шорох переворачиваемых страниц не мешал ей, а убаюкивал.

— Танюша!

— Да-а?

— Может быть, тебе все-таки поехать с Галинкой в Сухум, не дождаясь меня? Я закончу и приеду.

— Интересно, что ты будешь делать без меня? Пропадать?

— Пропадать.

Теперь стало совсем хорошо. Она с ним, его верная, заботливая помощница, он без нее не может, она жертвует ради него отдыхом в Сухуме, морским воздухом, морем... А потом мы поедем все вместе... Расстроится Светов, когда узнает, что я уехала?.. Галинке нужно вернуться в Москву к началу школьных занятий. Или написать в школу и запоздать на месяц? Ох, как это будет хорошо — жара и свежесть моря... Полежать на солнце, а потом — в воду! Сперва кажет-

ся холодной, стонишь, не решаешься, а потом — раз! Кинулась прямо в волну, а она теплая-претеплая, плывешь и не замечаешь, как плывешь,— лежишь на волне, а она покачивает... покачивает... покачивает...

18

Проект Катенина был готов. Пояснительная записка внушала самому неквалифицированному читателю представление о важности проекта — цитаты из статьи Ленина открывали и закрывали каждый ее раздел. Зерном проекта был «метод взрывов», он был изложен вдохновенно, тут Всеволод Сергеевич дал волю чувству — пусть и другие увлекутся красотой великолепного технического решения!

Горя нетерпением, он позвонил Арону.

— Все готово! — кричал он излишне громко.— Придумал девиз — «Дружба!» Понимаешь, Арон? Что делать — везти самому или высылать почтой?

— Никакого девиза не нужно,— вполголоса ответил Арон, и Катенин будто увидел обычную ироническую усмешку друга.— Высылай надежной оказией. Не на конкурс, а прямо в комиссию. Я предупрежу и обеспечу внимание. Бери карандаш и записывай адрес...

Чертежи и документы паковали в дорогу всей семьей в картон и кальку. Надежной оказией был почтенный, непьющий сослуживец Катенина, но и ему много раз повторили: не потерять, не помять, вручить немедленно...

Через несколько дней позвонил Арон:

— Дружище, все идет чудесно. Алымов прямо-таки вцепился в твой проект, весь Углегаз взбудоражен. Знаешь, твой метод взрывов — просто здорово!

Неделю спустя пришла телеграмма:

> Просим середине месяца приехать Москву обсуждение проекта тчк телеграфьте выезд забронируем гостиницу тчк Углегаз Олесов Алымов

Майор сбегал за шампанским. Все смотрели, вылетит ли пробка. Пробка вылетела, как снаряд.

— Будет грандиозный успех, вот увидишь! — воскликала Люда.— Я и не знала, папка, что ты у меня такой умный.

Она подняла бокал над головой.

— За грандиозный успех!

— За твою молодость, Сева,— шепнула Екатерина Павловна.

У Катенина и без шампанского кружилась голова. Жизнь начинается сначала, только нет ни безумия молодости, ни ее сил, ни ее обольщений. На пятом десятке прыжок в неизвестность...

Люда играла сумасшедшее попурри из всех известных ей маршей, с импровизированными переходами и вариациями. Это было бесшабашно, но талантливо, веселило и тревожило Катенина: с тех пор как Люда с шумным успехом выступила в гарнизонном клубе, в ее музыкальных занятиях стало меньше ученической старательности, больше показного блеска. С особым рвением Люда отрабатывала броские, выигрышные концовки... под аплодисменты...

— Да, она увлеклась, — признавала Екатерина Павловна.— Но что делать, у нее в натуре много артистизма!

Кончив громоподобным аккордом, Люда заявила, что пора обсудить все дела, связанные с поездкой папки в Москву, и тут же взялась купить новые галстуки и билет... нет, билеты!

— Как хочешь, папунька, я возьму два! Я поеду с тобой! Тебе нужна помощь, забота... Толечка! Папунька! Умоляю — два!

Катенин виновато взглянул на майора. Майор побледнел, покраснел, растерянно развел руками. А Люда ринулась в эти руки, как в объятия, помурлыкала в ухо мужу, потом бросилась к отцу — и вдруг независимо выпрямилась:

— В конце концов я музыкант! Мне необходимо послушать хороших пианистов, побывать в консерватории... Неужели я так и буду прозябать безвыездно в провинции?

Галстуки она купила сама, билеты покупал майор — два билета в международном вагоне.

На вокзале стало очевидно, что Люду совсем не огорчает разлука с мужем, но ни у кого не хватало

духу осудить ее, так непосредственно восхищалась она роскошью отдельного купе, путешествием, переменой...

— Мамочка, умоляю, заботься о Толе! — закричала она, когда поезд тронулся.— Корми его, пожалуйста, у него нет денег, я его вытрясла дочиста!

— Какой ребенок еще! — смущенно сказала Екатерина Павловна и взяла майора под руку.

— Пусть немного развлечется,— печально сказал майор.

А Люда в это время прыгала по купе, пробуя зажигать разные лампочки.

— Боже, как хорошо! Какая я счастливая! И какая умница, что поехала с тобой!

— Твой муж очень добр, Люда, но...

— Он же с мамой остался! — перебила она и подтянулась на руках, чтобы разглядеть устройство верхней полки.— И вообще, папка, не порти мне удовольствие!

В Москве, забросив вещи в гостиницу, они наскоро позавтракали и расстались — Люда пошла смотреть город, а Катенин помчался в заветную комиссию — Углегаз.

Новое учреждение занимало несколько комнат в первом этаже старого, запущенного дома. Оно уже обросло всеми отличиями солидного учреждения — новенькой вывеской у входа, гардеробом, бухгалтерией и бюро машинописи (где пока сидела одна машинистка), диваном в приемной и табличкой «Не курить», на которую никто не обращал внимания. Но от входной двери на посетителя веяло неустановившейся жизнерадостной молодостью — гардеробщица была трогательно приветлива, все охотно объясняли, как пройти к начальнику товарищу Олесову; не было ни скучных лиц, ни безнадежных телефонных звонков.

Немолодая, полная секретарша расторопно раскладывала стопками какие-то бумаги, но сразу оторвалась от своего занятия:

— К Дмитрию Степановичу? Пожалуйста. Как сказать ему?

— Моя фамилия — Катенин.

— Катенин?!

В состоянии взволнованного ожидания, томившем Катенина, все, что произошло после этого возгласа, показалось ему горячим вихрем. И секретарша и еще какие-то люди налетели на него с приветствиями и рукопожатиями, а потом его буквально внесли в дверь кабинета, и за его плечами раздался многоголосый крик:

— Дмитрий Степанович! Встречайте! Приехал!

Лучащийся гостеприимством толстяк засеменил навстречу Катенину, протягивая обе руки. Боковым зрением Катенин видел, что в дверях толпятся люди.

Толстяк в обнимку подвел Катенина к креслу, раскрыл коробку папирос, несколько раз спросил, удобно ли было ехать и хорош ли номер в гостинице. Катенин не успел ответить, потому что толпа от двери все-таки вдавилась в кабинет и окружила его. Толстяк всех представлял и рекомендовал гостю, но Катенин никого не мог ни разглядеть, ни запомнить.

— Пошумели, и хватит,— сказал наконец Олесов,— теперь, товарищи, дайте нам поговорить. Лидия Осиповна, посторожите!

Секретарша засуетилась, поторапливая остальных, спросила Катенина, не принести ли чайку, и плотно прикрыла дверь.

— Итак... Всеволод Сергеевич, правда? Вам приходилось бывать в Москве? Может, хотите машину — поглядеть столицу?..

Как ни был доволен Катенин, тут он почувствовал раздражение.

— Я не за тем приехал, Дмитрий Степанович. В Москве я бывал не раз... Скажите же наконец, что с моим проектом.

Олесов всплеснул руками.

— Разве вы не видите? Ваш приезд — общий праздник!

— У вас много проектов?

— Ваш проект у нас первый,— торжественно сказал Олесов.— Первый и пока единственный!

— Ну и...

— Ему обеспечено самое заинтересованное внимание!

— Ну и...

— Мы привлекаем целую группу авторитетных консультантов. Ваша записка перепечатывается, чтоб можно было разослать ее. Сразу после совещания, я уверен, приступим к опытным работам. Вы к нам надолго?

— Я взял отпуск на неделю. Вы телеграфировали — обсуждение... Я надеялся...

— Так оно и есть! — воскликнул Олесов.— Проект смотрели очень многие, обсуждение, по существу, почти подготовлено...

— Кто именно смотрел?

Олесов назвал несколько фамилий. Некоторые из них были Катенину знакомы понаслышке: профессор Вадецкий, профессор Граб, работники наркомата Бурмин и Стадник... В числе первых был назван Арон Цильштейн как восторженный энтузиаст подземной газификации вообще и данного проекта в частности.

— А что говорят о проекте другие?

— Да ведь двух мнений быть не может, Всеволод Сергеевич! Проект интересен и, по-видимому, удачен. Только не торопите нас, дорогой! Все требует основательности, а новое дело — тем более. Вы пока осмотритесь, отдохните...

— Какие высказывались возражения или сомнения? — гнул свое Катенин.

Всю дорогу он мысленно готовился к сегодняшнему разговору. Ни пылкая встреча, ни общие заверения не устраивали его. Он знал уязвимые места проекта, предчувствовал, что крупные специалисты найдут и другие. Авторское самолюбие было удовлетворено сверх ожидания, мозг инженера требовал внимания к существу дела.

Но именно на это Олесов был неспособен.

После нескольких попыток завести разговор по существу Катенин понял, что перед ним милейший представитель той категории работников, которые осуществляют общее руководство, не вникая в технику дела, но стараясь обеспечить себе проверенных консультантов. Стало ясно, что в проекте Олесов прочитал только пояснительную записку. Постепенно выяснилось и то, что он не очень-то кипучий организатор...

Зато среди сотрудников молодого учреждения Катенин быстро почуял нескольких людей, изучивших

проект и увлеченных им всерьез. Один из энтузиастов, совсем еще молодой инженер, вызвался проводить Катенина до гостиницы.

— Меня зовут Голь, такая дикая фамилия,— сказал он, когда они вышли на улицу.— Федор Федорович Голь. Но вы меня зовите просто Федей, меня все так зовут. Мне страшно повезло — кончил институт и сразу попал сюда. Мы как Робинзоны, правда? И я вам хочу сказать: ни на кого не рассчитывайте, Всеволод Сергеевич, а всего добивайтесь порешительней!

Юноша был так симпатичен, что Катенин решился спросить, что такое Олесов и кто тут вообще главный.

— Алымов! — ответил Федя Голь, блеснув глазами.— Он помчался в Донбасс — знаете зачем? Добывать участок угольного пласта для опытных работ! Ах, какой человек! Будь он сегодня на месте, все завертелось бы.

— Он кто, главный инженер?

— Он заместитель Олесова. И даже не инженер. Как ни странно, он работал в наркомате на проверке писем трудящихся... что-то в этом роде. Ему попалось письмо кавалеристов,— вы ведь слыхали, что именно кавалеристы первыми напомнили о статье Ленина?.. Он увлекся, загорелся, сам добился этой комиссии и пошел сюда работать.

— А кто по специальности Олесов?

— Славный дядька,— хмыкнув, ответил Федя и покраснел.— Вы не думайте, я не смеюсь, он именно славный дядька. Впрочем, по специальности горняк. В наркомате был помзавом или замзавом чего-то.

— Я, кажется, не познакомился с главным инженером?..

— А его и не было,— морщась, сообщил Федя.— Назначен Колокольников, из НИИ. Этакий академический барин.

— Кто же в комиссии знающие люди?

Федя расхохотался.

— Вы один! Откуда знающие люди в деле, которого еще нет!

У входа в гостиницу он придержал Катенина за рукав.

— Я с корыстной целью провожать пошел. Вам пока все равно кого... а я вас не подведу! Шахты я знаю, газогенераторные процессы изучил, сейчас изучаю взрывное дело... Всеволод Сергеевич, возьмите меня на опытные работы!

— Вы уверены, что они начнутся скоро?

— Конечно!

Ясная вера Феди Голь окончательно утешила Катенина.

Но в последующие дни утешительного было мало. Повидать Арона не удалось, дома он почти не бывал, его жена приглушенным голосом сказала, что он очень занят в связи с проверкой партдокументов. Помолчав, она еще тише сказала: «У Арона неприятности, вы понимаете?» Катенин знал, конечно, что после убийства Кирова идет проверка рядов партии, что поставлена задача очистить партию от разных оппозиционеров и замаскированных врагов, что в связи с проверкой начались исключения и даже аресты... Но какое это могло иметь отношение к Арону?

Как бы там ни было, поддержка Арона отпала.

Катенин уходил в Углегаз с утра, как на службу. Его встречали радушно, но перепечатка проекта затягивалась, готовые экземпляры понемногу отсылались авторитетным людям, а те неохотно соглашались «между делом» просмотреть их.

Стараясь успокоить нетерпеливого автора, Олесов несколько раз доставал для него машину из наркомата, и Катенин катал Люду по Москве. Люда огорчалась, что почти все театры закрыты, но все-таки накупила билетов на разные спектакли и на два концерта. Однажды, устав от безделья и разочарований, Катенин отказался идти в театр и дал ей в спутники Федю Голь. Потом заволновался: не вздумает ли она кружить голову Феде? Но Люда насмешливо фыркнула:

— Это же детский сад! Щенок с висячими ушами!

И показала, какие бывают у щенят висячие уши.

Мужу она посылала открытки с видами столицы, отца старалась развлечь, а сама откровенно радовалась, что их пребывание в Москве затягивается.

Катенин с надеждой ждал концерта Софроницкого — Люда услышит одного из лучших пианистов страны и потянется к серьезной работе...

— А что мне надеть? — спросила Люда после обеда и начала перебирать платья.— Ой, папка, я надену вот это!

Она переоделась за дверцей шкафа и вышла в длинном вечернем платье, которое «на всякий случай» прихватила с собой.

— Оно слишком бальное, Люда, ты не находишь?

— Пустяки, папа. Оно такое чудное! Мне идет, да?

Она крутилась перед отцом, сияя от радости.

В дверь громко постучали, и сразу кто-то нетерпеливо задергал ручку. Люда открыла дверь и отпрянула: не замечая ее, в комнату ворвался очень высокий, худой человек с маленькими сверкающими глазками, устремленными на Катенина. Этот человек шел прямо к Катенину, как завороженный, — он, наверное, столкнул бы Люду с дороги, если бы она сама не отскочила.

— Всеволод Сергеевич Катенин! — провозгласил он и с ходу схватил Катенина своими длинными руками, но не привлек к себе, а отстранил, чтобы разглядеть получше.—Всеволод Сергеевич Катенин!— упоенно повторил он.— Я Алымов.

После долгих рукопожатий он дал усадить себя и закурил, но все это — не сводя с Катенина влюбленного взгляда маленьких глаз, сверкающих из-под набрякших век. Узкое, худое лицо его было некрасиво и странно не соответствовало восторженной, энергической речи.

— Понимаете, уехал на неделю, а тут сразу все завалили! — говорил он, размахивая руками.— Это я послал вам телеграмму, я велел, чтобы в два дня все было перепечатано и разослано и чтоб все прочли быстро. А они, конечно, печатают вразвалочку: сверхурочных испугались! И со спецами всякие церемонии — «пожалуйста» да «будьте любезны»! Воображаю, как вы разозлились! Я уже разгромил все учреждение, говорил со всеми спецами. Заседание будет послезавтра утром!

Люда подошла поближе, смущенная тем, что о ней забыли. Алымов уткнулся в нее тем же сверкающим взглядом и несколько секунд молча разглядывал ее, не понимая, откуда тут взялась молоденькая женщина в слишком нарядном платье.

— Моя дочь Людмила.

Алымов вскочил и долго тряс ее руку, но Люда отлично видела, что он смотрит сквозь нее, как сквозь стекло, что для него сейчас существует только Катенин.

И действительно, выполнив долг вежливости, Алымов сразу вернулся к тому, что его занимало:

— Проект ваш просто замечательный! Я не специалист, но я заставил мне все объяснить, и, по-моему, это превосходно! А вот насчет организации опытов я хотел вас спросить...

И начался разговор, в котором Люда не могла участвовать. Но ей было интересно слушать напористый голос Алымова и рассматривать его некрасивое, худое, нервное лицо. Она с удовольствием представляла себе, как этот неуемный человек «громил учреждение» ради проекта ее отца. Проект попал в надежные руки — вот они, эти руки, длинные, сильные, с нервными пальцами,— пальцы барабанят по столу, теребят папиросу, соединяются и разъединяются, их концы желтоваты от табака.

Катенин тоже приглядывался к человеку, сидевшему в такой стремительной позе, будто вот-вот вскочит и куда-то помчится. Его немного коробило от громкого голоса этого человека, от пренебрежительного слова «спецы», которым Алымов называл почтенных ученых, — Катенин сам был «спецом», только менее авторитетным. Если бы я его встретил независимо от моего проекта, думал Катенин, я бы сказал, что он мне не нравится, в нем есть что-то неограненное. Как обманчиво внешнее впечатление! Ведь вот и Федя Голь и Арон считают его душой всего дела. Так оно и есть. Он даже не инженер. Но именно он влюблен в эту идею, именно он осуществит мой проект: разгромит все преграды, растормошит всех спецов... и осуществит!

— Знаете, сейчас я впервые поверил, что мой проект будет реализован! — взволнованно признался Катенин.

Люда решила, что пора выступить на сцену самой.

— Папа, я закажу чаю.

— Вот за это спасибо! — воскликнул Алымов.— Я столько сегодня кричал, аж в горле пересохло!

Он грубовато и самодовольно захохотал. Катенин подумал, что напористая грубость Алымова — защитное средство от пренебрежения более знающих, но менее активных людей.

— Мы сегодня идем на концерт, — снова вступила в разговор Люда.— Как жаль, что мы не знали!.. Мы бы вас пригласили с собой.

Алымов снова посмотрел на нее, на этот раз именно на нее, как таковую, — хорошенькую, слишком нарядную женщину.

— А я поеду с вами. Неужто не найдем одного билета?

— На Софроницкого? Я в день приезда еле-еле купила.— Она многозначительно поглядела на отца.— Прямо не знаю, как быть.

Катенин равнодушно отвернулся.

— Почему ты не предложил ему свой билет? — сердитым шепотом спросила Люда, когда они расстались с Алымовым у консерватории, так и не достав третьего билета.

— Да ты что, Люда? С какой стати?

— Феде отдал, а тут пожалел? Он так относится к тебе... И от него ведь все зависит, папа!

— Так ты обо мне хлопочешь?

Они вошли в зал, недовольные друг другом. Но уже через минуту праздничная атмосфера зала подчинила обоих. Катенин с облегчением заметил, что Люду рассматривают не потому, что она чересчур нарядна, а потому, что хороша. Люда тоже заметила это.

— Гляди орлом, папка! Все думают, что ты мой супруг!

Двери закрылись. Над сценой дали полный свет. Стихли голоса. Где-то слева возникли рукоплескания, их подхватили во всем зале, и Катенин увидел высокого тонкого молодого человека, который вышел из-за тяжелой занавеси и скованными шагами, потупясь, заспешил через сцену к открытому роялю.

Пианист сел, подвигался, устраиваясь удобно, потер пальцы и опустил руки на колени. Исподлобья покосился на ряды слушателей, откуда доносились сдерживаемые покашливания и шепотки. Катенин тоже покосился с возмущением на тех, кто нарушал

тишину, но в это время раздался ясный, сильный звук — руки пианиста коснулись клавиш.

«Какой чудесный инструмент рояль»,— подумал Катенин, как будто он впервые слышал звуки рояля.

Софроницкий играл сонату, хорошо известную Катенину,— Люда выступала с нею в дивизионном клубе. Но разве это та самая соната? Катенин и не догадывался, что она содержит в себе такое богатство звуков, такую прозрачную чистоту и такую глубокую, страстную силу. Катенин узнавал каждую фразу, каждый звук — и в то же время слушал словно впервые. Знакомое сочетание звуков открывалось по-новому.

Он оглянулся на дочь. Ее пальцы слегка двигались; Катенин понял, что Люда мысленно играет. «Как хорошо, что она тут! — подумал он. — Ей это так важно! Может быть, наша поездка решит не только мою, но и ее судьбу».

Мысли о дочери не мешали ему слушать — нет, он слушал за двоих и за двоих решал, что только так и стоит играть, только это и есть искусство. Техника у Софроницкого безукоризненна, но ее как бы вовсе не существует, настолько она освобождает его от трудностей исполнения, позволяя раскрыть самую душу произведения. Иногда он наклоняется над клавишами и даже шепчет что-то, будто выманивая звуки, но чаще устремляет взгляд куда-то вверх и вбок, на что-то невидимое публике, словно сверяясь, соответствует ли то, что выходит из-под его пальцев, тому прекрасному, что ему дано увидеть и понять. Пусть то, что он играет, было когда-то создано другим человеком — он поет по-своему, это — его создание, его мир. И он открывает свой мир всем, кто умеет слушать: вот он, богатый, чистый, тревожный, неповторимый мир звуков, войдите в него, приобщитесь к волшебству.

Катенин вошел в этот мир целиком. Он удивился бы, если б понял, что не только слушает, но и продолжает жить, то есть думает о своем. Но он продолжал жить, чище, горячей и напряженней, чем обычно, потому что подлинное искусство никогда не уводит от жизни, а пробуждает в душе человеческой лучшее, что в ней заложено. Все мелочи существования, все повседневные помыслы и расчеты улетучились. Огром-

ным стало то, что Катенин долгое время не понимал и открыл совсем недавно,— творчество. Может быть, оттого, что он знал: человек, написавший эту потрясающую музыку, был несчастлив и пробивался через горе утрат, через чудовищную для музыканта глухоту, через все бедствия одиночества и нищеты к великолепному счастью творчества,— может быть, именно поэтому Катенин не поверил сейчас надеждам, разгоревшимся во время встречи с Алымовым. Он увидел: впереди борьба, разочарования, поиски, удары, и если успех, то выстраданный, нелегкий,— но ощутил себя ко всему готовым, свободным от корысти и честолюбия. «Как хорошо,— думал он,— как удивительно хорошо, что это счастье пришло ко мне!»

Последний звук долго-долго трепетал в полной тишине. Обычные человеческие рукоплескания разрушили волшебство.

— Да хлопай же, папка, ну как тебе не стыдно!

Раскрасневшаяся, веселая (почему веселая?!), Люда изо всех сил хлопала в ладоши, устремив навстречу пианисту немигающий, ждущий взгляд.

— Людмила, перестань! — строго сказал Катенин и взял ее под руку.— Пойдем!

— Как он хорош, папа! — прошептала она возбужденно.

— Он больше не выйдет, пойдем.

— Какая у него техника, папа! Ты помнишь, как он сыграл это место?..— Она напела фразу, проведя в воздухе, как по клавишам, быстрыми пальцами.

— Тебе захотелось играть? — с пробудившейся нежностью спросил он.— Играть вот так, как он?

— Ой, куда мне! Но знаешь, папка...— Она прижалась к плечу отца, таинственно улыбаясь.— Если сказать правду... больше всего мне хочется пойти к нему!

— К нему? Зачем?

— Ах, боже мой, это нетрудно объяснить. Я пианистка, приехала в Москву совершенствоваться, мне понравилась его трактовка... да мало ли что!

— Ты с ума сошла!

— Не ворчи, папунька, не становись скучным! Я не девочка. И потом у нас, музыкантов, все это проще. Я уверена, он будет только рад. Он такой милый!

— Ну, ладио.— Виутреиие сжавшись, ои покорио протискивался за иею к буфету.— Что ты будешь пить, лимоиад?

Как только стал известеи деиь и час заседаиия, Катеиии иачал готовиться к схваткам с возможиыми оппоиеитами. Разговор с Ароиом мог бы успокоить его, ио Ароиу, видимо, было ие до чужих волиеиий. Ои сам заехал в гостиницу, как всегда, бодрый и оживлеиный, ио иа этот раз бодрость была иервозиой, оживлеиие искусствеиным. Арои пошутил с Людой, сослался иа сумасшедшую загрузку и через иесколько мииут уехал. Катеини вышел проводить его в коридор гостииицы.

— Арои, у тебя иеприятиости?

— Ты Блока помиишь? — вместо ответа спросил Арои.— «И вечный бой. Покой иам только сиится». Вот это оио и есть.

— Что-иибудь серьезиое?

Арои молчал, поглядывая иа Катеиииа сквозь прищурениые ресиицы.

— Я, коиечно, беспартнйиый. И, может быть, ие имею права...

— Ты за событиями в Испаиии следишь? Пятая колоииа — слыхал, что это такое? Притаилась и гадит исподтишка. Ты спрашиваешь, серьезиое ли. Само время очеиь серьезиое. Фашнзм прет иапролом и ползет по-змеииому. Кто может поручнться, что и у иас не действуют агеиты пятой колоииы?

— Но...

— А вот это «но» приходится иногда доказывать. И бывает всего труднее доказать, что ты ие верблюд.

— Я только ие поиимаю, как в отношеиии таких, как ты...

Арои иевесело усмехиулся.

— Я бы тоже хотел все поиимать.— И, взбодрившись: — Ну, до скорого! Не дрейфь! Все покатится как по маслу.

В иазиаченный час иикого еще ие было, кроме главиого иижеиера Колокольннкова — представнтельиого мужчииы в каких-то иеобычиых очках с очень толстой оправой. Колокольииков сразу предупреднл, что иачииает работать с поиедельиика и только тогда

сумеет ознакомиться с проектом, «что, впрочем, не беда, так как изучили его весьма авторитетные специалисты!».

Авторитетные специалисты съезжались медленно. Празднично сияющий Олесов встречал их у дверей и вел прямо к стендам.

— Прошу познакомиться с чертежами.

Когда консультанты, проходя вдоль стендов, переговаривались между собой о посторонних делах, Катенин холодел и терял надежду. Когда кто-нибудь из них задерживался и начинал рассматривать чертежи, Катенина бросало в жар. Все казались очень важными и не обращали никакого внимания на автора проекта. Арона не было. Главный энтузиаст Алымов куда-то исчез.

Но вот появился Арон — свежевыбритый, благоухающий одеколоном, улыбчивый. Если присмотреться, можно было заметить, что он осунулся и несколько взвинчен, но гораздо заметнее было то, что с его приходом чинная скука ожидания кончилась. Арон был со всеми знаком и как будто со всеми дружен, он умело втянул Катенина в общую беседу.

— Сейчас мы за вас ка-ак примемся, изобретатель! — шутливо посулил Арон, и все заулыбались.

Так они и расселись вокруг длинного стола — с улыбками на лицах. Только два человека не поддались воздействию Арона: маленький седеющий профессор Вадецкий, который заносчиво вскидывал голову на тонкой шее, подпертой тугим, накрахмаленным воротничком, да массивный, угрюмый работник наркомата Бурмин, которого Федя Голь почтительным шепотом определил: «Мамонт». Про Вадецкого тот же Федя шепнул: «Злыдня». К удивлению Катенина, Федя окрестил «Глазетовым гробом» изысканно-вежливого профессора Граба, успевшего пленить Всеволода Сергеевича приветливыми улыбками и полным отсутствием важности,— а ведь Граб был крупнейшим ученым, перед ним заискивал и Вадецкий.

В последнюю минуту (Олесов уже начал вступительную речь) в кабинет быстрыми, энергичными шажками вошел немолодой сухощавый человечек с примечательными глазами, которые сверкали как бы

впереди него, подобно фарам, оповещающим о приближении автомобиля.

— Стадник пришел! — обрадованно шепнул Федя.

Катенин помнил, что Стадник — один из ответственных работников наркомата, но не знал, почему его приход так важен. Стадник не сел к столу, а направился к стендам и начал изучать чертежи один за другим, то кивая головой, то непонятно морщась и выпячивая узкие губы.

Поздравив собравшихся с обсуждением первого проекта, Олесов спросил, хотят ли члены комиссии выслушать доклад.

— Зачем? — быстро откликнулся профессор Граб и глянул на часы.— Было бы экономней прямо приступить к обсуждению.

Катенин собирался возразить, но члены комиссии поддержали Граба, и Всеволод Сергеевич с тоской сообразил, что долгожданное заседание, которое было для него судьбой, для остальных всего лишь одно из многих заседаний. Вероятно, они относятся к проблеме подземной газификации угля с интересом, иначе зачем бы им входить в комиссию! — но у каждого в его научной деятельности встречается немало интересных проблем, гораздо более близких...

— Суть ясна,— добавил Граб.— Я проект просмотрел. Считаю его интересным.

Все ждали, что последует продолжение, но «Глазетовый гроб», обаятельно улыбнувшись Катенину, вынул из портфеля пачку бумаг и углубился в чтение.

Арон сжато, не вдаваясь в подробности, оценил достоинства проекта, подчеркнув оригинальность «метода взрывов».

— Теперь дело за испытаниями в природных условиях!

Катенину задали несколько второстепенных вопросов, но подробно ответить ему не удалось.

— Понятно же! — сказал Граб и снова зашелестел бумагами.

Затем дверь распахнулась от толчка, и Алымов, непривычно согнувшись, ввел под руку крупного старца с патриаршей бородой. Старец прошел к дивану, стуча массивной палкой, вытер платком лицо и сказал неожиданно высоким голосом:

— Извините, запоздал. И вовсе не мог, да вот Константин Павлович выкрал меня и увез, аки полонянку.

Это был академик Лахтин, одно из светил, в чьем сиянии тускнеют даже такие звезды, как профессор Граб; тот, не долистав, поспешно сунул бумаги обратно в портфель.

Выступавший в это время Вадецкий замер на полуслове. Лахтин уселся на диване и, отдуваясь, прикрыл тяжелыми веками свои голубые смешливые глаза. Вадецкий торопливо закончил речь, избегая четких определений. Катенин с трудом уловил, что Вадецкий «мало верит» в возможность подземной газификации угля, хотя и признает необходимость попыток в этом направлении, что он приветствует удачный замысел проекта, хотя и не уверен в «конечной результативности».

Стадник оторвался от чертежей и вперил в лицо Вадецкого свои глаза-фары:

— Можно просить вас уточнить свое мнение специалиста относительно данного проекта?

Академик Лахтин отчетливо хмыкнул, не поднимая век.

Вадецкий слегка покраснел, но ответил благодушно:

— Вы прослушали, Арсений Львович, я с самого начала присоединил свой голос к положительной оценке Андрея Андреевича и Арона Борисовича. Желательно провести испытания.

Стадник кивнул головой, взглядом нашел Катенина и произнес задумчиво, как бы адресуясь к нему одному:

— Да, да, конечно. Нужны испытания. Нужно *начать*. Но...— И в упор: — Товарищ Катенин, неужели никак нельзя обойтись без подземных работ?

Профессор Граб досадливо пожал плечами.

— Я пробовал,— сказал Катенин, вставая.— Мне удалось свести подземный труд шахтеров до минимума...

Он сделал шаг к стендам, чтобы пояснить на чертежах, как пойдет процесс, но его остановил голос профессора Граба:

— Да ведь понятно!

Вадецкнй, обернувшнсь к академику и сохраияя иа лице вопрошающее выражеиие, сказал тем не меиее вполие убеждеиио:

— Проект потому и хорош, что ие выходнт за рамки возможиого. Расчеты на полиую ликвидацию подземиого труда пока совершеино беспочвеииы.

«Мамоит» Бурмии перекрыл его голос веселым басом:

— Шахтеры под землю идтн не боятся, был бы уголек!

Стадиик так стремнтельио обернулся к иему, что Катеиниу показалось — сейчас ои бросится на Бурмииа.

— Шахтеры н обушком уголь рубалн,— быстро сказал он.— Одиако мы с вамн предпочитаем врубовую машнну и мечтаем о горном комбайне! Если брать задачу подземиой газифнкации во всем объеме, как брал ее Владимир Ильнч Леиии, то конечиая цель — ликвидация подземиого труда людей. Это не только техиическая, ио н гумаиистическая задача — избавить людей от самого тяжелого н опасиого труда!

Стадинк помолчал, вздохиул н задал новый вопрос:

— Товарнщ Катенни, я, может, не понимаю, но скажите: иеужели иельзя, *никак* нельзя обойтись без предварительиого дробления угля?

Катеинн поимал, что Стадник заметил уязвимые места проекта, н готов был отвечать откровенио, чтобы вызвать наконец большой разговор по существу дела, одиако Колокольииков поднял ладоиь, удерживая Катеиина, н мягко сказал Стадннку:

— Вы не совсем зиакомы с вопросом, Арсенний Львович. Коиечно, иельзя. Достаточио озиакомиться с обычиым газогенератором...

— Но у Ленниа иапнсано, что уголь газифнцируется в пластах,— иапоминл Стадннк.

— В мечте Рамсея! — броснл Вадецкий.— В мечте, которая ие осуществилась.

Необычно смириый Алымов, сндевшнй, как часовой, возле дремлющего академика, впервые подал голос:

— Я думаю, иикакие разговоры не заменят реального опыта. Проект ценный, надо испытывать.— По-

началу тихий, его голос вдруг окреп, в нем зазвучали громовые раскаты: — Не понимаю побуждений тех, кто пытается притормозить его принятие к проверке!

«Мамонт» Бурмин всем корпусом тяжело повернулся к нему и сразу так же тяжело отвернулся. Стадник сжал губы в узкую, гневную полоску. Глазафары уткнулись в Алымова, чтоб испепелить его.

Но в эту минуту академик Лахтин закряхтел и поднялся, грузно наваливаясь на палку.

— Хочу сказать к сведению моих коллег,— с язвительной усмешечкой начал он.— Идея, которою увлекся мой английский друг Уильям Рамсей, почитавший себя учеником и последователем Дмитрия Ивановича Менделеева,— идея эта поистине величественна и принадлежит самому Дмитрию Ивановичу, что, без сомнения, легко вспомнят мои коллеги, знающие труды нашего великого соотечественника. И еще я хочу сказать...

Он запнулся и покраснел. Всем стало неловко: старик явно забыл свою мысль.

— Менделеев? Очень интересно! — воскликнул Алымов и кинул в сторону Феди Голь: — Сегодня же разыскать.

— Да, Менделеев! — повторил академик и укоризненно ткнул пальцем в сторону Феди.— Стыдно, молодой человек! Нужно знать самому, а не дожидаться, пока старики напомнят произведения, коим следует считаться общеизвестными!

Отчитав таким деликатным образом всех присутствующих, Лахтин развеселился и вспомнил ускользнувшую мысль:

— Наш уважаемый автор — простите, запамятовал фамилию! — создал первый проект. И молодец! Для чего же собирать такой синклит? Опыты ставить надо! Работать надо! А я пообедать не успеваю,— тем же требовательным тоном добавил он,— с комиссии на комиссию. Фигаро здесь, Фигаро там...

Он повторил последние слова уже в дверях, почти выпевая их высоким старческим голосом.

С минуту все смущенно улыбались, потом «мамонт» пробасил, что пора «подводить черту», а профессор Граб небрежно сказал, беря под мышку портфель:

— Осталось сформулнровать.

Алымов энергично диктовал решенне, размахнвая кулаком над головою секретарши. Лидня Оснповиа записывала такой скорописью, что перо подпрыгнвало в ее руке. Катеннн улавлнвал главное: «Одобрнть», «Испытаине в прнродных условиях», «Развернуть»... Как стихи, прозвучалн сухне слова: «Смета иа опытиые работы», «Открыть фннаисированне»...

А затем Катенина поздравлялн, как именнннка, и Арон потяиул всех обедать в ресторан. Отказались только профессор Граб, торопнвшнйся на коллегию, да «мамонт» Бурмин. По телефону вызвали в ресторан Люду. Пнровали долго н весело. Вадецкнй превратился в приятнейшего застольиого оратора н ухаживал за Людой, Алымов азартно пнл и шумел на весь зал, а Стадик подсел к Катенину н, обнимая его, говорнл ему в самое ухо:

— Я эту мечту люблю! Для меия она живая, поиимаешь? Тормознт не тот, кто ищет совершенства, а тот, кто сразу кричит «ура». Я хочу ее увндеть, понимаешь?

Охмелевшнй Катеиин соглашался и тверднл свое:

— А я-то готовился драться! Драться!

Было уже поздно, когда Алымов отвез Катеннных в гостниицу и на прощаиие, разом протрезвев, властио сказал:

— С утра примем меры, чтоб вас отпустили к иам иасовсем. Послезавтра едем в Донбасс.

Отоспавшнсь, Катеиии пришел в Углегаз и узнал, что уже зачислен в штат. Алымов носнлся из наркомата в банк, из баика в Госплан, нз Госплана в Совнарком, и снова в Госплаи, и снова в банк... Иногда он брал с собой Катеиина, ошеломляя его буйной энергней и громкнм голосом.

— Папа, в Доибасс мы едем вместе! — заявила Люда, с восхищеннем иаблюдавшая иеутомимую деятельность Алымова.

Катеннн отрезал с иесвойственной ему властиостью, иавеянной Алымовым:

— Нет. Ты поедешь домой!

— Ну, папка! Это так интересно, я...

— Никакнх разговоров! Сегодня же беру билет н телеграфирую Аиатолию Викторовичу.

Люда рассердилась и расплакалась.

— Когда ты волновался, я была нужна тебе! А когда началось самое интересное, ты меня гонишь!.. Как ты изменился, папа! Ты зазнался. Да, да, ты зазнался от успеха!

Он страдал, видя ее заплаканное лицо, но не сдался.

Люда уехала за час до отъезда отца и Алымова в Донбасс. Алымов провожал ее. Люда понимала, что он это делает ради ее отца: Алымов прямо-таки влюблен в него! Даже тут, на вокзале, Алымов продолжал говорить о каких-то пологих пластах. Но с подножки вагона Люда послала отцу воздушный поцелуй, глядя на Алымова. Алымов засмеялся и тоже послал ей воздушный поцелуй, и это снова был момент, когда Люда почувствовала, что существует для него сама по себе, помимо отца.

— Славная у вас дочка,— сказал Алымов и продолжил без паузы: — Теперь самое главное, не теряя времени, обдумать, с чего мы начнем завтра.

19

Игорь и Никита вскочили в поезд и остались на площадке, продуваемой из двери в дверь шальным дымным ветром. Было тепло и душно, но от сквозняка и бессонной ночи обоих познабливало.

— Пойдем в вагон,— изредка предлагал Игорь.

Никита дергал плечом и продолжал стоять столбом. За два часа он не произнес ни слова. Брови сведены, губы сжаты. Рассвет озарил его угрюмое, повзрослевшее лицо.

— Ну чего ты отчаиваешься? — сердито сказал Игорь и обхватил плечи руками, чтобы немного согреться.— Случилось так случилось. Сам виноват. А казниться нечего. Жизнь на этом не кончена. Схватим воспаление легких, вот тогда будет каюк.

У Никиты запрыгали губы.

— Как я домой приду, думал ты? — еле слышно сказал он.

Да, об этом думал и сам Игорь, и его отец,— Матвей Денисович даже письмо написал родителям Никиты. Но чем поможет письмо, когда нежданно-

негаданно войдет в дом Никита и скажет: «Выгнали...»?

— Что было, простят,— строго сказал Игорь.— А вот что дальше будет, от тебя зависит.

— Ты-то хоть мораль не читай,— буркнул Никита и вдруг, отвернув лицо от Игоря, торжественно произнес: — «Она не ведает обмана и верит избранной мечте...» Читал ты такой стих?

Игоря даже знобить перестало, так он обрадовался, что нарушено двухчасовое молчание.

— Не помню. Постой-ка... Если бы ты все прочитал, а то по двум строчкам... Откуда они?

— Про Татьяну — знаешь такой стих?

— Ну как же,— пряча усмешку, сказал Игорь.— Пушкин.

— Пушкин?!

После этого Никита опять долго молчал.

Поезд бежал по рыжеватой степи, а земля продолжала поворачиваться вокруг своей оси, подставляя солнышку широкий бок с донецкой землей, с зелеными островками садов, с дымящими трубами заводов, с шахтными постройками и терриконами. А с площадки вагона казалось, что солнце выглядывает, как бы заигрывая, из-за черной остроконечной горы наваленной породы, что оно неутомимо пробивается сквозь дымы, сквозь угольную пыль, пропитавшую всю округу,— пробивается для того, чтобы все стало веселей, и разгладились сведенные брови Никиты, и ясные утренние мысли пришли на смену путаным ночным.

— На какую попало работу я все равно не брошусь,— сказал Никита.— Что я, плохо бурил? Буровые работы искать буду. Свет клином не сошелся на нашей экспедиции.

Игорь отметил про себя слово «нашей». Да, прирос парень. Уезжал — сердце отдирал. Оставить бы его... Впрочем, суровое решение отца — уволить — Игорь признал верным, хотя до последней минуты надеялся, что отец нелепо накричит на Сторожева, на Липатову, на самого Игоря и решит неожиданно, диковато, но мудро. У отца так случалось...

Прежнее решение отца — послать Никиту передовым на новые точки — Игорь до сих пор считал мудрым. Восемь дней Никита крутился там один: сиял

комиаты под жнлье, иаиял подводы, иашел пнтьевую воду возле будущих буровых точек, подрядил поварнх, купил сеиа для тюфяков...

К приезду группы даже ужии был готов — н какой! — вареиики с вишиями. В сарае, приспособлеиием под столовую, столы были иакрыты домоткаиыми скатертями, а среди тарелок с хлебом, помидорами и кавунами стояли две бутылки с иастоениой иа вишиях водкой.

— А это откуда? — строго спросил Игорь.

— А это от меия личио с товарищескнм приветом,— ухмыльиулся Никита и выгляиул из столовой.— Вторая машниа скоро? Вареннки перепреют.

Теперь Игорь ругал себя толстокожим идиотом, а тогда... тогда ои начальствеино осматрнвал свое «хозяйство» и даже ие подумал, ради кого затеяиы и вареиики и настойка, ради кого щеголяет Ннкита в белой вышнтой рубахе.

Вторая машииа подкатила в густых клубах пыли. Первым лицом, выиырнувшим из рыжей пелены, было хорошеиькое лицо коллектора Сони.

— Вот и мы! — закричала оиа своим жемаиным голоском, протягнвая руки.— Приииимайте, Никитушка!

Никита сдвииул брови (совсем как сейчас в поезде), резко повернулся и пошел прочь.

Простить себе ие мог Игорь, что ие догадался пойти за иим и шепиуть доброе слово! Ну что стоило догиать его и рассказать, как просилась Лелька в группу, как умоляла Липатову послать ее вместо Сони, как гордилась успехамн Никиты!.. Вероятио, следовало солгать, что Лелька послала привет, хотя на самом деле оиа ожесточеино ругалась до последиих мииут, а потом ушла в кериохраинлнще н так грохиула дверью, что тяжелый замок соскочнл с кольца. Можно было н ие лгать, а рассказать все как есть и про ругаиь и про замок и добавить, что Лелька обязательио приедет через недельку... Не догадался! Разыгрывал из себя иачальиика, с упоеннем размещал людей, а потом уселся за ужииом во главе стола и, как последиий болван, иабросился иа вареники н иа все прочее...

Очень довольные приемом, изыскатели н первую

и вторую порцню настойкн выпили за Никнту, за то, чтобы он всегда был их передовым. Еще н тут не поздио было обиять Никиту за плечи и шепнуть ему иа ухо иесколько слов. Но миловидные хозяйки все подвалнвали вареников, н все казалось Игорю так хорошо и весело... Он как-то вдруг заметнл, что Никнта уже пьяи и буйно весел. Зачем понесло к иему Соию, Игорь ие поиял. Положнв руку на его плечо, она что-то лопотала с кокетливыми ужимкамн. Никита крутым разворотом всего тела смахиул ее руку:

— Уйди, стерва!

Соия попятилась, испуганно раскрыв рот. Ннкнта с перекошенным от злобы лнцом пошел прямо на нее:

— Вон! Вон отсюда, засоха несчастная!

Соия побежала, громко внзжа.

Все повскакали. Одии возмущалнсь, другне пытались урезоинить Никиту. А Никита стоял, сам ошеломлениый своим поступком.

Еще можно было уладить дело, заставить Никнту извииняться перед Соией, отругать его в своей среде... Но случнлось так, что в это время Матвей Деннсович позвоиил по телефону — узнать, как устронлась группа. Девнца с почты увндела в окно Соню н позвала ее, а Соия, всхлнпывая, рассказала Матвею Денисовичу о случнвшемся. После этого Игорю прншлось подтвердить рассказ Сони. Хулиганство — это слово было произиесеио и соответствовало нстнне.

Когда Игорь вериулся с почты, в сарае шел дым коромыслом. Многие ушлн, но оставшиеся — Ннкнтины дружки, а с нимн местиые молодухн — начали пир сначала. Игорь попытался прекратить кутеж, ио Ннкнта с пьяной ухмылкой заявнл, что «территория тут вольиая», время нерабочее, Соия получила по заслугам, потому она н есть стерва, а пьет он на свои кровиые, заработаиные... Он выгреб из кармаиа н кинул на стол все деньги, какие у него были:

— Гуляю н буду гулять до утра! Угощаю всех, поиял?!

На нсходе этой иочи отчаявшийся что-либо сделать Игорь увидел скачущую по степи Раиетку — рабочую лошадку экспедиции. Ранетка мчалась так, как ей ие случалось, наверио, со времен ее далекой молодостн. Возле Игоря лошадка остановнлась, тяжело дыша

н роняя в пыль хлопья пены, с нее соскочила Лелька. Лелька бросила Игорю поводья, взглядом сказала: «Эх ты, шляпа!»,— но произнесла лишь одно слово:

— Где?

Удивительно, эта девчонка ни на миг не запнулась, увидав Никиту в обнимку с двумя пьяными молодками. Подошла, потянула за рукав:

— Пойдем!

Позволила Игорю показать, где устроился жить Никита, но помощь его отвергла, сама довела, сама втолкнула по лесенке в дом.

Игорь присел на лавочку у ворот. Он был недоволен собой и удивлялся, какая, оказывается, бывает сумасшедшая любовь и как трудно руководить людьми со всеми их отношениями и характерами...

— Вот дурачина шальной! — доносился из открытого окна голос Лельки.— Ложись, горюшко мое, дай сапоги сдерну! Надо ж так нализаться, дурья твоя башка!

Слова были неласковые, а голос ласкал.

Никита что-то бормотал. Голос Лельки становился все тише. Игорь понимал, что следует уйти, но так сильна была усталость после пережитых волнений и такое ясное занималось утро, что подняться никак не мог.

Он очнулся от грохота и звона. Что-то упало и разбилось в доме, там, за окошком. Смутные звуки борьбы, приглушенные голоса, яростный выкрик Лельки:

— Как ты смеешь! Как смеешь! Поганым таким!..

Опять что-то грохнуло. Стукнула дверь. Заскрипели ступеньки крыльца.

Мимо Игоря, не заметив или не пожелав заметить его, быстро прошла Лелька. Отвязала Ранетку, погладила по остывшей, влажной шерсти, взобралась на спину лошади и медленно поехала той же степной дорогой, какой прискакала час назад...

Потом у Игоря хватало неприятностей. За два дня в центральной базе экспедиции он забыл о Лельке и не видал, встречалась ли она с Никитой. Получив расчет, Никита накануне отъезда долго писал письмо, мусоля карандаш и перечеркивая слова. А ночью, когда вышли, чтобы поспеть к поезду, их догнала Лелька.

Игорь пробовал заговорить — разговора не получилось. Отстал — все равно те двое молчали как немые.

До поезда оставалось четверть часа. Лелька подсчитала, что ей придется бежать обратно, иначе опоздает на работу. Помолчали.

— Я тебе всю правду написал. Я не хотел по-подлому,— вдруг сказал Никита, и губы у него затряслись.

— Я знаю.— Лелька обняла его и поцеловала в губы.— Ты жди. Жди! — добавила она и, не прощаясь с Игорем, побежала обратно.

Никита и Игорь смотрели, как удаляется ее темная фигурка по мутно белеющей дороге — бегом, бегом, бегом...

Игорь зашел в дом первым, Никита остался на улице. Кузьма Иванович прочитал письмо Матвея Денисовича про себя, сказал: «Так!» — и начал собираться на работу. Потом спросил: «Где же он?» Узнав, что на улице, усмехнулся: «Стыдно на глаза показаться?» И ушел.

Зато мать схватила Игоря за руку и подробно допросила, что и как случилось. По-настоящему встревожила ее не выходка Никиты и не увольнение с работы, а то, что тут замешана любовь. Кто она, та девушка? Чего от нее ждать? А когда вошел Никита, обняла, заплакала и начала кормить и сына, и его товарища.

Игорь пробегал весь день по делам экспедиции, а к вечеру снова зашел к Кузьменкам. Мать кивнула наверх — там Никитка.

В комнатке под крышей было жарко, Никита открыл обе двери и сидел за столом в трусах и майке. На столе, связанные, лежали те книги, что Никита увез с собою прошлый раз, таскал с места на место, да так и привез назад. Сам Никита читал Пушкина.

— И почему это я раньше красоты не понимал? — задумчиво проговорил он.— Вот бывает другой человек — и малограмотный, и сиротой рос, а понимает. Я только песни любил.

Не понимал... любил... Задумываться стал Ники-

та?.. Игорю хотелось спросить, как ои собирается жить дальше, ио Никита и сам заговорил об этом:

— Отец в шахту гонит, а я ие хочу. Я ж буровой мастер. Говорят, в геологический техиикум таких, как я, в первую очередь прииимают. Если семилетка есть.

— А у тебя есть?

— Документ есть, а зиаиий иету. Готовиться буду. Палька Светов подсобит, я думаю. Вместе когда-то в школу бегали.

Знакомое имя напомиило Игорю девушку с горячими карими глазами и мягкой речью, таившей в каждом слове девичью поощряющую смешинку. Сестра Светова? Кажется, да. Катериа. А что, если зайти к Павлу и повидать ее? Пригласить в кино или погулять? Отец иадавал поручений дня на три, вечера как-то скоротать иужио...

— Сторожев думает: выгиали, так и пропал! — говорил Никита. — Я себя не выгораживаю, а только раио ои иа мне крест поставил. Я еще покажу ему Никиту Кузьмеико!

— Покажешь, если не сорвешься.— И, ие сдержавшись, спросил: — С Лелей-то как у тебя?

Никита счастливо улыбнулся и ответил пословицей:

— Суженого иа коие ие объедешь.

Игорь подумал ие о нем, а о себе: бывает же иа свете такая любовь, почему ж у меия не было? Гулял с девушками, измеиял, влюблялся и остывал, а где-то, зиачит, и меия ждет суженая, которую ие объедешь?

От Никиты Игорь завериул к Световым, спросил Павла, а глазами поискал Катерину. Мать ие зиала, когда придет Павел.

— Я в садочке подожду.

Ему иравилось само слово «садочек» и иравились здешиие молодые садочки, тоикие ветви, склоияющиеся под грузом яблок, жужжание пчел, пряиый запах падаиок. В этом крае, где господствовал чериый цвет угля, свежесть иедавио посажеииых деревцев была особеиио радостиой.

— Яблочком угоститесь,— сказала вдогоику мать.

Игорь сорвал и иадкусил яблоко, обошел первую яблоиьку и вдруг увидел прямо перед собой очень стройиые загорелые женские иоги. Стоя иа табуретке

и прнстроив плетеику между ветвямн, Катерниа обнрала яблоки.

— А я думаю: чьн это прекрасные иожкн прямо с иеба спускаются? — весело заговорнл Игорь.— Здравствуйте, Катернна!

Она оглянулась, сухо сказала:

— Здравствуйте.

— Не узналн?

— Узнала. Держите плетенку.

Она подала плетеику, оправнла платье и осторожно спустнлась, иащупывая босой ногой землю. Игорь с удовольствнем смотрел на узкую ступию, искавшую опоры, на крепкую фигуру, в которой все прнвлекательио. Однако вид у Катерины был хмурый, на Игоря оиа даже ие взгляиула. Стояла, отвериув красивое, равиодушное лнцо.

— Что вы такая сердитая, Катернна? Или я не вовремя?

Катериа не ответнла и впервые гляиула ему в лнцо. Странный это был взгляд — темный, глубокнй н очень выразительиый, только не понять было, что он выражает. Она стояла совсем близко, в простеиьком платье, сбнвшемся у пояса, босая, с небрежно закручеииой косой, — обыкиовенная дивчина, собнравшая яблоки со своих четырех яблонек. А смотрела издалека, будто с другого берега.

— Я вашего брата жду. Можио мие посндеть с вамн?

— Снднте. Только мне яблоки обобрать иужно.

— Так вместе веселее!..

Она молча пересыпала яблоки в большую корзнну и, повесив иа локоть плетеику, пошла к третьей яблоне. Игорь переставнл табуретку, предложнл свою помощь.

— Лезьте, если ие упадете,— равиодушио разрешнла Катериа. Скрестила руки под высокой грудью н молча наблюдала, как Игорь сиимает яблоки, изредка подсказывая: там еще одио!

Игорь прнпомннал, как легко и весело было с иею в прошлый его приезд, как сама собою завязалась между иими прнятиая, волнующая игра и как не хотелось уезжать от иее в тот вечер. Будто подменилн ее!

Игорю скоро надоело возиться с яблоками, он соскочил с табуретки и сказал, стараясь пробиться через ее отчужденность:

— Все! Поэксплуатировали — и довольно. Давайте-ка сходим в кино или в парк. Я же гость, один заблужусь.

— Не могу я,— качнув головой, сказала Катерина.— Да и брат вот-вот придет. Вы же к нему пришли.

— А мне с вами приятней.

В карих глазах мелькнул давний лукавый огонек, но и огонек был далеко — на другом берегу.

— Спасибо, мне сегодня некогда.

— А завтра?

— И завтра вряд ли пойду.

Игорь чувствовал, что настаивать глупо и обидно. Может, она другого ждет? Или другой обидел? Но уйти он уже не мог: вот такая, замкнутая и непонятная, она привлекала сильнее, чем раньше, когда сама приманивала его.

— Я вспоминал вас, Катерина. Это плохо?

— Вспоминать никому не заказано.

— Шел сюда и надеялся вас увидеть.

Катерина прикусила губу, не ответила.

— А вы ни словечка, ни взгляда. Бережете их?

Катерина принужденно рассмеялась, лукавый огонек опять блеснул издалека.

— Мои словечки уронены в речку.

— А взгляд?

— А взгляд, вот он. Так что?

И опять какая-то темная глубина приоткрылась, дохнула холодом и закрылась.

— А вот и Павел пришел.

Пока Игорь здоровался с ее братом, Катерина скрылась. Игорь долго сидел с Палькой в саду, согласился остаться к чаю, но Катерина больше не выходила, а спросить про нее Игорь не решился. Получив обещание, что Палька поможет Никите подыскать работу и подготовиться в техникум, Игорь собрался уходить. У калитки окинул взглядом дом — Катерина сидела в одном из окон, прижавшись щекой к наличнику.

О чем думает? О ком?

Шагая по темным улицам, сам над собою посмеи-

вался. Далась мне эта девушка! Что мне она? Зачем? Это все Никита с Лелькой, их сумасшедшая любовь...

Днем он почти не вспоминал Катерину, а вечерами мрачно подавлял желание зайти к Световым. Когда сел в поезд, облегченно вздохнул — мне здесь больше не бывать, скоро в Москву, в институт. Мало ли там девушек поинтересней Катерины!

20

Палька своеобразно выполнил обещание, данное Игорю.

— Никакой работы тебе не нужно, — сказал он Никите. — Садись и зубри, поступай в техникум. Работать пойдешь, когда начнется подземная газификация угля.

— Подземная газификация? А чего это?

— Переворот в угольной промышленности — вот что это такое. И нам будут нужны толковые, грамотные люди.

— А где она? Учреждение тут или что?

— Никакого учреждения пока нет,— сердито ответил Палька.— А будет все. Ты, главное, учись! Помочь я тебе не могу, некогда. Садись сам и рубай. Особенно налегай на химию. Она царица наук. С литературой можешь не надрываться, она нам не понадобится. Выучи, чтоб не провалиться, и хватит.

Никите все же хотелось понять, что за подземная газификация и когда можно ждать начала работ. Родители потерпят, пока он готовится в техникум, но после приемных испытаний надо же зарабатывать. Он вспомнил Лельку, ее таинственное «Жди!» Что она выдумает? Кто знает... Но деньги в любом случае нужны.

Объяснения Пальки были пылкими, но неясными. И все говорилось в будущем времени, а Никита не знал, что ему делать сегодня. Ликвидация подземного труда — это удивило. И насторожило: завирается Палька! Но Палька с грустью упомянул Вову, а потом как-то случайно проговорился о ребенке: ребенок Вовы будет стоять у пульта управления на станции, выложенной белыми кафельными плитками...

— Ребенок?.. Вовы?..

Так Никита узнал тайну, еще не открытую родителям. Тайна растрогала его и приблизила к нему неведомую газификацию; во всем, что говорил Палька, пульт управления и кафельные плитки были единственными точными подробностями.

Никита отложил Пушкина и взялся за химию. Царица наук показалась чертовски скучной, он перезабыл все, что когда-то учил с грехом пополам, даже H_2O... Но ко всем формулам сейчас странным образом примыкали взволнованные мысли о ребенке погибшего брата, и по-новому обострившееся горе, и жалость к Катерине, и тревожное ожидание перемен в собственной жизни...

Порой Никите хотелось ущипнуть самого себя: я ли это сижу над учебником? Да, говорил он себе, это именно я, и пусть они не воображают, что раздавили меня.

«Они» тоже присутствовали тут — механик Сторожев и стерва Соня.

Палька даже не задумался над тем, правильно ли он советовал Никите повременить с поступлением на работу. Он жил в своем выдуманном и все же реальном мире поисков и постижений. После встречи с Русаковским он вернулся к химии и терпеливо изучал химию газов и все, что могло ему понадобиться. Теперь он уже не спешил немедленно найти недающееся решение; он вооружался знаниями, чтобы оно открылось ему само, когда он поймет все необходимые условия газообразования. Он заранее отказался от всяких компромиссов — процесс подземной газификации должен исключать подземный труд.

Учеба была кропотливой, часто нудной. Он просиживал в закуте за книжными стеллажами целыми днями, до закрытия библиотеки. Иногда, наскоро пообедав, он уходил на ночь в лабораторию: там хорошо думалось. Дома он закрывался на ключ, требуя, чтобы его не трогали, «даже если загорится дом». Он никуда не ходил, никого не видел. Из окна он иногда замечал Сашу с Любой, они бродили по улице, прижавшись друг к другу. Пальке хотелось позвать Сашу и рассказать ему обо всем, но он удерживался: потом!

С Липатушкой он так и не помирился, совесть мучила его, он решил попросить прощения, но потом! Потом, когда можно будет потратить время.

Как ни странно, ненаглядная была с ним и не мешала ему. Она сидела возле окна, когда он работал дома, и прекрасно умещалась напротив него в библиотечном закуте; отражение ее золотисто-рыжих волос дробилось в лабораторных колбах, ее неверная улыбка возникала между двумя рядами формул. Ему почти не нужно было видеть ее настоящую, настолько проще и теплее было с воображаемой.

После лукавого обмана того вечера, когда муж оказался дома, Палька не ходил к ней четыре дня, а потом отомстил ей по-своему: встретив, не позволил себе ни одного упрека, наоборот, восторженно поблагодарил за интересное знакомство и долго расхваливал ее мужа. Татьяна Николаевна согласилась один раз и второй, потом заскучала и попробовала перевести разговор, но Палька продолжал восторгаться ее мужем. Когда он наконец предложил ей пойти в кино, Татьяна Николаевна быстро согласилась и весь вечер была на редкость ласкова.

— Вы молодец, что свели меня в кино,— сказала она на прощанне.— Мой ученый супруг никогда не успевает. И с вами веселее, вы еще не насквозь пропитаны химией!

— Это не за горами,— независимо ответил Палька.

— Так будем пользоваться оставшимися днями,— загадочно сказала Татьяна Николаевна, берясь за ручку тяжелой гостиничной двери.— Адио, мио каро!

Этой итальянской фразой она и раньше пользовалась, чтобы подразнить его. Он успел узнать, что она значит, и бросил ей вслед:

— Мне больше нравится: мио каро кариссимо!

После этой встречи он вытерпел неделю, питаясь воспоминаниями и надеждами. Затем позвонил по телефону:

— Я собираюсь в кино. Взять для вас билет — или ваш супруг уже перевоспитался?

— Возьмите, мио каро кариссимо.

— Я вас жду через полчаса у цветочного киоска.

Она пришла через сорок пять минут. Но еще оставалось полчаса, чтобы погулять по вечерним улицам.

Тени от листьев узорами лежали на тротуарах и слегка покачивались. Татьяна Николаевна разрешила взять ее под локоток. Теплые пальцы легли на его ладонь.

— Где вы пропадали так долго?

— Я боялся испортить впечатление. Вы бываете злая. А когда вы сидите у меня в уголку и смотрите, вы такая хорошая!

— А я часто бываю в вашем уголку?

— Частенько. И там вы никогда не злите меня и не мешаете... А я так занят сейчас, если бы вы понимали! Прямо пыль столбом и шерсть дыбом!

— О-о! То-то у вас такой взлохмаченный вид!

После его признаний она всегда пыталась спрятаться за пустяковой болтовней. Но он не хотел этого. Неделю работал как черт. Сегодня его час. Любимая с ним. Ей, ей одной он доверил все. Она должна поддержать его, должна идти рядом, как друг, как соучастник его надежд.

— Милая вы моя, хорошая,— сказал он, сжимая ее пальцы,— я у самого порога, понимаете? Ничего не открыл, ничего до конца не решил, но отбросил все, что не годится, и оно вертится у меня вот здесь. Вертится, вертится! И я его поймаю за хвост, вот увидите!

Она сумела оценить его увлеченность. Кто знает, бредит ли он попусту или действительно стоит на пороге большого успеха? Он занимал ее мысли; ей не хватало его, когда он пропадал надолго. Но ее пугала доверчивая неудержимость Палькн; она терялась оттого, что он без спросу превратил ее в соучастницу, поверенную и возлюбленную. Он видел в ней только то, что хотел найти в ней, все остальное просто отметал, как помеху.

— Все вы, мужчины, таковы,— шутливо вздыхая, сказала она.— Вы стремитесь к женщине только для того, чтобы сделать ее свидетелем ваших побед.

— А как же?! — воскликнул Палька.— Я хочу, чтобы вы все знали и радовались, когда я поймаю свою судьбу. Как же иначе? Зачем же иначе любить?!

Была в этом признании такая беззаветность, что Татьяна Николаевна дрогнула от радости, испугалась и, защищаясь, кокетливо вздохнула:

— А в результате слушаешь кучу непонятных вещей!

Он даже не заметил, что признался в любви. Ее слова и тон обидели и удивили его.

— Разве я вам рассказывал скучно и непонятно?

Она постаралась поставить его на место, чтобы вернуть себе привычное спокойствие.

— Существуете не только вы...

— К черту других! Тем лучше, если вам с ними скучно!

— Я этого не сказала.

— Вы это думали. И я очень рад! А теперь пойдемте в кино, а то опоздаем. Вы знаете, как я вас называю?

— Как?

— Ненаглядная. Понимаете? Не-на-гляд-на-я...

Она чуть усмехнулась. Должно быть, слово показалось слишком простым.

— Не дошло? — небрежно спросил Палька.

— Вы очень смешной, Павлуша. Такой сердитый воробышек.

Он хотел ответить ядовито, но не мог. Стало так обидно, так горько, что остроты не шли на ум. Боже мой, думал он, зачем она все уничтожает, все губит вздорными словами?

В фойе кинотеатра она болтала о пустяках. Он смотрел в ее любимое лицо, ловил переливы света в ее волосах. Ненаглядная! По-прежнему глядишь — не наглядишься. Но обман рассеялся: чужая. Ни вдохновения, ни участия не жди.

Фильм был плохой, похожий на многие другие фильмы. В иное время Палька смотрел бы снисходительно: он любил кино. Но в состоянии душевного прозрения, посетившего его в этот вечер, он холодно отмечал заимствованные приемы, приевшиеся ситуации: авторы фильма использовали *готовое,* фильм струился по привычному руслу, можно было заранее сказать, что сейчас случится и чем все кончится. Некоторое время Палька развлекался, отгадывая. Вот мчится белогвардейская конница, а по дороге идет старичок. Сейчас его полоснут шашкой. Полоснули. Пулеметчик ранен, сейчас героиня ляжет к пулемету. Легла, стреляет. Сейчас начнется пожар. Начался.

Только что ветра не было, деревья стояли неподвижно. А сейчас рванет ветер. Рванул, деревья закачались, гнутся под ураганом...

Как это происходит? Один человек открывает новое, находит в искусстве, в науке, в технике то, чего не было до него. Другие устремляются вслед и *повторяют*. Когда за что-то берешься, память торопливо подсказывает *известное*. Оно легкое, оно никого не покоробит и борьбы не вызовет. Спокойно. Прилично. Китаев одобрит. А я не хочу! Не хочу!

На экране весело — не страшно, а весело — горели макеты домов. Палька вспомнил, как однажды в поселке горел вот такой же, но настоящий дом. Огонь полз, кидался, отступал и снова кидался. Трещали и корежились балки. Дом сопротивлялся, огонь брал его с бою. А рядом с домом обгорали яблони, лопались от жара налитые яблоки, шипели и стонали свежие ветви...

Палька с досадой смотрел на легкомысленный пожар, бушевавший на экране. И вдруг острая мысль скользнула в его мозгу, кольнула, задержалась, развернулась... Пожар! Подземный пожар! Уголь — нераздробленный, цельный уголь горит в пласте. Эти страшные подземные пожары, раз начавшись, продолжаются иногда месяцы, годы... Чтобы потушить такой пожар, засыпают и плотно замазывают все входы, все щели... Для пожара только и нужно — воздух. Да, да, да! Пласт угля. Канал, по которому струится воздух... И начальный возбудитель огня.

До чего же просто! Надо возбудить искусственный пожар, обеспечив подачу воздуха и вытяжку газа. Но будет ли горючий газ или один дым? Это зависит от подачи воздуха. Как в генераторе. Раз пожар будет создан искусственно, значит, нужно только рассчитать! Правильно рассчитать, какие условия нужны для химического процесса. Газообразование будет зависеть от дозы подаваемого воздуха. Или кислорода? Боже, до чего просто! Но каналы для подачи воздуха и вытяжки газа... они потребуют предварительных подземных работ, первоначальной проходки? Или можно обойтись бурением с поверхности?..

Нет, я дурею! Это слишком просто! Если бы это было так просто, все давно додумались бы!..

Кто сказал: «Все гениальное просто»? Всю жизнь воспринимаем привычные понятия и в кругу привычного ничему не удивляемся. Кому придет в голову удивиться, что электрический звонок звонит? Но кто-то первым открыл, что с помощью электричества можно звонить! Сотню лет назад дана идея газогенератора. Принцип. Потом совершенствовали то одно, то другое. Но принцип остался незыблемым. Сто лет уголь дробили, значит, и в новом, подземном газогенераторе нужно дробить. Я повторял привычное. А новое решение — вот оно! Стоило только выскочить за пределы привычных понятий...

...А вдруг это неверно? Вдруг это чепуха, и никакого газа не получишь, только дым?

Да нет, почему же? Два отверстия с поверхности в глубину, соединенные узким каналом. По одному — сжатый воздух или кислород, по другому выходит газ.

Нужно немедленно зарисовать, прикинуть так и этак на бумаге... Отстраниться от наброска, представить себе, как оно выйдет на угольном пласте...

Палька вскочил и увидел себя в темном зале под расширяющимся столбом света, падающим на мерцающий экран, где кто-то в кого-то стрелял. Сзади шипели: «Сядьте!» Татьяна Николаевна вскинула глаза:

— Вы что?

— Я подожду там.

Он побежал, пригнувшись, по проходу.

В фойе толпилась публика. В пустом коридорчике у билетной кассы уборщица подметала пол.

Палька пристроился у закрытого окошка кассы и принялся лихорадочно зарисовывать в блокноте схему процесса так, как она ему померещилась.

Уборщица ворчала, но он не отрывался от чертежа. Когда метла задевала его за ноги, переступал с места на место.

— Экий же ты упрямый, голубь! — сказала уборщица.— Своего угла нету, что в кине пишешь?

Палька ответил, не глядя:

— Придумал! Можете вы понять? Придумал!

— Ну придумал, а барышню свою куда девал? Все уже домой пошли.

— Как пошли?!

Палька рниулся к выходу. Последнне зрнтели, закурнвая, выходнли из кннотеатра. Он выбежал на улнцу н помчался к гостнннце, заглядывая в лица женщнн. Он никак не мог вспомиить, какое на ией платье, какие туфлн, кидался к каждой стройиой женской фигуре... И вдруг увидел Татьяну Николаевну. Она шла своей легкой, размашнстой походкой и так отлнчалась от всех жеищин, что он уднвился — как он мог прннимать за иее другнх!

Некоторое время ои шагал почтн рядом с нею и по ее склоиениому профилю, по сжатым губам поиял, что она злится. Хотелось по-мальчишескн нспугать ее, взять под руку, рассмешнть, а потом рассказать ей все-все, что сейчас открылось ему... Но умнлостнвнть ее будет трудно, придется долго объясняться. А времени для этого нет.

Татьяиа Нниколаевиа остаиовнлась у цветочного киоска и выбрала две розы. Продавец любезннчал с иею, оиа улыбиулась и сказала: «Спокойной иочи!» Легким, веселым шагом взбежала по ступеням подъезда... Гордая! Скрывает свою злость перед продавцом, перед швейцаром н перед мужем, это уж точио!

Несколько лепестков упало иа ступеин. Палька нагиулся, как бы завязывая шнурок на ботиике, и поднял нх. «Доказательство, что проводил!» Даже самому себе не хотелось призиаться, как прнятно сунуть в кармаи эти оброненные ею лепестки.

В лаборатории все стояло иа местах, как будто инчего не случнлось. Палька открыл ящик своего стола и в упоенин разорвал на клочки все, что нагороднл за последнее время. Все к черту! Решеиие — вот оно! Ясно, убеднтельио, до предела просто.

Да, ио это только идея. Нн одного расчета, ии одной формулы. Что тут нужно? Физнка, хнмия, горное дело, математнка. Нужно бурнть... Как? Нужно дутье... Какое? Нужио гореиие определеиной температуры н силы. Какой имеиио?.. Все это нужно понять, определнть, рассчитать.

Я еще иичего ие зиаю. Я еще не иачал.

Он растерялся: открытие, казавшееся таким великим и простым час назад, даже несколько минут назад, отодвинулось в дальнюю даль. И путь к нему один — огромная, длительная, методическая работа. Каждый пустяк — груда книг, чертова пропасть проблем и проблемок. До первого примитивного опыта уйдет уйма времени. Ошибки, поиски, исправления... Сколько же времени до светлого зала с кафельными плитками?

Год? Два? Пять?..

Но это невозможно!

Спокойно, Палька! Спокойно. Запишем главное, что нужно проделать для того, чтобы решение стало технически обоснованным проектом.

Он записывал — сперва четким почерком отличника по чистописанию, потом торопливыми каракулями. Заполнил страницу, перевернул, заполнил вторую... С ума сойти! И это только подступы...

Через час он мужественно сказал самому себе, что он невежда в большинстве вопросов, какие надо решить, ему понадобятся годы, чтобы справиться с ними. Позволят ему заниматься этим и только этим? Китаев взорвется... Наплевать! Буду сидеть как проклятый. Пойду на выучку к кому угодно, в шахты, на Коксохимзавод, к буровикам... Это что! Но сроки! Сроки!

Чудесное открытие, сулящее промышленный переворот, будет лежать в столе, пока Павел Светов учится и доучивается, думает и додумывает?..

Ну нет!

Он побежал наверх, в общежитие. Саши не было дома.

Палька написал на клочке: «В любой час ночи спустись в лабораторию, очень важно!!!» Положил записку на стул, стул поставил посреди комнаты.

Спускаясь по лестнице, он думал о Саше с необычным, восторженным уважением. Саша — самый ученый, у него ум исследователя. Аналитический ум. И он педантичен, он ничего не упустит, ни о чем не забудет.

Ноги привели Пальку к дому, где жил Липатов. Дурацкая ссора, до того ли теперь! Липатушка — горный инженер, опытный практик и все ходы-выходы знает. Достать, добиться, заручиться поддержкой, двинуть по партийной линии...

Лнпатушки ие было дома. Где болтается до полуночи этот старый черт? Куда оин все разбегаются по ночам?

Липатушка, у меня для тебя срочная записка от общей знакомой. Я в лаборатории. В любой час ночи приходи обязательно!

Свериув листок трубочкой, Палька суиул его в замочную скважину и подмигнул самому себе: то-то старый греховодник помчится среди ночи за иесуществующей запиской!

Сторож долго ворчал спросонок, прежде чем впустить Пальку в нститут. Палька пробовал вериуться к деловым размышлеииям, ио не мог. Сколько недель он мучился, мечтал н снова мучился один! Теперь его трясло нетерпение, ему были иеобходимы Саша и Липатушка — оба сразу, немедлеино.

Липатов вошел и от двери угрюмо буркнул:

— Ну, давай. Что за срочность?

Не вставая, Палька выдвииул иогою стул.

— Сядь, Лнпатушка. Отдышись.

— Слушай, ты! Или давай записку, или... опять фокусы?

Ои еще ничего не зиал, ои не мог знать, что вся их ссора — дребедеиь, вздор. Ои жил в мире, где еще инчего не изменнлось.

Палька рииулся к нему, обнял, силой повалил иа стул.

— Липатушка, чертушка, не злись! Неужели нам ссорнться?

— Тогда не надо было...— ожесточеиио иачал Липатов.

— Не надо было! Каюсь! Ка-юсь!.. А теперь забудем! Тут такое дело!..

— Зиать ничего не хочу! Давай записку или...

— Никакой записки у меня нет,— перехватывая руки Липатова, сказал Палька.— Я должеи был тебя вымаиить, потому что...

Липатов рванулся и отбросил его, но Палька отскочил к двери и стал перед иею, раскинув рукн.

— Ты Леиииу верншь?

— При чем здесь Леиин? Ты мие...

— Читай!

Все еще загораживая дверь, он схватил с полки книгу и развернул ее перед носом Липатова. Липатов недоверчиво проглядел начало, потом потянул книгу к себе и стоя прочитал статью. Снял кепку, сел и перечитал.

— Да,— пробормотал он.— Ну и что?

Палька отошел от двери, достал условия конкурса и положил их перед Липатовым. Липатов и это прочитал, уже заинтересованный. Впервые без злости поглядел на Пальку.

— Ну и что?

— А теперь смотри! — заговорил Палька, захлебываясь.— Я бился, как сумасшедший! Ты понимаешь, все данные твердят: надо предварительно дробить уголь. Газогенератор, знаешь? Но я подумал: век химии! Да? Раз век химии, то не может быть! Сто лет считали! А я все откинул! Откинул!

Выговорившись, Палька показал схему. Липатов долго разглядывал ее, потом сказал:

— Знаешь, похоже. Очень похоже.

— Надо немедленно начинать работать, Липатушка. Немедленно! Тебе, и мне, и Сашке. И сделать мировой проект. А?

— Я-то зачем? Ты и сам сделаешь.

— Дурень, ты погляди, сколько тут возни! А дело-то какое! Его надо двигать на полный ход! Это ж революция! Экономика высшей стадии!..

Войдя в лабораторию, Саша Мордвинов застал друзей за столом, они что-то писали или подсчитывали. Оба какие-то встрепанные. И эти встрепанные дружки потащили его к столу и заговорили разом, один размахивал томом Ленина, другой какими-то скрепленными листками.

— Спятили вы, что ли? Или спирту хлебнули?

— Спирт — это идея! — воскликнул Липатов.— Но спирт после. Палька, давай по порядку!

Оба нетерпеливо ждали изумления, восторгов или, на худой конец, одобрительного слова. Но Саша все прочитал и перечитал, потянулся к наброскам, рассмотрел их, прищурив глаза, буднично спросил:

— Сжатый воздух? Или кислород?

Палька признался, что сам еще не знает.

— А каналы бурением?

— Даже если обычной проходкой, и то хорошо, это ж самая малая часть работы,— вставил Липатов, оправдываясь, будто он был автором идеи.

— Бурением тут сложно,— в раздумье сказал Саша.— Расчетов еще не делали?

— Расчеты мы будем делать вместе. Не сумею я один.— Палька самолюбиво покраснел и добавил: — Может, и сумею, но прокантелюсь.

Саша размышлял, покачиваясь и не глядя на друзей.

— Погоди, погоди!..— вдруг пробормотал он.— Подземные пожары... Честное слово, об этом есть у Менделеева! Да, да, да! Я еще прочитал и подумал: интересная мысль... У меня и карточка должна быть. Пошли ко мне!

Палька побежал бы, но Саша шел неторопливо, а Липатушка задержался в лаборатории, крикнув, что догонит.

У Саши было множество карточек с выписками. Карточки стояли в картонных коробках в каком-то сложном порядке. Пока Саша перебирал карточки в одной из коробок, Палька из-под его руки прочитал аккуратную надпись: «Прогнозы». Это было похоже на Сашу. Палька написал бы «Мечты!» или «К выполнению!».

У Пальки зудели руки, зудел язык, было нестерпимо сидеть молча и смотреть, как Саша методично перекидывает карточки двумя пальцами.

— А вот и мы! — от двери крикнул Липатов.

Мы — это был он сам и спирт, похищенный в лаборатории из тайников Федосеича.

— Не нашел? — вскользь поинтересовался Липатов и начал рыться в холостяцком хозяйстве Саши.

— В тумбочке есть мензурки,— через плечо бросил Саша и вдруг взволнованно выдернул карточку.— Вот она! Целых две выписки!

Замер с мензурками в руках Липатов, замер, открыв рот, Палька.

Саша прочитал торжественным голосом:

— «Много слышал я про пожары каменных углей. Один случился в самом Кизеле, но успели затушить, просто преградивши доступ воздуха из всех отверстий. Другие же пожары не могут потушить годами. По по-

воду этих пожаров каменноугольных пластов мне кажется, что ими можно пользоваться, управляя ими и направляя дело так, чтобы горение происходило как в генераторе, то есть при малом доступе воздуха. Тогда должна происходить окись углерода, и в пласте должен получаться «воздушный», или «генераторный» газ».

Липатов шумно восторгался, а Палька совсем притих, только спросил пересохшими губами:

— А вторая?

— «Настанет... такая эпоха, что угля из земли вынимать не будут, а там, в земле, его сумеют превращать в горючие газы, и их по трубам будут распределять на далекие расстояния».

— Это же то самое! — закричал Липатов.— То самое!

— Первое написано в восемьсот восемьдесят девятом году, в связи с Уралом,— уточнил Саша.— А второе еще раньше, в восемьсот восемьдесят восьмом году, в статье «Будущая сила, покоящаяся на берегах Донца».

— Мы ж ее читали студентами,— пробормотал Липатов,— и вот поди ж ты — не углядели.

Палька молчал. Ошеломленно, почти испуганно. Несколько десятилетий великая идея гения ждала его!

Липатов разлил спирт, поднял мензурку.

— Ну, дружки, за подземную газификацию угля!

— За подземную газификацию угля! — сказал Саша, вставая.

— За подземную газификацию угля! — шепотом повторил Палька.

Выпили. Палька стоял, сразу побледнев. Липатов налил по второй.

— А эту за что?

— За дружбу! — выкрикнул Палька.— За дружбу, за успех, за химию, за промышленный переворот... За все!

— За все! — мечтательно подтвердил Саша.

— За все так за все! — сказал Липатов и опрокинул в горло спирт.— По третьей, что ли?

— Нет! — твердо сказал Палька.— Сейчас надо работать!

— Сейчас надо спать,— поправил Саша.— И вот что, друзья. Мне до отъезда три недели осталось. Что успеем, то успеем. На три недели я — ваш.

— Да в три недели мы горы свернем! — закричал Палька с хмельным восторгом.

— Не заносись, Палька. Только начнем сворачивать.

— И то не худо,— рассудил Липатов.

— Я у тебя ночую, ладно? — Палька уселся на койку и подсунул подушку под спину.— Ох, ребята, до чего ж это все...

Липатов привалился к его плечу, толкнул кулаком в бок.

— Тут главное — выработать точную систему работы,— сказал Саша, присаживаясь на край койки.

Рассвет застал друзей вместе.

— И если разрешить проблему продольного бурення по заданному направлению...— говорил Саша.

— Утро уже! — удивился Палька, заметив бледный отсвет на стекле, и, сладко зевая, подошел к окну.

Мглистый туман еще лежал на улицах города. Акации в сквере напротнв общежития казались черными, а верхушки пирамидальных тополей уже ловили свет утра. За таинственными впадинами раскрытых окон во всех домах стояла сонная тишина. Тускло поблескивали железные крыши, серыми пятнами расплывались черепичные. Горизонт обозначался то одиночными, то выстроившимися в ряд заводскими трубами и бесчисленными черными холмами терриконов. Между двумя из них в желтоватых слоистых дымах выползало неяркое солнце.

— Уу-у-ух, здорово! — воскликнул Палька, набирая полную грудь прохладного, припахивающего дымком воздуха, а вместе с ним всю неохватную радость существования. Но радость вдруг как бы споткнулась. Он повернулся к друзьям и совсем тихо проронил: — А Вовка-то... не дожил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

РЕШЕНИЯ

1

Недавно прошел сильный дождь, и земля дымилась, а если взглянуть вверх — видно было, как слоится воздух, пронизанный испарениями. Большие капли набухали на листьях и падали — звонко — на камни, мягкими шлепками — на землю. Дорожки раскисли, а перед самой калиткой разлилась огромная лужа.

Кузька таскал камни, пытаясь замостить лужу, ему помогала Галинка — за последнюю неделю она совсем прижилась в доме Кузьменко, вернее, в сарае, что стоял в глубине двора.

Люба бродила по вязкой дорожке взад-вперед, взад-вперед. Она не могла заставить себя уйти на веранду, где сидели родители с Липатовым и Катериной. Мать то и дело выглядывала в сад:

— Не идут?

Она спрашивала обо всех троих, но Люба понимала, что сердцем она ждет одного — Никиту...

Конечно, Никите пора бы вернуться. Еще утром он должен был держать последний экзамен — русский устный. Сегодня же вывесят отметки за сочинение. От этих двух отметок зависит, примут ли Никиту в вечерний техникум, и даже бóльшее — закрепится ли он на добром пути или, не попав на учебу, махнет на все рукой...

Люба волновалась за брата, но то, что решалось сегодня у Китаева, было для нее неизмеримо важнее.

Кое-как перебравшись по камешкам через лужу, она вышла за калитку и глядела вдоль улицы, в сторону трамвайного кольца. Улицу всю обмыло дождем — ни мусо-

рникн. Посередине ее, где и всегда-то струился жидкий ручеек, теперь бежал настоящий ручей, мутиый от глииы.

Красиый трамвайчик прибежал из города, замер на закруглении рельсов н будто вытряхиул из себя пассажиров. Пассажиры разошлись кто куда, почти все были зиакомы Любе, ио ие было тех, кого оиа ждала.

Трамвайчик убежал, позвякивая. Потом прнбежал другой и тоже вытряхиул пассажиров — опять ие тех...

Люба поежилась от сыростн и вдруг беспощадио спроснла себя — ну а чего же я жду? Чего я хочу? Оиа знала, чего хочет Саша, помогла ему принять решение н даже под его диктовку написала текст телеграммы иа имя академика Лахтина — убеднтельиой телеграммы, объясняющей прнчниу задержкн аспнранта Мордвиинова н иеобходимость месячиой отсрочки... Китаеву расскажут, какие опыты иужио проделать в нниститутской лабораторин н как будет хорошо, еслн проект пойдет от имеии иистнтута. Китаев согласится включить проект в план иаучиых работ и, коиечио, подпншет телеграмму... Саша будет в восторге, о Пальке н говорнть нечего! Ну — а я? Я — хочу этого?

Нет, со вчерашней иочи ей больше всего хотелось убежать в какой-иибудь закут и выплакаться — ие сдержнваясь, иавзрыд. Откуда же взялись силы быть спокойиой и уверять Сашу, что все устроится? Это — любовь?.. Но тогда почему Саша ие подумал о ией, преиебрег свадьбой и поездкой в Москву, о которой они так мечтали? Он-то — любнт?..

Ей прншлось перебрать в памяти все, что подтвердило ей — да, любит, любит! Просто он — такой и другнм быть ие может. И безумне с этой газнфикацией ие могло ие захватнть его, раз оно захватнло даже отца н маму, даже совсем чужую девочку Галиику. Особеиио с того дня, когда решнли провестн в сарае хотя бы иебольшой опыт, ие дожидаясь, пока в иистнтуте коичатся отпуска и ремоит лабораторий. Деловая, веселая суматоха затяиула и Катериу, прнходнвшую в сарай прямо с работы, н Никиту, который по первому зову бросал учебиик н прнбегал подсобить — подручным «в одну лошадниую силу», как го-

ворил Липатов. Кузьку теперь и не прогнать со двора, а Галинка заплакала, когда мать хотела увести ее...

Посреди сарая выросло странное сооружение, похожее на печку-буржуйку.

Кусок угля — его тут называли «целик» — привезли с шахты. С шахты отец с Липатовым таскали и нужные инструменты. Палька проникал в кладовую, куда сложили лабораторное имущество, и под носом у Федосеича уносил оттуда и трубки, и реактивы, и даже стащил баллон сжатого воздуха. Цемент и кирпичи откуда-то раздобыл Никита. Проволоку разыскала у себя в компрессорной Катерина.

Кусок угля обложили кирпичами, обмотали проволокой и обмазали для герметичности глиной с цементом, предварительно просверлив в угле скважинки и вставив туда трубки. Возились больше недели: все время чего-то не хватало и что-то выходило не так. «А что, если...» — начинал кто-нибудь из трех друзей, и обсуждение этого «если» продолжалось, пока сообща не находили решение. Но тут возникало новое: «А что, если...»

Вчера опыт провели. Сколько было подготовки и волнений! А получилось все очень просто. Электрической искрой разожгли внутри угольного «целика» горючее — щепки и паклю, смоченные керосином. Немного погодя Саша сказал, что «процесс» начался и нужно ждать. От нечего делать пробовали экзаменовать Никиту, но по поводу запятых, где они нужны, а где не нужны, вышел спор, так что Люба запротестовала:

— Вы мне Никиту с толку собьете!

Потом Липатов закурил и поднес спичку к газоотводной трубке — и на конце трубки вспыхнуло нежное голубое пламя. Все закричали «ура», Палька сунул в пламя конец проволоки, который быстро раскалился,— Люба не знала, проверяет он что-то или просто наслаждается тем, что вот — горит... Но тут раздался грохот, похожий на выстрел, голубое пламя сникло и погасло, а печка треснула и начала распадаться на части.

— Кузька, воды! — закричала Кузьминишна.

— Это очень интересно,— сказал Саша.— Показатель превосходный, верно, ребята?

Трое друзей, обжнгая пальцы, долго копались в треснувшем куске угля, чему-то радовались н иаходили какне-то ошибки. Потом оии гуськом прошли иаверх, в комиатку Вовы, где теперь была у иих «теоретическая часть»,— там они искали решений в киигах и в собствеииых головах, отчаяннио споря и куря так, что нз окошка валил дым. Когда они впервые забрались туда, Кузьмнншна проплакала половину ночи, а потом вспомиила, что хлопцы голодиые, поиесла им хлеба н неувереиио предложила согреть борщ, оставшийся от обеда. Три нзобретателя закричали: «Вот это ндея!» — н в два часа иочи уплели по тарелке борща, а затем снова спорили до зари...

Вчера после полуиочи Саша спустился вниз понскать Любу — в последиее время иикто в доме толком ие спал, кроме Кузьмы Иваиовича. Люба сндела на веранде и слушала, как Никита, чертыхаясь, уточнял правописаиие нмен существительиых в роднтельиом падеже миожествеииого числа.

— После шипящих, черт нх подери, буква «мягкий зиак» не пишется: иет рощ, иет дач. И после окоичаиия «еи» с беглым «е» (вот еще какое — беглое!) тоже, к счастью, не пншется: песня — песен, бойня — боен.

— Исключення! — строго напомнила Люба и вскочила, увидав Сашу.

— Исключення составляют барышни,— ухмыляясь, ответнл Никнта.— Оии с мягким зиаком. Существа нежиые.

— Повтори нсключения иа «мя»,— прнказала Люба и выскользиула вслед за Сашей в сад.

Он обнял ее, Люба прижалась щекой к его плечу н снизу вверх поглядела в его иапряжеиное лнцо.

— Любушка, тебе не надоело мучиться со миой? — услыхала она его шепот и быстро ответнла:

— Нет! Нет! Только скажи сразу...

— Пласт загорелся н дал газ, процесс может ндти в целике, понимаешь? Вот что мы доказали сегодия! Все остальиое — дело расчета. Нужиа серия опытов в лабораториых условнях, иужно разработать весь процесс н обосиовать его теоретически... Повезти с собою протоколы испытаний, аиалнзы газа...

— Ну? — поторопнла Люба.

Саша крепче обнял ее и твердо сказал:

— Сегодня стало ясно, что подземная газификация возможна. И я не имею права бросить дело на полпути.

Вот оно, вот! Она смутно знала это с самых первых дней.

— Мне очень трудно, Любушка. И мне страшно, что тебе надоест и ты пошлешь меня к черту.

— Не пошлю.

Он поцеловал ее — словами не сказать было всего, что хотелось. Потом она спросила ровным голосом, как же будет с аспирантурой и на сколько придется задержаться.

— Недели на три, самое большое — месяц,— ответил Саша, и Люба поняла, что он уже все решил без нее.

Одна мелочная мысль крутилась в Любиной голове — девчата в поселке знают об ее отъезде, теперь они узнают, что свадьба отложена из-за какого-то опыта. Как они поймут это? Что будут болтать между собой?

— А ребята никак не могут... без тебя?

— Понимаешь, Любушка... все затянется. Есть вопросы, в которых я сильней. Так же как Палька и Липатов — в других. Бросить — измена.

Он произнес это слово жестко. Он все обдумал заранее.

— Только бы ты поняла и не сердилась...

— Я все понимаю,— сказала Люба и заглотнула слезы.

— Племя, бремя, темя, пламя, знамя...— бубнил Никита, сердито поглядывая в темноту сада, где скрылись влюбленные.

Они пришли побледневшие, торжественные. Уходя наверх, Саша задержал Любину руку и поцеловал ладонь.

— Давай суффиксы уменьшительно-ласкательные,— непримиримо потребовала Люба, заглядывая в учебник.

— Цыпочка,— буркнул Никита и зевнул.— Вот чертовня! — с ненавистью добавил он, но ответил и про суффиксы.

Это было вчера ночью. А сегодня утром Люба на-

писала ту телеграмму. И когда Саша уезжал к Китаеву, пожелала удачи...

Еще один трамвай прикатил из города. Битком набитый людьми. Люди потекли струйками во все стороны. И опять — не те...

Катерина осторожно перебралась через лужу и остановилась рядом с Любой.

— Ну чего маешься? Придет твой Сашенька. Ты на себя погляди — какое у тебя лицо.

Люба не могла поглядеть на себя, но подбородок ее задрожал.

— Ох, Любка, и дурная же ты! — без всякого сочувствия сказала Катерина.— Не знаешь ты ничего. Ни счастья, ни горя.

— Я, кажется, никому не жалуюсь...

— Вот и я такая была,— продолжала Катерина, не глядя на подругу.— О себе думала, со своим самолюбием нянчилась. А человека не поняла. Чего он хотел — для меня делал, а не со мной. Не со мной! Но доверял моей дружбе... Задушила бы себя! — с ненавистью прошептала она.— Горло бы себе перегрызла!

Помолчав, она уже ласково обняла подругу:

— Ну, жди, выглядывай дружка. А я пойду проволоку размотаю. Небось сегодня же начнут печку перекладывать.

Первым явился Никита — возбужденный и подвыпивший. Подхватил на руки сестру и перенес через лужу, у сарая опустил на землю, торжественно поклонился отцу.

— Принимай, батя, студента!

— Причастился уже? — скрывая радость, проворчал отец.

— Так ведь на радостях! И всего-то двести грамм.

Приняв поздравления, он рассказал:

— Надо же, выпало это самое исключение на «мя»! Оттараторил, как пулемет. На разборе предложения запутался — из-за этого вышла тройка...

— А сочинение? Сочинение? — торопила Люба.

— Удовлетворительно,— уклончиво ответил Никита,— с запятыми там... будь они прокляты, эти закорючки!

На самом деле с сочинением получилось обидно. Он выбрал тему «Мой любимый литературный герой» и написал о Татьяне Лариной. Писал он уверенно, в сочинении можно было избегать трудных слов и писать короткими фразами, с одними точками. Тройку ему действительно поставили, но сочинение читали вслух в учительской, и преподаватель, пряча насмешку, спросил потом Никиту:

— Вы пишите: «У нее были серьезные недостатки: легкомыслие и доверчивость». Почему вы ей приписали такие недостатки?

Никита смутился, но ответил независимо:

— Такая у меня точка зрения. Имею я право понимать по-своему?

— Имеете право,— согласился преподаватель.— Но можно ли писать: «У нее не хватило характера. Любя Евгения, позволила отсталым родителям продать замуж за толстого генерала...» — Он странно фыркнул и закашлялся, весь покрасев, а потом, махнув рукой, поздравил Никиту с зачислением в техникум.

Что они там нашли смешного? Никита и сейчас думал, что у Татьяны не хватило характера подождать, ведь Евгений в конце концов полюбил ее! Вот Лелька ни за что не пошла бы замуж за нелюбимого, Лелька говорит: когда любишь — и му́ку примешь, а не любишь — и счастья не надо.

Рассказывать о своей обиде Никита не стал, приняли — и ладно.

Очень довольная, Кузьминишна обняла сына и шепнула на ухо:

— Порадовать, что ли?

Он сразу понял, сунул руку в карман ее передника, выхватил конверт и отошел под сирень — читать. Кузьминишна одним глазком следила — аж загорелся весь! Знать бы, к добру или не к добру?..

Лелька писала:

Если ты сумеешь приехать с Липатовым, тебя встретят хорошо. Соню угнали за тридцать километров с Сысоевым, все остальные поминают тебя добром и жалеют. Приезжай,

Никитушка, а то до зимы не увидимся, меня не отпустили, да и дело не бросишь.

Ц. т. м. р. *Твой Лу...*

Он понял значение букв и понял подпись. Лучик — так он ее назвал в ту единственную ночь.

— Иван Михайлович, я поеду с вами на воскресенье,— сказал он громко, чтоб услыхали родители.

Мать страдальчески улыбалась — и возражать нечего, и страшно: только-только наладился Никитка... Куда она повернет его, та девушка?

— Может, и мне поехать, повидать Аннушку? — вслух подумала Катерина, а глазами сказала Кузьминишне: «Поеду, присмотрюсь, моему глазу верить можно».

С тех пор как старики узнали, что она ждет ребенка, не было для них человека желанней и любимей — за Катериной ухаживали, ее мнение было решающим во всех семейных делах.

— И я поеду! — заявил Кузька.

— И я,— прошептала Галинка, сама не веря, что это возможно.

Липатов готов был согласиться, но тут все смешалось, и сама поездка отодвинулась далеко-далеко.

В раскрытой калитке остановился Саша Мордвинов.

— Китаев отказал,— сквозь зубы произнес он.— Палька помчался в институт, но совершенно зря.

Перешагнул лужу, бросил на ходу Липатову:

— Вернется Светов, будем решать.

И пошел с Любой на веранду.

В саду наступило молчание, прерываемое бормотанием Липатова:

— Ну, Китаеву это еще аукнется! Говорят: коли ты тово, так и я тово, а коли ты не тово, так и я не тово...

Тяжело вздыхая, Кузьминишна поглядывала на веранду, где шел очень значительный разговор. Теперь, когда с Никиткой все решилось, сердце Кузьминишны могло вместить и горе дочери,— а горе было, горе и стыд. Шутка сказать, жених свадьбу откладывает, и все из-за этой печки. Хорошее дело — ничего не скажешь. Да только сбыточное ли?

Странно, на веранде горевал Саша, а Люба в чем-то горячо и даже с улыбкой убеждала его. Потом Саша зарылся лицом в ее ладони, забыв о том, что из сада все видно.

— Пойдемте подразберемся там,— смутившись, сказал Липатов, и все потянулись за ним в сарай.

Через минуту зазвенели удары молотка — Никита выпрямлял проволоку. Галя и Кузька приспособились держать ее, чтобы Никите было удобней.

— Дядя Никита, что же теперь будет? — шепотом спросила Галя.

Ничего толком не понимая, она испугалась, что из-за непонятного отказа Китаева — болтливого старичка, которого мама за глаза называла «занудой»,— вдруг прекратятся чудесные занятия в сарае.

— Что нужно, то и будет,— неохотно ответил Никита.

— А дядя Саша уедет?

— Не знаю, Галя. Откуда мне знать? Я бы не уехал.

Тут озлился Кузька. Никите хорошо рассуждать — «я бы...» Что такое Никита? А Саша — ученый. Его приняли к самому главному академику. Не явится в срок — возьмут другого.

— Конечно, поедет! — выкрикнул он, ожесточенно стукнув молотком по неподдающейся извилине проволоки.— Неужели работу терять? У него и права нет остаться, раз не позволили.

Липатов, вздохнув, поддержал Кузьку, как равного в разговоре, — да, такое место Саше второй раз не представится.

— И Люба уже документы послала в московский институт,— напомнила Кузьминишна.

— Да что, свет клином сошелся на вашем Китаеве? — сказал Кузьма Иванович. — Старая перечница он, хоть и профессор! Ты бы зашел, Иван Михайлович, к преемничку своему — неужто не уважит?

Липатов поморщился. Когда уходил из института на шахту, сам предлагал Алферова на свое место — секретарем парторганизации. А вот ведь что получилось!

— Алферов там...— невнятно пробормотал он — и вдруг оживился, засмеялся.— Ну, я к нему ключ

подберу. Когда у нас городской актив? Во вторник? Я ему там подсироплю!

На веранде до чего-то договорились. Оба встали, подержались за руки, потом Люба пошла ставить самовар, а Саша сбежал с крыльца и остановился в дверях сарая.

— Что ж, будем работать! — через силу бодро сказал он.— Решили так: остаемся до конца опытов, Лахтину напишу сам. Поверит — и без Китаева разрешит. Не поверит — тогда хуже.— И, не желая продолжать разговор, взял паяльную лампу.— Кузька, давай трубки. Да не эту, вон ту подай.

От волнения хватая не то, что нужно, Кузька с обожанием услуживал Саше и напряженно думал: почему Саша с Любой так порешили? Ведь потом Сашу могут и не принять! Почему академик вот так, за здорово живешь, поверит Саше — Китаев же не поверил! Значит, Саша сильно надеется на печку, несмотря на то, что она взорвалась?

Сунув в трубу горящие щепки, Люба ждала, пока угли разгорятся, и говорила Катерине, смущенно топтавшейся возле нее:

— Не воображай, что я жертвую собой. Решили, потому что иначе не выходит.

Обе разом обернулись, услыхав скрип калитки.

Палька Светов лихо перескочил через лужу и помчался к сараю, победно размахивая руками:

— Живем! Телеграмма послана! Все в порядке, Саша!

В тот день, отправляясь вместе с Сашей к профессору, Палька нисколько не волновался. Конечно, старик поворчит, но не откажет. Мало ли они затевали — еще студентами — всяких дел! Когда ходили ради заработка на Металлургический грузить доломит, занялись с Сашей и Липатушкой придумыванием механизации — Китаев ворчал, но в общем одобрил. Во время практики на коксовых печах они увлеклись проблемой использования тепла кокса, выдаваемого из печи,— целый месяц возились с этим, а потом делали дымовые шашки нового типа, пользуясь отходами коксового производства. Китаев ворчал, но не мешал.

Как же он может возразить против действительно важного, огромного дела?..

Профессор жил на окраине Донецка, в собственном домике с образцовым фруктовым садом, заложенным еще до революции. Заправляла всем хозяйством толстая и властная домоправительница профессора Дуся. Она угрюмо сказала, что профессор отдыхает, а будить — не ее власть. И ушла в дом, оставив Сашу с Палькой в саду. Из окон она подозрительно поглядывала, не стащат ли они с дерева грушу. Все знали, что Дуся уже много лет живет с Китаевым и помыкает им как хочет, что Китаев побаивается ее, а она его — нисколько. Но при посторонних Дуся держалась покорной служанкой, и друзья остались в саду, поддразнивая Дусю тем, что подходили к деревьям и щупали груши. Пошел дождь, а Дуся будто и не заметила, даже в окно выглядывать перестала. Наконец, Китаев вышел на крыльцо — в домашней блузе-распашонке и цветистой тюбетейке. Он воскликнул: «Что ж вы в дом не вошли?», усадил гостей на веранде и крикнул Дусе, чтобы принесла груш посочнее (Палька был уверен, что груш не будет,— Дуся считала баловством угощать профессорских учеников).

— Нуте-с,— выполнив долг вежливости, протянул Китаев.

Палька и Саша рассказывали по очереди, стараясь не замечать брюзгливых гримас профессора. Они не знали, что у Ивана Ивановича второй день неладно с желудком, что он тревожно прислушивается к его зловещему урчанию и с трудом воспринимает рассказ учеников.

Ядовито усмехаясь, он пожал плечами и сказал, что крайне удивлен. Крайне удивлен! Ну, Павел Кириллович молод и легкомыслен, но как мог Александр Васильевич не разобраться в том, что наукой давно доказано,— без предварительного дробления угля...

— А у нас шел процесс в целике и получился газ! Горючий газ! — перебил Палька.

— Но вы, кажется, сказали, что установка взорвалась?

Впрочем, чтобы поскорее кончить разговор, Китаев согласился провести опыты в институте, когда кончится ремонт. И посоветовал привлечь студентов, так

как даже бесперспективиые опыты для иих полезиы. Все складывалось как иадо. Но тут до созиаиия Китаева дошло, что его любимейший учеиик, личио им рекомендоваииый академику Лахтииу, собирается ради этих вздориых опытов...

— ...маикировать моей рекомендацией? Ставить меия в глупое положеиие перед академиком Лахтиным?!

Ои так рассердился, что забыл о тревожном урчаиии в желудке, забыл и о своем прииципе «иевмешательства». Обычио в спориых случаях ои мелкими шажками бежал в партком, требуя партийиых устаиовок, так как считал, что «учеиый в иаше трудиое время должеи прежде всего ладить с комсомольско-партийной прослойкой». Но в даииом случае ои остался иепреклоиеи.

— Стыдно! Безответствеиио! — кричал он срывающимся голоском. — Пойти иа поводу у мальчишки! Перечеркиуть свою иаучную карьеру! Нет, я вашим убийцей ие буду!

Саша выждал, пока он утомлеино затих, и сказал с беспощадиой прямотой:

— Имеиио вы, Иваи Иваиович, убиваете мое иаучное будущее. Я все равио остаиусь, потому что уехать сейчас было бы подлостью. Ваша телеграмма откроет мне возможиость прийти к Лахтииу через месяц. Без вашей телеграммы ои может ие прииять меия. Я ие ждал от вас такой жестокости и... косности.

Китаев побледнел, ио не отступил. Вероятно, он опасался, что академик посчитает его легкомыслеиным. Чем суровее возражал Саша, тем больше Китаев сердился и даже вслед, выскочив под дождь, продолжал кричать:

— Вы не остаиетесь! Не допущу!

В ииституте шли приемиые испытаиия. Алферов заседал в приемиой комиссии, Пальке с трудом удалось вызвать его.

— Ну что за пожар? — со вздохом спросил Алферов.

Сели в коридоре иа скамью. Мимо иих, почтительно приглушая шаг, проходили взволиованиые новички.

Алферов откинулся на спинку скамьи с видом усталого и доброжелательного человека, раз навсегда отрекшегося от забот о самом себе. Волнуясь и сбиваясь, Палька изложил суть дела.

— Идея, конечно, заманчивая,— протянул Алферов.— Я бы сказал — прогрессивная. Но объясни мне, товарищ Светов, видишь ты отличие нашей науки от науки буржуазной?

— Вижу, конечно! — радостно откликнулся Палька.— Им никогда с этой проблемой не справиться, это и Ленин пишет, что только при социализме...

— Да я не о том! В буржуазных странах каждый за себя,— продолжал Алферов.— Частное предпринимательство. Бизнес. А у нас — планирование. Коллективность.

— Вот мы и хотим...

— А вы разводите анархию и частное предпринимательство. Что за спешка? Тему еще не утвердили, институт ничего не знает, а вы — как частники! Тишком, в каком-то сарае...

— Да товарищ Алферов! Это же какое дело! Лениным завещанное! Всесоюзный конкурс ради пустяка не объявят!

— И так-таки вы трое все решите?

— Мы уже решили!

— Ну, Светов, зачем же бахвалиться? Сам говоришь — Китаев против. Если бы ваше решение было научно обосновано...

— Китаев стар и консервативен!

Алферов утомленно провел рукой по морщинистому лбу.

— Ох, Светов, мало у вас скромности. Мало. Партия нас учит прислушиваться к старым специалистам, а вы...

Палька с горечью припомнил партийное собрание, на котором вместе со всеми голосовал за Алферова. Считалось, что Алферов — человек скромный и работящий, к тому же менее занят, чем научные работники, и общаться с людьми ему сподручнее, отдел кадров — не лаборатория. При Липатове Алферов был заместителем, Липатов хвалился, что с ним не пропадешь — все протоколы и ведомости в порядке! Липатова отпускали с сожалением, но тогда никто не заду-

мывался иад тем, как много воодушевлення н тепла виоснл Липатов в жизнь партийной оргаиизацни, а поэтому ннкто не ждал, что при Алферове что-лнбо нзменится. У Алферова было два конька — бднтельиость н дисциплнна. Что ж, все признавалн — и то и другое нужно. С ним скучнее? Что правда то правда! Лнпатов был требователен, но он говорнл: «Давайте сделаем так...» Алферов говорнт: «Вы должны сделать то-то...» Все поннмалн, что должны. А с Лнпатовым — хотели... Впрочем, и теперь про Алферова говорнли: «Он все-таки работящий и скромный...»

— Плевать мие иа скромность! — выпалнл Палька.— Лучше нахальство, чем бескрылость! И насчет отличня наукн — не в том оно! Там — бизиес, а у иас — польза соцналнзму.

Будущне студенты нздали с любопытством прислушнвалнсь к возбужденному голосу Пальки. Алферов досадлнво морщнлся, ои терпеть ие мог беспорядка.

— Не стоит горячнться,— сказал он, вставая.— Кончнтся отпуск, мы включнм вашу тему в плаи — пожалуйста, переворачнвайте технику. Прнкрепнм вам научного руководнтеля, отпустим средства. А Мордвннов числнтся за Москвой. Даже формально я ие имею права обращаться к Лахтнну, поскольку Мордвннов уже не наш, да н тема не утверждена. Вы должны поннмать, что дисциплнна...

Палька уже не злнлся — ему стало скучио, до зевоты скучио. Обдумывая, как теперь быть, ои рассеянно слушал иазндательную речь Алферова.

— ...вместо того чтобы оправдать доверне, которое вам оказали, выдвинув вас в аспирантуру... Помиите, скоро иачнется обмен партнйных документов н суждение о каждом коммуннсте будет основываться...

К счастью, Алферова позвали в прнемную комиссню.

Выбежав нз нннтнтута, Палька заметнл, что все еще держнт в руке лнсток с текстом телеграммы, которую некому подпнсать. Простой росчерк пера мог спастн Сашу, одна подпнсь — Кнтаев...

Пальке представилось: в невообразнмо прекрасном академнческом ннституте седовласый Учеиый Секретарь докладывает еще более солндному и се-

довласому Академику, что вновь зачисленный аспирант Мордвинов не прибыл в срок и поэтому... Но тут Академику подают телеграмму — «аспирант Мордвинов выполняет чрезвычайно важную государственную задачу...». «Надо уважить просьбу профессора Китаева»,— говорит Академик и пишет на телеграмме: «Разрешить!»...

Так могло бы быть...

Почему могло бы?

Будет!!!

И как мне раньше не пришло в голову! Плевал я на этих сухарей! Пока хватятся, все будет сделано!

Не терзаемый никакими сомнениями, Палька опрометью бросился на телеграф.

Много позднее, вспоминая этот вечер, никто не мог понять, почему так легко, без расспросов, приняли сообщение Пальки. Оттого ли, что всем очень хотелось поверить? Или Палька сумел отвести расспросы, хвастливо заявив: «Все дело в подходе! Надо уметь...»

Как бы там ни было, все шумно обрадовались и с новым жаром взялись за работу. Делали то же, что полчаса назад, — но молотки выстукивали победный марш, проволока послушно выпрямлялась, трубки сразу входили в скважины... Палька дурачился, затевал возню с детьми — и даже Галинка смотрела на него, как на героя.

Пожалуй, серьезнее всех в этот вечер была самая маленькая участница опыта. Она плохо понимала, в чем отказали Саше и не отказали Светову, но она поняла, что начатое дело будет продолжаться благодаря Пальке...

Она ненавидела этого Пальку, хотя он относился к ней добрее всех, придумывал для нее работу и провожал до трамвая, если уже стемнело. Почему? Из-за мамы?.. Мама несколько раз приезжала за нею и сама застревала тут. Старики Кузьменко уважительно говорили с мамой и спрашивали о здоровье «вашего супруга», то есть папы. Не любила маму только сестра Пальки, она дулась и говорила колкости. Почему?

Галинке стыдно было и неудобно, когда приходила

мама. Все держались иначе, чем обычно, и мама тоже — голос у нее был не домашний, слишком оживленный, и улыбалась она неестественно — совсем так, как улыбалась иногда перед зеркалом, стараясь не морщить лицо.

Приходы мамы нарушали жизнь пленительного мирка, где все много работали и много смеялись, громко спорили, ругались и постоянно что-нибудь переделывали, где не было старших и все подчинялись одному командиру — Решению. Решение было существом таинственным и увертливым, оно «не давалось», его искали в верхней комнатушке, куда Галинка пробиралась для воспитания храбрости,— комнатушка принадлежала покойнику. С дрожью поднимаясь наверх, Галинка замирала на темной лестнице и слушала, как спорят три человека, ищущих Решение, — лохматый Липатушка, симпатичный Саша и Палька. Она продолжала ненавидеть Пальку, но втайне восхищалась им, потому что он часто «хватал за хвост» это самое Решение, и все скатывались вниз по скрипучей лесенке — в сарай, где сразу начиналось «столпотворение вавилонское». Что такое столпотворение и почему оно вавилонское, ни Галинка, ни Кузька не знали, но означало оно, что всё переиначивают, разбирают и собирают, что-то припаивают и подтачивают, топчась вокруг печки.

По-настоящему Галинка привязалась только к Никите. Он самый сильный — его зовут, когда нужно что-нибудь поднять или передвинуть. Он веселый и простой — когда он тут, кажется, что детей не двое, а трое. С Галинкой он разговаривает как с равной и называет ее «подружкой». Мама говорит — типичный рубаха-парень с чубчиком. Галинке нравится его чуб — не чубчик, а волнистый светлый чуб, спадающий на изогнутую бровь. Нравится и глаз под этой бровью — подмигивающий, яркий.

Удивительно хорошо вечерами в сарае. В саду темнеет, потом вылезает в небо луна — с каждым днем она все позже вылезает и становится все ярче и круглее. А в сарае горит керосиновая лампа — уютная, потрескивающая внутри. Все предметы и люди отбрасывают на стены смешные тени, особенно смешная тень у печки — напоминает носорога. Сидишь

в уголке и знаешь, что давно пора домой, мама будет ругать, а папа скажет, что отправит ее в Сухум, а то «совсем одичала здесь»...

В этот вечер Галинка никак не может уйти. Все сегодня особенно дружные и добрые. Звонко повизгивает напильник в руках Липатова. Никита сверлит отверстия в глыбе угля — брови нахмурены от старания, сверло шипит и подвывает, но и этот звук Галинке нравится. Люба и Катерина наматывают проволоку и тихонько поют:

Мы простимся с тобой у порога,
И, быть может, навсегда...

Помолчат, потом снова начинают:

Мы простимся с тобой у порога...

— Да проститесь наконец, девушки! — кричит Палька. — Сколько можно?

Все смеются. А Палька начинает припаивать к трубке «колено» и зовет Галю подержать трубку. Кузьке завидно, он подходит и тоже держит.

— Вырасту — буду работать в подземной газификации, — говорит он.

Теперь Галинке завидно, что он высказал это первым.

— И я!

Ей нравится название — подземная газификация. Важное название. «Ты где работаешь?» — спросят инженера Галину Русаковскую, а она гордо ответит: «В подземной газификации». Да, но к тому времени не будет ни этого сарая, ни этой печки, а будут станции с кафельными плитками, как в ванной. Неинтересно...

— Нет, я буду делать что-нибудь другое,— говорит Галинка и представляет себе какой-то другой сарай и какие-то другие, диковинные сооружения.— И поеду туда, где еще никто не был.

Она краснеет — Палька перестал паять и очень внимательно смотрит на нее.

— Правильно, Галя! — говорит он по-товарищески. — Знаешь, кем тебе надо стать? Изыскателем!

Галинка не знает, что это такое. Спросить — или не спрашивать? Выручает Кузька, у него вопросы всегда вылетают без задержки.

Палька продолжает паять и вразбивку, между делом, объясняет, что такое изыскатель. И вдруг выясняется, что Никита был изыскателем и жил в палатке, пока его не уволили из-за стервы Сони.

— Я был мастером по бурению, — говорит Никита, пошевелив бровью.— Вот как сейчас, только скважины в сто раз больше. А теперь кончу техникум и буду геологом. То есть тем же изыскателем, только в сто раз умней.

— И я буду геологом,— решает Галинка и представляет себе, как она карабкается по горам рядом с Никитой и он называет ее «подружкой» и хвалит ее, потому что она ничего не боится.— Не Гео, а геологом-изыскателем. А папа мой Гео. Химик.

Саша отрывается от какого-то сложного подсчета.

— У твоего папы самая умная специальность из всех Гео. Все Гео идут по поверхности, а он забирается в самую сердцевину, можно сказать — в сто раз глубже, чем все остальные Гео.

Галинке приятно, что у папы такое умное Гео, но все-таки папино Гео скучное, папа все время сидит за столом, значит, сам ни в какую сердцевину не забирается. Изыскатель — это куда интересней. Если бы удалось убежать на воскресенье в экспедицию!

Но тут раздается далекое:

— Га-лин-ка! Га-лю-у!

Так мама оповещает о себе.

Палька пятерней приглаживает волосы и мчится за калитку. Когда он возвращается с мамой, у него чужой, неестественный вид и нелепый смешок, он суетится и норовит задержать маму здесь. На маме одно из самых красивых платьев и туфли с высокими гранеными каблуками, она садится на виду и палочкой счищает с них налипшую грязь. Палька смотрит на ее туфли и забывает на полуслове, о чем начал говорить.

Галинка забилась в темный угол сарая и насупилась. Она видит, как вся подобралась Катерина — вот-вот скажет что-нибудь злое. Липатов начинает издалека разговор о поездке. Галя боится — если он скажет о Галиной просьбе и мама не разрешит, потом уж никто не согласится взять ее.

И вдруг все оборачивается чудом, настоящим чудом!

— И мы с вами! — восклицает мама.— Олег Владимирович давно мечтает навестить Митрофанова, это же его друг. Едем! Едем! Олег Владимирович возьмет в институте машину!

Галинка задыхается от восторга. Если поедут мама и папа, ее тоже возьмут — это само собой разумеется. Хватит ли места в машине для Кузьки? Ну вот, теперь и Палька увязался!..

— Интересно,— говорит Саша.— По-видимому, нам торопиться некуда? Все решено, можно отдыхать?

Липатов смущен. Палька недовольно бормочет:

— Я тебе, кажется, устроил отсрочку.

И тут выступает вперед Катерина.

— Дуришь, Саша. Посмотри, на кого вы похожи! Себя заморил и Любу заморил. Сколько ночей мы тут провозились? А ведь и мне, и Любе, и Липатушке — с утра на работу! Не спим, не дышим. Как хочешь — в субботу закрываю сарай на замок.

Люба бросается к ней на шею и неожиданно начинает плакать. Саша растерянно топчется рядом. Кузьма Иванович говорит:

— Довели девку, изобретатели!

Теперь Галинка боится одного — хватит ли мест в машине. Но мама сегодня прямо удивительно добрая!

— В институте есть крытый грузовик,— вспоминает она. — Фургон со скамейками. Когда я была комсомолкой, мы ездили в таком на воскресники — копать траншеи для водопровода.

Кажется, все поражены не меньше, чем Галинка,— мама была комсомолкой и копала траншеи для водопровода!

— Олега Владимировича, как профессора, мы посадим в кабину. А сами — в кузов! И всю дорогу будем петь песни!

Мама смеется, увидев изумленное лицо Пальки.

— Пошли домой, Галя! Ты совсем отбилась от рук.

Улица — вся голубая. Луна очень яркая и кривая — как арбуз с подрезанным бочком.

— Нет, не надо провожать нас. Мы с Галей прогуляемся и помечтаем вдвоем при луне.

Галинка злорадно желает Пальке спокойной ночи. Забирается под мамину руку и шагает рядом с нею, прижимаясь к ее теплому боку и прислушиваясь, как тихонько шуршит на ней шелк.

— Тебе никогда не кажется, Галюнька, будто все кругом — незнакомое, как во сне, и ты — уже не ты, а кто-то другой?

— Иногда, — неуверенно отвечает Галинка, и тотчас ей начинает казаться, что этой дороги она никогда не видала и она — уже не она, а кто-то другой.

— Посмотри, у луны одна бровь выше другой и глаз прищурен, видишь?

— Как у Никиты. Подмигивает.

Мама смеется и крепко обнимает Галинку. Идти так неудобно, зато приятно.

— А ты знаешь, дочка, что жить — замечательно хорошо?

После этого мама молчит до самого трамвая. Улица голубая, небо голубое и мама — голубая, незнакомая, очень любимая.

2

Отец, слава богу, совершенно устранился, характеристику написала Липатова. Практика кончалась, через несколько дней — в Москву!

Игорь с удовольствием предвкушал встречи с товарищами — у каждого куча впечатлений. И есть чем погордиться перед ними. Думал он и о встрече с матерью — она собирается в Углич к больной сестре, но ждет его возвращения, чтобы «наладить» сына так же, как она всегда «налаживает» отца после очередной экспедиции. Приятно и лестно. Нужно будет поскорее написать содержательный отчет о практике, немедленно приняться за диплом и защитить его с отличием. А там — самостоятельность где-либо на гидростройке, обязательно — на большой, где есть масштаб, где можно развернуться! Честолюбие? Ну и пусть! Чувствую я что могу? Чувствую. Отец опытен и умен, а делал массу ошибок, тут недосмотрит, там забудет. А я все примечал — и ему подсказывал. Я знаю, *как* нужно. Так и дайте мне проявить себя!

В характеристике записано: «...умение применить свои знания... организаторские способности... справлялся с заданиями в сложных условиях... заслужил уважение подчиненных и товарищей...» Такую оценку не каждый приносит с практики.

Подписи еще не было — перед тем как подписать Липатова всегда проводит назидательную беседу.

Аннушка была в кернохранилище — готовила образцы пород для отправки в центральную лабораторию. Она брала кусок камня или затвердевшей глины, зачищала ножичком и передавала Леле Наумовой, которая сидела рядом с нею на корточках. Леля ловко пеленала образец марлей и опускала его в ведро, стоявшее на примусе. Готовые образцы выстроились на скамейке в ряд, поблескивая застывшим парафином.

Когда вошел Игорь, Леля поднялась и, еле кивнув, вышла. Игоря поразила ее сухость, а еще больше — то, что она тут делала: подготовка образцов не входила в обязанности коллектора.

— Обидел девушку — и зря,— сказала Аннушка, освобождая место на скамье для Игоря.— Было бы невозможно — ну, тогда другое дело. Но всего на три дня... неужто не нашел бы, кем заменить ее? А у девчонки все планы рухнули. Сам ведь знаешь — любовь. Трудная любовь. И девка трудная. Зачем поперек становиться?

Игорь примирительно пошутил — экспедиция не загс, а начальник группы — не сват.

— Да ты садись, — сказала Аннушка и уселась напротив Игоря, сложив на коленях маленькие руки с набухшими венами. — Потрудился ты неплохо, но... Вот ты говоришь — не загс, не сват. А ведь если придется тебе руководить людьми — без этого не обойдешься. Иной раз и сватом и братом сделаешься, мужа с женой судить придется, ссоры друзей улаживать... Этого ты пока не умеешь. А без этого ты не руководитель.

— На меня люди не обижаются.

— В твоей группе у одной Лели нужда была в помощи, ее одну ты и обидел. А ведь она золотой коллектор! Без таких, как она, у самого распрекрасного начальника не пойдет дело.

— Учту, — сдержанно ответил Игорь, чтобы не разводить долгих разговоров. Черт его дернул отказать Лельке в пустяковом отпуске!

— Небось думаешь — по-бабьи рассуждаю? Нет, Игорек, по-партийному рассуждаю и — по-шахтерски. Когда человек работает, на душе у него должно быть спокойно. Ну, и хватит об этом! — сама себя прервала Аннушка.— Теперь о Сторожеве. Ты с ним не ладил, да с ним и нелегко поладить. Ворчливый человек, желчный, придирчивый. Но механик он прекрасный, над техникой трясется. А ты с ним цапался из-за каждой мелочи! Сквалыгой обозвал!

— Так ведь по делу. Из-за жалкой трубы...

— Знаю, что не без дела. А только цапанье и делу помеха. Человек больной, его щадить надо.

— Да что у нас, ясли? Санаторий для неврастеников?

— Нет, Игорек, обычный коллектив. Небольшой коллектив, работающий в трудных условиях. Вот отец твой это хорошо понимает.

Аннушка вздохнула и совсем тихо сказала:

— Ты и отца не бережешь. А это — стыдно.

Игорь изменился в лице, хотел ответить и — промолчал. Не может он с подчиненной отца обсуждать его недостатки! Никто не знает, как ему горько и больно...

Аннушка деликатно отвела взгляд, размашисто подписала характеристику. Не возвращаясь к началу разговора, уточнила с Игорем все его деловые удачи и промахи, — оказывается, она приметила многое и сейчас, подписав официальную оценку его работы, на словах дополнила ее другой, более подробной.

— Это — по-большому счету, — сама определила она.

Когда позднее его спросили, получил ли он все, что полагается, Игорь с иронической усмешкой ответил:

— Сполна!

Проповедь Липатовой испортила удовольствие от письменной характеристики. И задела. Будь это кто-нибудь другой, Игорь отмахнулся бы. Но Липатову он уважал. Она была требовательна и тактична — если заметит упущение, никогда не сделает замечания при

всех, а отчитает с глазу иа глаз и тут же объясинт, как следовало поступить. Или это и есть то, чего, по ее мнеиию, ие хватает Игорю?..

Есть о чем подумать. Товарищи говорили про него: «Игорь — правильиый парень». Без иасмешки, хотя порой с раздраженнем. Игорь отвечал: «Да, правильный. Ненавижу людей, у которых принципы и поступки не в ладу». У иего они были в ладу. Он хорошо учился. Не пьяиствовал. Девушек не обнжал: случалось, поступал жестковато, но без подлостн. В дружбе был открыт, весел, для товарищей ничего не жалел. Считал себя идейным комсомольцем и презнрал тех, кто живет без убеждений. В институте считалн, что уж кто-кто, а Игорь Митрофанов будет иастоящим гндротехником, из тех, кому далеко шагать. И вот — первая самостоятельная работа. Всего-то — две буровые вышки, полтора десятка подчнненных... Казалось, справился блестяще, во всяком случае — иамного лучше, чем Сысоев, второй практнкант. А вот оказалось — одио ие сумел, другое упустнл. Задание выполнил, а с людьми — осечки. Липатова ии слова ие сказала о Никите, ио Игорь сам поинмал, что Никита — его пронгрыш. Взял под свою опеку и — проморгал. Сторожев с его характером — вопрос иной. Подыгрывать его капризам — увольте. Попадется мие такой — илн обуздаю, или... Да нет, обуздаю! Начальиику это легче. И поиять его горькую душу постараюсь, если работиик ценный, — придется. Доброты, что ли, во мие мало? Вероятио. Нет, что за сантименты? Почему надо быть добрым? Надо делать дело и требовать, чтобы людн делали его как можио лучше.

Остальиое — жеиские штучки. Разгульная Лелька влюбилась, а мие на три дня остаться без коллектора?! Ничего с ией ие случилось. Успеет любовные дела уладнть. Это и отец говорил — пусть поскучают.

Отец?.. Легко говорить — не бережешь. А если я вижу, что ои увлекся химерой, а дело запускает? По-сыновьи покрывать его промахн? Нет уж!

— Игорь! Иго-ре-ек!

Отец... Что опять стряслось?

— Игорек, к иам едут гости! Русаковские и Липа-

тов с целой компанней! Выводи рыдван н мчнсь на станцню, тащи угощение!

Отец сняет. Профессор Русаковский — его слабость.

— На сколько душ заготовить харч?

— Я не разобрал точно, только там н детн, и твой Никнта, человек восемь,— на грузовнке едут.

— На грузовнке?..

Игорь вспомннл жену профессора. Красоточка. И веселая. Даст бог, отец ударнтся в философню с мужем, а жена предпочтет погулять...

Как всегда, когда у него рождалось желанне поухажнвать, Игорь чувствовал прнлнв энергнн. И все ладнлось. Рыдван сразу завелся. В чайной нашлось прнлнчное внно н кое-что нз закусок. На базаре купнл уток н кучу всякой зеленн, кавуны, перснкн. Сам заказал поварнхе завтрашний обед — рассольник с потрохами н утка с яблоками. Для экспедицнонных условнй — шик!

— Действнтельно, органнзаторскне способностн!— сказал отец.

К ужнну тоже хватнло всякой снедн. Игорь сам накрыл стол в палатке отца, откуда вынеслн койкн.

— Папа... Ннкиту, конечно, не считать? Пусть с Лелькой?

Отец вскннулся, хмуро поглядел на сына.

— Именно — считать. С Лелей. Вдвоем.

— Ты себе представляешь — Русаковскне... и Лелька!

Отец жевал губамн — прнзнак сильнейшего недовольства.

— Олег Владимнрович — умнейший человек,— сказал он. — Пожнвешь — узнаешь: чем больше человек, тем проще ведет себя. А жена его... — он опять пожевал губамн.— Она будет рада таборной обстановке. И почему я должен думать, подойдет ли ей компания, а не наоборот — подойдет ли она к компаннн?

Игорь засмеялся. Резонно! Пусть будет табор как табор. Подговорить бы Лельку спеть свои залнхватскне песенкн!..

Вышли встречать гостей за пределы лагеря, в степь. Аннушка надела белую блузку, распушнла свон начисто отмытые, светлые, выгоревшне за лето

волосы — они разлеталнсь цыплячьнм пухом вокруг ее обветреииого, дочерна загорелого лнца.

В стороне, на старом кургане, охватив колеии рукамн, неподвнжио сидела Лелька. В красной кофточке н сандалиях на босу ногу, надвинув на глаза шнрокополый бриль, оиа не отрываясь смотрела в ту почтн неразлнчимую точку горнзонта, где должеи показаться грузовик.

И вот ои появился.

Переваливаясь на ухабах размытой дорогн н оставляя за собой хвост бурой пыли, он медленно приближался, а иа ием прнближалась песня, которую разнес по всей стране рабочий паренек Максим из иедавно появившегося фильма:

Крутнтся, вертнтся шар голубой,
Крутнтся, вертнтся над головой...

Матвей Денисович тяжело побежал иавстречу.

Грузовик остановнлся.

В фургоие азартно заканчивали песию:

Вот эта улнца, вот этот дом...

Первым соскочил Липатов и заспешнл к Аниушке. За ним выпрыгиул Никита, через головы встречающих сразу прнметнл иеподвижную фигурку под брилем — н перестал петь. Палька гаркиул над его ухом:

Вот эта барышня, что я влюблен!

И спроснл, подмигивая:

— Она, что лн?

Никнта не ответил. Всю дорогу посмеивался шуточкам насчет предстоящего свидаиия, а тут оробел. Не побежал к кургану, а протяиул руку Катерине:

— Вылезай, не бойся, я прнму.

Игорь подходил не спеша, приглядываясь, что за компання приехала. Никнта... стесняется, чудак! Какая-то женщииа. Палька Свегов. А вот и красоточка. Хороши ножки, ничего не скажешь!

Он ускорил шаг и вдруг остановнлся, густо покраснев.

Перед ним, отряхивая пыль с жакета, стояла Катериıа.

Черные косы по-новому закручены вокруг головы — высоко поднятым венцом, отчего внд у нее еще

более велнчавый. Статиая, с пышной грудью н боками, с твердо поставлениымн ногамн. Нн в позе, ин в движеннях — ннкакого кокетства: смотрн, если хочешь, я сама по себе. Еще похорошела н опять иеузнаваемо нзмеиилась.

Игорь не нашел слов, чтобы прнветствовать ее. Молча поздоровался с нею и с другнми, молча пошел рядом с Катерной...

Ннкнта отстал. Когда Катерниа оглянулась, он уже сндел на кургане, но не возле девушки, а иа почтнтельном расстояннн. На губах Катернны промелькиула улыбка — н тотчас отразнлась на лице Игоря.

— Любовь, — сказал ои.

Оиа впервые взглянула на иего с жнвым интересом, ио интерес относнлся ие к иему, а к той парочке.

— Девушка — хорошая?

Игорь ответнл словами, которые уднвнли его самого:

— Еслн любовь настоящая — значнт, н человек хорош.

— Я хочу познакомнться с нею.

После этнх слов Игорь иастойчнво звал Лелю с Ннкитой ужииать, ио они смутились и убежали в столовую, где скоро началось веселье. Из палатки начальннка было слышио, как хохочет молодежь, а потом донеслась песия — девичнй голос выпевал слова задорные, смешиые, ио звучало в этом голосе ликованне.

— Лелька поет, — сказал Игорь.

Катернна рассеянно прислушалась. Она ела мало, смеялась редко, думала о чем-то своем. За столом господствовалн Матвей Деннсович н профессор, онн спешили иаговорнться после долгой разлуки.

Русаковская держалась сдержанно. Нетрудио было заметнть, что Палька Светов совершенно прнсох к ией, но теперь это только обрадовало Игоря. С помощью Палькн он уговорил обеих женщин поехать после ужнна купаться.

— И мы! И мы! — закрнчалн детн.

Это решило вопрос о профессоре н Матвее Денисовнче — для них мест в машнне не хватнло.

Выводя рыдваи, Игорь думал о том, что посаднт Катерниу рядом с собой, — и злился на себя и иа иее.

Наваждение какое-то! И что мне она? Зачем? Шахтерская мадонна!

Как нарочно, в небо выползла чуть скошенная, рыжеватая луна, и сразу все стало прекрасным — и палатки лагеря, и неоглядная степь, и уходящая вдаль дорога, теряющаяся среди степной глади.

Катерина сидела рядом с Игорем. Широко раскрытые глаза, плотно сжатые губы. Не заговори с нею — сама и не подумает.

— Какое у вас лицо, такими, как вы, пишут мадонн,— сказал Игорь и про себя усмехнулся — она, должно быть, и не знает, что такое мадонна. Как она поведет себя — притворится, что поняла? Или промолчит?

— А я никогда не видала мадонн,— просто сказала Катерина. — Я ведь поселковая, шахтерка. Какие они — мадонны?

— Красивые и строгие. Как-никак — божья матерь.

— Лестно, — усмехнулась Катерина. — Шахтерская мадонна!

Игоря бросило в краску.

За их спинами, уместившись вдвоем у косого оконца, Галя и Кузька пытались разглядеть, где они едут, и принимали колодезные журавли дальнего села за буровые вышки. Притиснутые друг к другу в тесноте и полумраке, Палька и Татьяна Николаевна без умолку болтали между собою и с детьми, пока их руки разговаривали по-своему — Палька находил и сжимал руку ненаглядной, рука то решительно отталкивала его, то покорно замирала, то шутливо выскальзывала из его пальцев и тут же снова попадала в плен...

Над запрудой разлив воды чуть покачивался, серебристыми змейками обозначая несильное течение. Темные деревья подступали вплотную к воде, только на изгибе реки образовалась неширокая отмель. От этого естественного пляжа наискось тянулась по воде лунная дорожка, дробясь в беспокойном водяном гребне, перебегающем через верх плотины.

Первыми бросились в воду ребята. Кузька сразу поплыл саженками, вздымая фонтаны сверкающих брызг. Игорь и Палька у самого берега учили пла-

вать Галинку, украдкой выглядывая своих спутниц — что оии там замешкались?

Татьяиа Николаевна подбежала к воде и остановилась, пробуя ее кончиками пальцев. В изящном купальном костюме, каких в Донбассе и не видывали,— она знала, что ее разглядывают, и нарочно медлила. Пальке хотелось потяиуть ее за руки, затеять возню, да смущала сестра. Но вот Катерина твердой походкой прошла мимо Татьяны Николаевиы и, не раздумывая, бросилась в воду. Ненаглядная осталась одна. Было бы нелепо ие крикиуть ей: «Трусиха!» — и ие выбежать за нею...

Игорь и не глядя видел статную фигуру, так просто, без жеманства вошедшую в воду. Действительио мадонна! Ее величавая голова высоко поднималась над водой,— иаверио, ие хочет замочить косы.

Игорь поплыл рядом.

— Как вы тихо плывете. Наши парни всегда на скорость плавают, брызги до неба.

— Мне приятней с вами.

— Со мной? А ну, давайте!

Оиа нырнула и исчезла. Чуть колебалась гладь воды — луна покачивалась на ней, дразня обмаииыми бликами. Игорь не умел плавать под водой и ие знал, в какую сторону плыть.

Катерина выныриула далеко сбоку, засмеялась и поплыла против течеиия, прочь от Игоря. Игорь догнал ее.

— Косы замочили.

— Не беда, высохнут.

— А меия зачем бросили?

— Почему бросила? Плыли бы за мной. Или не умеете?

— Я бы вот так плыл и плыл рядом с вами, Катериыа.

— И долго проплыли бы?

Ои ие успел ответить — она снова нырнула, показалась у самой плотииы, помаиила его — и ушла под воду. Ои поплыл иаугад, а она уже вышла на берег, растерлась полотенцем и ушла за кустарник — одеваться. Игорь тоже вышел и все поглядывал искоса на ее белеющее тело, иа взлетающие иад кустами руки...

Уже одетая, Катерина села на берегу и распустила косы.

Игорь сел рядом. Густые волосы спадали на ее плечи и спину, одна мокрая прядь легла на грудь, приоткрытую низким срезом сарафана. Игорь зажмурился. Разум требовал — остановись! Но справиться с собою не удавалось.

— Катерина, меня тянет к вам. Не знаю, нужно вам или не нужно, но что есть, то есть.

— Ну зачем вы? — с досадой сказала Катерина.— Так хорошо было.

— А стало хуже?

Катерина начала заплетать косы. Игорь смотрел, как ловко ее пальцы перехватывают и свивают мокрые пряди. Одна коса повисла плетью. Потом — другая. Потом руки взлетели и точно уложили косы венцом, энергично протыкая их шпильками.

— Я не знаю, — вдруг сказала Катерина с грустным недоумением. — Не знаю. Только не надо.

Она была права. Игорь сам не понимал, что такое на него нахлынуло. Почти незнакомая, из незнакомой среды, недобрая и неприветливая девушка со странно изменчивыми настроениями... Скажи она: «И я полюбила вас» — что он будет делать с этой любовью? Но желание дотронуться до нее было так сильно, что он взял ее за руку, заранее догадываясь — сейчас она выдернет руку. И она выдернула ее, нахмурив брови.

— Я полюбил вас, Катерина. Что мне делать с этим?

— Вы ж меня не знаете совсем. И обо мне ничего не знаете. Как у вас быстро все!

— Я сам удивлен, — сердито отозвался Игорь. — Но, к сожалению, это так.

Катерина внимательно посмотрела на него и сказала другим, печальным и добрым голосом:

— Что ж, буду помнить.

Встала и пошла к воде звать детей — пора ехать!

Палька уплыл с Татьяной Николаевной на другой берег. Катерина вздохнула и стала выкликать их — пора ехать! Скорее, скорее уехать от этой серебряной воды, от этого лучащегося неба, уехать, остаться одной, закрыть глаза и уши...

Когда они возвращались в лагерь, рыдван зачихал,

зашипел и остановился. До лагеря оставалось километра два. Татьяна Николаевна решила идти с детьми пешком, с ними пошел и Палька. Не спрашивая, хочет ли она остаться с ним, Игорь попросил Катерину посветить, пока он разберется, что случилось. Катерина посветила. Они говорили только о диковинной машине, собранной Игорем. Ему хотелось, чтобы Катерина похвалила его, но она спросила, сколько времени он провозился, и усмехнулась, узнав, что больше месяца. Когда мотор кое-как заработал, сели и поехали.

Игорь не пытался заговаривать с Катериной, только радовался, что она еще тут, рядом, и он сможет видеть ее весь завтрашний день. Что будет потом, он не знал.

Они уже приближались к лагерю, когда Катерина заговорила сама:

— Я очень любила одного человека. Он погиб. В шахте.

Пристыженный, Игорь мгновенно припомнил тот первый вечер у Кузьменок и молчаливого парня, что крутился возле них и показался таким незначительным... брат Никиты! И как же я, болван, не догадался! Почему не расспросил о ней, вместо того чтобы некстати приставать!.. Но ведь что случилось — случилось, а жизнь продолжается, и она...

Будто угадав его мысли, Катерина сказала еще суровей:

— У меня будет ребенок. Я должна вырастить его ребенка. Ничего другого я не хочу. Вот вы заботитесь — косы намочила. Мне приятно. Но у меня этого никогда не будет, чтоб кто-то заботился. Мне нужно быть как камень. Вот и все. И ради бога, не говорите ни слова.

3

Все, кто видел, как Аннушка Липатова благоустраивала свою палатку, как она мило охорашивалась перед встречей с мужем,— все радовались за нее и старались ничем не помешать. В экспедициях такие события ценят.

Когда Липатовы под ручку прошли к себе, молодежь из соседних палаток так и брызнула во все

стороиы и воспользовалась чудесной ночью, чтобы подольше ие возвращаться домой.

Все способствовало любовной идиллии. Но ндиллня была начннеиа взрывчаткой иакопившнхся обид и вот-вот могла взлететь иа воздух — стоило только запалить фитилек. Оба старательио обходили взрывоопасиые вопросы, чтобы ие портить радость свидаиия. Липатов твердо решил отложнть серьезиый разговор иа завтра, и еслн сама собою вплелась в его иежиые речи подземиая газнфнкация угля, то лишь потому, что тема была безопасной и счастливой.

— Ты увидишь, от иашего проекта начнется громадиейшее дело,— говорил Липатов, положнв голову иа колеии Аннушки и снизу вверх глядя в ее милое лицо. — Ребята еще сами ие поиимают, какая это штука! Не на месяцы — иа годы труда! — И добавил: — Скоро иам поиадобятся геологн — вот тогда ты сможешь иайтн себе постояниое и важное дело дома!

Аниушка ие представляла себе работу геолога в условиях подземиой газификацни — это же совсем иной характер изысканнй, наверио?

Робкий огоиек косиулся фитиля, и фитиль иачал тлеть — то ли разгорнтся, то лн погасиет.

— Подучишься иемиого, изменншь профиль,— мирио сказал Липатов и чуть дуиул при этом на тлеющий фитнлек.— Все равио пора коичать с кочевой жизиью.

Аииушка прикрыла фнтиль ласковой ладошкой.

— Конечио. Так грустио жить врозь, я ужасио соскучилась без тебя и без Иришки! Я так мечтаю об отпуске! Вероятно, в иоябре нли декабре. И по крайией мере иа два месяца.

Ладошка иеосторожио соскользиула с фитиля, и пламя заиялось.

— В декабре? Я с ума сойду до декабря! — воскликиул Липатов. — Не могу я так больше! Как собака в конуре!

— Два-три месяца, Ванюша! Онн пролетят быстро. Если мие удастся заияться обработкой матерналов дома...

Но Липатов уже раздувал пламя протеста:

— А ты зиаешь, что я мужчина и не могу жнть

таким монахом? Палька смеется — муж-заочник! Я... я... я за женщинами начал ухаживать! Вот!

Он сидел перед нею — взъерепенившийся, с подчеркнуто грозным, преступным видом.

— Мне очень больно, Ванюша. Очень. Я не ждала, что ты... Но ведь у нас обоих — свое дело, я никогда не связывала тебя, никогда не покушалась...

— Покушалась! — рявкнул Липатов — и вся идиллия взлетела на воздух.— Покушалась с первого дня! Я сидел один, как дурак, пока ты училась, пока ты ездила черт знает куда! Я лишен ребенка! Лишен жены! Лишен домашнего уюта! Ты покушалась на главное — на семью! Какая, к черту, семья? Нет у меня семьи! Я брошен, ребенок брошен, придешь домой — пусто, грязно, хоть кричи, хоть напивайся! Да, да, сижу один и пью! И сопьюсь! Уже спиваюсь! Вот!

— Да как же ты? — пробормотала Аннушка, с ужасом глядя на него, потом отстранилась и сказала своим непреклонным голоском: — Знаешь, Ваня, если ты начал пить, я к тебе совсем не вернусь. И дочку не привезу. Зачем мне... пьяница?

Пламя сразу сникло. Чуть тлели последние головешки семейного бунта.

— Да какой же я пьяница, дуреха! — сказал Липатов и потянул ее к себе.— Что ты вообразила?

— Ты же говоришь — спиваюсь, ухаживаю за женщинами...

— Так это ты меня вынуждаешь!

Она обняла его, поцеловала, пригладила его взъерошенные волосы,— и сразу он стал ручным. А она старательно заглаживала остатки бунта, взывая к другому, покладистому и сознательному человеку, существовавшему под оболочкой обиженного мужа.

— Я ведь горжусь тобой, Ванюша! Горжусь, что мы построили семью на полном равенстве, на взаимопонимании... Я всегда говорю нашей молодежи....

— Но нельзя так годами,— жалобно вставил он.— Семья — а дочка брошена одна... — С последней вспышкой угасающего бунта вырвалось —...у этой старой дуры!

— Тетя Соня — старая дура?!

— Не знаю, может, она и умная, но ты бы слышала, как Иришка ругается во дворе с мальчишками!

— Иришка ругается?
— Еще бы! Безнадзорный ребенок, брошенный матерью!
Аинушка всхлипнула и прижалась к мужу.
— Ну хорошо, это ужасио, все брошеиы. Но что же мне, оставнть экспеднцию, обмануть доверие, стать домашней хозяйкой? Коммунистке, геологу с иеплохнм опытом — все бросить сейчас, когда вся страиа... когда геология, как ннкогда...
— Нет, коиечио, — испуганио пробормотал Липатов — тот, второй, сознательный н самоотверженный Лнпатов, который когда-то клялся не стеснять свободу комсомолки Аннушки и давно внушил себе, что строительство социализма требует жертв «по семейиой линии».
— А знаешь, Матвей Деиисовнч скоро поедет с докладом в наркомат, и вопрос о передвижке нашей реки...
Так Аинушка увела разговор с опасиого направлеиия в привычное русло, где всякнй буит ударялся в обкатанные, непроиицаемые берега.

Матвей Деиисовнч увел из лагеря — ото всех подальше — своего друга, перед которым ие боялся выглядеть сумасбродом.
Стоя посреди освещеиной луиою степи, Матвей Деиисович палкой чертил карту — вот Сибирь и ее громадные реки, сбрасывающие воды в Ледовитый океаи, вот палимая солицем, безводная Средняя Азия, вот Тургайское плато и узкнй гребеиь Тургайских ворот — взорвать этот гребеиь илн проложить туинель, и массы воды потекут в пустыии... Задача — граднозиа, потребует значительиого труда и средств, ио только в ней — решеиие для безводных пустынь, жаждущих влаги, да и для Каспийского моря — вы знаете, как быстро мелеет Каспий?
— Интересно, что такая дерзкая идея возникла нменио теперь, — задумчиво сказал Русаковский. — И в науке и в технике сейчас — бесстрашиое время. Человек подошел вплотиую к управлеиню прнродой и даже к измеиению ее. В химин мы уже на пороге такого владення веществом, когда мы будем созда-

вать по своей воле и потребности все материалы, какие нам нужны, и в том качестве, которое желательно. Перспективы безграничны. В механике можно предвидеть всеобъемлющее распространение автоматики — тут тоже перспективы захватывающие. Полеты в стратосфере — технически решенная вещь. Принципиально решены и полеты в космос. Вероятно, возникнет и бытовая авиация — нечто вроде авиавелосипеда. Физика уже сейчас по своей подготовленности может поставить задачу создания искусственных облаков, искусственных дождей. Можно предвидеть, что будущие тепловые установки будут питаться теплом земных недр, теплом, извлеченным с двадцати-тридцатикилометровой глубины. Неважно, сегодня это будет решено или через несколько десятилетий, важно, что такие задачи уже в пределах возможностей науки.

— А поворот рек в новые русла? — нетерпеливо перебил Матвей Денисович.— Тут и научных затруднений не предвидится, тут все опирается на уже решенные научные и технические задачи! Дело — в экономике, в организации...

— И в своевременности,— вставил Русаковский.— Пока что это — прекрасная мечта.

— Мечта? Нет! Народнохозяйственная необходимость и целесообразность.

— Но ведь не сегодня же? — осторожно напомнил Русаковский.— Пока что мы лихорадочно торопимся индустриализировать страну и, как я понимаю, усилить оборонную мощь. То, что строится в эти годы,— только основа для настоящего экономического подъема. Ваша идея — идея далекого будущего.

Он подумал и твердо посоветовал:

— Разработайте ее. В тех общих чертах, какие нужны для ощущения целого. И опубликуйте.

Матвей Денисович развел руками:

— Хо-хо! И только-то? Нет, милый мой, я не только опубликую, я ринусь в бой, в драку, чтоб осуществить ее!

— Осуществить? Теперь?

— Пусть не теперь, но эта идея должна войти в перспективу развития страны, как неотъемлемая часть!

— А вы не думаете, Матвей Денисович, что зада-

ча признается общественно необходимой только тогда, когда созрели условия для ее реализации?

— Э-э, нет, Олег Владимирович, вы не учитываете особенностей социалистического хозяйства. У вас пассивная точка зрения: когда созреет, тогда и займутся. Это — самотек. Я — за то, чтобы подсказывать жизни, торопить жизнь! Мечтатели? Конечно! Но мы — организаторы воплощения мечты. А это совсем особая категория мечтателей. Наши мечты — это предвидение.

— Наука вся — предвиденье,— улыбаясь горячности друга, сказал Русаковский.— Но путь у нее один — разрабатывать догадку, обобщать и анализировать данные, доводить ее до тех, кто идет за нами,— если хотите, открывать семафор новому течению мысли. Но не бросаться в борьбу! Я могу разработать десять ценных мыслей, но, если я попытаюсь осуществить хотя бы одну из них,— на девять других у меня не хватит времени.

— Что же мне, разработать и положить в стол?

— Опубликовать в научном журнале, наконец — в молодежной прессе, и считать, что вы свое сделали.

Матвей Денисович в ярости взмахнул кулаками.

— И это говорите вы! Вы! Человек вечных исканий!

Вдали возник пучок света, бледного в сиянии луны, но живого, движущегося.

— Наши возвращаются,— с облегчением сказал Русаковский и двумя руками дружески разжал стиснутые кулаки Матвея Денисовича. Не отрывая глаз от далекого света, он заговорил вполголоса, с необычной для него мягкостью:

— У меня есть ученик — Илья Александров. Илька, как мы его называем. Когда я думаю о том, что мне удалось и удастся сделать в науке, я говорю себе: нашел и ввел в науку Ильку Александрова, это мне зачтется. Он уже — настоящий ученый. С самой ценной чертой — дальновидением. У него всегда новые идеи, и многие из них опережают общее движение — вон как тот пучок света. Каждая из его идей — клад для практики. Он их разбрасывает, дарит, роняет на ходу, не возвращаясь... У него шестнадцать научных работ. Ему двадцать четыре года. Я его очень люблю, но, если бы он вздумал взяться за осуществление сам, ввязаться

в промышленность,— я б ему шею свернул. Это было бы преступлением против науки.

Далекий пучок света вдруг погас.

Русаковский молчал, вглядываясь в серебристый туман, безразлично укрывший место, где недавно шла машина.

— Рыдван забастовал,— объяснил Матвей Денисович и с горячностью возразил: — Преступление против науки? А если это будет благодеянием для родины, для миллионов людей?!

— Разве наука не для того же? — с неожиданным раздражением ответил Русаковский.— Я не могу противопоставлять. Есть общественное разделение труда и разумная трата сил.

— А жизнь? Куда вы денете в этой разумной схеме простую человеческую жизнь и ее пределы? И желание *увидеть* то, что вам дорого?

— Это уж область психологии,— процедил Русаковский и заставил себя отвести взгляд от одной точки, растворившейся в лунном тумане. — Иногда и мне хочется чего-то такого — быстрого. Но я знаю: ценой большого труда ученый стал ученым. Он — общественное богатство. Все свое время он должен тратить с максимальной пользой в той сфере, где он нужней всего.

— Это как-то слишком расчетливо.

— Я это называю целенаправленностью,— отчеканил Русаковский и прислушался — неподалеку возникли детские голоса.

Матвей Денисович сложил ладони рупором:

— Э-ге-гей!

Их было всего двое. Двое ребят. Галинка с размаху кинулась к отцу. Она дышала часто и громко. Волосы — мокрые, хоть выжимай.

— Я научилась нырять! И плавать под водой. Метра два проплыла, вот Кузька скажет. Метра два, верно, Кузь?

— А где мама?

Галинка неохотно мотнула головой.

— Они что, у машины остались?

— Игорь остался. С Катериной,— исподлобья глядя на отца, угрюмо сказала Галинка.— А мама пешком идет. С этим... Побежали, Кузька! — позвала она и первая помчалась к лагерю.

— Может, пойдем навстречу? — предложил Русаковский и тут же удержал себя: — Впрочем, она не одна, да и светло.

— Конечно, с нею Павел, — не задумываясь, подтвердил Матвей Денисович, торопясь вернуться к прерванному разговору. — Допускаю, что вы правы в отношении крупных талантов. Но я, Олег Владимирович, не светило, я самый что ни есть практик, один из миллионов. Мне наплевать на экономию сил. Я вместе со всеми работаю на будущее. И чувствую себя в луче света, устремленном вперед, а луч имеет свойство расширяться в пространстве и охватывать все больший круг...

— Но сила света при этом ослабляется, — сказал Русаковский, незаметно увлекая друга навстречу двум людям, потерявшимся в степи.

— Ага! Широкий круг — и многое в дымке, контуры неясны! — с торжеством подхватил Матвей Денисович. — А я хочу увидеть, хочу по контурам угадать будущее! Определить, что и как! Вы скажете — самолет создали тогда, когда наука смогла решить проблемы полета машины тяжелее воздуха. Но ведь был Икар! Была легенда, мечта! Полет мысли опережает любой другой полет иногда на столетия. Были безумцы, которые привязывали к спине крылья и прыгали — и разбивались. Я — этот безумец. Мне пятьдесят два года. Времени осталось не так уж много.

Два человека — два силуэта — определились в лунном тумане. Они приближались рука об руку, светлый шарф Татьяны Николаевны отлетел концом на грудь ее спутника, как бы соединяя их.

— Э-ге-гей! — излишне громко закричал Матвей Денисович. — Что там у вас случилось?

Два силуэта разделились, Татьяна Николаевна быстро пошла на голос, концы шарфа вились за ее спиной, как крылья.

— Вот вы где, философы! — сказала она. — Небось говорили о науке все время, пока мы ездили, купались, плавали, ломали машину... Ах, какая ночь, Олешек! А вода теплая-теплая.

Светов тоже подошел и стоял рядом с нею. Русаковский внимательно оглядел его — как он молод, невыносимо молод!

— Вы еще не наговорились? — спросила Татьяна Николаевна и запахнула плечи шарфом. — Я пойду уложу Галинку.

— Вы хотели послушать песни,— напомнил Светов.

Она прислушалась — в лагере пели. Песня доносилась издалека и потому казалась особенно красивой.

— Если Галя скоро заснет, я приду. Ну, философствуйте, не буду вам мешать.

Она прощально улыбнулась мужу, свободно положила свою руку на руку Светова — и они ушли. Русаковский и Матвей Денисович еще долго видели два силуэта и разлетающиеся концы светлого шарфа.

— Иногда мне бывает жаль, что я не способен к прыжку, — печально сказал Русаковский. — Может быть, в этом самая большая красота — совершить прыжок в будущее хотя бы с риском сломать ноги. Но химия — наука точная и кропотливая. Она готовит опору для смелых прыжков... но прыгают другие. Те, кто пользуется нашими выводами. А мы — мы и есть работяги, чернорабочие прогресса.

Они чуть не наткнулись на парочку. Девушка спрятала лицо, а парень поднял голову и недовольно поглядел — кто тут бродит некстати? Матвей Денисович узнал Никиту и поспешно свернул в сторону.

— Женщинам нравятся люди, способные к отчаянному прыжку,— сказал Русаковский.— Наш брат, работяга, для них скучноват. В давние времена женщины предпочитали не мудрецов, а рыцарей. Времена изменились. Но изменилась ли женская психология?

Русаковский говорил полушутливо, и Матвей Денисович заставил себя улыбнуться. Он не знал, что ответить. Он думал о печальном подтексте этого рассуждения. Всегда казалось, что Русаковский слеп и доверчив, слишком погружен в науку и многого не видит, не замечает. Да нет же, видит, замечает все...

— Я высказал вам свои возражения, — заговорил Русаковский, как бы продолжая мысль, и Матвей Денисович не сразу понял, что он вернулся к разговору, прерванному появлением Татьяны Николаевны. — Но я не стану вас отговаривать. Если хотите, я вам завидую. Однако пойдемте поглядим, уснула ли наша ребятня. Галя очень возбуждена — и сегодня, и все последнее время.

Когда он вошел в палатку, где нх поместилн, Галинка лежала одна н не спала. Олег Владнмирович прнсел на койку н поцеловал ее.

— Почему ты не спншь, рыжок?

Галинка прижалась к нему н передохнула так громко, будто удержнвала плач.

— Ты что, Галнnка?

— Ннчего.

— Боишься одна?

— Я вообще ннчего не боюсь, — сказала Галннка и тряхнула головой, как бы откндывая тревожные впечатлення вечера.— Я решнла, папа! Я буду изыскателем.

— Очень хорошо. Но почему ты так решнла?

Отец спрашнвал серьезно, он ннкогда не оскорблял ее снисходительностью.

— Потому, — убежденно сказала она, — что они всегда первые. Пришли, поставилн палаткн н начали.

— Это очень ннтересная профессня, Галя. Но у нее есть свон неудобства. Тебе почтн не придется жнть дома...

— А я не хочу жнть дома.

Рукн отца, обннмавшне ее, дрогнулн. Галннка прижалась к нпм, ей хотелось заплакать н в слезах нзбавиться от злобы н отвращення, которые находнлн на нее каждый раз, когда она с ревннвой наблюдательностью подмечала беглые слова н взгляды украдкой, которые мама старалась скрыть.

— Папа, расскажн мне что-ннбудь, чтоб я заснула.

— Ну, какой я рассказчнк!

Он прнгляделся во мгле палаткн — лнчико ее печально. Поцеловал ее влажные волосы, рыжеватые, как у матерн.

— Я вас завтра же отправлю к морю, рыжок. Тебя и маму. Большого рыжка н маленького.

— Да! Отправь. Завтра?

— Завтра. Там много зеленн, не то что здесь. Цветут олеандры — это такие деревья в крупных розовых цветах. Ты ннкогда нх не видала. И другие деревья — на ннх растут мандарнны. Сейчас онн еще зеленые, потом пожелтеют. Ты увидншь море. Там прежде всего н больше всего — море. Знаешь, какое оно?

— Какое?

— Оно такое большое, что степь перед ним — маленькая. Ты приедешь, выбежишь... Вот послушай: «...над самым обрывом застынешь — и вот в разрывах тумана сверкнувшее море все сердце простором тебе захлестнет». Это написал один поэт. О море. Маме очень нравились эти стихи, когда мы в первый раз поехали с нею к морю. Вот послушай еще: «Смеется, и плещет, и возится море, и пенит крутую лазурь на бегу. О, как оно звало тебя и кипело, как билось и плакало в брызгах навзрыд!»

— А почему плакало? — сонным голосом спросила Галя.

— У него тоже свои горести, у моря. Вот когда буря. Мчится, мчится ветер, цепляется за горы, за деревья, а потом как вырвется к морю, как разгуляется на его просторе, как начнет гонять волны...

Он рассказывал неторопливо — не ей, себе. Галя уже спала, стиснув его палец. Он выпростал палец, разделся и долго лежал, стараясь не прислушиваться, и не ждать, и заснуть во что бы то ни стало, но сон не шел, и все отчетливее звучали в тишине запоздалые шаги, тихие голоса, позвякивание умывальника — последние звуки замирающей до утра жизни. За откинутым пологом темнело — луна уходила за горизонт.

Ее светлый шарф казался не серебряным, а синим, когда она остановилась у входа, прежде чем войти.

— Олешек, ты спишь?

Он плотно смежил веки и постарался дышать размеренно, как во сне. Она постояла над ним, над Галей, еле слышно разделась и прилегла на скрипучую койку так осторожно, что койка чуть вздохнула. «Виновато вздохнула», — усмехнулся Олег Владимирович, послушал еще ничем не нарушаемую тишину — и заснул.

Ночь пришла — длилась — начала отступать, а Никита и Лелька так и не покинули степь. Степь была их домом, небо простиралось над ними крышей — когда-то еще будет над ними другая! Она была снисходительна к ним, эта крыша, — щедро одарила лунным светом, потом укрыла теплым мраком, в котором таинственно и притягательно колыхалось расплывчатое пятно далекого костра; они все посматривали на костер —

вот и другне гуляют, ие спят... и ие заметили, когда погас костер. Небо стало иежио-зеленым, и пошли по иему легкие отсветы, сперва иесмело, потом — все ярче, и вот уже иа полиеба раскинулась заря, и по сияющему иебосводу иеторопливо поплыло желтое облачко — круглое, оно постепеино вытягивалось и загибалось кверху, уже ие облачко, а ладья с иадувающнмся парусом; затем наплыла целая стайка таких же, и все устремились иаперегонки, вздымая желтые паруса, — быть ветру и иа земле, определила Лелька и поежилась от предутреииего холода.

Никита смотрел, как отражается заря в глазах Лельки и как розовеет ее побледиевшее лнцо. Никогда еще ои не поиимал так ясио, что им ие жить врозь. Если бы она согласнлась переехать в Доиецк!..

— Тебе легко говорить — уйди, — рассуждала Лелька. — Я бы, может, н ушла, да как таких людей обидеть? Матвей Денисовича! Аину Федоровиу! У меия ж, кроме инх,— иикого во всем свете.

— А я?

— Ты, ты... — блажеииым голосом пробормотала она, но закоичила весьма иедоверчиво: — А кто ты такой есть? И куда мы с тобой денемся?

— Поступишь куда-нибудь. Что, устроиться иегде? С руками рвут людей! Общежитий сколько угодио, н комиатку сиять можио...

Из уютного гнездышка его теплых рук оиа смернла Никиту колючим взглядом:

— И кто ж в той комиатке жить станет?

— Как — кто? Ты!

— Сам иадумал — нли советчикн помогали? — Оиа иевесело засмеялась. — Здорово! Ты у папы с мамой за пазухой, а мие — полюбовиицей твоей на людях ходить? Невелика честь!

— Так ведь... Ну что я сейчас могу? Вот найду работу, стаиу иа ноги...

— Тогда и приглашай.

— А пока, значит, не нужеи? Тебе, вндно, ие больно скучио без меия? Не торопишься?

— В комиатку на отлете? Да, не спешу.

Оиа высвободилась из его рук, искоса презрительио оглядела его.

— Герой героем, а роднтелей боишься! И этой

твоей Катерииы. Подумаешь, королева! Ей ручку подаешь — осторожно, ие оступись! — а меия прячешь? Не компания?

— Так ведь ты сама...

— А что мне — иабиваться в подругн? Илн к твоим родителям разбежаться с приветом: здрасьте, я вашего непутевого иезакоиная жена!

Никита вскочнл, рваиул с земли н с снлой тряханул пнджак.

— Видно, такая у тебя любовь — до первой трудиости! О себе думаешь — закоииая нли незакониая, вроде как в царское время. А того ие ценишь, что я зубрнл, как черт, целый месяц ради нашего уговору...

Лелька лениво подиялась, потянула к себе пиджак, закуталась в него. Только что сердилась, а теперь — улыбается. Миогозиачительно, будто знает что-то неведомое Никите.

— До какой трудиости моя любовь — еще увидишь, жизиь длнииая. А что ты роднтелей боишься — так я не боюсь. И Катерины твоей не боюсь. Все равио — мой.

С восходом солица подул сильиый горячий ветер, закрутил иад степью пыльные смерчн. По иебу в два слоя надвигались облака — иижиие, ржаво-серые, тяжело ползли, а верхние победно светилнсь н легко обгоияли их, и каждое лежало как бы стоя, завихряясь иа верхушке. От облаков по степи мчались теии — лиловые иа желтизне выгоревшнх трав. Несмотря на ветер, становилось душио.

Матвей Деиисович готовился с утра показывать работу экспедиции, но гостей за иочь словио подменили: Олег Владимирович «закрылся иа десять замков», держался безразличио-вежливо и ии к чему не проявлял нитереса. Татьяиа Николаевна не отходила от мужа и украдкой позевывала, Катерина сразу после завтрака куда-то скрылась, а Липатов брякнул иапрямик:

— Ну, куда бежать по пылище н духотище? Может, просто отдохнем?

Но тут взвился Палька. С утра он был в возбуждеино-счастливом состояиин и как бы отсутствовал — смотрел мимо людей шалыми глазами н в разговорах

не участвовал. Но, оказывается, слышал их. Теперь он набросился на Липатова: для чего же мы ехали? Я, во всяком случае, приехал ради бурения, тут опытные мастера, от них узнаешь куда больше, чем по книгам! И ведь условились!..

— Что верно, то верно, раз приехали посмотреть, надо смотреть! — с ледяной веселостью сказал Русаковский. — Танюша, если ты предпочитаешь отдохнуть.

— Вот еще! Раз ты пойдешь... — поднимаясь, сказала Татьяна Николаевна и взяла мужа под руку.

Матвей Денисович на ходу отменил принятое было решение начать с поездки на буровую вышку — он заботился лишь об одном человеке, а этого человека могли оживить не зрительные впечатления, а пища для ума. И действительно — когда они вошли в темноватое, прохладное кернохранилище и лабораторию, где робеющая перед известным профессором Аннушка старательно показала все, чем богата,— Олег Владимирович заинтересовался геологическими разрезами, а через минуту у них завязался оживленный разговор. Палька вынужденно помалкивал, но слушал и, когда мог, вставлял вопросы, чтобы извлечь из двух специалистов все возможное — впрок так впрок. Зато на буровой он вырвался на первый план и прямо-таки вцепился в старшего бурового мастера, совершенно не думая о том, интересно ли другим. Ему нужно было разобраться в технике бурения, понять возможности и недостатки оборудования. Он мысленно осуществлял подземную газификацию, и ему предстояло бурить скважины — не только вот такие, вертикальные, но и наклонные и продольные, а если обычный буровой станок не мог этого сделать — тем хуже для станка, надо создать новый, более совершенный!..

Другие скоро отстали, а он совал нос во все механизмы, лазал на верхнюю площадку, где свинчивали трубы, и все время слышалось его нетерпеливое: «А если...» Иногда он замечал, что возле его локтя неотступно торчит любопытная скуластая физиономия Галинки, но ему было не до нее.

А Галинка с упоением лезла туда же, куда он, и слушала, навострив уши. Ей нравилось в экспедиции решительно все, даже пыльные смерчи, гуляющие на

степном просторе. Ее пленили камни и куски глины — перенумерованные, с этикетками набоку, расставленные Аннушкой в строгом порядке, — не камни и не глина, а образцы «пород», которые «залегают» в глубинах земли. Ее завораживали таинственные названия — морена, гнейсы, аркозовые песчаники... Подумать только! — в каких-то «отложениях» находят окаменевшие остатки панцирных рыб, которые когда-то плавали здесь, потому что здесь было море! А потом море почему-то ушло, и рыбы перемерли. Что за панцирные рыбы — вроде черепах или совсем другие? И куда ушло море? И как узнают про рыб и про моря, которых давно нет? Это и есть Гео. Папино самое умное Гео... Еще больше ей понравилось на буровой вышке. Никто не мешал ей взбираться по шатучей лесенке на самую верхнюю площадку, где рабочий поднимал из глубины земли «свечу» — несколько соединенных вместе труб. Лебедка понемногу вытягивала их из скважины, и рабочий отвинчивал трубу, чтоб она не уперлась в небо, перевинчивал хитрую головку с кольцом на следующую трубу, лебедка и ее вытягивала... Трубы назывались — штанги. «Как в футболе, — сказал рабочий, — только тут зевать уж никак нельзя!» Хитрая головка называлась «вертлюг», наверно потому, что она вертится, когда ее навинчивают, а кольцо — серьгой, оно и вправду напоминало мамины серьги, только эта серьга была большая, через нее пропускали стальной трос.

Гале казалось, что штанги будут ползти и ползти — из самой сердцевины земли. Но очередная труба повисла в воздухе, вытащив за собою трубу потолще, а на ней — наконечник с зубьями. Рабочий, что стоял внизу, стукнул по толстой трубе и вынул из нее колонку «породы» — керн, а девушка в брезентовой куртке уложила керн в ящик и что-то написала на ящике. Галя скатилась вниз, чтобы поглядеть керн, — это оказался невзрачный камень, исцарапанный зубьями «бура». Затем свечу начали снова свинчивать и опускать в скважину. Закрутился движок, разгоняя приводные ремни, от ремней закрутился вал станка, от вала — свеча. Галя представила себе, как зубастый бур, крутясь, скребет и прогрызает камень, медленно углубляясь в него и вбирая внутрь трубы колонку керна.

Буру всячески помогали — засыпали в трубу черные горошины дроби, чтоб они перетирали камень, заливали туда воду, чтоб она охлаждала металл...

Силища! Но нет, — оказывается, этот Палька еще не доволен и хочет, чтоб свеча шла и вбок, и как-то «продольно», и мастер соглашается, что тогда станки надо более умные.

— Что ж, будет потребность — придумают.

Как будто ничего особенного не сказал этот седеющий мастер в перепачканном мазутом комбинезоне. Но, может быть, оттого, что рядом с напористым Палькой он был так невозмутимо рассудителен, Галя поразилась его ответу, и ей вдруг приоткрылось что-то очень большое и общее. Она не могла бы высказать ее словами, но мысль была яркой и волнующей — не только в сарае Кузьменок, вокруг взрывающейся печки, не только у папы в институте, где они «колдуют» с Илькой Александровым и Женей Труниным, — нет, и здесь, в степной экспедиции, где будут поворачивать в новое русло речку, в которой Галя вчера купалась, и на этих буровых, и везде-везде, все время что-то создается, меняется, замышляется и рождается... И она сама растет для того, чтобы принять в этом участие — где-то, где всего интересней.

Когда на обратном пути Матвей Денисович обнял за плечи Галю и Кузьку и начал рассказывать им почти невероятный план поворота крупнейших сибирских рек, Галя даже не удивилась, ей только показалось, что, может быть, именно в этом — самое интересное, и если стать изыскателем — то для тех изысканий в Сибири. Положив блокнот на колено, Матвей Денисович с уже привычной точностью начертил им карту Сибири — папа давно научил ее разбираться в карте, но та, напечатанная карта была неживая, горы, реки и равнины были нарисованы раз и навсегда, а набросок Матвея Денисовича шевелился, как живой, — реки текли в обратную сторону, горы взлетали на воздух.

— Я поеду с вами, когда вырасту, — почему-то шепотом сказала она, и Матвей Денисович ответил вполне серьезно: «Договорились!» — и пообещал в Москве показать ей много интересного, и предупредил, что она должна хорошо подготовиться, потому что изыскания будут ой-ой-ой!

И Галя ощутила торжественность — как в тот деиь, когда ее прннялн в школу.

Катернна с утра чувствовала себя дурно — давнл зной, угнетал ветер. Она полежала в палатке, но там нечем было дышать. Хотела выйти — по лагерю кругамн броднл Игорь, поглядывая в ее сторону. Ну зачем он? Ведь все сказано. И ие нужно было ехать. Зиала же, что не нужно! Прнглядеться к этой Лельке? Подумаешь, повод!..

Вон она прогуливается с Ннкнтой, — ломается, в волосах цветок. Вчера, когда она сидела на кургане, Катерине почудилось в ней что-то милое, а теперь вндно — ломака. Подчеркнуто смеется, говорнт нзлншне громко, чтобы все слышали — вот она я!

Лелька увидала Катернну у полога палаткн, нарочно подошла поблнже, иачала вырывать свою руку из руки Никнты:

— Ступай, ступай, некогда мне. Как идтн к Матвей Деиисовичу, зайдешь. Пустн, ну!

Вошла в соседиюю палатку, что-то замурлыкала. Все — нгра.

Катернна выглянула — Ннкита ушел, Игоря тоже не вндио. Присела иа узкую скамеечку возле палатки, спиной к ветру. Куда деться от этого горячего пыльного ветра? Скорее бы домой. Но еще предстоит обед — даже думать о нем тошно. Целое сборище, шум, гам...

Лелька вышла с шнтьем и уселась рядом, иеумело орудуя иглой. Губы сложила бантнком, мизниец отставила — спектакль.

— Извниите, пожалуйста, можио в Доиецке купить прошивкн?

Вопрос — иарочио, чтоб завязать зиакомство. Ну что ж... Пожав плечами, Катерниа спросила, что она шьет. Оказывается, блузку со складочками. Складочка пошла вкось, нитка запутывается узелками...

— Дайте-ка сюда. Вот так надо.

Выдериула нитку, заложнла складочку ровно, пригладила ногтем, прометала.

— Некогда мне шить-вышивать, — иезавнсимо сказала Лелька. — Профессня не позволяет. Стнрать, полы мыть, гладнть — это я могу.

Ишь как отрекомендовалась! Уж больио просто понимает... невеста! А иевеста завистливо иаблюдала, как ловко Катериа прометывает складочкн, н вдруг совсем тнхо спросила:

— У вас мама есть?

— Есть.

— А у меия иикого. Как дурной гриб — одиа иа свете.

Катерииа винмательно поглядела на девушку, — может, и ие ломака? Да иет, с чего бы при первом зиакомстве жалкие слова говорить? Вот сидит, ветер бросает ей в лицо пыль, а оиа и ие отвернется, глядит нсподлобья... Чего-то ждет? Добивается? Осторожио, чтоб перевести разговор на Ннкиту, Катериа возразила:

— Почему же одна? У вас друзей, наверно, много. Вас любят...

— Любят, да! — с вызовом согласилась Лелька и, ие удержавшись, спросила: — Вы ихнюю семью зиаете? Его папа и мама... добрые?

Об этом Катерииа иикогда ие задумывалась. Доброты она не искала, ие нуждалась в ней. А эта девушка нуждается? Или иадеется на доброту стариков, чтобы войти в семью? Мало они настрадались, так еще н это!..

— Оии лучшего сыиа потерялн, — сурово сказала оиа. — А Никита — сами зиаете, от него радости мало. Так что не у них доброты нскать, Никите самому пора к роднтелям доброту проявить.

Лелька побагровела. Намек ясеи — не лезь в семью, никто этого ие хочет, и Никите ие позволят.

— Вам, коиечио, видией, что им иужио, — кротко, но с затаеииым гиевом сказала она. — Я в семейиых делах мало поинмаю. Бессемейная, скитаюсь как то перекатн-поле. А только чего достигла — все сама! И какая ии есть, а свое счастье держу крепко!

Катерие понравилась ее решимость. Пусть девушка диковата, злюка, зато характер сильный. Тут бы н иачаться настоящему разговору — ио Лелька резко потяиула к себе шитье:

— Давайте, чего вам зря рукн трудить. Как умею, так и ладио.

Вскииула голову и ушла в палатку, что-то там уро-

нила или бросила в сердцах — и запела во весь голос, с надрывом:

Десять я любила, девять позабыла,
А-а-ах, одного лишь забыть не могу!

Позднее Катерина слышала, как пришел к ней Никита, и они долго спорили, и Лелька закричала: «Ах, не остаешься? Ну-ну, езжай!» А к обеду у Матвея Денисовича она явилась позже всех, в шелковом платьице, с цветком в неумело завитых волосах.

Она ли на всех подействовала, или ее взвинченное состояние было сродни состоянию многих собравшихся, — но с первых минут за столом возникло нервное веселье. Русаковский сам себя объявил тамадой и произносил шутливые тосты за всех присутствующих, дурачился Палька, а Татьяна Николаевна, с утра такая смирная, как из плена вырвалась. Игорь, весь день бродивший мрачной тенью, стал шумно весел и через стол так смотрел на Катерину, что она и не глядя чувствовала...

Матвей Денисович был простодушно доволен удачным приемом гостей и не замечал нервных токов, перебегавших от одного к другому в этом сборище очень разных людей. Именно он под конец обеда попросил Лельку спеть. Она повела плечиком, ответила:

— Какие у меня песни? Тут люди столичные.

И вдруг, передумав, крикнула:

— А ну, Никитка, давай гитару! Петь так петь.

Пока Никита бегал за гитарой, она объясняла, поблескивая глазами и покусывая нижнюю губу:

— Я ж беспризорница была, мои песни — уличные, самые обыкновенные, что на базарах поют. Знаете — люди в кружок собьются, а ты поешь, а потом с шапкой или тарелкой... Был у меня учитель по песенному делу — Яшка Коротыш. Ох и пел! Мы с ним на пару ходили — он поет, а я для жалостности подпеваю. Вы не думайте, я не воровала. И милостыню не просила. Мы гордые были — артисты! — Она рассмеялась, вскользь кинула: — Впрочем, Яшка и другим промышлял.

Никита принес гитару. Лелька прошлась пальцами по струнам, покосилась на профессора.

— Может, вам и смешно покажется, да уж раз попала в вашу компанию такая, как я...

Не докончила, нервно хохотнула и запела, движениями всего тела подчеркивая игривый, приплясывающий мотив песенки:

За две д-настоящих катерин!-ки
Купил мне миле-но-чек ботин!-ки
И на те ботиночки
привернул резиночки —
Круг-лые и тол-стые ре-зин-ки!

Теперь она с вызовом глядела на Катерину, на ее брата, на Липатова — на людей, которые вхожи в семью Никиты и завтра же расскажут его родителям, какая такая зазноба у их непутевого сына, — что же, рассказывайте, если им любопытно, а прикидываться постницей не буду! Она рванула струны, придала своему подвижному лицу таинственное выражение и допела протяжно, с лирическими вздохами:

Уж я те ботинки надева!-ла!
Гу-лять те ботинки отправ-ля!-ла!
Улицу Садовую
те ботинки новые
Исходили вдоль и по-пе-рек...

Никита стоял над нею, чуть подрагивая плечами и губами в такт песни. Ему было стыдно, жарко и как-то необыкновенно хорошо оттого, что Лелька — *его* и не скрывает этого ни перед кем, и что такие люди приняли ее в компанию, и слушают ее, и не осуждают, а столичная профессорша даже подпевает. Он понятия не имел о том, что у Лельки вышел неприятный разговор с Катериной и она бросает сейчас вызов всем грядущим осложнениям. Его прямо-таки ошарашил неожиданный поступок Лельки, когда она оборвала песню и громко бросила через стол Катерине:

— Чего смотрите? Думаете — с улицы да в порядочный дом? Не набиваюсь!

Этого еще не хватало! Побелев, Катерина сказала:

— А я о вас совсем не думаю.

И отвернулась.

— Очень забавная песенка, я не слыхала такой, — будто и не заметив этой Лелькиной выходки, говорила Татьяна Николаевна. — Спойте еще что-нибудь, Лелечка, у вас это прелестно получается.

— Так ведь иначе и платить не стали бы, я ж с этого жила! — все так же вызывающе ответила Лель-

ка и запела иеожидаино иизко, почти басовито, с грозиыми интоиациями:

Не смотри ты иа меня в упор,
Я твоих не испугаюсь глаз —
Не в первый раз их вижу!
Коль
У нас окоичен раз-го-вор! —
Оборви его в последний раз,—
А там хоть брось, хоть брось —
Жалеть не стаиу!
Я! — таких, как ты,— еще до!-ста!-ну!
Ты же, поздио или рано,
Все равио ко мие придешь!

Песия понравилась, ио теперь и до Матвея Денисовича дошло, что Лелька — иа крайнем взводе.

— Ай, Леля! — добродушно сказал он. — Первый наш работник, умиица — да еще и певуиья!

— В полевых условиях и такая хороша! — ответила Лелька, налила себе остатки виив, залпом выпила и запела, паясничая, иовую песеику, про то, как «идет мальчишечка, двадцать одии год...»

Оиа заметила, что Игорь подает знаки Никите, почувствовала и настороженную тишииу, окружившую ее. Оиа не зиала, что лицо ее пылает и голос звучит уже ие весело, а истерически, что за иее по-доброму испугались. Прервав песию иа полуслове, оиа вскочила и с хохотом закричала:

— Что, презираете? А я, может, лучше иных чистеньких! Вас бы в такую яму, в какой я с детских лет трепыхалась, — может, и не вылезли бы! Может, захлебиулись бы! Вам легко!.. Вам...

Перед нею оказался побледиевший Никита, он с силой сжал ее локти:

— Перестаиь!

— А-а! — закричала оиа, отталкивая его. — Струсил? Думаешь, осудят? Ну и пусть... и пусть...

Она подияла иад головой гитару и протолкалась к выходу.

— Поди за ией, успокой, — приказал Матвей Деиисович Никите. — Ох и хорошая оиа девушка! — добавил ои, обращаясь ко всем. — Досталось ей от жизии, это верио...

Игорь поморщился — любит отец преувеличивать! Небрежно пояснил: — Беспризорщина! — и через стол

сказал одной Катерине: — Простите, что так вышло.

— Я хочу выйти, мне душно, — пробормотала Катерина и беспомощно огляделась — посадили в дальнем конце палатки, нужно всех поднимать, чтобы пройти.

А дышать стало нечем. Оглушительный звон забился в ушах. Окружающие ее лица качнулись и начали медленно запрокидываться, увлекая ее с собой.

Часом позднее гости собрались уезжать. Только Никита отбился от компании — сообщил, что остается еще на два дня, и увел присмиревшую Лельку в степь.

После ее выходки и обморока Катерины веселье расстроилось. Катерину отнесли в палатку, поручили заботам Аннушки. Палька был до крайности удручен — он понимал, чем вызван обморок, и боялся, что другие тоже поймут.

— Что это с ней? — огорченно допытывался Матвей Денисович. — Может, от вина — или духота сегодняшняя?..

Игорь злился на простодушие отца, Палька густо покраснел. Но тут Татьяна Николаевна подошла к Пальке, положила легкие руки на его плечи и сказала торжественно:

— Ваша сестра, Пальчик, замечательная женщина. Потерять так трагично любимого человека и решиться родить и воспитать ребенка — это героизм.

Игорь с восторженным изумлением выслушал эту маленькую речь. Затем он постарался уйти незамеченным и пошел бродить возле палатки, где лежала Катерина. Все, что он вдалбливал себе прошлой ночью и сегодня, разом отошло. Пусть дико, пусть нелепо, пусть все будут удивляться и насмехаться...

Внутри палатки звучали голоса — Катерина как ни в чем не бывало разговаривала с Аннушкой.

Время уходило. Татьяна Николаевна позвала детей одеваться в дорогу. Шофер опробовал мотор.

— Анна Федоровна, — позвал Игорь, подходя к откинутому пологу палатки, — вас ждет Иван Михайлович.

Как только Аннушка ушла, он смело окликнул Катерину.

Она вышла уже в жакете и платке, накинутом на голову от пыли. День угасал, и тусклый обнажающий свет подчеркнул бледность ее лица, темные круги под глазами, желтоватые пятнышки на лбу и щеках. Черные глаза ее холодно и недоброжелательно смотрели на Игоря.

— Ну что?

— Не надо, — настойчиво сказал он и взял ее безжизненную руку. — Вы не можете быть как камень, это чепуха. Вы самая прекрасная женщина из всех, каких я встречал. Может быть, из всех, какие есть на свете.

— Ну уж, — насмешливо протянула Катерина, но в глазах ее загорелись огоньки, и бледное лицо снова стало юным.

— Я вас люблю. Я не могу и не хочу — без вас. И ребенка... вырастим.

Ее взгляд метнулся к его лицу, растерянно ушел в сторону, опустился к земле. Рыжая пыль крутилась у их ног, перекатываясь с места на место верткими змейками. Обнажающий трезвый свет выделял каждый камешек, каждый колышек палатки, и Катерина разглядела, что один из колышков расщеплен. Вряд ли он долго продержится.

— Вы должны выйти за меня замуж, Катерина.

— Должна?

Гнев поднимался на смену растерянности и невольной радости. Скажи, пожалуйста, как благородно! Пожалел. Благодетельствует.

— И как же вы это себе представляете? — жестоко, с издевкой допрашивала она. — Сейчас вы меня за себя возьмете? Или подождете, пока я последние месяцы дохожу? Домой, к мамочке, отвезете? Или с собой на новую работу рожать потащите?

Губы ее прыгали, грудь тяжело вздымалась. Она вскинула глаза, полные слез.

— Спасибо, Игорь. Только не будет этого!

И быстро, почти бегом, направилась к грузовику.

И вот они уезжали.

Катерину посадили в кабину к шоферу, Русаковские сидели рядком в глубине фургона, Галя — под

рукою отца. Палька устроился у самого выхода. Счастье, волнение и боль переполняли его так, что он не смел оглянуться.

Липатов был печален — еще раз все вышло по-Анюшкиному, еще раз он остался ни с чем.

А на дороге, глядя вслед удаляющемуся облаку пыли, стояли трое — Анюшка, Матвей Денисович и Игорь.

Анюшка вытерла нечаянную слезинку, а Матвей Денисович, по-настоящему заметивший в эти сутки только Русаковского, восторженно сказал:

— Какая он светлая голова! Знаешь, Игорек, он одобрил мою идею и советует написать статью.

Как все очень увлеченные люди, Матвей Денисович извлек из спора и запомнил только то, что его устраивало.

Игорь нетерпеливо вздохнул — еще и это! Как слеп и наивен отец! Он и сегодня ничего не заметил, ничего не понял, для него существуют только его химеры...

А Катерину увезли, — наверное, навсегда. Вот уже и пыльное облако улеглось, вот уже не видно темного пятнышка машины — степь, тишина и быстро надвигающиеся сумерки.

Странно, ему начало казаться, что и сильное, потрясшее его чувство уплывает туда, в сумеречную пустоту, вместе с Катериной. Как будто оно не могло существовать отдельно от Катерины. Как будто его примчал и умчал погромыхивающий фургон.

И осталось лишь тупое удивление перед случившимся.

4

Жизнь стала «жизнью на колесах».

Катенин метался между Донбассом, Москвой и Харьковом, стараясь везде поспеть и ничего не упустить.

Километрах в ста от Донецка, возле шахты Алексеевская-2, им выделили участок угольного пласта. Началось строительство опытной станции. Алымов оказался истинным чудом, — потрясая мандатом и «беря на бас» всех больших и малых начальников, он буквально вырывал все, что нужно. Страна испытывала

острую нехватку рабочих рук и строительных материалов, — а тут через неделю подвезли кирпич, бревна, цемент, появились рабочие, заложили первые здания. Угольный трест со скрипом, но выделил проходчиков, они уже прошли первые метры шахты. Буровики подвозили оборудование, геологи «привязывали» к земле будущие скважины...

Пока Алымов шумел, Катенин с выделенными в помощь инженерами уточнял проект. Сколько вопросов возникало! Прекрасная идея — равномерными взрывами разрыхлять уголь, — но каков должен быть размер взрывных снарядов и какими веществами начинять их? Принцип подземных выработок ясен, но как их крепить? Как добиться их герметичности, чтобы нагнетаемый воздух не расходился по трещинам породы, а получаемый газ не сгорал под землей, а отсасывался по трубе на поверхность?

Весь инженерный состав Углегаза работал над отдельными проблемами, были привлечены и научно-исследовательские институты. Заседали эксперты. И везде требовалось участие Катенина.

Профессор Граб, вечно куда-то торопясь, консультировал проект. Выслушает вопросы и сомнения, вскользь обронит умный совет, поглядит на часы — и исчезает, приветливо кинув на прощание:

— Желаю успеха!

В лаборатории профессора Вадецкого проводились опыты. В пределах лаборатории Вадецкий был сух, ироничен, донимал Катенина скептическими замечаниями, но после работы охотно соглашался пообедать вместе и ничего не имел против, если Катенин платил за него. Катенин помнил его речь при обсуждении проекта — увертливую, и «да», и «нет». Как ни странно, в откровенных беседах выяснилось, что таково действительное мнение Вадецкого: опыты подземной газификации проводить нужно, но рассчитывать на успех нечего.

— Тогда для чего же?!

Они сидели в полупустом ресторане, луч осеннего солнца лежал на скатерти, снизу мягко освещая холеное лицо Вадецкого и его безукоризненно накрахмаленный воротничок.

Вадецкий усмехнулся:

— Ах, Всеволод Сергеевич, плыть против течения — утомительное занятие. Да и зачем? Сами по себе эти опыты интересны, к тому же к ним приковано внимание... — Он наклонился через стол, пронизывая Катенина изучающим взглядом умных, холодных глаз. — Оспаривать выполнимость мечты, которая уже приобрела политический характер? Вам придали комиссаром этого... Алымова. Завтра на вашей опытной станции создадут партбюро, комсомол, местком и прочее. Вы — автор, зачинатель, но дело пойдет и независимо от вас, через вас, начнется критика и самокритика; если вы завтра скажете, что разочаровались в своем проекте, вы окажетесь вредителем. А так — заработаете уважение, титул передового ученого, впоследствии — всяческие блага, вплоть до орденов. Вам это не нужно? Врете, нужно. И Алымову нужно. Вот Феденьке Голь... Ну, Феденьке пока не нужно, он — сосунок, да и надежд у него еще нет на роль первой скрипки. А появится надежда — тоже будет драть горло и лезть вперед.

Катенину хотелось грубо выругаться. Сдержался ради пользы дела. Поссориться с Вадецким — значит лишиться его лаборатории. Предложил еще вина. Расплатился за двоих. У вешалки, надевая дорогое, пушистого драпа пальто, Вадецкий с дружелюбной улыбкой сказал Катенину:

— Думаете — циник? Покрутитесь с мое! Думаете, Граб или Цильштейн верят больше? У каждого свои расчеты, своя ставка. Я просто откровенней других, потому что вы мне милы.

Вечером Катенин пересказал разговор Арону Цильштейну — они встретились в сквере перед Большим театром, домой Арон не пригласил: видимо, дома было невесело. Катенин стеснялся спросить, что мучает Арона — партийные неприятности или семейная неурядица. Что бы ни было, Арону нелегко. Привычно держится молодцом,— а глаза смотрят куда-то в пространство и видят там свое, трудное...

Впрочем, когда Катенин передавал суждение Вадецкого, глаза стали внимательны.

— Обыкновенная сволочь! — определил Арон. — Из тех беспартийных, которые по существу — партийные, да только другой партии. Несколько лет назад

онн ставилн ставку на вредительство, на буржуазную реставрацию, иа иностраниое вмешательство. Провалнлось! Теперь оии приспосабливаются к советскому строю, стремясь урвать для себя побольше. Энтузиасты личиого процветаиия — прн затаеииой мыслнишке: «А вдруг все перемеиится н без моего участия...»

Катеиину стало иеловко: что за склоииость сразу добираться до социальиых корней? Я ведь тоже беспартийиый спец, тоже не во всем согласен с большевнками, ио я приинмаю главиое и искреиие хочу — не для себя, для родииы, для шахтеров! — хочу подземиой газификации.

— Между прочнм, он зиающнй специалист, и ты с ним ие ссорься, а используй, — сказал Арои и сам рассмеялся: — Что, иепоследовательио? Милый мой, если булыжник — под ногами, ои мешает идти, но тот же булыжиик прекрасио служит в ряжах.

Затем ои прнщурился н спросил как бы иевзначай:

— Тебе иравится Алымов?

— У иего потрясающая эиергня, — ответил Катеини, уклоняясь от прямого ответа, так как сам ие зиал, иравится ли ему этот иеуемиый человек.

— Да, да, да, — пробормотал Арои. — Без него тебе пришлось бы туго.

Алымов летал между Москвой и Доибассом еще чаще, чем Катенин. Поездов ои уже не призиавал — самолет!

Олесов соглашался на все, боясь криков Алымова н — чуть что! — убийственииых определеиий: саботаж! вредительство! преступная медлнтельиость!

Катеиин знавал людей, грубых с подчинеииыми, ио отмеино вежливых с иачальниками. Алымов кричал иа всех и угрожал всем, что вызывало уваженне. Им прнходилось бывать вместе в иаркомате — то у «мамоита» Бурмииа, в чьем подчииеиии иаходился Углегаз, то у Стадиика, который связывал Углегаз со строительио-моитажиыми н иаучными органнзацнями.

У Бурмииа Катеиии терялся. Алымов и Бурмин кричалн друг иа друга н пускали в ход такие ругательства, что Катеинн, выходя, стесиялся смотреть иа секретаршу: оиа, иаверио, все слышала через дверь. «Мамоит» был скуп и груб, кричал: «Ваша газификацня для меия — дело десятое, с меня добычь спрашн-

вают!»; он брал под сомиеиие любое требованне опытной станцни, но в трудиых случаях помогал.

Стадиик не выносил ругани и терпеть ие мог Алымова так же, как Алымов терпеть ие мог Стадинка. Здесь Катеиии выдвигался на первый план, подробио докладывал о ходе работ, о возиикших трудностях. Стадиик тут же договаривался по телефоиу с разиыми организацнями, тихим голосом настаивал на своем и старался увлечь людей важностью задачн — не только техиической, ио и соцнальиой. Одиако Стадиик явно не верил в катеннискнй проект н считал его первой ступеиькой — важиой, ио ие решающей. Стадник мечтал о полиой ликвидацин подземиого труда и досадовал на необходнмость предварительного дробления угля.

В разгар испытаиий взрывиых сиарядов он говорил:

— А иельзя ли все же обойтись без дроблеиия пласта?

Метод взрывов — любнмое детище Катенниа — совершенно не иравился Стаднику, что обижало Катенина н возмущало Алымова — ловкая форма скрытого саботажа!

Стадиик пытался пробудить раздумья у работииков нистнтутов н монтажных оргаиизацнй — думайте, ищите, пробуйте!

— Выполняйте программу работ н не лезьте со своими домыслами! — требовал от тех же людей Алымов и говорил Катенину: — Я этого Стадиика выведу иа чистую воду! На кой черт ои сеет сомнеиия? Одиой рукой помогает, другой тормознт!

Катенниу самолет ие оплачивали, он ездил поездом н на деиек застревал в Харькове — прииять ваииу, иасладиться уютом н безусловиой верой всех домашних в скорое торжество «метода Катениия».

Дома он попадал в атмосферу нных забот — Люде предстояло выступать на отчетном коицерте учащихся в присутствни руководнтелей города н столичиых музыкаитов. Люда играла по многу часов в деиь, ее усердне радовало Катенниа.

В столовой расположилась портииха — Люде шнли для концерта длиниое платье из воздушной материи. Катеиина прнзывали на прнмерки в качестве арбитра — не велнк лн вырез? Хорошн ли будут нскусствен-

ные цветы у пояса? Катенин любовался дочерью, а в остальном поддерживал мнение жены.

Однажды, когда Катенин блаженствовал после ванны, Люда впорхнула к нему в только что законченном платье:

— Ну как? Хороша?

Да, она была хороша, но платье было ни при чем, ее красило оживление.

— Знаешь, папка, — сказала она и осторожно присела на диване рядом с ним. — С этим концертом у меня связаны во-от какие планы! Я должна всем понравиться, всех покорить.

— Покоришь, если хорошо сыграешь.

— Ну да. Но понимаешь — важно, чтоб захотели выдвинуть именно меня.

— Куда?

— В консерваторию — вот куда! И тебе, папка, пора позаботиться о квартире. Хватит тебе скитаться по гостиницам!

— Мне самому трудно, но маме жалко оставить тебя. Конечно, нам нужно обосноваться вместе. В Москве ли, в Донбассе ли...

— Вот именно — вместе! — воскликнула Люда. — И конечно, в Москве! Если мне удастся показать себя на концерте... В общем, мой план — Москва!

— Позволь... а Анатолий Викторович?

Люда покосилась на отца, невесело рассмеялась:

— Любите вы, мужчины, закабалять женщин! Если я поеду учиться в консерваторию... Конечно, я буду приезжать на каникулы, а он — в командировки... Ох, папка, ты должен помочь мне перебраться в Москву — только там есть широкое поле...

Когда он заспорил, она снисходительно потрепала его волосы.

— Ты старомоден, папунька, этакий наивный чеховский интеллигент!

Он уехал в Донбасс расстроенным.

Его не встретили — забыл послать телеграмму. До строительства было километров семь. Катенин пошел пешком, оглядываясь, не нагонит ли его попутная машина. Нагнал грузовик с крепежными бревнами.

— Товарищ начальник, подвезем!

В кабине сидела женщина из конторы буровых работ, — Катенину помогли забраться на бревна, где беспечно лежали грузчики. И вот оттуда, с этой трясущейся вышки, обдуваемой ветерком, он увидел все по-новому, свежим глазом — и давно знакомую Алексеевскую шахту, и нарядное здание недавно открытого клуба, и кварталы новостроящихся двухэтажных домов, оттеснивших хибары стародавнего поселка, — как все хорошеет вокруг, как отстраивается Донбасс!.. Грузовик обогнул по вновь накатанной степной дороге дубовую рощу — и перед Катениным открылась картина строительства его опытной станции.

Первой бросается в глаза широкая, приземистая башня газоохладителя — градирни; обшитая досками, еще не потемневшими от дождей и пыли, она возвышается посреди степного раздолья, как хозяйка. Рядом с нею легка и изящна узкая башня скруббера, призванного очищать будущий подземный газ — да! да! будущий подземный газ! — от смол и других примесей. К скрубберу успели подвести трубы — по ним потечет горячий газ. Широкое ребристое колено трубы, напоминающее выгнутую до предела гармошку, окружено легкими подмостями, — на подмостях стоит человек со щитком на глазах, рассыпая вокруг себя огненные брызги. Градирня, скруббер, массивные трубы, брызги сварки придают степному пейзажу новые, индустриальные черты.

Еще несколько зданий строится или намечается. Барак компрессорной уже под крышей. Стены котельной только-только наметились — каменщики выкладывают первые ряды кирпичей. А насосная почти готова —девушки-маляры в низко повязанных платках обмазывают наружные стены глиной, как украинскую мазанку. Окна не застеклены — Алымову никак не удается раздобыть стекло.

Все это закладывалось и строилось понемногу, хотя и быстро. Проводя целые дни на площадке, Катенин не замечал изменений, а сейчас охватил взглядом целое — и почувствовал, что этот кусок затоптанной степи с неказистыми постройками — это уже воплощение его мечты. И нет теперь места родней.

Грузовик на полном ходу пронесся мимо скруббера и градирни — и Катенин увидел за ними поднимаю-

щийся остов копра с лебедкой, и первый невысокий отвал породы, и простенькую яму будущего шахтного ствола...

Из ямы по лестнице-времянке выбрался перемазанный глиной Федя Голь, заорал во всю силу молодых легких:

— Сюда, сюда сгружай!

Грузовик круто осадил возле места, указанного Федей, Катенин чуть не слетел с бревен. И тут-то его заметил Федя.

— Всеволод Сергеич! — просияв, вскричал он. — Вот здорово, что приехали!

И Катенин, обняв его на радостях, окончательно переключился на тот особый жизненный строй, которого у него не могло быть ни в Москве, ни в Харькове. Ах, какая это была удивительная жизнь! Иногда ему казалось, что он снова молод. Он сладко спал на жесткой раскладной койке в закуте конторы, громко называемом «кабинет начальника». Он ел когда и как придется, забыв о всяких желудочных неприятностях, случавшихся дома. Если хотелось побеседовать с кем-нибудь без помех, уходили в рощу и садились на пеньки или на траву; в дождливую погоду укрывались в компрессорной, где было тихо и пусто, потому что компрессор еще не прибыл, и разговаривали под шум дождя за незастекленными окнами.

Жизнь была удивительно хороша потому, что здесь не было скептиков — ученых и неученых, здесь азартно работали и незатейливо отдыхали. Вечерами заливалась гармошка, в облаке степной пыли плясали землекопы. По субботам молодежь уходила «на Алексеевку» в клуб. В дни получек не обходилось без пьяных, возникали драки. Катенину приходилось укрощать буянов, но и это ему нравилось, потому что его появление действовало отрезвляюще, он ощущал свой авторитет и власть.

Впервые в жизни ощущал он и свою близость к рабочим людям. Запросто подсаживался к ним, беседуя о чем придется, иногда подпевал песне, иногда молчал, никому не мешая. Над ним сияло звездами огромное небо — такого огромного неба он никогда не видал, такое видишь только в море или в степи.

Смолоду не глядел он вот так в ночное небо, не

подтягивал песне, не лежал на траве. Да и такой увлеченности трудом он тоже, кажется, никогда не знал...

— Вот здорово, что приехали! — повторял Федя. — У нас сегодня такая радость! Я сейчас позову чудесного парня — Ваню Сидорчука! Представьте, тот самый кавалерист, что начал всю историю с письмом кавполка! И вот — разыскал нас!

При слове «кавалерист» в воображении Катенина возникли брюки с лампасами и развевающаяся бурка — он видал конников только в кино. И не сразу понял, что это и есть кавалерист Сидорчук, когда от копра, шагая немного вразвалку, к ним подошел курносый, стриженный ежиком, широколицый паренек в голубой футболке с белой шнуровкой.

— Да я же шахтер с Кадиевки, — сказал Сидорчук, улыбаясь безбрежной улыбкой и по-украински мягко, с придыханием выговаривая «д» и «г». — Умирающая профессия — коногон! Отслужил срочную — и вот подался до вас. Большая охота поглядеть на эту самую подземную газификацию.

Затем он рассказал, сидя в дубовой роще напротив Катенина:

— До службы я больше гулять любил, а в армии читать приохотился. И так меня забрало — что, да как, да почему. И вот у Ленина наткнулся на ту статью. Название заинтересовало — «Одна из великих побед техники». Взялся читать — так то ж о нас, о шахтерах! Ребятам рассказал, многим понравилось, особенно кто с Донбассу. Ведь это подумать только — без подземных работ хотят уголек использовать! А тут политбеседа. Ребята шепчут — спроси. Я спросил. С того все и пошло... А когда письмо послали — кто о чем, а я все размышляю: неужто с нашего письма начнется такое великое дело? И почему о нем не слышно? Газеты начал читать все подряд — «За индустриализацию» и донецкие, все свободное время сижу в читальне, как больной, и роюсь в газетах.

— В газетах еще не было, — виновато сказал Катенин.

— Так ведь если судьба — найдешь! — воскликнул Сидорчук. — Демобилизовался, приехал домой — ну, конечно, гуляю. Завернул с хлопцами на вокзал до

буфету. А там этакнй длинноногий дядько шумит, ну, прямо мать в перемать: «Сегодия чтоб отгрузить, ниаче голова с плеч!» И конечно, угощает того подрядчика или агеита — ие знаю. Я спрашиваю хлопцев — хто такнй? «Да ну его, говорят, скажеиный, мотается по Доибассу н хватает, что худо лежит, — для какой-то подземиой газификации...» Догулял я недельку, раз уж начал, — ну и подался до вас.

С подземной газификацией он был как бы накоротке, ему казалось естествеиным — раз дело велнкое, зиачнт, должно быть сделаио, а поскольку ои сам демобилизовался — тут ему и быть, где ж еще!

Он уже успел осмотреть стронтельство и нашел себе работу по душе — прибился к проходчикам, хотя и сказал о методе проходки:

— Тю-ю! Кустари-одииочкн. Девятнадцатый век!

Его уже все знали. Девушки-маляры скалили зубы н задевали его, когда ои проходнл мимо, а Ваия Сидорчук добродушио отмахивался:

— Но-но, зиай малюй!

И улыбался Катеиниу — что делать, липиут ко мие девчата...

С того дия Катении нскал среди работающих вздериутый нос и голубую футболку Вани Сидорчука.

Через несколько дней приехал Алымов.

Вместе с Алымовым прнбыл компрессор — Алымов перегрузил его иа станцин и сам прнмчался на подножке грузовнка.

— Вырвал с бою! — рассказывал он Катенниу, когда сели пить чай. — На железиой дороге — саботажники, пустили малой скоростью. Я влез иа тормозиую площадку, на каждой стаиции — к начальнику, иакрнчался — аж охрнп! Зато компрессор тут.

Катеиин глядел на него восхищеино н благодарио.

— Олесова будем сиимать,— продолжал рассказывать Алымов, с блюдца жадио потягивая чай. — Не годится ои — размазия! Говорил с Бурмииым, убедил. Только Бурмин тяжеловат на подъем, недаром «мамоитом» зовут — пока раскачается!

Катеиии иередко досадовал иа Олесова — не конкретеи, мягок, плохой оргаинзатор. Но, как все люди, видавшие иа своем веку миого иачальииков, он боялся перемеи: недостаткн Олесова известны, как воздейст-

вовать на него — изучено, а человек порядочный, доброжелательный. Поди знай, кого назначат на его место!

— Не прогадать бы.

— Прогадаем, если выжидать станем. Знаете, кто метит на это кресло? Стадник!

Катенин припомнил неудобные вопросы Стадника, его недоверие к методу взрывов. Но это были недостойные, мелкие соображения, и Катенин отогнал их. Стадник — энергичный работник, преданный идее подземной газификации. Как он говорил в тот вечер, на банкете: «Я хочу ее увидеть, понимаешь?..»

— Отпустят его из наркомата?

Алымов бешено сверкнул глазами.

— Отпустят — да только не туда! У него губа не дура! Кто он такой? Десятая спица в колеснице. А тут — сам себе начальник, слава, ордена! Я про него кое-что узнал. Приемный сын дьякона — вот он кто. Хоть и был у него батько бедняком и солдатом империалистической войны, а рос — у дьякона. На шахту пошел, когда дьякона прижали. В партию пробрался, а там и в руководящие кадры! Ну, ничего. Я уже меры принял.

Катенин побледнел. Ему стало страшно и стыдно.

— Что насупились? — усмехнулся Алымов и налил еще чаю себе и Катенину. — Не задуряйте свою голову. Это не ваша забота. Ваша забота — провести опыт и победить.

— Мне кажется, Стадник человек честный, — запинаясь, возразил Катенин. — Он в общем-то наш большой доброжелатель. Правда, кое-чего он не понимает... не принимает...

Алымов сжал вздрагивающую руку Катенина своими сильными, цепкими пальцами.

— Всеволод Сергеевич, ну что вы разволновались? Вы — талант, вы — технический ум, ваше дело — изобретать, а внешнюю политику оставьте мне. Такие люди, как вы, на все смотрят идеалистически, попросту говоря — наивно. А жизнь сложнее и грубее, мерзавцев побольше, чем идейных. Каждый рвет себе. Вы вот откровенничаете с профессорами — то не решено, это не получается. А вы знаете, что Граб уже внес в комиссию свое предложение — вариант вашего метода? Что Вадецкий вместе с Колокольниковым тишком

разрабатывают свой проект и тянут Олесова в соавторы?

Катенин заволновался. И Граб и Вадецкий — знающие, опытные люди, у них превосходные помощники, отлично оборудованные лаборатории, широкие возможности... Пока он тут кустарничает с несколькими молодыми инженерами, не имея ни лаборатории, ни свободных денег, пока он наивно доверяется экспертам-консультантам... они мотают на ус недостатки его проекта и полным ходом разрабатывают лучшие варианты?!

— А вы... Константин Павлович, вы видели их предложения?

Алымов встал и покровительственно потрепал Катенина по плечу.

— Доверьтесь мне, Всеволод Сергеевич. Я за вас — и не позволю ущемить ваши интересы. Ни Олесов, ни Стадник не смогут нам пакостить — это уж будьте уверены.

Он налил себе еще чаю и, стоя, жадно выпил. Глаза его лихорадочно сверкали из-под набрякших век.

Катенин сидел ссутулившись. Снаружи доносились оживленные голоса — монтажники с Федей Голь влюбленно ходили вокруг компрессора и обсуждали, как лучше организовать монтаж и наладку. Повизгивал пневматический молот — в шахте дошли до твердых пород и начали дробить их. Жужжал сварочный аппарат — сваривают швы на газоотводящей трубе. Девушка-маляр выкрикивала частушку:

Трехкопеечные парни
завсегда ломаются!

Шла обычная трудовая, милая сердцу жизнь. Где-то там работает и Ваня Сидорчук, первым спросивший: «А что у нас делается по той статье Ленина?» — Ваня Сидорчук, для которого удача подземной газификации будет огромной, быть может, самой большой в его жизни радостью.

А для меня? — спросил себя Катенин. Для меня тоже! Ведь не для почестей, не для денег, не для личного благополучия я все затеял. Я не хочу «рвать себе». Если Вадецкому или Грабу удастся найти какие-то

лучшие решения, я охотно поделюсь с ними всем, что удача может принести. Поделюсь?.. А если они хотят не какой-то доли, а всего? Отстранить меня и добиться самим? «Вам это не нужно? Врете, нужно». Я верил Олесову, а он связывается с Вадецким против меня? Я поверил Стадинику, а он ловко саботирует?.. Да может ли это быть?!

Рядом стоит и жадно пьет четвертую чашку чая мой главный помощник и руководитель — Алымов. Действительно ли он знает о людях что-то такое, чего не вижу я? Что-то более низменное и глубинное, руководящее их поступками?.. А я — интеллигент-идеалист?.. «Ты старомоден, папунька, этакий наивный чеховский интеллигент...»

— Ну что, никак не переварите новости? — грубовато-ласково спросил Алымов и закурил. Курил он так же, как пил чай,— жадно.

— Неприятно все это.

А надо ли все это «переваривать»? Зачем вникать во всякую ерунду — кто приемный отец Стадника, и с кем якшается Олесов, и кого там нужно снимать, и кто хочет что-то «рвать себе»?! Алымов говорит — я за вас, доверьтесь мне. Ну и пусть он делает все, что нужно. А я буду работать. Работать! И не буду путаться в побочные дела. Видимо, жизнь действительно сложней и грубей. Это понимает даже моя дочь. Каждый тянет в свою сторону. Добивается своего. А чего добивается Алымов? Он поверил в меня? Добивается моего успеха? Ну и хорошо!

— Константин Павлович, вы сказали — довериться вам. Вот я и хочу... Хочу думать только об опытной станции, готовить проведение опыта, решать технические вопросы...

— И правильно! — поддержал Алымов.— Валяйте, жмите!

Чтобы переменить разговор, Катенин рассказал о Ване Сидорчуке. Может ли быть, что Алымов не почувствует того же, что почувствовали и Федя Голь, и сам Катенин?

Алымов почувствовал. Опять засверкали его маленькие глазки под тяжелыми веками.

— Замечательно! Сейчас же позову его!

— В конце концов это — главное! — с надеждой

сказал Катенин. — Есть же и такие — чистые, убежденные люди?..

— Ну конечно! — Алымов наклонился и прикурил от докуренной папиросы новую. — Конечно, милый вы мой интеллигент! Есть народ — чудесный, самоотверженный. А накипь — накипь мы сметем.

Он походил по тесной комнатке — длинная фигура смешно моталась взад и вперед. Похоже было, что энергия распирает его и не находит выхода.

— Вот что мы сделаем! — воскликнул он, останавливаясь напротив Катенина. — Пора выводить наше дело к народу! Я вызову сюда корреспондента газеты, мы ему тут все расскажем и покажем, сведем с этим вашим Сидорчуком... Знаете, какой это материал для газетчика?!

Катенин соглашался. Алымов опытен и деловит — мне и в голову не пришло так использовать появление Сидорчука. И вообще без Алымова я не сумел бы двинуть дело. Как быстро он получил участок, развернул стройку! И вот сегодня — компрессор...

Он снова с восторженной благодарностью смотрел на Алымова, на его горящее неукротимой энергией лицо, на костистые, цепкие пальцы, сминающие мундштук папиросы. Он вверялся Алымову — и только где-то в глубине души осталась царапина. Было жаль чего-то огромного и чистого, почему-то связанного в памяти с концертом Софроницкого; не уточнить было, что именно открылось ему на концерте, чем он был тогда богаче и счастливей, но помнил: было хорошее, и очень жаль, что его — не удержать.

5

Липатов привык, что всякому делу нужно прежде всего обеспечить партийную поддержку — без дрожжей тесто не всходит.

Идя на общегородское собрание партактива, он обдумывал, как вклиниться с подземной газификацией в большой и тяжелый разговор, который там наверняка развернется. Шахты района в прорыве. Давно ли — меньше года назад! — именно шахтеры взбудоражили всю страну стахановскими рекордами! Труд стал делом чести и доблести, рядовые труженики по-новому

осознали свою силу, свое умение, свое место в жизни и в производстве. Теперь они знали, что многое могут, и требовали, чтобы им обеспечили все необходимое для ежедневной высокой выработки. Но организация работ не поспевала за ними, механизации не хватало, а многие руководители попросту растерялись... Да, Липатов знал по себе — трудно было не растеряться... Его участок выдержал испытание, но сколько вечеров они просидели с Кузьмой Ивановичем, обдумывая, как да что! Теперь участок — один из лучших, и о нем наверняка скажет сегодня Чубак, он это умеет: кого надо — похвалит, а кого надо — отругает или высмеет и сразу же объяснит, почему один сработал хорошо, а другой плохо, и все — с фамилиями, именами и отчествами, чтоб люди знали и на твоей удаче или неудаче научились...

Войдя в фойе нового Дворца культуры, Липатов сразу окунулся в атмосферу ожидания и некоторой праздничности — что бы там ни было, а приятно собраться всем вместе и повстречаться с товарищами, которых не часто видишь. Вот и недавние студенты, теперь раскиданные по разным шахтам и заводам, собрались тесной группой. В центре — бывший однокурсник Липатова, начальник коксовой печи Сергей Маркуша со вкусом рассказывает что-то смешное... Липатов протискался послушать.

— ...директор тянет в другую сторону, а Чубак говорит: «Прозяб я на ваших сквозняках, у тебя тут один цех парилкой называют, пойдем погреемся». Наш упирается — не стоит, мол, там душно. А Чубак говорит: «Когда мы тебя на бюро за вентиляцию ругали, ты ж уверял, что там вполне терпимо!» Ну, пришли. Жарища, дышать трудно. А Чубак стал в самом жарком месте и разговоры разговаривает. С нашего бедняги семь потов уже сошло, а Чубак — ни с места. Наш взмолился — пойдем отсюда, жарковато. А Чубак смеется: «Неужели? По-моему, вполне терпимо, я к тебе через недельку еще наведаюсь погреться, — или к тому времени вентиляцию закончишь?»

Среди общего хохота раздался смеющийся голос:

— Ну и как — будет вентиляция?

Это подошел сам герой рассказа, секретарь горкома партии Чубаков — «наш Чубак», как его звали по

всей округе. Он ходил по фойе от группы к группе,— где посмеется, где поспорит, а то просто послушает, о чем люди думают. Сегодня он не мог не быть озабоченным, но держался, как всегда, — подтянут, оживлен, скор на острый ответ и шутку. Когда ему жаловались на всякие затруднения, он спрашивал: «Ну а ты что предлагаешь? Как ты сам думаешь справиться?» Если просили совета, отвечал: «А твое мнение? Давай уж вместе разбираться, я ведь не бог Саваоф!» Все это соответствовало его характеру и в то же время являлось хорошо отработанной повадкой опытного массовика, знающего, что эта повадка нравится людям и помогает руководить ими. Чубак жил на людях в счастливом напряжении всех душевных сил и, вероятно, не умел и не мог жить иначе.

Так он и докладывал — будто вел разговор с каждым слушателем в отдельности. Стоя сбоку от трибуны, весь на виду — крепкий, с крутыми плечами, широколицый и улыбчивый,— он и не заглядывал в бумажку с тезисами. Сегодня Чубаку приходилось говорить людям много невеселых слов, но — странное дело! — настроение в зале становилось все лучше, увереннее. И не только потому, что причины прорыва были уточнены, а методы исправления определились, но и потому, что Чубак верил сам и заражал других своей верой в общие силы. Емкое большевистское слово — одолеем! — он произносил как истину само собою разумеющуюся. А как же иначе? На то мы и коммунисты, товарищи!

И люди ощущали — да, такие мы и есть, поднатужимся и одолеем!

А Чубак вдруг поднес палец к губам:

— Тише, тише, не будем мешать товарищу Мятлеву, ему не удалось поспать сегодня ночью!

Собрание ответило таким хохотом, что задремавший в президиуме директор химзавода Мятлев подскочил и вытаращил глаза, не понимая, в чем дело. А собрание продолжало смеяться дружелюбно, от души — Мятлева любили, он был сердечным человеком и заботливым хозяином завода, — но и то было известно, что прошлой ночью погулял не в меру на свадьбе одного из своих строителей...

— Товарищу Мятлеву сегодня спится, гроза мимо него гремит, — подбавил Чубак, смеясь вместе со всеми. — Ничего, друг, и до тебя дойдет.

Уж кто-кто, а Чубак умел вовремя дать себе и другим веселую разрядку!

Липатов ждал, когда же Чубак назовет его среди лучших, ловил каждый добрый совет, чтобы применить у себя на участке, и томился душой, потому что с началом собрания подземная газификация как-то отошла в сторону, а друзьям он обещал выступить и сказать именно о ней. Но куда денешься от того, что ты — начальник участка, и перед тобою стоят ответственнейшие задачи, и тебя это все занимает и волнует, а подземная газификация решительно никому здесь не известна и пока — нечто вроде твоего побочного занятия в часы досуга?.. Но так нельзя. Чем дальше — тем больше сил и времени она потребует. Придется решать — или одно, или другое. Уйти с шахты?.. Кинуться головой в воду?..

Чубак так и не упомянул его среди лучших, и Липатов от обиды сказал себе, что обязательно уйдет, ну его к черту, работай не работай... Но тут Чубак назвал его в другой связи:

— У нас много золотых практиков и пока еще очень мало своих, нами выращенных инженеров-коммунистов. А когда сольешь опыт одних со знаниями других — вот и успех получается, как у Липатова с Кузьмой Ивановичем Кузьменко!

Да меня и не отпустят с шахты, с некоторым облегчением подумал Липатов. Пока еще очень мало инженеров-коммунистов... Конечно, не отпустят! Но..: бросить подземную газификацию?! Тоже не получится. Так что же? Заинтересовать ею Чубака?.. Тогда надо начать разговор сегодня же, сейчас...

— Что задумался, именинник?— шепнул Маркуша.

— Думаю, что дрожжи надо разводить вовремя, а то и тесто не поспеет, — загадочно ответил Липатов и подтолкнул приятеля в бок. — Мой старик на трибуну взбирается — уж он скажет!

Кузьма Иванович выступать перед людьми не стеснялся, рубил сплеча все, что думает, умел походя лягнуть кого надо и похвастаться так, что похвальбы не получалось. Липатов с удовольствием наблюдал, как

перекосило некоторых трестовских начальников от едких упреков старого шахтера. С еще большим удовольствием слушал он рассказ о сделанном, — а ведь неплохо! Ничего не забыл, все, что нужно, подчеркнул, слушай да разумей! А теперь куда он клонит?

— Наша наука с большим скрипом поворачивается к производству. А нынче без науки добычь не подымешь. Сколько говорили о выбросах газа? А понадобилось большое несчастье, чтоб наука зашевелилась.

Сказал — и замолк. И собрание молчало — все тут были свои люди, все знали, что собственного сына схоронил старый Кузьменко. В сочувственной тишине Кузьма Иванович неожиданно заговорил о никому не известной подземной газификации угля.

— Ведь это какое доброе дело для людей! Конечно, в старое время оно бы безработицей для шахтеров обернулось, а при социализме работы всем хватит, и святая задача — облегчить и обезопасить труд для нас... и для наших детей. Оказывается, умные головы давно об этом думают. И сам Владимир Ильич Ленин заинтересовался, поверил, понял, какая тут польза для рабочего класса, для социализма. А некоторые наши профессора-угольщики, слышно, не признают, не верят, не понимают. Что же это за ученые такие?

Директор института Сонин сидел в президиуме, на виду у всех. Это был жизнерадостный, весь округлый человек того возраста, когда молодость уже позади, но и до старости далеко. Все, что он делал, он делал как-то вкусно — говорил сочным голосом, будто обсасывая слова, просматривал планы научных работ, так, будто читает нечто пикантное, а когда отчитывал провинившегося студента, в лице его появлялось кроткое сияние. Он умел выпить, закусить, придумать развлечения — его приглашали наперебой во все городские компании. Принимать решения он не любил, с доверчивой улыбкой передавал сложные вопросы в партком или горком, но, когда решение принимали, — выполнял с готовностью.

Сонин только что приехал из отпуска, его круглое лицо и миловидная лысинка были бронзовы от сочинского солнца. В президиуме нашлось немало знакомых, и он подсаживался то к одному, то к другому, давясь смехом и оживленно перешептываясь, — курортные

впечатлеиия были свежи, а тема собрания личио его не затрагивала.

Услыхав упрек старика, Соиии насторожился и взглядом разыскал в зале Алферова — свою правую руку; Алферова ои иемного презирал, среди друзей рассказывал про иего анекдоты, ио искреиие считал, что Алферов всегда зиает, как поступить, «чтоб иачальство не журилось». Сейчас у Алферова было страдальческое выражение лица. Уж ие он ли тут обмишурился? Надо завтра узиать, что за иовая проблема возиикла и кто там чего ие понял...

Соиии опять перешептывался с соседями, когда слово взял Липатов.

— Кузьма Иваиович совершеиио правильно критиковал иаш институт, — сказал Липатов и с усмешечкой огляиулся на Соииа. — Виноваты и мы, бывшие питомцы ииститута, — оторвалось яблочко от дерева. Но мы это исправляем, товарищи, в частиости с подземиой газификацией. Тут у нас едииеиие полиое, важиость задачи всем поиятиа, а если один профессор и поворчал — так ведь у кого желчь во рту, тому все горько.

В зале улыбались, слушали заинтересоваиио. Непоиятиая газификация иезаметно входила в сознание. Липатов закоичил с иеобычиым для иего пафосом:

— Хочу заверить партийный актив: вместе с группой иаучиых работииков ииститута мы обязательно разработаем эту задачу, завещанную нам Лениным. Ваша поддержка — залог успеха. Известно — зачин дело красит. От имени группы обещаю — к приближающейся Октябрьской годовщине дадим Родиие проект подземной газификации угля.

В зале дружио захлопали.

— Запишем! — сказал Чубаков и действительно что-то записал в блокиот.

Соиии так усилеиио кивал головой, что от его броизовеющей лысиики зайчиками метиулись отблески ламп.

— Обязательио! Обязательио!

Сосед его виновато призиался:

— А я иичего ие слыхал о подземной газификации. Что это?

— Не слыхал — так услышишь.

Наутро Сонин прежде всего поинтересовался новой проблемой — и не нашел ни противников, ни скептиков. Группа Светова уже хозяйничала в только что отремонтированной лаборатории. Алферов сообщил, что доклад группы стоит на ближайшем заседании парткома. Профессор Китаев не только не возражал, но с торжеством показал ответную телеграмму академика Лахтина, в которой аспиранту Мордвинову давалась месячная отсрочка для завершения важной работы.

— А мне наболтали, что вы отказались подписать.

— Если бы я подмахнул, не глядя, не проверив ценность замысла, вы первый обвинили бы меня в легковесности.

Так ответил профессор Китаев. И предложил выделить в помощь группе наиболее способных студентов.

Выделять не пришлось — вокруг Светова и Мордвинова уже роилась молодежь. Цепочка студентов, выстроившись на лестнице, перекидывала кирпичи со двора в лабораторию.

— Кирпич где раздобыли? — удивился Сонин.

— Ловкость рук! — азартно ответил Павел Светов и закричал кому-то в окно: — Достали? Поезжайте на вторую коксовую, спросите инженера Маркушу. Выбирайте самые крупные!

Сонин и Алферов выглянули в окно — со двора выезжала телега, за возницу сидел старшекурсник Сверчков.

— Куда это?

— За углем на Коксохим, — проронил Светов и закричал кому-то в окно: — Корыто возьмите, тетя Мотря обещала!

Студент Ленечка Длинный, которого звали так в отличие от другого Ленечки с забавной фамилией Коротких, возился во дворе с глиной, которую только что принесли на носилках с обрыва Глиняной балки.

— Нам во-от так необходим кислород, — сказал Светов, обращаясь к директору. — Остальное мы все раздобыли, а с кислородом помогите, Валерий Семенович.

— Раздобыли? — повторил Сонин, приглядываясь к Светову — какой-то он взвинченный, не натворил бы дел.

— Откуда взяли лошадь? — строго спросил Алферов.

— Из Ремстройкоиторы увели, — блесиув глазами, ответил Светов и сиова заговорил о своем: — Два баллоиа кислорода, Валерий Семеиович! Достаиете — в историю подземиой газификации войдете как благодетель!

Ои говорил шутливо, ио за его веселостью ощущалась иапряжеииость, словио ои все время сам себя взбадривал.

— Кто вам студеитов выделил?

— Так ведь иа скучиое иадо выделять, а иа интересиое сами сбегаются.

— Павел Кириллович, — по-приятельски беря его под руку, сказал Соиии. — Я ваш доброжелатель и помогу чем сумею. Но смотрите... Увести да словчить — дело иехитрое. Но, поскольку тут марка иистsiтута, я вас попрошу ставить меия в известиость, что и где вы тащите.

— Ну что вы, Валерий Семенович! — воскликиул Светов и расхохотался.— Ни за что! Случись — поймают, дирекция иичего ие зиала. Неужто я ваш авторитет подрывать стаиу?

Ои перемииался с иоги иа иогу — студеиты кончили переиоску кирпича и иачали выкладывать посреди лаборатории «постель» — осиование для опытиого целика. А Саша засел в библиотеке. Сообразят ли оии, как лучше? И прииесла же иелегкая директора с парторгом так иекстати!

— Насчет кислорода и всего, что вам иужио, доложишь иа парткоме,— сказал Алферов иаставительио.— А иасчет скромиости — подумай, товарищ Светов, хорошенько подумай!

— Обязательио подумаю, Василий Оиуфриевич! — торопливо согласился Палька и рваиулся-таки в лабораторию, уже иа бегу выкрикиув с иескрываемым озорством:

— На досу-у-ге!

Все, кто работал с Павлом Световым в эти дии, заражались его азартиой увлечеииостью. Ои впивался в любое дело — будь то решеиие теоретического вопро-

са или добывание лошади для перевозки угля. Он был изворотлив и хитер; вдруг все забросил — точит лясы со студентами и хохочет на весь институт, но, как выяснилось, именно в это время он незаметно подвел студентов к решению перетаскать на себе кирпич, поскольку средств не отпущено, а кирпич необходим срочно; он включился в цепочку, чтобы задать ритм, но, как только работа наладилась, незаметно удрал и помчался налаживать другое не менее срочное дело...

Там, где был Светов, всегда возникали шутки, дружеские поддразнивания, смех. Липатов прислушивался и шептал Саше:

— Пожалуй, обошлось?

Саша резонно отвечал:

— Иначе и быть не могло.

Только Катерина, часто заходившая в лабораторию по вечерам, недоверчиво покачивала головой — в веселости брата звучала слишком звонкая, вибрирующая нота.

Палька сам чувствовал эту вибрирующую на предельном напряжении ноту — вот-вот что-то внутри оборвется. Было одно средство справиться с этой проклятой вибрацией — работать до изнеможения и никогда не оставаться наедине с самим собою, потому что, стоило остаться одному, из пустоты наплывало все то же, все то же...

Степь, какую он никогда прежде не видал, совершенно серебряная от лунного света, каждая травинка блестит. Искристый шарф развевается и отлетает концом к нему на грудь — прозрачное ласковое крыло, волнующий намек, невесомый мостик между ним и той, что шагает рядом. Она идет, легкая, молчаливая, и ему страшно взглянуть на нее, так она сейчас близка и необычна. Палатки лагеря остались позади, песня и костер остались позади, все, что разделяло их, — позади. Они одни в лунной пустыне — она и он. Она останавливается первая и оказывается прямо перед ним, он решается взглянуть на нее и уже не может оторваться от ее прелестного лица, такого он не видел никогда прежде, такого у нее никогда и не было, не было таких мерцающих глаз, такой холодноватой сияющей кожи, таких подрагивающих губ с непонятным выражением не то ласки, не то насмешки. Он гля-

дит на нее, и не может наглядеться, и ничего не хочет, только глядеть, глядеть, глядеть...

Шевельнулась ли она, собираясь идти, а он испугался и заговорил, чтобы она не вздумала уйти? Никогда еще он не любил ее так свободно и восторженно, без примеси злости или досады. Он говорил ей слова простые и чудесные, каждое было выношено любовью и выражало только любовь — он сам не знал раньше, что у него есть такие слова и такая любовь — без умысла, без желаний, без просьб. Если бы он мог в те минуты задуматься, хочет ли он чего-нибудь, он нашел бы в себе одно желание — чтобы вот эта минута длилась и длилась...

Она сама вскинула руки на его плечи и непонятно над чем тихо засмеялась, ее мерцающие глаза оказались совсем близко, ее губы — у его губ, он услышал ее шепот: «Ах, все равно,— и потом еще тише: — Пусть!»

Он и теперь не понимал, что она хотела сказать. Что ей стало все равно и что — пусть. Зато теперь он хорошо понял, что значило ее короткое слово после прощального поцелуя — в самом конце ночи, когда луна уже скрылась и степь потемнела, а они шли, сплетя руки, и он был так потрясен и счастлив, что не мог говорить и только сжимал, сжимал ее пальцы. Уже выступили из мглы очертания палаточного лагеря, когда она остановилась, поцеловала его и сказала: «Все!» И убежала...

Все! Теперь он понимал это короткое слово, это подлое свистящее словцо, которым она перечеркнула случившееся. Его раздирали отчаяние и гнев. Он был счастлив, как дурак, как самый наивный дурак! — а она уже все взвесила, рассчитала, решила... Как же так? Зачем?

Ответа не было.

Он не мог вспомнить без чувства унижения весь следующий день. Он ходил взволнованный и счастливый, не смея смотреть на нее, чтобы не выдать их любовь, а она была такая смирненькая и держалась около мужа и только один раз, за столом, метнула на него многозначительный взгляд. И потом, в громыхающем фургоне, отвернувшись от нее, чтобы не видеть ее рядом с мужем, он обдумывал, как встречаться с нею, и давал себе слово беречь ее и ни одним

неосторожным поступком не набросить на нее тень!.. Он находил объяснения всему, что она делала, оправдывая ее и даже восхищаясь тем, что она живет помощницей и другом нелюбимого мужа — ради дочери и ради его научной ценности. Этот ученый муж имел на нее свои неотъемлемые права, но муж не мог приказать ее сердцу, и она полюбила другого — и он ее любовник. Любовник! Ничего грязного, ничего постыдного не чувствовал Палька в этом затрепанном слове, оно раскрылось во всей красоте первоначального смысла: любовь, тот, кто любит и любим.

Как он безумствовал всю ночь после возвращения домой! Когда-то он мечтал о ненаглядной как о своей победе, как о торжестве над ее высокомерием и коварством, но это отлетело, забылось. Он делал глупости, о которых невыносимо вспоминать,— достал из кармана лепестки, поднятые им со ступеней гостиницы, разглаживал их, целовал их и шептал всякий бредовый вздор. Он сунул лепестки под подушку и с блаженной улыбкой глупца решил, что покажет их, когда она в какой-то счастливый вечер найдет способ прийти к нему — через сад, в окно, потихоньку от Катерины и матери. Он долго обдумывал, как это все устроить. Он видел ее на фоне окна — в светлом платье, с развевающимися концами шарфа. Он почти осязал рядом с собою ее теплое, податливое тело. Но лица уже не мог себе представить — только мерцание глаз и непонятное незнакомое, упоительное движение ее губ.

Почему он не побежал к ней утром? Столкнуться бы с нею лицом к лицу, понять ее лицемерие, услышать ее увертки, бросить ей в лицо все, что ему открылось бы!.. А он бродил по институту, глазел в окна и казался себе очень хитрым и осторожным — он побежит к ней не раньше, чем убедится, что профессор в институте. Профессора не было. Его консультацию перенесли на конец недели,— об этом извещал листок на доске объявлений. Почему? Что там случилось — в гостинице? Может быть, она не сумела скрыть, солгать?.. Может быть, ей сейчас плохо и страшно, а он не может защитить ее, помочь ей?

В середине дня профессор заехал в институт. Машина ждала у подъезда, Палька видел в окно ее черный лакированный капот под одним из щербатых

львов. Профессор вышел очень скоро, его сопровождал Сонин. Ревнивый взгляд отметил, что Русаковский кажется особенно изящным рядом с округлой фигурой директора. И сколько в нем спокойной уверенности! Вот он что-то сказал Сонину и щелкнул льва по носу, оба засмеялись, сели в машину и уехали.

Куда они поехали?

Палька промучался до вечера, а вечером решил, была не была, пойти в гостиницу. «Олег Владимирович, мы просим вас познакомиться с проектом подземной газификации...» Маленькая деловая просьба. Его будут оставлять ужинать,— нет, он ни за что не останется, он сразу же уйдет, только увидит ее, только уверится в том, что она — есть и она — любит.

Дверь номера была распахнута. Горничная выметала из него обрывки бумаги и увядшие цветы.

Палька тупо смотрел, как застревают на пороге раскисшие стебли, горько пахнущие тлением.

— Профессор Русаковский,— произнес он в беспамятстве.

Горничная обернулась. Равнодушное лицо, лишенное даже любопытства. Ему хотелось закричать.

— Профессор Русаковский,— пролепетал он.

— Уехал семью провожать,— сказала горничная и поддела метлой застрявшие стебли.

— Куда? — выдохнул Палька, уже зная правду, но еще цепляясь за последнюю отчаянную надежду.

— В Сухум, что ли,— не сразу ответила горничная, ногой подтолкнула мусор на совок и вдруг глянула на Пальку насмешливо и проницательно.— Профессор вернется, номер за ним. А вот профессорша...

И она произнесла нечто вроде «тю-тю» или «фюить»...

Хотя все его существо корчилось от стыда и боли, лицо приняло выражение холодное и гордое, голос строго выговорил:

— Передайте профессору, что приходил аспирант Светов.

Независимой походкой он спустился по широкой лестнице, по которой столько раз взлетал, обуреваемый надеждой и страстью. Швейцар, обычно провожавший его понятливой усмешкой, увидел на этот раз сдержанного, солидного научного работника с гордо

поднятой головой. Тяжелая дверь навсегда захлопнулась за спиной Пальки, и нестерпимо яркая улица навалилась на него шумом, сутолокой, жарким дыханием нагретого камня, запахом угля, цветов и бензина.

Его предали.

Все ложь — любовь, поцелуи, обладание, страстный шепот.

Она сидит в самолете со своей скуластой дочкой и умным мужем, сидит и смеется про себя.

И теперь важно одно — чтобы никто не заметил, не понял, как его вероломно обманули.

Равнодушный мир дышал и шумел вокруг него,— мир, не имевший никакого отношения к тому, что с ним произошло. И в этом мире шел по улицам аспирант Светов, изображая на лице подобие жизнерадостной улыбки. Ноги привычно привели его к институту. Он прошел мимо, с ненавистью взглянув на щербатого льва. Вспомнился шутливый жест Русаковского — да ведь это ему, Пальке, дали щелчок по носу!

Он вскочил в трамвай, но там было полно молодежи — студенты с рюкзаками отправлялись за город. Они узнали Светова и поздоровались с ним дружелюбно и почтительно, а он прошел сквозь их теснящийся строй, умудренный своим горем; он шутил с ними, но сам себе казался старым, как Китаев.

У Кузьменок под сиренью сидели Саша и Люба. Отвернувшись, Палька поспешно прошел к себе. Мать гладила белье в кухне и не услыхала его крадущихся шагов. Катерины, к счастью, не было. Он остановился посреди своей комнатушки, зная, что должен что-то немедленно сделать, и не помня, что именно. Потом его будто обожгло — лепестки! Стиснув зубы, он нащупал их под подушкой, поднес к окну и остановился, не в силах разжать кулак. И тут увидел Сашу. Неестественно широко улыбаясь, Саша шел от калитки прямо к окну. Палька торопливо разжал кулак — сухие лепестки посыпались в разросшиеся заросли маттиолы.

— А я к тебе весь вечер бегаю,— сказал Саша, перебираясь через подоконник.— Ремонт закончен. Федосеич водворяет туда все имущество, надо завтра же начинать подготовку опыта. Я ждал тебя, потому что...

Он говорил безостановочно, деловым тоном, как будто кроме их проекта ничто не существует на свете. Он уже все знает? Ну что ж, пусть он увидит человека, которому наплевать, что кто-то там уехал в Сухум.

Пригнувшись, они сидели на подоконнике и обсуждали, с чего и как начать.

— Наконец-то! — раздалось под окном.

Липатушка был тут как тут. И тоже, оказывается, несколько раз заходил. У этого дружка все отражалось на лице — любопытство, сочувствие и решимость помочь во что бы то ни стало.

— В среду выступлю на партактиве и — будьте спокойны! — обеспечу поддержку,— заговорил он, разваливаясь на кровати.— Так что в четверг можем начинать.

— Начнем завтра с утра,— сказал Саша.— Завтра с утра!

Липатов, видимо, не понял, зачем торопиться. Или решил, что бедному влюбленному нужна передышка? Палька с нарастающей яростью следил за переглядываниями друзей, но тут рассердился Саша:

— Вам не к спеху, а мне второй отсрочки никто не даст.

И они вместе продолжали обсуждение. Зачинщик всего дела Павел Светов увлеченно намечал предстоящие работы, передразнивал лаборанта Федосеича, который будет брюзжать по поводу начавшегося беспорядка и беречь только что отремонтированную лабораторию так, будто в этакой чистоте уж не до опытов и впредь главная задача — лелеять свежую окраску стен и полов... Все трое хохотали. Громче всех хохотал Палька, сам ощущая, что существует и такой Светов, плюющий на всякие Сухумы, Светов, увлеченный большим делом, несдающийся, шумливо веселый, Светов, у которого самолюбие пересилило отчаяние.

Таким он и продолжал жить. Азартно работал, всех вдохновлял, а поздно ночью падал на кровать и засыпал прежде, чем наплывет из пустоты то, что нужно забыть.

Процесс начался.

Внутри опытного сооружения, по-прежнему напо-

минавшего печку, но уже более солидную, шел процесс газификации угля в целике с помощью кислородного дутья.

Директор института перебрался в дальний угол лаборатории, как только внутри опытного сооружения начались хлопки и громыхания,— тут и на воздух взлететь недолго. Эти же молодцы года два назад во время опытов с окислами хлора устроили такой взрыв, что касторовая ванна взлетела до потолка — ее отпечаток красовался там вплоть до нынешнего ремонта. Где гарантия, что сейчас не полетят в голову кирпичи и раскаленный уголь?!

Сонину очень хотелось, чтобы опыт удался,— ведь обещали перед всем активом города, перед Чубаковым! Но характер опыта не внушал доверия. Тем более что командует парадом Светов. Вот они крутятся возле своего странного сооружения, измеряют температуру внутри него, то и дело берут анализы из газоотводной трубки,— а из трубки идет не газ, а дым! Сооружение трещит и гремит, но Светов бойко уверяет: «Ничего, не убьет!» Конечно, он рвется к славе, в его возрасте слава более заманчива, чем безопасность и спокойствие. А директору рисковать незачем, дело директора — обеспечивать и направлять, подставлять голову от него не требуется...

И от Алферова не требовалось. Алферов огибал громыхающее сооружение, держась у стены, и предпочитал находиться в той части лаборатории, где Федосеич со студентом Ленечкой Длинным производили анализы проб. Оттуда он напоминал страдальческим голосом:

— Товарищи, не забывайте о мерах безопасности!

Сонин про себя ворчал — вот и все алферовское «руководство»! Студенты пересмеивались, на минуту отходили, а потом опять лезли к самой печке, потому что весь день их лихорадило ожидание какого-то небывалого чуда. Сонин уже пытался отправить студентов вон, в лабораторию набилось слишком много народу. Но разве их выгонишь, когда Светов уверяет, что «теперь скоро!.. теперь совсем скоро!..»

Как ни странно, профессор Троицкий втянулся в атмосферу азарта и работал с ними бок о бок. Почему молодежь так любит его? На экзаменах Китаев куда

снисходительней, особенно к институтским активистам. А Троицкий грубит им: «Невежды нам не нужны! Придете еще раз!» Сонин был вынужден намекнуть ему, что нельзя так лютовать, но Троицкий ответил: «Именно от активистов я особенно... э-э-э... требую и буду требовать. Именно они должны быть... э-э-э... самыми лучшими, а не худшими. Им — руководить. Если бы я их презирал, я бы... э-э-э... спускал им, а я их уважаю и потому... э-э-э... лютую!» Конечно, студенты, если можно было сдать экзамен другому преподавателю, норовили попасть к другому. А Троицкого все же любили.

И вот он топтался у печки вместе с молодежью, э-экал и не обижался, если кто-нибудь по рассеянности толкнет его локтем или обратится на ты: «Давай! Отключи!» Его длинная журавлиная фигура и узкая седеющая бородка выглядели забавно и очень раздражали Китаева. Ивану Ивановичу хотелось уйти от суеты, от хлопков и громыхания, он и ушел бы, но присутствие профессора Троицкого обязывало,— как-никак все затеяли ученики Китаева, и если опыт удастся...

— Как вы думаете, коллега...

— Не кажется ли вам...

Они все время обращались друг к другу, и каждый из них хотел, чтобы другой ушел.

Сонин сам просил профессоров присутствовать — в случае удачи они скрепят своими подписями протокол испытаний. Обещал заехать и профессор Русаковский, ему должны позвонить, если процесс пойдет нормально. Подпись Русаковского перевесит все остальные, когда проект повезут в Москву... Сонин представлял себе эту счастливую возможность: группа работников института — два профессора и кто-либо из молодежи... Может быть, и самому поехать? Давно не был в Москве. Повидать приятелей... Наркомат, Академия наук, столичные институты...

— Ну как там у вас? — спрашивал он из своего угла.

— Газа еще нет,— сдержанно сообщал Мордвинов.

— Теперь скоро! — легкомысленно уверял Светов.

— Ждем-пождем, чего-нибудь да будет,— по-

смеивался Липатов.— И не иначе как ночью. Почему так? Начинай хоть с рассвета, а самая страда обязательно к ночи!

Липатов пришел в этот день прямо из шахты, изменив своей привычке поспать полчасика после работы. Он часто позевывал, но объяснял, что зевота — нервная.

Пришли Люба и Катерина с булками и колбасой. За ними проник в лабораторию Кузька. Сонин хотел прогнать мальчишку, но Мордвинов сказал своим твердым голосом:

— Шахтерский парень, участвует с самого начала. Я разрешил ему.

Девушки раздавали бутерброды. Сонин любезничал с обеими, отдавая предпочтение Катерине: невеста Мордвинова — влюбленная кошечка, а вот вторая... кто мог думать, что у взбалмошного Пальки этакая сестра!

— Не хотите ли выйти в коридор, Катерина Кирилловна? Нас позовут, когда начнется интересное.

— А мне и сейчас интересно,— сказала Катерина и отошла к брату.— Как дела, Павлик?

— Все в норме. Температура тысяча сто...

Момент был волнующий, но Катерина видела, что сегодня Палька впервые успокоился, прояснился. Сейчас он, наверное, не помнит ни о чем, кроме таинственного процесса, совершающегося в замурованном куске угля.

Катерина села у окна, скрестив на груди сильные руки. Вот уже много дней она проводила вечера около трех друзей, участвовала в разнообразных предварительных опытах, иногда просто смотрела и слушала. Жизнь раскололась на три части: были ночи, когда одиночество душило ее и не всегда удавалось утешиться мыслью о зреющем в ее теле существе; были рабочие будни возле компрессора, однотонные движения, привычный круг товарищей,— там она по-деловому думала о простых, хотя и нелегких вещах: как наладить жизнь, когда *он* родится, хватит ли ее заработка, попытаться ли все-таки продолжать заочную учебу — или не задаваться пока большими целями... Вечером, рядом с братом и его приятелями, ею овладевали мятежные желания — на нее возбуждающе действова-

ли их мечты, в которые они запросто включали всю промышленность, всю страну и ее будущее; стоило новичку попасть сюда, и он молниеносно втягивался в неудержимый поток надежд и планов.

Вот Степка Сверчков. Она ли не знала Степку? Соседи, вместе коз пасли. Незатейливый и безотказный паренек, его избирают во все выборные комитеты и бюро, а там дают самые канительные поручения — воспитательная работа в общежитиях, подписка на заем, распределение ссуд и путевок... Здесь его тоже нагружают канительными делами — вывезти крупные куски угля с Коксохима, замуровать уголь, выхлопотать на Азотнотуковом кислород... Он и сейчас старателен и скромен, на славу не рассчитывает, но послушать, как он говорит об этой газификации! «Конечно, через несколько лет новые шахты закладывать не будут...», «Надо заранее учесть, что высвободятся десятки тысяч шахтеров...» Вот тебе и Степка!

Двух Ленечек профессор Троицкий называет — «Аяксы», это что-то греческое, означает — неразлучные. Ленечку Коротких Катерина знала давно — он жил у Дурной балки, в Нахаловке. Веселый крепыш, собиравшийся по примеру отца стать доменщиком. И вдруг он заявляет самым будничным тоном, что, пожалуй, переквалифицируется на проектировщика, «потому что на основе опыта первых станций подземной газификации понадобится непрерывное совершенствование системы...».

Ленечку Длинного Катерина раньше не знала, он приезжий, сын шахтера из Макеевки. На шахтерского сына не похож. Тоненький, как тростинка, с переменчивым румянцем, с русалочьими зелеными глазами — он похож на поэта или музыканта, какими они представляются Катерине. Он самолюбив и честолюбив — когда говорили о подписях под проектом, он краснел и бледнел — разрешат ли ему подписаться. Палька говорит, что Ленечка Гармаш очень талантлив и Троицкий хочет оставить его при кафедре. Но сейчас кажется, что все чаяния Ленечки связаны с этой газификацией.

О Пальке и говорить нечего. Когда Катерина спросила его, что же будет с аспирантурой, Палька отмахнулся: «Плевал я на нее, тут дело поважнее!»

Катериia и верит им — и ие верит. Оиа желает им успеха и зараиее тоскует оттого, что эта ежевечерияя увлекательная суета коичится... Оии добьются всего, о чем мечтают... А оиа? Что остаиется ей? Чем заполиятся ее вечера? Чем же, чем же оиа-то будет жить?!

Сонии подкатился к ней с любезиой улыбкой, ио увидел отрешеииое, скорбио застывшее лицо ее и в иедоумеиии отступил.

И как раз в это мгиовеиие раздался взрыв.

·

Когда поздиее Люба припомииала иапряженные мииуты, решившие судьбу опыта, она прежде всего вспомииала сдавлеиный выкрик Саши: «Отключить кислород!» — и его иезиакомо азартное лицо возле самой печки, по которой расползались грозиые трещины.

Оиа вспоминала, как быстро и оргаиизоваиио работали Саша, Палька, Липатушка, Сверчков, Леия Коротких и вместе с ними, отрывисто комаидуя, — профессор Троицкий. Палька отключал кислород, продувал опытный газогенератор сжатым воздухом, снова подавал кислород, советуясь с профессором Троицким о давлеиии. Остальиые лихорадочио закладывали трещины цемеитным раствором, укрепляли стеики иовым рядом кирпичей, обвязывали их проволокой, обмазывали цемеитом... Все это делалось почти молча, очеиь слажеино. Люба запомнила тишииу, полиую движеиия и борьбы. Как красив был Саша в эти миииуты! Как он снисходительио усмехнулся, когда Китаев рииулся прочь! Люба миого раз слышала от Саши — «иаш коллектив». Теперь оиа увидала, что все оии — действительио коллектив. И со стыдом, со стыдом и гордостью вспомииала оиа, что первым, неосознаниым движением бросилась к Саше, чтобы оттащить его от опасиости, ио сдержала крик. «Не ходи, Саша!» — так оиа крикиула одии раз в жизни... Никогда больше она ие позволит себе малодушия!

Во время взрыва Кузька находился у самой двери. На него наткиулся перепугаиный старичок профессор, рииувшийся прочь из лаборатории. Мимо иего прошел сердитый Алферов, выкрикивая иа ходу:

— Безобразие! Нелепость! Я предупреждал!

Рядом с Кузькой остаиовился и веселый кругло-

лицый начальник, пытавшийся его выгнать часом раньше, от порога спросил начальническим голосом:

— Вызвать пожарную команду или взорвете институт сами?

— Сами! — ответил Светов.

Кузька улыбнулся шутке и удивился, что начальник тут же скрылся за дверью и не вернулся. Кузька подбежал к работающим, чтобы как-нибудь примазаться к ним, но Липатов схватил его за плечо и подтолкнул в спину:

— А ну, геть на место!

А Палька Светов вдруг сказал счастливым голосом:

— Товарищи, пахнет газом!

И все стали принюхиваться, а Леночка Длинный подбежал брать пробу.

Кузька видел, что и сестра (такая трусиха!), и Катерина помогают обмазывать кладку. Старый Федосеич спокойно возится с газоотводной трубкой. Похожий на журавля профессор Троицкий приклонил ухо к печке и вслушивается, что там происходит внутри, а Палька задумчиво говорит ему:

— Природа этого взрыва должна радовать. Накапливающийся газ соприкасается с кислородом, так?

Вынужденное безделье помогало видеть и понимать. В эти минуты Кузька открыл для себя коренные различия в поведении людей и очень точно определил, что ему нравится, а что — не нравится. Мог ли он думать, что открыл только малую долю этих различий?

Профессор Китаев постоял в коридоре, прислушиваясь, не раздастся ли новый взрыв, затем поплелся в свой кабинет, погрузился в глубокое кресло и прикрыл глаза. Его предупреждений не послушали, а вот теперь все взорвалось, и всем станет ясно, что эта мальчишеская затея — вздор. Газифицировать уголь в целике? Невежество, дичь! Получили дым и гремучую смесь. Хорошо, что не получили вдобавок кирпичом по голове! И хорошо, что он, по существу, отстранился от их затеи, что он не несет ответственности...

И вдруг он подскочил, заметался по кабинету, потом быстрыми шажками засеменил в партком.

Комната, куда недавно переехал партком, примыкала к отделу кадров — так новому секретарю было

удобней руководить и тем и другим. Чтобы не возвращаться в лабораторию, где попросту опасно и где невольно берешь на себя долю ответственности, Алферов раскрыл ведомость уплаты членских взносов и начал выписывать фамилии должников. Начал как раз вовремя — директор застал его работающим.

— Если институт не взорвут, можно считать, что мы дешево отделались, — сказал Сонин и плюхнулся в кресло. — Но хороши мы будем, если из этого ничего не выйдет!

— Если бы вы посоветовались с партийной организацией, Валерий Семенович, я бы вам порекомендовал не торопиться с обязательством, — кротко сказал Алферов. — Теперь, конечно, поздно каяться. Но не думаете ли вы, что подвергать опасности людей и здание... В конце концов, там студенты, и даже посторонние девушки, и дети!

— Но ведь там и профессора! Если они считают, что опыт ведется правильно... что есть надежда на удачу... Вы же на активе сами поддакивали, когда я взял обязательство! И сами ставили вопрос на парткоме. И обязали меня помогать им!

Алферов развел руками:

— А что мне было делать, когда вы публично обещали!

В дверь осторожно постучали. В щель просунулась седая голова профессора Китаева.

— Очень кстати! — воскликнул Сонин. — Что вы думаете, Иван Иванович, о перспективах этого взрывоопасного эксперимента?

— Так ведь химия без опасных экспериментов не развивается, — сказал Китаев и присел на кончик стула. — Все дело в обоснованности и целесообразности задачи. Идею подземной газификации вынашивал еще Менделеев, и я всецело — всецело! — за то, чтобы искать и экспериментировать...

— Вот и хорошо! — с облегчением сказал Сонин. — Как я понимаю, они рассчитывают довести опыт до победного конца. Удастся им?

— Я всецело за то, чтобы искать и экспериментировать, — продолжал Китаев, как бы не слыша вопроса, — но... на путях научно грамотных! Я не специалист по газогенерации, но ведь и первокурсник знает, что

процесс газификации требует хорошо раздробленного угля, а в целике невозможен.

— Но вы же поддержали их проект? — удивился Сонин.

— Я был бы плохим руководителем молодежи, если бы априорн отвергал их проекты, — не без издевки возразил Китаев, снял очки и острым взглядом кольнул директора.— А поскольку тут вмешалось мнение партийного актива... зачем мне идти наперекор этому мнению, которое я глубоко и неизменно уважаю?

— Никакого решения партийный актив не принял,— поспешно уточнил Алферов.

— Этого я не знаю, Василий Онуфриевич! — быстро ответил Китаев и уткнул острый взгляд в Алферова. — Мне сообщили — актив поддержал, директор принял обязательство, вопрос поставлен в плане смычки науки и производства... Это же установка для такого старого беспартийного человека, как я!

Он надел очки и сложил на коленях сморщенные короткопалые руки.

Сонин чертыхнулся про себя. Крысы уже побежали с корабля. Вот и Алферов попрекнул, и этот ядовитый старичок...

— Позвольте, Иван Иванович, — уже раздраженно сказал он. — По приезде я беседовал с вами, вы сами показали мне ответ академика Лахтина на вашу телеграмму...

— Показывал, — согласился Китаев и снова снял очки. — Да только телеграмму-то я не посылал. Ее послал за моей подписью кто-то другой. И цель моего прихода как раз в том н заключается, что в порядке необходимой бдительности... и чисто педагогической ответственности за моральный облик нашей молодежи...

— Как не посылали?

— Как — кто-то другой?

— В порядке бдительности и педагогической ответственности я просто не имею права закрыть глаза на недостойные махинации с моей подписью, — закончил Китаев, скромно опустив глаза. — Я не сыщик, чтобы проводить расследованне. Но моя обязанность — предупредить руководителей института... Как хотите, но я возмущен и обескуражен! — выкрикнул он и встал,

сурово поблескивая очками. — Нести ответственность за их проделки — за взрыв лаборатории... за антинаучный вздор — не считаю для себя возможным!

В лаборатории обольстительно пахло газом. Вентиляция не помогала — из трубки сочилась ровная струя горячего генераторного газа. Первая бурная радость сменилась деловым напряжением: измеряли температуры, брали анализы. Мордвинов начал писать протокол испытания. Липатов побежал звонить профессору Русаковскому. Все были возбуждены.

Человек, неожиданно шагнувший через порог лаборатории, всем показался странным. По мертвенно-бледному лицу катились капли пота, прерывистое дыхание наводило на мысль, что человек долго через силу бежал куда-то или от кого-то.

— Маркуша! — воскликнул Саша, с трудом узнав товарища по выпуску.

— Ребята, выйдите на минутку, — проговорил Маркуша.

Профессор Троицкий оглядел своего бывшего студента и шепотом сказал:

— Идите, идите, я тут займусь.

В коридоре Маркуша опустился на скамью и уронил между колен тяжелые руки с пульсирующими венами.

— Сейчас меня исключили из партии.

Потом рассказал:

— Есть у нас технолог Исаев. Месяц назад мы с ним крупно поругались, я выступил на производственном совещании, что он предельщик и перестраховщик. Моя печь полгода стахановская, а он... Ну, что об этом теперь! И вот он обвинил меня во вредительском нарушении режима печи и в том, что я продаю на сторону уголь, застревающий на решетке... ну, тот самый, что вы у меня взяли для опыта! Так вот, будто я продал его. И деньги пустил на пьянку. У меня вчера годовщина свадьбы. Оля собрала гостей, конечно, малость выпили. И вот поди докажи, что я не вор и не пьяница!

— Но это же все знают! — вскричал Палька — Я пойду и скажу, как было дело с этим несчастным углем!

Липатов, подошедший во время его рассказа, остановил Пальку:

— Погоди, не горячись. А ты успокойся, Серега. С режимом печи у тебя были нарушения?

— Был риск, который оправдался!

Он объяснял технику дела, постепенно приходя в себя.

— Так за что же исключать! — снова воскликнул Палька.

— Возмущаться успеем, тут помогать надо, — сказал Липатов.— С углем этим вы оформляли... или как?

— Да ничего мы не оформляли! — с отчаянием простонал Маркуша. — Павел попросил несколько кусков покрупнее, прислал подводу, мы сняли с решетки кусков пять и погрузили. Вот и все. Ребята спросили — куда? Я говорю — институт просит уголь для опыта. Это и ребята подтверждают.

— Не верят им, что ли?

— То-то и беда, что они были у меня на вечеринке. Выходит — купил за выпивку.

— Так мы подтвердим документом и партийными ручательствами, как было дело.

Маркуша безнадежно поник.

— Да ты что?

— Еще одно дело пришили мне. Кругом оплевали. Не знаю, кто из вас помнит... На первом курсе было. Попалась мне троцкистская листовка насчет каких-то международных дел. Ну, не понимал я тогда в этом ничего! Смотрю — напечатано на тонкой бумажке что-то политическое. Показал ребятам в общежитии, увидели —троцкистская — и разорвали. Еще и плюнули на нее. А теперь какой-то мерзавец вспомнил и пришил распространение вражеских листовок.

— Это было при мне, я все помню, — сказал Саша и стиснул челюсти так, что заходили желваки.

Маркуша с надеждой вскинул голову.

— Подтвердишь?

— А ты что же — за подлеца меня считаешь? — ответил Саша и вдруг радостно улыбнулся. — Как же хорошо, что ты прибежал, Серега! Завтра с утра напишу, заверим в парткоме...

— Завтра с утра — уже на горком, — опять сникая, сказал Маркуша. — Прямо как на пожаре — сегодня

без предупреждения вызвали, читают какое-то показаиие, ие называя фамилии — чье... Я растерялся, отбиваюсь как могу, а мие шьют, шьют одно за другнм! И эта сволочь Исаев все подогревает: «Подозрительио! Смотрнте, все одно к одиому сходится!»

— Формулнровку какую записалн? — осведомился Липатов.

— Страшную! Что-то вроде «троцкистского последыша» и еще иасчет моральиого уровня...

Все молчали. Вот ведь как получается... Серьезиое дело, в два счета ие распутаешь.

Липатов обнял друзей за плечи.

— Повоюем за человека?

И потом уже по-деловому определнл, что́ писать Пальке по поводу угля, что́ писать Саше о давией историн с лнстовкой. Тут же, зайдя в пустую аудиторию, написали. Лнпатов тоже иаписал — характеристику коммуннста Сергея Маркуши, которого зиал все годы учебы. Прочнтали друг другу и пошли в партком, оставнв Маркушу в аудиторни.

В парткоме оин застали Алферова и Соииа. Алферов как-то странно посмотрел иа ннх и перемигнулся с директором.

Липатов объяснил, что́ пронзошло с Маркушей н почему нужно срочно, сегодия же, заверить их показания. Соиин отошел к окиу, как только поиял, в чем де́ло. Он хорошо помннл студента Маркушу и гордился стахановскими успехами молодого коксохимика. Но встревать в это запутаииое дело! Еще и тебе пришьют отсутствие бдительиости. Нет, спасибо. Если Маркуша прав, ои сумеет доказать. Кто может поручиться, что с лнстовкой было так, как ои рассказывает? А это ие шутки, ие пять кусков угля, отпущениых по-товарищески...

Услыхав, что Мордвннов хочет поручнться за Маркушу, Соиин оглянулся, чтобы посмотреть в лицо храброго человека — безрассуден ои нли просто ие понимает, чем это грозит ему самому? Нет, видимо, поинмает. Взволноваи. И это он делает сразу после взрыва, когда при желанин можно обвниить его самого в чем угодио!

— Заверить сегодия я не могу,— мрачно сказал Алферов.

Он весь сжался, как только услыхал имя Маркуши. Маркушу он не только знал — когда-то, при переводе студента из кандидатов в члены партии, Алферов дал ему рекомендацию и выступал на собрании с самым лестным отзывом. Тогда его пленила биография студента — сын горнового и откатчицы, три года работал на заводе, окончил вечернюю школу, был комсомольским активистом, в институте учился отлично... И вот поди-ка — история с листовкой! Кто мог думать? А что, если начнут копать в институте и найдут протокол того собрания?..

Помертвев, Алферов сказал ледяным тоном:

— Сейчас нерабочие часы. Печать закрыта. И мне нужно посоветоваться, стоит ли вам давать такие непродуманные показания, когда и без того...

Первым взорвался Палька:

— Что «без того»? Что не продумано?

— Маркуша — наш товарищ, и мы его знаем! — отчеканил Саша.

Алферов подошел к Сонину и что-то шепотом спросил, Сонин кивнул. Алферов медленно вернулся к столу и не сел, а оперся руками на стол в позе суровой и торжественной.

— Товарищ Светов, попрошу вас выйти на десять минут.

Палька заерепенился, но Алферов повторил еще суровее:

— Товарищ Светов, вам предлагают выйти на десять минут. Подчиняетесь вы партийной дисциплине?

Когда Палька, чертыхаясь, вышел, Алферов спросил, кто дал разрешение на постановку опасного опыта и кто визировал план испытаний. Это было похоже на допрос. Саша ответил, раздражаясь, что Алферов и Сонин сами помогали организовать опыт и дело не в формальной визе...

— А кто у вас отвечает за проведение опыта?

— Вот, ей-богу, нашел к чему цепляться! — усмехнулся Липатов. — Ну, хочешь, я отвечу? И чего ты глядишь, будто глотком подавился? Что мы — вредители? Поджигатели?

Но Алферов и слушать его не хотел.

— Я вас очень уважаю, Иван Михайлович, но в данном случае вы — постороннее лицо и отвечать за

институтские опыты не можете. Я спрашиваю о служебной ответственности.

— Да товарищ Сонин! Валерий Семенович! Уйми ты своего Онуфриевича, чего он тут следствие развел! —все еще не веря в серьезность происходящего, полушутливо воззвал Липатов к директору.

Сонин обернулся от окна, лицо его перекосилось.

— Следствие и нужно, — задыхаясь, сказал он. — Кто вам подписал телеграмму, посланную академику Лахтину? Кто?!

Наступило молчание.

В памяти друзей возник тот вечер в сарае Кузьменок, появление торжествующего Пальки, его уклончивый ответ: «Все дело в подходе. Надо уметь...»

— По-моему, кто-то из руководителей института,— неуверенно сказал Саша.

— Кто именно? — настаивал Алферов. — Вы же не могли не знать, к кому обращался ваш приятель!

— Я не знаю, — ответил Саша. — По-моему, он был и у вас?

— И я ему отказал так же, как профессор Китаев.

Друзья переглянулись: неужто Палька послал телеграмму сам? Это на него похоже. Ну и замотают же его теперь, беднягу!..

— Значит, не знаете? — продолжал Алферов.— И вы хотите, чтобы мы поверили! Три закадычных друга, один совершает подлог ради второго, никто не проверяет, не интересуется...

Саша поднялся с места.

— Ни в какой подлог я не верю. И без Светова разговаривать об этом не считаю возможным.

— И я тоже,— сказал Липатов.— Экой ты человек, Онуфриевич! С тобой натощак не сговоришься.

Алферов открыл дверь в отдел кадров.

— Прошу вас выйти через эту комнату.

Липатов сплюнул с досады. Когда они вышли из отдела кадров, Пальки в коридоре не было — Алферов поторопился ввести его к себе, не позволив друзьям встретиться.

— Товарищ Светов, кто подписал телеграмму за Китаева?

— Я, — улыбаясь и краснея, признался Палька. — Может, и нехорошо, но что было делать? И ведь Ки-

таев потом хвастался, что выпросил у Лахтина отсрочку! Значит, правильно?

В дверях появился Саша Мордвинов.

— Василий Онуфриевич, дело идет о поступке, совершенном ради меня. Я требую, чтобы мне разрешили присутствовать.

— На парткоме! — сказал Алферов, вытесняя его в коридор. — На парткоме разрешим и выступать и защищать, если сможете.

Мордвинов придерживал дверь, не давая закрыть ее.

— Чего ради вы начали этот допрос? Понимаете вы, что сейчас идет важнейший опыт? Что мы нужны там?

— А заступаться за троцкиста — время нашлось? Опыт не помешал?

Саша побледнел и перехватил руку Алферова, нажимавшую на дверь.

— Маркуша не троцкист, а наш товарищ, которого мы с вами рекомендовали в партию. Как вам не стыдно, Алферов!

У Алферова отвалилась нижняя губа.

— За телеграмму мы ответим, — продолжал Саша. — И оправдаемся большим делом, честью института. Пошли, Палька!

Палька не поднялся. Уйти вот так, ничего не решив? Маркуша ждет их, надеется на помощь, а помощи не будет. «Защищать троцкиста...» Черт знает что! Алферов затеет нудное дело, измотает всех — и это в то время, когда идет решающий опыт... Ведь газ получен! Газ! А помеха-беда подошла с совсем неожиданной стороны... Что тут придумать? И куда делся Липатов? Не мог Липатушка просто уйти, когда такое заварилось. Значит, он что-то придумывает, как-то выручит?..

И Липатушка выручил.

Грохот шагов по лестнице, потом по коридору заставил всех насторожиться. Наверху, в лаборатории, явно что-то произошло.

— Товарищи! Товарищи! — издали закричал Степа Сверчков. — Товарищи, газ пылает факелом! Приехал профессор Русаковский! Поздравляет с победой!

Все заспешили наверх. Из газоотводной трубки

вырывался сильный и ровный язык пламени — голубой с желтовато-розовыми прослойками.

Профессор Русаковский читал протокол испытаний. Он приветствовал вошедших:

— Знаете, интереснейший получился опыт!

Троицкий подошел с протянутыми руками к Саше и Пальке.

— Поздравляю с успехом, талантливые вы ребята!

И все по очереди пожимали руки Мордвинову, Светову, Липатову и друг другу. И Сонин пожимал. И Алферов.

— Надо позвонить в горком партии, вот Чубак обрадуется! — напомнил Липатов, невинно улыбаясь Алферову.

— Немедленно сам позвоню! — подхватил Сонин.— Покажите-ка мне анализы. И протокол. Где протокол? Попросим Олега Владимировича поставить и свою подпись.

— Подпишут все присутствующие, — добавил Алферов.

Кто-то вспомнил:

— А Китаев? Где Китаев?

Студенты уже зубоскалили: сбежал, думал — взорвемся! А голубой факел горел и горел, отбрасывая на лица людей нежные отсветы.

Палька присел на подоконник, чувствуя себя и бесконечно усталым, и счастливым, и совершенно выбитым из привычной колеи. Этого часа он нетерпеливо ждал. Каким он оказался трудным, этот час!

По лаборатории прокатился смешок. Сперва тихий, приглушенный. Потом прорвался уже несдерживаемый смех. Хохотал Липатов. Заливисто, со вкусом смеялся Сонин. Смущенно хихикал Алферов...

Прижмурив глаза, профессор Китаев осторожно заглядывал в лабораторию — не взлетела ли она на воздух.

6

Теперь — в Москву! Скорей, скорей в Москву!

Оформляли проект. Попутно проводили опыт за опытом, отрабатывая отдельные проблемы — метод розжига, дутье, регулирование процесса. Так уж вышло, что главным советником оказался профессор Тро-

ицкий. Китаев как будто не обижался, частенько заходил поглядеть, что делает молодежь, был ласков и нотаций не читал. Друзья подозревали, что в минуту растерянности после взрыва Иван Иванович нажаловался в парткоме насчет телеграммы — и теперь ему стыдно. К счастью, Алферов и Сонин о злосчастной телеграмме не вспоминали. Протянув дней пять, Алферов даже согласился заверить показания, и, хотя показания не поспели к заседанию горкома, где подтвердили исключение Маркуши из партии, — Маркуша подал апелляцию и приложил к ней три важных свидетельства. Стоило ли поминать прошлое, когда нужно поскорее оформить проект и отвезти его в Москву?!

Первый тревожный сигнал подал профессор Троицкий:

— Я хочу сказать вам... э-э-э... до меня дошло, что есть намерение послать с проектом... э-э-э... так сказать, старшее поколение и кого-либо одного из вас. Я польщен уважением к моей персоне, но считаю это... э-э-э... принципиально неверным.

Друзья ошеломленно молчали. Им даже в голову не приходило, что вместо них может поехать кто-то другой.

— Так вот, молодые люди, действуйте! — сказал Троицкий. — Что касается меня, то я... э-э-э... категорически отказался.

Друзья поспешили к Сонину.

— Как будет оформляться наша поездка и чем поможет институт?

— Ну как — чем? — жизнерадостно откликнулся Сонин. — Всем! Всем, чем можно! Институт верит в проект и считает его своей гордостью! Вот только...— он на секунду замялся. — Взвесить надо, милые мои, кого послать. Чтоб авторитетней было.— Лицо его кротко сияло, голос источал дружелюбие. — Я даже подумывал, не поехать ли самому. Знаете, в разных инстанциях имя и звание действуют этак... магически.

Он подмигнул и рассмеялся.

— Наибольшие основания ехать с нами у профессора Троицкого, — сказал Липатов строго. — Все дело в том, сколько человек может послать институт. Три автора — вне сомнений. Кто сумеет лучше нас обосно-

вать и защитить проект? А если вы располагаете средствами послать большую группу...

— Бухгалтерия! Бухгалтерия! — воскликнул Сонин.— Я раб своей бухгалтерии и сметы! А в общем — обсудим.

Приближался срок отъезда, а решения все не было. В субботу праздновалась свадьба Саши и Любы. Как и было сговорено, у Кузьменок собрались ближайшие друзья и Любины подружки. Кузьма Иванович достал из погреба две бутылки вишневой настойки, припасенные для этого случая. И он и Кузьминишна держались молодцами, но вечером накануне свадьбы оба старика долго сидели в заветном месте — на скамейке под сиренью. Сидели рука в руке, молча. Глядя на них, заплакала Люба, а Кузька засопел носом и перемахнул через забор — подальше от переживаний.

Посторонних никого не приглашали. Сонин сам надумал поздравить молодых. Его машина прокатила по поселку, привлекая общее внимание, и осталась ждать у калитки Кузьменок. Появление такого важного гостя смутило Кузьминишну, но Сонин быстро освоился, и вместе с ним ворвалось в дом веселье, — он один то ли не слыхал, то ли забыл о недавнем несчастье, и потому держался так непринужденно, как не могли держаться другие: любезничал с Любиными подружками, произносил красноречивые тосты и пел под гитару неаполитанские песни.

Часов в десять хлопнула калитка, и Кузьминишна увидела на дорожке маленького старичка в шляпе и с большим букетом. Чудится ей, что ли? Она слегка захмелела от вишневки, от незнакомых песен Сонина, от тоскливого предчувствия, что после веселья дом опустеет.

— Гляди-ко, гости повалили! — воскликнула она и распахнула дверь.

Иван Иванович церемонно поздравил жениха и невесту, вручил покрасневшей Любе букет и флакон духов, а Саше немецкий справочник, о котором тот давно мечтал.

— Незваный гость легок. Что есть, то и ладно! — закричал Липатов, придвигая к профессору уцелевшие закуски. — Ну, Иван Иванович, дернули по первой за молодоженов!

Иван Иванович «дернул» и даже рассказал — слишком длинно и обстоятельно — анекдот про попа, который всегда пил «по первой». И тут же начал объяснять, что именно смешно и почему. Потом он выпил «по второй», раскраснелся и азартно закричал: «Горько!»

— Ох и получит он трепку от Дуси, когда приползет на карачках! — посмеивался Палька.

В час ночи Сонин собрался уезжать. Решили, что в его машине поедут и Китаев с Липатовым. Перед отъездом Иван Иванович как-то сразу протрезвел и отвел в сторону Сашу.

— Вот ты и муж, Александр Васильевич! Я произношу это слово не только применительно к сегодняшнему событию, но в его старинном значении — взрослый мужчина. Еще Пушкин говорил... Вернее, Марина Мнишек... — Китаев слегка запинался и горячо дышал в лицо Саше. — Помнишь? «...я слышу речь не мальчика, но мужа». Ты не мальчик, но муж, Сашенька, и я горжусь тобой, ты — мой ученик, и я передал тебе все, что мог. Горжусь, и люблю, и надеюсь на тебя.

В приподнятом и блаженном настроении свадебного вечера Саша сделал то, что не сделал бы в другое время, — он обнял и поцеловал Китаева. Его умилили сухонькие стариковские плечи, дряблые, морщинистые щеки с колючей щетинкой — он навсегда прощался со своим первым учителем и ясно ощутил, что в эту минуту от него отходит завершенный, очень светлый период жизни, и этого периода жаль, несмотря на то что новый день сулит только счастье. Он думал — родной город, институт, профессор Китаев, приятели студенческих лет... А это отходила юность.

— Я вам очень благодарен за все, Иван Иванович. За все!

Китаев снял очки и заглянул Саше в глаза:

— Ценю, Сашенька, ценю. Нас, стариков, нынче не балуют. Но я не ищу благодарности, я хочу помочь. Тебе, Александр Васильевич, и вам всем, потому что искренне люблю и Светова, как бы взбалмошен он ни был, и Ивана Михайловича — как-никак все вы прошли через мои руки.

Объяснение явно затянулось. Саша оглядывался, высматривая, где Люба и не заскучала ли она без него.

— Конечно, молодая жена привлекательней старого профессора,— хихикнул Китаев и взял Сашу за рукав. — Скажу коротко. Мы должны поехать вместе. Мы должны разговаривать в Углегазе в качестве представителей института...

Саша старался не вникать в настоящий смысл этого предложения. Ему не хотелось вникать.

— Мы так и решили, Иван Иванович. Наш проект называется «Проект группы работников Института угля».

— ...в качестве представителей нашего института, точнее — кафедры химии угля, — докончил Китаев и заискивающе улыбнулся Саше. — Пойми, дружок, здесь мы знаем и ценим вас. Но в столице ваша святая троица будет выглядеть недостаточно авторитетно — три юнца из провинции! А если на проекте будет стоять имя научного руководителя... если мы явимся вместе...

Сашу передернуло. Он вдруг ощутил холодную сырость, вползавшую из сада в открытую дверь.

— Иван Иванович! — с мольбой пробормотал он, еще надеясь, что Китаев опомнится и устыдится.

— Я и к Лахтину пошел бы с тобой, Александр Васильевич,— продолжал Китаев, придерживая Сашу за рукав. — В последнее время было много неприятных разговоров в связи с твоей отсрочкой. А если бы я сам повел тебя к академику, сомнения окончательно отпали бы...

Саша решительным движением высвободил рукав.

— Я не могу решать без товарищей, — сказал он, глядя в глаза Китаеву, — но мое личное мнение, Иван Иванович, я выскажу сейчас: вы не захотели работать с нами, когда мы вас просили. Вы отстранились. А в трудную минуту — даже отвернулись. Зачем же теперь...— Он вспомнил все, что связывало его с этим человеком, и с болью воскликнул: — Ну зачем вы так, Иван Иванович!

Китаев молча жевал губами.

Выделяясь светлым пятном на темной дорожке, от калитки шла Люба. Сейчас она подойдет к ним, и тяжелый разговор прервется...

Китаев потянулся к Саше и сказал отчетливым шепотом:

— А телеграмма-то была подложная. И о ней знают.

Саша отшатнулся. Он будто впервые увидел лицо Китаева — с брюзгливыми морщинами, с колючими глазками.

— Валерий Семенович ждет вас, — сквозь зубы напомнил Саша и крикнул в сторону калитки: — Липатушка! Помоги Ивану Ивановичу сесть в машину!

Друзья освободили молодожена от дальнейших мучительных объяснений — к директору пошли без него. Сонин вызвал Алферова и обоих профессоров — Китаева и Троицкого. От имени авторов говорил Липатов — Палька уверял, что Липатов лучше всех умеет «ставить вопросы». И Липатов поставил вопрос ясно: есть три автора. Три автора считают, что участие профессора Троицкого и студентов-старшекурсников Сверчкова, Гармаша и Коротких дает им право подписать проект в качестве соавторов. А ехать должны те, кто знает весь проект в целом и потому лучше всех сумеет защитить его. Конечно, если поедет профессор Троицкий, будет хорошо и полезно.

— А я считаю... э-э-э... что вы справитесь сами, — сказал Троицкий и бросил молниеносный насмешливый взгляд в сторону поникшего Китаева.— Вы молоды, но... э-э-э... когда же и бороться за свою идею, как не в молодости?!

Палька наслаждался этой сценой, а Липатов следил за другими лицами и сказал без особой связи с происходящим:

— Я думаю, и городской комитет партии нас поддержит, если потребуется.

Алферов переводил взгляд с директора на Китаева, с Китаева на директора. Он знал деловую хватку Липатова и не хотел ссориться с ним. Не хотелось ему обижать и Китаева — им вместе работать. Как быть? С одной стороны, успех прославит институт, важно отстоять проект в Москве, для чего пригодится авторитет профессора. С другой стороны, три молодых питомца института, три коммуниста... тоже неплохо! Для обоих случаев сами собой слагаются превосходные формулировки... Какую же выбрать?

Сонин тоже посматривал на Алферова — бурчал-бурчал, все уши прожужжал разговорами о злополуч-

ной телеграмме, о ненадежности трех юнцов... чего ж теперь отмалчивается? А Липатов, чего доброго, обратится в горком... Чубаков его уважает как передового начальника участка... Э, будь что будет! Он безмятежно улыбнулся.

— Да о чем говорить, товарищи? Дорогу молодости — кто же возразит? Это прекрасно — молодежь творит! Молодежь дерзает! Зачем сковывать ее силы? Мы должны закалять ее, приучать к самостоятельности, так нас учит партия, — верно, Василий Онуфриевич? Три подросших сокола вылетают из родимого гнезда. Крылья окрепли, а? Счастливого полета!

— Если подойти с этой точки зрения, — смиренно сказал Китаев, — я первый голосую за самостоятельность и свободный полет моих учеников. Откинем сердечную тревогу и желание поддержать их в полете. А если... если есть еще какие-либо, так сказать, соображения... Ну, это меня не касается.

— Конечно, — вполголоса подтвердил Палька.

Потом все завертелось — получали командировки, деньги, заказывали билеты, Липатов с боями добивался отпуска, Саша и Люба укладывали чемоданы...

И вот впереди — Москва!

Москва! Четырех провинциалов закрутил многотысячный прилив командировочного, ищущего работу, транзитного и всякого другого люда, ежедневно прибывающего в Москву. Толкотня, расспросы — как куда проехать, поиски любого временного жилья, штурм переполненных трамваев и автобусов, наивные попытки сразу все рассмотреть и запомнить...

Москва была старая, как на известных картинах,— с маковками церквей, с узкими переулками и тупичками, с деревянными домишками, осевшими между каменными зданиями, с ломовыми телегами, громыхающими по булыжникам, с тесными торговыми рядами и книжными развалами прямо на тротуарах. И в то же время Москва была совсем новая, казалось, она строилась с места, как и вся страна. По улицам и переулкам, колесо к колесу, спешили автомобили, поражая глаз сочетанием самых старых, уже смешных, и самых новых — первых отечественных — моделей. Раздвигая и оттесняя мелкоту, мчались по всем на-

правлениям грузовики, неся на себе пахучие доски, песок, громоздкие ящики с надписями: «Не кантовать!», розовый кирпич, царственно вознесенные бетономешалки и многое другое, потребное стройкам. Стройки были тут же, в городе, — целые участки улиц обнесены заборами, изрыты траншеями. Над крышами торчали подъемные краны. Впритык к старым домишкам поднимались стены многоэтажных корпусов. На двух- и трехэтажных домах нарастали этажи. Расширялись улицы, пробивались широкие магистрали, рушились древние стены, мешающие сегодняшнему размаху жизни, черная вязкая масса асфальта заливала проспекты, передвигались дома и бульвары... Старинный город переустраивался на современный лад. Как символы этого нелегкого переустройства тут и там поднимались вышки второй очереди Метростроя. Горделиво, походочкой вразвалку шли сквозь толпу девушки в побуревших комбинезонах и широкополых брезентовых шляпах, заломленных назад, — героини столицы, метростроевки; были они кокетливы, как все девушки, из-под полей шляп выбивались завитки вошедшего в моду перманента, — но главное кокетство этих девушек было именно в том, что они — метростроевки, потому и по улицам ходили не сменив рабочей одежды, потому и походочка вырабатывалась особая, независимая — знай наших!

Пока что четверо друзей понятия не имели, где находятся уже открытые станции первой очереди и куда можно на метро проехать. У них был адрес, данный Анնушкой Липатовой, и они долго добирались трамваями до деревянного дома в тупичке, где предприимчивая хозяйка потайно сдавала приезжим койки. Хозяйка была сухопарая, в пенсии, с узелком жидких седеющих волос на макушке. Допросив друзей, кто они и через кого узнали адрес, она ругнула фининспекторов и похвасталась тем, что ее сын строит Магнитогорский комбинат, — комнату сына она и сдает. В доме нещадно скрипели и качались под ногами половицы, в столовой висел портрет господина с бородкой, в стоячем воротничке с отогнутыми уголками. Было странно, что отсюда кто-то уехал строить Магнитогорск... В сумрачной комнатке, куда их ввела хозяйка, половину окна закрывали черные ветки дерева, а

прямо за деревом поднималась кирпичная кладка нового дома. Три койки и диван стояли по стенам, образуя узкий проход.

— Что до меня, я пойду ночевать к приятелю, — развязно сказал Липатов. — Хочешь со мной, Палька? Парень свой: и устроит, и угостит.

Только вечером выяснилось, что никакого приятеля нет. Но это было вечером, а сейчас Палька ухватился за приглашение, чтоб не стеснять молодоженов. Впрочем, ночь казалась очень далекой — еще только начинался день, и в этот день им предстояло войти в таинственное учреждение Углегаз...

— Прежде всего — помыться и подшустриться! — скомандовала Люба. — Вы же небритые-нечесаные, мятые-перемятые! Саша, пойди разузнай, нельзя ли поставить утюг.

Хозяйка надела нитяные перчатки, чтобы развести огонь в паровом утюге. Сухо предупредила, что готовить можно только в те часы, когда у нее топится плита, так как дров в обрез. Но, когда ее спросили, каким трамваем проехать в район Ильинки, она просияла и отвергла все старые средства сообщения — только в метро, прямо с соседней площади до станции Дзержинская! Она хвастала метро, как своей собственностью, ее распирала гордость.

Люба сразу начала наводить уют — как-никак это был ее первый, пусть временный, но первый семейный дом, она играла в домовитость. Было удивительно, что за каких-нибудь пять дней, прошедших после свадьбы, она успела приобрести командирские замашки! Заставила всех троих поесть, придирчиво осмотрела их костюмы, поправила галстуки, справилась, есть ли у них носовые платки и расчески. Но затем, соблазнившись прогулкой в метро и махнув рукой на хозяйство, поехала проводить их до Углегаза. На улице они взялись под руки — инстинктивное желание опереться друг на друга. И может быть, про себя каждый вспомнил слова Китаева, что в столице их святая троица будет выглядеть недостаточно авторитетно.

Где произошла перемена в их настроении? На движущихся ли ступенях эскалатора, где они обо всем забыли и почувствовали себя восторженными ребятами? Или в подземном зале, озаренном скрытым све-

том, их посетило счастливое чувство хозяев, вступающих в новые владения? Из метро они вышли победителями. Верили только в хорошее. Весело искали нужный им переулок и нужный дом. Сняв кепки, раскланялись перед вывеской «Углегаз». Многозначительно пообещали Любе, что приедут сразу же, сразу же...

Они вошли в *свой* Углегаз. Восторженно поздоровались с гардеробщицей — она принадлежала Углегазу, была частичкой этого заветного Острова Осуществления. Проходя по коридору, они заглянули в окошечко бюро машинописи — там стучали по клавишам три машинистки, которым предстояло печатать десятки чудесиейших бумаг, сопровождающих Осуществление. Какие-то люди за полуоткрытыми дверями что-то писали, чертили, говорили по телефону — скоро они станут сотоварищами... Навстречу бежала девица с белокурыми волосами в мелких колечках шестимесячной завивки. Она была как бы создана для того, чтобы первой приветствовать долгожданных авторов. Палька очень вежливо обратился к ней, но девица безразлично скользнула взглядом по его лицу и побежала дальше, неопределенно махнув рукой назад. И в сознании Пальки аукнулось китаевское презрительное «три юнца из провинции...»

В приемной под надписью: «Не курить!» молодой человек с папиросой в зубах кричал в телефонную трубку:

— А я вам говорю — трубы занаряжены на этот квартал! На этот квартал! Да нет, для Алексеевской станции подземной газификации! Под-зем-ной га-зи-фи-ка-ции!

Немолодая, очень полная секретарша сдержанным голосом внушала по другому телефону:

— Надо набраться терпения, товарищ. Проект переслан профессору Вадецкому, но он очень занят, и я не могу...

Друзья смущенно переглянулись. Уже существовала какая-то Алексеевская станция — на шахте Алексеевской, что ли? Это же в Донбассе, километрах в ста от Донецка! Уже волновались какие-то нетерпеливые авторы...

Секретарша сказала, что товарищ Олесов занят, и спросила, по какому делу они пришли.

— Ах, проект! Вторая дверь налево, товарищу Рачко, на конкурс. В запечатанном конверте под девизом, — привычно оттараторила она и начала названивать по телефону, приглашая людей на совещание экспертов.

Совещание экспертов! Значит, рассматривается еще один проект?!

— Мы не хотим на конкурс! — с отчаянием сказал Палька. — Мы хотим теперь же... при нас... Мы для того и приехали...

Молодой человек, только что кричавший по телефону, дружески улыбнулся Пальке и спросил:

— Принцип газогенератора? Предварительное дробление угля?

— Нет, конечно! — воскликнул Палька.

— Нет?!

Через минуту трое друзей возбужденно беседовали с молодым человеком, назвавшимся Федей Голь, инженером Алексеевской опытной станции. Впрочем, это была не беседа, а серия вопросов, чаще всего остающихся без ответа, потому что возникали встречные вопросы. Друзьям не терпелось узнать сущность метода, испытываемого на Алексеевской станции, а Федя Голь жадно расспрашивал, как они добиваются газификации без дробления угля. Палька уже собирался развернуть чертежи, но Липатов решительно прижал их ладонью:

— Дойдет и до показов, а сперва — к директору.

— Как я понимаю, наш метод должен заинтересовать Углегаз, — сказал Саша секретарше.— Доложите, что приехали три научных работника из Донецкого института угля.

— Пожалуйста, если он согласится бросить дела,— обиженно ответила секретарша.

Их приняли.

В кабинете кроме добродушного толстого Олесова они застали главного инженера Колокольникова — суховато-вежливый, безразличный, он пропускал мимо ушей горячие речи настойчивых авторов, покачивался на стуле и курил папиросу, заправленную в затейливый мундштук.

Письмо Сонина произвело некоторое впечатление на Олесова и оставило равнодушным Колокольникова.

Зато краткое изложение принципа газификации, сделанное Сашей, задело именно Колокольникова.

— Начинается! — недовольно воскликнул он. — Я предсказывал, что посыплются всякие перпетуум-мобиле. Почему нужно нарушать порядок и обсуждать проекты в обход конкурса?

Палька хотел ринуться в спор, но Липатов придержал его.

— Руководство института и горком партии придают большое значение данному проекту. Насколько мы знаем, у вас нет подобного метода газификации — в целике при кислородном дутье.

— Нет, да и вряд ли может быть,— проронил Колокольников и начал дамской шпилькой прочищать мундштук.— Во всяком случае, я не вижу причин пороть горячку. Сдайте проект товарищу Рачко, мы ознакомимся.

— Обязательно ознакомимся! — более ласково подтвердил Олесов и, желая загладить резкость главного инженера, спросил, по-прежнему ли молод и жизнерадостен Сонин.— Обаятельнейший человек! Жаль, что он не приехал лично.

Палька остро пожалел о том же, но Липатов сказал простецки:

— А он приедет, если будет необходимо. Без крайней нужды чего ж директору срываться!

— Мы вполне готовы к защите проекта,— добавил Саша.— Хотелось бы уточнить порядок его рассмотрения и сроки. Мы здесь в командировке и не можем сидеть без конца. Кстати, помогите нам, пожалуйста, с гостиницей.

Палька про себя возмутился — к чему тут приплетать гостиницу! Но Липатов поддержал — да, непременно гостиницу, нам негде жить! Затем он попросил отметить командировочные удостоверения. И оказалось, что именно эти будничные дела уточнили их положение — они не какие-то пришлые люди, они командированы в Углегаз, о них должны заботиться — пока их вопрос не решится. Олесов это понял. И Колокольников понял.

— Донбассовцам нужно посодействовать,— вдруг раздобрился он.— Пойдемте к Рачко, я дам указания.

— А я позвоню насчет гостиницы,— пообещал Олесов.

По коридору, вторая дверь налево, к товарищу Рачко... Только на пути к товарищу Рачко три автора поняли, что их попросту вывели из директорского кабинета.

— Кстати,— задерживаясь у двери, проронил Колокольников.— Рачко един в двух лицах, он и наше, так сказать, партийное недреманное око! — Распахнув дверь, он с порога сказал другим, приподнято-оживленным голосом: — Донбассовцы зашевелились, Григорий Тарасович! Пригрейте молодых людей и пошлите их проект Вадецкому и еще кому-нибудь... Ну, хотя бы Цильштейну.— И он удалился, дружески помахав рукой с зажатым между пальцами затейливым мундштуком.

Рачко с чисто воинской подтянутостью знакомился с новыми авторами. Всем понравилось его круглое, ясноглазое лицо, его военная гимнастерка с двумя блеклыми полосками на воротнике — следами двух шпал.

— Значит, Вадецкому?..— протянул он, щурясь, и взялся за телефонную трубку.— Что ж, поговорим с Вадецким.— Но он не позвонил Вадецкому, а попросил рассказать сущность проекта и очень заинтересовался им, развернул их чертежи, дотошно расспросил, как и что.

— Вот такой бы разговор да в том кабинете! — заметил Липатов.

Рачко усмехнулся, задумался, потом сказал убежденно:

— Насчет Олесова — не ошибитесь. Он превосходный мужик, герой гражданской войны. А насчет технических вопросов... Да кто их тут понимает? Когда Олесов меня заманивал сюда, я испугался — ничего ведь не понимаю в этом! А он ответил: «Во всем мире нет человека, который что-либо понимает в подземной газификации, а учиться — шансы у нас равные». Вот и учимся на ходу, профессоров слушаем. А профессора...— Он внимательно оглядел трех авторов.— Вы ребята свои, коммунисты, так? Должны понимать — профессора есть разные. Есть свои, а есть и чужаки. И стремления у них разные. Первый проект легко

прошел, а теперь проекты посыпалнсь один за другнм. Интересы скрестились... Ну, ладио! — Ои сиова взялся за телефоииую трубку: — Виталий Сергеевнч? Очень просим вас ознакомнться с еще одним проектом. Из Донбасса, Институт угля. Нет, решеиие другое. Очень нитересное. Ваш? Ваш проект обсуждаем в среду. Хорошо, пришлю.

Ои повеснл трубку и скучным голосом сообщил:

— Взялся.

— А что за проект в среду? — без стеснеиий спроснл Липатов.

— Проект самого Вадецкого,— иеохотио ответил Рачко.— Эпидемия! Половина членов комиссии подает проекты. Я, конечио, профаи, ио иа взгляд профаиа — перепевы катеиинского проекта. Знаете, у одного труба справа, у другого слева.— Ои поднялся и снова виимательно оглядел трех авторов.— Аспираиты? Иижеиеры? Хорошо! Учитесь, ребята, учитесь все время, чтоб самим... Самим! Ох как худо, когда в сорок лет начинаешь... Ну, пошли пробивать вам гостниицу, это сейчас закавыка похуже иаших экспертов!

С гостииицей иичего ие вышло. Обещали послезавтра, к вечеру. В Углегазе делать было иечего.

— Ждать — вот что вам придется делать со всем упорством. Ждать! — сказал иа прощаиие Рачко.

В самом смутиом состояиии пошли три друга домой, в сумрачиую комнатку. В комнатке было светло — электричество преобразило ее, старания Любы украснлн ее. Колчеиогий столик был иакрыт, в высокой вазочке стояли цветы.

— Первым делом — обедать! — сказала Люба, как бы не замечая состояиия друзей.— Мойте руки н садитесь.

Оиа ии о чем не спрашивала. А когда они рассказали сами, прнжалась щекой к Сашииому плечу н лучезарно улыбнулась:

— А по-моему, все хорошо. Ведь еслн бы ваш проект был едииственным,— значит, само дело выеденного яйца не стонт?..

7

— Разумиое распределение фуикций! — говорил Липатов.— Один проводнт медовый месяц, второй

изучает Москву, третий психует. На кой черт психовать втроем?

Они с Палькой с утра отправлялись в Углегаз и обходили всех подряд — от Рачко до Олесова, вынуждая то одного, то другого звоиить профессору Вадецкому, который все еще не удосужился просмотреть проект. Потом Липатов отправлялся изучать Москву, у него был выработаи точный план — музеи, памятники, станции метро... Кроме того, Липатов настойчиво разыскивал бывших донбассовцев, чтобы с их помощью нажимать на Углегаз. Он уже заручился обещаниями — один дружок сведет его с работником Госплана, другой — с работником Комиссии партийного контроля, третий... Но встречи пока не состоялись, двухнедельный отпуск таял... Саша ежедневно звонил им по телефону. В первый же раз, когда Палька хотел излить Саше свое негодование и уже начал: «Можешь себе представить...» — Липатов выхватил трубку и ликующим голосом продолжал:

— Можешь себе представить, Олесов стал нашим союзником! Говорят, Вадецкий заканчивает отзыв! А Цильштейн, оказывается,— самый главный энтузиаст подземной газификации! Так что рубай науку и будь счастлив, Сашенька! — Повесив трубку, он зашипел на Пальку: — С ума ты спятил — Сашке настроение портить? У человека медовый месяц, у человека экзамены, а ты со своими настроениями. Он же сейчас веселыми ногами бегает!

Палька подчинился и перестал делиться с Сашей своей досадой, но, когда они навещали молодоженов, косился на «веселые ноги» Саши — и отворачивался, чтобы не разозлиться.

А Саша был счастлив. Не только в любви — во всем. Было удивительно, до чего удачно складывалась жизнь. В институте его встретили радушно и на второй день вручили ключи от квартиры в новом жилом корпусе Академии наук, где отныне ему принадлежала большая, солнечная и совершенно пустая комната. Телеграмма от имени Китаева «сработала» — никто не упрекал нового аспиранта за опоздание, ему разрешили сдать экзамены в течение месяца и вместе с ним наметили, что и когда он сумеет подготовить. Весь тон этого разговора пленил Сашу, он

привык к школярству, царившему в донецком институте.

Через несколько дней его принял академик Лахтин.

Академик жил во флигеле института и пригласил Сашу к себе. Саша никогда не видал такой квартиры — огромной и до удивления простой. Позднее, вернувшись к Любе, он не мог вспомнить, какая там мебель и есть ли в доме прислуга. Кто-то его впустил и провел через две комнаты в кабинет, а потом из кабинета — в столовую, он все рассматривал очень внимательно, но запомнил только чистоту, книги и цветы. Нигде не было ничего лишнего, бросающегося в глаза. Книг было много не только в кабинете, но и в других комнатах и даже в коридоре; они стояли вдоль стен в гладких застекленных ящиках, поставленных один на другой,— потертые, с бумажными закладками, торчащими то густо, то в одиночку; это были рабочие книги, возбуждающие желание заглянуть в них, по закладкам изучая интересы и вкусы хозяина.

В столовой его ждал академик — точно такой, каким он представлялся Саше,— с белоснежной бородой, в традиционной черной шапочке, из-под которой разлетались венчиком седые волосы. Тут же находились две пожилые дочери академика; они хозяйничали за столом и ненавязчиво расспрашивали Сашу, откуда он приехал и чем думает заниматься. По разговору Саша понял, что дочери тоже научные работники, но разглядеть и запомнить их он не мог — с первой минуты встречи с Лахтиным он утратил способность замечать других.

Федору Гордеевичу Лахтину подходило определение «старец». К этому определению Саша постепенно добавлял — «величественный», «мудрый», наконец, «лукавый», он ни разу не улыбнулся про себя, хотя старец забавно повязал салфетку вокруг шеи, а говорил высоким голоском и зачастую невнятно, проглатывая слова.

Впрочем, академик говорил мало, а слушал так настороженно, будто за короткими ответами прослушивал возможности нового работника. Временами Лахтин как бы забывал про Сашу, предоставляя его дочерям, но Саша ловил молниеносные зоркие взгляды, то одобрительные, то удивленные, то смешливые.

Удивление академика вызвали слова Саши о том, что он задержался из-за проекта подземной газификации. Насмешка промелькнула при упоминании профессора Вадецкого. Саше очень хотелось спросить Лахтина, как он относится к подземной газификации, но было неудобно самому переходить к расспросам — Саша понимал, что сейчас он держит самый серьезный экзамен.

— Это увлекательная проблема,— сказала одна из дочерей,— но ведь она лежит, как я понимаю, несколько в стороне от ваших научных интересов?

— Если ее решать при помощи механики — да,— быстро ответил Саша,— но мы решаем ее как задачу химии. Кстати, это единственно возможное решение.

Он поймал быстрый взгляд Лахтина и с волнением замолк — не скажет ли Лахтин хоть словечко?

— Что же вы угощаете молодого человека цветной капустой? — спросил Лахтин и тоненько засмеялся.— А он, бедняжка, и ее не поспевает есть, так вы его заговорили! Ну-ка, поищите чего-нибудь — для людей моложе сорока лет.

Саша смутился и начал уверять, что только-только позавтракал.

— Где? — спросил Лахтин.— Холостяцкое хозяйство? Столовка?

Узнав, что Саша женат, поинтересовался, давно ли. Услыхав, что «уже полторы недели», рассмеялся и долго не мог успокоиться.

— Представляешь себе, какое у них образцовое хозяйство? — обращался он то к одной дочери, то к другой.— Неделю в Москве, полторы недели женат! — И вдруг строго спросил: — Какие у вас отношения с Китаевым?

Дочери насторожились — было ясно, что его ответу придают значение. Взвесив все, что просилось на язык, Саша сдержанно сказал:

— Китаев — мой научный руководитель.

Лахтин усмехнулся и высоким голоском пропел:

— Ай-ай-ай, какой дипломат! Знаете, если и в научном исследовании вы будете удовлетворяться подобной точностью ответа, вряд ли вы достигнете больших результатов.

Саша побледнел. Сейчас он совсем не думал о том, что его изучают. Он заново прочувствовал все, что его соединяло с Китаевым, и все, что оттолкнуло, и понял, что об этом немыслимо рассказывать походя.

— Мое отношение к профессору Китаеву сложное. Оно требует объяснений. И я не могу...— Он запнулся и с твердой решимостью докончил: — Я не хочу говорить о нем ни плохого, ни хорошего. Он мой учитель, и я ему многим обязан.

— Так, так, так,— проговорил Лахтин и занялся едой, как будто забыв о Саше.

Одна из дочерей налила ему большую чашку чая со сливками. Лахтин отхлебнул чаю, зажмурился и засмеялся.

— Не хотите! — лукаво повторил он, но сквозь лукавство проступила беспощадность.— А мне интересно понять, почему один и тот же профессор рекомендует мне своего лучшего ученика, потом присылает письмо, где берет рекомендацию обратно, а потом еще письмо... Как у него там, а? — Он поднял палец и торжественно произнес, видимо дословно повторяя текст: — «Прошу считать мое предыдущее письмо вызванным специальными общественными обстоятельствами...» Так?

Дочери весело подтвердили.

— Так что же вы там натворили? Какие такие общественные обстоятельства? А?..

Саша сказал, глядя прямо в глаза Лахтину:

— Адресованную вам телеграмму об отсрочке профессор Китаев не подписывал. Мы подписали за него.

Академик поперхнулся, поставил чашку и долго заливисто смеялся, вытирал слезы и снова смеялся.

— Да вы, оказывается... как это теперь называют... правонарушитель?..— Он еще улыбался, но взгляд стал пристальным.— И ради чего же сие проделано? Ради этой самой газификации?

— Да.

Академик попросил еще чашку чая и задумчиво помешивал ложечкой сахар. И вдруг сказал:

— На Урале есть у меня один дружок, Кураков Василий Иванович. Не сверстник мой, моложе, но для вас, пожалуй, уже старикан. Боевой старикан,

партизанил против Колчака. А теперь заведует угольными копями. Так ои вскрывает пласт с поверхности — там залегание неглубокое — и ведет добычу открытым способом. Кстати, за граинцей этот способ прнмеияется шнроко и дает большой эффект в смысле дешевнзны и производнтельиостн...

— Я об этом чнтал,— сказал Саша, насторажнваясь.

— Вот я и думаю, что в деле разработки полезиых ископаемых мы стонм накануие большнх перемен. Недостойно эпохн — кротамн в землю закапываться. Не вяжется это с гумаиистическнмн устремленнямн социализма, с самым духом его — *людей ради.* И вндмо, нспользованне угольных залежей пойдет по двум путям. Первый — открытымн карьерами с прнменеинем мощных механнзмов. Вероятно, иаше машнностроенне сможет в блнжайшне годы создать такне машнны, ибо без машин любой способ иехорош.

— Ну, этот способ возможен только там, где уголь залегает неглубоко. Он ие отмеияет подземную добычу... Но вы сказали — два путн...

— Второй путь — хнмия. Это, коиечно, весьма прогресснвный путь, если удастся иайтн метод газнфнкацнн угля в целнке. Именно химня, н только хнмия, прнзвана покончить с подземиыми работамн. Менделеев это предвндел еще тогда, когда науке и технике задача была не по плечу. Сейчас, вероятно, прнспело время, а?

— Папа,— сказала одиа нз дочерей, глазами показывая на часы, н вниновато объяснила Саше: — У папы лекция.

— Да, да,— с огорчённем проговорнл Лахтни и тяжело поднялся.— Интересиое время иаступает. Большнх перемеи можно ждать... Очень большнх!..— Он протянул руку: — Что ж, правонарушнтель, прнступайте к работе. Осмотрнтесь — встретнмся.

— И ты нн слова не сказал о иашем проекте! — возмутнлся Палька, когда Саша поделнлся впечатленнями об этой встрече.

— Я не мог, потому что он член комнссии Углегаза,— сказал Саша.— Как-то нехорошо забегать вперед, пользуясь тем, что он меня принял. Путать одно с другнм...

— Для пользы дела можно путать и бога с чертом,— буркнул Липатов.— А в общем, крайности пока нет...

Саше на миг показалось, что друзья чего-то не договаривают. Палька явно нервничает...

— Да уж вы не скрываете ли что-нибудь, а, ребята?

— Чудак! — сказал Липатов.— Просто нам ждать труднее, чем тебе. Особенно Пальке. Женить нам его, что ли?

Саша стыдился того, что невольно отошел от друзей. Но что тут поделаешь? Им невтерпеж, а он не замечает бегущего времени: дни его заполнены учебой, и новыми впечатлениями, и любовью. Весь последний год он чувствовал себя счастливчиком, он был счастлив в дороге — так счастлив, что, казалось, счастливее и быть нельзя. Но в Москве счастье стало новым — насыщенным и веселым. С той минуты, как они вступили в свою собственную комнату и поцеловались на пороге, им было спокойно-весело. Все их радовало. В комнате был стенной шкаф, куда они повесили свои немногочисленные одежки, и оттоманка, заменившая им кровать. Из четырех чемоданов они соорудили два сиденья и стол. Возможности этого стола были безграничны: когда Люба постилала скатерку, он становился обеденным, под листом зеленой бумаги — письменным, а по утрам Люба превращала его в туалет — ставила зеркальце, перед которым она причесывалась, а Саша брился. Правда, стол качался и грозил разъехаться от любого толчка, но это свойство служило источником неистощимых шуток. Люба стала такой веселой! После тяжелого домашнего горя, после волнений последних недель она наверстывала все, что долго заглушала,— песни, шалости, молодую беспечность. У них почти ничего не было для благоустроенного быта, но ей хватало того, что Саша с нею и они в Москве. В Педагогическом институте ей отказали в приеме на основное отделение, потому что она опоздала, но Люба отнеслась к этому беспечно, поступила на заочное и не спешила браться за книги.

Бродя по своей чудесной неустроенной комнате в ожидании Саши, она пела и сама с собою разгова-

ривала, смеясь от радости. Когда Саша занимался, она сидела на оттоманке и смотрела на него. Это было изумительное занятие — смотреть, как он морщит лоб, задумчиво почесывает подбородок, шевелит губами, как он переворачивает страницы или что-то записывает, пощелкивая языком. Иногда Саша отвечал вслух на воображаемые вопросы экзаменаторов, — Люба с важным видом слушала и, прослушав до конца, подбегала поцеловать Сашу и шепнуть ему, что он очень умный и все прекрасно знает. Вначале Саша боялся, что при Любе не сможет отвлечься от желания заниматься только ею, но оказалось, что ему мешает ее отсутствие, а когда Люба тут и смотрит на него, все идет прекрасно. Он и хотел бы делить с друзьями их терзания, но не мог.

Пальке было невтерпеж. Единая страсть владела им — добиться осуществления проекта. Он не боялся никакой борьбы, никаких препятствий. Но ждать было нестерпимо. Он извелся бы вконец, если бы не возникла новая дружба.

В первый московский вечер, когда Липатов признался посреди улицы, что никакого приятеля у него нету, Палька посмеялся, предложил гулять всю ночь по улицам, а потом припомнил, что Игорь приглашал их: будете в Москве, приходите. Разве это не достаточный повод, чтобы прийти, когда над головой — осеннее небо, а ночевать негде? Но адрес?..

— Эх, ты, провинция! — сказал Липатов. — То ж столица нашей Родины! С адресным столом и киосками «Мосгорсправки» на любом перекрестке! А ну, прибавили шагу!

В справочном киоске на станции метро им дали номер телефона Митрофанова М. Д., живущего на Малом Гнездниковском.

Ответил Игорь. Игорь не сразу сообразил, кто они такие, а когда узнал, что им негде ночевать, довольно кисло пригласил к себе, «раз уж больше некуда».

— Или он ждет девицу, или он обыкновенная дрянь, — сказал Липатов. — Было бы здорово плюнуть и не пойти. Но знаешь, когда бог создал Еву и сказал

Адаму: «Выбирай себе жену!» — у Адама был не более богатый выбор. Шагом марш!

Игорь не ждал девицу, он заканчивал диплом, чтобы защитить его досрочно и обрести самостоятельность.

— До чертиков надоело жить под опекой предков!

Игорь устроил гостей в пустующем кабинете отца и ушел заниматься. Через час он сам заглянул в кабинет. Липатов давно спал, а Пальке не спалось. Игорь подсел к нему на край дивана.

— Ты как-нибудь приведи Любу Кузьменко с ее Сашей, — сказал он. — Мне очень понравилось у них в доме... А что твоя сестра?

Палька не знал, как ответить, пожал плечами.

— Когда она должна родить, скоро?

— Весной, кажется. Точно не знаю.

— А-а... Хороший она человек, твоя сестра.

Помолчав, Игорь заговорил о том, что бывают настоящие женщины, но их раз-два и обчелся, а вообще любовь — одна морока, нужно устраивать свои личные дела без чрезмерных переживаний и хлопот. Палька с уважением слушал рассуждения Игоря, они казались ему настоящими мужскими, но сам он так не умел — ни рассуждать, ни жить.

С того вечера повелось, что Игорь, отрываясь от работы, чтобы «размять мозги», заходил поболтать с Палькой или же Палька заходил к нему, от порога провозглашая:

— Разминка!

Ему нравилась комната Игоря. Узкая и тесная, она походила на каюту во время качки — два шкафа и стол были приткнуты к одной стене, создавая впечатление, что комната заваливается набок. У другой стены стояла лишь неширокая тахта с неубранной постелью, а на стене висело несколько репродукций в простой окантовке: деревенский пейзаж, написанный крупными, искристыми мазками, без названия говоривший о том, что только что прошел сильный благодатный дождь; обнаженная женщина с прелестным лицом, с черной челкой, падающей на розовый лоб; глубокий двор-колодец, по которому унылым кругом бредут заключенные; совсем голубой нищий старик с таким же голубым мальчиком — картина странная и

прнтягивающая; и еще более странная картина, от которой не оторвать глаз, — сидящнй спнной к зрнтелю мужчина, обнаженный до пояса, мускулистый, здоровущий, с тупым затылком силача, а перед ним, баланснруя на деревянном шаре, — тоненькая, почти иевесомая девочка с бледным лнчиком.

— Ван Гог, Ренуар, опять Ван Гог, два Пикассо, — называл Игорь.

Палька хотел спроснть, почему старнк и мальчнк голубые, но ие спросил, — чем дольше он смотрел, тем яснее чувствовал, что этот странный тон как нельзя более подходнт к тому, что хотел нзобразнть художннк. Что это такое? Нищета? Обреченность? Изнуренне? Не спроснл он н о девочке на шаре. Кто бы она нн была, эта невесомая девочка с изящнымн двнженнямн худенькнх рук, она была во властн грубой, тупой снлы... Почему-то вспомнилась Галннка Русаковская, скуластая, крепенькая, самостоятельная, — вероятно, по контрасту. И потому, что со дня прнезда в Москву томнла мысль — в этом городе жнвут Русаковскне.

Можно было спроснть Игоря, здесь лн онн. Но Игорь сразу поймет, кто его ннтересует. И ляпнет что-нибудь такое, что будет иевыносимо слышать... В Донбассе Игорь был неравнодушен к Катерине. Но как свободно он спроснл про нее! Сколько в нем независнмости н умення устранвать свою жнзнь, ничем не затрудняясь и не связываясь!

Жнл он один — мать уехала в Углнч к больной сестре, отец был в экспеднцин. Следы однннокого хозяйнничанья Игоря вндне лнсь по всей квартнре. В ванной скопнлнсь горы грязной посуды. Палька охнул, но Игорь безмятежно махнул рукой:

— Ну ее к черту! У нас два сервнза, вот я их н обрабатываю. Когда дохожу до точкн, затапливаю ванну н устранваю субботннк. Всегда найдется добрая душа — помочь одинокому страдальцу.

Добрые душн звоннлн часто. У добрых душ былн нмена — Нонна, Лндок н Кука. Палька с завистью прислушнвался, как разговарнвает с ннмн Игорь, пресекая упрекн, переводя серьезное объясненне в шутку. Выраженне лнца у Игоря было в этн мнннуты холодное и снисходительное, он никем не дорожнл н нн

в ком не нуждался. Иногда, услыхав телефонный трезвон, Игорь кричал:

— Пожалуйста, поинтригуй с нею. А меня нет дома!

Но у Пальки не выходило непринужденного разговора со столичными девушками, хотя он старался изо всех сил.

На восьмой день Углегаз все-таки устроил им номер в гостинице. Игорь огорчился и в последний вечер поставил на стол бутылку вина, Липатов добавил от себя водки. Выпив, пели украинские песни, пленившие Игоря летом. Когда Липатушка повалился спать, Игорь снова спросил о Катерине, и на его лице появилось необычное выражение нежности и недоумения. И тогда Палька решился:

— Что Русаковский — вернулся? Очень хотелось бы привлечь его к обсуждению нашего проекта.

Игорь насмешливо скосил глаз.

— Русаковские должны приехать со дня на день. Мадам прилетала недели три назад, привозила дочку в школу. Галя иногда звонит узнать, не приехал ли мой отец. Представь себе, эта малолетняя скуластая Жанна д'Арк мечтает вместе с ним поворачивать на юг все реки, какие есть. А пока хочет в Испанию — сражаться!

Палька сам нередко подумывал об Испании — вот уже четвертый месяц там идет борьба, страшная, неравная борьба героического народа с фашистами. С всего света стекаются туда добровольцы. Для любого парня желание естественное... Но девчонка!..

Своим снисходительно-равнодушным голосом Игорь сообщил, что был у мадам перед тем, как она снова умчалась в Сухум.

— Она устраивала мальчишник — сбор всех частей. Одни мужчины, главным образом молодые, и она как центр мироздания. Я был зван. Ничего не скажу, мило и весело. У нее есть дар...

Палька подождал продолжения, не дождался и натужным голосом спросил:

— Какой именно?

— Водить за нос всех, играть со всеми и ни с кем. Правда, этот ералаш был вполне-вполне... Я убежден, что она только прикидывается легкомысленной, а сама

до педантизма верна мужу и хохочет вместе с ним над своими хахалями.

Палька сказал:

— Вероятно.

Он отлично понял, что Игорь предупреждает его — не обожгись.

Игорь с улыбкой оглядел насупившегося приятеля и предложил познакомить его с приятными девушками.

— Не интересуюсь,— раздраженно отрезал Палька.

Она на днях вернется в Москву!.. Как поступить? Встретиться с нею? Через Игоря это нетрудно устроить. Или довести до ее ушей, что он в Москве, но категорически отказаться от встречи? Облить ее презрением... И вдруг он по-новому осознал сказанное Игорем. «Со всеми и ни с кем... Верна мужу...» Да, но с ним-то она не была такой! С ним-то она забыла и о муже и обо всем! Да, да, забыла! Как мог он не понять эти отрывистые слова: «Все равно!» и «Пусть!»... «Все равно!» — этим возгласом она откидывала прочь верность, стыд, осторожность. «Пусть!» — она шла на все: на риск огласки и жизненных осложнений... И муж заподозрил ее, устроил драму, срочно увез ее в Сухум! Как я мог не понять этого? Как я смел осуждать ее?!

Ошеломленный своим открытием, он не сразу заметил, что Игорь продолжает оживленно рассказывать:

— ...Представляешь, сеанс гипноза! Александров — гипнотизер. Конечно, розыгрыш, но здорово! Женька Трунин — презабавный парень, а про Ильку Александрова говорят, что он будущее светило. Превосходные ребята, мы условились встретиться. Если хочешь, пойдем.

Палька слышал обе фамилии. Трунин и Александров — ученики Русаковского, постоянно бывают в его доме. Познакомиться с ними — еще один шанс попасть к ненаглядной. Но кем он придет в их компанию гениев? Автором непринятого проекта? Просителем, заинтересованным в заступничестве профессора Русаковского? Нет, ни за что!

Он уже лежал на холодящем кожаном диване в чужом кабинете, уже засыпал — и вдруг подскочил, растревоженный мыслью-воспоминанием. Когда-то

давно — целых три месяца назад! — он жаждал личной победы и славы. Он схватился за проект подземной газификации как за кратчайший путь к самоутверждению, был во власти честолюбивых надежд... Что же случилось с ним потом, когда началась разработка проекта? Честолюбивые мечты испарились, он даже не вспомнил о них. Он, не задумываясь, привлек Сашу и Липатушку. Потом Троицкого и студентов. Ему даже в голову не приходило, что он дробит и дробит свою славу, свой успех. И это — правильно? Так и должно быть? Теперь он мечтает об успехе их общего проекта. Об успехе самого дела. Да, но все эти Вадецкие засуетились вокруг того же дела, протаскивают свое... Может быть, Вадецкий уже всунул в свой проект самое главное из чужого проекта, полученного на отзыв? Недаром их не пустили на заседание экспертов! Рачко намекнул, что у Вадецкого — перепевы метода Катенина. «У одного труба справа, у другого слева». Метод Катенина... Что это такое? Уже готовится опыт на Алексеевке. Там предварительно дробят уголь. Но если опыт даст блестящие результаты? Для дела все равно, чья мысль... Подземная газификация начнет развиваться по методу Катенина, а не по методу Светова, Мордвинова и других. Как же тогда?

Вопрос был прямой, не обойдешь. И ответа не было. Но стало холодно до оцепенения.

Рачко сказал: «Садитесь, ребята!» — и плотно закрыл дверь.

Они сели в ряд перед его столом. Саша был еще блаженный: он только что успешно сдал самый тяжелый для него экзамен — аналитическую геометрию, дифференциальное и интегральное исчисление. Диамат он сдал в первые дни, оставалась физическая химия, в которой он чувствовал себя уверенней всего. Товарищи вызвали его в Углегаз, чтобы с его помощью «нажать» и добиться обсуждения. Он был спокойнее всех, муки ожидания прошли мимо него.

— Так вот, — сказал Рачко, стоя перед ними, — откровенность лучше умолчаний. Два наших эксперта дали отрицательные отзывы на ваш проект. Вадецкий считает его вздором. Цильштейн исключает возмож-

ность газификации без предварительного дробления угля. Он не написал, что ваш проект — вздор, но, в общем, одно к одному.

— Как же можно отрицать, когда наш метод подтвержден опытами? — удивленно возразил Саша.

— Я не специалист, — грустно сказал Рачко.— Но через меня проходят все проекты. Кое в чем я поднаторел за это время. Ваш проект меня убедил. — Он сцепил пальцы и уперся в них подбородком, стоя в позе задумчивой и энергичной. — Все остальные проекты так или иначе копируют обычный газогенератор — дробить и шуровать! Дробить и шуровать! Ваш проект откидывает обычную схему и создает условия для химического процесса. Это принципиальное отличие. И как будто правильное. Я пробовал доказать это в нашем учреждении...

Он не рассказал, чем кончилась его попытка, и продолжал рассуждать вслух, взвешивая и отбирая слова:

— Может быть, специалисту труднее расстаться с укоренившимися понятиями, чем такому невежде, как я, у которого ничто не укоренилось. Надо учитывать и психологический фактор. Все поверили в Катенина и с нетерпением ждут пуска опытной установки. До окончания катенинского опыта никому не охота браться за другой. А потом...

— Авторов многовато стало?—подсказал Липатов.

— Многовато! — согласился Рачко. — Это бы неплохо, но, когда авторами торопятся стать члены комиссии и главные эксперты, — тяжеленько! Не буду скрывать — профессор Вадецкий сварганил свой проект вместе с нашим главинжем Колокольниковым. Тянули в соавторы и Олесова, для которого Вадецкий — бог, но Олесов — мужик честный и на такое дело не пошел.

— Какая же может быть объективность оценки! — вскричал Палька. — Это же...

— Погоди, — остановил его Липатов.

Рачко все еще стоял, уперев подбородок в сцепленные пальцы, и слегка покачивался вперед-назад, вперед-назад. В ярком дневном свете стало заметно, как много у него седых волос.

— По счастью, я еще и секретарь партийной организации, — сказал он и улыбнулся. — Где по должнос-

ти не могу, там по-партийному удается. И отпор корыстиым стремлениям мы даем. Да ведь поди докажи, где — корысть, а где — здоровая инициатива!.. А в общем, ребята, духу не теряйте. Чувствуете себя правыми — боритесь!

— Что вы нам советуете? — доверчиво спросил Саша.— Хотелось бы ускорить всю процедуру.

— Процедуру! — Рачко усмехнулся и расцепил руки, чтобы взяться за телефонную книжечку. — Вот вам телефоны: Стадник Арсений Львович... Бурмин Петр Власович... Запишите номера.

Все трое записали.

— Звоните им, пробивайтесь в наркомат, требуйте приема именем своего института. Это простейший путь. Вам сейчас важно добиться одного — чтобы из наркомата был звонок: мол, давайте обсуждайте поскорей, поскольку есть разногласия.

— Но если оба отзыва отрицательные...

— А у меня есть третий, — с ребячливой радостью сообщил Рачко. — Весьма авторитетный. Профессора Русаковского!

Палька густо покраснел. И услыхал гулкое биение собственного сердца.

— Кроме того, я послал проект одному умному инженеру из Института азота. Мнения его не знаю, но... Если он объективен, а ваш метод верен, — значит, он должен одобрить!

От Рачко пошли прямо в наркомат. Палька не позволял себе думать об этом, но где-то внутри молоточком стучало: «Русаковские приехали, Русаковские приехали...»

Стадник принял их сразу же, хотя секретарша предупредила, что Арсений Львович ночью улетает в Кузбасс, а сегодня очень занят. Невольно торопясь, они изложили свое дело.

— Погодите-ка, расскажите для начала, кто вы такие и откуда взялись на мою голову,— быстро сказал Стадник, ощупывая их своими глазами-фарами.

Они рассказали.

— Ну а в чем сущность вашего метода? — так же быстро спросил Стадник и всей фигурой подался вперед. Пока Саша объяснял, Стадник смотрел на него не отрываясь.

— Значит, все-таки можно! — Он радостно потер свои маленькие сморщенные руки. — Все-таки можно обойтись без подземных работ!

Затем он потянулся к телефону, но не снял трубку, а прикрыл ее ладонью и сказал быстро, четко, словно диктуя:

— Я улетаю на неделю, не больше. Вы идите к Бурмину Петру Власовичу, я сейчас подготовлю почву. Его слабость — Донбасс, шахтеры. В эту точку и цельте. От него добивайтесь основного — созыва комиссии. На комиссии — вы сами с зубами, отобьетесь.

Они встали, но Стадник спросил, тут ли Алымов, мелкими шажками прошелся по кабинету и вдруг с болью, с тоской проговорил, как бы беседуя с самим собою:

— Почему так? К днищу корабля обязательно присасывается всякая гадость! А к чему у тебя прикипит душа, там тебе и главные неприятности...

Отвечать было нечего — слишком личная нота прозвучала в этой жалобе. А Стáдник уже крутил диск телефона.

— Петр Власович, тут у меня три донецких парня. Рвутся к тебе. Нет, по делам подземной газификации. Так ведь знаешь, как неискушенным парням трудно плавать в нашем столичном учрежденческом океане! Вся надежда на тебя. Хорошо, но ты ей скажи.

Он положил трубку.

— Готово. Идите к его секретарше, запишитесь на прием.

Они невольно оробели, увидав, что вместе с ними добиваются приема начальники угольных трестов и разные солидные хозяйственники, и у каждого — важнейшие дела, а секретарша норовит сплавить кого удастся в отделы. Липатов выдвинулся вперед:

— Петр Власович по телефону назначил нам прийти.

Пробились они к Бурмину только на третий день. Большой грузный человек стоял посреди кабинета, разминая могучие коричневые руки — руки бывшего забойщика, руки, что запросто ворочают важнейшие государственные дела. Сбычившись, Бурмин сказал, не здороваясь:

— Ну, выкладывайте, что у вас горит.

Только у Саши хватило хладнокровия связно рассказать суть дела, не обращая внимания на сердитые пофыркивания Бурмина.

— Эко вам не терпится, — прервал Бурмин. — Чего-то изобрели, и сразу дым столбом! Сдайте на конкурс и езжайте домой.

— Нет, — сказал Липатов, — пока не рассмотрят — не уедем. Мы народ упрямый, шахтерской выучки.

Против ожидания Бурмин отнюдь не подобрел.

— Шахтеры, а чушь порете. Любой кочегар знает — чтоб уголек горел жарко, мало того, что должен быть в кусках, так еще и подшуровать надо.

— Кочегару больше знать и незачем, — мирно сказал Липатов, — а вот химику такого знания мало. Да и руководителю маловато.

— Ну-ну, поучи! — оборвал Бурмин. — Сотворили в институте красивую схемку, а люди — теряй время.

— А может, не потеряете, а выгадаете? — врезался в спор Палька. — Чем опровергать с ходу, разобрались бы хоть вы!

Бурмин надвинулся на него грузным телом и ткнул его пальцем:

— А ну, доказывай!

Палька, ожесточась, начал доказывать. Что бы он ни говорил, Бурмин перебивал его, старался опровергнуть и высмеять. Время от времени он тыкал пальцем то в сторону Саши, то в сторону Липатова:

— А ты что скажешь? А ты?

Они долго кричали друг на друга, так что секретарша и еще какие-то люди заглядывали в щелку и с опаской прикрывали дверь. В разгар спора у Пальки сорвался голос, и он пустил петуха. Бурмин откинулся назад и захохотал. Он хохотал долго, раскатисто, хлопая себя по бокам и поглядывая на посетителей слезящимися от смеха, подобревшими глазами.

— Ай да хлопцы! И впрямь — шахтерское семя! Что ж — не растерялись, можно выпускать и к профессорам. Будь по-вашему, прикажу собрать комиссию.

Они еще не успели обрадоваться, когда Бурмин снова насупился:

— На мою поддержку не рассчитывайте. Не верю я в эту штуковину. А вы, голубчики, доказывайте свое,

не робейте. Ваше дело — верить, иаше — сомиеваться. А без дракн до истнны ие доберешься.

Распоряженне о созыве комнссин было даио, а это как-инкак — победа, хотелось ее отпраздновать. Можно было восхнщаться трудолюбнем Саши, который из наркомата помчался зубрнть фнзнческую хнмню, но следовать его примеру оин ие моглн, да н не было у ннх иикакого дела.

— Поедем к Русаковскнм,— упрашнвал Лнпатов.— Ну чего ты дичншься, чудила! Они же милейшне люди. У ннх дом на широкую ногу, скучно не будет.

— А ты откуда знаешь? — подозрнтельио спроснл Палька.

— Ииой гость недолго гостнт, да много примечает.

Нет, идтн к Русаковским Палька не мог. От нечего делать завернули к Игорю. Игорь выглядел страиио: повязан женскнм переднником, волосы стянуты резннкой, пальцы растопырены н перепачканы чем-то красным.

— А-а, вот это кто! — протяиул ои. — Что ж, заходите. Кстатн, Иваи Мнхайловнч, тебе пнсьмо от Аииушкн Федоровиы. Отец приехал! Раздевайтесь, а я — кухарничать.

Чувствовалось, что нх приходом он не очень-то доволеи, зато приезду отца искренне радуется.

Матвей Денисовнч прннимал ваину. Проходя мимо двери столовой, Палька заметнл, что обеденный стол накрыт не клеенкой, как обычно, а белой скатертью. Ждут гостей? В кухне топнлась плита, иа столе сохли груды вымытой посуды, на другом столе шла готовка, про которую Лнпатов сказал, что «чувствуются крупиые масштабы». Пухленькая девушка с робким взглядом старательно крутнла мясорубку.

— Знакомьтесь, — небрежио сказал Игорь. — Добрая душа по нмени Кука.

Липатов предложнл покрутнть мясорубку, чем моментальио воспользовался Игорь, поручнв Куке нашинковать лук. Сам он аккуратно срезал верхушки отборных помндоров — по их колнчеству стало еще ясней, что ожидаются гостн. Вероятно, следовало уйти, ио Палька не мог — ои догадался, кого тут ждут.

— Давай вытру посуду, — предложил он. Полотеице быстро намокло и не придавало посуде блеска. Та-

релкам конца не было. Рядом, покорно шинкуя лук, шмыгала носом и лила слезы Кука.

Матвей Денисович вышел из ванной — распаренный, в восточном пестром халате, с полотенцем на голове. Пальку он не сразу узнал, а Липатова расцеловал и увел к себе — за Аннушкиным письмом.

Палька перетирал тарелку за тарелкой. И думал — вдруг Игорь не пригласит остаться?

Противень, заполненный фаршированными помидорами, ушел в духовку. Игорь начал накрывать на стол, ходил туда-сюда, не обращая внимания на Пальку и на Куку.

— Давай селедку заправлю, — предложила девушка.

— Э, нет, селедку я сам!

Палька смотрел, как Игорь растирает соус и заливает им селедку. Потом поплелся за Игорем в столовую и смотрел, как Игорь тонкими ломтиками режет булку.

— Я побегу, Игорек, — сказала девушка.

— Может, останешься?

— Ой, что ты! Ни за что!

— Погоди, подам пальто как полагается.

Палька бестактно вышел за ними и смотрел, как Игорь вежливо и равнодушно провожает девушку, а девушка смотрит на него влюбленно, ожидающе. Дверь за нею закрылась. Следовало уйти и Пальке. Он прислушался к оживленным голосам Липатова и Матвея Денисовича — говорят, смеются, а о нем и не вспомнят.

— Папа, одевайся! — крикнул Игорь.

Липатов вышел из кабинета и, улучив минуту, шепнул:

— По-моему, надо смываться.

Краснея до корней волос, Палька прошептал в ответ:

— Неудобно. Пришли, похозяйничали — и смываться.

Липатов обидно хохотнул и сказал: что ж, бывает и такая точка зрения, мы, конечно, института благородных девиц не кончали, и здесь тоже не английские лорды. После чего громко спросил:

— Матвей Денисович, по совести — уходить нам

илн дождаться фаршнрованных помндоров, для которых я фарш крутнл?

Матвей Денисович со смехом ответнл:

— Кто ж от такого харча убегает? Оставайтесь.

Звонок... Нет, это не у дверн, это телефон. Матвей Деннсович взял трубку н, не здороваясь, закрнчал:

— Так что ж вы не едете? У повара помндоры перепреют! И гостн ждут — томятся. Нет, нз Донбасса, старые знакомые. Почему ревет? Ерунда! Берите ее с собой, раз просится.

С этой мнннуты всё н все будто провалнлись куда-то. Существовала только дверь в передней н звонок у этой дверн. Вероятно, прошло много времени, потому что Лнпатов с Матвеем Деннсовичем успелн поспорнть н до чего-то доспорнться, потом Матвей Деннсовнч долго н подробно о чем-то рассказывал, обращаясь н к Пальке, Палька старался изобразнть внимание, но не слышал нн слова.

Звонок прозвучал как гром, как набат.

Кровь прихлынула к голове, а потом отхлынула так, будто ее совсем не стало, — нн поднять глаза, нн пойтн за всемн в переднюю, нн шевельнуться. На весь дом звякнула цепочка, щелкнул замок.

— Вот и мы! — сказал ее голос, н перестало существовать все, кроме ее голоса.

Самой страшной была мнннута, когда гостн снималн пальто, здоровалнсь с хозяевамн н с Липатовым, смеялись чему-то н неотвратнмо прнближалнсь к дверн столовой.

— Павел Кнриллович! — пропел знакомый голос. — Рада встретнть вас в Москве!

Он видел только черный шелк ее узкого платья. И носкн ее туфель.

— Галя, не прнставай к Матвею Деннсовичу! — сказал ее голос. — Вы знаете, эта неистовая девчонка бредит преобразованнем природы. Матвей Денисовнч настолько покорнл ее, что она учится на пятерки...

— Так это ж хорошо, — с уснлнем сказал Палька и поднял глаза.

Перед нним была она н не она. По-нному, гладко причесанная, очень загорелая, очень тонкая в черном платье, она была совершенно не похожа на ту женщнну, что стояла перед нним лунной ночью в степн н

произнесла «Все равно!» и «Пусть!». Она не была похожа и на веселую озорницу, что пела в громыхающем фургоне песни своей комсомольской юности, и на дружелюбную гостью, что приходила в сарай Кузьменок и старалась всем понравиться. Чужая, ни о чем не помнящая, уверенная в своем умении держаться в любых обстоятельствах — такою она предстала на этот раз. Новая и по-прежнему — ненаглядная.

За весь вечер он не сказал с нею и двух слов. Было жарко, в маленькой комнате надышали и накурили так, что не спасала и открытая форточка. Все хвалили поварские способности Игоря, только Палька не заметил, что ест.

— Расскажите же, Иван Михайлович, кому вы передали мой отзыв и как его приняли в Углегазе, — сказал Русаковский.

— Ну как они могут принять? С уважением!

Липатов покосился на Пальку и как ни в чем не бывало начал рассказывать, кому передал отзыв, с кем говорил...

Так и есть! Липатов сам разыскал Русаковского и добился отзыва... А ненаглядная могла подумать, что Липатов приходил с его ведома!

— Вот ты какой обманщик! — воскликнул Палька, обретя смелость оттого, что самолюбие оттеснило другие чувства. — Тишком бегал к Олегу Владимировичу!

Русаковский улыбнулся:

— А почему не прибежать? Отзыв я написал короткий. Бог вас знает, что у вас выйдет в природных условиях, но лабораторный опыт любопытен. Я рекомендую перенести его в шахту, — в конце концов, без этого нельзя ни подтвердить вашу правоту, ни опровергнуть ее.

В его словах сквозило не только сочувствие, но и пренебрежение. Он подчеркнул это, сразу заговорив о другом.

Ужин был съеден, чай выпит. Т тьяна Николаевна поднялась — Матвей Денисович с дороги, Гале пора спать. Галя заупрямилась:

— Дядя Матвей обещал показать интересное.

— Но ведь не ночью же! — сказал Матвей Денисович, подталкивая ее к двери. — И давай условимся,

кадрик: если хочешь быть изыскателем, капризы — долой. Поняла?

Все вышли в переднюю. Мать и дочь стояли рядом — крепенькая скуластая девочка и тонкая, очень красивая женщина с холодным лицом.

— Мы проводим вас до трамвая, — сказал Липатов.

Остановка была слишком близко. Трамвай подкатил слишком быстро — звенящий, пустой.

— Приходите, мы будем рады, — сказал ее голос.

Взгляды на секунду столкнулись. Что промелькнуло в ее зеленоватых глазах? Ласка? Насмешка? Летучее воспоминание об одной лунной ночи? Во всяком случае, в них не было ответа на его мучительный, отчаянный вопрос.

— В самом деле, приходите! — сказал профессор с подножки.

Значит, ее приглашение было не «в самом деле»? Палька видел, как она шла по освещенному вагону, выбирая место и не бросив даже короткого взгляда за окно.

— Надо будет сходить к ним, — проговорил Липатов, зевая. — До чего удачно, что я его поймал!

— Помолчи уж, старая лисица! — буркнул Палька и зашагал прочь, не обращая внимания, идет ли за ним Липатов. Пустынны, холодны, ветрены были незнакомые ночные улицы. И некуда было выплеснуть свою ярость.

8

Вначале все напоминало Катенину день, когда обсуждался его проект. Члены комиссии съезжались медленно и, стоя группами, переговаривались о чем угодно, только не о проекте; чертежи были распластаны на стендах, но к ним почти не подходили; профессор Граб предупредил, что торопится; Вадецкий пришел с таким брюзгливо-равнодушным видом, будто делал кому-то великое одолжение своим приходом, а сияющий, как ясное солнышко, Арон Цильштейн появился последним — и сразу всех объединил и растормошил.

Катенин пригляделся к нему — общителен, весел. Кончились у него неприятности? Видимо, кончились. Вот только рассеянности у Арона раньше не замеча-

лось, а сейчас — заговорит и не докончит мысль, засмеется и вдруг как-то отрешенно смолкнет... Значит, не кончились?

От рассеянности или оттого, что не счел нужным, но сегодня и Арон не вовлек в общую беседу новых авторов, и те стояли особняком, бледные, оробевшие.

«Неужели и я выглядел так же?» — подумал Катенин, с гордостью отмечая, что на этот раз члены комиссии принимают его как своего и каждый считает нужным поговорить с ним. А новички ревниво прислушиваются...

Катенин знал, что их проект получил отрицательные отзывы Арона и Вадецкого, что Колокольников окрестил молодых авторов «вихрастыми гениями» и сегодня «вихрастых» ждет разгром. Было немного жаль их — ведь старались, надеялись... Может быть, стоит присмотреться и взять одного из них к себе на станцию?...

— Не волнуйтесь, — подходя к ним, дружелюбно сказал Катенин. — Я через это прошел — и, как видите, живой!

Двое улыбнулись, силясь подавить волнение, а третий, самый старший, ответил:

— Мы народ выносливый, драки не боимся!

И глянул на Катенина исподлобья хитрущим глазом.

Заседание началось. Колокольников небрежно, вполголоса, доложил, какие получены отзывы; правда, он дважды повысил голос, выделяя наиболее жесткие оценки, а благожелательный отзыв Русаковского изложил такой скороговоркой, что многие не расслышали.

— Сам Русаковский не приехал, видимо не придавая своему отзыву значения, — мимоходом обронил он и повернулся к Олесову: — Есть предложение для скорости начать с выступления рецензентов.

Все согласились. Но тут поднялся один из авторов, Мордвинов, который перед тем показался Катенину мягким до застенчивости; этот мягкий парень весьма твердым голосом попросил (просьба звучала как требование) выслушать их доклад, поскольку остальные члены комиссии с проектом незнакомы.

— Зачем? — отрываясь от бумаг, процедил про-

фессор Граб. — Многие слыхали о нем, рецензенты дадут оценку.

— Нет! — подскакивая, перебил самый молодой из авторов. — Мы настаиваем! Категорически!

И с этой минуты заседание утратило всякое сходство с тем первым заседанием. Благопристойная невозмутимость была взорвана напором молодых. «Мамонт» Бурмин поддержал их начальственным басом:

— Нехай обоснуют, что надумали, а там уж дело ваше.

Алымов подсел к Бурмину, что-то втолковывая ему энергичным шепотом, но Бурмин грохнул во всеуслышание:

— На то и созвали ученые головы, чтоб разобрались, а мы с вами тут не потянем.

Катенин видел, как радостно сверкнули глаза Стадника, как деликатно потупились профессора и как всех покоробило оттого, что младший из «вихрастых» открыто фыркнул.

— Что ж, послушаем доклад, — миролюбиво сказал Олесов. — Кто из вас будет говорить?

— Все трое, — ответил Мордвинов, не обращая внимания на поднявшийся ропот. — Я доложу физико-химическую часть, Липатов — горную, Светов — технологию и сбойку скважин.

— Целая конференция, — буркнул Граб и напомнил, что скоро уедет.

«Однако они держатся весьма самоуверенно, — думал Катенин. — Молодость? Или они знают что-то такое, что вселяет в них уверенность?..»

Члены комиссии переглядывались. Вадецкий состроил насмешливую гримасу, Колокольников предложил ограничить время. Но тут вмешался новый для Катенина человек — круглолицый, курносый, голубоглазый, типичный русак по внешности и по плавному, слегка протяжному говору:

— Вы послушаете и, честное слово, не пожалеете: проект весьма оригинален, товарищи!

Это был эксперт из Института азота, инженер Васильев.

Не успел Мордвинов начать доклад, как дверь распахнулась от толчка — совсем как в прошлый раз — и на пороге показалась массивная фигура академика, —

только ввел его Русаковский. Лахтин от порога сказал высоким голоском:

— Виноват, незваным явился. Да вот высвободилось время, и решил заехать.

Смущенный Колокольников кинулся встречать академика. Здороваясь со знакомыми, профессор Русаковский через комнату обратился к Олесову:

— Извините за опоздание, Федор Гордеич просил заехать за ним.

— И почему мне проекта не прислали? — ворчал Лахтин. — То шлют и шлют всякие вариации, а то и позвать недосуг!

Колокольников бледнел и краснел попеременно. Он не сообщил академику о сегодняшнем заседании, сказав, что не стоит беспокоить старика по пустякам; на самом деле он боялся, что Лахтин захочет поддержать своего аспиранта. Теперь он не понимал, что произошло, — Мордвинов ли упросил своего шефа приехать? Или Рачко, непрошеный адвокат «вихрастых гениев», самовольно позвонил академику? Или Русаковский?..

Заседание возобновилось. Равнодушных уже не было, и все ощутимее делились собравшиеся на сторонников и противников проекта. Только Катенин не знал, с кем он. Смятение — вот что он чувствовал. И в этом смятении у него не было союзников.

То, что говорил Мордвинов, рисовалось Катенину совершенно несбыточным и простым до нелепости, до неприличия. Простое до неприличия решение откидывало все, что казалось несомненным и Катенину, и Арону, и большинству ученых, годами занимавшихся процессами газогенерации. Получалось так, что Катенин долго мучился, изобретал, находил сложные и остроумные решения подземного генератора, а потом пришли три вихрастых парня и сказали: «Ничего этого не нужно, чиркнем спичкой и получим газ! Зачем нам ваша механика, когда есть химия — царица наук!» Нет, и простота была не проста, вокруг нее роились сложнейшие проблемы, и Мордвинов докладывал о них, но выходило, что авторы все-таки одолели сложнейшие проблемы... Что же это такое? Господи, что это такое? Невежественный бред самоуверенных недоучек или то новое слово, что сразу перечеркивает привычные понятия?..

— Совершенная чепуха! — раздался рядом голос Ароиа.

Чепуха? Ну конечио же чепуха!

Катеинн помннл восторженый рассказ Федн Голь о появлении молодых химиков, будто бы иашедшнх способ избежать подземиого труда. Ои тогда же посмеялся иад Федей — какая бы ни была химия, все зиают, что уголь нужно дробить и шуровать, ииаче равиомерного гореиия ие получится; но сердце его тосклнво сжалось — ведь Меиделеев был химиком, вероятио, он мыслил будущую подземную газификацию как процесс, осиованный иа законах химии, а ие механикн... Узиав о предстоящем обсуждеиин диковииного проекта молодежи, Катеиин примчался в Москву. Арои успокоил его — бред! Колокольников издевался — в двадцать два года кто не хочет перевериуть мир, но зачем на юиошеские бредни тратить время стольких серьезиых людей! Олесов скоифуженно объяснял — вмешалось иачальство, иаходятся н сторонники, придется обсуднть...

Вот оии — сторонникн: симпатичный ииженер Васильев, солндиый, уважаемый всеми профессор Русаковский... и академик Лахтин? Нет, не похоже. Седые брови Лахтина то и дело удивлеиио поднимаются, на морщиинстом лице можно прочитать: да что они говорят? Да видаио ли это?..

Непроиицаемо холоден и величествеиио спокоеи Граб. Нервио ежится и передергнвает плечами Вадецкий. Катеиин иаблюдает за обоими с иенавистью — коисультировали, виикали во все детали его проекта, а сами тишком разрабатывали свои «варнации»! И все-таки оба — крупиые авторитеты. Их слово — весомое слово. И хорошо, что иовый проект их не убедил. Сейчас онн скажут что-то иеопровержимое, и кончится смятение перед иепоиятиой, дерзкой выдумкой этих юицов, все стаиет на свои места, н опять самым главиым и желаииым будет предстоящее испытаиие прииятого и одобреиного метода Катеиина...

— Держись, автор! — громким шепотом сказал Бурмии, подмигивая Катеиниу.— Под тебя подкапываются, а?

Вадецкий хихикнул и преиебрежительио махнул рукой — эти, мол, ие страшиы!

После сдержанной, точной речи Мордвинова доклад Липатова звучал несолидно — он говорил сбивчиво, южным говорком, пересыпанным украинскими и шахтерскими словечками, и многие слова произносил неправильно. Когда он вторично произнес «средства́» с ударением на конце слова, профессор Граб тихо, но внятно поправил его:

— Сре́дства.

Потом Липатов сказал «наша мо́лодежь», и снова раздался голос профессора Граба:

— Молоде́жь, если позволите.

Липатов вспыхнул, но не растерялся, исподлобья глянул на Граба уже не хитрущим, а откровенно злым глазом.

— Не всегда истина там, где гладко, бывает она и там, где коряво, да дельно,— сказал он с простецкой улыбочкой.

Бурмин захохотал от удовольствия.

Вадецкий похлопал кончиками пальцев по ладони:

— Браво, браво!

— Давайте не перебивать по мелочам! — крикнул Стадник.— Ведь интереснейшие вещи слушаем!

И снова говорил Липатов, стараясь не ошибаться с ударениями и все-таки ошибаясь. Все собравшиеся имели дело с горными работами, но тем труднее было освоиться с тем, что проект отменял их почти все, кроме проходки первого небольшого ствола и бурения скважин.

— Здорово! Здорово! — счастливым голосом воскликнул Васильев.

— На словах — здорово! — согласился Арон.— Но будет ли при этом нормальный процесс?

— Будет! — крикнул Светов.— Все проверено серией опытов и подтверждено протоколами!

Граб поднял руку, удерживая от продолжения спора.

— Нельзя ли соблюдать порядок? К тому же в лаборатории можно получить все что угодно, а под землей искусственных условий не создашь.

Светов проглотил новое возражение, но свой доклад начал с того, как проводились опыты и какие результаты получены. В окружении почтенных ученых он выглядел мальчишкой, настоящим «вихрастым»,

но срывающийся тенорок его излагал в стройном логическом порядке такие серьезные доказательства, что Катенин снова тоскливо сжался, почуяв за этими доказательствами странную, не совсем понятную, страшную для него правоту.

Он взглянул на Граба и сжался еще больше — ни следа обычного олимпийского спокойствия!

После докладов объявили перерыв, и в перерыве произошло то, чего тщетно ждал Катенин на обсуждении своего проекта,— члены комиссии потянулись к чертежам, и тут же, перед чертежами, разгорелись споры. Авторы отвечали на вопросы, огрызаясь на критику, доказывая и объясняя,— возбужденные, взъерошенные, с прилипшими ко лбу прядями волос.

Прикрыв глаза, академик Лахтин восседал в кресле, как монумент. К нему подскочил Вадецкий.

— Как вам нравится это ниспровержение науки?

Лахтин приоткрыл один глаз, будто его разбудили:

— А? Что?

Потом сказал:

— С интересом жду вашей критики. Но каковы петушки?!

Олесову с трудом удалось водворить членов комиссии на места; когда же все расселись, никто не хотел брать слово, и менее всех Вадецкий — его смущало присутствие академика. Выручил Арон Цильштейн — выступил первым и резко отверг проект, доказав на основе незыблемых положений науки, что процесс горения целика, если и произойдет, не даст равномерного выхода газа. Его доводы были серьезны и всем показались убедительными. После него охотно высказался и Вадецкий:

— Не скрою, я не без любопытства выслушал эту изящную утопию, изложенную с юношеским темпераментом. Но было бы наивно рассчитывать, что из утопии можно получить промышленный газ! Нас уверяют, что в лаборатории получили, хотя при этом чуть не взлетели на воздух. Но мало ли что можно получить в специально заданных лабораторных условиях! Я готов полюбоваться молодым увлечением наших авторов, но с трудом принимаю дерзость их настойчивого желания заставить стольких ученых тратить вре-

мя на разбор их ошибок. Что это — неуважение к науке или просто безграмотность?

— Это надо доказать! — крикнул Стадник.

Вадецкий иронически развел руками:

— Казалось бы, теперь, после почти столетнего применения газогенераторов, нет нужды спорить об основных, элементарных принципах газификации. Казалось бы, тем более нечего спорить в среде, которая признает учение диалектического материализма! А диалектический материализм говорит, что критерием истины является практика. Для каждого газовика совершенно очевидно, что без наличия подготовленного слоя топлива получить генераторный газ невозможно. При первом же испытании практикой ваши красивые построения, молодые люди, развеются как дым, и только дым вам удастся получить!

— Значит, из дыма дым? — густым басом переспросил Бурмин и засмеялся.— И сама диалектика — против?

— В истории техники часто бывало, что новые идеи встречали насмешками! — с вызовом сказал Стадник.

— И демагогией! — громко добавил Светов.

Снова взорвалась чинная благопристойность заседания — оно перестало походить на одно из многих, оно превратилось в схватку, где решалось что-то неизмеримо более важное, чем судьба одного проекта. Не все еще понимали это. Но когда взял слово инженер Васильев и своим протяжным московским говором сказал, что безапелляционность возражений вызвана недоверием к трем безвестным авторам, а будь этот проект «освящен» знаменитым именем, к нему отнеслись бы куда уважительнее, многие притихли, как бы проверяя себя: так ли? И Арон вдруг добродушно признал:

— А конечно! Но эти ребята сами — палец в рот не клади.

— Опять отклонились от темы,— напомнил Граб, демонстративно вынул карандаш и начал править извлеченные из портфеля графики.

Катенин приглядывался, вспоминал, сравнивал — что бы там ни было, сегодня всех взбудоражило,

а мой проект ничего не нарушил, никого не зацепил... Как сказал тогда Вадецкий? «Проект тем и хорош, что не выходит за рамки возможного...» Боже мой, как я не понял, что это обидно, что это значит — мой проект бескрылый... да, бескрылый! Стоят прочные, удобные «рамки возможного» — и в них покойно умещаются все мои новшества... А вот эти «вихрастые» сплеча рубанули по рамкам, опрокинули их и вырвались на простор. Ошибка? Чепуха? Может быть. Повидимому, они еще не нашли безусловного решения, но... но не я, а они опрокинули рамки и вышли на путь, ведущий к решению!

Катенин вздрогнул, услыхав свою мысль в устах профессора Русаковского.

— Не стану утверждать, что проект уже сейчас бесспорен и осуществим. Вероятно, в нем немало ошибок и ляпсусов, но тут есть над чем работать. Авторы нащупали главное — верный принцип. Если подземная газификация когда-либо осуществится, то именно на этом пути.

Русаковский не собирался на обсуждение и не хотел ввязываться в спор, но Игорь в присутствии Татьяны Николаевны просил его помочь донецким друзьям. Было бы легче, если бы идея этого Палькин оказалась вздором, но она не была вздором. Олег Владимирович развивал в себе умение судить объективно и знал, что вечером будет приятно рассказать Татьяне Николаевне, как он поддержал ее поклонника. В глубине души он ревновал жену и убивал ревность благородством. Именно из таких побуждений он позвонил Лахтину. К удивлению обоих, выяснилось, что академика не известили о заседании, а Мордвинов и не заикнулся о том, что решается его судьба.

— Знаете, он мне все больше нравится,— сказал Лахтин, — терпеть не могу дошлых молодых людей! А что, Олег Владимирович, не поозорничать ли нам? Закатиться экспромтом, а?

— Поозорничаем! — весело согласился Русаковский.— Драматургический эффект гарантирован!

Эффектом он насладился, поддержку молодежи оказал — большего он и не хотел. Черт знает, выйдет у них или нет! Бесспорно одно — проект заслуживает

серьезного испытания в природных условиях залегания угольного пласта.

Вероятно, его предложение могли бы принять без особых возражений, но Светов, которого передергивало от снисходительных интонаций профессора, тотчас неразумно накинулся на Русаковского, доказывая, что проблемы, которые тот считает недостаточно разработанными и ясными, на самом деле разработаны и вполне ясны авторам. Говорил он излишне запальчиво. Липатов дернул его за пиджак, но остановить не мог.

— Вот вам, пожалуйста! — поспешил отметить Алымов.— Самоуверенность и полное отсутствие самокритики!

Профессор Граб холодно поинтересовался, почему проект, представленный от имени Донецкого института, не подписан профессором Китаевым, не значит ли это, что научный руководитель присутствующих здесь молодых людей попросту не захотел поставить на нем свое имя.

— Он-то как раз хотел, мы не хотели! — выкрикнул Светов.— Принципиально!..

Это произвело плохое впечатление. Светов покраснел и виновато оглянулся на друзей. Липатов бросился исправлять его ошибку:

— Кому подписать, решала дирекция института при участии профессора Китаева; подписали те, кто действительно работал. А протокол опыта Китаевым заверен.

— Чему и я был свидетелем,— подтвердил Русаковский, улыбаясь смешному воспоминанию.

— Да не в подписях дело,— морщась, заговорил Граб.— Мысль в проекте довольно занятная, но я, как хотите, не могу принять весь этот проект всерьез. В самом деле, товарищи, это же не наука, а... а бог знает что! С ходу отвергаются, игнорируются все научные истины, известные сто лет. А вместо них нам предлагают... так, какие-то трубки и клапанчики, какое-то кислородное дутье прямо в пласт... И хотят, чтоб ученые санкционировали подобную галиматью!

Академик Лахтин вдруг заливисто всхрапнул. Веки были опущены, но один глаз поблескивал из щелки — насмешливо и зорко.

Катенин видел этот живой наблюдающий глаз и старался понять — случайно старик всхрапнул или нарочно. От заливистого звука все на мгновение примолкли, потом заспорили еще яростней. Авторы отбивались как могли. Катенин невольно восхищался ими и с горечью думал: я бы так не сумел...

— Дайте же им сказать! — кричал Стадник и тут же сам мешал им, высказывая свое.

— Вы же ничего в этом не понимаете! — кричал ему Алымов.

Немало воевал Алымов на глазах у Катенина. Но таким распаленным Катенин его еще не видел. Почему? И Стадника он никогда не видел таким взволнованным и раздраженным. Почему к спору примешалось столько раздражения?..

— Товарищи, спокойнее! Товарищи! — безуспешно взывал Олесов.

Он тоже чувствовал, что примешалось слишком много раздражения. И что речь идет не только о проекте. Оглядывая взбаламученное собрание разнородных людей, он будто наткнулся на строгий, предупреждающий взгляд Стадника, и этот взгляд сказал ему: что же ты, коммунист-руководитель, не видишь, что ли? Не разбираешься?

Они видели. Они многое знали.

Политическое чутье и опыт подсказывали обоим, что кое-кого тут уязвляет напористое вмешательство трех провинциалов без роду без племени. Недаром Колокольников пустил кличку — «вихрастые гении». И разве только этих трех он имел в виду?.. Напор «вихрастых» грозил затопить институты, нарушал замкнутость старой научной корпорации. Для них не существовало незыблемых авторитетов. Еще недавно малограмотные, сыновья шахтеров, слесарей, батраков, они жадно хватали знания на рабфаках и в институтах, они уже проникали в аспирантуру, неся в научные учреждения какое-то бешеное беспокойство мысли, практическую сметку, неотесанную талантливость и веру в свой, новый путь. С ними было неуютно и тревожно. Им не хватало культуры, но они прямотаки впивались в науку, а мозги у них были свежие, ухватистые...

Могло ли это нравиться профессору Грабу? В прошлом акционер угольной компании, он до недавнего времени был тесно связан с буржуазными специалистами и учеными, лелеявшими в созданной ими «Промпартии» мечты о реставрации. После разгрома «Промпартии» Граб усиленно доказывал свою лояльность, любил выдвинуться, соглашался входить во все комиссии и комитеты, куда его приглашали,— старался стать незаменимым. Он и проект подземной газификации разработал для того, чтобы доказать заинтересованность, и как будто не связывал с ним особых надежд и корыстных расчетов, разве что хотел насолить Вадецкому... Профессор Граб был строг в вопросах этики и на обсуждении своего проекта подчеркивал, что сотворил некую разновидность катенинского метода, и тут же не без яда заметил, что он не любитель чужих мыслей, отчего Вадецкого прямо-таки «повело»... Вынужденный приспосабливаться к духу времени, Граб был неуступчив только в одном, наиглавнейшем вопросе — он открыто противился приему в аспирантуру вот этих самых «вихрастых».

— В вузах я их учу, не жалея времени. Но пусть идут в промышленность, в хозяйство! Работы разворачиваются огромные, специалистов не хватает, старым инженерам все труднее справляться в новых условиях — знаете, ударничество, стахановские рекорды, пятилетка в четыре года, партия, комсомол, профсоюзы... Но в науке! Нет, в науке интеллигенты первого поколения не привьются. Тут нужна наследственная культура.

И он беспощадно резал «вихрастых» на экзаменах и высмеивал на защитах дипломов, доказывая, что данные претенденты для аспирантуры «пока не подготовлены»... Политику Граба понимали, но с ним приходилось считаться: в своей отрасли он был звездой первой величины.

Вадецкий был звездой поменьше, но он и действовал иначе. Многие партийные руководители искренне считали его «своим», почти коммунистом — такая у него была свойская повадка, так он демонстрировал свой энтузиазм. В научно-исследовательском институте, которым он руководил, долгое время держался директором человек невежественный, неумный, но —

с партбилетом. Партийная организация дважды поднимала вопрос о снятии директора, и дважды Вадецкий прикрывал его своим авторитетом. Выгодно ему было иметь при себе такого директора? Конечно! Он вертел им как хотел... И «вихрастых» он принимал охотно, сам просматривал анкеты и требовал «увеличения партийно-комсомольской прослойки». Он брал эту «прослойку» как щит, но среди людей с идеальными анкетами умело отбирал покладистых. Ему принадлежало изречение, что начальник хорош ватообразный, а подчиненный — глинообразный...

А вот эти трн молодца не из глины. Ими не повертишь. Академику Лахтину они, видимо, нравятся — известно, что он с увлечением выискивает наиболее самобытных студентов и радуется, если находит задатки ученого у юноши из самых «низов». Лахтин любил вспоминать, что родился в семье дьячка и учился на медные гроши, великое революционное обновление страны полно для него глубокой и трогательной поэзии. На своем юбилее он сказал, что величайшим счастьем посчитает, еслн *успеет* — успеет передать свои знания рабочим и крестьянам. Тогда ему бурно захлопали, а он ни с того ни с сего рассердился и закричал, перекрикивая рукоплескания: «Да, да, рабочим и крестьянам, именно так!»

Сейчас он дремал в кресле, предоставив молодым авторам отбиваться от нападок. Олесов хотел было поддержать молодежь, но что он мог? Он был несведущ в научных проблемах, которыми тут козыряли и те и другие. Бурмнн н не собирался ннкого поддерживать — похоже, испытывал донецких парней на прочность. Стадник был слишком горяч, он не умел ждать, когда доспорятся до истины без него. Его выступление в защиту проекта было пылким и сумбурным. Вадецкий с самым уважительным видом перебивал его, задавая ехидные специальные вопросы, которых Стадник не понимал. А профессор Граб снисходительно улыбнулся и проронил сквозь зубы:

— Я охотно помечтаю о ликвидации подземного труда, но ведь существуют еще и непреложные научные законы.

Подчеркнуто отвернувшись от Стадника, он обратился прямо к авторам:

— Вы — молодые ученые, вам я могу напомнить: Cum principia negante non est disputandum.

Молодые покраснели. Над ними неприкрыто издевались, а они не могли ответить.

Академик Лахтин вдруг закряхтел, заворочался в кресле и открыл младенчески ясные глазки.

— Вот ведь беда! Склероз, что ли? Совсем запамятовал латынь. А ведь учил, учил когда-то... Сделайте снисхождение, переведите — чевой-то вы произнесли такое ученое?

Теперь покраснел Граб, а Русаковский с чарующей улыбкой повторил его латинскую поговорку и тут же перевел: с тем, кто отрицает основы, нечего и спорить.

— Вот оно что! — воскликнул Липатов.— Теперь понятно. Да только знаете, профессор, есть поговорки французские, а есть и русские. Например: всяк про правду трубит, да не всяк правду любит. Или: правда милости не ищет. А еще и такая есть: в гору-то семеро тащат, а с горы и один столкнет. Не знаю, которая вам приглянется, а по мне — все три к месту.

— Ох-хо-хо! — загрохотал Бурмин.— Вот это подкусил!

Академик развеселился:

— Как? Как? В гору семеро, а с горы и один столкнет? Хороша пословица! Да только ведь не дадим... столкнуть-то!

Он поднялся, долго прилаживал перед собою палку, чтоб опереться повернее, и вдруг заговорил быстро, гневно, посверкивая полуприкрытыми глазками:

— Истины, известные сто лет! И это говорит, простите меня, ученый человек! Да когда же столетняя давность считалась в науке непреложным доказательством? Куда же вы тогда движение мысли запихнете? За границу отдадите, чтобы потом перенять оттуда? Купить на валюту, если захотят продать?!

Рассердившись, он уронил палку и еще поддал ее ногой, чтобы не мешала.

— Сколько лет я работаю в науке, столько лет и наблюдаю: все новое рождается из отрицания давних, обветшалых истин. И, если истина держится сто лет без изменений, стоит хорошенько подумать: не пора ли ее, голубушку, пересмотреть?

В тишине раздался безмятежный голос профессора Граба:

— Конечно, Федор Гордеич! Да только уверены ли вы, что данный проект открывает новейшую истину?

— Подайте-ка мне мою дубину,— попросил академик, подхватил палку, поблагодарил, заново пристроился так, чтоб опора была надежной.— Нет, не уверен,— задумчиво сказал он,— но тем более осторожно мы должны обращаться с тем, что не лезет в известные нам схемы. Вот тут кто-то... Простите, не запомнил, кто именно...— насмешливый взгляд скользнул по лицам, обойдя Вадецкого.— Один оратор упомянул всуе диалектический материализм. А диалектического мышления мы в его доводах и не обнаружили! Да, только практика проверяет истину, и только в практике закрепляется движение науки. Пока что сии молодые люди дали нам странную, но любопытную мысль, испытанную в небольших, но важных опытах. Начальная проверка удалась — это весьма обнадеживающий сигнал. Мысль еще не разработана, в их логическом построении то тут, то там белые пятна нерешенного. Но значит ли это, что нужно отмахнуться и обрушить на их молодые головы град насмешек на русском и латинском языках? Вся проблема подземной газификации пока что — белое пятно. А мы не открещиваемся диалектикой, мы думаем, ищем, пробуем. Кто знает, может быть, понадобятся целые жизни труда и поисков, чтобы решить проблему до конца.

Лахтин нащупал кресло за собою и тяжело опустился в него, коротко заключил:

— Доработать проект. Принять к испытанию. Всячески помочь.

— Правильно! — почти восторженно присоединился Вадецкий.— Помочь! Всячески помочь доработать!

— Я думаю, предложение Федора Гордеевича всех устраивает,— заторопился Колокольников.— Мы создадим авторам все условия для доработки! В Москве много возможностей для консультаций и лабораторных экспериментов. Прекрасное предложение!

Даже авторы, упоенные поддержкой академика, не сразу заметили, что Вадецкий и Колокольников ловко

перенесли ударение на доработку проекта, оттеснив предложение об испытании. Но Рачко был настороже, он попросил уточнить решение «в части принятия к испытанию в природных условиях».

— Да ведь ясно,— отмахнулся профессор Граб и встал, с досадой глядя на часы.— Опоздал, катастрофически опоздал!

Вслед за ним начали подниматься и другие.

Рачко вскинул руки:

— Товарищи! Товарищи! Уточнить необходимо, без этого не дадут угольного пласта, не откроют финансирования!

Его мольба утонула в шуме отодвигаемых стульев и завязавшихся вольных разговоров. Академик, не расслышав и не поняв, чего добивается Рачко, требовал от него, чтобы вызвали к подъезду машину, которую «по каким-то идиотским правилам загнали в соседний переулок...»

Среди всего этого шума раздался властный трезвон. Саша Мордвинов протиснулся к председательскому месту и вскинул колокольчик над головой, тряся его что есть мочи. Все удивленно смолкли. И в этой тишине Мордвинов негромко сказал:

— Товарищи члены комиссии, необходима ясность. Некоторые частные проблемы мы сумеем доработать предварительно, но вы должны понимать, что лучшие и простейшие способы вырабатываются в процессе опытов. Половинчатое решение нас не устраивает. Нужна опытная станция.

— Смотрите-ка, нам уже диктуют условия! — шутливо охнул Вадецкий.

— Чего он трезвонил? — с улыбкой спрашивал академик, повязывая шею шарфом.

Катенин смущенно покачивал головой — и правы молодые люди, и уж больно дерзки... По-видимому, их требования все же не примут? Надо поспешить с пуском нашей станции! Если наш опыт даст результат, само собою отпадет вопрос о новой...

Как ни странно, противник проекта Арон решительно поддержал молодежь:

— Товарищи, давайте же сделаем логический вывод! Поскольку часть весьма авторитетных экспертов считает мысль интересной, нужен опыт в естествен-

иых условнях. Я убежден, что прииципп у них ложиый, но пусть испытают н убедятся сами.

— За счет государства?! — злобио выкрикиул Алымов и встал во весь свой рост рядом с Олесовым — длинный, лицо в красных пятнах.— Почему некоторые товарищи забывают, что партия доверила иам государствеиное дело и государствеииые деньги? Почему забывают, что вот-вот вступнт в строй опытиая станция по методу Катеииа, одобреииому н приятому нами же? Зачем такое распыление н замораживаиие государствеииых средств? Что за политика? Кому она служнт?

Олесов втянул голову в плечи — он боялся этого иеукротимого человека, он зиал, что Алымов уже говорил в иаркомате, что якобы ои, Олесов, ие справляется с Углегазом.

Бурмии положил свон громадные ручищн на плечи Алымова н иадавил имн так, что Алымов сел.

— Зачем столько шуму? — сказал он посмеиваясь. — Деиьги на две-трн опытиые станции запланироваиы. Пусть ребята малость подработают, а там н станцию создадим. В постаиовлеиии это иужио отразить, как же ниаче?

Все еще распаленный, Алымов подскочил к Катеиниу:

— Завтра выезжаем! Будем форснровать работы!

Катеиин послушно кнвиул, ио поскорее отошел. Ему было стыдио за Алымова н страшио, что этот человек так страстно воюет за иего, ради иего...

— А вы когда нас порадуете? — спроснл академик Лахтии, только теперь узнав Катеинна.

Катеиин ответил. Вокруг иих сгрудились члеиы комиссии — всем интересио, что скажет Лахтин.

Катенин с радостью почувствовал себя в цеитре общего виимаиия. Сколько раз в течеиие этого буриого заседания ои думал, что иовый проект иаиосит удар по его методу, по его иадеждам! Так ли это? Видимо, никто этого ие счнтает. Ему сердечио желают полного успеха. А трех молодых авторов уже не замечают, хотя оии как будто и добились своего. Какая разиица между моей и их победой! Победили, а стоят одии, три взъерошеиных петушка, посеревших от усталости.

9

Все как бы приблизилось: слышно стало, как жужжит в степи, всасывая воздух, шахтный вентилятор; через равные промежутки времени доносился глухой грохот: уголь ссыпали в бункера; иногда слышалось дробное громыханье — по расшатанному настилу моста через овраг проносился грузовик. Версты две до того оврага — а слышно.

И почти каждый день дождь, дождь, дождь. Шумно — по крыше железной, мягче — по очерету, а по дорожкам — шлеп, шлеп, шлеп, там лужи от края до края. И еще журчат потоки: один, звонкий, сбегает по трубе в бочку, другой, пришепетывая, струнтся посередине улицы.

Нет, ничто не приблизилось, только в доме пусто, и руки делают бесшумное однообразное дело — накидывают петлю, протягивают нить, опять накидывают, опять протягивают... Голубой гарус ползет по пальцу, клубок ворочается в кармане, смотреть почти не нужно, можно думать, и слушать, и воображать, как этот голубой чепчик уютно обтянет очень маленькую головенку с Вовиными светлыми глазами. Можно бы и поплакать, но слез больше нет. Горе теперь не жжет и не давит, оно застыло в самой глубине холодным комком. Комок всегда тут, а мысли — о живущих.

Старик... Даже мысленно Кузьминишна называет его Кузьмой Ивановичем, но, когда сердится, про себя ворчит: рехнулся старик. В его годы — с утра и до ночи в шахте! Конечно, с отъездом Липатова ему трудней: заместитель неопытный. А славу участка разве он отдаст! И хочется ему, чтобы закрепились в шахте мальчишки-комсомольцы, что приехали из разных мест по комсомольскому призыву. Вот он и пропадает вечерами в бараках, где живут комсомольцы, что-то там рассказывает, объясняет, чем-то «забирает в руки» ребят. А ребята всякие — и хорошие и похуже, ершистые и робкие, одни тоскуют по дому, другие загуляли на свободе — и для всех у него хватает терпения. Еще затеял Кузьма Иванович перемены на откатке — об этом он может говорить подолгу и с Никитой, который слушает без интереса, и с Катериной, которая принимает его затеи к сердцу.

Целый день дома никого нет, кроме Никиты. Кузька — в школе, а после школы прибежит, поест — только его и видели! Говорит, уроки готовит вместе с приятелем, с Васькой. Занимаются они, или пролезают в кино без билета, или катаются в город и обратно на трамвайной колбасе — как проверишь? Отметки у него — так себе, учительница говорит — способный, но невнимательный. Кузьминишна бранит Кузьку за тройки, но помогает скрывать их от отца, потому что Кузьма Иванович терпеть этого не может:

— Если не выучил — получай двойку и выправляй. А тройка — ни то ни се. Не совсем дурак и не то чтоб умный, в общем — Гаврюшкин!

Гаврюшкиным он называл еще Никиту, когда тот кое-как переваливал из класса в класс. Был такой *снабженец* на шахте — Гаврюшкин, на партийной чистке ему крепко досталось за всякие грехи. «Мы думали, он каяться будет, — рассказывал Кузьма Иванович, — а наш Гаврюшкин еще спорить начал, а потом с этаким пафосом кончает: «За лучших не скажу, но клянусь вам, товарищи, — от средних Гаврюшкин никогда не отстанет!»

Кузьминишна и сама привыкла говорить при случае: Гаврюшкиным хочешь быть? Но вернла — не хотят, не будут. И Никитка другой, а уж Кузька — подавно. Каждый день новые затеи в голове — то в экспедицию, то в Испанию бежать хотел... Вот у Вовы не было затей, один раз надумал — и напролом...

Гарус запутывался, крючок не попадал в петлю. Все сливалось перед глазами, тугой комок подступал к горлу. Заглатывала его, опять подхватывала петлю, пропускала нить, подхватывала... Не думать! Не думать! Не думать!

И снова слушала тишину — ходики тикают на кухне, шуршит переворачиваемая страница — это наверху Никитка занимается. Откуда она взялась у него — серьезность? Все радуются, одна Кузьминишна чует: серьезен потому, что тоскует. Стоит почтальону подойти к калитке — грохочет по лестнице вниз. А почтальон останавливается редко, хорошо, если раз в неделю принесет зеленый конверт с каракулями той девушки. Случается, приходит письмо — да не от нее, а из Москвы, от Любушки. Тогда Никита идет по дорожке мед-

ленно, отдает письмо и ждет, пока прочитаешь, но интересуется только одним — скоро ли приедет Светов устраивать подземную газификацию...

Радость была в доме, когда Люба написала, что проект приняли. Но потом письма пошли смутные: что-то у них не ладится, Саша в институт почти не ходит, сидят день и ночь. У Липатова отпуск кончился, он выпросил отсрочку, а Пальке из института не отвечают, денег не шлют...

Кузьма Иванович сердился — несерьезно что-то! Саша — как бы на двух стульях. И Никита сидит сиднем, ожидая этой газификации!

Все чаще происходили стычки между отцом и сыном. На сына у Кузьмы Ивановича терпения не хватало. А Никита упрямо ждал Светова: начнутся, мол, буровые работы, поступлю по специальности. Кузьминишна рада бы согласиться — что плохого, если два-три месяца не поработает, неужто они сына не прокормят?

— Да что он за человек, если в двадцать два года — иждивенец? — говорил отец.

— Было бы верное дело, отчего не подождать, — рассуждала Катерина. — Так ведь может еще год пройти!

Изменилась Катерина с тех пор, как те трое уехали. Еще самостоятельней стала. Теперь она приходит в дом как своя, но женского разговора избегает, зато отлично ладит с Кузьмой Ивановичем: при нем и голос, и повадка у Катерины какие-то не домашние — так говорят между собою мужчины, занятые общим делом. Кузьма Иванович не нахвалится ею — молодчина, хоть в начальники сажай заместо нашего щелкопера!

И что совсем уж странно — именно теперь вступила в партию. На собрании, когда принимали, много хорошего про нее говорили, один старый коммунист сказал: «Бывает, принимаем человека — и отказывать не за что, и радости мало, а тут рука сама вверх тянется. Не с одной учетной единицей, а с доброй прибылью, товарищи!» Вот ведь как...

Кузьминишна вместе с мужем радовалась и гордилась, что так уважили Катерину, она все отдала бы, чтоб той полегчало в жизни, она насмерть перессорилась бы с любым, кто хоть словечко дурное посмел бы

сказать о Катерине. Да, и семье, и партии — добрая прибыль!.. Но в глубине души таилось смущение, даже растерянность — через полгода родить должна, до того ли теперь? О том ли ей думать?! Незаметно оглядывая статную, все еще гибкую фигуру Катерины, Кузьминишна пугалась — а может, и ребеночка никакого не будет? Может, она чего-нибудь сделала над собой, чтоб не было?..

Будь у Катерины другая мать, можно бы у нее выспросить: но с Марьей Федотовной и раньше дружбы не было, и сейчас не получалось. Обеим было неловко — не сватьи и не чужие, не поймешь кто. Обе заранее ревновали друг к дружке будущего внука и поразному относились к предстоящему событию — Марья Федотовна причитала над горькой судьбой дочери, а Кузьминишне сквозь горе мерещилась радость.

Сердясь и посмеиваясь, Кузьминишна говорила мужу, что Марья Федотовна — золотая душа, но, прости господи, настоящая индюшка: недаром у нее дети с пеленок такие нравные.

— Так они не в мать, а в батьку, — отвечал Кузьма Иванович. — А Кирька Светов был богохульник и сорвиголова.

— Оно и лучше, с ним хоть весело было!

— Уж ты скажешь...

Про себя Кузьма Иванович думал, что с такой женой, как у Кирьки Светова, не мудрено было загулять на стороне. Как никогда, ценил он теперь свою Ксюшу. Не согнулась. Живет. Вперед смотрит.

Не умел и не любил Кузьма Иванович жить кое-как, день за днем, без жизненного плана. Был у него план в шахте, был и дома. По домашнему плану получалось, что, пока Люба не доучилась, полсотни в месяц высылать нужно. По этому же плану главная забота теперь — поднять Кузьку, а уж внучонку обеспечить все решительно, не хуже, а лучше, чем сделал бы Вова. Хлопот и расходов не оберешься, а работник в семье — один. Как же не возмущаться, что здоровущий — в плечах косая сажень! — Никита сидит в светелке, как барышня, и боится ручки запачкать углем! Как объяснить комсомольцам, приехавшим бог весть откуда поднимать угледобычу, что с них он требует, а сынку родному попустительствует?

Гроза надвигалась постепенно, а разразилась в субботний вечер, после бани, в самую благодушную минуту.

Началось с того, что прибежала Катерина, да не одна, с тремя студентами.

В институте заварилась каша. Палька прислал письмо, чтоб продлили командировку и выслали денег, потом второе письмо, что помрет с голоду, но дела не бросит. У Сонина туго с ассигнованиями, но он склонялся помочь, зато Китаев начал «копать» и даже запретил оставшимся членам группы продолжать опыты. Степа Сверчков с товарищами — двумя Ленями — пошел к Алферову. Алферов уклонился от каких бы то ни было решений, но сказал, что Светов — анархист, у него будут партийные неприятности. Степа расшумелся, вышел скандал. Студенты не знали, кто послал запрос в Москву, но сегодня пришла ответная телеграмма за подписью главинжа Колокольникова, что Светов остался в Москве самовольно, поскольку в штате Углегаза не состоит.

— Я только что была в парткоме, — сказала Катерина. — Алферов заявил, что поставлен вопрос об отчислении Пальки из аспирантуры за нарушение трудовой дисциплины. Мы пришли посоветоваться, Кузьма Иванович. Что делать?

— Это все Китаев, — с ненавистью сказал Ленечка Длинный. — Шипит, что ему не нужен фиктивный аспирант.

— Опыты мы продолжаем по вечерам, — добавил Леня Коротких, — и будем продолжать!

— Сейчас главное — чтоб Светова не закопали, — сказал Степа Сверчков. — Может, в инстанциях повыше поскандалить?

Никита явно расстроился, а Кузьма Иванович остался спокойным. Отчисление — глупость, зря горячку порют. Приедет Павел — уладит. Сам не выпутается — на то есть горком партии. Где это видано, чтоб за доброе дело преследовали?

— Да, но телеграмма Колокольникова...— пробормотал Леня Гармаш.

Видно было, что Длинного Ленечку телеграмма не только расстроила, но и порядком напугала.

— А у тебя кишка тонка! — неодобрительно заме-

тил Кузьма Иванович. — В жизни, парень, и не то случается, люди есть всякие, вот и пишут. А правда свое возьмет. Так что опыты продолжайте. Утрясется.

Так рассудил Кузьма Иванович. Но, когда молодежь ушла, насупился и резко сказал Никите:

— Так вот, сын. У них — дело долгое. И нечего чужими делами лень прикрывать. В понедельник придешь в шахту, оформишься.

Никита насупился так же, как отец. Некоторое время они нацеливались лбами друг на друга, вот-вот сцепятся. Кузьминишна заторопилась с ужином, но Кузьма Иванович понял ее уловку.

— Погоди, мать. Пускай сначала ответит.

Никита еще ниже пригнул голову, так что чуб совсем прикрыл глаза, и упрямо сказал, что в шахту не пойдет. Не мог он объяснить отцу, что Павел посулил ему и Лельке не только работу, но и жилье при будущей станции; что после сообщения о принятии проекта Никита на радостях написал Лельке, чтобы готовилась к переезду, а теперь обмирал от страха, что все сорвется... Но разве такое расскажешь отцу! А Кузьма Иванович решил, что сын брезгует шахтерским трудом, и жестоко оскорбился. Слово за слово — раскричались оба. Как бы ни грешил Никита, он всегда боялся отца, а тут в запале накричал дерзостей да еще заявил, что, если отцу куска хлеба жалко, он поступит в грузчики на товарную, там и заработок больше.

— Во-во! — закричал Кузьма Иванович. — С Мотькой в компанию! Соскучился!

Мотька был дружок Никиты, гуляка и пьяница, — отовсюду выгнанный, он пристроился в артель грузчиков.

— Иваныч! — с мольбой прошептала Кузьминишна. — Может, правда, еще немного подождать...

— Улестил мать? — заорал Кузьма Иванович на сына, чтоб не кричать на жену.— Расплакался? Второй месяц жду — довольно! Для иждивенца великоват, имя мое позорить не дам!

В самый разгар спора, когда раздражение дошло до крайнего накала, на пороге появилась девчонка с телеграммой.

Кузьминишна приняла свернутый листок дрожащими руками — телеграммы казались ей вестниками

беды. Разорвав наклейку, она долго не могла понять, что там отстукано на узких бумажных ленточках.

— Едет кто-то... Не разберу...

Кузьма Иванович взял телеграмму, прищурился и подальше отвел руку, чтоб прочитать мелкий текст, — и вдруг, фыркнув, кинул телеграмму Никите.

— На, встречай невесту! И то сказать, почему не жениться? Человек самостоятельный, самая пора семью заводить!

Еще только рассветало. Дымная мгла клубилась над рельсами, блестящими после дождя. Платформа была пуста. Шум поезда возник издалека и приближался медленно, как бы нехотя. Никита без всякой радости вглядывался в далекие огни, пробивающие мглу. Он так и не решил за ночь, куда вести Лельку, знал только, что домой — нельзя.

Его обдало бодрящим жаром паровоза. Окна вагонов мелькали одно за другим — сонные окна, ни одного лица за тусклыми стеклами. Скрежетнули тормоза, поезд остановился — и прямо перед собою, будто она знала, где именно он будет ждать ее, Никита увидел Лельку на нижней ступеньке вагона — зардевшееся лицо под развевающимися на ветру волосами. Радость ударила в сердце, как в бубен, и сердце отозвалось торжественным полным звуком.

Он принял ее в протянутые руки, прижал к себе и почувствовал порыв ее тела, свежесть обветренных щек, нежное тепло ее губ. Растрепанная, с пятнышками паровозной копоти на лице — какой она оказалась близкой, чудесной! И безрассудство неожиданного приезда было такое ее, Лелькино безрассудство...

Взять бы ее за руку, повести домой, пока ни одно сомнение не замутило ее торжественного счастья, показать ее, вот такую, неприбранную, дорожную, отцу и матери, сказать бы с гордостью — вот она, жена моя, что хотите делайте, не расстанусь! А Никита стоял, прижимая ее к себе, целуя щекочущие ресничками веки и похолоделые виски, и не знал, на что решиться.

Поезд ушел, и перед ними раскрылась широта подъездных путей, а возле платформы, совсем близко — чумазый смазчик, глядевший изумленно и весело.

— Здравствуйте! — сказала ему Лелька и засмея-

лась так блажеиио, что смазчик тоже засмеялся и покачал головой.

Оии вошли в вокзал и, не сговариваясь, сели на гляицевитую скамью.

— Подождем немного, — сказала Лелька. — Подождем.

Оиа ие спала иочь, оиа предчувствовала все, что ее может ждать, и ие хотела думать ни о чем, и устала имеино от иапряжеииости всех чувств.

Наискосок от иих заспаиная буфетчица расставляла на прилавке тарелки с вииегретами и колбасами.

— А я голодная, — сказала Лелька.

Уже за столиком, когда буфетчица подала им винегрет, бутерброды и чай, Никита сообразил, что денег у него не хватит: отец совсем не давал ему денег. Чувство унижения согнуло его веселую голову. А Лелька с аппетитом ела, поблескивая крепкими зубами; он увидел милую щербиику между передиими зубами и улыбку, которая продолжала гулять по ее лицу, даже когда оиа ела, когда оиа отхлебывала чай, прижав пальцем ложечку.

— Жених-то бедеи, — сказал Никита. — Не того жеииха выбрала.

— Зато я полиый расчет получила, я богатая,— отмахнулась Лелька.

Еще не поздио было, расплатившись с помощью Лельки, повести ее к себе домой — такую, как есть, растрепаиную, в пятнышках копоти. Убеждеииость счастья так победно озаряла ее куриосое загорелое лицо.

Но Лелька уже заметила растеряииость своего сужеиого. Ее глаза расширились и потемиели.

— Так куда ж ты меия девать собираешься, жеиих?

Никита молчал, свесив голову.

— Звал, звал, а сунуть и некуда? — с иедобрым смехом спросила Лелька, ио тотчас шутливо дериула его за чуб и с торжеством достала из кармана клочок бумаги. — Вот, Аииа Федоровна адресок дала, там и примут и устроят.

— Я думал, поедем к иам, — неувереиио сказал Никита.

— К ва-ам? — протяиула Лелька. — А иу давай выкладывай, что там у вас.

В эту мииуту оиа еще верила, что преодолеет все.

— Да знаешь, как старики рассуждают.

— Где мие зиать? Я все с молодымн!

Оиа поддразинвала, стараясь расшевелить его и чувствуя, что от уиылого выраження его лица по капелькам утекает ее счастливое настроение.

— Что ж, пойдем по адресочку. Проводнть-то не бонться?

— Глупостн говоришь! — огрызиулся Никита.

Ои пережил острое уннжеиие, когда Лелька расплачивалась за обоих. И еще раз, когда она оставила его на улице н вошла «по адресочку» одна, заносчиво вскииув голову, а ои топтался иа улице, как чужой.

Лелька скоро выбежала, поманила Никиту в сенн, обняла н поцеловала. В полумраке сеней ее глаза победио сверкали.

— Я сейчас в баиьку пойду да в магазииы сбегаю, куплю кое-чего, а ты заходн за миой в двенадцать. И пойдем. Все хорошо будет, Никитка, ие трусь!

Ои ушел приободреиный. Он не видел, как меркли ее глаза, провожая его.

— Что ж девицу свою не привел? — спросил отец за завтраком. — Я и побрился для такого случая, н галстук повязал.

Да, ои был побрнт и в галстуке, но смотрел иедобро, с ехидством.

— Я ее пригласил к нам сегодня днем, — независимо сказал Никита.

— Прнгласил? Ну-иу.

И отец уткиулся в газету.

В двеиадцать часов Никита зашел за Лелькой — и ие узнал ее. Растревоженная несбывшимися мечтамн н нарастающим страхом, Лелька употребнла часы ожндания иа то, чтобы походнть на настоящую невесту. Она купила в уиивермаге зеленую фетровую шляпку — первую в своей жизни. Шляпка закрывала ее чнстый лоб и стискнвала ее вольно разлетавшиеся волосы. В парикмахерской ей подбрили н подкрасилн выгоревшне бровки. Она купнла себе узкую короткую юбку иа пуговицах и дамскую сумочку с блестящим затвором... Такой она н вышла — сама не своя, заносчивая и иесчастная.

— Ну как оин? — спросила она в трамвае.

Подбодрить бы ее Никите, сказать бы, что все обойдется. Но он не сумел. С игривой, искусственной развязностью ввел ее в родной дом и познакомил с родителями. Отец держался угрюмо, мать суетилась и ничем не помогла ни сыну, ни Лельке, но потихоньку разглядывала гостью, и этот взгляд исподтишка оскорблял Лельку. Она скинула пальто, но осталась в шляпке и тискала на коленях сумочку.

— Я ведь не надолго, — сказала она, сложив губы бантиком.

— Вот как, — сказал Кузьма Иванович. — Слышал я, вы в экспедиции работали. Так вы теперь в отпуске или расчет взяли? И как жить думаете — у нас в городе или в другую экспедицию устраиваться?

Лельке хотелось крикнуть, что устраиваться ей не нужно, так как она приехала к мужу, а в любую экспедицию ее возьмут охотно, только скажи, она нигде не пропадет. Так было бы лучше всего, из-под нелепой шляпки проглянула бы настоящая Лелька. Но Лелька смирила гордыню. Скромно, губы бантиком, ответила, что хочет пожить в городе, «в культурном центре», потому что в палатках да в переездах девушке трудно. При этом она с ненавистью взглянула на притихшего Никиту.

Отец пошевелил бровями и спросил, как здоровье Матвея Денисовича и Анны Федоровны. Лелька церемонно ответила — ничего, здоровы и кланяются. Наступило молчание.

— Сняли бы шляпу, что сидеть, как в гостях, — страдая за сына, сказала Кузьминишна. — Пообедаете с нами.

Лелька вся потянулась к ней, в лице промелькнула настоящая, отзывчивая на добро Лелька, — но тут сердито кашлянул Кузьма Иванович, и настоящая Лелька исчезла под шляпкой.

— Благодарю вас, зачем же мне вас затруднять, — сказали губы бантиком.

— У вас тут, наверно, знакомые или родственники? — спросил Кузьма Иванович, тем самым зачеркивая приглашение к обеду.

Лелька вспыхнула. Значит, Никита и не заикнулся, что к нему она приехала? Шляпка давила ей голову, как жаркий обруч. Край шляпки нелепо налезал на

глаза. Оиа судорожно вздохиула н увндела, что ее парадиая юбчонка задралась и приоткрыла колеики, и Кузьма Иваиович неодобрительно поглядывает иа эти колеики. Юбка была узкая, нужно было приподняться, чтобы иатянуть ее пониже, но Лелька ие могла приподияться, сидела как скованиая.

— Есть одни знакомые, — с трудом выговорила оиа. — Хорошне люди. Хозяйка берется кормить меня. А работу по специальности я иайду.

Бросаясь иа выручку, Кузьмииишиа спросила о специальности коллектора — хороша ли она.

— Дело нехитрое, — заметил Кузьма Иванович. — Наверио, в одии месяц обучиться можно?

Он опять принизил ее — только успела Лелька прнободриться, рассказывая о своей работе.

Никнту иакоиец-то прорвало.

— Леля была лучшнм коллектором экспедицин, — резко сказал ои. — Ее в каждый отряд звали, спорили из-за иее.

Кузьма Иванович словно припечатал его иасмешливым взглядом — н Никита опять надолго замолчал.

— Тогда зря ушли, — сказал Кузьма Иваиовнч. — Не должеи отрываться человек от своей профессии. А культурные центры... что ж, у иас миого молодежи н в культурном центре жнвет, а кроме хн-хи да ха-ха, гуляиок да выпнвок, ничего ие знают.

— Учиться хочется, — пролепетала Лелька.

— Это правильио, — сухо одобрнл Кузьма Иваиович. — Коиечио, раньше ие приходилось рабочему учиться, а сейчас только шалопуты иеучами остаются. Хорошее дело задумали.

Как будто ничего худого ие сказал, одобрил даже, а за его словамн проступал другой смысл, н Лелька поняла — не люди оии еще, рано нм свою жизнь решать, пусть поучатся — шалопуты.

— Ну простите, что побеспокоила, — произиесла Лелька и подиялась. — Мие пора домой.

Кузьма Иваиович тоже подиялся и, не задерживая ее, протяиул руку. Никита побагровел. Кузьмииишна растеряиио бормотала, стоя между мужем и девушкой:

— Что же вы так скоро? И не познакомились толком...

Даже сквозь загар вндно было, как побледиела

Лелька. В неистовом порыве сорвала с головы давящий обруч шляпки, ринулась в прихожую, накинула на плечи пальто, не желая тратить время на то, чтобы всунуть руки в рукава.

— Да что же вы?.. Куда вы?.. — бормотала Кузьминишна.

— На улице росла, на базарах песенки пела, а милости и тогда не просила, и теперь не прошу.

Так сказала Лелька — отчетливо, с открытой ненавистью.

Прежде чем старики успели опомниться, она выскочила из дому и побежала к калитке. Никита бросился за нею.

Застыв в дверях, старики видели, как Никита догнал ее у калитки и пытался удержать, а Лелька размахнулась и зажатой в руке шляпкой — раз! два! три! четыре! — отхлестала его по щекам. И ушла.

Никита постоял-постоял — и поплелся за нею, как был, без пальто, без кепки.

Поздно ночью Кузьминишна услыхала в саду возню и пьяные голоса. Накинув халат, выскочила на крыльцо.

— Никитка, ты?

— Принимайте своего Никитку! — крикнул из темноты хмельной девичий голос. — Бережете для себя, так вот он, тут, в лужу свалился. Берите!

Затем тот же голос с тоской попросил:

— Пошли, Мотька, пошли, ребята, ну его!..

А немного спустя, когда Кузьминишна пыталась поднять бессмысленно мычащего сына, где-то уже поодаль от дома звонкий отчаянный голос что есть силы запел частушку, подхваченную мужскими заплетающимися голосами:

Мне жених по форме нужен,
Зря меня не обнимай!
Нынче девушка без мужа
Что без номера трамвай!

10

Игорь отправил в Углич путаную, призывающую телеграмму — и только тогда сообразил, что не стоило добавлять матери волнений, и без того ей тяжко — тетя Надя при смерти. Однако что же делать, когда сам

Игорь бессилен повлиять на отца! Вот уже неделю отец в Москве, в Управлении у него неприятности, а он уткнулся в карты и справочники, созванивается с какими-то географами, разыскивает геологов и водников, работавших в Сибири и Средней Азии, и сидит с ними допоздна. Подходя к двери кабинета, Игорь слышит возбужденный голос отца:

— ...Можно предвидеть, что в двухтысячном году у нас будет не меньше четырехсот пятидесяти — пятисот миллионов населения! И всех надо накормить, одеть, обуть. Значит, проблема освоения пустынь неизбежно встанет в ближайшие десятилетия!..

— ...А вы знаете, что Петр Первый посылал офицера изучить, нельзя ли повернуть Аму-Дарью в Каспий по ее древнему руслу — Узбою? Он искал торговых путей, но весьма знаменательно, что уже тогда...

— ...Арало-Каспийская низменность должна быть преобразована в корне!.. В корне!..

Игорю хотелось распахнуть дверь и закричать: фантазер! Опомнись! Тебя же вот-вот с работы выгонят!

Похоже, на коллегии отцу устроили «раздрай». Он как-то ребячливо обижался на всех, кто его критиковал, и все свои беды валил на топографа Сорокина — того самого, что делал фальшивые записи в журнале работ; отец тогда правильно выгнал его из экспедиции, но ведь нужно было составить акт и послать в отдел кадров неопровержимые документы! Приехав в Москву, Сорокин быстро учуял, что это не сделано, и начал «капать». Да, наговоры Сорокина усложнили положение отца, но будь у него все в порядке — отбился бы! А в день доклада выяснилось, что он опоздал подать заявку на горючее.

Создана комиссия для разбора предъявленных отцу обвинений. Казалось бы, дерись, доказывай! А отец по-прежнему блажит со своими реками и еще, в довершение всего, тратит время на Галинку Русаковскую, которая повадилась в дом. С этой скуластой дурехой отец тоже говорит о повороте рек. Сидят, рассуждают, рисуют карты... Что он, в детство впадает?!

Игорь пробовал закрыть глаза и уши, уйти в ра-

боту над дипломом, но сосредоточиться не удавалось: он злился на отца и волновался за него.

— Папа, что же будет с заявкой?

— Подумаешь, проблема! Протолкну, без горючего не оставят.

— Почему же ты не идешь проталкивать? Знаешь, папа, ты пассивен там, где нужна энергия, и слишком активен в том, что никакого отношения к делу не имеет!

Резкостью Игорь хотел вернуть отца «на землю». Но Матвей Денисович добродушно потрепал его по плечу:

— А ты уже все превзошел и без ошибки понимаешь, где — дело, а где — не дело?

Через полчаса, дозвонившись до кого-то, он заглянул к Игорю и весело спросил, есть ли в доме какой-нибудь харч и выпивка, так как придут два географа, один из них — замечательный умница и большой выпивоха.

— По-моему, все съели и выпили вчерашние водники.

— Может, сбегаешь купить?

— Сбегаю, если ты с утра пойдешь по поводу заявки.

Отец поднял руку и со смехом сказал: клянусь! Можно было подумать, что это не у него неприятности.

Утром, когда отец отправился-таки проталкивать заявку, пришла телеграмма из Углича: «Среду похороны вечером выеду».

Игорь испытал минутный ужас — тетя Надя умерла. Перед глазами возникла оживленная, деятельная тетя Надя, какою она была в свой последний приезд,— педантично аккуратная высокая женщина в очках, отнюдь не старая, хотя ей перевалило за пятьдесят. Бегала, как девчонка, по Москве и проявляла юношеский интерес ко всему решительно — к художественным выставкам, к освоению Арктики, к стахановским методам каменщиков, к новым спектаклям, к парашютизму... Тети Нади больше нет?! Жила себе, лечила других, ничем как будто не болела, и вдруг...

Затем он подумал об отце — как сказать ему? Игорь смутно догадывался, что у отца к тете Наде какое-то особое отношение, что-то у них в молодости

произошло и что-то между сестрами осталось, у мамы всегда делалось виноватое лицо, когда заходила речь о Наде. Отец расстроится. А может, хоть это вернет его «на землю»?..

Игорь положил телеграмму на отцовский стол и начал генеральную уборку квартиры, опасаясь материнского нагоняя и радуясь, что послезавтра мама будет дома.

А отца все нет...

Уже кончились часы занятий, а отец как в воду канул.

В восьмом часу он наконец появился. Игорь слышал, как он напевал, снимая пальто. Игорь нарочно не вышел, но отец сам заглянул к нему — то ли выпивший, то ли необыкновенно довольный.

— Ну что, папа, протолкнул?

Отец как будто не сразу понял, о чем спрашивает Игорь. Потом беспечно ответил:

— Разумеется!

И обнял сына за плечи.

— Как диплом, Игорек? Кончаешь?

Нужно было сказать о смерти тети Нади, но Игорь медлил огорчать отца в этом непонятно счастливом состоянии.

— Ты что так поздно, папа?

— Я обедал с Юрасовым.

— С Юрасовым?!

Один из столпов гидротехники, Юрасов казался Игорю почти легендарной личностью. Еще бы! Строил Волховстрой и Днепрострой, так или иначе участвовал во всех крупнейших начинаниях в области электрификации страны. К тому же — руководитель проекта новой гидростанции на реке Светлой, куда Игорь мечтал попасть после защиты диплома. Если бы отец замолвил словечко...

Игорь еще не решился заговорить об этом, когда отец улыбнулся своим счастливым мыслям и ласково сказал:

— Кончай скорей, Игорек! Я попрошу, чтобы тебя направили в нашу экспедицию, тебе там все знакомо, а мне будет легче...

И тогда Игорь со злобой выкрикнул:

— Нет уж, спасибо! Ты будешь заниматься прожектами, а я — работай?!

Только на миг появилось в лице Матвея Денисовича растерянное, недоуменное выражение, затем он весь подобрался, с горечью сказал:

— Впрочем, зачем ты мне такой... щенок!

И вышел, особенно грузно ступая.

Игорь слышал, как отец захлопнул свою дверь и повернул ключ в замке. Тихо стало в квартире.

Матвей Денисович с утра нахлебался горечи, проталкивая опоздавшую заявку. Никто ему не отказывал,— план буровых работ без горючего не выполнишь! — но каждый считал своим долгом попрекнуть рассеянного начальника экспедиции, а руководитель отдела изысканий ядовито спросил, о чем он вообще думает. Матвей Денисович не удержался, попробовал рассказать — о чем, но тот пренебрежительно оборвал:

— Лучше занимайтесь тем, что вам поручено!

В другое время Матвей Денисович заспорил бы, но сейчас чувствовал свою вину и, удрученный, побрел по длинному учрежденческому коридору, медля идти в следующую инстанцию, где его ждали новые попреки.

Навстречу шел Юрасов, как всегда, раздражающе изящный и моложавый — никто не дал бы ему пятидесяти лет, если б его юбилей не отмечался недавно во всех газетах. Новенький орден Ленина мерцал на его синем с искрой пиджаке.

— Рад видеть вас, Матвей Денисович! — останавливаясь, сказал Юрасов.— Я думал, вы где-нибудь в Каракумах.

Вряд ли он вообще думал об этом, просто хорошо воспитан и не забыл их общую студенческую юность.

— Как здоровье супруги? — продолжал осведомляться Юрасов.— Имеет ли известия от Надежды Григорьевны?

Сквозь вежливое безразличие впервые проступила заинтересованность — Надя, видимо, навсегда осталась для него Надей; «белокрылая птица с лицом подвижницы» — так он когда-то назвал ее, прикрывая восхищение скептической усмешкой.

— Умирает Надя,— опустив голову, сказал Матвей Денисович.

Юрасов мучительно сморщился и несколько минут молчал.

— Надя — Надежда,— пробормотал он.— Надя — и смерть... невероятно! — Он покрутил шеей, будто накрахмаленный воротничок стал тесен. — Пойдем куда-нибудь, Матвей, посидим, поговорим...

Узнав, что Матвею Денисовичу нужно сперва протолкнуть заявку, Юрасов без доклада вошел в кабинет самого ответственного лица и в одну минуту, пошучивая, получил заветную подпись, затем усадил Матвея Денисовича в машину и привез в ресторан.

Не успели они войти в зал, как почтенный метрдотель с уложенными на щеках фигурными усами подбежал к столику у края фонтана, отодвинул для Юрасова стул и почтительно-дружелюбно спросил:

— Чем вас накормить сегодня, Аркадий Георгиевич? Есть недурная форель.

Предоставив Юрасову заказывать, Матвей Денисович поглядывал на него с двойственным чувством уважения и отчужденности.

В юности он тянулся к этому человеку — и не любил его. Сын крупного путейца, Аркадий Юрасов занимал в роскошной квартире отца три комнаты, в одной из которых Надя прятала нелегальную литературу, а некоторое время и гектограф. Аркадий ни во что не верил и, просматривая листовки, холодно отмечал недостатки стиля, но потом помогал Наде развозить их — мчась на лихаче, они разыгрывали веселящуюся парочку. Однажды Матвей Денисович с раздражением спросил, ради чего он рискует собой; Юрасов ответил: «По математическому и психологическому расчету, охранка доберется сюда не скоро, а кроме того, рисковать интересно».

Они были разными во всем и постоянно спорили, но возражения и насмешки Аркадия помогали Матвею утвердиться в своих взглядах. С малых лет работая и своим горбом пробиваясь к образованию, Матвей Митрофанов бессистемно хватал знания, на ходу восполняя зияющие пробелы; жадно читал он философов и экономистов, романистов и историков, ученых и публицистов, стараясь понять, почему

так плохо устроен мир, и найти ответ — как жить. Тысячи умов — каждый по-своему — пытались понять и объяснить мир. Матвей увлекался то одной теорией, то другой, пока не прикоснулся к научному материализму. Философы лишь объясняли мир, дело заключается в том, чтобы изменить его,— эти слова Маркса были для него откровением, и он ринулся в борьбу, чтобы изменить и преобразовать мир.

Юрасов скептически усмехался: «Изменить мир? Глупости! Вас сгноят на каторге, а что будет после, вы все равно не увидите». Он признавал только постепенные изменения в результате прогресса науки и техники. Он был широко образован, а если чего и не знал, то потому, что данная проблема его не занимала; но общее представление у него было обо всем — культура, воспринимаемая с детства и без особых усилий. Будь Юрасов обычным барчуком-белоподкладочником, было бы приятно презирать его. Но Юрасов был умен и талантлив, это приходилось признать. На старшем курсе он из любопытства разработал проект — целую систему каналов, соединяющую Белое море с Балтийским, Каспийским и Азовским. Студенты были в восторге, а Юрасов небрежно закинул проект на шкаф и усмехнулся: «В нищей стране с лучинами и деревянной сохой?!» Получив диплом, он уехал за границу совершенствоваться, а потом читал в институте курс гидротехники.

Революция надолго оторвала Матвея Денисовича от его профессии. Подполье, красногвардейский отряд, комбеды, фронты... С Юрасовым он столкнулся в Петрограде уже в двадцатом году — похудевший, в потертом пальто, тот насмешливо отрекомендовался:

— Безработный инженер. Впрочем, разыскал в Публичной библиотеке старинные рецепты и делаю свечи для товарообмена, так что по-вашему — кустарь-одиночка, мелкая буржуазия.

Года два спустя, приехав в командировку на Волховстрой, Матвей Денисович встретил там Юрасова — уже в роли одного из руководящих инженеров. Юрасов, кажется, не очень верил в реальность ленинского плана ГОЭЛРО, хотя, как выяснилось, работал в одной из комиссий по разработке этого плана.

— Полюбуйтесь, преобразователь мира! — сказал он тогда.— Проектирую кабель-кран... в дереве! Металла нет, действуем топором и лопатой. Но вы бы видели, какие тут есть умельцы-плотники!

Постепенно Юрасов стал одним из виднейших гидротехников страны. Матвей Денисович не раз производил изыскания для проектов Юрасова, они встречались на обсуждениях, иногда спорили, иногда соглашались друг с другом. Но всегда в глубине души оставалось у Матвея Денисовича сомнение: что он такое, этот знаменитый теперь Юрасов? Талантливый деляга? Умный, холодный специалист, признающий только блеск дерзкого технического решения?..

И вот он сидит напротив Матвея Денисовича за ресторанным столиком и, забыв о собеседнике, смотрит на сверкание несильных струй фонтана. Молчит и покусывает нижнюю губу.

— Я дважды делал предложение Надежде Григорьевне,— вдруг сказал он и посмотрел на Матвея Денисовича — знает ли он об этом.

Матвей Денисович удивленно приподнял брови.

— Самой поразительной ее особенностью было полное соответствие всех ее поступков — идеалам,— тихо сказал Юрасов.— Редкая цельность натуры. Но беречь себя она не умела. Вот и теперь, наверно, не сумела. Есть около нее близкие люди?

Должно быть, он хотел узнать, есть ли у нее муж. Матвею Денисовичу было трудно говорить об этом, он односложно ответил, что возле нее — сестра.

Юрасов снова покрутил шеей, как бы высвобождая ее из воротничка, и круто переменил разговор. Принесли рыбу и вино. Юрасов оживился, он с интересом слушал Матвея Денисовича, возбужденно и сердито излагавшего свои замыслы. Матвей Денисович сам не заметил, как заговорил о них. Чего ради? По давней привычке в споре с Юрасовым укрепляться на своем? Из желания убедиться, что этот человек и теперь не способен загореться мечтой?

— Эко вы замахнулись,— сказал Юрасов,— и не забыли юношеских мечтаний. Помните... Чернышевского?

Это было на первом курсе, вскоре после того, как в их жизни появилась медичка Надя. «Что делать?»

было ее евангелием, Вера Павловна — идеалом. Она мечтала о служении народу, о врачебном подвижничестве где-нибудь в глуши, об идеальной любви гармонических людей. Матвея Митрофанова пленило у Чернышевского другое — в страшных потемках тогдашней России этот великий бунтарь верил, что труд станет потребностью души, что освобожденные люди превратят бесплодные пустыни в цветущие сады, по-своему направят течение рек, научатся изменять климат. Увлеченный, Матвей выдвигал гигантские проекты преобразований, дойдя до озеленения Сахары. Юрасов слушал, слушал и сказал: «Терпеть не могу беспочвенной болтовни!»

Матвей Денисович и теперь на миг запнулся, будто снова услышал этот леденящий упрек. Но нет! Мечта не была беспочвенной. Ее подготовила вся его жизнь — и те подпольные листовки, и бешеная борьба с контрреволюцией, и скитания по песчаным барханам Средней Азии, где он занимался проблемами орошения. Он видел, как поднимались к новой жизни нищие кочевники, и хотел дать им воду, изобилие, грамоту, возможность настоящего развития... Позднее, скитаясь по стране с изыскательскими партиями, он прикоснулся к другим проблемам пустынь. Огромные сокровища лежали нетронутыми в недрах неосвоенной земли. Уголь, нефть, железная руда, редкие металлы, сера, медь, цинк... почти всю таблицу Менделеева можно там найти, и каждый элемент — в запасах промышленного значения. Но как подобраться к ним в этом безводном краю? Нет, решение должно быть кардинальным — надо менять климат, географию, экономику, быт... Комплекс проблем и комплекс крупнейших работ!

Юрасов высмеет его замыслы? Что ж, не в первый раз. Он не боялся юрасовского скептицизма. Он чувствовал за собою проверенную жизнью правду своих убеждений, смелость партии, сумевшей развернуть огромные силы народные для созидательных подвигов пятилеток. А что такое пятилетки, как не коренное и стремительное преобразование страны! Ведь и Юрасов всем своим талантом участвует в этом, крупно участвует. Он не воспринимает поэзию преобразования мира? Но он служит ей!

— Вы верите только цифрам и расчетам? Пожалуйста! Сейчас идет борьба за хлопок, мы все еще покупаем его на золото. Средняя Азия и Азербайджан могли бы завалить страну хлопком. Но где взять воду?.. Я подсчитал: три реки — Аму-Дарья, Сыр-Дарья и Кура — могут оросить примерно десять — пятнадцать миллионов га плантаций, а земель, жаждущих орошения, не меньше двухсот — двухсот пятидесяти миллионов! Меня прямо жгут эти цифры! А в это время три полноводных сибирских реки — Енисей, Лена и Обь — сбрасывают в Ледовитый океан тысячу четыреста тридцать миллиардов кубометров воды! Бесценная для юга влага уплывает через районы вечной мерзлоты, через тайгу и тундру. А между тем...

Он отодвинул тарелки и рюмки, выложил на стол блокнот и уже привычно набросал карту.

— Вот, смотрите! Длинная гряда гор и возвышенностей тянется через всю страну, как бы отрезая север от юга. И только в одном месте — в Тургае — гряда разрывается. Исследуя ложбину Тургайских ворот, геологи и топографы нашли бесспорные следы когда-то протекавшего там могучего потока. Поток промыл гигантской ширины русло, почвы хранят речные отложения. Сколько тысячелетий назад это было? Какие геологические сдвиги повернули реку на север? Как бы ни было, мы вправе прокорректировать природу, исправить ее ошибку и дать новую жизнь громадному краю! Рудники и заводы на Тургайском плато, хлопковые плантации и фруктовые сады, виноградники и бахчи на месте нынешних песков,— вы понимаете, какое это благо!

Юрасов отпил вина из бокала и задумчиво сказал:

— Все это верно. Но вы слишком узко берете проблему. Надо ставить ее шире и перспективней.

Матвей Денисович выронил карандаш. Такой упрек он слышал впервые.

— Вы как бы отмахиваетесь от Сибири — вечная мерзлота, низкие температуры, тайга! А между тем мы еще только открываем ее богатства, и движение индустриализации будет неизбежно идти на восток — по Сибири и до Приморья. Хабаровский нефтеперегонный завод, Сахалинские промыслы, Комсомольск,

Колыма — это форпосты предстоящего наступления. Так что проблему надо решать крупным планом с учетом развития и севера, и юга, и Дальнего Востока.

Матвей Денисович немного растерялся от неожиданного поворота беседы.

— Я думал главным образом о проблеме водоснабжения Средней Азии. Хотя, разумеется...

— Надо брать главное! — воскликнул Юрасов, и в его лице проступила как будто совсем не свойственная ему увлеченность.— Главное — энергетика! Рост производства электроэнергии должен опережать рост промышленности. А мы в этой области — нищие. Перед революцией Россия производила меньше двух миллиардов киловатт-часов в год и занимала пятнадцатое место в мире. В тысяча девятьсот двадцатом году...— Юрасов усмехнулся и прямо поглядел в глаза собеседника,— в тот год, когда вы меня встретили кустарем-одиночкой, производящим свечи по рецептам семнадцатого века... Да, выработка электроэнергии была тогда в четыре раза меньше довоенной, и в тот же год Ленин создал ГОЭЛРО.

Казалось бы, гидротехник гидротехнику мог не рассказывать об этом. Но, видимо, Юрасову было дорого такое сопоставление. Его загоревшийся взгляд спрашивал: ты — понимаешь? Впрочем, он тут же продолжил суховатым голосом специалиста:

— Как вы знаете, план ГОЭЛРО многим казался нереальным — в том числе и мне. Он выполнен лет семь назад, к девятьсот тридцать первому году. В данное время наметки плана ГОЭЛРО перевыполнены более чем в три раза. Но что такое сорок миллиардов киловатт-часов для нашей страны? По сравнению с довоенными двумя миллиардами — гигантский скачок, по сравнению с потребностями городов, промышленности и сельского хозяйства — голодная норма. Как ближайшую задачу мы должны осуществить производство примерно двухсот миллиардов киловатт-часов в год.

— Двухсот миллиардов?!

— Конечно, как минимум. Это будет уже совсем не плохо. Но действительная электрификация страны — это не двести и не триста, а примерно пятьсот — шестьсот миллиардов.

Теперь Матвей Денисович почтительно вглядывался в лицо мечтателя, перед которым сам себе показался приземленным практиком. И это — Юрасов? Что же я проглядел в нем? Чего не понимал?..

— Мы недавно подсчитали,— продолжал Юрасов.— Наши гидроресурсы в четыре раза превышают ресурсы США и в семь раз — Канады. Наши реки могут давать нам тысячу семьсот миллиардов киловатт-часов в год! Так что... лицом к энергетике, Матвей Денисович! Продумайте в вашем проекте целесообразное и широкое использование рек — сеть гидростанций — может быть, каскад, если позволят условия. От Тургая канал пойдет самотечный? Под уклон?

Некоторое время они увлеченно обсуждали подробности замысла. И замысел, многим людям казавшийся чепухой, обрел прочное место в еще более широкой перспективе развития страны. Схемы использования рек, для которых Матвей Денисович не раз проводил изыскания, оживали и занимали очередь в строю всенародных работ — сперва, вероятно, Волга, потом Ангара и Енисей, еще позднее — дальневосточные реки, и где-то в той же дали — поворот водного потока через Тургай — на юг, на юг... Сколько лет пройдет до осуществления мечты? Какая очередность будет признана самой разумной? Какие трудности и испытания встанут на пути людей, преобразующих свою землю?.. И кто из них двух доживет?..

Юрасов взглянул на часы и заторопился. Он снова стал суховатым и отменно вежливым, но теперь это уже не раздражало. Скудным и ограниченным представилось Матвею Денисовичу его многолетнее суждение об этом старом знакомце. Верил в преобразование мира, а не поверил изменению одного, притом умного и талантливого человека! Да как же он мог остаться прежним? Ему же в юности и не снился такой размах работ, такой простор для проявления энергии! Мы уже привыкли к этому размаху и часто недооцениваем силу воздействия наших идей и наших дел. Мы требуем бдительности к врагам. Но должна быть и бдительность к добру. К таким вот изменениям душ...

— Извините, вынужден поспешить,— поднимаясь, сказал Юрасов.— Ради дальних перспектив не стоит

опаздывать на сегодияшнюю премьеру. Меня ждет жена.

Уже иа улице, прощаясь, он сообщил как бы вскользь:

— Я сейчас ношусь с идеей перспективного планирования электрификации — а значит, и главиых иаправлений всего прочего,— скажем, иа полвека. Наверху эта возможность обсуждается. Вероятио, встанет вопрос о перспективном плане — для начала лет иа пятнадцать—двадцать. Я добиваюсь создаиия специальиой проектио-исследовательской группы — так сказать, дальиего загляда... Буду рад, если вы согласитесь войти в иее.

Проводив взглядом удаляющуюся, до чопориости прямую фигуру, Матвей Деиисович зашагал домой — и как же легок был его шаг!

На вокзал они приехали врозь.

Игорь ходил взад-вперед крупными шагами, засуиув руки в карманы пальто. Ссора тяготила его, но он не зиал, как подойти к отцу, потому что ие понимал его. Сперва ои надеялся, что обида забудется, оттесиенная горестиой вестью. Но отец иичего не забыл, от Игоря иепримиримо отворачивался. Горевал ли он о Наде? Не поймешь! Просидел вечер взаперти, а с утра опять иазванивал своим замечательным людям. Теперь к иим прибавились еще гидростроители и почему-то — специалисты по вечиой мерзлоте. Вчера из-за двери Игорь слышал, как отец с увлечеиием говорил:

— Тепло юга впитает влагу и благодатными дождями и ветрами верием ее северу. Вечной мерзлоте придется отступить!

А сейчас отец стоит, ссутулившись, горько сжав губы,— старик... Захотелось подбежать, прижаться к родиому плечу, прошептать: «Прости...» Но отец заметил его наблюдающий взгляд и резко отвериулся.

Игорь продолжал вышагивать вдоль перроиа, ожесточая себя мыслями о том, что, стоит проявить слабость, отец в самом деле заберет его к себе, а тогда — прощай самостоятельиость!

Матвей Денисович тоже украдкой посматривал иа сына, стараясь ие встречаться с ним взглядом. Но

думал он не о давешней ссоре н не об оскорбительном выкрнке сына: «Нет уж, спаснбо!» Еще ночью, томясь бессонницей, он понял н даже как-то оправдал эту резкость: у парня н впрямь было в экспеднцнн ложное положенне. Но в эту ночь мыслн о сыне сплелнсь с горькнмн мыслямн о смертн Надн н с обостренным ощущеннем ограннченностн человеческой жнзнн. И во всех этнх раздумьях присутствовал Юрасов, его советы и определившаяся возможность всерьез заняться проблемой рек.

Он почти не горевал о смертн реальной, вчерашней Надн — за время ее нензлечнмой болезнн он успел прнмирнться с нензбежным. Но в памятн ожнла та, давняя Надя — Надежда, светлый огонь его нелегкой юностн, девушка, которую он, сам того не ведая, обнде́л. Он был так уверен, что недостонн ее, так боялся оскорбнть ее целомудренную строгость! Много позднее он понял, что Надя, пуглнво замыкаясь, ждала, когда же он все-такн заговорнт с нею как с обыкновенной девушкой. Вспомннлось ее окаменелое лнцо на свадьбе сестры н то, как она вдруг ушла н у дверн сказала ему: «А мне, вндно, суждена одна-еднная дорога». Так она н прошла дорогой чистой н прямой, как стрела.

Сколько сотен благодарных людей шагали за гробом «нашей докторшн»! Сколько молодых врачей научнлось у нее нскусству врачевать н нскусству истинной человечности! Такой огонь негаснм, он переходнт от сердца к сердцу.

Жнзнь может быть очень большой — н все же она до жутн ограннчена. И отрада тут одна — то, что ты сделал, н то, что ты негаснмым передал другнм.

Что же я сделал? — думал он. Кому н что я передал? Всю жнзнь прошагал рядовым, ннчего особенного не сотворнл, но шел — впередн, и все, что вырастало за мною, в чем-то опнралось н на мой труд, на мон выводы н доводы. Исхоженные мною берега рек былн необжнтымн, землн — пустыннымн, жнзнь возннкала там после меня, но она возннкала! Сотнн людей рослн около меня, в чем-то я нм помог, наверно, н добрый огонек передал многнм... Но мечтал все самое лучшее вложнть в сына. Что же я все-такн недоглядел? Что — не сумел?.. Кажется мне — илн он действнтельно же-

стковат и рассудочеи? Моя ли увлечениость мие глаза застит или у него в самом деле ие хватает способиости увлечься, загореться — так, чтоб и повседневиые заботы побоку, и ночь ие спалось?..

Вот ои злится иа мою «иелепую» дружбу с Галиикой Русаковской, а для меня Галинка — открытие и загадка. Когда Игорь был мальчугаиом, я вечио пропадал в экспедициях. А тогда созревал вот этот, сегодняшиий человек. Что-то иавсегда закладывалось. Определялись граии характера. Я беспечио думал, что воспитал сыиа хорошим человеком только потому, что ои ие делал плохого, толково учился, стал комсомольцем. А в жизии сотии сложиостей, когда человек поворачивается или так, или эдак, и вдруг проявляются глубиниые свойства характера. И эти свойства исподволь складывались в ием... а я ие замечал?

Вот — Галинка. Посмотришь — детеиыш! Какие у иее могут быть переживаиия и раздумья? А в этой детской душе идет своя, очеиь важиая работа. И такая же шла в детской душе Игоря, а я не зароиил в иее тот самый огоиь?.. Радовался — хочет быть гидротехииком-изыскателем, мечтает пойти по моему пути, передам ему свой опыт. А ради чего?

«...Ты слишком энергичеи в том, что никакого отиошеиия к делу ие имеет!» Что же для иего — дело? Служба? Сегодияшиее? А все остальиое — бредии?..

Вот Галинка увлеклась моим замыслом. Когда рассказываешь — слушает с приоткрытым ртом, рожица ребячья, а глаза... ох какие глаза! Можио поручиться, что оии видят то же, что вижу я, и это видеиие ее завораживает. Что из иее выйдет потом — кто зиает! Но эти глаза уже иикогда ие смогут смотреть только себе под иоги...

Матвей Деиисович искоса оглядел сыиа — остаиовился поодаль, туча тучей. Ох, как было бы хорошо, если бы сыи с прежиеи доверчивостью сказал: «Расскажи, папа, как и что ты задумал». Уж Игорю ои объяснил бы все, все!.. Ему самому — ие дожить, а Игорь — доживет. Возможио, Игорю выпадет счастье иачииать эти гигаитские работы...

Недавио Матвей Деиисович рассказал Галиике о народиике Демчеико, который в коице прошлого

века написал книжку, где доказывал необходимость переброски рек Обь и Енисей на юг.

— Широко думал человек! Имел в виду, что поворот сибирских рек на юг повлияет на климат, смягчит суховеи. Рассчитать по-инженерному он не сумел, не знал, где какой уровень над морем. Если бы в точности выполнить его план, затопило бы всю Западную Сибирь с такими городами, как Омск, Томск и Новосибирск, и Среднюю Азию вплоть до Астрахани. Но расчет — дело инженеров. А мысль у него была верная.

Галинка молчала, задумавшись. И вдруг с трепетом:

— И я когда-нибудь умру?

Значит, рассказ о давно умершем мечтателе привел ее к открытию смертности всех живых, к страху перед ограниченностью жизни?..

— Ну, ты умрешь еще не скоро.

— А вы?

И покраснела, поняв, что вопрос бестактен. Но затем убежденно сказала:

— Я бы вас ни в какие экспедиции не посылала. Чтоб вы сидели и рассчитали, как все сделать. Чтоб ничего не затопило.

Галинка — подумала. Почему же Игорь... мой Игорь!..

Игорь вдруг решительно зашагал к отцу.

— Подходит.

Вдали возникли клубы дыма и приближающееся пыхтение паровоза.

— Плохо, что мы не знаем номер вагона.

— Будем стоять здесь.

Это было не примирение, а молчаливый сговор — не огорчать своей ссорой родного, измученного горем человека.

Теперь они стояли рядом, плечом к плечу. Игорь первым увидел мать и побежал рядом с вагоном.

Она легко соскочила с подножки, передала Игорю чемодан и быстро поцеловала его, взглядом отыскивая мужа. И, увидав, пошла к нему своей напористой походкой. Лицо ее было сейчас не горестным, а тем самым оживленным и приготовленным к радости, какое Матвей Денисович знал и любил с юности — с того

дня, когда к Наде приехала младшая сестра Зинаида и в течение одного часа весело, ничего не подозревая, энергичной рукой перечеркнула его идеальную любовь ради любви земной, нерассуждающей и счастливой.

— А что вы какие-то не такие? — спросила Зинаида Григорьевна после первых минут встречи и внимательно оглядела обоих.— Поссорились?

— Да нет, пустяки,— сказал Игорь.

— Ладно, разберемся,— произнесла Зинаида Григорьевна свое любимое слово и улыбнулась мужу.— Я ужасно боялась, что ты уедешь, не дождавшись меня.

О смерти Нади она не сказала ни слова. Матвей Денисович знал, что эти недели возле умирающей сестры достались ей тяжело, что горе будет долгим, но такова уж Зина — всегда обращена к жизни и ненавидит «распускать чувства». Дома он разглядел, что Зина похудела, появились новые морщинки. Но и сейчас она выглядела молодо, коротко подстриженные седые волосы не старили ее, а мило оттеняли ее круглое, розовое лицо и голубизну глаз.

Она сидела за столом, как гостья, она никогда не умела и не любила хозяйничать, но двое мужчин, ухаживая за нею, впервые почувствовали себя по-настоящему дома, при хозяйке. А хозяйка быстро разоблачила их неуклюжие попытки что-то скрыть от нее. Допив кофе, позвонила к себе в клинику и сказала, что прием больных можно назначить на завтра. Проглядела повестки, скопившиеся за время ее отсутствия, огорчилась, что сегодня вечером — сессия райсовета, которую стыдно пропустить, поглядела на часы.

— Ничего, до заседания еще восемь с половиной часов.— Погладила лоб, снимая усталость, тихо сказала: — Надя вспоминала вас обоих в самые последние часы. О тебе, Матвей, думала. И о тебе... Никак я не ждала, что у вас неладно.

11

В вестибюле гостиницы Палька задержался у зеркала, чтобы увидеть себя во весь рост. Из тусклой глубины на него вызывающе глянул высокий парень, особенно молодцеватый рядом с низкорослым, угло-

ватым Липатушкой. Новая меховая шапка и новенькие желтые «джимми» были великолепны, своевольная прядь волос выглядывала из-под заломленной назад шапки. Пальто, конечно, видало виды и легковато для московского иоября, но общего впечатления оно ие портит, иаоборот, придает иезависимый вид — это вам ие пижон, а настоящий мужчина. Вот галстук повязан дурно... Черт знает, как получается у Игоря свободный, красивый узел!

— Мы опаздываем,— напомнил Липатов, прилаживая поплотней старую кепчонку.

Решительно распустив узел, Палька перевязал галстук одиим вдохновенным усилием — получилось почти как у Игоря. Теперь парень в зеркале стал иеотразим. И сегодня вечером это должны заметить...

Игорь ждал их возле своего дома.

— Собирались, как женихи! — пробурчал ои.— Отец уехал уже час назад.

Метнувшись на середину улицы, он остаиовил первую попавшуюся машину:

— Подвези, приятель! Шоссе Энтузиастов, новые дома. Ничего, ничего, для хорошего шофера сто верст не крюк.

Сидя рядом с шофером, Игорь болтал с ним, как с давним знакомцем. Со стороны казалось, что он беспечен. Не любил он показывать, что волнуется.

Вопреки его надеждам, мать стала на сторону отца.

— Вот что я тебе скажу,— заявила она со свойственной ей определеиностью суждений.— Дети не выбирают себе родителей. Но если тебе повезло получить такого отца, надо ценить. Ты нагрубил ему и обидел его. Сам натворил, сам и проси прощения.

Поначалу Игорь уперся, а потом время было упущено. Отец избегал его, часами рассказывал матери о своих плаиах. Краем уха Игорь уловил, что Юрасов поддержал идею отца и даже обещал ему какую-то работу, где он сможет заияться своим проектом. Юрасов — поддержал?! Хотелось расспросить, но захочет ли отец ответить?..

Предстоящий отъезд отца ошеломил Игоря: расстаться ие помирившись? Он долго маялся, прежде чем решился попросить прощения.

— Я не сержусь,— сказал отец, не отрывая глаз от книги.— Я увидел в тебе эгоизм и душевную ограниченность, а это мне неприятно.

Игорь вспылил.

— Можно ли из-за нескольких запальчивых слов делать такие обобщения! В конце концов, если я волнуюсь, что ты забросил работу ради этих рек...

— Если мне захочется поговорить об «этих реках»,— медленно сказал отец,— я предпочту говорить с кем-нибудь другим... хотя бы с Галинкой. Она понимает лучше, чем ты. А сейчас я занят. Не мешай.

Как ни странно, мать поощряла посещения Галинки и даже подобрела к Татьяне Николаевне, которую раньше называла вертихвосткой. Бывало, мать презрительно поджимала губы, когда слышала о «мальчишниках» в доме Русаковских. А на этот раз сама уговорила отца пойти:

— Я задержусь в клинике. Что тебе сидеть дома одному?

Очевидно, Игоря она тоже не брала в расчет.

Оставался один сегодняшний вечер. Отец оживится, повеселеет... Надо подойти к нему при друзьях, взять за руку и тихо попросить:

— Забудь, папа, я не хотел тебя огорчить...

К этому и готовился Игорь, болтая с шофером.

Липатов прирос к окну — за окном мелькали узкие московские улицы, полные вечерней суеты: пешеходы с детьми, с покупками, даже с собаками на поводке сновали по всем направлениям, переходя улицу под носом у тревожно гудящих машин; трамваи были со всех сторон облеплены людьми, которые бесстрашно держались за «колбасу», за выступы, за решетки или, уместив одну ногу на подножке и кое-как ухватившись за поручень, висели себе как ни в чем не бывало, да еще держали на весу портфели. На табличках под фонарями мелькали диковинные московские названия: Маросейка, Солянка, Яуза, Николо-Ямская... Потом машина вырвалась из тесноты старых улиц на широченный проспект и — за город. Потянулись заборы и склады, потом поля и обширные пространства, заполненные скрюченным железом и скелетами машин — свалка металлолома. Домишки, видневшиеся то тут, то там, были ветхи, косы, подслеповаты.

И вдруг вдали возникло сияние множества огней, и в этом сиянии обозначились, как мираж в пустыне, широко расположенные многоэтажные корпуса новых домов. Опять — Москва, опять — столица, только новая, сегодняшняя.

Липатов старался все разглядеть и запомнить.

Палька был невнимателен, его не интересовали меняющиеся виды города, где он пережил столько разочарований и борьбы, надеялся и отчаивался, работал сутки напролет, спорил до изнурения, добивался и — добился! Весь громадный город с разнообразной и сложной жизнью сосредоточился для него в одной точке. В этой точке долго решалась и наконец решилась его судьба. Победа закреплена несколькими параграфами приказа, которым объявляется начало строительства опытной станции № 3, начальник Липатов Иван Михайлович, главный инженер Светов Павел Кириллович... Павел Кириллович, вот как. Главный инженер. Станция № 3, поскольку есть уже станция № 1 — в Донбассе, по методу Катенина, и № 2 — в Подмосковье, по методу Вадецкого — Колокольникова. Пусть будет и № 1 и № 2! Посоревнуемся. Докажем. Закончить бы поскорей формальности со всеми этими нормативами, штатами и лимитами. И — в Донбасс, на шахту Старая Алексеевка, возле которой им отвели участок пласта, хотя можно было найти более удобный, неразработанный пласт недалеко от Донецка. А впрочем, лишь бы взяться за дело!

Жизнь расширилась и стала удивительной. Сегодня Рачко бросил таинственный намек, что Мордвинова и Светова намечают послать за границу. Ух ты! За границу! На расспросы он не отвечал, отнекивался — узнаете, когда придет время. Вид у Рачко был загадочный и почему-то сердитый. Дразнит он или на самом деле кто-то вздумал дать им заграничные командировки? Интересно — куда? В Англию? А может, и в Америку? В последние годы многих инженеров посылают туда. Занятно! Павел Кириллович Светов в серой шляпе и желтых «джимми» шагает по Бродвею... Надо будет ввернуть сегодня в разговоре: «Вероятно, в ближайшее время я ненадолго съезжу за границу». То-то она удивится! «Вы — за границу?!» — «Да, знаете, хочется поглядеть мир, срав-

инть, разобраться, что у них хорошо, а что плохо...»

Сегодняшняя встреча — еще один неожиданный подарок. Как это вышло, что она их пригласила? «Можете привести и своих донецких приятелей» — так она будто бы сказала Игорю. Игорь говорит: «Мадам обожает, чтобы вокруг нее было завихрение поклонников...» Игорь злится, потому что завтра отец уезжает, а они не помирились. Он потянул с собою друзей для храбрости. Друзья должны помочь — свести его с отцом. Как? Будет видно на месте. Во всяком случае, это прямая и важная цель. Палька не станет «завихряться» в толпе поклонников. Ему нужно только поглядеть в ее мерцающие глаза и понять, забыла она или нет. То, что было, не вычеркнешь. И быть может, она для того и позвала, чтобы в веселой суете вечеринки дать ему понять, что помнит?..

Татьяна Николаевна выбежала к ним в каком-то диковинном наряде, вокруг головы чалмой намотан пестрый шарф.

— Как раз вовремя! — воскликнула она, протягивая обе руки, — одну сцапал и потряс Липатов, другую поцеловал Игорь. — Мы ставим шарады, сейчас начнется! Здравствуйте, Павел Кириллович, — она протянула ему ту руку, что поцеловал Игорь,— я слышала, вы одержали победу? Поздравляю.

Целовать ее руку он не стал — вот еще! Но, пожав, не отпустил, а сильно сжал. Она на миг запнулась, глаза опустила: скромница. Затем ее пальцы решительно высвободились и мягко оттолкнули его руку.

— Раздевайтесь, знакомьтесь со всеми и садитесь, — холодно-весело произнес ее голос.— На меня не рассчитывайте, сегодня все — сами себе хозяева, а я — на сцену!

Ее глаза строго и требовательно глянули на Пальку — и скользнули мимо. Пестрая чалма замелькала по ярко освещенной комнате, где сидело и стояло несколько незнакомых Пальке мужчин.

В переднюю выскочила Галинка с медным тазом в руках.

— Скорей, скорей, занимайте места!

Комната была превращена в зрительный зал: столы сдвинуты к стене, кресла и диваны поставлены в три ряда напротив арки, которая отделяла часть

комнаты; за аркой виднелись книжиые полки и массивный письмеиный стол профессора, но сейчас это была сцена, а сам Русаковскнй с помощью двух молодых людей натягивал иад аркой проволоку для заиавеса. На голове у него тоже красовалась чалма.

— Отрубнть головы тем, кто посмел опоздать! — протяжио прокрнчал профессор и соскочил со стремяикн.

— Я прнвел тебе двух гостей, о повелнтель! — не растерялся Игорь и иизко поклоиился, пальцамн коснувшнсь пола.

— Мой дом — ваш дом! — сказал профессор, так же кланяясь Лнпатову и Пальке.

Палька искоса разглядывал иезнакомых мужчнн; он не сомиевался, что все оин влюблены в ненаглядную, н от этого все казалнсь ему самоувереиными и протнвнымн, особенно усевшнйся рядом пухлый розовощекий молодой человек, с которым она только что перешептывалась.

— Обманул, — удрученно сказал Игорь. — Не прнехал.

Палька не сразу сообразил, что речь идет о Матвее Деиисовнче, он совсем забыл, что его главная цель — помирить Игоря с отцом.

Галиика ударила ложкой по медиому тазу, заиавес раздвинулся...

Палька готовился увндеть какую-то восточную сценку, ио за занавесом открылся столнк, украшенный графнном с водой. К столику подошел молодой человек — однн из тех, что помогал Русаковскому натягнвать проволоку. Этому молодому человеку подходнло определенне — пареиек. Спутанные русые волосы спадалн на глаза, лнцо было простое, ребячлнвое, с мнло приподиятым носом и белесыми бровкамн. Паренек застеичнво поклонился, тронул графин, потом переставнл стакаи, кашляиул и пронзнес запннающнмся баском:

— Тема моей сегодняшней лекцни, товарищн: «Есть ли бог?»

Он иалил себе воды, жадно выпнл, снова кашлянул и начал говорить. Говорнл он мудрено, с цнтатамн из библнн и корана, однообразно жестикулнруя правой рукой, в то время как левая то хватала, то

отпускала графини. Все было всерьез, ни одного смешного слова или оборота, но Палька улыбнулся и увидел, что все кругом улыбаются. Кто-то фыркнул. Кто-то засмеялся громко, не сдерживаясь, — и вот уже смеялись все: так верна и забавна была пародия на незадачливого лектора.

— Илька Александров, — шепнул Игорь. — Вот арап!

Под общий хохот Александров поклонился и откинул назад волосы. От этого движения изменился весь облик; теперь его определял большой высокий и чистый лоб со строгой черточкой между надбровьями да уверенная посадка головы на крепкой шее, не подпертой воротничком, — шею свободно окаймлял ворот легкой спортивной фуфайки.

Через минуту тот же Илька, нацепив длинную юбку, изображал строгую учительницу в пенсне, а Галинка — ученицу. На чертежной доске Галинка мелом написала буквы и никак не могла уразуметь, что «Б» и «А» вместе составляют слог «БА», а «Д» и «Ы» — «ДЫ».

Третьей и последней сценой был гарем, где Русаковский в чалме и купальном халате изображал капризного властелина, а ненаглядная — прекрасную наложницу.

Но вот Галинка ударила ложкой по тазу и объявила: целое!

В массивном кресле восседал желтолицый, косоглазый толстяк в китайском халате и причудливом головном уборе, утыканном длинными шпильками с елочными шарами на концах. Галинка обмахивала толстяка обыкновенным веником.

— Папа! — удивленно вскрикнул Игорь.

— Бог-ды-хан! — закричал розовощекий молодой человек, явно довольный тем, что первым разгадал шараду.

Матвей Денисович тяжело поднялся и поклонился, поддерживая рукой привязанную на животе подушку. Его подведенные углем глаза скользнули по лицам зрителей и на миг застыли, наткнувшись на призывный взгляд Игоря. Матвей Денисович отвернулся от сына, обнял Галинку и медленно пошел за арку, а Игорь самым беспечным образом заговорил с пух-

лым молодым человеком, — некоторое время они болтали, не обращая внимания на сидящего между ними Пальку, пока Игорь не догадался их познакомить. Пухлый молодой человек оказался Женей Труниным, о котором Палька столько слышал.

— Я тоже слышал о вас, — сказал Трунин.— Вы разработали проект подземной газификации угля. Это — замечательное дело. Я давно хотел узнать как следует... Мы с Александровым подумывали о подземной газификации нефти...

Через минуту Палька считал пухлого молодого человека самым симпатичным и умным из всех, кого встречал. Но тут ненаглядная позвала Трунина, назвав его Женечкой, и острое недоброжелательство опять шевельнулось в душе Пальки.

Русаковский и Александров внесли в комнату два подноса с закусками и вином. Никто никого не потчевал — гости сами подходили к столу, брали бутерброды, наливали себе вина. Палька с Игорем тоже подошли и натолкнулись на Липатова, который усиленно прикладывался к рюмочке, чокаясь с Матвеем Денисовичем. На лице Матвея Денисовича еще держались остатки грима, подчеркивая немного косой разрез его глаз.

— Я тебя не сразу узнал, папа, — ласково сказал Игорь. — Чем это тебя намазали таким желтым?

Не глядя на сына, Матвей Денисович ответил:

— Пастелью.

— Здорово получилось! — умоляющим тоном сказал Игорь.

— Здорово! — подхватил Палька, не зная, как помочь этим двум людям. — Прямо-таки настоящий богдыхан.

Он был искренен, так как никогда не видал богдыханов.

— А по этому случаю выпьем! — воскликнул Липатов, размахивая зажатой в руке бутылкой. — Выпьем за отца и сына, и вы выпейте друг за друга, честное слово!

У Игоря подрагивала рука, когда он брал рюмку. Матвей Денисович был спокоен, только глаза сощурились так, что остались две щелочки.

— Что ж пить за отца и сына, лучше уж за свято-

го духа, — сказал он и с рюмкой в руке отошел к Татьяне Николаевне. — Ваше здоровье, милый дух этого дома!

Игорь поглядел на сутулую спину отца, залпом выпил вино и пошел из комнаты.

— Ну что ты скажешь...— огорченно пробормотал Липатов и налил себе еще вина.

— Смотри, старина, перебираешь, — предупредил Палька и заспешил к веселой группе, образовавшейся вокруг Татьяны Николаевны. Он мельком увидел, что Игорь в передней надевает пальто. Потом услышал, как хлопнула входная дверь. Но он был слишком увлечен своими чувствами, чтобы скорбеть о чужих.

Весь этот вечер его переполняло ощущение своей причастности к новому для него, удивительному миру столичных ученых, которые настолько знамениты, что охотно забывают о своей учености и позволяют себе дурачиться, как школьники.

В этом мире знаменитостей непринужденно вращалась Татьяна Николаевна. Очарование делало ее центром дружеского круга, возвышало ее над всеми. Седой сморщенный мужчина, в котором Палька с замиранием сердца узнал известного академика, раболепствовал перед нею, а она посмеивалась. Ее внимание было как дар: оно отпускалось небольшими дозами.

Палька смотрел на нее — и уже не верил, что та ночь в степи действительно была.

— Павел Кириллович, идите сюда!

Она потащила его за арку, в угол, где гримировались и переодевались. Там стоял полуголый Трунин — стоял, поеживаясь, и примерял боксерские перчатки.

— Раздевайтесь, сейчас вы изобразите бокс!

Палька испуганно отказывался, но рядом возник Русаковский.

— Отказываться у нас не принято. Вот вам перчатки.

Ненаглядная упорхнула в зал. Ей освободили кресло. Она сидела там, как царица.

Трунин был весь пухленький и какой-то сдобный, с очень белой кожей. Рядом с ним Палька горделиво ощутил крепость своих мускулов и свой южный, непроходящий загар. Поймав загадочно-ласковый взгляд Татьяны Николаевны, он отчаянно смутился и от сму-

щения воспринял свою роль вполне серьезно — ожесточенно нападал на Трунина, нанося ему увесистые удары.

Ненаглядная хохотала и хлопала в ладоши.

— Бокс! Бокс! — кричали зрители.

— Избиение младенца! — кричал Александров. — Караул, он убьет гордость нашего института!

Пока разгоряченный и довольный Палька одевался за спинкой кресла, началась следующая сцена, в которой участвовала Татьяна Николаевна. Чтобы не пропустить ее, Палька решил избавиться от галстука — черт с ним, разве его завяжешь без зеркала!

С размаху упав на колени перед Татьяной Николаевной, Илька Александров пылко объяснялся в любви. Ненаглядная лениво слушала, покусывая цветок, а потом со вздохом произнесла:

— И ты?! Ну почему вы все влюбляетесь? Вас же много, а я одна.

Ничего не скажешь, умеет придумывать для себя роли!

Целое было — бокситы. Палька не мог представить себе, как можно сыграть такое слово. Но Русаковский, Трунин и Александров уселись втроем вокруг столика и заговорили о производстве алюминия, о теории осадочного происхождения бокситовых залежей и о разных других теориях. Трунин запальчиво сказал:

— Дело не в теориях, а в том, чтобы наиболее рационально и прогрессивно...

— Довольно! Довольно! — мелодично закричала Татьяна Николаевна. — Сели на своего конька, теперь не остановишь!

— Бокситы! Бок-си-ты! — выкрикивали остальные.

А Пальке было жаль, что интересный разговор оборвался.

Часом позднее он набрел на ту же троицу, они сидели за аркой на скатанном ковре, среди разбросанных одежд и всяких предметов, использованных в шарадах. Вероятно, они начали убирать все это — и заговорились.

Палька уже слышал от Игоря, что Александров и Трунин недавно ездили на север консультировать алюминщиков и работников бокситовых разработок и привезли оттуда какую-то идею, названную ими ОРАТ.

Что это такое, Игорь не знал. Сейчас разговор шел именно об этом.

Слушать чужой разговор было неделикатно, но Палька все же подошел и остановился рядом с Труниным.

— ...в конце концов, все решает одно, — говорил Трунин, — действительно ли наш метод будет новым словом в производстве алюминия.

— И почему мы должны отдавать отраслевому институту? — воскликнул Александров, обиженно надув губы.

— Потому что для фейерверка твоих идей нужно создать несколько отраслевых институтов, Илюша, — шутливо сказал Русаковский. — А пока они еще не созданы, приходится отдавать в чужие.

Стараясь вникнуть в суть спора, Палька не сразу заметил, что дверь в соседнюю комнату приоткрыта и за нею виднеется большое зеркало, а в зеркале мелькает какое-то отражение. Передвинувшись на ковре, чтобы лучше видеть, он ошеломленно замер: в зеркале кружилась ненаглядная, развевая над головой пестрый шарф, служивший ей чалмой. Она кружилась для себя, сама собою любовалась, сама себе посылала улыбки.

Следя за танцующим в зеркале отражением, Палька уже не мог слушать. Все силы уходили на то, чтобы изображать на лице заинтересованность и не выдать себя. Чудесное видение исчезло, и сердце Пальки начало громко стучать — сейчас она выйдет, сейчас она выйдет.

— Когда мне говорят о чести института, я всегда знаю, что у одного из вас припадок дешевого честолюбия.

Это сказал Русаковский, сохраняя шутливый тон, но с внутренней серьезностью. Палька вспомнил летний разговор с профессором — речь шла о том же. Он ждал, что ответит Александров, человек с фейерверком идей.

Ответил Трунин:

— Может быть, но чертовски хочется сделать!

Александров начал убежденно доказывать преимущества нового метода. Палька плохо понимал его, потому что совсем не знал существующих методов производства алюминия, а все трое говорили на специальном языке, с лету понимая друг друга.

— ОРАТ, так мы его назвали, — сказал Трунин. — Отступать поздно. ОРАТ — Олег Русаковский, Александров, Трунин. Без вас невозможно.

Татьяна Николаевна появилась в дверях, подошла, встала за спиною мужа. Пестрый шарф мирно покоился на ее плечах.

— Согласитесь, Олег Владимирович, — сказал Илька и взял профессора за локоть. — Это же очень красиво не только с технической, но и с научной точки зрения. И очень нужно!

— Это намного увеличит и упростит производство алюминия, — добавил Трунин.

Татьяна Николаевна положила ладони на плечи мужа.

— Согласись, Олешек!

Русаковский быстро обернулся к ней:

— Почему? Тут пока одна голая идея! Разработать такую штуку не просто, внедрить — еще сложней. Потребуется переоборудование только что построенных заводов. Кто на это пойдет?

— Если вы хорошо придумали, — может, пойдут?

Глядя перед собою мимо Пальки, она мечтательно улыбалась. Что ей грезилось? Успех? Слава? Деньги?

— Я соскучилась без донецкого сарая, — сказала она и над головою мужа улыбнулась Пальке, — я хочу, чтобы в доме что-то взрывалось и трещало, чтоб спорили до хрипоты ночи напролет. Я буду помогать вам.

Русаковский потянул к себе и поцеловал ее пальцы. Александров и Трунин глядели на нее с обожанием.

Палька повернулся на каблуках и ушел в коридор, где было прохладно и грустно. В ушах звучало: «Я соскучилась... я соскучилась...» Он не мог болтаться среди всех этих людей, притворяясь веселым, и улыбаться ее мужу... Уйти? Вызвать ее и удрать с нею на улицу? Убежать, не прощаясь, а завтра позвонить ей?..

— Вы хотите пить, бедняжка?

Она взяла его за руку и повела в глубь коридора. Они оказались в пустой кухне. Она зачем-то достала из холодного шкафа бутылку воды, открыла ее и налила стакан. Он покорно выпил. Она стояла, чуть улыбаясь. Он обнял ее и поцеловал. Она провела ладонью по его щеке и хотела уйти, но он дернул ее к себе и поцеловал снова.

— Я должен с вами встретиться,— говорил он, с отчаянием ощущая, что она отталкивает его.— Я не могу так. Не могу! Вы должны...

Она толкнула его сильнее и освободилась.

— Ну-ну, будьте умницей!

— Не хочу быть умницей!

Она засмеялась. И смотрела на него в упор, только не понять было, что они хотят внушить, эти глаза.

— Скажите мне прямо: да или нет, — настаивал он, стараясь притянуть ее к себе, — да или нет?!

Она отвела его руки решительным движением. Ее брови надменно взлетели.

— Ну какое «да или нет»? — с досадой сказала она и оглянулась, прислушиваясь к доносящемуся из комнат шуму голосов. — Что вы вообразили? Я позвала вас, потому что думала... — Она сделала шаг к двери и снова посмотрела этим своим непонятным, внушающим взглядом. — Мне казалось, вы должны... должны сами понимать... Иду-у! — певуче крикнула она, хотя ее никто не звал, и выскользнула из кухни.

Когда он, опомнившись, заглянул из коридора в комнату, там играл патефон, мужчины стояли широким кругом, а Татьяна Николаевна вальсировала со всеми по очереди.

Ослепнув от ненависти и обиды, Палька долго искал на вешалке свое пальто и шапку. На помощь пришел Русаковский.

— Куда вы в такой час? Трамваи уже не ходят.

Он смотрел понимающе и чуть насмешливо. Палька пробормотал что-то нелепое про срочную работу и, еле простившись, выскочил за дверь.

— Никогда больше! Никогда! К черту! — выкрикивал он, стремительно шагая по пустынному темному шоссе. Его бесила мысль, что она даже не заметила его ухода, что все это сборище поклонников посмеивается над ним... И поделом! Куда полез и зачем? Чего он ждал от этой легкомысленной, лживой женщины?!

Унижался, просил, удерживал... К черту! Игорь никогда не позволил бы себе так размякнуть. Он говорит с женщинами властно и безразлично. Нужно быть таким, как Игорь. Таким, как Игорь...

Но он не умел быть таким, как Игорь.

Сквозь горечь и стыд в нем и сейчас еще дрожала нежность. Он и сейчас слышал ее певучий голос: «Я соскучилась...»

Он очутился на каком-то мосту и увидел внизу и сбоку ободранные остовы машин, тяжелые мотки ржавой проволоки и сквозные насыпи металлической стружки, поблескивающей в неярком свете уличных фонарей.

Ухватившись за перила моста, Палька долго стоял, со странным чувством боли и торжества разглядывая это кладбище. Он ни о чем особенно не думал — он внутренне собирался для решения. Наконец он взмахнул рукой и зашвырнул как можно дальше всю эту ерунду, мешающую жить. Она покатилась, больно стукаясь о железо и жалобно звеня.

Он посмотрел на свою руку — в ней ничего и не было? Как бы не так! Что-то покатилось, получая ссадины и ушибы. Жалобно зазвенело. Исчезло навсегда.

Была уже глубокая ночь, когда он заплутал в незнакомых переулках и наткнулся на цепочку студентов, — то ли с вечеринки, то ли проветриваясь после зубрежки, парни и девчата шли во всю ширину переулка и пели с увлечением, как поют только в юности. Они не собирались уступать дорогу одинокому пешеходу. Палька сам ходил вот так же, сцепив руки с друзьями, никому не уступая дорогу. И ухаживал за славной девушкой, с которой все было просто. И пел песни, и хохотал, и мечтал. И не было в его жизни обидной, горькой зависимости от чужой вероломной женщины...

Столкнувшись со студентами, он крепко ухватил и развел их руки, прошел сквозь их веселый строй, как таран.

— Смотрите, какой серьезный, — громко сказал кто-то.

— Это несчастный влюбленный, — подхватил девичий голос.

Палька круто повернулся и снова вошел в их строй, но теперь остался внутри цепи, между парнем и девушкой.

— Этот несчастный заблудился, и вы должны вывести его на путь истинный,— сказал он и заглянул в девичье лицо, — лицо было симпатичное. Палька прижал к себе руку девушки и сказал совсем уже дурашливо:— А сердце у заблудившегося совершенно свободно, полный вакуум. Если хотите, попробуйте занять его.

— Но, но! — угрожающе сказал парень.

— Или ведите меня к гостинице, или я уведу от вас девушку!

Они вывели его к гостинице. Девушка улыбалась — милое приключение, веселый прохожий. Ей и в голову не пришло, что, шагая с ними, веселый прохожий устанавливал душевное равновесие — и установил его.

Начинало светать. Сонный швейцар приоткрыл глаз, чтобы посмотреть на загулявшегося постояльца. Пустой вестибюль гулко повторял звук шагов. Из тусклой глубины зеркала выплыл странный человек в распахнутом пальто, без галстука, очень бледный. На какой-то короткий миг за ним мелькнуло видение, развевающее над головой пестрый шарф. Но видение не удержалось — и человек остался один. Странный, взрослый человек, совсем не похожий на самоуверенного юношу, что несколько часов назад перевязал галстук на этом самом месте.

12

Люба постелила на стол новую скатерть, поставила в центре банку с цветами и огляделась. Как похорошела комната! На днях Саша привез мебель — оказалось, мебель можно было получить сразу, следовало зайти к коменданту института, Саша просто не догадался.

Нужно было готовиться к зимней сессии, но Любе никак не удавалось засесть за учебники. Ощущение непрочности не покидало ее, хотя видимых оснований не было: Саша принят в аспирантуру, домашний быт налаживается, Палька и Липатушка скоро уедут, и тогда Саша целиком отдастся учебе... Почему же кажется, что вот-вот что-то должно произойти?

— Нет, я просто нервничаю, потому что Саша забыл...— сама себе сказала Люба и посмотрела на часы. Без четверти восемь. Саша убежал рано утром —

в институт, потом в Углегаз, потом на аспирантский семинар. У него загруженный день, вот и все. Можно ли обижаться, что он не вспомнил их «годовщину»? Ровно три месяца назад они поженились; отпраздновали первый месяц, второй... но, вероятно, никто не празднует ежемесячно — всю жизнь?...

Люба заставила себя улыбнуться. Накрыла на стол. Поставить рюмки, чтоб Саша вспомнил? Нет, не надо, он расстроится. Промолчу. Или сама поцелую и поздравлю. Нет, если забыл — не поцелую. Нет, все равно поцелую!

Она включила радио. Женский голос кончал объявлять: «...из Большого зала Консерватории. Зал включим без предупреждения».

После минутной тишины в репродукторе возник неясный шум голосов, пиликанье скрипок.

Люба вздохнула. Интересно, какой он, этот Большой зал Консерватории, куда они мечтали часто ходить? Так и не были там ни разу. И в театрах не были. И в Сокольниках... Но я же знала, что с ним получится именно так. И я никогда не разочаруюсь в нем, не рассержусь на него, даже если он забыл...

Она вздрогнула от гневного возгласа басов, прозвучавшего неожиданно и сильно.

Басы требовательно повторили свой зов, свое предупреждение. Какое? О чем? И тотчас, как бы в стороне от них, вступили скрипки и повели нежную мелодию, насыщенную ожиданием. Мелодия будто кружилась в нарастающем порыве, в устремлении к чему-то желанному и прекрасному; временами она сливалась с грозными голосами басов и виолончелей, но это было не растворение одной мелодии в другой, а сближение в борьбе, противоборство. И вдруг валторна, вырвавшись из грома звуковой схватки, подняла свой звучный голос — предвестник еще далекого торжества.

Люба впервые слушала симфоническую музыку. Она не знала названий и звучаний инструментов, не знала, как достигается изумительная сложность и выразительность музыкального языка. Но сердце ее открылось для звуков. Какую победу и кому предвещал певучий инструмент, оттеснивший все другие? На чем с такой силой настаивают басы? Какая борьба и с кем... ждет ее и Сашу? Или это только действие му-

зыки — и им ничто не грозит, никакие испытаиня их ие косиутся? Но почему кажется, что музыка обращается именио к ией, предупреждает именио ее? Илн это всегда так, еслн слушаешь виимательио?..

Звуки бушевалн над нею, оии заполиилн уютную комнату, где стол иакрыт иа двоих, где ей нужеи только одни-единствеииый человек. Но ие о счастье говорили звуки, — оин стоиали н пели о борьбе, и, если временами возвращалась иежиая мелодия иачала, ее подхватывали и преображали другие, грозные звукн, н в комиату врывались призывиые кличи труб.

Трубы заглушнлн зиакомый щелчок замка н стук двери. Она увидела Сашу уже на пороге н бросилась к нему, взволиоваииая, со слезами на глазах.

— Погоди, разобьешь, — сказал Саша и вытащил нз-под пальто бутылку вниа. — Тащн из кармаиа пакет, только осторожней.

Смахиув слезу, оиа вытащила обериутую бумагой вазочку.

— А ты думала, забыл? Я весь деиь ношусь с этой вазой и так боялся разбить, даже в трамвае ие поехал, а пер пешком. Любушка, ты меня не разлюбила за эти три месяца?

— Нет.

— И ии разу ие проклииала меня?

— Нет.

— И не обижалась, что я не такой?

— Нет, иет, иет.

— Какая музыка! Это в иашу честь, правда?

Запиувшнсь, Люба ответнла: «Да». Из репродуктора лилось смятеиие, а может, н жалоба. И призывиые кличи труб. Куда оии зовут, трубы?

Люба быстро выключила радио н обияла Сашу.

— Когда ты здесь, я хочу только тебя одного. Смотреть на тебя, слушать тебя. Это стыдно, что я так говорю?

— Я думал, снльнее нельзя, но три месяца назад я еще ие любил, оказывается. Только в эти месяцы я по-иастоящему полюбил.

— И я... Но ты скажи — почему?

— Хитрая, тебе мало? Давай нальем виа и чокнемся. Зиаешь за что? За тебя — любимую и друга. Выше этого нет ничего! В эти месяцы я узнал, Лю-

бушка, что ты — друг. С тобой легко идти. Через все испытания и трудности.

Звучали ли они где-то за стеной, на улице — или ей только показалось, что снова призывно трубят трубы?

— Ты меня не осудишь, Сашок, если сегодня мы откинем испытания и трудности?

— Конечно! Они мне осточертели. За тебя, Любушка!

Когда на следующее утро Люба вспомнила незамутненную радость этого вечера, она подумала: «Хорошо, что он был. Мне легче оттого, что он был...»

Утро занялось такое ясное. Выпавший ночью снег лежал на ближних и дальних крышах, еще не тронутый копотью. Город празднично сиял.

— А я чувствую себя подлецом, — сказал Саша, и лицо у него стало жесткое, непримиримое — она знала это выражение и боялась его. — Я должен был сказать вчера. Я как будто украл вчерашний вечер. Но ты была такая веселая... Люба! Выяснилось, что нам придется ехать. Отказаться нельзя.

— Так это ж интересно, Саша! И ты говоришь — нам... значит, меня пустят с тобой? Наверняка?

Она не понимала, почему он боялся сказать. Уже неделю шла речь об этих заграничных командировках. На год. Почетно и очень интересно. Поехать за границу, повидать разные страны...

— Ты не так поняла, Любушка. От заграницы мы отказались. Категорически. Это предложение — коварный ход Вадецкого и Колокольникова. Избавиться от нас на год, а пока...

— Постой. Так... куда же?

Он помолчал. Мысленно подобрал самые убедительные доводы и утешения, но откинул их и сказал напрямик:

— В Донбасс. Я не имею права бросить дело на решающем этапе.

— В Донбасс?!

Она хотела сдержаться. Очень хотела. Но слезы хлынули сами.

— Люба, перестань!

Его голос звучал сурово.

Значит, он даже не понимает, как ей горько?

Она ладонями стерла с лица слезы.

— Перестала! Давно пора перестать! — неистовым шепотом заговорила она. — Давно пора понять, что я для тебя — вещь, игрушка, приложение к твоим делам и планам! Еще бы! Ты в Москву — и я с тобой. Ты в Донбасс — и мне все бросать! Стоит ли думать о таком пустяке, как мое место в жизни!

Теперь ей казалось, что так оно и есть — все три месяца она ощущала его эгоизм и терпела его невнимание.

— Я мечтала стать педагогом — какое тебе дело! — не глядя на него, быстро продолжала она. — Два года учебы побоку! Ты даже не подумал, что из-за этой газификации я не поспела в институт, что я снялась с комсомольского учета и мне негде стать на учет здесь! Ты даже свадьбу отложил из-за этой газификации! Даже свадьбу! А что я вижу теперь? Стряпаю, убираю, стираю, часами жду тебя — и никакой жизни... никакой! Никакой! Никакой!

Он подавленно молчал, а она выискивала новые упреки, потому что все, что она уже высказала, было слишком страшно, — любовь отлетала, сгорала в этом потоке обвинений. Стоит замолчать — и Саша скажет: ну что ж, очень жаль, значит, мы ошиблись оба.

— Это ужасно, — сказал Саша, — что же мне делать, Любушка? Что? Я так хотел, чтобы ты была счастлива.

Люба вскинула глаза и увидела доброе, несчастное лицо человека, поверившего каждому упреку.

Она подошла и прижалась к нему, всем телом ощущая счастье быть с ним.

— Ничего не делать, — прошептала она в жесткую шерсть его пиджака. — Я же счастлива. Ты знаешь. Очень.

— Нет! — воскликнул он. — Не утешай. Я был чурбаном! Эгоистом!

— Неправда! — крикнула она с возмущением. — Это я... я!

Часы показывали половину девятого. Через полчаса начиналась лекция — очень важная для него лекция академика Лахтина. Он отмахнулся от лекции и от самого Лахтина.

— Сядем, Любушка. Вот так. Нет, не отнимай руку. Послушай. Я должен все рассказать тебе...

Он и сейчас не мог рассказать ей все. Он привык оберегать ее от повседневных неприятностей. Вот Палька и Липатушка знали все, знали даже больше, чем он, потому что сами оберегали его счастье. Им троим ясно, что в Углегазе идет глухая борьба против нового проекта, что Колокольников и Вадецкий всеми силами торопят испытание своего проекта и всячески тормозят создание станции № 3,— вот подоплека бесконечных придирок, замечаний, требований испытать в лабораториях и теоретически обосновать десятки частностей, которые быстрее и проще решились бы на месте.

Когда три друга злились, Люба рассудительно говорила:

— Ну что вы ворчите, хлопцы? Почему кто-то обязан верить вам на слово? Хорошее нужно доказать.

У нее был трезвый ум — настоящая Кузьменко, шахтерская дочь.

Как объяснить ей то, что они сами улавливают только чутьем?

— Мне сразу показалось странно, когда Колокольников восторженно сообщил об этих заграничных командировках. Уж очень он радовался, уж очень соблазнял нас — заграница, Париж, вернетесь франтами! И Вадецкий поздравлял, как друг сердечный. Конечно, сперва нас соблазнило. Но мы спросили: а что же мы там изучать будем? Ведь подземной газификации у них нет, в подземной газификации мы первые. И кто же будет осуществлять наш проект? Сунулись к Стаднику, а Стадник усмехается: покупают вас на заграничную приманку, а вы не продаетесь? И мы как-то сразу поняли...

Тут Саша запнулся. То, что произошло со Стадником, мучило его непонятностью. С первого заседания комиссии он заметил, что на Стадника наскакивают Алымов, Колокольников и кое-кто еще. Он помнил горькие слова Стадника: «Почему так? К днищу корабля обязательно присасывается всякая гадость!»

Третьего дня вместе с Олесовым они пошли по срочному делу к Стаднику. Они были записаны на прием и готовились сидеть в очереди. Но приемная была пуста и безмолвна, даже телефоны не звонили. Секретарша сидела на своем месте, сложив руки на столе,

и не шевельнулась, когда вошли посетители. Впрочем, вошли не все. Олесов от порога исчез, растворился в воздухе, его не оказалось потом ни в наркомате, ни в Углегазе.

Они подошли к секретарше, секретарша сухо отчеканила:

— Обратитесь к одному из заместителей.

— А что Арсений Львович — заболел?

Секретарша поглядела на них странным, осуждающим взглядом и так же сухо повторила:

— Обратитесь к одному из заместителей.

Когда они пробились к Бурмину, тот был необычно тих и сразу подписал бумагу, которую должен был подписать Стадник, — рука, выводившая подпись, тряслась, буквы прыгали.

— Что же это с Арсением Львовичем? — тихо спросил Липатов.

И тогда Бурмин закричал, что нечего лезть не в свое дело, и обругал Липатова непристойными словами, и не было в этой ругани обычного душевного веселья, которое примиряло с нею самых обидчивых людей.

Как это могло произойти со Стадником? Почему? За что?

Стадник — враг? Это не умещалось в голове.

Саша любил ясность и всегда добивался внутренней ясности, прежде чем говорить с другими, даже с Любой. Тут никакой ясности не было. Он промолчал о Стаднике.

— Обстановка такая, что нам будут вставлять палки в колеса. Будут придираться. А помимо того, у нас куча нерешенных вопросов. Нужна повседневная научно-исследовательская работа. Мы работали втроем, дополняя друг друга. Заменить меня некем.

Он думал еще и о том, что одного из них, Пальку Светова, ждут неприятности. Пусть одобрение проекта и назначение Пальки главным инженером сглаживает его вину, но кто поручится, что в удобную минуту ему не припомнят и фальшивую подпись на телеграмме, и самовольную задержку в Москве? Даже из скупого сообщения Катерины можно понять, что Пальке не избежать осложнений... Кто же выступит в его защиту? Как оставить его в возможной беде?

Этого он не сказал, но Люба сама обронила задумчиво:

— Да и Пальку поддержать...

Он обнял ее и приник щекой к ее щеке.

— Когда нужно ехать?

— Послезавтра.

— А как с институтом?

— Сегодня в два часа иду к Лахтину. Отпрошусь на несколько месяцев, может быть, на год.

— Комнату... ликвидируем?

— Надеюсь, что нет.

— Я начну собираться понемногу. Только бы тебя приняли потом обратно!

— Любушка, мы вернемся не позже осени, я тебе обещаю.

Дверь открыла одна из дочерей академика.

— Федор Гордеевич отдыхает после лекции, — шепотом сказала она, неохотно впуская Сашу. — Вы не можете решить свое дело с директором?

— Я уже решил с директором, но я просто не могу... не могу уехать без согласия Федора Гордеевича.

— Вы... покидаете институт?

В ее вопросе прозвучала такая обида, что Саша и сам удивился — здесь, в нескольких шагах от человека, который мог стать его бесценным учителем, собственное решение показалось чудовищным.

Пожав плечами, она на цыпочках подошла к двери кабинета и заглянула в щелку.

— Идите, он не спит.

Лахтин сидел в кресле у круглого столика и перебирал в ящике карточки. Ноги его были закутаны пледом. В ярком сиянии погожего зимнего дня его лицо выглядело особенно старым.

— Пожаловал! — насмешливо сказал Лахтин и кивком указал на кресло по ту сторону столика. — Знаю, все уже знаю, прилетел и улетел, как птица перелетная. А я вот свое хозяйство в порядок привожу. Когда жизнь длинная, чего только не скапливается! — Он поднес к глазам очки, как лорнет, не заправляя дужки, прочел запись на карточке про себя, потом вслух: — «Вдохновение — это гостья, которая не любит

посещать ленивых». Хорошо сказано? Или вот так: «Вдохновенье — это награда за каторжный труд». Тоже неплохо. Первое сказал Чайковский, второе — Репин. И оба правы. А Дмитрий Иванович записал по-иному: «В науке-то без великих трудов сделать ровно ничего нельзя». Ровно ничего!

Саша с жадностью поглядывал на плотные листки, хранящие сотни интересных мыслей, которые в разное время остановили внимание Лахтина. Порыться бы в них самому, не торопясь, без отвлекающей догадки, что Лахтин читает свои записи неспроста...

Лахтин вдруг засмеялся и протянул Саше карточку. Саша прочел: «Вера в авторитеты делает то, что ошибки авторитетов берутся за образцы» (Лев Толстой).

— Тоже полезная мысль. Пусть она вас подкрепит, когда я начну навязывать вам свое понимание... или — как это студенты говорят? — капать на мозги. А вот другой великий старик — Гёте. Читали вы его мысли в пересказе Эккермана? Достаньте и прочитайте, недавно вышел русский перевод. Тут об искусстве, но мысль и повернуть можно, была бы умная. Слушайте. «Произведение, которое первоначально не писалось для подмостков, не годится для них, и, как бы мы его ни приспособляли к сцене, оно всегда сохранит что-то неподходящее, чуждое ей». А ну-ка, поверните это соображение на технику, хотя бы на свою подземную газификацию! Повернули? Некоторые умники схватились за газогенератор и ну его пихать под землю! — Он снова заливисто засмеялся.— Граб-то, Граб! Светило! А за ним профессор Вадецкий этаким попрыгунчиком!

Он вытер слезы, набежавшие на глаза.

— Не думайте, что я не понимаю ценности вашего замысла. Вы пошли оригинальным путем и не пытались приспособлять созданное для одних условий к другим, подземным. Ваш замысел очень близок к наметкам, оставленным Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Химия! — другого решения тут быть не может. Ценю вашу идею, особливо рядом со спекулятивными поверхностными идейками некоторых авторитетов — им бы только скорей, скорей да к славе поближе.

— Значит, вы мое решение одобряете?

— Нет, не значит! — сердито воскликнул Лахтин.— Совсем не значит! У вас, Александр Васильевич, есть данные для работы в науке. Не люблю пышных слов вроде «талант» или «призвание», но у вас что-то такое чувствуется. Не хочу преувеличивать и своего значения в науке... но думаю, что мог бы способствовать вашему развитию. К нам в институт стремятся и не попадают многие молодые люди, мечтающие о науке. Вы попали. И вот очертя голову все бросаете, рискуя своим будущим!

— Федор Гордеевич, а вы? Вы никогда не бросали... не рисковали своим научным будущим?

Их взгляды скрестились — зоркие, вызывающие. «Ишь ты, куда замахнулся! — говорил взгляд Лахтина.— С чем сравниваешь! Да и что ты знаешь обо мне, мальчишка?» А Саша с быстрой усмешкой отвечал: «Да, замахиваюсь, сравниваю и все знаю,— знаю, как вы бросились очертя голову в революционную борьбу, сидели в тюрьме, бежали за границу, возили подпольную литературу... Вы верили и ради этого рисковали своим будущим, а ведь талант-то у вас покрупнее!»

— Я не рисковал будущим,— помолчав, сказал Лахтин.— Я хотел завоевать его для себя и для всех... для вас, в частности, для младого племени. А вы народом нашим выдвинуты в советскую науку и бросаете ее... ради дела увлекательного, но проблематичного. Что это? Легкомыслие молодости? Жажда быстрого результата, громкого успеха?

— Честность,— сказал Саша.

— Объяснитесь.

— Без меня товарищам будет трудней. Их могут смять — обстановка такая, что надо драться! И при этом неустанно разрабатывать теоретические основы газификации. Через несколько месяцев теоретические вопросы станут главными и начнут тормозить дело, если мы запустим научные исследования.

Академик молчал, нахмурив брови. Потом спросил, подыскивая слова поделикатней:

— А вы учитываете такой момент... такую возможность, что ваши усилия... не оправдаются и вы не добьетесь... существенного результата?

Саша подумал, прежде чем ответить.

— Нет! Не хочу учитывать. Вы рисковали ради од-

ной важной цели, мы — ради другой. Техника коммунизма — вот что такое подземная газификация. Ликвидация самого тяжелого и опасного труда. Вывести миллионы людей на солнце — вот что это такое. Вы говорите, проблематнчио? Нет, главное — решено. Но если окажется, что это все же не решение, значит, надо поработать еще и еще, но решить.

— Конечно, задача интересная,— протянул Лахтин задумчиво.

— Не только интересная, но и необходимая,— неуступчиво сказал Саша и замолк, потому что даже этому чудесному человеку не мог сказать всего того, что стучалось в сердце, когда он думал о подземной газификации. Ужас долгих ночей возле умирающего дяди, надрывный кашель и тяжкий хрип его забитых угольной пылью легких... Шахтерские рассказы о взрывах и обвалах, смертях и отравлениях, запомнившиеся с детства... А потом, уже в институте,— горькие раздумья над неразрешимыми проблемами спасения людей от опасностей подземного труда, от неожиданных выбросов газа, все сметающих на своем пути... И наконец, навсегда врезавшийся в память день, когда он со спасательной группой спустился в шахту и судорожно откидывал, откидывал, откидывал обвалившуюся породу... и страшный миг, когда извлекли первое размозженное тело — и он узнал Вову...

— Видите ли, мой друг,— с особой мягкостью заговорил Лахтин,— все мы склонны преувеличивать, когда увлечемся. И это хорошо, если разум способен проконтролировать увлечение. Способны ли вы на такой самоконтроль — в минуты, когда ради увлечения ломаете жизнь?

— По-моему, да,— сказал Саша.

— Попробуем заглянуть в будущее.— Лахтин прищурился, будто и впрямь куда-то заглядывал.— В наш быстротекущий век соотношения бесспорных величин меняются чрезвычайно быстро, потому что наука-то зашагала стремительно! Химия и физика вышли на передовую линию прогресса — и поведут его по-своему. Наших предков устраивали дрова, но развитие металлургии и железных дорог потребовало угля, девятнадцатый век и начало двадцатого ознаменовались интенсивным развитием угледобычи. Сейчас уголь в на-

шем топливном балансе — подавляющая величина, но за ним поспешает нефть, и усиленная разведка нефти вызовет к жизни новые и новые промысла. Заметьте, транспорт перешел на новые двигатели и новые скорости. Аэропланы, автомобили, тепловозы — они требуют новых топлив. Нефть, бензин! Вероятно, мы подойдем и к использованию попутных газов, которые с выгодой используют американцы вместо того, чтобы сжигать в факелах, то есть пускать на ветер золото! Вероятно, мы научимся применять и солнечную энергию, и энергию, заключенную в атоме...

Он смолк и снова занялся карточками, не то забыв продолжить свою мысль, не то разыскивая что-то. Очки странно меняли его массивное лицо, сквозь стекла глаза казались больше и голубее, а морщины на веках резче. Саша смотрел на его умное старческое лицо и вдруг до слез пожалел, что расстается с этим человеком, что видит его, быть может, в последний раз.

— Ага, вот оно! «Недалеко то время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, такой источник силы, который даст ему возможность строить жизнь, как он захочет. Это может случиться в ближайшие годы, может случиться через столетие. Но ясно, что это должно быть». Такую мысль Владимир Иванович Вернадский высказал в тысяча девятьсот двадцать втором году. Думается, теперь мы несколько ближе к решению задачи.

Саша широко раскрыл глаза. Ему не приходилось ни читать этих строк, ни слышать о возможностях извлечения энергии атома. Это было похоже на научную фантастику.

— Помечтаем еще немного,— усмехнувшись, сказал Лахтин.— Человечество часто начинает использование природных богатств с разбоя. Ради сегодняшнего барыша само себя грабит. Так и с горючими ископаемыми — ведь если подумать, сжигание угля и нефти в топках есть варварство, так как сжигаются бесценные химические продукты, способные дать гораздо больший эффект! Но мы научаемся, пока только научаемся хозяйствовать более разумно и совершенно. Подумайте, не придет ли пора, когда мы доберемся до кипящей в земных недрах магмы, чтобы по трубам, с глубин двадцати-тридцати километров, извлечь из

дарового и неугасимого котла любое потребное количество тепла?..

Саша подумал и сказал:

— Вероятно, так и будет. Когда мы технически сумеем вести бурение до таких глубин.— Подумал еще и спросил: — Федор Гордеевич... почему вы заговорили об этом со мной — сегодня?

— Да потому, мой друг, что проблем интереснейших великое множество. И вам предоставлена возможность занять свое место в развитии науки. Не опрометчиво ли бросать широкую дорогу научного творчества ради практического осуществления задачи, пусть и занятной, и весьма прогрессивной, но... не до конца решенной?

— Тем более нужно ее решить до конца! — воскликнул Саша.— Я понял ваши слова о новых топливах и энергиях. Но можно ли оставить подземный труд еще на несколько десятилетий только потому, что в будущем удастся извлечь тепло прямо из недр планеты?

Лахтин лукаво усмехнулся:

— Вы, оказывается, мастер спорить. Ну а как быть с тем, что наш добрый старый уголь вытеснится уже существующими и добываемыми топливами?

— Федор Гордеевич, вы, наверно, сами не верите, что человечество оставит лежать в земле без употребления несметные залежи угля!

— А если другие источники тепла выгоднее? — настаивал Лахтин с тем же лукавством.

— Я думаю, Федор Гордеевич, что новые топлива и энергии дадут огромный скачок прогресса, но тем самым вызовут и огромный рост потребностей.

Теперь Лахтин смотрел на Сашу серьезно и пристально, будто вглядываясь в самую его человеческую сущность.

— Очень хорошо, Александр Васильевич, когда человек может сказать — верую. И еще лучше, если дерзает добавить — и сделаю! Но, может быть, все-таки... Вы свое сделали, принцип нашли, теперь начнется период испытаний и разработок... Надо ли вам, именно вам, тормошиться на опытной установке вместо работы в науке? Ведь и в институте будут решаться отдельные теоретические проблемы подземной газификации!

Саша вздохнул и ответил сдавленным голосом:

— Я все взвесил, Федор Гордеевич. Мне было нелегко принять решение. Если бы я передумал и остался у вас — а мне хочется остаться! — это было бы подлостью. Стоит ли вам растить ученого, способного на подлость?

Лахтин снял очки, протер заслезившиеся глаза и прикрыл их пергаментными веками. Голова его поникла, сквозь голубоватую седину волос была видна серая сморщенная кожа. И снова Саша с болью ощутил, что видит эту могучую голову в последний раз.

— Ну что ж, Александр Васильевич,— сказал Лахтин, открывая ласково блеснувшие глаза,— как я понимаю, ваша затея отнимет у вас год, а то и два. Желаю вам удачи. Мне хотелось бы увидеть вас опять в нашем институте. Как только сможете, я приму вас... если к этому времени сам *буду*.

Когда Саша вернулся домой, Люба выжимала и развешивала в кухне белье.

— Не хотелось везти грязное,— сказала она, пряча покрасневшее от слез лицо.

Он помог ей. Он был слишком взволнован, чтобы говорить. Они вернулись в комнату, где на стуле уже стоял раскрытый чемодан. Люба склонилась над чемоданом и твердо сказала:

— Вот что, Саша. Не надо обманываться. Я знаю, ты не отступишь. И не надо никаких обещаний, я же все равно... с тобой.

НАКАНУНЕ

1

Поезд приходил ночью.

Люба прикорнула на собранных вещах, а три друга стояли у окна, обнявшись, и смотрели, смотрели, смотрели... Дымное небо Донбасса, подрумяненное заревом плавок. Угрюмые холмы терриконов, ночью еще более похожих на вулканы с верхушками набекрень, потому что на их скатах кое-где курятся дымки и, как лава, тлеет уголь. Высоченные трубы заводов, стоящие то кучно, то врассыпную, и сверкающие в темноте стеклянные стены новых цехов — будто океанские пароходы плывут куда-то. Деловая суета товарных станций и нескончаемые составы с углем — одни ждут отправки, другие тяжело громыхают навстречу поезду. Кусочек темной степи, старый-престарый одинокий дуб, неожиданно выступающий оголенными ветвями на фоне далекого зарева, и снова терриконы, и черные переплеты копров, и краны, и трубы, и составы с углем...

Это была их родина со всеми приметами, близкими сердцу.

— Звезд-то, звезд! — восклицал Липатов. Его не интересовали звезды, что проблескивали между ползучими дымами в небе. Его притягивали теплые красные звездочки на верхушках копров — вон еще одна, и еще, и две сразу, а впереди уже выплывает из мглы новая...

— В гору пошел Донбасс! — растроганно сказал Липатов, и на какой-то миг его сердце сжалось: как посторонний, как заезжий гость, придет он теперь на свою шахту.

— Глядите, ребята, смена идет!

В темноте ночи теплилось множество двигающихся огоньков, и все они плыли, тесно прибиваясь один к другому, сливаясь у входов в шахты,— заступала ночная смена.

...А поезд мчался по донецкой земле, и все новые огоньки двигались в темноте, все новые трубы, терриконы и копры возникали на фоне полыхающих зарев.

— Подъезжаем, ребята! Буди Любу, Сашок.

На скупо освещенной платформе было пусто. Два-три носильщика, дежурный с фонарем, почтовики с тележкой. Стоя над чемоданами, друзья вдохнули с детства знакомый кисловатый запах дыма и угля: «Мы дома! Дома!»

— Поднести багаж, товарищи?

Они обернулись на голос и увидели Маркушу.

— Вот это встреча! Ты откуда взялся, Серега?

Прежде чем Маркуша ответил, они разглядели на нем форменную фуражку и номерную бляху носильщика.

— Да ты что? Да как же это?..

— Во-первых, здравствуйте,— сказал Маркуша, с силой пожимая их руки и немного рисуясь,— во-вторых, чем не работа? Инженеру-коксовику в самый раз. Ну, как вы, хлопцы, со щитом иль на щите? Утвердили проект?

Он говорил торопливо, избегая их расспросов, а между тем привычно сиял ремень и перехватил два чемодана.

— Куда прикажете доставить?

Друзья вырывали чемоданы, он цепко держал их. Лицо его подрагивало, и не понять было, от смеха или от скрытого отчаяния.

— Ну, вот что, — сказал наконец Маркуша,— таскать чемоданы — теперь моя профессия и заработок. Возьму с вас по самой высокой цене, потому дома жена и дочурка родилась двадцать три дня назад. Вы куда двигаетесь?

Они двигались на квартиру Липатова — ближайший пункт от вокзала. Там Мордвиновы и Палька подождут утреннего трамвая.

Обогнув вокзал, окунулись в темноту ночи, почувствовали под ногами знакомую круто замешанную грязь немощеной улицы. Липатов привычно свернул

на пустырь, сокращая путь к дому, но Маркуша крикнул:

— Э-эй, куда топаешь? Не видишь — парк!

— Па-арк?

В темноте чуть обозначались черные прутики саженцев.

— В октябре воскресниками сажали. Месяц озеленения! — оживленно рассказывал Маркуша. — Народищу вышло! С нашего завода около тысячи, да шахтеры, да школьники, да с вашего института. Сам Чубак руководил. Вдоль шоссе к поселку тоже с обеих сторон по три ряда деревьев. Здорово?!

Шли в обход нового парка. Липатов издали увидел копер своей шахты,— нет, копер не разглядеть было, он увидел красную звезду в том месте, где должна быть вышка.

— Перевыполняют? — выдохнул он и снова ощутил боль расставания с шахтой и зависть к тем, кто уже без него добился победы.

— Третью неделю перевыполняют,— подкинув на плече чемоданы, хвастливо подтвердил Маркуша.— Первый раз перевыполнили — ох и радовались! Потом пошла трясучка: день есть, день нету: как вечер, все глядят, загорелась звезда или не загорелась. Дней десять трепало, а теперь вроде наладились, пятую ночь без перебоя горит.

— Серега, дай чемоданы-то!

— Иди ты! Я таких десять снесу, только бы... Эх, до чего же муторно ждать да надеяться!

— Не вызывали еще?

— Как не вызывали! Два раза уже... В Москву ездил. Хорошо, ребята снарядили, деньжат собрали.

Они вышли на бульвар, откуда до Липатова было рукой подать. Но Маркуша скинул чемоданы с плеча, поставил на скамейку, отер со лба пот. Уличный фонарь осветил его осунувшееся лицо.

— Какие разные люди есть! — удивленно сказал он.— Я раньше как думал? Все одного хотят. По правде, по справедливости. Обвинили кого — разберутся да рассудят, кто чего стоит. А тут... Ну, Исаев — мелкий гад, ему в партии не место,— откинул он своего главного врага.— С ним ясно. Но вот попадаю к партследователю — и коммунист вроде не поддельный, а

крутит, вертит, вот это еще проверим, вот такую еще бумажку принеси... А цель у него одна — затянуть, отложить, не решать. Потом к другому попал — хороший парень, свойский, совестливый такой. Когда говорит, сердце чувствуешь. А начнешь ему доводы свои выкладывать по порядку — спит. Спит! Глаза мутнеют, слипаются... Говоришь, а голос мимо него в стенку. Я предлагаю: отложим, ты устал. А он вздыхает: «Мобилизовали вот на разбор апелляций, днем на своей работе, к вечеру — сюда... Второй месяц урывками сплю. Продолжай, я уже взбодрился». Продолжаю, а у него опять глаза слипаются... Когда обком не восстановил, он сам вызвал меня, говорит: потерпи, пусть уляжется немного — не назвал, что именно, только рукой покрутил в воздухе,— а потом, говорит, шпарь в Москву, тут с таким делом никто не решит. А почему? Какое такое дело? Ведь сущая липа! И зачем на Москву перекладывать? На месте вроде виднее, и люди меня знают, и печь моя тут.

— Ну а в Москве? В Москве? — с надеждой спросил Палька.

— А в Москве добился я до большого человека в Комиссии парткоитроля. Посмотрел он мои бумаги, велел еще характеристику прислать, обещал: «Скоро вызовем...» А тут как раз жена родила. Помчался я домой — улыбаюсь и плачу, плачу и улыбаюсь. Дочурка — во! А жена приболела, тоже ведь переживает. И денег не шиша. С завода меня уволили, куда пойдешь исключенным с такой формулировочкой? Подался на станцию. Сам Чубак помог оформиться. Хороший он мужик, наш Чубак! Ведь секретарь горкома, положение обязывает, верно? А он меня принял, поговорил со мною так душевно... «Выправится, говорит, это дело. Потерпи, друг, и нервы береги, тебе еще рекорды ставить на своей печи». Я и воспрянул. Таскаю чемоданы, берегу нервы... Ну, пошли, мне к пятичасовому обратно.

Он не успел взять чемоданы, их уже подхватил и перекинул через плечо Палька.

— Вы ничего не приметили, хлопцы? — лукаво спросил Маркуша.

— А что такое?

— Осмотритесь, черти полосатые! Три месяца по-

гуляли в столице, так наших достижений не замечаете?

Он шагал рядом с товарищами, посмеиваясь, поддразнивая. Шагал мимо прутиков новых посадок, обходил участки взрытой для ремонта улицы, по-хозяйски притопывал каблуком по новому асфальту на готовых участках.

— Свет-то горит! — воскликнул он наконец. — Вторая очередь ТЭЦ вступила, уж месяц в полночь не отключают света! А вы и не видите, какие мы стали гордые!

Люба вдруг всхлипнула и ткнулась лицом в Сашино плечо.

— Да что ж это? Несправедливо же! За что?

— Ну вот, зачем же сырость разводить? — дрогнувшим голосом пошутил Маркуша. — Пришли вроде?

— Слезами горе не смоешь, — сказал Липатов, нащупывая ключ в условном месте. — Тут покумекать надо... Ох, выпить бы сейчас, а, Серега?

В квартире было до странности чисто, — видно, Аннушка недавно приезжала. Липатов сунулся в буфет — там стояла бутылка водки, возле нее записка: «Нашла, хотела вылить, пожалела. Сопьешься — не вернусь, а с друзьями за успех выпить разрешаю. Бродячая жена».

— Вот кстати! — радовался Липатов. — До чего ж у меня Аннушка хорошая! Учись, Любушка, вот это изо всех жен жена!

В кладовке нашли картошку. Пока варилась картошка, Люба накрыла на стол, заставила всех помыть руки. Маркушу она тоже послала мыть руки — властно, как близкого человека, другого способа уважить его она не нашла.

— За ваш успех мы выпьем, — говорил Маркуша, вытирая руки и улыбаясь. — Но и за мой успех, за мою печь — тоже! Помните, как мне пришивали, что нарушаю режим печи? Так ведь оправдалось! Теперь еще две печи на наш метод перевели! В газете похвалили... понятно, без моей фамилии.

— Кто же там... славу твою присвоил? — со злостью спросил Палька.

— Зачем присвоил? Мои же ребята! Вместе делали. Конечно, бывать на заводе я не мог, разговоры по-

шли бы, Исаев этот... Оин ко мне каждый вечер иа вокзал прибегали, между поездами посидим в дежурке, обсудим, план иаметим, что и как. А когда успех вышел, всей бригадой притопали, расцеловались, чокнулись. Ну н премию тоже... поделили... Ох, ребятки, ребятки, до чего ж у иас миого чудесных людей! Вы ие поверите, как я все теперь оцеиил и сколько у меия даже в моем погаиом положеиии... сколько радости бывает.

Сели за стол. Выпнлн. Закусили картошкой с солью.

— Ты вот Чубака хвалишь, — мрачио заговорил Палька. — Все его хвалят, хороший мужик и прочее. Так почему ж он, секретарь горкома, ие вступится за тебя? Почему ж ои таких, как Исаев, ие прижмет к ногтю? Утешать — это, коиечно, очень мнло, но ои ие для того выбраи. Хорошнй, а молчит? Не поиимаю.

— Я и сам не все поиимаю, — медлеино ответил Маркуша.

— И я... — сказал Саша.

Он вспомиил пустую прнемиую Стадника, молчащие телефоиы и секретаршу, иеподвнжио сидевшую иа своем уже неиужиом месте, вспомнил трясущиеся руки Бурмина... Что это? Зачем? Как это объясиить другим и самому себе?

— А я так понимаю, братцы, — заговорил Липатов. — Много у иас всякой дряин застряло. Вот их и пропускают через сито. А заодио...

— Лес рубят — щепки летят? — подхватил Маркуша с грустиой усмешкой. — Эту поговорку мие человек двадцать говорили. Только быть той летящей щепкой иикому не пожелаю.

Ои потяиулся за бутылкой, иалил всем еще водки, залпом выпил.

— Никому ие пожелаю, — повторил он н задумался.

И все задумались — об одиом н том же н каждый о своем.

Сидели четыре коммуниста и одиа комсомолка, снделн, молчалн и старались иайтн ответ.

— А уж если совсем до коица додумать, до самой глубниы, — снова заговорнл Маркуша, — такое

у меня бывает чувство: пусть я щепка, пусть пострадал... лишь бы действительно всю нечисть долой! Ведь вот в приемных этих, в коридорах — каких я только не встречал типов! Каждый клянется, что пострадал зря, что ничего за ним нету... а иной, смотришь, такой озлобленный, такой... ну, понимаете, два месяца, как исключен, а уже говорит с этакой злостью «они», «у них»... Кто из нас про свою партию скажет — «они»?! И еще прохвоста встретил — тут же, в коридоре КПК, разглагольствует прямо по всей троцкистской платформе!.. Ну, я его за грудки взял, чуть душу ему не вытряхнул! Разняли нас. И вот я думаю иногда — чтоб этих выкинуть, чтоб от них избавиться — ну пусть мне плохо, к черту меня, что я! Лишь бы их...

Палька открыл рот, чтобы возразить, но промолчал. Я бы так не мог, думал он. Я бы все на свете разнес, защищаясь!

— Зачем тебя-то к черту? — мягко сказал Саша. — Пусть уж эта нечисть к черту катится. Что, нет сил разобраться?..

Маркуша поглядел на часы — шел пятый час, скоро поезд.

Липатов вытащил кошелек, достал несколько червонцев.

— А ну, ребята, выкладывай по полста.

Собрал деньги, положил Маркуше во внутренний карман. Маркуша стиснул челюсти, молча кивнул — спасибо.

— А с чемоданами, Серега, кончай. Контора моя пока тут, на днях переберемся на Старую Алексеевку. Приходи завтра к концу дня, приму тебя механиком. Не вскидывайся, я в барыше, мне такого инженера по-доброму никто не даст.

Люба вскочила, быстро поцеловала Липатова в висок и убежала в кухню.

— Но ты понимаешь... — начал Маркуша.

— Понимаю, — сказал Липатов. — Начальник опытной станции я, мне отвечать. Буду по делам в горкоме, согласую с Чубаком. А нет, так... Да что я, не знаю тебя?

Вышли на крыльцо. Вдали полыхало зарево очередной плавки, но зарево казалось бледным в свете занимающейся зари. Где-то прокричал молодой пе-

тушок, за иим хрипло прокукарекал старый, н пошли кукарекать, перекликаясь, все окрестные петухи.

— Вот теперь ясио — дома! — сказал Липатов, вслушиваясь в рассветиую музыку Донбасса.— А что ж Коксохим молчит?

И как раз в эту минуту загудел могучий гудок Коксохима.

Басовито поддержал его Металлургический.

Заливисто вступил молодой гудок Азотиотукового.

Словно откликаясь на зов, прокричал на станции паровоз, тонко засвистела маневровая «кукушка» в стороне шахты.

Со звоном пронесся по проспекту первый трамвай.

Загрохотали, подпрыгивая, порожние грузовики.

Захлопали, заскрипели двери.

Зашелестели, застучали шаги ранних пешеходов...

Зарево плавки сникло — или его победил разгорающийся свет зари? Вон как она раскинулась на полнеба, подсвечивая разнообразные дымы, то белые, легкие, то густые, черные, вздымающиеся тут и там из десятков заводских труб. Ну, здравствуй, Донбасс, с добрым утром, родная сторона!

— Серега, может, не надо к поезду? К жене пошел бы...

— Нет. Когда оформлюсь, тогда уж...

Они смотрели, как Маркуша быстро шагает по улице, в обтрепанном пальто, в форменной фуражке носильщика, чуть скосив натруженные плечи.

— Скорей бы! — сказал Палька. — Уж если такого не восстановят...

— Факт, восстановят! — подтвердил Липатов. — А как он сказал насчет этих прохвостов!..

— «К черту меня!» — задумчиво повторил Саша. Он снова вспомнил Стадника и поверил, что и у Стадника, и у Маркуши все разрешится хорошо. — Может, действительно при такой чистке без перехлестов не обойтись?..

От этой мысли всем стало легче. Но каждый мельком подумал: рассуждать легко, а если бы это коснулось меня?..

Это коснулось Пальки Светова.

Но в первые дни после возвращения Пальке и

в голову не приходило, что ему грозит беда,— слишком он был увлечен, да и чувствовал, что самые разные люди поддерживают и одобряют новое дело, от рядовых шахтеров до Чубакова.

Правда, еще уклончивей стал Сонин и притворялся крайне занятым Алферов, но до них ли было сейчас! Приходя в институт, Саша и Палька вербовали работников для опытной станции и договаривались с кафедрами Китаева и Троицкого о совместных научных исследованиях. Нельзя было не почувствовать, что Китаев держится холодновато, чересчур вежливо, как с чужими, но это мало заботило его бывших учеников — злится старик, ну и пусть злится, сам виноват!

У Пальки затянулся обмен партийных документов, хотя все коммунисты института уже получили новые партбилеты.

— Очередь прошла, вот и канителят! — успокаивал себя Палька. Теперь, когда проект утвержден, создается опытная станция и Павел Кириллович Светов назначен главным ее инженером, кто станет вспоминать о том, что этот самый Павел Кириллович не вернулся в срок из командировки?

Бывая в институте, Палька всю свою энергию направлял на то, чтобы забрать в штат опытной станции Степу Сверчкова и двух Ленечек: Леню Гармаш и Леню Коротких. Эти старшекурсники решили кончать заочно и писать дипломные работы по подземной газификации. Для этого им следовало перейти под руководство профессора Китаева, а Китаев заартачился...

Но главные заботы поглощала подготовка к строительству станции. Казалось бы, невелика стройка. Но когда кругом десятки больших и малых строек, без хлопот даже гвоздя не достанешь, за обыкновенной доской приходится гоняться, а получение грузовика или небольшого крана требует недюжинной изворотливости. И в эту же бурную пору подъема и перемен каждый рабочий человек — даже без профессии — нарасхват. А уж мастеров надо ловить, переманивать у соседей, соблазнять высоким заработком или хорошим жильем.

Молодые руководители станции № 3 не могли обещать ни особых заработков, ни жилья, они еще не могли назвать и точного адреса станции, так как уча-

сток пласта на Старой Алексеевке оказался неудачным, изрезанным заброшенными выработками, а за новый участок шла борьба.

Приманка у них одна-единственная — новизна и важность задачи. Это был главный козырь — и козырь действовал. Разные люди сходились в квартиру Липатова, ставшую сразу и тесной, и замусоренной, и прокуренной насквозь. Приходили комсомольцы, привлеченные необыкновенностью начинания, разные «перекати-поле», не прижившиеся на других стройках, школьники, заскучавшие за партой, — те скрывали адреса родителей, прибавляли себе год, а то и два. Палька ежедневно произносил перед этими людьми пылкие речи о ликвидации подземного труда и технике будущего коммунистического общества, напирая на то, что поначалу будет трудно. Отбирал тех, у кого загорались глаза.

Липатов бегал с утра до ночи по разным учреждениям, везде у него находились дружки, а где не было, заводились новые. Часто он шел по следам Алымова, побывавшего тут по делам станции № 1; но там, где Алымов брал «басом», Липатов добивался того же дружелюбием, хитростью, шуточкой.

— Где боком, где скоком, а добудем! — посмеивался он.

Тяжелее всего было переменить участок пласта. Участок был выхлопотан Углегазом в Москве, через наркомат, местные руководители понимали, что участок плохой, но кто отменит решение центра? Липатов посоветовался с дружками и подыскал участок неподалеку от Азотнотукового завода: на Азотнотуковом недавно пустили кислородный цех, откуда по трубопроводу можно брать кислород для дутья. Над участком — степь, удобно строиться.

Липатов связался по телефону с Углегазом. Олесов «болел» с того дня, когда растворился в воздухе на пороге опустевшей приемной Стадника; замещал его Алымов, но и Алымова на месте не оказалось; Колокольников выслушал Липатова и сердито ответил, что надо было думать раньше, не будет наркомат перерешать, для небольшого опыта и такого участка достаточно, «не выдвигайте чрезмерных требований».

Липатов чертыхнулся и решил пойти к Чубакову.

Приемная секретаря горкома была полна, люди стояли и сидели группами, обмениваясь своими заботами и замыслами, — и сколько же тут сталкивалось разнообразнейших людей и интересов! В ожидании все знакомились; выходившие из кабинета охотно рассказывали, чего добились, за что Чубак «покрыл» и в чем поддержал. Встревоженный толстячок — видимо, новый работник — допытывался у всех:

— Как с ним держаться? На что напирать?

Начальник одной из строек сперва отмахивался от назойливых вопросов, потом ответил, сверкнув глазами:

— Подбери пузо и напирай на дело, иначе убьет, он такой!

В это время сам Чубаков вышел из кабинета.

— Ого, да тут опять полным-полна коробушка!

Был он молод, хотя и успел повоевать в гражданскую войну здесь же, в Донбассе. Простоватое выражение лица делало его похожим на рабочего парня, да он и был рабочим парнем, коренные шахтеры помнили его забойщиком и комсомольским заводилой.

— Кто тут ко мне и по каким делам? — спросил Чубак, оглядывая всех и здороваясь со знакомыми.

Выяснив, кто и зачем пришел, он ловко растасовал очередь — кого послал ко второму секретарю, кого — в горсовет:

— Скажи, я послал, пусть решит сегодня же.

Узнав, что Липатов, Мордвинов и Светов пришли по делам подземной газификации, Чубак отложил беседу с ними на конец приема.

— Хочу вникнуть в существо. Погуляйте часок, ребята.

Беседа началась с того, что они объясняли Чубаку свой метод, чертили схемы процесса, показывали протоколы опытов.

— Нерешенного много? — спросил Чубак.— Опыты продолжаете? Институт помогает?

— Да мы сами институтские.

— Ну-ну... Вы Сонина трясите, не жалейте, он дядя осанистый, беспокоиться не любит, верно?

Узнав про историю с пластом, Чубак почесал в затылке, поразмыслил и позвонил начальнику шахтоуправления:

— Давай сделаем так. Составьте акт, запрещающий строить станцию на Старой Алексеевке. Поглядите, что за участок возле Азотнотукового, и, если подходит, закрепите за опытной станцией, а ребята быстро расположатся там и начнут работы. Письмо с приложением акта отправьте в наркомат. Договорились?

Повесив трубку, он весело пояснил:

— Пока от зама к заму ползет, мы уже тут!

И строго — Липатову:

— Смотри мне, Михайлыч, чтобы в тот же день расположились!

Когда разговор дошел до приема на работу Маркуши, лицо Чубака потускнело, стало старше.

— М-да... — протянул он и начал катать по столу карандаш.

— История с листовкой была при мне, все это обвинение — сущая чепуха, — сказал Саша. — Я написал заверенное свидетельство, оно приложено к апелляции. Маркуша — честный коммунист.

— Надеюсь, что так,— задумчиво произнес Чубак. — Три коксовые печи уже работают по его методу...— Он вынул из внутреннего кармана газетную вырезку.— Вот — хвалят. Только автора не упоминают.

Он перечитал про себя статью и спрятал ее. Сидел с опущенными глазами, мучительно сведя брови.

— Конечно, — сказал он, — преступно держать талантливого инженера носильщиком. Инженер-коммунист — у нас их немного. Он и парень... запальный, как шахтеры говорят.

— Замечательный парень! — подхватил Липатов и припомнил ночной разговор, когда Маркуша сказал: «К черту меня, что я!»

Чубак слушал, лицо его разглаживалось, светлело.

— Ну вот что, хлопцы... Трудно мне решать этот вопрос. Очень трудно. Но действительно получается нелепое разбазаривание сил. Вы в нем уверены? Берите! Ты, Иван Михайлович, единоначальник, да еще всесоюзного подчинения. Имеешь полное право нанимать специалистов по своему разумению. Партийных и беспартийных, так? По Конституции каждый имеет право на труд. Бери его, и пусть работает. Понимаешь?

Ои встал, прошелся по кабинету, резко задвигая отодвинутые от стола заседаний стулья.

— А Стадник-то... — вдруг сказал он и посмотрел на трех собеседников расширенными, удивленными глазами. — Арсений-то! Я ведь с ним работал. Он был у нас на шахте парторгом...

— Ну, ладно! — сам себя оборвал он и сел за стол. — Что там у вас еще? Вижу, целый блокнот исчеркали.

Оставшиеся вопросы он снова решал энергично, с задоринкой. Но тень раздумья и горечи лежала на посуровевшем лице.

Итак, она вернулась туда же, откуда уехала три месяца назад. Крохотная комнатушка, отделенная дощатой перегородкой от родительской спальни. Выгоревшие обои, старая кровать под пикейным одеялом, столик и скрипучие стулья.

Теперь их двое: она и Саша. Но Саша до ночи пропадает у Липатова, в институте и еще бог знает где. Приходит усталый, взвинченный. Ласков — и засыпает, как только опустит голову на подушку. Мечтает переехать с Любой «на нашу станцию», но это будет тогда, когда им выделят новый участок, когда им дадут квартиру или построят первый дом.

Люба помогает матери по хозяйству и без конца объясняет любопытным соседкам, что за дела привели Сашу обратно. Люди верят и не верят. Людям странно: выдвинулся из шахтерских детей в ученые, поехал в столицу к знаменитому академику... и вдруг прикатил назад! Что-то не так...

Отец поглощен своими делами — его участок на первом месте, шахта в целом вошла в ритм главным образом потому, что по-новому перестроили работу на откатке, а эта перестройка — идея отца. Кроме того, отцу оказали большой почет — избрали членом горкома партии, Чубак привлек его к проверке работы Донецкугля — отец ходит обследовать, а потом допоздна сидит, скрипит пером, все записывает, не надеясь на память. За вечерним чаем обсуждает с Сашей, удастся ли избежать войны, на вырезанной из газеты карте второй пятилетки отмечает красными зве-

здочками каждый вступивший в строй завод, электростанцию, шахту — индустрия! Почувствуют ее фашисты, если сунутся!.. По-видимому, отец доволен, что опыт подземной газификации начинается и Никита нанялся на бурение скважин, но самому Никите он этого не показывает, а девушку его совсем не признает, будто ее и нет на свете.

Никита почти не бывал дома, приходил, когда голод загонял, стараясь не встречаться с отцом; мать торопливо кормила сына и плакала, глядя на его мрачное лицо.

— Губит его эта девка,— говорила она Любе.— Заносчивая, злая! По щекам отхлестала, а он, как собачонка,— за нею!

— Гулящая,— коротко определил отец.

— Ты только не слушай их,— предупредил сестру Никита. — Леля для меня — жена и самый первый человек. Не понимают они ничего, старики. Лелю обидели — до сих пор не простила ни им, ни мне. А я промежду двух огней.

И почему брат не ушел к своей Леле, если она жена и первый человек? Негде жить? Поискать — нашлось бы! Никита ждет, что опытная станция даст им жилье. Но когда это будет? Снял бы какой ни на есть угол и жил бы со своей Лелечкой, раз такая любовь.

— Не соглашается она,— сердито объяснил Никита.— Говорит: ты не красна девица и я не казак, чтоб из дому тебя выкрадывать. Женишься — так женись по форме, чтоб весь поселок слышал и родители признали как положено. А не решаешься — подожди, может, тебе по своему вкусу невесту найдут... Вот в какое положение они меня ставят!

— Ты бы поговорил по-хорошему.

Никита даже отшатнулся:

— С отцом? Что ты!

Как странно, думала Люба, такой отчаянный парень, а дошло до серьезного — растерялся. Другой бы злился, скандалил, а Никита перед отцом как мальчик виноватый. Или мы оба такие, податливые, мягкосердечные? Вот и я...

Места она себе не находила с того дня, как снова вошла в родительский дом. С горечью примечала: дорогие подружки, что так восторженно провожали ее

в Москву, теперь говорят с нею, как с больной. Вернулась назад «ни с чем» — так они понимают. Зато у подружек случилось за три месяца немало перемен, и это уязвляло Любу.

Удивительней всего показалась Катерина. Жалела ее Люба, побежала к ней по приезде, готовясь сочувствовать, помогать. А Катерина вышла к ней какая-то совсем новая — размашистая, деловая, дерзкая, говорит по-мужски сурово, с нажимом, а глаза смеются. Мало того, что в партию вступила, так еще выбрали ее членом шахткома и поручили, как она называет, «соцбыт»: возится с жилищными делами, ссудами, пособиями, бегает по общежитиям и землянкам — обследует, кто как живет. Люба украдкой разглядывала ее — раздобрела, живот заметно округлился. Осторожно сказала: «Поберечься бы тебе»,— но Катерина усмехнулась:

— Кто бережется — себя теряет. А мне, Люба, жить хочется!

И опять заговорила о своем соцбыте, будто и не о чем больше разговаривать. Заторопилась куда-то — проверять заявление о прохудившейся крыше. Проводила Любу до ее калитки, быстро обняла сильной рукой, шепнула, глядя прямо в глаза:

— Ох, Любушка, я сейчас — ну будто на гору взошла.

И зашагала по улице, вскинув голову. А Люба глядела вслед и чувствовала себя внизу, далеко-далеко от той горы...

Две подружки-одноклассницы, поступившие откатчицами, участвовали в организации откатки по-новому. Портреты их вывесили у входа в шахту. Там же, где давно висит портрет Кузьмы Ивановича. Слава отца была для Любы привычна, но Ксанка и Настенка... Да нет, и это понятно. Сколько помнила себя Люба, многие люди вокруг приобретали добрую славу, переезжали из Нахаловки в новые дома, учились, вступали в комсомол и в партию, выдвигались на всякие общественные дела. И все это происходило быстро — пятилетки! Когда старики рассказывали о прежнем шахтерском бытье, ей казалось, что до пятилеток ничего не было, кроме мрака и неподвижности. Правда, были еще революция и гражданская война, но эти

события в ее представлении прямо смыкались с пятилетками, с быстрым изменением людей и всей жизни. Вот и у Настенки и у Ксанки случилось хорошее. А Люба за это же время ни на шаг не двинулась вперед...

Она заглянула в детский сад, где проработала около двух лет. Сотрудницы ей обрадовались, а дети... дети или не узнали, или уже отвыкли от нее. Девушка, заменившая Любу, играла с ними в какую-то новую игру, и даже Данилка Тишкин подчинялся ей точно так же, как раньше подчинялся Любе.

— Очень кстати! — сказала заведующая, деликатно скрывая сочувствие.— Зина скоро в декрет, приходи на ее место.

— Что вы! — сказала Люба.—Мы приехали на важнейшую стройку!

И поспешила уйти.

Дома было пусто и тихо. Мать сидела у печки и вязала крошечную кофточку. Люба присела рядом. Помолчали.

— Выстирала я твои блузки,— сказала мать.— Погладь, пока не пересохли.

Так мать побуждала ее хоть чем-нибудь заняться.

После московского электрического старый духовой утюг матери показался тяжел и неудобен. Мелкие складочки никак не давались.

Влетел с улицы Кузька, швырнул книжки на подоконник, остановился возле сестры.

— Скоро у вас стройка-то начнется?

— Скоро. А тебе что?

— Поглядеть охота. И ты туда поедешь?

— Поеду.

— И я поеду... посмотреть. А после седьмого класса работать наймусь.

— Еще двадцать раз передумаешь.

— Нет.— Кузька поразмыслил и с укором сказал: — Как ты рассуждаешь — передумаю! А Саша передумал?

— Так то Саша,— растерянно произнесла Люба и замерла с утюгом на весу над подарком Катерины — украинской рубахой. «Тебе подходит яркая,— сказала Катерина.— Вся твоя судьба будет яркая, счастливая». Да, в те дни подруги завидовали Любе.

— А ты чего такая вареная? — спросил Кузька недоброжелательно.— Или с Сашей поругаться успела?

— Дурак,— отрезала Люба.

Оставшись одна, снова замерла с утюгом в руке. Вареная? Даже Кузьке бросилось в глаза — вареная... Саша придет и заметит. «Любимая — друг. Выше этого нет ничего...» Так сказал Саша. И я сама, сама согласилась вернуться, сама обещала: что бы ни было — с тобой! Трубы... Как они пели, трубы! Тра-та-тамм! Тра-та-та-тамм!.. Я испугалась и все-таки сама решила: что бы ни было, пусть!.. Как же я смею теперь ходить вареной? И вдруг он уже заметил, что я такая?

Когда пришел Саша, Люба выскочила навстречу сияющая, в украинской ярко вышитой рубашке.

— Ты уже знаешь, Любушка?

— Что?

— Значит, почувствовала? Ты всегда все чувствуешь. Наши дела идут прекрасно! Получили пласт, тот самый, возле Азотнотукового! Уже были там, все разметили и обдумали, Липатушка остался рыскать по соседним поселкам, найти хоть немного жилья на первое время, пока не построимся. А я помчался к тебе. Потерпи еще немного, скоро двинемся, вот только найдем что-нибудь приличное...

— Да хоть в барак! Хоть в землянку! — воскликнула Люба, целуя его.— Побелю, покрашу, уют наведу — еще как славно будет!

А часом позднее прибежал Степа Сверчков.

Его круглое, доброе лицо, всегда являвшее готовность улыбнуться, сейчас было покрыто каплями пота и выражало крайнее волнение. Дышал он тяжело, вероятно, бежал от самого трамвайного кольца.

— Я вас всех с утра разыскиваю! — сказал он, зачерпнул воды из ведра и жадно осушил целый ковш.

У Саши напряглись скулы и взгляд насторожился, но голос прозвучал невозмутимо:

— Мы осматривали участок. Пласт превосходный.— И небрежно: — А что случилось?

Степа покосился на Любу.

— Говори, говори,— сказала она.

Где-то далеко грозно пропели трубы: «Тра-та-татамм! Тра-та-та-тамм!» А Саша обнял Любу, то ли го-

товясь поддержать ее, то ли сам ища у нее защиты от чего-то, что надвигалось.

— Черт его знает! — сказал Степа, подчиняясь спокойному тону Саши.— Что-то заваривается, а что — не пойму. Завтра у нас партбюро. Первый вопрос — дело Светова. Я спрашиваю: какое дело? Алферов говорит: он же не обменял партдокументы. И смотрит в сторону, знаешь, как он умеет? А на столе папка «Дело Светова». Я потянулся, а он локтем прижал: на бюро придешь, тогда и ознакомишься. И опять — глаза в сторону.

— А что ему могут пришить? Ничего серьезного! — не очень уверенно сказал Саша.— Жаль, Липатушка может не поспеть...

— И еще одна... прямо гадость! — продолжал Степа, брезгливо морщась.— Ленька Гармаш! Вчера у Алферова добрый час сидел... сегодня у Китаева... потом у Сонина... И вдруг начал заикаться: как это мы институт бросим, дело непроверенное, заочно учиться трудно, а дипломы по такой новой теме — еще неизвестно, выйдут ли. Надо, говорит, взвесить, ребята.

Саша остался спокойным.

— А ты думал, чудак, без таких историй обойдется?

Не позволяя себе волноваться, Палька взбежал по институтской лестнице и тут повстречал нежданных гостей — Колокольникова и Алымова. Каким ветром их занесло сюда? И раз уж они здесь, не могут ли авторитетом Углегаза поднажать насчет жилья, материалов и других потребностей станции № 3?..

— Не порите горячку! — с досадой прервал Колокольников.— Спешка до добра не доводит. Гораздо целесообразней подождать результатов Катенина.

Алымов стоял двумя ступеньками ниже, отвернувшись, и нетерпеливо постукивал ногой. Как будто он не имел никакого отношения к новой опытной станции.

— Как же ждать, когда...

— Мы едем на пуск станции, — опять прервал Колокольников.— И вообще поскромнее, товарищ Све-

тов, поскромнее! — Он чуть кивнул на прощание.— Пойдемте, Константин Павлович, а то не управимся до поезда.

Палька допускал, что люди, торопящиеся на испытание метода, в который они верят, могут быть невнимательны к автору другого метода, ими отрицаемого. Но от их подчеркнутой, беззастенчивой презрительности Пальку передернуло, и встреча на лестнице как-то связалась с тем, что ждало его в партбюро.

Да, что-то здесь изменилось. Алферов еле поздоровался, не поднимая глаз от бумаг. Сонин сделал вид, что не заметил вошедшего. Остальные члены партбюро здоровались вежливо, как с посторонним, и торопились отойти. Степа Сверчков сидел один в дальнем углу и оттуда смотрел на Пальку отчаянным, предупреждающим взглядом.

— Произошло что-нибудь? — через силу бодро спросил Палька.

Вопрос повис в наступившей тишине.

— Саша Мордвинов не приходил? — не сдаваясь, спросил Палька.

Перебирая бумаги, Алферов бормотнул что-то насчет закрытого бюро.

— Вы не пустили Сашу?!

И опять этот вопрос повис в тишине, и Палька с тоской ощутил, как уходит бодрость и завладевает им постыдный, нелепый страх... Ерунда какая, чего мне бояться? Я же у себя, среди своих, и ни в чем не виноват, и меня тут знают как облупленного!.. Но страх угнездился глубоко-глубоко, и, уже подчиняясь ему, Палька неуклюже присел на кончик стула.

А затем все произошло ошеломляюще быстро.

— Что ж, сперва отпустим Светова? — начав заседание, сказал Алферов и скороговоркой доложил, что коммунист Светов по недопустимой халатности опоздал к обмену партдокументов, самовольно задержался в Москве, не явившись в срок из командировки, до того не раз проявлял недисциплинированность и анархизм, морально неустойчив настолько, что ради личной выгоды совершил подлог. Собственно говоря, он сам поставил себя вне института и вне партии.

Просто, как бы между прочим, прозвучало короткое слово — исключить.

Что такое? Кого исключить? Да что он, с ума сошел?

— Как вы можете, Василий Онуфриевич?! — вскричал Степа Сверчков.— Не для себя же он! Для большого, нужного дела!

— Не знаю, какими делами можно оправдать подлог,— сухо заметил Алферов.— И мы не о подземной газификации говорим, этому делу мы сочувствуем. Но сейчас мы оцениваем партийный облик человека, претендующего на получение новых партдокументов. Партия нас учит подходить строго и бдительно, отсекать пассивных и неустойчивых. Светов нашего доверия не оправдал. Человеку, морально неустойчивому и недисциплинированному, партия доверять не может.

Партия доверять не может. Мне, Светову, не может доверять? Я не оправдал?.. Подлог! Какой подлог? Вот тогда, когда я подмахнул имя Китаева... Конечно, это было легкомысленно. Но Китаев потом хвастался, что выхлопотал у Лахтина отсрочку для Саши... Да ведь не только в этом меня обвиняют! Халатность... самовольно задержался... поставил себя вне института и вне партии... анархизм, морально неустойчив — это опять о телеграмме... Или действительно та подпись — преступление, подлог?..

Оглушенный, сбитый с толку, он начал объяснять по пунктам, как все произошло — с телеграммой, с командировками... Говорил он запальчиво и сам чувствовал, что скользит по пустякам, тогда как главное не в том. Главное — в коротком выводе: можно доверять или нельзя. Но как доказать, что тебе можно доверять? Что ты нужен партии, а сам без нее не можешь?

В другое время он, наверное, отругался бы. Это ж его товарищи — студенты, преподаватели, директор, — он с ними столько лет жил, работал, думал вместе... Но его замораживало их молчание. И то, что они на него не смотрят. Он говорит, а они молчат и не смотрят на него.

Он кончил, а они все еще молчат...

Преподаватель механики Суслов, крякнув, поднял руку. Палька вспомнил, что всегда дурно учил механику, пропускал занятия, Суслов ругал его. Сейчас он еще добавит...

— Надо бы запросить этот самый Углегаз,— пере-

шительно сказал Суслов.— Если он занимался доработкой проекта, все-таки это — оправдание. Мы знаем Светова как способного аспиранта. Как же так сразу? Ведь свой парень, шахтерский. У нас на глазах вырос.

Его поддержал студент-третьекурсник, который занимался у Светова в семинаре.

— Быть либералом проще всего,— оборвал его Алферов и всем корпусом повернулся к Сонину.— Ваше мнение?

— Мне очень неприятно, я всегда хорошо относился к Светову,— так начал Сонин.— Но я вынужден сказать вам, Павел Кириллович: вы честолюбивы и недисциплинированны. С первого дня, что вы увлеклись идеей подземной газификации, вы забросили институт, наплевательски отнеслись к своим аспирантским и партийным обязанностям. Вот мы подсчитали, вы пропустили пять партийных собраний...

— Он же был в Москве! — крикнул Сверчков.

— Да, он самовольно остался в Москве. Мы поступили либерально, не исключив его из аспирантуры сразу же. Необходимости жить в Москве не было никакой. Углегаз не возражал против его отъезда к месту работы. Я должен довести до сведения партийного бюро, что мы беседовали сегодня с руководителями Углегаза.

Он сделал многозначительную паузу и продолжал веско:

— С ответственными руководителями, приехавшими из Москвы! Они справедливо замечают, что полезней была бы постепенность опытов, без разбазаривания государственных средств на создание нескольких станций сразу, но Светов и его товарищи проявили нетерпение и чрезмерную настойчивость. Ради чего вы так спешите, Павел Кириллович? Ради личного успеха? Карьеры? Славы? Нехорошо! Непартийно!

Один из преподавателей, смущаясь, упрекнул Павла Кирилловича в том, что он и его товарищи сманивают из института студентов:

— Государство их учило, деньги тратило, а вы приехали — и бац! Давай бросай учебу, тебя ждут слава и инженерская зарплата. Что ж это такое? Анархизм! Развращаете молодежь!

— Гармаш поступил умней других, отказался,— подал реплику Сонин.

— Струсил он! — крикнул Сверчков. — Дайте мне слово!

Он ринулся на защиту Пальки. Но, стараясь отвести нелепые обвинения, он с такой восторженностью говорил о проекте подземной газификации и о Светове, что его речь прозвучала дружеским преувеличением. Когда же он гневно осудил Алферова за то, что тот не разрешил присутствовать Саше Мордвинову, Алферов прервал его утомленным голосом:

— Вот, полюбуйтесь! Без Мордвинова, оказывается, мы и решить не сумеем. Целое партбюро для них недостаточно авторитетно! — Он покачал головой и вздохнул. — Что ж, товарищи, пора закругляться. Как вы знаете, решать будет горком. Но вряд ли мы можем ходатайствовать о выдаче Светову новых партдокументов. Нет, не можем! Не имеем права!

Проголосовали. Пять — за исключение, двое воздержавшихся, один — против. Этот один — Степа Сверчков.

— Понятно, — насмешливо сказал Алферов и отложил в сторону дело Светова. — Второй вопрос...

— Нет, подождите! — выкрикнул Палька.

Он только сейчас по-настоящему осознал происшедшее. Стоит открыть и закрыть за собой дверь, как невозможное станет фактом. Но это же нелепость! Этого же не может быть! Он знал каждого из них и понимал, кто и почему голосовал за исключение. Одного смутили слова «подлог», «личная выгода», «карьера», «развращаете молодежь»... Второй всегда присоединяется к большинству, присоединился и сейчас. Третий испугался и робко, еле-еле, но поднял руку... А Сонин? Можно поручиться, что в глубине души он совсем не верит тому, что здесь говорилось, даже тому, что он сам говорил. Он-то, директор института, чего боится?.. Он-то почему во всех трудных случаях ныряет в кусты?..

И вот пять рук поднялись и перечеркнули коммуниста Светова.

Но разве эти пятеро — вся партия?

— Исключить меня вам не удастся! — выкрикнул Палька, вынул из кармана красную книжечку, пома-

хал ею и снова спрятал. — Не отдам! Вам самим будет стыдио! А мие уже сейчас стыдио — за вас! За вас! Что вы смеете... имеием партии... такое! Я пойду в горком... я...

И, почувствовав, что сейчас разревется, Палька выскочил из комиаты.

Они шли присыпаииой снежком степью напрямик — от института к поселку. Под ногами оседал мокрый снег, позади оставались темиые луикн, полиые воды. Не время было гулять здесь, ботиики промокли насквозь, зато хорошо дышалось н мысли приходилн в порядок.

Вечерний сумрак постепеиио сгущался, делая явствеинее иапряжениую жизиь, подступавшую со всех сторои: повсюду загорались огии; по шоссе мчались, сталкивались и расходнлись, помнгивая друг другу, пучки летящего света; то тут, то там искрили паровозы, вытягивая длиииые угольиые составы; совсем близко, на Металлургическом, поднялось облако желтого дыма, затрепеталн языкн огия — иа отвал сливали шлак.

Тнхо было в степи, прерывист разговор, поэтому так отчетливо возиикали и сопровождали трех друзей звуки трудовой жизни, продолжавшейся дием и иочью: шипеиие пара, лязг металла, громыхаиие поездов, могучий рев шахтиого веитилятора.

— Нелепость — да! — заговорил Саша. — Но мие совершенно ясно: когда начииается что-то новое, всегда находится куча перестраховщиков, трусов и маловеров.

— Я, конечио, вииоват с этой проклятой подписью, — говорнл Палька. — В горкоме я так н скажу. Но ведь это придирка!

— В шахте ннчего подобиого нет н быть не может! — вслух рассуждал Липатов. — Если чистятся от дряии, так дряиь и вычищают, без подтасовочек. Рабочий видит, кто работает, а кто баклуши бьет, кто для всех, а кто для себя. Послать бы этого Онуфриевнча уголек порубать — поглядел бы я, как он там посмел бы человека шельмовать ии за́ что ии про́ что. К Чубаку иадо идти, ои ие допустит.

— А с Маркушей? — тоскливо напомнил Палька.

И снова шли, молчалн, думалн.

— Сталину написать бы, — совсем тихо сказал Липатов, — все как есть написать: извращают, мол, Иосиф Виссарионович, самое святое, самое...

Он не докончил — не умел говорить вслух о том, что томит душу, что требует и не находит ответа. Сколько ни думай, никак не поймешь, что же это происходит? Зачем?.. Ведь такие парни, как Павел и Маркуша, — они же первыми пойдут в бой за Советскую власть, за партию! Жизнь отдадут не задумываясь! И зачем их треплют? Ради чего? «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей». Оно ж так и было! Каждый на себе чувствовал — и все в охотку работали, себя не жалели. Ну, спотыкались иногда, так ведь за что ни возьмись, все на своем опыте постигаем, не мудрено и ошибиться. А хотим мы сделать как лучше. Зачем же такие придирки и подозрения?.. Не помогает это, — вредит! Хороших работников за зря треплют. А всякие карьеристы и перестраховщики на этом карьеру делают. Раз не нашли виноватых — придумывают их, лишь бы бдительность проявить...

— Сегодня некоторые просто растерялись, — сказал Палька, снова и снова вспоминая, кто и что говорил, как все сидели и смотрели себе под ноги, — а Сонин и Алферов сами пугаются и других запугивают. Но как об этом напишешь?

Ему было не до обобщений. Его до сих пор била дрожь, и до сих пор он не мог взять в толк, что случившееся действительно случилось. Написать?.. Нет, сначала надо пойти к Чубаку, а если не поможет, тогда биться за себя всеми способами, какие только есть! Он мысленно и говорил, и писал, и произносил целые речи в свою защиту, и над всеми доводами звучала главная неоспоримая мысль: я же не хотел ничего, кроме хорошего, и жить иначе как в партии, я не умею, не могу, не хочу! Нет для меня иной жизни!

А Саша старался добраться до самой сути того, что происходит, и мысленно формулировал эту суть, привычно опираясь на недавние слова человека, которому безгранично верил, и все же споря с ним, потому что происходившее удручало Сашу, — что-то делалось неверно, во вред... Да, конечно, мир накануне страшной, быть может самой последней, решающей войны. Все напряжено до крайности. Социализму и фашизму ря-

дом не жить. Фашизм, так или иначе, опирается на всю сволочь, какая есть на земле. Против нас. Против народа. Началось с Испании. Испанию хотят задушить, залить кровью. И взорвать изнутри? Да, «пятая колонна»... Мы не хотим «пятой колонны», мы не допустим ее у себя! Мы обязаны быть очень бдительными. Но зачем же выдумывать обвинения против людей, которые наши от головы до пят? Ведь стольких честных коммунистов уже выбили из колеи! Написать?.. Но ведь многие пишут, надеются... Доходят эти письма? З н а е т он о них? Да как же он может не знать, ведь это не единицы, это тысячи! Наверно ему не так докладывают.

Внезапная мысль ударила его, как ток. Зачем же это делается и почему? А вдруг это не просто ошибки и перехлесты?.. Мысль была так страшна, что и друзьям не скажешь...

— Сейчас работать бы и работать! — простонал Палька.

— Вот и будем работать,— сказал Липатов.— Что ж ты думаешь, руки опустим? И тебя отстоим, и станцию построим.

Саша некоторое время шагал молча рядом с друзьями, потом подтвердил:

— Конечно!

И сам удивился, как такое померещилось.

Смутно белела степь, чавкала вода под ногами. Голые прутики новых посадок встали на их пути,— они прошли гуськом между молодыми деревцами и вступили на шоссе в том месте, где оно огибало холм с обелиском и взбегало на мост. Все трое придержали шаг перед обелиском, под которым лежал Кирилл Светов с боевыми товарищами. И зашагали дальше, убыстряя шаг. Надежда и вера шагали рядом с ними. И большая, напряженная жизнь окружала их своими энергичными светами и звуками.

2

— Пока нет...

Федя Голь отвечал все тише.

Но ничто не могло оторвать его от методично чередующихся, уже безнадежных работ.

Проба, анализ, запись.

Проба, анализ, запись.

Уже несколько часов никто не подходил к Феде, и только Катенин еще не сдавался — менял режимы дутья, что-то высчитывал, обдумывал, искал...

Теперь он уже не спрашивал результат, видя, что Федя записывает очередной анализ.

Он только смотрел издали, Федя чувствовал его немой вопрос и отвечал все тише:

— Пока нет.

И вот Катенин тоже не выдержал — шагнул за порог. Федя вздохнул, расправил занемевшую спину, подумал: продолжать или прекратить?.. И пошел брать очередную пробу.

Катенин шагнул за порог и остановился. Идти было некуда и незачем. К жене? Нет, только не к жене! Опустелая территория станции, холод и мокрядь южной бестолковой зимы... На ветру раскачивались, как маятники, фонари — еще вчера они казались Всеволоду Сергеевичу праздничной иллюминацией, он подгонял монтеров, чтобы к торжественному дню вся территория была освещена. И вот они болтаются, как насмешка, отбрасывая на затоптанную землю качающиеся круги жидкого света,— если долго смотреть на них, подступает тошнота.

И, как насмешка, надпись над скруббером: «Станция ПГУ № 1». Ваня Сидорчук с ребятами сами лазили устанавливать...

Что такое ПГУ?

Это так чудесно звучало — Подземная Газификация Угля. Сейчас это потеряло смысл. Поражение... Горечь... Усталость...

Да. Поражение, Горечь, Усталость.

Сколько еще проб можно брать из упрямства, из трусости перед истиной?

Газа нет. Пора честно сказать себе и людям: газа нет и не будет, пока... Пока что́? Пока я не найду свою ошибку? Не найду нового решения? Или пока другие, более удачливые, не добьются того, чего не сумел сделать я?

Что-то неладно в самом решении. Метод взрывов казался таким остроумным и удачным, я так гордился им. Это было *мое*, мое собственное... Но вот те мальчишки отказались от рыхления угля. Они сейчас стро-

ят свою опытную станцию. Никакого дробления угля. Химический процесс, подобный подземному пожару. Странная, дикая — но, быть может, правда?..

Нет, вздор. Крупнейшие специалисты говорят, что без предварительного дробления газификации не будет. Граб, Вадецкий, Арон высмеяли проект мальчишек. А Лахтин?

Да ведь и он не одобрил, он только сказал, что нужно испытать, что наука не стоит на месте. Но почему же во время спора с мальчишками я вдруг почувствовал, что мой проект *бескрылый?..*

Нет, это нервы. Надо подтянуться. Никогда ничто не получается сразу. Я найду ошибку. Усовершенствую метод...

А взрывы происходят неравномерно; они не обеспечивают того хода подготовки угля, который так красиво выглядел на схеме. Как оно получается — там, в недрах земли? То разгораясь, то замирая, в подземной тесноте мечется пламя. Оно лениво лижет уголь, раздробленный взрывом, и подбирается к следующему патрону. Патрон взрывается, вздыбливая толщу угля, раздирая его на куски. Пламя устремляется по трещинам, заползает в пустоты, охватывает все новые и новые куски!.. Густой дым ползет перед ним и устремляется в газоотводную трубу...

Газа нет.

Провал. Горечь поражения. И усталость — до ломоты в висках, до тошноты. Лечь бы...

Опыт начался на рассвете. Первые часы пролетели незаметно. Тогда все верили: еще немного подождать — и победа.

Возбужденный голос Алымова был слышен по всей территории станции. Его длинная фигура появлялась то в компрессорной, то в котельной, то возле насоса, то в центральном посту и в лаборатории. Временами казалось, что он пьян,— лицо горит, движения суматошны, размашисты, речь несвязна.

Рядом с ним выглядел таким сдержанным юный, сосредоточенный до предела Феденька Голь. И Ваня Сидорчук — его широкое курносое лицо, его коренастая фигура в праздничной белой рубашке под замызганным ватником успокаивали...

Комиссия — Вадецкий, Колокольников и местный профессор Китаев — сперва тоже болтались по станции, потом устроились в закуте, называемом кабинетом начальника. Когда Катенин заглянул туда, Колокольников с аппетитом рассказывал анекдот, а Китаев дремал. Вадецкий послушал анекдот, облизнул губы и весело обратился к Катенину:

— Подсаживайтесь к нам, истомившийся именинник!

В три часа комиссия уехала обедать. Алымов остался. Алымов еще надеялся на успех и боялся пропустить решающую пробу.

Федя бессменно делал анализы. Он работал, как автомат, и волновался, как родной сын об успехе отца... Нет, почему? Для него станция — своя, успех подземной газификации — личный, желанный успех. И для Вани Сидорчука тоже.

Я их обманул. Газа нет.

Было уже семь часов вечера, когда Колокольников, просмотрев журнал анализов, кисло попрощался с Катениным — понимаете, мне обязательно нужно выехать сегодня в Москву, я уже заказал билет...

Когда он заказал билет? По пути в столовую или сразу после обеда? Значит, он и тогда понимал, что опыт не удался. И заспешил в Москву, чтобы форсировать работы на станции № 2. Может быть, продумать свои — нет, катенинские — ошибки и что-то изменить у себя, что-то предусмотреть...

С Вадецким Катенин прощался, ничего не спрашивая. Конечно, за обедом они сговорились, заказали два билета и уезжают оба. Завтра в Москве узнают о провале Катенина...

— Очень важно собрать подробнейшие данные о ходе опыта,— сказал Вадецкий, тряся руку Катенина и глядя вбок.— Ну, желаю успеха и... терпения!

— Крысы!..— прошипел им вслед Алымов.

Женя сначала появлялась на станции, расспрашивала и подбадривала, потом увела к себе старичка Китаева пить чай, а потом и Китаев больше не появился, и Катя...

В неоклеенной, с некрашеными полами комнате Катя накрыла стол и уставила его закусками, привезенными из Харькова. Маленький, но банкет — так она

сказала. Люда была в отчаянии, что не смогла поехать вместе с матерью: заболел Анатолий Викторович. Прислала записку: «Целую тысячу раз и заранее поздравляю моего умного папку...»

Как держалась бы сейчас Люда: терпеливо ждала, как Федя и Ваня Сидорчук? Сбежала бы, как Колокольников и Вадецкий? Нервничала и злилась, как Алымов? Она тоже связывала с моим успехом какие-то свои надежды...

Три часа ночи. Как бы медленно ни развивался процесс...

— Ну что, Феденька, плохо?

— Пока.

— Можно прекратить, Федя. Иди спать.

— Всеволод Сергеевич!..

— Не горюй, Федя. Ничто не выходит сразу. Иди спать: утро вечера мудренее.

Хватило сил произнести это бодро, даже улыбнуться.

Сигнал «Стоп!» вспыхнул сразу во всех концах станции.

Постепенно снижая обороты, затихал компрессор.

Взревев напоследок, покрутился вхолостую и замер насос. Дрогнули и остановились стрелки приборов.

Стало слышно, как посвистывает пар в котельной...

Дверь распахнулась от толчка — на пороге возник Алымов. Бледный до синевы и злой как черт. Нет, синева не от бледности — просто успела подрасти черная щетина на щеках и подбородке. Он брился вчера вечером, чтобы в торжественный час быть в «форме». Прошло больше суток...

— Значит, провалились?—беспощадно сказал Алымов и, проходя, пнул ногой подвернувшийся табурет.

Федя стиснул кулаки.

— Константин Павлович, в научных экспериментах почти никогда не выходит сразу, и...

— Плевал я на эксперименты! — процедил Алымов и рухнул на стул. — Газ! Газ давайте, а не эксперименты!

Он покачивался, как от боли, и оттого, что цедил сквозь зубы и сжимал голову длинными побелевшими пальцами, казалось, что у него действительно болят зубы или голова.

Катенин подошел и обнял его. Он чувствовал себя бесконечно виноватым перед этим человеком, который так верил в него и столько помогал ему.

— Константин Павлович, не отчаивайтесь. Мы проверим все данные... Позднее можно будет вскрыть забой...

— Да пошло оно к черту, к дьяволу, к...— И, прибавив несколько сильнейших ругательств, Алымов отбросил дружескую руку Катенина, вскочил и устремился к выходу.

Катенин тупо смотрел, приникнув к окну, как мотается под фонарями, то пересекая круги света, то пропадая в полосах мрака, длинная костлявая фигура с болтающимися руками.

Ласковая ладонь осторожно легла на его плечо. Катя?..

— Пойдемте, Всеволод Сергеевич,— прошептал Федя.— Екатерина Павловна ждет вас. И мы голодные, и я, и Ваня Сидорчук. Можно, мы пойдем к вам?

Ваня тоже оказался тут.

— Не убивайтесь, товарищ начальник,— сказал он.— У нас в полку был такой взводный Костромин, так он на физкультуре говорил: «Ребята, больше попыток! Окромя чепухи, с первой попытки ничего не выжмешь. А вот после сотой я тебе доподлинно скажу, чи ты молодчага, чи нет».

Были они в сговоре с Катей или нет, Катенин не понял, но, когда они пришли все трое, на столе стояло четыре прибора и четыре рюмки.

— Так вот,— сказал Ваня.— За вторую попытку, Всеволод Сергеевич, и чтоб к концу дела все могли сказать: молодчага! — Он смущенно покосился на Екатерину Павловну.— Вы простите, конечно, я попросту.

Как ни странно, все ели много, незаметно распили бутылку вина, незаметно развеселились. Катенин даже пошучивал по поводу комиссии, только все, что говорили вокруг, и все, что он сам говорил, звучало где-то в отдалении от него, туманно и глухо.

А потом он лег — и сразу провалился в сон.

Уезжая, Алымов не нашел нужным сообщить, что он будет предлагать в Углегазе. И Катенин не знал:

продолжать ли опытные работы? Выезжать ли в Москву? Закроют ли финансирование, распустят или оставят штат станции?

— Конечно, нужно продолжать! — говорили работники станции.

— Вам бы съездить в Москву — уточнить, — советовал Сидорчук.

Работа продолжалась — приводили в порядок записи опыта, оии могли пригодиться и Катенину, и другим, их могли потребовать для отчета. Федя выписывал все даиные старательно, вдумчиво, находил какие-то обнадеживающие симптомы...

— Да, да, надо проверить,— вяло откликался Катенин.

— Я все думаю, Всеволод Сергеевич, — однажды сказал Федя,— Углегаз очень плохо объединяет силы. Если бы на месте Колокольникова был другой, творческий человек! Ведь ряд людей думает, ищет, разрабатывает... Тут же, в Донбассе, начинают строить другую опытиую станцию. Так вот, если бы все усилия объединить, если бы организовать обмеи мыслями, у одиих взять то, у других еще что-то... скорее бы добились, правда?

Катенин быстро обернулся и в упор поглядел иа Федю... Да, он так и думает. Никакой задией мысли у него иет. Вероятио, ои по-своему прав. Что ему личные мечты Катенина? Для него подземиая газификация — это подземиая газификация. Катении ли ее осуществит, или кто-то более удачливый, ие все ли равио! А Ваия Сидорчук? «Чи ты молодчага, чи иет...» Ему-то уж совсем безразлично, кто автор. Если молодчагой окажется другой или другие — те мальчишки из Доиецка хотя бы,— ои будет радоваться их успеху, как радовался бы успеху Катенина. А то и больше. Ведь те мальчишки ему ровесники, донецкие ребята, земляки... Что ему, молодому, крушение надежд старого иижeнера, поверившего, что жизнь иачинается заиово?

Федя продолжал говорить. И Федя, и его голос были далеко, Катеиии уже не воспринимал слов. Зато ярко, как иаяву, возникли — одио за другим — два воспомииаиия.

Кабинет Арона, на диване раскрытые справочники, стол завален набросками и подсчетами... Мысль родилась без какого-либо толчка или ассоциации — подземные взрывы! Откуда это? Да нет, ниоткуда — это мое! Мое собственное! То самое решение, которое столько искал! Был ли он когда-нибудь в жизни так счастлив, как в тот момент творческого прозрения?

Концертный зал. Пианист, играющий одну из лучших сонат, какие существуют. Музыка — и продолжающаяся работа мысли, но работа, вобравшая в себя эту потрясающую музыку, очищенная от всего мелкого, от корысти и честолюбия... Музыка — и вдруг возникшее предчувствие испытаний, и готовность к ним, и высокая чистота помыслов и чувств — взлет, поднимающий человека на подвиг...

— Это будет! — невпопад сказал Катенин Феде и вышел, чтобы в разговоре не потерять живое, неугасшее чувство.

Когда он пришел домой, Катя заговорила осторожно, как говорили с ним теперь все:

— Ты замучился, Сева, мне так хочется, чтобы ты поехал домой и немного отдохнул. И Люда... Знаешь, у меня есть подозрения: может, она все-таки ждет ребенка? Она отшучивается, но мне кажется... Она стала такая раздражительная...

Он отлично понимал подлинный смысл ее слов: мой бедный Сева, успех обманул, но ведь нам и без него было неплохо, вернемся в наш уютный домашний мирок!

Тремя часами раньше он рассердился бы. Сейчас он только усмехнулся про себя: примчалась Катюша праздновать, но праздник не вышел. Казалось, при ней еще досадней переживать провал. А она оказалась нужна, неожиданно нужна совсем для другого. Чтобы я увидел: она примет меня бережными руками в ту, прежнюю жизнь без взлетов и падений, она устроит все так, что я не почувствую ни обиды, ни уколов самолюбия... Да, она оказалась очень нужна для того, чтобы я увидел, как легко и безболезненно можно отступить... и все-таки не захотел отступать!

— Всеволод Сергеевич, Москва!

Он помчался к телефону, готовясь к самому худ-

шему, потому что звонить могли только два человека — Колокольников или Алымов.

— Здравствуй, дружище! — раздался в трубке негромкий голос Арона.— Надеюсь, ты не раскисаешь?

— Нет, конечно! — легко ответил Катенин.— Но ты просто молодчага, как у нас тут говорит один славный парнишка, что позвонил именно сегодня.

— А я по делу,— сказал Арон, и Катенину отчетливо представилась его умная ироническая улыбка.— Я звонил академику Лахтину. Он сказал: «Ничего удивительного. Первый опыт подземной газификации в истории техники — и вы сразу ждете успеха? Нужно изучить причины неудачи. Нельзя ли добраться до самого очага горения, когда малость остынет, и поглядеть, что там получилось? Это было бы полезно». Ты слышишь?

— Да, да. Хорошо, что есть на свете мудрые люди!

— Недурно. Слушай дальше. Звонил Бурмину. Бурмин ругается, но сказал вот что: «Не вздумали бы они носы вешать! На эту...— ну, тут одно словечко не для телефонисток...— государственные денежки ухлопаны. Пусть ищут ошибку и работают так, чтобы пар шел».

— Что? Что шло?

— Пар! Петя, Анна, Рафаил. Пар! От тебя, по-видимому.

— А-а... Значит, он тоже за продолжение работ?

— А ты как думал? Держись, Всеволод! До свидания.

Катенин повесил трубку, но медлил выпустить ее, словно через нее продолжало сочиться человеческое тепло.

3

— Привезут кирпич — обязательно проверь по накладным!

— И погляди, добурили там до угля или нет.

— Должны звонить из горкома комсомола насчет субботника — жми вовсю, чтоб скорее!

Так говорили Саша и Липатушка, забираясь в кузов грузовика.

— Ладно, езжайте.

Машина торжественно прошла под новенькой выве-

ской через ворота, стоявшие особняком (для забора еще не подвезли доски), и помчалась по степи, разбрызгивая талый снег. Липатов и Саша привалились к стенке кабины, прячась от ветра, но еще долго прощально махали руками, будто уезжают невесть куда и на сколько.

Палька отвернулся и побрел по пустырю, окаймленному столбами несуществующего забора. Груды бревен, кирпича, труб лежали тут и там. У единственного, наскоро сколоченного барака бухгалтер со странным именем-отчеством — Сигизмунд Антипович — неумело колол дрова: тюк-тюк, тюк-тюк, а чурка целехонька. Над буровой вышкой щелкал на ветру красный флажок, повизгивал на блоке трос. Проходчики вылезали из ямы будущего ствола, щепками счищали с сапог густо налипшую глину, закуривали, покрасневшими руками прикрывая спички... Шабаш.

Друзья сделали все, что могли, сглаживая обидную неловкость: двое поехали на городской партактив, а третий остался, третьего туда не пустят. Всяких разных поручений навыдумывали, чтоб чувствовал себя по горло занятым.

Третий месяц тянется канитель. Горком и не подтвердил исключения, и не выдал нового билета. Никак не пробиться было к Чубакову, а когда пробился, Чубаков недовольно сказал:

— Ну что ты на рожон лезешь? От работы тебя не отстранили? Товарищи тебе доверяют? Ну и работай! И напиши нам объяснительную записку по всем пунктам обвинения. Понял? Продумай, посоветуйся. А мы запросим Углегаз, что тобой проделано в Москве. Кому лучше адресовать? В партбюро? Григорию Тарасовичу Рачко? Добре. На днях запросим, а ты не переживай.

— Но как же, когда я...

— Ты парень башковитый, и нечего дурить. Строй свою станцию и всю инженерию подготавливай, чтоб осечки не вышло. И ко мне больше не ходи. Вызовем, когда понадобится.

Легко сказать — работай и не переживай!

Без работы он и жить не смог бы, тут подстегивать не нужно. Только в кутерьме строительства удавалось на время забывать, какая беда случилась. Но и здесь

то одно, то другое напоминало: ты не как все, ты исключенный, тебя лишили доверия... На стройке создается партийная организация, проходчик дядя Алеша записывает коммунистов, а ты сторонишься, прячешься, чтобы не объясняться при всех. Приехал инструктор горкома познакомиться с новой стройкой — убегаешь в дальний конец площадки, лишь бы не попасться на глаза. И вот сегодня — актив. Сестра Катеринка, кандидат без году неделя, приглашена особым билетом. А ты уже не актив...

Обида такая, что кричать хочется. А на кого кричать?

С трудом решился пройти в институт — прочитать формулировку страшного решения. Сам себя за шиворот тянул, готовился к тому, что люди будут шарахаться: лишенный доверия... А вышло иначе. Тот самый член бюро, что испугался слова «подлог», остановил Пальку и быстро сказал:

— Не расстраивайтесь, Павел Кириллович, вас конечно же восстановят!

Алферов встретил добродушно и разговаривал тоном человека, сумевшего перекинуть надоедную тяжесть на чужие плечи:

— Тебе очень важно получить хорошую справку из Углегаза, тогда все, наверное, утрясется.

— Так вы бы и запросили справку, прежде чем решать!

— Да не ершись ты, Светов! Сам должен понимать...

Встречаясь с институтскими людьми, Палька невольно ловил сочувственные взгляды, благожелательные приветствия, ободряющие кивки... И вдруг, поняв это, почувствовал себя униженным, жалким. Будто милостыню собираю... К черту! Кто сочувствует, пусть заступится! Жалости мне не нужно.

Он ушел из института, втянув голову в плечи, глядя себе под ноги... И на лестнице попал в объятия старого лаборанта.

— Павлушенька! — воскликнул Федосеич, обнимая Пальку.— Слыхал про твои неприятности и диву давался: с ума они посходили!

— Ничего, Федосеич, утрясется,— сказал Палька, чувствуя какую-то неловкость и еще не осознавая, что

его смущает.— Сейчас трудное время...— убежденно объяснил он.— В партии идет серьезная чистка. Коммунисту — большие требования, больше, чем когда-либо. За каждую ошибку спрашивают, так что...

— Разъяснил, значит, беспартийному дураку! — усмехнулся Федосеич.— Ну что ж, Павлуша, дай тебе бог, чтоб недолго.

«В этом и есть неловкость... Сколько раз я объяснял старому ворчуну, для чего подписка на заем, и почему перебои в снабжении, и как международное положение заставляет нас усиливать темпы... А теперь я должен, *по-партийному должен* объяснить ему и то, что сделали со мной. Чтобы он не роптал на *мою* организацию даже сейчас, даже из-за меня!..»

В памяти прозвучали слова: «Кто из нас скажет про свою партию — они!..»

Слова возникали каждый раз, когда Пальке хотелось роптать, злиться, проклинать кого-то. И сейчас, проводив друзей на собрание, где он имел право быть и куда его не допустят, он снова вспомнил эти слова с отчаянием и недоумением: как же так? Я каждым помыслом свой, почему же я не могу быть среди своих? Куда же мне деваться, если именно там я свой?

Он обошел строительную площадку. Спокойный, руки в карманах, рабочий ватник нараспашку, шапка набекрень. Покурил с проходчиками и ответил на вопросы, когда же будет жилье. Подоспел к приемке кирпича, проверил накладные, уговорил шофера сделать еще один рейс. Прошел к буровой вышке — там еще не пошабашили, вынимали последний керн. Леля Наумова похлопала по нему ладонью:

— Хорош уголек, Павел Кириллович!

На верхней площадке Никита густо смазывал резьбу на штангах. Свесив чубатую голову, закричал:

— Что, начальник, растет хозяйство? Ноги собьешь, пока обегаешь!

— Ничего, у меня ноги молодые, за сутки обойду.

Буровой мастер Карпенко, уже седоусый, но такой подвижный и бойкий, что стариком его никто не считал, подскочил жаловаться: того не подвезли, этого не обеспечили, а насчет жилья последний раз предупреждаю: мои ребята в город мотаться не могут, производительность страдает, а в вашем дворце ночевать —

тем более производительности не жди, потому байки да песни, хиханьки да хаханьки, какой уж сон!

— Если три вечера ты сам воздержишься от баек, обещаю: дадим жилье вне очереди,— пряча улыбку, пообещал Палька.

— Три вечера? Да хоть десять! Нужны они мне, те байки, как вороне градусник. Я ж для ребят, потому с одного боку жарко, с другого — пробирает, без разговору никак нельзя.

Палька зубоскалил с ним как ни в чем не бывало. И все время чувствовал, что у него это хорошо получается.

Землекопы уже пошабашили и сидели на бревнах тесным кружком, голова к голове, что-то рассматривая. Палька подошел.

— Глядите, вон она, та Гвадалахара, — с сильным придыханием на «г» объяснял молодой землекоп. — Прикрывает Мадрид с востока, чуете?

— Цельный механизированный корпус вдребезги! — радовался другой парень.— Итальянских фашистов! На машинах! С пушками! Ка-ак дали им по шапке, у Муссолини аж голова заболела.

— А ну, покажь, покажь сюда, где она, та Гва-дала-хара.

Маленькая карта Испании была испещрена карандашными стрелами и точками и уже обтрепана по краям: наверно, каждый день переходит из рук в руки.

— Сидайте с нами, Павел Кириллович, — сказал парень, только что говоривший о Муссолини. — И скажите хоть вы, почему у нас добровольцев в Испанию не записывают? Разве ж то справедливо? Говорят: молоды, военной специальности нету, сидите пока дома... А разве я не научился бы?!

Кровь прихлынула к лицу. Сколько раз он сам думал об этом! Думал отчаянно, с тоской: пустили бы в Испанию, там он показал бы, можно ли ему доверять! Но он не смел и заикнуться об этом. Ему сказали бы: «Уладьте сперва партийные дела. Сами понимаете, на помощь испанцам могут поехать только люди безупречные, надежные...» Ненадежный! Даже в бой, даже на смерть не подходишь...

От этой муки некуда было деться. Но землекопам он объяснил — толково, убедительно. Строительство

социализма в СССР — тоже борьба с фашизмом, сильнейшая и решающая помощь рабочему классу всего мира...

— То понятно, — вздохнул парень, — а все ж таки... хоть разок пальнуть бы по всей фашистской сволочи!

— Еще пальнешь.

Когда он вернулся к бараку, оттуда вышел Маркуша. Официальным тоном, как всегда в последнее время, доложил, что на сегодня работы кончены и он уезжает домой.

Работники стройки редко ездили в город: хоть и недалеко, а времени на поездки уходит много. В бараке соорудили нары в два яруса, кое-как умещались. По вечерам вокруг печурки возникал своеобразный «клуб»: тут и дела обсуждали, и пели, и газеты читали, и развлекались кто во что горазд. Только Маркуша никогда не оставался ночевать.

— Оставайся, Серега, — сказал Палька, пробиваясь через явную отчужденность приятеля. — Я сегодня один. Две койки свободны.

— Спасибо, не стоит. Всего хорошего!

Маркуша поклонился и быстро зашагал к полустанку, что посверкивал вдали первыми вечерними огнями.

Палька проводил его недоброжелательным взглядом. Ну что разыгрывает служаку: «Спасибо, всего хорошего!» Говорит с нами на «вы», как с чужими. А меня явно избегает. Струсил, что ли?

Маркуша удалялся, выбирая, куда ставить ноги в разношенных и, наверно, уже промокших сапогах. Воротник пальто поднят, плечи скошены — одно выше другого. На мокрой равнине, кое-где побеленной снегом, он выглядел маленьким и очень одиноким.

«Да ведь он отстранился ради нас! Ради меня!»

Догадка хлестнула его, будто плетью. Ради меня же! Маркуша несет на себе проклятье той чудовищной формулировки. У него не хватило сил отказаться от хорошо оплачиваемой работы: жена, ребенок, залез в долги... Но когда исключили Светова, он понял, что товарищеская поддержка может обернуться для Пальки дополнительным обвинением...

Сумеркалось. Ощутимее стал ветер. Площадка опу-

стела, только Сигнзмуид Аитипович по-прежнему измочаливал чурку, тюкая вкривь и вкось.

— А иу, давайте топор!

Палька колол по-плотиицки — придерживая чурку одиой рукой. Толстые чуркн распадались иа одинаковые полешки, дерево звеиело и потрескивало. Было прнятио, и почему-то подступали слезы.

Жена бухгалтера выскочила из барака, накииув иа плечи шубейку. Оиа была моложе своего Сигизмунда Аитиповнча, но старалась выглядеть совсем молодой, красилась, завивала кудерьки и невыноснмо жемаииичала. Появнлась эта пара бог весть откуда; зиал ли бухгалтер свое бухгалтерское дело, проверить было некому, но о цирке оба супруга говорили с осведомлеиностью и увлечеиием. Липатов уверял, что в бухгалтере всё — от Аитиповича, только жеиа — от Снгизмуида.

— Ах, какой вы милый! — восклицала жеиа, подбирая полешки. — Могу ли я иадеяться, что вы зайдете к нам выпить чаю?

Супруги жили в клетушке, нмеиуемой бухгалтерией. Бухгалтер спал иа столе, а жеиа подвешивала иа ночь брезеитовый гамак, из-за чего молодежь решила, что в прошлом эта дама была воздушной гимиасткой.

Палька отказался от чая и ие подсел, как обычио, к компании, окружившей печурку в общей частн барака.

— Жду звоика, — объясиил ои н закрылся в другой клетушке, где висел телефоиный аппарат, работало все иачальство, а на ночь ставились две, а то н трн раскладушки.

Никакого звоика ои не ждал. Глупо думать, что комсомольцы будут звонить во время партийного актива.

О чем там говорят сегодия? Коиечно, обо всем — и о добыче, и о заводских делах, ио больше всего — о бдительиости. Говорят о речи Сталииа на иедавием плеиуме ЦК. Но как имеино поняло ее большииство актива?

Когда Палька впервые читал эту речь, ои воспринял только слова о «формальиом и бездушно-бюрократическом отиошеиии иекоторых нашнх партийиых товарнщей к судьбе отдельиых членов партнн, к вопросу

об исключении из партии... к вопросу о восстановлении исключенных...» Эти слова, казалось, были направлены прямо против Алферова и Сонина, так что сегодня же надо бежать и в институт, и в горком, где уже все всё поняли и остается лишь поторопить...

— Ох, не так оно просто! — уверял Липатов, перечитывая речь. — Круто ставится вопрос. Жестко. Кого зазря, а кого не зазря — это еще доказывать и доказывать. Упор тут на что? На политическую беспечность. На засоренность партийных рядов. На обострение борьбы. На методы выкорчевывания и разгрома.

Палька сам понимал, что именно на это сделан упор в речи Сталина, но твердо знал, что его-то исключили несправедливо, бессмысленно, во вред партийному делу! А значит, именно к нему относятся слова, что «давно пора покончить с этим безобразием...»

Он поставил койку и лег, закинув на стул ноги в нечищеных сапогах. За тонкими стенками шла обычная вечерняя жизнь перенаселенного барака, сквозь щели доносились голоса, запахи еды, потрескивание дров в печурке. За дверью Леля Наумова гремела ящиками, устанавливала в кладовке керны.

Засорение рядов... Враги с партбилетами... Почему мы этого не видели? Сталин говорит: увлеклись успехами хозяйственного строительства, успокоились... А враги действуют. Стадник — враг? Но нам он как раз помогал... А может быть, настоящие враги — Колокольников, Вадецкий, Граб? Граб был связан с «Промпартией». Колокольников — коммунист. Нет, никакой он не коммунист, он карьерист, стяжатель! Но, может, мы судим слишком поверхностно? Забыли о капиталистическом окружении, о том, что к нам засылают шпионов?.. Шпионы всегда ведут себя безупречно, создают видимость прекрасных работников... Но тогда как же распознать их?..

— Тут как тут! — сказала Леля под дверью и громыхнула ящиком.

Возня, шепот, шелест...

— Пусти, ну!

— Какая строгая!

— Сказано тебе, занимайся.

— Да неохота,— обиженно сказал Никита.— Устал же за цельный день.

— Мало что неохота!

— Не надоело тебе? Дудишь в одну дуду!

За дверью зловещее молчание. Кажется, снова поссорятся?..

— И буду дудеть! Не нравится — не слушай. Пока не женился, подумай, стоит ли? До двадцати четырех лет прожил гуленой-гуленушкой, зачем бы теперь хомут надевать?!

Ишь ты какая! Значит, зря боятся Кузьменки, что собьет его с толку эта девица?

Никита разозлился всерьез:

— Ты не очень-то о себе воображай. Скажи пожалуйста, какая хозяйка нашлась! Помыкает, как... Мне уйти — раз плюнуть.

— Иди.

Молчание длилось долго, так что Пальке показалось: ушел Никита. Но тут раздался ясный голос Лельки:

— Что ж не уходишь?

— Пожалуйста, могу уйти.

— А ноги приросли? Может, подтолкнуть?

И сразу вслед за этим — возня, сдавленный смех.

— Ну чего лезешь? Я ведь ду... дужу? Или дудю?..

Смех, возня, поцелуй.

Голос Никиты стал мирным, жалобным:

— И чего ты привязалась? Сама небось не учишься, отработала семь, забралась на нары и дрыхнешь.

— Вот дурной! Ты ж способный, тебе нужно. И пропускать нельзя. Нельзя, Никитушка! Раз пропустишь, два пропустишь...

— Тебя бы директором техникума, навела бы дисциплину!

— И навела бы.

— А я бы знаешь что с таким директором сделал?

Через стенку и то понятно: обнял, целует.

Девчата в бараке запели тягучими голосами:

Любовь нечаянно нагрянет,
Когда ее совсем не ждешь...

— Давай подними тот ящик. Осторожно, чертушка!

— Да знаю, не в первый раз. Нашла подсобника!

И каждый вечер сразу станет
Удивительно хорош — и ты поешь:
Сердце! Как хорошо, что ты такое...

Жизнь очень проста. И кажется ясной. И люди как люди, с понятными чувствами и желаниями. Я их понимаю, и они — меня. У каждого — свое, и у всех — одно: труд. Для заработка, для места в жизни и еще для чего-то главного, неизмеримо большего. Ну что такое Лелька? А ведь доброго хочет и Никиту тянет... Значит, есть у нее свое представление о том, как надо жить... И вот эти поющие сейчас девчата, эти землекопы, что волнуются об Испании... Кузьма Иванович говорит: сейчас люди как на дрожжах поднимаются. Это наша работа, партийная. И моя тоже. Увлечь, объяснить, чтоб осознали... Могу я жить без этого? Не могу, что хочешь со мной делай — не могу!

«Недисциплинированный и морально неустойчивый...» Да ведь не в одной дисциплине дело. Ну, заносит меня иногда, как с этой проклятой подписью... Но ведь никакой другой жизни я не знаю и знать не хочу, весь я тут. И все, что делаю,— не для себя же — для партии, для людей! Какая ж моральная устойчивость крепче этой? Мальчишкой, ничего не скажешь, всякое бывало: озорник, двоечник, с Никитой на пару... Что меня перевернуло? Буду честен: не сознательность, а самолюбие, желание доказать другим, что все могу... А потом наука, пятилетка, партия. Сознательность пришла сама собой. Иначе и быть не могло. Куда ж меня теперь оттолкнешь? Это ж как воздух...

Громкий, со вкусом рассказывающий голос Карпенки звучал уже давно, сменив и песню, и любовный шепот за дверью. Голос как-то вдруг дошел до Пальки — и уже не оторваться было:

— ...Три года шатался неведомо где, истаскался, обтрепался, живот подвело,— тут и вспомнил законную жену. Заявляется. А в доме — чистота, подоконник в цветах, на столе камчатная скатерть, а над комодом под стеклом — почетная грамота Матрене Ильиничне. И сама Матрена стоит, словно королева, коса вокруг головы, на жакетке синего шевиота — орден Трудового Красного Знамени. Он смотрит — будто и не она. И Матрена смотрит — больно хорош муженек стал! А все ж таки муж. Любила ведь, не просто так замуж шла. Сердце-то захолонуло, а виду не кажет и шагу к нему не ступит... Застыл он у двери, мерзость свою чувствует, со слезой зовет: «Мотя!» А она усмехается: «Что ж

Мотькой да дурой не зовешь? Или за манатками пришел? Так на чердаке они сложены, лезь, бери, мне не нужно». Тут он на колени: «Мотенька, прости!» А она: «Товарищам своим я Мотенька, а тебе — Матрена Ильинична. Мало я от тебя горя хватила? Мало тумаков заработала? Все волосы повыдергал, только-только отрастила!» Он руки ее ловит, в грудь себя колотит. «Клянусь, говорит, все по-иному будет, порази меня гром, если пальцем трону!» А она отворачивается, чтоб, значит, радость не показать, руки вырывает. «Зачем же, говорит, на небесные явления надеяться, на электрические разряды? Для них ты величина незаметная. А от меня последний ультиматум: до первого нарушения даю, говорит, тебе два года кандидатского стажу». Как выходцу, значит.

Голоса и смех слились в общий гул. Задребезжала крышка: закипел на печке чайник.

Теперь за стенкой располагались пить чай. Теснились. Что-то опрокинулось: звякнула кружка, вскрикнула девушка. И все начали ворчать насчет жилья: доколе мучиться? Не умеют наши начальнички стукнуть кулаком. Привезли бы сюда Чубака, пусть поглядит!

— Молоды они, боятся, — сказал дядя Алеша. — А чего бояться? На каком кресле ни сидит человек — все равно человек же! А Чубака и совсем бояться нечего. Для них он, конечно, большой начальник, а при мне его в комсомол принимали. На «Третьей-бис». Председатель спрашивает биографию, а Чубачок обиделся даже: «Какая у меня биография, когда батьку белые расстреляли, матка от тифа померла, а я в шахту пошел!»

— Письмо надо писать Чубаку, — сказал девичий голос,— так и так, давайте жилье! И всем подписаться!

Некоторое время обсуждали, писать ли и что. Дяди Алеши слышно не было. Неужто он промолчит? Ведь не в том дело, чтоб еще и эту заботу перевалить на Чубака! Или не понимает? И надо встать, вмешаться...

— А еще бы лучше написать Чубаку всем-всем, со всего городу, кто только нуждается в жилье, — заговорил дядя Алеша. — Так и так, дорогой секретарь, сидим сложа ручки и ждем, когда ты нам квар-

тиры с ваннами предоставишь, по квартире на брата. С паровым отоплением.

После удивленного молчания — смех, выкрики. Девчата добавляли: «С мебелью! С балконами! С фикусами!» Кто-то сердился: «Разве мы сложа руки сидим?»

— Материал завозят, а строителей раз-два — и обчелся. Подсобить бы вечерами да между делом, — раздумчиво говорил дядя Алеша. — Себе же скорее построим. Для начала, конечно, без парового отопления и балконов.

— А можно и с балконами! — Это голос Никиты, значит, они с Лелей уже присоединились ко всем. — Я согласен хоть вечерами, хоть ночами!

— Лишь бы семейные комнаты были? — взвился женский задорный голос.

— А конечно! Или ты в старых девках остаться решила?

Кто-то брякнул не без злости:

— В девки ей уже не вернуться!

Хохот, шум, какое-то движение. Драка? Нет, кажется.

— Перестаньте, ребята, охота вам ссориться! — лениво говорит Леля и заводит песню:

Мой костер в тумане светит...

Поет с надрывом, будто цыганка настоящая. Должно быть, и плечами поводит по-цыгански. И все слушают ее. А завтра, если организовать их, все пойдут строить жилье — вечером, после рабочего нелегкого дня, на ветру, на холоду. И будут петь «Мы кузнецы» и «Крутится-вертится...»

Я их люблю. Я люблю вот эту нашу жизнь — нелегкую, на ветру. Никогда раньше я этого не чувствовал так, как сейчас. Я наверно был эгоистичен и себялюбив — пока меня не трахнуло. И недисциплинирован — тоже. Думал только о себе, о своем... Нет, разве подземная газификация для себя?.. И все же я не знал, как мне это нужно — чтобы всем и для всех. И для Лельки, и для Никиты, и для дяди Алеши, и для Карпенки с его байками... Значит, что-то верно подметили во мне на партбюро? Нет, дудки! Там же черт знает что пришивали! Подлог?.. Ну, а если бы все повторить — подмахнул бы я телеграмму за Китаева?

А вот и подмахнул бы! Но потом не молчал бы, сам бы пошел признался и кулаком стукнул — вот что приходится делать, когда перестраховщики и трусы дело тормозят! Давайте кончать с этим! Так бы я теперь поступил. И дрался. Покорненьким да тихим я никогда не буду. Завтра же прорвусь к Чубаку, хотя бы силой: «Ты — шахтерский сын, и я — шахтерский сын. Как же ты допускаешь такое безобразие?!»

Ночь пройдет, и спозаранок
В степь далеко, сокол мой...

Голос Лельки рвется в душу. И все слушают, только кружки позвякивают.

А вдруг Чубак скажет: «Ты из всей речи только о себе вычитал? А у нас дела посрочнее твоего». Враги... Может ли быть, что среди людей, которых я знаю, таятся враги — замаскированные, подлые, на все готовые? Нечисть... На нас на всех замахиваются? На нашу жизнь?.. Мы бьемся, чтоб улучшить ее, а они хотят повернуть вспять?..

Он содрогнулся от пронзившей его мысли: значит, Маркуша прав, пусть к черту меня, лишь бы всю нечисть вымести?!. Если мне оно по-настоящему дорого и необходимо, я должен быть готов пострадать? Перемучиться?.. Нет! Нет! Трижды нет! Бороться надо за себя и за других, чтоб ни одной ошибки... Чтó мы, слабенькие? Разобраться не можем?.. И меня не к черту, и Маркушу, и других, кого зря. Бороться, чтоб все было как надо, по правде!

Он встал, чувствуя себя ясным и спокойным. Вспомнил, что не ужинал. Стоит выйти в общий барак — накормят, напоят, развеселят. Карпенко новую байку придумает. Девушки будут верещать: Павел Кириллович, садитесь сюда, Павел Кириллович, домашнего пирожка...

Телефон затрезвонил оглушительно, как пожарный сигнал.

— Павел? — издалека, сквозь хрипы и завываиия, кричал Липатов. — Наша берет! Высылаем машину, будь готов! Приехал Алымов, устроим у тебя, понимаешь? Все очень хорошо, старик!

— Что? Что хорошо?

— Зажгите там костер, что ли, а то машина заплутает! Выше нос, Павлушка!

Слышно было, как старый черт Липатушка хохотнул и шмякнул трубку на рычаг.

Собрание актива длилось уже четвертый час, когда на трибуну вышел Алферов. Слушали его плохо, пока Алферов не решил оживить выступление примерами. Впрочем, и примеры показались малозначительными: одного студента исключили за пассивность, другого — за сокрытие социального происхождения, потом аспиранта — за недисциплинированность, пропуск пяти партсобраний и моральную неустойчивость. Фамилию почти никто не расслышал. Алферов уже подбирался к заранее приготовленной эффектной концовке, когда в середине зала поднялся высокий, очень бледный молодой человек, вскинул руку и отчетливо прокричал:

— Это неправда!

Чубаков потряс колокольчиком, призывая к порядку. В наступившей тишине Саша Мордвинов повторил ещё громче:

— Все, что тут сказано об аспиранте Светове, — ложь! Дайте мне слово, и я докажу!

Собрание зашумело. Многие поднимались с мест, чтобы увидеть, кто прервал оратора. Со всех сторон понеслись выкрики: «Дайте ему слово! Пусть выйдет на трибуну!» Некоторые кричали: «А ты кто такой? Что же, целая организация лжет?!»

Чубакову никак не удавалось установить порядок.

Саша упрямо стоял посреди зала, еще сильнее побледнев. Липатов тянул его за рукав, пытаясь усадить.

Алферов тоже продолжал стоять на трибуне, судорожно заглатывая воздух, в его голове билась одна всепоглощающая мысль: «Удержаться сейчас, потом будет поздно!»

Он не был ни честолюбив, ни злобен, этот пожилой, седеющий человек с лицом замотанного работяги. Много лет он вполне удовлетворялся канцелярскими должностями, из которых самой крупной была должность заведующего отделом кадров института. Он боготворил порядок — в бумагах ли, в организации дела или в построении праздничной демонстрации. Липатов, совмещавший учебу на старших курсах с работой секретаря институтской партийной организации, ухва-

тился за Алферова как за верного помощника в ведении партийиого хозяйства: сбор членских взносов, протоколы, списки... Когда Липатов ушел иа шахту и предложил иа свое место Алферова, сам Алферов испугался ответственности и поначалу отказывался. Он привык жить среди невидимых людей, колдуя над их анкетами — хорошими или плохими, безупречными или сомнительными, — по решающим аикетным графам. В жизни люди не всегда совпадали с аикетными представлеииями. Они были сложней, беспокойней, непонятней. Несоответствие раздражало Алферова. Он умел и даже любил вовремя сообщить по иачальству о чьей-либо оплошности или провиииости, но совершенно ие умел спорить, убеждать, воспитывать. Заменить Липатова он ие мог, но он мог повести дело совсем ииаче, и ои повел его иначе. Пугаясь инициативы, он назубок зиал все директивы, передовицы и цитаты, которыми надлежало руководствоваться, и до сих пор ему удавалось не ошибаться. Человек по природе иезлобивый, ои охотно выполнял указания о чуткости к людям, когда получал такие указания. Но, когда он понял, что в данное время требуется очищать организацию от врагов, сомнительных и пассивных, он с привычкой тщательиостью взялся выискивать врагов, сомиительиых и пассивиых. К его ужасу, аикеты помогали плохо. Студеит, написавший в анкете, что его отец — кустарь, тогда как отец не только плел корзины, ио и продавал их в собствениой лавчоике, — это была мелкая сошка! Дело Светова казалось Алферову более значительным, тут он мог показать свое умеиие корчевать зло невзирая на лица. Он пережил ряд иеприятных минут из-за этого беспокойиого аспиранта, ио руководило им не раздражение... С тех пор как дело Светова перешло в горком, он даже сочувствовал парию и не стал бы особенно возражать, если бы исключеиие отменили... Но в данную минуту его уже не интересовал Светов. Теперь решалась не судьба Светова, а судьба самого Алферова. Или он сумеет отвести дерзкий выпад Мордвинова, или он сойдет с этой трибуны навсегда! И кто знает, какие неприятности обрушатся на него самого!..

— Товарищи! — воззвал он с иеожиданным ораторским подъемом, и зал прислушался: всем было инте-

ресно, как он ответит на обвинение. — Товарищи! Я мог бы пройти мимо этой недостойной выходки, потому что хорошо знаю ее причины. Кто он, этот крикун? Бывший аспирант Мордвинов, ближайший дружок исключенного Светова! Тот самый Мордвинов, ради которого Светов подделал подпись профессора Китаева!

По залу прокатился смех, раздались и гневные возгласы.

— Обратите внимание на недисциплинированность этих молодых людей, — еще напористее продолжал Алферов. — Наш институт выдвинул Мордвинова в столичную аспирантуру. Светов поехал с ним проталкивать изобретение, в котором оба участвовали. А затем Мордвинов самовольно бросает аспирантуру, Светов самовольно остается в Москве, даже не подумав об обмене партбилета. Как это назвать, товарищи? Анархизм! Безответственность!

— Позор! Обоих исключить надо! — выкрикивали в зале.

Липатов железной рукой заставил Сашу сесть:

— Молчи, дурень! Только хуже сделал!

— Повторяю, можно бы пройти мимо, — упоенно говорил Алферов. — Мы люди, нам понятны дружеские чувства. Но имеем ли мы право проходить мимо, когда ради дружбы коммунист забывает свой долг? Имеем ли мы право допускать в наших рядах семейственность, кумовство, беспринципность?

Резкий звонок председателя прозвучал неожиданно.

— Ваше время истекло, — бесстрастно сообщил Чубаков.

— Продлить! — крикнул кто-то из зала.

— Я уже кончаю, — сказал Алферов. — Вопрос ясен, выходка Мордвинова только подтвердила полную своевременность и правильность нашего решения. Мы очищали и будем очищать наши ряды от недостойных!

Он сошел с трибуны победителем.

Прения продолжались, недавно разыгравшийся эпизод начал отходить в прошлое, вытесненный другими волнениями. Саша послал записку с просьбой дать слово, но Чубак, прочитав ее, задумчиво поглядел на Сашу и отрицательно покачал головой. Липатов скользил по залу, присаживаясь то к одному, то к друго-

му, — пошепчется, подмигнет, пересядет и там опять пошепчется, пошутит... Увидав Алымова, неведомо как и почему оказавшегося здесь, Липатов иа миичуту обомлел, соображая, каких осложиеиий можио ждать, ио в следующую миичуту дружелюбио поздоровался, подмигнул и шепиул самым приятельским тоиом:

— Новое-то дело без драки не обходится, а?

Вызывая шипеиие людей, которым ои иаступал иа иоги, Липатов пробрался к Степе Сверчкову. Нет, ие Степа привлек его, а девушка, сидевшая рядом.

Клашу Весеиюк он зиал с тех пор, как она девчушкой поступила иа шахту ламповщицей, а вскоре стала одним из самых любимых молодежью комсомольских работников. Ни красотой, ии особой веселостью, ии организаторской хваткой Клаша не блистала, она часто бывала и неумелой, и застеичивой. Но она была из тех, про кого говорят, что им «больше всех иадо». Увидит чужую беду — места себе ие иайдет, пока ие поможет. Заметит иесправедливость — ринется в бой, себя ие пожалеет. Затевается общее дело — сразу откликнется и не бросит, пока не выполиили. Имеио Клаша первая из работников комсомола заиитересовалась подземиой газификацией, восприияв самое важное и прекрасиое в этой идее — уиичтожеиие подземного труда. Имеио Клаша обещала Липатову и Степе Сверчкову устроить комсомольские субботиики, чтобы проложить дорогу...

Сейчас иа ее чистом юиом лице застыло выражение брезгливости и страдаиия.

— Что ж это такое? — спросила оиа, когда Липатов подсел к ней.

— Борьба, Клашенька, борьба за осуществлеиие! — сказал Липатов, хотел развить свою мысль и вдруг замолк, пораженый: слово предоставили Катериие Световой.

Кто мог думать, что Катериua — молодой каидидат партии — решится говорить иа таком собраиии!

В зале спрашивали: кто такая? Откуда?

Чубаков поощрительио кивиул Катериие: ие смущайся, шпарь смелее! На диях иа партийиом собраиии шахты эта молодая женщииа, не робея, критиковала руководителей шахты за иевиимание к бытовым условиям шахтеров и выдвигала очеиь серьезные, но вполие

выполнимые требования. Тогда-то и позвал ее Чубаков на собрание актива, тогда и уговорил выступить.

Крупная, в широкой развевающейся блузе, Катерина неторопливо взошла на трибуну. В первое мгновение ее ослепил свет, испугало одинокое положение оратора, стоящего над всеми... Она разыскала глазами товарищей со своей шахты — они подбадривающе улыбались.

Все, что она собиралась сказать, было заранее продумано и обсуждено с ними. С этого она и начала. Но после выступления Алферова и мучительного для нее эпизода с Сашей Мордвиновым Катерина уже не могла ограничиться приготовленной речью. Все, что ее терзало и мучило последнее время, разом прихлынуло к сердцу. Исключение Маркуши, потом Пальки... что же это такое? В ясный, правдивый мир, обретенный ею, ворвалась неправда — дикая, нелепая, тревожная. И вот она услыхала речь Алферова — и в тягостном недоумении искала ответа: как это возможно, чтобы грамотный, ответственный человек сознательно все перевернул, исказил, обратил против хороших людей то, что их больше всего красит? Катерина твердо знала, что никогда еще ее брат, Саша, Липатушка, Степка Сверчков не были такими хорошими, как в дни творческого увлечения проектом подземной газификации. Вечера, проведенные с ними — сперва в сарае Кузьменок, потом в институтской лаборатории,— дали ей силу жить по-новому. Почему же посторонний скучный человек убивает лучшее, что она видела?

Скомкав приготовленную речь, Катерина оглянулась на Чубака и неожиданно для всех сказала:

— А я, товарищи, родная сестра того Светова, о котором здесь говорили. И я вам скажу всю правду, как я ее понимаю. То, что придумал Алферов,— это же враки! Враки!

Громкий голос из зала поддержал ее:

— Правильно! Говори все, как есть!

Это крикнул старый шахтер Сверчков, отец Степы. И вслед за тем родной голос Кузьмы Ивановича добавил:

— Слушайте, товарищи, она не соврет!

Старые шахтеры улыбались: ай да дочка выросла

у Кирьки Светова! Шахтерская кровушка и у девки сказывается.

Именно к ним, к старым кадровикам, и обратилась Катерина:

— Товарищи шахтеры, вас тут много, и вы нас знаете: и меня, и брата моего. Как же вышло, что шахтерского парня, аспиранта, коммуниста, ни с того ни с сего превратили в пассив, да еще в морально неустойчивого? Говорят, подпись подделал. Не подделывал он, а подписал телеграмму именем Китаева, потому что приперло вот так, до зарезу, а бюрократы вроде этого Алферова — ни тпру ни ну! Не подпиши он тогда — дело пострадало бы! Не дружок, а большое дело, подземная газификация! И разве профессор Китаев обиделся? Он же потом выхвалялся той телеграммой, будто сам послал! Значит, понял ошибку? Товарищи шахтеры, кто в поселке живет, вы все помните, как Кузьма Иванович Кузьменко свою дочку замуж выдавал за Мордвинова. И знаете, почему настоящей свадьбы не было, не гуляли, как у нас принято! Но знаете ли вы, что и директор института нашел нужным поздравить Мордвинова, и этот самый профессор Китаев без приглашения с букетом приехал? А ведь и директор и профессор уже знали про ту подпись? И в Москву отправили Светова уже после той подписи. И поздравляли с успехом, когда опыт удачно получился. Все поздравляли, Алферов — первый. В горком товарищу Чубаку звонили хвастаться. Звонили вам, товарищ Чубак?

— А как же! Звонили.

— Ну вот видите! А теперь парня очернили, измазали. За что? Кто разрешил такие фокусы над людьми устраивать? Я только кандидатка, в первичном политкружке занимаюсь, но знаю: неправильно так! И очень прошу: вмешайся, товарищ Чубак, и вы все, товарищи!

Катерине дружно хлопали, когда она осторожно спускалась по ступеням, когда она шла по залу к своему месту в развевающейся блузе, с пылающими щеками. И все именно сейчас заметили, как она красива и как гордо несет свое материнство.

— В самом деле, разобраться надо!

— Похоже, напутали в институте!

Чубаков услышал возгласы и одобрительио кивиул: разберемся!

Собраиие шло уже шестой час, ряды начали редеть, но миогие захлопали, когда слово получил виовь иазиаченый главный техиолог Коксохимического завода Исаев: успехи его были известны; благодаря новой техиологии прнзводительиость коксовых печей резко повысилась, об этом писали и в местиых газетах и в центральных.

Исаев рассказывал о достигнутом деловито и скромно, говорил «мы» и щедро называл фамилии отличившихся рабочих.

Чубаков приподиялся и добродушно спросил:

— Кто же все-таки придумал эту новую техиологию? Вы уж не скромиичайте, иазовите имена.

Исаев запнулся, покрасиел и быстро сказал:

— Придумал коллектив. Сами коксовики придумали и сделали. Я уже иазывал фамилин: Федосов, Загребиой, Демешко...

Громкий голос из рядов, где сидели коммуиисты Коксохима, отчетливо добавнл:

— Маркуша!

Исаев нахмурился и покрасиел еще гуще. Среди коммуиистов Коксохима поднялся шум, люди спорили и переругивались громким шепотом, иекоторые таким же шепотом урезонивали спорящих.

— Кто? Кто? — переспросил Чубаков, приставив ладоиь к уху.

Тот же голос уточинл:

— Инженер Маркуша, Сергей Петровнч.

И тогда Исаев закричал, всем корпусом наваливаясь иа трибуну:

— Провокация! Вылазка! — В его голосе появились визгливые иотки, лицо и шея налились кровью.— Стыдио, что у нас нашлись люди, способные прийти иа городской актив устраивать провокацин. Очевидио, тоже дружки-приятели! Да, я ие иазвал Маркушу. А с какой стати я выйду прославлять троцкистского последыша? Уместиее сказать о другом, товарнщи. Здесь пытались защищать исключениого из партии Светова. А я скажу, что иа этой их опытиой стаиции явио засореиы кадры, явио иеблагополучио с руководством. Мы исключили Маркушу, изгнали с завода.

А где он сейчас? Его пригрели Светов и Мордвинов! Да, да! Тут кто-то кричал: неправда! Бросал упрек целой партийной организации. Так пусть этот крикун скажет: может, и с Маркушей неправда? Может, он не у вас? Как видите, товарищи, бдительности у нас все еще не хватает!

Собрание тревожно гудело. Только поверили, что Светова зря обидели, вдруг новый поворот!

Чубаков вскочил, сел, снова вскочил. Глухим голосом сообщил, что приехавший из Москвы руководитель Углегаза товарищ Алымов давно просит слова. Пригласил Алымова на трибуну, а сам пересел с председательского места в сторонку, опустил голову на руки — в зале поняли, что собрание идет к концу, Чубак готовится заключать.

Алымов медленно, будто спотыкаясь, шел к трибуне. Взгромоздился на нее — и трибуна оказалась ему до пояса, длинная костлявая фигура долго покачивалась над нею, и все увидели, что москвич волнуется.

— Сейчас начнет гробить,— пересохшими губами прошептал Липатов.

Но Алымов вытянул руку, указывая в глубь зала:

— Вон там сидит приехавший со мною бывший красноармеец, член партии Иван Сидорчук! Именно он, он, наш скромный боец, поднял и заварил все дело подземной газификации угля!

Это было неожиданно, ново, любопытно. Лица оживились, с них сошло напряжение. Сотни рук аплодировали незнакомому Ивану Сидорчуку.

— Великий Ленин первым отметил громадную важность подземной газификации угля и завещал нам, строителям социализма, осуществить ее! Рядовой боец прочитал Ленина и понял. А некоторые ответственные люди не понимают — или не хотят понять?

Теперь Алымов гремел на весь зал:

— Вы должны узнать, товарищи, что новое дело с первых шагов встретило ожесточенное сопротивление, рождается в бешеной борьбе. Но что это доказывает? Только то, что дело — действительно передовое, важное, коммунистическое!

Эта мысль всколыхнула коммунистов. Да, так и есть. Уж они-то, они-то знали, что новое рождается в борьбе!

— Нам трудно,— признавался Алымов.— Старые спецы и притаившиеся в наших рядах враги тормозят, портят, всячески срывают дело. Мы в этом не сразу разобрались.

Липатов и Саша помертвели. Вот сейчас... сейчас и он обрушится...

Но Алымов громовым голосом обличал ныне обезвреженного Стадника, намекнул на то, что его хвостики еще действуют. А люди несведущие, равнодушные вместо помощи суют палки в колеса, травят поодиночке энтузиастов подземной газификации.

Липатов и Саша с изумлением, еще не веря неожиданной поддержке, ждали продолжения. Но Алымов запнулся, вытер платком вспотевший лоб. Рука его прыгала и никак не могла засунуть платок обратно в карман.

— Что ж, я скажу все, что думаю,— зажав платок в кулаке, срывающимся голосом сказал Алымов.— Товарищи! Я только сегодня приехал и не успел проверить, какие страшные преступления нашли у Светова. Но ведь он один из авторов лучшего проекта подземной газификации, которым вправе гордиться ваш Институт угля! В Москве он сидел без денег, потому что дирекция поскупилась продлить командировку, но работал Светов дни и ночи, завершая проект. А Мордвинов пожертвовал карьерой ученого ради новой идеи, где успех отнюдь не гарантирован!

Сонин, сидевший в президиуме, приподнялся с перекошенным лицом и крикнул задыхаясь:

— Но вы же сами!.. Мы же вас спрашивали!..

Алымов круто повернулся к нему:

— Никак, директор института? Эх вы, руководитель! Мы к вам пришли поговорить, ведь проект ваш, институтский. А что мы услышали? Вы искали не поддержки проекту, а подкрепления в травле, которую повели против Светова! А приезжавший со мной Колокольников — заметьте, автор другого проекта! — ухватился за всю эту историю, чтоб загубить конкурентов! Вы и меня чуть не запутали, я же не специалист. Но душу партийную надолго не обманешь!

Снова аплодировал зал, хотя лица напряглись, посуровели: до чего же трудно разбираться, кто прав!

— Тут говорили о каком-то Маркуше, поступив-

шем на опытную станцию,— пренебрежительно сказал Алымов.— Мы такого не утверждали,— очевидно, мелкий технический служащий. Как у них с подбором кадров, не знаю, если есть ошибки, выправим. Но одно я уже понял: местные организации пока очень плохо помогают и кадрами, и жильем, и с дорогой от города к строительной площадке!

Клаша Весненок звонко крикнула с места:

— Комсомол поможет! Субботниками! Уже решили!

— Вот это хорошо! — Алымов вскинул руки ладонями вверх, будто поднимая над собою бесценный груз.— Вот она, товарищи, настоящая социалистическая помощь! Вот он, трудовой комсомольский Донбасс! — Он приложил руки к груди.— От всего сердца прошу вас всех, всех! Вместо вздорных придирок помогите нам покрепче, по-партийному, по-донбассовски!

И он спустился вниз навстречу улыбкам и дружеским обещаниям. Среди всей сложности политической борьбы, разоблачений, споров и мучительных размышлений самым отрадным и непреложным было созидание. И на любую созидательную задачу люди откликались всей душой. Руки, привыкшие к труду, были готовы подсобить во всяком добром начинании.

— Поможем!

— За нами дело не станет!

Саша и Липатов ловили эти выкрики, с восторгом следили за тем, как Алымов пожимает десятки рук, на ходу обрастая помощниками. Вот он перекинулся словом с начальником дорожного строительства, вот подсел к Клаше...

Энергия собрания иссякала. Последних ораторов почти не слушали: все устали. Председатель успокаивал — скоро кончаем,— а сам поглядывал в сторону Чубакова: не прекратить ли прения? Но Чубаков все сидел в углу сцены, опустив голову. Готовится он? Какое странное у него лицо!..

Чубаков не готовился. Во всяком случае, не готовился к выступлению в обычном смысле слова. Он старался до конца понять и объяснить самому себе то, что должен донести до сознания других.

Крутясь среди множества сложных партийных и хозяйственных проблем, он привык руководствоваться

беспощадно четкими определениями и указаниями Сталина, как бы обобщавшими его собственный опыт. Почему же теперь, в такой напряженный момент партийной жизни, он не испытывает облегчения от четкости суровых формул?

Много раз он перечитывал последнюю речь Сталина. Суть ее была в том, что чем победнее развивается социализм, тем ожесточеннее и отчаяннее становятся враги. Чубаков принял этот тезис: раз Сталин говорит, значит, так и есть. Ведь мы, низовые работники, видим отдельные факты и не всегда можем уловить процесс в целом. Но на этот раз Чубаков не находил убедительного подтверждения в собственном опыте. И это пугáло его и томило: «Как же я могу руководить, если не ощущаю, не вижу такого главнейшего процесса хотя бы в частностях, в разрозненных наблюдениях?..»

Его наблюдения подсказывали, что партия имеет сейчас огромную поддержку самых широчайших слоев народа,— да и как могло быть иначе, когда социализм одержал столько замечательных побед, когда дела в стране идут все лучше и лучше! Как же может быть, что внутри партии действует столько врагов? Было время, внутрипартийная борьба отражала напор мелкобуржуазной стихии, за троцкистами и правыми стояли определенные классовые группы. А сейчас, когда буржуазия и кулачество ликвидированы, где же почва для активизации враждебных сил? Это было неясно Чубакову...

Остатки разбитых вражеских групп?.. Чубакову немало пришлось бороться со всякими оппозиционерами в тот период, когда они еще сохраняли видимость партийности и цеплялись за свое место в партии,— так было, но их давно выкинули вон. Чубаков знал людей, которых затянуло в трясину троцкизма,— как быстро слетала с них партийность, как быстро они озлоблялись и становились врагами всего советского!.. Вот недавно арестовали Таращука — Чубаков помнил его с юности. Таращук был красноречивейшим оратором и безграничным честолюбцем, этакий «наполеончик» городского масштаба! «Наполеончик», видимо, в жажде крупной карьеры сделал ставку на троцкистов, просчитался, начал крутить и изворачиваться, а кончил

самой низкопробной подпольной антисоветчиной. Конец таких, как он, закономерен. Всю свою сознательную жизнь Чубаков боролся с ними и ненавидел их: эти людишки, когда-то считавшиеся коммунистами и изменившие партии, были для Чубакова самым презренным отребьем, чем-то склизким и лично отвратительным... Но так ли их много? И тем более — много ли их удержалось в рядах партии?..

Чубаков знал и таких коммунистов, что по невежеству или неопытности подпали под влияние троцкистской демагогии, но сумели понять свою ошибку, раскаялись и старались ее отработать. Были среди них и двурушники? Вероятно, да. Притаились ли они, чтобы кусать исподтишка? Несомненно, есть и такие. Но может ли их быть много, когда почва выбита у них из-под ног?

Или я чего-то недоглядел? Впал в благодушие?..

Но ведь и время сейчас другое. Когда-то спорили: можно или нельзя построить социализм, можно ли индустриализировать страну без помощи извне... Но теперь вопрос решен самой жизнью! Самые трусливые маловеры — и те видят, кто оказался прав. Сила нашего строя не могла не пересилить демагогию и сомнения: ведь за эти годы наша правота подтвердилась *делами,* пользой для народа, для страны!

Но чего совсем уже не понимал Чубаков: как, почему могли стать врагами люди передовые, активные, никогда не колебавшиеся в сторону от линии партии, такие люди, как Арсений Стадник? Товарищ Арсений — так его звали в шахте. Когда появлялся среди шахтеров этот маленький подвижный человек с пронзительно-яркими глазами, оживлялись даже заядлые нелюдимы. В любое дело он вкладывал сердце — в этом нельзя ошибиться. Чубаков учился у Арсения Стадника партийности и умению общаться с людьми... Как же могло случиться, что Стадник оказался врагом? И враг ли он?..

Особенно придирчиво думал он о своем недруге, до недавнего времени работавшем в области, о Гаевом. С Гаевым он много ссорился, главным образом из-за средств на благоустройство города. Благоустройство и озеленение были «коньком» Чубакова, а Гаевой считал, что для них еще не пришло время, и жест-

ко срезал ассигнования. У Гаевого вообще было много недостатков, а Чубаков в запале споров еще преувеличивал их... Но никогда он не сомневался при этом, что Гаевой — коммунист, который душу отдаст за дело партии. Да и почему рабочий, участник гражданской войны, партийный работник, боровшийся за линию партии против всех оппортунистов, какие только были,— почему, ради чего он мог продаться врагам?

При всех режимах, кроме советского, Гаевой был бы эксплуатируемым бедняком, парией. Как понять психологию подобного отступничества от своего класса, своего строя, да еще в годы величайших социалистических побед?..

Об этом много думал и этого не мог понять Чубаков.

Допустить, что ни Стадник, ни Гаевой не враги? Что их оклеветали? Но это не единичные случаи. Допустить, что я слеп, наивен, что в партии действительно много притаившихся врагов и перерожденцев? Но откуда они взялись в таком количестве? Как они сформировались такими вопреки своим биографиям, вопреки великой направляющей и воспитывающей силе партии?

И что же делать мне, как руководить этой суровой очистительной работой, не понимая истоков процесса?..

А если в данном случае...

Он испугался обнаженно выступившей мысли и не договорил ее даже самому себе. Он не мог допустить, что он прав, а Сталин неправ. Нет, конечно, он еще не разобрался, недодумал, он, видимо, и впрямь слишком увлекся радостными успехами строительства и потерял классовое чутье...

Но тогда что же ему говорить сегодня, сейчас?

Шесть часов коллективно думали пятьсот коммунистов. Он чувствовал накал страстей и бремя их раздумий. Он видел, что они хотят в каждом случае решить правильно, но часто не могут разобраться, кто прав. Есть среди них и люди, готовые бездумно выполнять директиву, да еще свести при этом личные счеты или заработать личный авторитет... Исаев, похоже, карьерист и пройдоха, а погубил одного из лучших инженеров-коммунистов Коксохима и на этом пролез в главные технологи. Или Алферов... Казался просто

канцеляристом, а теперь проявился этаким воинствующим перестраховщиком; как он позировал сегодня и как нечестно наклепал на этих славных ребят!

Так что же я должен делать? Ударить по ним?..

Такой, как Исаев, сразу начнет «катать» заявления — теперь уже на меня. И еще кое-кто обрадуется случаю насолить прижимистому секретарю...

Да что я, трушу? Это же подлая, трусливая мыслишка! Имею ли я право бояться за себя, когда я отвечаю перед партией за все, что тут происходит и решается?

Но, может быть, лучше совсем не останавливаться на частных вопросах, а заняться ими потом, в рабочем порядке? Сделать сейчас общее короткое заключение? И люди устали...

— Кто за то, чтобы прекратить прения? — донеслось до него.— Принято. Заключительное слово имеет товарищ Чубаков.

Пробираясь между стульями к трибуне, Чубаков мысленно утвердился в последнем решении — сделать короткое заключение, не касаясь частных вопросов.

Подыскивая первые слова, он вглядывался в обращенные к нему лица коммунистов, потому что без живого ощущения аудитории вообще не умел говорить. Чего они ждут от него сегодня?

Сердце его дрогнуло и забилось сильнее: страстное ожидание, надежда и доверие тянулись к нему из зала. «Наш Чубак» — так они звали его. И Чубак не смел обмануть их доверие.

— В сложной обстановке беспощадного выкорчевывания действительных врагов коммунисты должны сохранять ясность мысли и классового чутья,— резко сказал он и почувствовал безмолвный, но горячий отклик собрания.

Как всегда, когда он общался с людьми, его собственные мысли становились ясней, четче. Врагов нужно корчевать безжалостно. Но нельзя терять доверие к людям, нельзя бить своих. Моя задача вот здесь, в руководимой мною организации,— не допускать перехлестов и несправедливости.

Уяснив задачу самому себе, он заговорил свободно и откровенно, как говорил всегда, не увиливая от сложного, с полным уважением к товарищам по классу.

Он не обошел ни одиого трудного вопроса. Высказал свое мнение о каждом коммунисте, о котором тут говорилось.

— ...Знакомился я и с «делом» Светова. Даже с профессором Китаевым побеседовал. Что сказать вам об этом почтенном старичке? Юлит, крутит, хихикает: да, мол, подписал Светов одну телеграммку, я лично не в обиде, да только, говорят, партбюро предъявило ему какие-то партийные обвинения... Спрашиваю о проекте подземной газификации: одобряете вы его? Хорош проект? Опять юлит, запинается: с одной стороны, с другой стороны... Нет, товарищи, не отдам я ради него шахтерского выдвижеица коммуниста Светова! Не отдам!

Собрание отозвалось таким одобрением, что у Чубакова дыхание перехватило: понимают же люди, чувствуют, где правда!

— Товарищ Алферов поторопился ошельмовать коммуииста Мордвинова, который заступился за Светова. А мне Мордвинов поиравился. Смело, по-партийному поступил! Видит, что иеверио осудили человека,— встал и сказал. А как же иначе? Как же мы разберемся, кого исключили зря, а кого — не зря, если люди, знающие исключенного, будут трусливо помалкивать?

Из зала кричали: «Правильио!» Но теперь Чубаков заметил и людей иасторожившихся, недовольиых. Вон Исаев глядит исподлобья, как сыч.

— Товарищ Исаев возмущался, что взяли иа опытную станцию инжеиера Маркушу. А кто создал «дело» Маркуши? Исаев и создал! Создал потому, что Маркуша с товарищами наступали ему на пятки, смело вводили новую технологию на коксовой печи, а технолог Исаев испугался ответственности. Чего ои только не приписал Маркуше! А теперь метод Маркуши введен и на других печах, Исаев повышение получил иа успехе этого метода! В газетах пишут: под руководством технолога Исаева... Что это такое, товарищи? По-моему, бесстыдство.

— Маркуша — троцкист! — исступлеиио закричал Исаев.— Вы защищаете троцкиста!

Зал притих.

В президиуме за спиной Чубакова кто-то громко и горестно вздохнул.

Чубаков вынул из кармана брошюрку с речью Сталина, разыскал нужную страницу и начал читать:

— «...Как практически осуществить задачу разгрома и выкорчевывания японо-германских агентов троцкизма? Значит ли это, что надо бить и выкорчевывать не только действительных троцкистов, но и... тех, которые имели когда-то случай пройти по улице, по которой проходил тот или иной троцкист?» И дальше: «Такой огульный подход может только повредить делу борьбы с действительными троцкистскими вредителями и шпионами». Вот как ставит вопрос товарищ Сталин. А как поставил вопрос Исаев? На основе анонимки обвинил Маркушу в троцкизме только потому, что восемнадцатилетний студент нашел листовку, вместе с товарищами разобрался, что она троцкистская, разорвал ее, да еще плюнул на обрывки.

Исаев втянул голову в плечи, растерянно крикнул:

— Я же только сигнализировал!

— Так ведь и сигнализировать нужно подумавши,— отозвался Чубаков под общее одобрение.— А вы подхватили анонимку, потому что она помогла вам насолить человеку, который вас критиковал за техническую трусость. И партбюро ужаснулось, прочитав анонимку. И мы проштемпелевали ваше решение, тоже ужаснувшись. Но мне лично стыдно, что мы поверили анонимке. Я больше верю товарищам Маркуши: они не побоялись написать свидетельства и подписаться полным именем. Знали, что рискуют партбилетами, а встали за правду. И хорошо сделали.

Когда Чубаков закончил и присел к столу президиума рядом с секретарем Азотнотукового завода, с которым его связывала давняя дружба, тот встревоженно шепнул:

— Ох, Чубак, открытая душа! Хлебнешь ты горюшка!

Но Чубаков смотрел в зал, откуда приливали к нему волны сочувствия, уважения и душевного тепла. Люди верили своему Чубаку, и Чубак не обманул их. Есть среди них и такие, как Исаев, которым он наступил на мозоль? Ну их к черту, пусть злятся...

Он чувствовал сейчас только физическую усталость н глубокое, ии с чем ие сравиимое счастье исполнениого партийиого долга.

В домике Световых никогда не бывало так тесно н шумио. Все, что нашлось и у Марьи Федотовиы и у Кузьмеиок, было щедро выставлено на стол. Стульев не хватило, иа две табуретки положилн гладильиую доску, Саша и Люба уместились в обиимку иа одиом стуле. Разговор шел сбивчивый, иа восклицаииях. И иад всем царил Алымов — громогласный, с лицом фаиатика, с глазами, сверкающими из-под иабрякших век.

Катерниа молча сидела за столом, положив подбородок иа сцеплеииые пальцы. Оиа очеиь устала и ие могла есть, только пила и пила горячий чай. Времеиамн оиа опускала глаза и, отключившись от всего, что происходило вокруг, прислушивалась к движеииям желаииого существа, которое эиергично толкалось в стеики ее живота. Когда существо переставало толкаться, оиа с улыбкой поднимала глаза н смотрела иа блажеиное лицо брата, на Алымова, иа бывшего кавалериста Ваию Сидорчука, слушала сбивчивый разговор и заиово переживала этот длииный вечер — первое в ее жизин собраиие городского партийиого актнва! — свое выступлеиие и похвалы товарищей, свои сомнеиия и тревогу, громовое выступлеиие Алымова н удивительиую речь Чубака, удивительную и все же ту самую, какую она ждала от иего, какую только и мог произиести коммуиист-руководитель. И все, что подиимало и радовало ее в этот напряжеиный, трудиый вечер, теперь сливалось для иее в единое поиятие правды — большой и главиой правды, рождаемой в борьбе. Только не иадо робеть, ие иадо бояться. Мы ие смолчали, не нспугались — и вот, все вместе — победили...

— Оии ж и меия чуть не свериулн с дороги, эти Колокольииковы н Олесовы! — возбуждеино говорил Алымов.— Совсем было задурнлн мне голову, ио я разобрался в нх махииациях! — Он обиял Пальку и через стол улыбнулся Катериие.— А теперь мы будем вместе! Вместе до победы! Теперь я ваш весь, с потрохамн! Ух, н двинем же мы!..

Поселком давно завладела ночь. Запоздалые гуляки и те угомонились. Собаки перестали тявкать, забились в свои конуры и дремали, время от времени настораживая ухо, потому что издалека, из-за стен и стекол, доносились глухие звуки человеческих голосов.

Всю ночь звучали эти голоса и сияли два окошка, отбрасывая в темноту дымящиеся полосы света.

4

Пришла весна, ветреная, влажная, с непролазной грязью немощеных дорог, с лужами — морем разливанным, с терпкими запахами оживающей степи. Даже в городе, чуть потянет ветром, пахло мокрой землей, преющими прошлогодними травами да подмешанным к этим степным запахам неизбежным донецким дымком.

В один из весенних дней Катерина родила дочку.

Родила в диких болях, от которых туманилось сознание. Опоминаясь ненадолго, Катерина видела большое окно, голубизну ясного неба за ним и верхушку столба, на котором ослепительно сверкали изоляторы. Она прижмуривалась и всем своим существом ощущала: это жизнь, так рождается жизнь... Потом она уже не ощущала ничего, кроме боли, хватала ртом воздух и сдерживала крик, потому что кричать казалось стыдным.

— Ну и девица! — услыхала она сквозь полузабытье и не сразу поняла, что это ее девица, что у нее родилась дочка, а не сын. Но тут же ей почудилось, что она и хотела дочку, что это замечательно — дочка! «Володичка, у нас дочка. Твоя дочка».

Ослепительно сверкали изоляторы. Ослепительно сияло небо. И незачем плакать, когда все хорошо, хорошо, хорошо...

Она заснула. И спала целые сутки, неохотно просыпаясь, чтобы поесть, умыться, поглядеть на чужих детей. Дочку не приносили — оказалось, первые сутки кормить нельзя. Вечером Катерина упросила няню принести девочку хоть на минуту. Белый пакетик был крошечным, среди пеленок розовело неосмысленное

личико с расплывчатыми чертами, глаза плотно закрыты, чуть видны белесые реснички, губешки сжаты. Никакого сходства нельзя уловить в этом личике. И дыхания не слышно.

— Няня, она не дышит!

— Еще как дышит-то! Здоровущая девка.

В это время здоровущая девка забавно сморщилась и чихнула, как настоящий человек.

— На здоровье,— сказала няня, забирая пакетик.— Ну, чего плачешь-то? Отдыхай пока, еще намаешься с ней.

Няня не понимала: никакие заботы не могут быть в тягость, любая маета будет счастьем. Володичка, я ее буду растить здоровой и хорошей. Я и заочный обязательно кончу: дочка пойдет в школу, и я буду в той же школе учить. Я с нею дружить буду. С кем же мне еще — душа-то в душу! С нею...

Она, с нею, для нее — так думала Катерина. Мальчика назвала бы Владимиром. А дочку как?

Передач и записок приносили много. От мамы, от стариков Кузьменок, от друзей и подруг, от товарищей по компрессорной, из партбюро шахты и даже от Никиты. Палька написал в записке: «Привет маленькой Светланке от дяди». Светланке?.. Почему он так решил? Когда принесли кормить, Катерина вгляделась в личико дочери и подумала: пожалуй, действительно, Светланка. Светланка Светова? Светланка Кузьменко? Она не знала, разрешат ли зарегистрировать ребенка на фамилию Вовы. Может, если пойти вместе с Кузьмой Ивановичем, удастся?..

На третий день принесли цветы и конверт при них. В конверте была записка на плотной глянцевой карточке: «С почтительным восхищением целую Вашу руку. Алымов».

Катерина долго разглядывала колючий почерк; крупную прописную букву в слове «Вашу» — от нее веяло этим самым почтением; размашистую отчетливую подпись — в ней проступала властная самоуверенность.

Цветы были нездешние, незнакомые Катерине. Откуда он раздобыл их, напористый человек?

Она сунула конверт в тумбочку и вернулась мыслями к дочке. Она не хотела думать об этом человеке.

Он часто останавливался у них во время своих наездов в Донбасс. Марья Федотовна благоговела перед Алымовым — для матери он был большой начальник, выручивший из беды ее сына.

Катерину он стеснял. В последний месяц беременности ей хотелось покоя, а приезды Алымова вносили беспокойство, шум, сутолоку. Катерина радовалась, что с помощью Алымова дела на стройке «завертелись», но, когда он бывал в доме, ей казалось, что и в доме все вертится.

Алымов обращался к ней с трогательной почтительностью. Иногда она ловила его взгляд, сверкающий восхищением, и это ее смущало. Она чувствовала себя неловкой, движения становились скованными. Ну чего он, в самом деле? Нашел время...

Люба часто приходила вместе с Сашей, но Любу Алымов просто не замечал, жена и жена, здравствуйте — до свидания. А Катерину просил:

— Посидите с нами, Катерина Кирилловна, посветите нам.

Посветите...

Началось это с крупного спора, возникшего во второй приезд Алымова.

На опытной станции Катенина вот уже третий месяц предпринимались разнообразные попытки добиться успеха. Катенин и его помощники проявляли упорство и энергию. В одном из опытов им удалось получить горючий газ неплохого состава, но газ шел недолго, быстро теряя качество. Это доказывало, что подземная газификация угля возможна, но ясно было, что верное решение пока не найдено; из заложенных в пласт патронов взорвалось не больше четверти, да и те никакого эффекта не дали.

В Углегазе утратили интерес к опытам Катенина и к нему самому. Он познал всю горечь пренебрежения. Ему урезывали смету, штаты, снабжение. Ему не дали денег на вскрытие подземного генератора, то есть отняли возможность изучить, что же происходило под землей...

Прилетев из Москвы, Алымов вскользь сообщил об этом, добавив, что Олесов наводит экономию, а Колокольников поглощен подготовкой опытов на Подмос-

ковной станции, созданной по проекту Вадецкого — Колокольникова с «вариациями» Граба.

Палька и Липатов выслушали Алымова и завели разговор о собственных делах, но Саша поморщился и сказал:

— Неправильно с ним поступают. Нелепо.

Разгорелся спор. Саша считал, что вскрытие первого подземного генератора даст поучительные для всех данные, а самого Катенина нужно привлечь к участию и в других опытах. Пальке совсем не хотелось вмешательства Катенина в работу станции №3, он оберегал сложившийся коллектив...

Катерина прислушивалась к спору и вникала, что кроется за словами каждого. Саша думает о пользе дела — и непримиримо откидывает все прочее. Палька ревнует. А что Алымов? Алымов попросту утратил интерес к человеку, на которого недавно возлагал надежды.

— Почему вы о самом Катенине не подумаете? — спросила она, и спорящие удивленно воззрились на нее, так как обычно она не вмешивалась в их беседы.

— Что значит о Катенине? — огрызнулся Палька.

— А то значит, — гневно сказала Катерина, — что человек изобретал, мучался. Ему же обидно. Почему вы так легко отсекаете его? Почему не подумаете, как облегчить ему неудачу?

В тот вечер, прощаясь с Катериной, Алымов неожиданно поцеловал ее руку:

— За благородство ваше.

Вспоминая, Катерина видела в слове «ваше» большую прописную букву.

Вторично Катерина вмешалась, когда речь зашла о Маркуше.

Палька давно получил партийный билет и как будто успел забыть о перенесенных мучениях, а дело Маркуши не сдвинулось. Ходили слухи, что Исаев написал жалобу в Москву, что у самого Чубака большие неприятности... Облегчая друзьям нелегкое решение, Маркуша подал заявление об уходе с работы и решил поступить печником в горжилстрой.

— Все-таки печи, хоть и не коксовые, — угрюмо шутил он.

Алымов открыто радовался заявлению Маркуши:

— Какой бы он там ни был, виноватый или нет, а дело важней. Затаскают из-за него... Отпустите — и всем легче.

Липатов томился. Его пугала возможность новых неприятностей, но было жаль товарища, да и механика найти нелегко.

Саша при разговоре не присутствовал, однако было известно, что он против ухода Маркуши. Палька сидел, обхватив голову руками, взъерошив волосы, и молчал. Катерина знала, что сам он Маркушу ни за что не отпустил бы, но сейчас ему трудно настаивать, ответственность падет не на него, а на Липатова.

И вдруг Алымов спросил:

— А вы что скажете, Катерина Кирилловна?

Все трое уставились на нее, как на судью. А как она могла судить? Отвечать не ей.

— Ребенок у него... — проронила она с тоской, но тут же поняла, что и не в этом дело, а в них самих, в их совести, в том, как они завтра посмотрят в глаза друг другу. — Сами потом глаза отводить будете, — сурово сказала она. — Вы же знаете, что вины за ним нет. Сами написали и припечатали, ответственности не испугались. Что ж теперь отступать с полдороги!

Вопрос разрешился хитростью Липатова — поразмыслив, он написал на заявлении Маркуши: «Задержать до подыскания нового механика». Затем поехал в горком и попросил квалифицированного механика-коммуниста вместо Маркуши. Инструктор горкома покряхтел, записал в блокнот заявку и обещал поискать. Оба понимали, что квалифицированные механики без работы не ходят.

— Прямой напорется, кривой пройдет, — посмеивался Липатов. — Пусть хоть Исаев явится, скажу: сам ищу и заявка в горкоме; если у тебя механик свободный болтается, давай!

Палька веселился: прямо или криво, но Маркуше отсрочка, а там, наверно, и решится его дело. Алымов поглядел на задумавшуюся Катерину:

— А вы, Катерина Кирилловна, хотели бы только прямо, любой ценой прямо?

— Я хочу, чтоб не нужно было... криво.

Палька пошел проводить Липатова. Алымов сидел напротив Катерины и пристально смотрел на нее.

— А я ведь боюсь вас, Катерина Кирилловна, — его длинные пожелтевшие от табака пальцы нервно мяли скатерть, — каждый шаг прикидываю, как вам покажется.

Вошла Марья Федотовна, собрала посуду. Катерина хотела воспользоваться этим и ускользнуть вслед за матерью.

— Куда же вы? — воскликнул Алымов, вскакивая. — Побудьте со мной. Гляжу на вас и думаю: откуда вы взялись тут такая? Сколько встречал женщин... всегда был сильнее, власть свою над ними чувствовал. А вы только глаза вскинете — и хочется быть кротким, как теленок.

Позднее Катерина сообразила, что можно было отшутиться: «Теленка из вас все равно не получится», — а тогда растерялась, как девчонка, — глаз не поднять, руки девать некуда.

— Я пойду, — пробормотала она, не двигаясь с места.

— Устали? — заботливо спросил он, и на его некрасивом, немолодом, с набрякшими веками лице появилось несвойственное ему выражение бережности и ласки. — Ну идите, спите.

Ничего плохого в этом не было. Но почему казалось, что и бережностью своей он вторгается в ее жизнь, где все уже решено? Не в нем дело, что ей этот заезжий пожилой человек! Но слова его поднимают сумятицу в душе и ожидание чего-то, что еще может случиться.

Вечерняя смена стекалась к шахте, когда Кузьминишна проехала через весь поселок на старенькой бричке, обычно возившей шахтное начальство в город. Шахтеры приветствовали ее, она кланялась направо и налево, прижимая к себе объемистый узел, и все понимали — торжественный день у Кузьменок, бабушка едет за внучкой.

Перед тем Кузьминишна поссорилась с Марьей Федотовной — ничего-то она не понимала, прости господи, индюшка и есть! Хотела непременно сама поехать, а что толку от нее? И помощи никакой, и вида никакого — едет мать за безмужней дочкой... Не объяснять же ей, что и бричку нарочно выхлопотали,

и Кузьма Иваиович будет ждать у шахты, и весь их проезд по поселку — утверждеиие родства, чести семьи, чести Катерины.

Катериia, видимо, поияла. Не захотела надеть старое пальтишко, в каком иа рассвете пошла в родильиый дом, затребовала свое иовое пальто, сшитое в талию, и иарядную косынку, шелковые чулки и туфли иа каблуках. Когда оиа вышла иа улицу, стройная, как тополек, — казалось, вериулась пора ее девичества, иадежд, счастливого ожидаиия. Только поступь была новая, степеииая — мать идет. Подобио свите королевы, шли за иею няни в белых халатах, одиа иесла вещи, другая — сверток с ребеиком.

Кузьмииишна думала, что заплачет, увидав виучку, но так торжествеи был выход Катериiы, что для печали ие нашлось места. Обнялись, сели в бричку. Няня вручила ребеика Кузьмииишне, Кузьмииишиа напомиила вознице — ие торопись! Ехали медлеиио, чтобы все видели: Кузьмеики внучку везут.

Возле шахты бричка оказалась в потоке людей, выходивших после смеиы. Кузьма Иванович, отмывшийся в бане, приодетый, стоял под часами, как было условлеио. Бричка остаиовилась. Кузьма Иваиович встал иа подиожку и расцеловал Катериiу, заскорузлой в чериых крапинках ладоиью припал к свертку... потом влез иа облучок рядом с возиицей и они троиулись под приветствеиные выкрики шахтеров.

— С прибылью! — кричали шахтеры. — С новым Кузьмёнком!

Кузьмииишна глядела во все стороны, собирая улыбки и приветствия, и держала виучку иа вытяиутых руках.

Только в доме Световых, положив ребеика иа кровать и откииув пелеику с его лица, она будто очиулась и поняла, что Вовы нет и дочка его будет расти в чужом доме, а оиа сама — пришлая бабушка с шаткими правами... И она заплакала — горе осталось горем. Но ребеиок просиулся, заверещал тоиеиьким голоском, и Кузьмииишиа подбежала к внучке, плача и смеясь:

— Ну что, роднеиькая моя? Чем тебе угодить?

Катерина позволила бабушкам завладеть ребеиком. Все равио оиа тут главная, иезамеиимая. Пока ие пришел час кормления, села в столовой с Кузьмой Иваио-

вичем, и, как она ни была переполнена материнскими чувствами, оказалось, что и ко всему остальному не утратила интереса, все ей мило, обо всем хочется знать: и о своих товарищах из компрессорной, и о делах на шахте, и о Никите, и о том, что нового в городе.

Примчался Палька, покрутил Катерину по комнате:

— Да ты стала красавицей, не будь ты моя сестра, влюбился бы! А ну, покажи виновницу торжества!

Палька был приподнято-счастливый, шумный. На племянницу поглядел с любопытством, но без всякого понимания. Он подтрунивал над Катериной, а она над ним, они опять были в веселом и озорном ладу, как раньше. Кузьминишна ценила шутку, но сегодня их веселость немного коробила. Зато Марья Федотовна не могла нарадоваться:

— Слава богу, Катериночка совсем прежняя!

Прибежали Люба с Сашей. Палька и Саша вскоре ушли по делам, а Люба захотела поглядеть, как пеленают ребенка.

Катерина села кормить — уже не просто дочку, а Светланку, семья одобрила имя. Словно почувствовав, что ее хотят рассмотреть честь честью, Светланка широко раскрыла глазенки, тускло-синие, окруженные редкими белесыми ресничками.

Сосала деловито, чуть захлебываясь. Выпростала крохотную ручонку из пеленок и начала водить ею по материнской груди.

— Глазки Вовины, — прошептала Люба.

— Говорят, у новорожденных у всех синие, настоящий цвет потом появляется, — также шепотом сказала Катерина.

— А я помню Вову таким — ну, вылитый она Вова, — уверяла Кузьминишна. — У меня карточка есть, сама увидишь.

— Правда?!

Ей хотелось, чтобы это было правдой, чтобы в младенческих чертах ожил Вова. Странно, с рождением дочки память о любимом не разгорелась, а будто гасла. Само по себе требовательное, хваткое, очень жизненное существо лежало на ее руках и напоминало только о самом себе. Все в нем было чудесно и неповторимо, все только начиналось. И мысли тянулись за ним — не в прошлое, а в будущее. Она старалась восстановить

облик Вовы, но возникали отдельные черточки — застенчивая полуулыбка, какою он встречал ее, подрагивание губ в минуту ссор, упрямый наклон головы, коричневая родинка на веке... Черточки мелькали и таяли, таяли... Растают, и совсем близко, наяву — розовое личико, окаймленное белой пеленкой, смешные реснички, то взлетающие, то сонно опускающиеся на тускло-синие глаза; глаза пристально смотрят куда-то и еще ничего не научились примечать, узнавать. Что они видят? Уже есть у них какое-то свое выражение. Почему они вдруг поворачиваются — на звук, на свет? Ручонка выпросталась — зачем? Что она пытается найти, схватить? Живое чудо. Земное, осязаемое. Перед ним прошлое — сон. И то, что вдруг потрясло осенью, признание Игоря, женская тревога — тоже сон. И глянцевитая карточка с колючей, напористой надписью — тоже. Забыла ее в тумбочке — и хорошо.

К вечеру началось паломничество поздравителей. Катерина уже не могла встречать, разговаривать, провожать — ноги подгибались. Выходила ненадолго, показывала дочку — и опять скрывалась. Мать, старики Кузьменки и Люба всех принимали, отвечали на расспросы, угощали кого чаем, а кого и водочкой.

Под конец пришли Степа Сверчков с Клашей Весненок. Что они часто бывают вдвоем, все знали, но приход Клаши к Световым был неожидан — жила Клаша не в поселке, а в городе, знакомы не были, Катерину впервые увидала на собрании. Видимо, и сама Клаша ощущала неловкость — краснела, оглядывалась, никак не могла включиться в разговор. Она принесла подарок новорожденной — маленькую серебряную ложку.

— Эту ложечку когда-то мне «на зубок» подарили, — розовея, сказала она. — Мама говорит, она счастливая.

— Чего ж ты счастливую передариваешь? — лукаво спросила Кузьминишна. — Или в своем счастье уверена?

Клаша пуще покраснела и покачала головой.

— Нет, не уверена, — просто ответила она. — Мне хотелось что-нибудь нужное, хорошее — для вас. — И она просительно улыбнулась Катерине.

— Как это не уверена? — простодушно вскричал Сверчок. — Ты же у нас!.. Да все тебя... ценят!

Клаша дружески дернула Сверчка за волосы и подошла к Катерине:

— Можно мне... хоть одним глазком?..

Светланка спала. Катерина вытянулась на кровати около нее, а Клаша присела рядом. Что нужно этой милой девушке? Будто хочет спросить о чем-то, но не решается.

— Я Степу с детства знаю, вместе коз пасли. Хороший парень!

— Мой лучший друг, — заявила Клаша, но не ухватилась за эту тему, а начала шепотом рассказывать, как помогали комсомольцы строить дорогу от города к опытной станции, как теперь решили взять шефство над подземной газификацией.

— А у вашего брата все уже в порядке? — спросила она. — Мужественный он человек!

Она похвалила выступление Катерины, смелость Мордвинова, энергию Алымова и его умение говорить зажигательно.

— Вот я не умею. Про себя все-все высказываю, а выйду — во рту пересыхает и слова куда-то улетучиваются.

— А я не боюсь.

— У вас семья такая — смелая.

— А ты не смелая? Про тебя говорят, Клаша, что ты из всех наших комсомолок самая боевая.

— Ну какая я боевая!

Разговор шепотом над спящей Светланкой сближал их. И Катерина решилась заговорить с этой почти незнакомой девушкой о том, о чем весь день не смела заговорить с Кузьмой Ивановичем.

— Мы с Вовой не были зарегистрированы. А мне хочется, чтоб Светланку записали на его фамилию. Как думаешь, можно?

— Ну конечно! Не все ли равно, зарегистрированы или нет! По-моему, когда двое любят...

Она высказывала свои взгляды на любовь с категоричностью девочки, еще ничего не пережившей, но все обдумавшей.

— Ты не беспокойся,— незаметно перейдя на «ты», говорила Клаша,— я все беру на себя. Завтра же

зайду в загс и договорюсь, а вечерком забегу к тебе, хорошо?

За стеной усилились голоса, пришел еще кто-то. Клаша подскочила:

— Мне пора!

Прежде чем она собралась, в комнату ввалился Никита, с примятыми шапкой, спутанными волосами, с застенчивой полуулыбкой на повзрослевшем лице.

Увидав незнакомую девушку, он на минуту запнулся, но тут же приосанился и заговорил развязнее, чем следовало в данном случае. Катерина знала у Никиты способность рисоваться и не любила ее. И Клаше не понравилось, она торопливо распрощалась.

— Значит, я теперь дядя? — своим, естественным голосом сказал Никита, когда Клаша ушла. — Что за девушка? Никогда не видал ее.

— Невеста Сверчка, — сухо ответила Катерина. — А у тебя сразу хвост трубой, непутевая душа!

— Да уж теперь путевая,— со вздохом ответил Никита. — Поджало меня, Катериночка, сам себя не узнаю.

— Женился — или как?

— Да где женишься-то? К родителям... сама знаешь. У нее — чуть придешь, хозяйка гремит у двери ухватами. На стройке — общий барак, нары в два этажа, теснотища. Как бездомные, словом перекинуться негде, не то что...

Он присел на стул, свесив голову.

— Может, мне поговорить с твоими?..

— Не-ет. Не поможет.

— Ну, приведи ко мне свою Лелю.

— Не пойдет она. Обижена очень. Ведь чего она мне, кроме хорошего, сделала? А ее...

Губы знакомо дрогнули, как у Вовы. И в это время закряхтела Светланка. Катерина начала перепеленывать ее.

— Скажи пожалуйста! — пробормотал Никита над ухом Катерины. — Все как надо, даже ноготки.

Голенький, барахтающийся на кровати ребенок, его ножки с настоящими ноготками задели какую-то струну в душе Никиты, и струна откликнулась изумленным звуком. Никогда-то он не понимал, какая может быть прелесть в таких вот котятах. Когда Лель-

ка однажды сказала: «Хочу, чтоб все по-хорошему, чтоб муж, и дом, и дети», — он согласился, раз Лельке это нужно, но при слове «дети» ничто не шевельнулось в нем, ни представления, ни чувства. А они, оказывается, вон какие забавные.

— Подержи-ка! — приказала Катерина, запеленав дочку и передавая Никите тугой конвертик.

Пока она взбивала тюфячок, Никита напряженно держал ребенка. «Дочка Вовы... Племянница... И у меня когда-нибудь родится такое... Занятно!»

— Константин Павлович приехал! — благоговейно сообщила мать. — Выйди, Катериночка.

— Устала я. Разве что на минутку.

Катерина помедлила у зеркала. Закрутила косы вокруг головы. Потуже стянула пояс домашнего халатика и сама себе понравилась: опять стройная, тонкая в талии, красивая. Не вошла, а вплыла в столовую навстречу сверкающим глазкам Алымова. Приняла поздравления. Отказалась принести дочку: заснула, в другой раз покажу. О чем-то спросила, невнимательно выслушала ответ и уплыла тем же легким скользящим шагом.

Оставшись одна с дочкой, усмехнулась: влюбился дядька. Каждый шаг прикидывает: как мне покажется? Ну и пусть, а то больно злой да скорый! И чего я робела? Он сам по себе, мы сами по себе, верно, доченька? Нам на всех дядек наплевать.

Дело было совсем новое, но уже образовались вокруг него поколения: Алымов, Катенин и Федя Голь были поколением старшим, накопившим некоторый опыт, а у молодых руководителей станции № 3 появилась своя молодежь: Степа Сверчков, Леня Коротких и Клаша Весненок с ее комсомольцами.

По настоянию Алымова в Институте угля возобновились исследования по подземной газификации, в группу научных работников включили и Федю Голь, так как предстояло обобщать опыт обеих опытных станций. Официальным руководителем группы был назначен профессор Китаев, но с первых дней работы фактическим руководителем стал Саша Мордвинов. Никто его не назначал и не выбирал, так случилось

потому, что Саша оказался самым сведущим участником группы. Он не пытался оттеснить Китаева, Китаев сам говорил всякий раз, когда возникали спорные вопросы или требовалось организовать новый опыт:

— Вы уж займитесь, Александр Васильевич...

— Мне не разорваться, голубчик, прошу вас, вникните, что там у них...

Единственным «инородным телом» в группе был Федя Голь, но Саша с первого дня постарался стереть всякие разграничения между институтской молодежью и Федей:

— Неважно, чей проект и кто на какой станции работает. Дело общее, опыт каждого нужен всем.

Если бы Саша мог, он включил бы в группу и Леню Гармаш. Что с того, что Ленечка Длинный шатнулся в трудную минуту! Он талантлив, так пусть отрабатывает вину. Но Леня Гармаш упорно обходил их лабораторию и старался не встречаться с прежними друзьями. Однажды Саша остановил его в коридоре:

— Знаешь, Леня, ошибка, вовремя не исправленная, разрастается.

Леня вспыхнул и сказал сквозь зубы:

— Не чувствую себя виноватым.

— Вот как! — сказал Саша и пошел дальше.

Леня Гармаш втянул голову в плечи и укрылся в пустой аудитории, где не перед кем было притворяться равнодушным. Из всех институтских работников он больше всех уважал Мордвинова и своего руководителя профессора Троицкого. Совсем недавно он первым из студентов поверил в подземную газификацию и увлек ею лучшего своего друга — Леню Коротких. Как они мечтали об успехе, лежа на соседних койках в большой комнате институтского общежития, среди спящих товарищей! Будущее рисовалось им интересным, огромным! А потом... Зачинатели всего дела задержались в Москве, вокруг имени Светова пошли неприятные разговоры. Затем стало ясно: Светова исключат. И в это же время Лене предстояло решать, идти ли на опытную станцию. Сонин и Алферов убеждали не рисковать своей научной карьерой. Леня Коротких и Степа Сверчков сознательно шли на любой риск, Леня Гармаш испугался... До окончания института остался всего год, потом ему была обещана аспиран-

тура при кафедре Троицкого,— как же бросаться наобум в полную неизвестность?.. Во всяком случае, надо переждать...

Когда он сообщил своему руководителю, что решил пока не уходить ради проблематичного дела, Троицкий сказал:

— Что ж, э-э-э... каждый поступает сообразно характеру и силам... э-э-э... силам духа.

И тогда же лопнула дружба с Леней Коротких. С первого курса спали рядом и рядом сидели на лекциях, вместе ходили в столовку и в кино... а тут Леня Коротких подошел и сказал, глядя в сторону:

— Мы на субботу сговаривались в кино, так ты не трудись насчет билетов: отменяется.

А вечером соседняя койка оказалась пустой: Леня Коротких перебрался в другую комнату. В другой этаж. И в столовке садился не на обычное место, а в противоположном конце зала.

И вот Леня совсем один. Попроситься в группу? Но Коротких с его неуемной принципиальностью не захочет работать вместе. Да и как посмотрят другие? «Ошибка, вовремя не исправленная, разрастается»?.. Значит, надо прийти и покаяться, попросить прощения? А они будут коситься и учить уму-разуму?.. Но, главное, кто знает, как ещё все сложится? Светова восстановили, а Маркушу нет. Алферов сказал, что это им «боком выйдет»... Ходит слух, что и у Чубакова неприятности из-за Маркуши...

Потомившись немного, Леня решил, что поступил разумно. И продолжал сторониться бывших друзей, хотя ревниво следил за тем, как они увлеченно работают, как часто они выезжают из института то на станцию Катенина, где началось-таки вскрытие подземного газогенератора, то на станцию № 3, где закладывалась опытная панель...

На станции № 3 наступила страдная пора. Липатов целиком ушел в дела строительные и снабженческие, Светов уточнял проект, не прибегая к помощи проектировщиков из треста: ежедневно возникали то мелкие, то крупные технические вопросы. Мордвинов с помощью институтской группы создавал искусственный угольный пласт.

На краю строительной площадки выкопали широ-

кую десятиметровую траишею. Копали все, кто мог,— как высвободится время, хватают лопату и бегут подсобить. Получился глубокий ров. В этот ров иавезли угля, засыпали его угольной пылью, утрамбовали ручными трамбовками, залили горячим пёком. Установили трубы для дутья и газоотвода, соедииили их каналом, заготовили горючие материалы для розжига: розжигом ведали Степа Сверчков и Леня Коротких; оии перепробовали миожество комбинаций, чтобы разжечь уголь побыстрей и получше. Пласт закрыли кладкой из огиеупориого кирпича, засыпали землей и опять как следует утрамбовали. Между осиовными трубами устаиовили две контрольиые — брать пробы.

Это была модель, очень похожая иа будущий подземный генератор. Тут иачиналось освоение процесса, тут решалась вся «химия» подземиой газификации: состав дутья и давлеиие, наилучшие температуры и количество подаваемого воздуха, обогащенного разными дозами кислорода. Все испытывалось по миогу раз и в различиых сочетаииях. Люди ходили, перемазаиные углем и машиииым маслом, взмокшие от иапряжеиия, озабочеиные всякими иеурядицами, ио высокая ромаитика первооткрывательства реяла иад ними.

Для одиих любая работа иа стаиции ощутимо приближала осуществлеиие выиошенной, разработаиной в цифрах и деталях мечты. Для других, иедавио приобщившихся, все происходившее было увлекательной иовью. Миогие догадывались, почему зачастила на строительиую площадку Клаша Весиеиок, ио что привлекало комсомольцев из шахт, из школ, с заводов? Почему приезжали будущие коксовики, медики, педагоги, после учебиого дия зайцем добираясь сюда на поезде или иа попутиом грузовике, топая по мокрой степи в ие ахти каких ботииках, чтобы попотеть дватри часа иа грубой физической работе? Что заставляло их прокладывать дорогу, иа себе вывозить землю для создания водохранилища или таскать кирпичи для дома, где жить ие им?! Оии пели «Вперед же по солиечным реям», «Шахту иомер три» и песию про Джима — подшкипера с аиглийской шхуиы, поднявшего красный флаг иа мачте; и когда их старательио-громкие голоса выводили:

Есть Союз, свободная страна,
Всем примером служит она! —

они пели про себя, про все прекрасное, что есть и будет, и подземная газификация, еще не очень понятная им, входила в их будущее. Каким оно рисовалось юношескому воображению? Светлые здания, которым больше подошло бы называться чертогами, незакатное солнце, неясные контуры чудесных автоматических машин еще неведомых конструкций,— нет, не отдельных машин, а целых цехов, где человек только управляет блестящими рычагами и кнопками, следя за производством по умнейшим приборам с вибрирующими стрелками!.. Города-сады без дыма и копоти, где живут физически и духовно прекрасные люди в удобных легких одеждах... Какие-то непостижимые уму сверхскоростные самолеты, за несколько часов пересекающие океаны и континенты, и маленькие индивидуальные самолетики, и простые, как велосипед, взлетающие и садящиеся без разбега, хоть на крышу... Юношеское воображение причудливо сливало воедино материалы политзанятий, образы будущего из любимых стихов и пьес Маяковского, научную фантастику и собственные мечты. А в основе держалось вполне житейское, трезвое понимание донецких ребят: ликвидация подземного труда — хорошо!

В один из дней, когда в модели начался процесс и над газоотводной трубкой стойко горела газовая свеча, приехал Алымов и привез с собой Катенина, пожелавшего поглядеть опытную модель.

Рабочий день кончался, и, как всегда в дни опытов, вокруг модели сновали любопытные; на лесах двухэтажного дома, который строили вечерами, сверхурочно, люди нет-нет да и отвлекались, чтобы поглядеть на пылающий факел. Еще не стемнело, пламя казалось бесцветным, но оно было, было! — и люди не могли отвести глаз.

Липатов приветливо, как подобает начальнику, поздоровался с гостем, но тотчас ускользнул, ссылаясь на «очередную хворобу» на буровых.

В дощатой будке, где стояли приборы, Саша Мордвинов колдовал над пробами, а Федя Голь аккуратно записывал в тетрадку очередной анализ.

— Давно пора, Всеволод Сергеевич,— сказал Са-

ша и с удовольствием показал записи: — Неплохо? Данные весьма устойчивые.

— Вот уже сутки почти без колебаний: и калорийность, и состав! — восторженно добавил Федя.

Он явно призывал Катенина порадоваться: еще недавно они так тщетно ждали подобного результата! И вот он достигнут... Так ли уж важно, чья тут идея, чья удача?

Катенин впился в тетрадку записей. Придирчиво расспрашивал, как закладывали уголь; действительно ли создана имитация целика или уголь все-таки разрыхлен? Какое дутье? Кислород... Мне не пришло в голову обогатить дутье кислородом... Может, именно в этом все дело? Да, но горит целик! Нарочно заливали пёком и трамбовали, чтобы создать подобие целика. Значит, интересная, но дикая мысль этих «вихрастых» о горении целика верна?

— Здравствуйте, Всеволод Сергеевич!

Ваня Сидорчук прибежал приветствовать гостя. Совесть у него чиста, ему и в голову не приходит, что он «перебежал» из одного лагеря в другой: на станции № 1 проходческие работы кончились, а тут начались, вот он и перешел. Ему тоже хотелось, чтобы Катенин порадовался удачному опыту.

— Федя, ты показал анализы?

Конечно, они уже на «ты». И с Мордвиновым Ваня разговаривает по-приятельски. Пожалуй, они однолетки. И, что еще существеннее, шахтерские дети, родились и сформировались в одной среде, принадлежат к одному классу. Родство во всем... А я?

Впервые за много дней почувствовал Катенин бремя своего возраста. И то, что он чужой среди этой напористой, дружной молодежи. Но как же случилось, что у него, квалифицированного, опытного инженера, носителя духовной и технической культуры многих поколений, у него не вышло, а у них вышло?

— Я считаю целесообразным объединить все усилия,— говорил Саша, не желая замечать угрюмости Катенина,— полезно устраивать обмен мыслями, совместное изучение результатов. Нас, например, очень интересует, что покажут ваши вскрышные работы. А вы могли бы принять участие в научных разработках института.

Так... Значнт, онн хотят сунуть нос в мои ошнбкн, чтобы не повторить их у себя. Они это называют объединеннем уснлий...

— Я еще не махнул рукой на свой метод,— с крнвой улыбкой сказал Катеннн,— н надеюсь с некоторымн поправкамн возобновить опыты. Так что посоревнуемся.

После общего короткого молчання Саша уточннл:

— Соревнованне без сотрудннчества? Ну что ж, как хотнте.

И все занялнсь своим делом.

— Константин Павлович, вы остаетесь или едете? — чувствуя свое уннженне, через снлу бодро спроснл Катеннн.— Я бы хотел двинуться в город. Прнехала жена н ждет в гостнннце.

— Попробуем сбавнть давленне! — деловнто скомандовал Саша.

— Есть сбавнть! — весело отклнкнулся Федя.

— Поезжайте н вернnте сюда машнну,— неохотно разрешил Алымов.

Когда Катеннн вышел нз будкн, уже начало смеркаться и столб пламенн, бьющего нз трубы, как бы увелнчнлся н налнлся силой. Пламя прнобрело цвет снзо-голубой, с прорывающнмнся розовымн и желтымн языкамн.

Катеннн зашагал через площадку к машнне. Вокруг все было знакомо: буровые вышкн, котлованы, еще не обшнтый остов градирнн, лежащне на земле шнрокне трубы, ожидающне монтажа... Все было похожее н в чем-то совсем другое.

Шофер сердито сказал, что гонять машнну взад-вперед — ннкакого горючего не хватнт, н побежал препекаться с Алымовым. Катеннн прнслонился к машнне, лнцом к степи, чтобы не вндеть чужую н враждебную — да, враждебную ему! — стройку. Все, что держало его эти неделн,— самовнушенне. Мечты об успехе нового опыта — самообман. В глубине души он понял еще осенью, на обсужденнн проекта этих «внхрастых», что онн бьют его по всем статьям. Но тогда еще теплнлась надежда: а вдруг?..

В ворота вкатнл нагруженный кирпнчом грузовик. Из кабины выскочнла девчушка с доверчиво распахнутымн глазами. Вндимо, такая радость переполня-

ла ее, что она готова была излить ее на все и всех, включая и нахохлившуюся фигуру Катенина.

— По-видимому, приехал Алымов! — весело сказала девчушка.— Кто-нибудь сейчас уезжает?

— Уезжаю только я, — желчно сказал Катенин.

— Ой, простите! — воскликнула девчушка, чему-то засмеялась и вприпрыжку побежала по площадке, радуясь всему, что попадалось на пути: попалась доска — перепрыгнула через доску, подвернулась труба — примерилась, перепрыгнуть или нет, и обежала ее...

Проводив взглядом это жизнерадостное создание, Катенин еще сильнее нахохлился. Люда!.. Боль все время жила в нем. Обвинять Люду в том, что музыканта из нее не получится, что нет в ней ни подлинной любви к искусству, ни трудолюбия? Но мы с Катей сами выдумали, что она талант. Да и в этом ли дело! Упрекнуть ее, что она выскочила замуж, потому что захотела пококетничать в новой роли? Что не любила и не любит Анатолия Викторовича? Мы, мы виноваты, тряслись над нею, баловали, внушили ей, что она особенная. Но цинизм... откуда цинизм?! Кате что-то показалось, уже собрались быть бабушкой и дедушкой... «Люда, мне пора готовиться в деды?» — «Фу, папка! Этого не хватало!» — «Что ты говоришь, девочка? Ты вышла замуж, это всегда может случиться, и...» — «Ох, папун, до чего ж ты наивный. Когда не хотят, это и не случается. Очень мне нужно закабаляться!» — «Но...» — «Никаких «но»! И вообще, если я захотела иметь мужа, это еще не значит, что я собираюсь быть настоящей женой! Здорово сказано, а?» — Она расхохоталась и убежала, забарабанила на рояле какую-то тарабарщину...

Теперь он знал точно, как поступила бы Люда в ту ночь, когда опыт не удался: она не сумела бы скрыть досаду и раздражение. В последнее время у нее часто проскальзывала насмешливая снисходительность к отцу: эх ты, замахнулся высоко и не дотянулся, сиди уж дома!.. Предвкушала шумный успех, славу, деньги, почетный переезд в столицу — и обманулась.

— Садитесь, поехали,— сказал шофер, неохотно включая мотор.— Горючего всего ничего, а кто с этим считается!

Он рванул на предельной скорости, машину подкидывало, кренило набок, заносило. Огоньки полустанка остались сбоку, а впереди возникли огни шахтерских поселков, красные звездочки, словно повисшие в сумрачном небе, а еще дальше — полоса света, отраженная облаками,— город. И в этом городе гостиница, номерок со скудным убранством, и в нем Катя. Родная, все без слов понимающая. «Видишь, как хорошо, что я привезла термос,— скажет она.— Буфет уже закрыт, а у меня горячий чай, сейчас я тебя напою». Потом бросит между прочим: «Все-таки очень хочется домой!» Настаивать не будет, это на случай, если пора ответить: «Что ж, если хочешь, поедем...»

В дощатой будке издали заметили появление Клаши Весненок — ее ждали уже три дня. Сверчок нервничал, и все это чувствовали. Леня Коротких подал сигнал к розыгрышу:

— Же-ни-хи, товсь!

— Сверчок, поправь галстук,— сказал Федя.

Клаша не сразу пришла в их будку, и Леня Коротких, заняв позицию у окошка, торжественно сообщал:

— Влезла на леса и разговаривает с ребятами... Любуется факелом... Заглянула в компрессорную...

Саша невинным голосом спросил:

— Кого-то она ищет, кажется?

— Да ну вас, право! Выдумали! — бормотал Сверчок, хотя видно было, что розыгрыш ему приятен, и радостно, что такое выдумали, а может, и не выдумали, а заметили?..

— Вот и я! — воскликнула Клаша, появляясь в будке.— Ох, ребята, до чего здорово горит! Я от самого шоссе увидела! Липатушка, кирпич привезли, трехтонку. А ты чего не заходил в горком, Степа? Товарищи, у меня новости! Помните, мы видели возле балки три недостроенных дома? Так вот, строила железная дорога под общежитие своего училища, но училище перевели куда-то и стройку законсервировали. И если хорошенько нажать...

Она смолкла, не договорив. За дверью раздались сердитые голоса, и в будку ворвался Палька Светов.

— Маялись, маялись, так и не вытащили! — сказал он, не обращая внимания на Клашу.— Михайлыч, надо звонить в контору бурения, какого черта!

В тот день на буровой заклинило штангу, и Палька с Маркушей несколько часов помогали выбивать ее. Палька был грязен и зол. И все же ему следовало заметить дорогую гостью.

— Поздоровайся, вахлак,— сказал Липатов.

Палька рассеянно поглядел — с кем?

— А, здравствуй! — кинул он в сторону Клаши и продолжал говорить о негодных штангах и необходимости срочно получить новые.

Клаша покраснела до корней волос — стало очень заметно, какие у нее светлые, прямо-таки льняные волосы.

— Дай-ка журнал! — оборвав возмущенную речь, потребовал Палька у Феди, прочитал последние записи, удовлетворенно хмыкнул и направился к двери.— Ну, я из них душу вытрясу, я им...

Последние угрозы прозвучали уже за дверью. Он окликнул кого-то во дворе, два голоса зазвучали наперебой и стали удаляться.

— Так что там с домами? — не своим голосом спросил Сверчок.— Может быть, действительно...

И не смог продолжать.

Клаша стояла у стены, закусив губу, глаза полны слез.

Стало слышно, как жужжит компрессор, как на разгрузке машины постукивают и шаркают один о другой кирпичи.

— В самом деле, все штанги старые, перекошенные,— заговорил Саша с искусственным оживлением.

— Светов целый день провозился с ними, можно разозлиться,— сказал Федя.

— А с домами было бы здорово,— подал голос Леня.— Если достроить эти три дома...

Никто не смотрел на Клашу.

— Только отдаст ли железная дорога? У них знаете какое ведомство, не подступись!

— Да уж, они и горкому не очень подчиняются.

— А все-таки нужно попробовать! — звенящим голосом сказала Клаша и потянулась за тетрадкой, которую смотрел Палька.— Степа, что это значит: хорошие анализы, да?

Сверчок, кажется и не понял вопроса. Федя ринулся на выручку, начал рассказывать, сколько в газе го-

рючих и почему это важно. Он объяснял подробнее, чем нужно. Клаша кивала головой. Потом она снова упрекнула Сверчка, что он не заходил, прислушалась, выгружают ли кирпич или кончили, и заторопилась к машине, чтобы уехать на ней.

— Пойдем, проводишь,— сказала она.

Сверчок довел ее до машины и проверил, поднимается ли боковое стекло, потому что к ночи похолодало. Они поболтали о том, о сем, пока кончалась разгрузка. Клаша была ласкова, как всегда, но это уже не имело значения.

5

«Катерина родила дочку — и расцвела». Куда ей еще-то расцветать? Шахтерская мадонна. Почему-то боялся — умрет родами. Какие глупости лезут в голову! Все женщины рожают, с чего бы молодая да здоровая умерла? «С собой потащите рожать или как?» Злилась. А теперь, наверно, и не вспомнит...

Светлострой. Странно: Катерина Светова, Светлострой. Написать ей? Нет. Точка.

Анюшка пишет, что у отца большие неприятности, по выводам комиссии из управления пришел резкий приказ. Матвей Денисович возмутился и написал ответ — еще более резкий. У отца не хватает гибкости в отношениях с людьми. Идеалист и фантазер. Игорь написал ему о своем назначении, отец коротко поздравил и не удержался от нравоучения: «Хочу видеть тебя, сын, человеком большой, умной души. Кажется мне, что до этого тебе многого не хватает». О-ох, моралист! Старые большевики бывают удивительно наивны. «Умная душа»! Чего только не выдумают!.. А вся суть в том, что я должен приходить в восторг от его сногсшибательных идей!

Такие мысли сопровождали Игоря в поезде. А потом их будто смело ветром: все отношения прошлого стали незначительными, сегодняшнее было крупно и ярко.

Светлострой.

Игорь никогда не видал такой реки — прозрачной, студеной, быстрой, а в узкостях — бешеной, с глубокими воронками водоворотов между острых камней.

Он никогда не видал таких дремучих лесов с устра-

шающими буреломами, будто космическое тело врезалось в чащу, все круша иа пути. А тишина в лесу! За десяток верст слышио, как пыхтит паровоз и поют рельсы под вагоиами иа подъездной ветке.

Игорь иикогда не работал в таких интересиых геологических и гидрологических условиях, ему ие случалось бывать в такой глухомани. На буровую, расположеииую в полутора километрах от стройки, иужио было добираться часа два, карабкаясь по крутизне, сползая по неиадежиым тропкам, пробитым по краю обрыва иад бешеио мчащейся водой — оборвешься и пиши пропало. А самые обрывы — готовый геологический разрез, все пласты пород обиажены, читай по иим историю земли, изучай иапластоваиия веков.

Но главиое: иикогда еще не участвовал Игорь в работах такого размаха, ие видал такого большого строительства.

Как иижеиер-гидротехиик, ои, коиечио, поиимал техническую стороиу дела, но по-человечески с трудом усваивал, как люди умудрились обуздать эту реку, отвоевать у нее громадиый котловаи. Мимо стенок котловаиа с ревом мчится вспеиеииая вода, а виутри, как в раковиие, копошатся сотии людей с лопатами, кирками и тачками: тут же взрезают грунт и подхватывают его ковшами экскаваторы...

В котловаие сталкивались две техиики — примитивная, дедовская, с лопатами и тачками, и иовая, порождеииая социалистическими пятилетками.

Новой еще не хватало. Не хватало обучеииых кадров — экскаваторы простаивали, механизмы ломались,— но все-таки в ежедневиых сводках победные цифры выемки грунта или замесов бетоиа порождались машинами, а ие ручиым трудом. Кустариые методы Волховстроя отходили в прошлое благодаря той же Волховской ГЭС, и Уралмашу, и другим созданиям первых лет строительства.

Игорь любил заходить на бетоииый завод, примостившийся иа крутом берегу среди замшелых валуиов, обкатаииых доисторическими подвижками ледииков.

На бетоииом царили голосистые девчата. Под грохот и шипеиие бетоиомешалок оии бойко перекрикивались между собой и истошно ругались с шоферами, ког-

да те пытались продвинуть без очереди свои громоздкие машины, заляпанные бетоном. Игорю нравилось серое, грубое месиво бетона, нравилось, как оседают грузовики под тяжестью бадей, как они срываются с места и сразу, подпрыгивая на колдобинах, что есть мочи мчатся к плотине...

Все годы учебы Игорь слышал о социалистическом соревновании и сам участвовал в соревновании между курсами и группами, но в институте показатели были шаткие и не особенно волновали студентов, так что и самое понятие постепенно сделалось для Игоря чем-то обычным и малоинтересным. Здесь же самый воздух, казалось, был насыщен азартным, бодрящим духом соревнования: больше бетона, больше рейсов машин, больше вынутого грунта за сутки, за смену, за час! Участок с участком, бригада с бригадой — все соревновались, стараясь перекрыть все нормы, сжать все сроки. Кумачовые плакаты с призывами: «Помни, к 15 мая мы обязались...», красные доски с показателями лучших бригад и портреты героев дня, переходящие знамена и флажки победителей, развевающиеся на опалубке, на кранах, на грузовиках и просто на длинных шестах над рабочим местом бригады,— все это было весело, броско. Труд — самый тяжелый и самый рисковый — становился праздничным, не средством к жизни, а самой жизнью. Строители зарабатывали сдельно, но разве о заработке они тревожились, когда приходили в ярость от любой задержки?!

Иногда Игорю хотелось самому сесть за баранку грузовика, чтобы делать рекордное количество рейсов,— в его работе такой конкретности не было. Еще чаще ему хотелось участвовать в монтаже подвесной дороги, по которой скоро поплывут бадьи с бетоном: ему нравился и остроумный ее проект, и опасная, геройская работа молодых монтажников, с форсом выполнявших на высоте, над рекой, почти акробатические номера.

Притягивало Игоря и головное сооружение, где не по дням, а по часам нарастала высота бетонного массива. Здесь верховодили бывалые мастера, которые укладывали бетон на Днепре и на Свири, а кое-кто и на Волховстрое. Когда на стройку приехал Юрасов, или, как здесь говорили, «сам Юрасов», перед ним робели не только начальники участков, но и другой «сам» —

Луганов, начальник Светлостроя. И Юрасов, видимо, считал это в порядке вещей. Но со старыми мастерами он встречался, как с лучшими друзьями, расспрашивал их о женах и детях, и они его расспрашивали о жене и детях и вспоминали былые дела да случаи и общих товарищей. А сопровождающее Юрасова начальство терпеливо ждало в сторонке.

Игорь впервые столкнулся с людьми из новообразованного пятилетками племени профессионалов-гидростроителей и жадно знакомился с ними, заводил дружбу и со сверстниками и со стариками, по крупицам собирал еще нигде не записанный опыт: он мечтал, что сам скоро разверится тут вовсю.

Приучаясь не поддаваться страху высоты, Игорь забирался на опалубку и заставлял себя смотреть вниз, на трудовую кутерьму в котловане, на головокружительную игру водных струй в несущемся мимо потоке, а потом завороженным взглядом будущего строителя охватывал панораму в целом.

Вдоль крутого скалистого берега петляла дорога, по ней одна за другой бесстрашно мчались — подъем, поворот, спуск — машины с песком и гравием.

На желтом обрыве песчаного карьера методично двигалась стрела экскаватора — вниз, вверх, вбок... Еще дальше пылил каменный карьер и зловеще грохотала камнедробилка. Иногда в стороне каменного карьера взлетала ракета, а затем раздавался взрыв. Эхо повторяло его раз пять, затихая далеко в горах.

Другой, более пологий берег был весь, сколько видит глаз, захвачен стройкой.

На километры тянулись склады—новое оборудование в ящиках и навалом, под брезентом и без него; за плотным забором, с часовым на вышке,— горючее; а там, где и забор, и вся земля, и дорога на выезде покрыты серой пылью,— цемент...

За неприглядной мешаниной старых рыбацких домишек, временных бараков и землянок — светлый порядок первых кварталов соцгорода, растущие стены в опояске лесов, нарядное с колоннами здание Управления, похожие на скворечники коттеджи с остроконечными крышами — поселок ИТР, поблескивающие стеклянные крыши мастерских и Ремзавода, а за ними — подъездные пути железнодорожной ветки с дымками

паровозов, с теплушками и платформами, стоящими под разгрузкой, с дощатым бараком временного вокзала, на котором иа днях появилась ослепительная вывеска с гордым названием «Светлоград».

Игорь видел не только то, что уже есть, ио и то, что будет спустя несколько лет. С листов ватмана, пришпиленных на стене в Управлении, он переносил сюда дугообразную красавицу плотину с венчающим ее Дворцом Света — турбинным залом, вытянутые в длину ступеии шлюзов и головные ворота, возле которых станет настоящий маяк. Маяк будет перемигиваться с другим, у истока водохранилища, а между ними будет лежать море, облизывая волнами вот эти скалы, что сейчас высоко над водой, и намывая песчаные пляжи на радость постояниым жителям Светлограда. Широкая лестиица, нелепо сбегающая от дома с колоннами в тесноту бараков и землянок, примкнет к будущей гранитной набережной. Бараки, сараи, землянки придется снести. Эта полоса уйдет под воду, а дома соцгорода приблизятся к берегу моря и, пожалуй, в ясные дни будут отражаться в воде...

По белым столбикам, установленным изыскателями, Игорь точно определял границы моря и чувствовал себя причастным к его созданию, хотя столбики были вбиты до него.

— Удобная у вас профессия! — многозначительно говорила Тоська.— За вами все водичкой зальет и песочком затянет, поди знай, чего вы где накуролесили.

Тоська жила в центре молодого города, рядом с универмагом и недостроенным Дворцом культуры, но в собственном домишке, уцелевшем от рыбацкого поселка. Парадную комнату она отдала изыскателям под контору, во второй жила сама и в углу, отделенном занавеской, сдавала койку.

У нее и поселился Игорь.

Звали ее Таисьей, но всей стройке она была известна как Речная Тоська. Она беззлобно и лениво отругивалась, если к ией слишком настойчиво приставали, своей завлекательностью бравировала, недотроги из себя ие корчила, а над ревнивыми женами смеялась во всеуслышание:

— Которые имеют мужей, пусть те и караулят свое добро, а я чужих мужиков жалеть не обязаиа!

Впрочем, даже в тесноте стройки, где все на виду, особых сплетен про нее не ходило.

В ее независимых повадках сквозило чувство собственного достоинства женщины, привыкшей рассчитывать на себя. С детства Тоська рыбачила — с отцом, потом с мужем. Кто был ее муж и куда девался, никто точно не знал. Когда началось строительство, Тоська нанялась к изыскателям водомерщицей.

Три раза в сутки в любую погоду она отправлялась на верткой лодчонке к своему водомерному посту измерять уровень и температуру воды, а один раз в день вывозила на середину реки техника-гидролога с вертушкой для измерения расхода воды и скорости течения. В резиновых сапогах и потертом кожушке, она гребла сильно и точно, не боялась ни ветра, ни течения.

Когда кто-нибудь из тех, кто «сох» по ней, предлагал помочь, она поводила плечом и лениво отвечала:

— Это ж не гулянка, а работа, на что ты мне там нужен?

У нее было чистое румяное лицо рыбачки и ровные, очень красивые зубы — в сказках такие сравнивают с жемчугом. Тоська знала, что зубы красят ее, и улыбалась во весь рот, предоставляя людям любоваться или завидовать — кому что хочется. Одевалась она очень тщательно, подчеркивая все, что стоит подчеркнуть, не жалея времени на стирку и глажку. Волосы подолгу расчесывала, крутила на руке, рассматривала в зеркале, а потом укладывала так, чтобы пробор — как ниточка, и волосок к волоску.

Игорю нравилось, что она такая чистенькая, что она смела и ловка в работе. И ей сразу приглянулся новый постоялец. Они сошлись без мудрствований и были довольны друг другом. Тоська искусно скрывала их отношения, и это Игоря устраивало. Обедал он в столовой, но завтраки и ужины Тоська стряпала сама и очень любила посидеть с Игорем за столом, где она хозяйка, и вести неторопливый разговор.

— Чаевничаем, как всамделишные супруги,— посмеивалась она.— Смотри не привыкни, еще окручу!

Обычно Тоська держалась шутливо, по-товарищески, но случались у нее порывы какой-то исступленной нежности. Это льстило Игорю, хотя сама Тоська потом издевалась над собой:

— Бабу как ни ломай, бабья дурь нет-нет да пробьется.

Иногда он ревниво размышлял: кто был у Тоськи до него? Она скрывает их связь, наверно, скрывала и прежние... Но он не расспрашивал ее, дорожа ни к чему не обязывающей непринужденностью отношений и не желая углублять их.

Впрочем, Тоська не занимала большого места в жизни Игоря. Главным интересом и страстью, главным содержанием всей его духовной жизни была работа: ее масштабы, ее возможности, самостоятельность действий, которую он получил по праву и постепенно расширял. Его назначили заместителем начальника отдела изысканий: отдел изучал все особенности реки и геологию района, искал «инертные» стройматериалы и уточнял границы водохранилища. Отделом руководил немолодой гидролог Николай Иванович Перчиков, человек в высшей степени корректный и доброжелательный. Он один называл Тоську Таисией Михайловной, со всеми говорил на «вы», даже с самыми юными студентами-практикантами, и невероятно страдал оттого, что начальник строительства Луганов был грубоват, а когда хвалил или сердился, говорил «ты» даже пожилым людям. Игорь подозревал, а новые знакомцы из числа руководителей участков подтвердили, что Николая Ивановича он чаще ругал, чем хвалил: более противоположные характеры трудно было подыскать.

Николай Иванович со щедростью опытного специалиста объяснил Игорю все особенности здешней работы и с ходу переложил на него контроль над всеми точками изысканий.

Была у изыскателей лодка с подвесным мотором. Николай Иванович изредка выезжал на ней к работникам прибрежных точек, но задерживаться там не любил. Вечерами Игорь видел его гуляющим с двумя маленькими мальчиками, однажды заметил, как он выходил из магазина с переполненной сетчатой сумкой. Семьянин-обыватель? Бесспорно. Знающий специалист? Тоже бесспорно. Службист «от сих до сих»? Похоже. Чувствовалось, что изыскатели Николая Ивановича любят — то ли из жалости к доброму, вежливому человеку, то ли потому, что с ним удобно.

Игорь сразу повел себя придирчиво-требовательно, но никто не обижался,— видимо, соскучились по деловому порядку.

Лодка с подвесным мотором перешла в собственность Игоря. Он научился лихо мчаться против течения, вздымая буруны, скользить по стремнине вниз, проскакивать между камнями.

Большинство изыскателей жило на стройке и тратило уйму времени, чтобы добраться к месту работ. Молодые ребята по своей инициативе пристраивались на случайные ночлеги или брали с собой палатку, но это была кустарщина; инструмент, продукты, все изыскательское хозяйство тащили на себе.

Игорь помотался по окрестностям, определил зоны работ и подыскал у рыбаков временное жилье — базу для каждой зоны. Составил план снабжения и переброски работников, сам доставлял все необходимое на моторной лодке или на лошадях — вьюками.

Николай Иванович не без досады одобрил это новшество. Игорь позвал его посмотреть базы — Николай Иванович поехал, но к концу рабочего дня заторопился обратно, застенчиво объяснив: «Семья ждет», — и больше не выезжал.

Все складывалось хорошо: можно проявлять самостоятельность без помех. Вот только понедельники...

У начальника Светлостроя по понедельникам собирались «большие оперативки» с руководителями всех участков и служб... и на этих оперативках изыскателей представлял Николай Иванович. Луганов проводил совещания напористо, с юмором и беспощадной суровостью; рассказывали, что порою там бывают «спектакли», подробности которых разносятся по всему строительству.

Николай Иванович ходил туда неохотно, докладывал слишком длинно, так что Луганов не раз обрывал его. Игорю до смерти хотелось присутствовать на оперативках, он с первого дня влюбился в Луганова: бывший матрос, красногвардеец, рабфаковец, кончал институт заочно, работая на стройках. Прямой, грубый, веселый, организатор, каких мало, Луганов выдвигался быстро и к тридцати пяти годам приобрел всесоюзную известность.

Иногда Игорю мерещилось, что его собственный путь будет таким же, и он невольно подражал Луганову, говорил с людьми грубее и насмешливей, чем обычно. Впрочем, многие инженеры бессознательно делали то же самое.

Работу изыскателей задерживали плохое снабжение оборудованием и медлительность ремонта. Мастерские и Ремзавод были перегружены заказами ведущих объектов стройки, от изыскателей открещивались. К середине лета создалось бедственное положение у буровиков: колонковые трубы выбывали из строя, новых не подвезли; нужно было поднять из скважин старые трубы и сделать новую нарезку, но никто за это не брался. Николай Иванович тщетно околачивал пороги разных отделов.

Порасспросив новых приятелей, Игорь узнал, что мастер нужного ему цеха — москвич и завзятый театрал. Игорь целый вечер болтал с ним о московских театрах, рассказывал были и небылицы об актерах, а потом по-приятельски договорился о нарезке труб. Трубы подвезли ночью и обошлись без формальностей. Работа пошла бойко, как говорил Игорь, «на факторе личной заинтересованности»: он приплачивал токарям из своего кармана.

Вместе с мастером-театралом Игорь стоял возле токарей, когда в мастерских поднялась суматоха.

Прежде чем Игорь догадался исчезнуть, на пороге появилась громадная медведеобразная фигура Луганова. За ним в мастерскую ввалилась целая свита разных начальников.

Игорь застыл от страха: ему казалось, что наваленные на полу трубы занимают все помещение, что они прямо-таки лезут в глаза.

— У меня механизмы стоят, понимаешь ты это? — зычным голосом говорил Луганов, шагая по мастерской.— «Деррики» сколько времени мусолишь? — Он наткнулся взглядом на трубы, остановился, разглядывая их, как диковину: — А это що це таке?

Мастер, заикаясь, пробормотал, что изыскатели попросили... работенки на часок...

— Вот, пожалуйста! — Луганов взял за плечо начальника мастерских и пригнул его носом к трубам.— Полюбуйся! Твои порядочки! План побоку, а частные

заказики — милости просим? Все трубы выбросить вон немедленно!

Игоря он не заметил или принял за одного из работников мастерской. Гроза могла пройти мимо. Но Игорю были нужны эти трубы, а Луганов ему нравился решительно всем — и внешностью, и грозовыми раскатами голоса, и даже решением — выбросить вон немедленно. Судьба впервые свела Игоря с Лугановым лицом к лицу — это был случай заявить о себе. Когда-то выпадет другой?!

— Товарищ Луганов, это неправильно! — отчеканил Игорь, шагнув вперед.— На оперативках вы ругаете изыскателей за темпы, когда требовать — мы ваши, а когда дело доходит до помощи — мы чужие, мы частники. Неправильно!

— Глядите, какой обличитель нашелся! — весело изумился Луганов и смерил Игоря с головы до ног.— Ты кто такой?

— Заместитель начальника отдела изысканий инженер Митрофанов!

Получилось почтительно, но с вызовом.

— А почему я тебя не видел?

— Недавно прибыл, товарищ Луганов. Стараюсь привести оборудование в образцовый порядок, а темпы ускорить. Прошу разрешения закончить нарезку труб, иначе бурение станет.

— А в план ввести — лень? Нарушать план — легче?

— Разрешите говорить начистоту? — спросил Игорь и, чувствуя себя на счастливом подъеме, тут же выпалил: — Стройка новая, товарищ начальник, а бюрократизма старого немало. Пока пробьешься в планы, собственный план к черту завалишь.

Сопровождающие загудели было, но Луганов расхохотался:

— Вот как молодежь честит нас! Значит, говоришь, стройка новая, а бюрократизм старый? Начальнички, это ж по вашему адресу! И что ему наши механизмы, когда у него буровые станут? Ладно, парень, пусть эти твои штуки дорежут, черт с тобой, а то еще и меня в бюрократы запишешь. А к оперативке составь мне, удалец, толковую заявку, и все-таки будем планировать, как господом-богом установлено, иначе вы мне

полный ералаш устроите. Это все твои трубы? Ну-у, ловкач же ты!

И он крупными шагами пошел дальше.

Это была победа.

И это было начало популярности: в последующие дни история с трубами возвращалась к Игорю разукрашенной лестными подробностями.

Николай Иванович порадовался тому, что трубы отремонтируют, но стычку Игоря с начальником восприиял боязливо: чего доброго, рассердится Луганов!

Заявку составили обстоятельно, с запросом. Игорь мечтал понести ее сам, но Николай Иванович сказал:

— Что ж, попробую доложить. Только не возлагайте особых надежд. Сколько раз я эти вопросы ставил — все зря!

После оперативки Николай Иванович кисло сообщил, что заявку передали на рассмотрение аппарата, а это гроб с музыкой. В тот же день приятели рассказали Игорю, что Николай Иванович мямлил, а Луганов перебил его доклад вопросом: откуда у вас взялся молодец-удалец, что меня бюрократом окрестил?

Игорь не знал, как это понять. Обиделся Луганов? Или с удовольствием заметил энергичного работника?

Мысль возникла неожиданно: «Он меня выдвинет, если поймет, что я работаю лучше и оперативней Николая Ивановича!»

Игорь отогнал соблазнительную мысль: «Молод, первый год работаю, у Николая Ивановича опыт, стаж...» Но мысль засела в мозгу. Все чаще раздумывал Игорь, как бы он перестроил работу, если бы получил полную свободу действий.

Говорить об этом ни с кем нельзя было. За ужином он попробовал кое-что рассказать Тоське,— конечно, не обмолвившись о мечте заменить Николая Ивановича. Тоська восхищалась, какой он умный, потом обняла его теплой рукой:

— Ты скажи Николай Иванычу, он согласится.— И соблазнительно потянулась: — Спа-ать пора!

Встала и сквозь смеженные ресницы поглядела, куда он направится — к ней или в свой угол за занавеску.

Недели через две, поднимаясь вверх по реке на одну из точек, Игорь увидел впереди катер Луганова.

Катер был гордостью начальника Светлостроя — вместительный, безукоризненных обтекаемых форм, сверкающий ослепительной белизной.

Вот он, случай напомнить о себе!

Жалкий подвесной моторчик никогда еще не выдерживал такой нагрузки. Рискуя налететь на подводный камень, Игорь мчался вдоль берега, где встречное течение не так сильно.

Расстояние между лодкой и катером быстро уменьшалось, Игорь разглядел, что в катере целая компания, а ведет его сам Луганов; моторист, изогнувшись, стоит рядом с ним, готовый в любое мгновение перехватить рулевое колесо.

Луганов шел по стремнине, приближаясь к опасному ущелью, где река суживалась и где нужно опасаться водоворотов. Игорь прикинул: если не обгоню до ущелья, весь выигрыш времени будет потерян, а там придется пыхтеть на стремнине, Луганов уйдет далеко вперед. Надо сейчас, сейчас!

Мотор взревел, задыхаясь от предельного напряжения. Совсем близко от корпуса лодки промелькнул колючий подводный камень — налетишь, тут тебе и конец. Но лодка догнала катер и пошла в трех метрах сбоку.

На катере заметили Игоря и что-то кричали ему, вероятно предупреждая об опасности.

Луганов не поворачивал головы: ущелье надвигалось — нужно следить в оба.

Срезать нос катеру и вырваться вперед — сию минуту, иначе поздно...

Игорь рванул лодку на стремнину, срезая нос катеру. Луганов невольно отвернул, чтобы не протаранить лодку: самоубийца там, что ли, или круглый идиот?

Проскочив вперед, Игорь сбавил скорость. Моторчик мирно затарахтел в нескольких метрах от катера, вынужденного идти следом. Сзади доносились отборные ругательства — зычный голос Луганова перекрывал тарахтение мотора и шум реки.

Игорю хотелось оглянуться, но оглядываться нельзя было: вошли в ущелье.

Здесь Игорь обычно побаивался: скалы гулко отражали каждый звук, сумрачно блестели коварные, завивающиеся струи, управление лодкой требовало

силы и точности. Но сегодня он забыл всякий страх, его переполняло ощущение удачи и ожидание чего-то решающего.

Сразу за выходом из ущелья была маленькая уютная заводь с песчаной отмелью, а повыше ее, над предельной отметкой паводков, стояла хибарка, где теперь жили гидрологи и ночевали рабочие ближайшей буровой вышки. Гидрологов не видно было, но за хибаркой клубился низкий дым.

Игорь ткнул лодку в песок, выскочил на отмель и оглянулся — белый катер входил в заводь.

Сердце выстукивало торжественную дробь. Игорь помахал рукой и крикнул:

— Глубина меньше метра, осторожно!

— Вот это кто! — Луганов уже передал руль и стоял на носу, веселый медведь с озорными глазами. — Выдрать тебя охота. За уши твои ослиные!

— Тогда прыгайте в воду! — откликнулся Игорь.

Луганов, не раздумывая, прыгнул: видно бывшего матроса, хоть и отяжелел с годами. Под его грузным телом вода взвилась фонтаном брызг. Игорь подал руку.

— Лихач ты и нахал, вот что! — сказал Луганов, вытирая лицо. — На кой дьявол ты перся? Жить надоело? Не отверни я...

— Я ж видел, что это вы, — сказал Игорь. — Бывший моряк, неужели не сумеете отвернуть?

Гидрологи выбежали из-за хибары и стояли, удивленные обилием гостей.

— Здесь одна из моих баз, Федор Тихонович. — Теперь, когда знакомство упрочилось, Игорь впервые назвал Луганова по имени-отчеству. — А «перся» я проверить работу гидропоста.

— Пожалуйте к нам, — робея, сказал один из гидрологов. — Мы как раз уху варим. Там и дымок — комарья меньше.

Луганов первым вскарабкался наверх, за ним Игорь. Остальные сидели в катере, не зная, что им делать. Не заглядывая в хибару, Луганов заторопился под клубящийся дымок, так как комарье сразу налетело на его влажные лицо и шею.

Над очагом булькала в котелке уха. Пахло сильно и вкусно — рыбой, печеной картошкой и дымком.

— Ишь ты, до чего пахнет, гадюка! — вздохнул Луганов и, приняв решение, зычно скомандовал своим спутникам: — Езжайте на карьер без меня! Сомов, распорядись там, как надо. На обратном заедете!

И гидрологам:

— Объем я вас, изыскатели, плакала ваша уха, да и картошка тоже.

Игорь попросил разрешения выслушать доклады подчиненных.

— Валяй. Твоя епархия.

Гидрологи докладывали четко, подыгрывая Игорю. Игорь был придирчивей и строже обычного. Луганов прислушивался и палкой подгребал к картошке горячую золу.

Потом Луганов поинтересовался, как живут изыскатели и как делают промеры в ущелье. Видно было, что он оценил их труд на этом опасном участке.

Спросил, сколько человек здесь ночует, заглянул в хибару — ну и дворец! Его рассердило, что в хибаре нет кроватей, что постели убогие, одеяла рваные. Неужели нельзя завезти сюда все, что нужно?

— Привожу все, что могу достать и завезти один на своей лодке, — сказал Игорь. — Раньше у гидрологов и керосина не было, продукты раз в две недели привозили. Один промеры делает с риском утонуть, а другой в городе продукты достает, а потом выгребает на веслах против течения.

— Сейчас мы не жалуемся, — опять подыграли гидрологи. — Игорь Матвеевич нас и снабжает, и навещает почти каждый день.

Все, что нужно, дошло до Луганова, можно было заняться ухой и печеной картошкой.

Уху хлебали, не отвлекаясь, со смаком. Когда котелок опустел, а на табурете, заменявшем стол, появилась обугленная, потрескавшаяся картошка, Игорь выложил свои соображения, что и как изменить в работе отряда.

— Дельно, — сказал Луганов, надломил картофелину и с удовольствием присыпал ее дымящуюся, коричневую по краям мякоть крупной солью. — Дельно соображаешь, — повторил он. — Ах, вкусна, бисова дочь! Что хлопцы, едали вы харч вкусней печеной картошки?

Когда вернулся катер, Луганов велел мотористу достать «заветную корзину, начальственное НЗ». В корзине оказалось немало всякой снеди, хватило бы на ужин десятерым. Луганов поколебался, потом оставил и флягу.

— Пейте на здоровье, молодцы. Ну, Митрофанов, едешь ты? Может, взять тебя на буксир?

— Люблю идти ведущим, Федор Тихонович. А сейчас поеду на другие точки. До темноты успею.

Уже с катера Луганов предупредил:

— Смотри, ведущий, в потемках не вздумай возвращаться! Ты с этим ущельем не шути, понял?

Когда белоснежный катер удалился, один из гидрологов похвалил:

— Хороший мужик.

А второй сказал:

— То, что вы придумали, очень верно. Николай Иванович одобряет?

Что я наделал? — ахнул Игорь. Получилось в обход непосредственного начальника. Если дойдет до него, обидится... Да, но если поделиться с ним своими планами, Перчиков нехотя скажет: «Подумаю, посоветуюсь», — и все застрянет. А если он и перестроит систему работ, кто узнает, чья тут идея? Скажут: «Молодец Перчиков, тихий, а как заворачивает!»

Нет, все вышло удачно.

— Одобрить легко, провести труднее, — неопределенно ответил Игорь. — Что ж, ребята, попробуем начальственное НЗ?

Он не поехал на другие точки.

Подоспели буровики, все вместе распили фляжку начальственного коньяка.

Начинало темнеть, когда слегка охмелевший Игорь вывел лодку из заводи.

Ущелье казалось теперь еще уже — темная, гулкая труба. «Ты с этим ущельем не шути» — так сказал Луганов? А мы пошутим. Полный вперед!

Течение всосало лодку в темную трубу. Черные скалы мелькали совсем близко и уносились назад.

Вот лодку крутануло на причудливом зигзаге главной струи... Игорь на миг потерял управление, лодку повернуло боком... Протрезвев от страха, Игорь вце-

пился в руль, навалился на него — ему кое-как удалось вывести лодку иа курс.

Ущелье коичилось — и сиова хмельной восторг завладел им, ои ощутил себя удачливым и бесстрашным, его ждало исполнеиие всех желаний...

Лугаиов выдвинет его, он любит молодых, дерзких, умеющих работать. Николаю Иваиовичу пора иа покой, а мие — иачинать! Вот впереди сияет тысячей звезд Светлострой. Мое иачало. Моя судьба. Светова — Светлострой.

Эх, Катериил, никогда бы ты ие пожалела, если бы пошла со мной! А впрочем, что мие она?

На причале стояла Тоська. Скажи пожалуйста, встречать вышла. Зиачит, волиовалась о милом?

— Сумасшедший, в такую тьму ущельем! Жаль, ие искупался, второй раз ие поиесло бы! — отчитывала оиа, замыкая лодку иа замок.— Да ты выпивши? Иди в дом, там тебе письмо.

Все еще хмельной, Игорь взбежал по обрыву и путаиицей дворов и проулков добрался до дому. Письмо лежало иа столе.

> *Игорек, у нас большие неприятности. Папу сняли с работы и отозвали в распоряжение отдела кадров. Очень это глупо, потому что экспедиция через два месяца заканчивается, кому же подводить итоги, как не ему? Кажется, здесь еще будет какой-то разбор на коллегии. Я волнуюсь, потому что отец устал, задерган. Напиши ему поласковей, ему сейчас нужна любовь.*
>
> *Целую тебя. Мама.*

Ему нужна любовь... Отец возиик перед ним так ясио, будто стоял по ту сторону стола. Не такой, каким ои был в последиее время, — рассеяииый, обуреваемый глупыми фаитазиями, сосредоточеиио-мрачный... Нет, отец вспомнился прежним — дочериа загорелый и обветреииый, с крутыми плечами, с охрипшим иа всех ветрах голосом — отец-герой, молодец молодцом.

Того Митрофаиова иикто не сиял бы. Тот Митрофанов сам скрутил бы любого иедруга.

Жалея отца и обдумывая, как написать ему посердечией, Игорь все-таки осудил его — сам виноват.

Я предупреждал его. Он, как Николай Иванович, стал немного «не от мира сего». А в сем мире нужно быть начеку. Брать и держать свое.

Матвей Денисович сдавал дела Аннушке Липатовой.

Аннушка не плакала только потому, что не могла позволить себе женскую слабость. Липатов не раз уверял, что в глубине души она плакса, но ее удерживает чувство партийной и геологической ответственности.

— Не расстраивайся, Аннушка, — утешал Матвей Денисович. — Трудно тебе придется, так ведь всего два месяца осталось.

— Меня злит несправедливость, — тихо отвечала Аннушка.

Проще всего было бы отказаться от обязанностей начальника, но Аннушка понимала, что новому человеку не завершить в срок работу экспедиции, пострадает и дело и коллектив.

Ужасно было то, что в последнюю встречу она клятвенно обещала мужу приехать не позже августа, рассчитывая всю «писанину» делать дома. Готовясь возобновить семейную жизнь, Аннушка съездила в Ростов к дочке и наконец-то позволила себе разругаться с тетей Соней, замучившей девочку своей системой воспитания. После ссоры пришлось забрать бледненькую счастливую Иришку с собой. «Система» тети Сони привела к тому, что Иришка возненавидела хорошие манеры, музыку и английский язык, вызывающе говорила на жаргоне ростовских мальчишек, носилась по степи с репейниками в косицах, помогала лаборантке паковать пробы и не хотела ни в какую школу. Необходимо было заняться ею серьезно. И вот все полетело кувырком!

Несмотря на огорчения, Аннушка принимала дела обстоятельно. Свои собственные журналы работ она просматривала заново, глазами руководителя, и ругала себя, когда находила огрехи; все имущество экспедиции считала нужным осмотреть и пощупать, денежные документы проверить все до единого...

Матвей Денисович не сердился, он знал, что она

попросту трусит, хотя никогда не признается в этом.

Аннушка попросила его сделать остановку в Донецке, поговорить с Липатовым и как-нибудь примирить его с печальной новостью о последней (которой по счету!) задержке. Матвей Денисович охотно согласился: спешить было некуда, хотелось собраться с мыслями до возвращения в Москву, повидаться со старым другом Кузьмичом, узнать, как там Леля...

И вот подписан акт.

Собраны вещи.

Сторожев лично выводит «рыдван моей бабушки», перешедший к нему по наследству от Игоря.

Весь коллектив вышел провожать. Люди огорчены, молча жмут руку, молча заглядывают в глаза.

— Ну, товарищи, чтоб в срок и как следует!

Рыдван заводится, как новенький. Высунув голову в окно машины, Матвей Денисович в последний раз оглядывает людей, с которыми проработал больше года.

Они стоят неподвижно, все до единого. Он видит их лица и вдруг понимает — вот она, награда, вот высшая оценка.

Липатушка встретил его на вокзале.

— Это совершенно невозможно! — закричал он, прежде чем поздороваться. — Они сошли с ума! Вы должны объяснить! Она завалит дело и загубит ребенка!

Он совсем не воспринял в письмах жены другую сторону дела — что Матвея Денисовича сняли с работы. Он был в отчаянии — опять ни жены, ни дочери, подразнили и отняли!

— Вы в Москву? — спрашивал он, забывая, что по поручению жены сам бронировал Матвею Денисовичу билет. — Докажите им, что она просто не справится, что это какая-то чушь — женщину с ребенком... при ее хрупком здоровье...

— Так ведь меня сняли, — усмехнулся Матвей Денисович. — Какой же у меня теперь голос?

Липатов ошеломленно смолк и не сразу сообразил, как выпутаться из неловкого положения.

— А пошлите их к чертовой бабушке! — наконец решил он. — Не расстраивайтесь, приедете и на месте отобьетесь.

— А я и не расстраиваюсь, — сказал Матвей Денисович.

И снова Липатов не знал — расспрашивать ли, что случилось, или не касаться неприятного случая совсем.

— Человеку трудно, когда у него жить нечем, а у меня жить есть чем, — сам заговорил Матвей Денисович.

— Вы пока в резерв?

— Я не о ставке, — усмехнулся Матвей Денисович. — Меня и жена прокормит. Я ведь не феодал, жене работать не мешаю. — И он скосил глаза на смущенного Липатова.

Уже в трамвае по пути к Кузьменкам Липатов хмуро сказал:

— Между прочим, феодал из меня не получается.

Кузьмы Ивановича не застали — он работал в утро. Кузьминишна нянчила внучку у Световых.

Дома был только Никита, он сидел на веранде и мрачно зубрил физику — началась сессия.

Распрощавшись с Липатовым, который теперь волновался, справится ли Аннушка и не подведут ли ее сотрудники, Матвей Денисович подсел к Никите и только тут узнал, как сложились у него и у Лельки дела. С недоумением и гневом присматривался Матвей Денисович к парню: посерьезнел как будто, буровому мастерству не зря учили, не изменил профессии, даже, кажется, гордится ею. В техникум поступил. Это все как надо. К тому и вели.

Но что же он натворил с Лелькой? Как же он не сумел переубедить родителей? И что же это за безответственность — вызывал, просил, а потом — в кусты!..

Никита сидел, опустив голову, чуб свесился на глаза, губы надуты. Обветренные, потрескавшиеся пальцы верхового усиленно мяли край учебника физики.

— Пощади физику, она не виновата. А вот ты...

— Я Лелю ничем не обидел, — мрачно сказал Никита.

— Так женись и живите как люди. Неужто выхода не найти?

— А как? Вот построят на станции жилье, попросим комнату...

— А если не дадут? Там небось не вы одни?

Никита растерянно вскинул глаза:

— Как «не дадут»?..

И еще нже склоннл чубатую голову, должно быть впервые задумавшнсь над тем, что же делать, если комнаты не дадут. И Матвей Деннсович задумался над тем же. Озорннчать умел, а вот жнть... Жнл прн маме с папой, потом, в экспеднцнн, опять-таки не сам по себе, на готовом... А тут самому нужно.

— Ну вот что. Езжай за Лелей н немедленно прнведн сюда, скажн — Матвей Деннсовнч требует.

Ннкиту как ветром сдуло с веранды.

Вот ведь как бывает! — думал Матвей Деннсович, рассеянно мочаля тот же учебннк фнзнкн. Четыре хороших человека, а понять друг друга не могут. И почему я решнл, что прн мне поймут? Вмешался, старый дурень, а захочет лн Кузьма моего вмешательства? И Кузьминншна — мало лн горюшка она хватнла с Ннкнтой! Почему я верю этому шалопаю? И Лельке — почему я так уверен в ней?..

Прнбежала Кузьмннншна, ахнула, увидав нежданного гостя, захлопотала.

Пришел с работы Кузьма Ивановнч. Обнялись, прнглядел нсь друг к другу н промолчалн, потому что каждый заметил — постарел прнятель! — а говорнть такое непрнятно.

Пообедалн, выпилн по рюмочке. И только тогда Матвей Деннсовнч сказал:

— А я надеялся, мне навстречу молодая невестка выбежит. Как же вы такую славную девушку упустилн?

— Уж до того славная, до сих пор не опомнилнсь,— сказал Кузьма Ивановнч.

И снова удивился Матвей Денисовнч, как по-разному можно воспрннять одного н того же человека. Он слушал рассказ Кузьмннншны, узнавал Лелькнн характер и совершенно не узнавал ту счастливую девушку, что уезжала от него к женнху. Он столько хорошего наговорил ей о старнках Кузьменко, она настроилась прннять нх всей душой. Что же случилось в тот день?

Кузьмннншна рассказывала нечто несусветное, Кузьма Ивановнч коротко заключнл:

— Барышнёшка, да еще беспутная.

— Слушаю вас — ну, будто не о ней. Ничего-то вы в ней не увидели!

Кузьминишна готова была поверить чему-то иному, доброму, она истомилась тревогой, что Никита уйдет навсегда из родного дома. Но Кузьма Иванович фыркнул:

— Еще как разглядели! Напоила допьяна, привела и бросила в грязь — невеста! Тьфу!

— Бросить со зла — это она может, — улыбнулся Матвей Денисович. — Вот только не пойму, почему ж она теперь его не свихнула? С чего это он теперь не пьет, работать научился, физику зубрит?.. Или ей наперекор? — И нахмурясь: — Как хотите, вызвал я ее сюда. Чтоб такая золотая девчонка да пропадала из-за вашего шалопая? Увезу! Сирота круглая, с детства беды нахлебалась, мы ее, как дочку, растили... Увезу!

Кузьминишна обмерла. Как-то по-новому все повернулось, вроде и жалко уже. И Никитку жалко — если увезет девушку этот бирюк — а он, видать, нравный, — что с Никиткой станется?..

Кузьма Иванович ожесточенно сосал трубку. Не любил он менять свои мнения и решения. Да и с чего бы? Хороший человек Митрофанов, щедрая душа, так ведь он не видал, как она Никитку по щекам своей дурацкой шляпчонкой хлестала, как она пьяного кинула в грязь и еще запела хулиганскую частушку...

Появление Никиты напугало всех трех — вроде и не решено ничего, поговорить бы еще без спешки...

Оставив калитку настежь, Никита быстро прошел по дорожке к дому, распахнул дверь, остановился на пороге.

— Привез...

Поглядел на отца, на мать и вдруг улыбнулся доверчиво, жалобно.

Мать прижала руки к груди и шагнула к мужу. Испуг, надежда, мольба — все слилось в этом молчаливом движении.

Кузьма Иванович выколотил трубку и начал вминать в нее новую порцию табаку.

— Чего ж она не заходит? — как ни в чем не бывало спросил Матвей Денисович и решительно пошел за калитку.

Лелька приехала в рабочей одежде, простоволо-

сая — Никита сорвал ее с буровой. Конечно, она могла бы забежать домой переодеться, но вспомнила, как старательно наряжалась в прошлый раз и каким унижением все кончилось. Не будет она прихорашиваться ради них! Не к ним, а к Митрофанову едет, а Митрофанов и в рабочем не осудит.

Только у самого дома поняла Лелька, что едет она все-таки «к ним», и пошла за Матвеем Денисовичем, как приговоренная. Будто сквозь туман, увидела знакомую комнату, испуганное лицо Никиткиной матери и отвернувшегося отца.

— Вот она, моя Леля Наумова, — весело возгласил Матвей Денисович. — Ну-ка, покажись, лучший коллектор, какая стала? Слыхал, ты и здесь на добром счету. Молодец!

От похвалы, высказанной «при них», Лелька приободрилась. Уже без гнева, но с опаской поклонилась. Старики разглядывали ее — та или не та?

Стоит оробевшая простая девочка, вроде и не барышнешка и не распутница, вроде и на человека похожа. А за нею Никита, сын. Обхватил плечи руками, стоит, ждет.

— Здравствуйте, — через силу выговорил Кузьма Иванович. — Нехорошо у нас вышло тогда. А ссориться нам ни к чему. Мы Никите родители, и вы не чужая. Значит, надо сговориться.

Лелька вскинула глаза — как? Слово — неясное, поди знай, как нужно сговариваться!

В устремленном на нее сумрачном взгляде вдруг затеплился какой-то огонек, губы дрогнули...

Не умела Лелька ни сговариваться, ни объясняться, но сердце ее отозвалось на знакомую, кузьменковскую, затаенную полуулыбку, и сразу нахлынуло все, что она пережила за эти месяцы, — любовь и надежды, обида и гнев и жалость к себе... Вот этот старый насупившийся человек с Никиткиной улыбкой может разрубить все, что запуталось, и тогда она будет любить его, покорно и благодарно любить, и слушаться, — да, да, и слушаться!..

Кузьма Иванович протянул большую, в черных крапинках руку. Лелька вложила в нее онемевшие пальцы и — неожиданно для самой себя — припала к этой

руке, зарылась лицом в сморщенную ткань рубашки на сгибе локтя и заплакала.

— Ой, да что ты, доченька! — воскликнула над ее ухом Кузьминишна, и теплая материнская рука коснулась ее спины.

«Доченька»... Теперь Лелька ревела в голос, всхлипывая и цепко ухватившись за руку Кузьмы Ивановича.

Он чувствовал, как намокает от ее слез рубашка на сгибе локтя, как беспомощно цепляются за него вздрагивающие пальцы. Прижмурив глаза, он погладил эти пальцы.

Никита стоял в двух шагах, все так же обхватив плечи руками.

— Выпей водички, доченька, — бормотала Кузьминишна, сама глотая слезы.— Да из-за чего ты, роднень-кая! Ведь не звери мы. Ну, вышло неладно, так ведь не навек...

А Лелька все ревела.

— Леля, перестань! — прикрикнул Матвей Денисович и оторвал ее от Кузьмы Ивановича. — Хватит, дурешка. Нос распухнет — какая из тебя невеста?

Она улыбнулась, шморгнула носом, поискала в кармане платок, не нашла. Матвей Денисович сам вытер ей глаза и нос, подтолкнул к Кузьминишне.

Кузьминишна повела ее на кухню. Лелька залпом выпила ковшик воды, ополоснула лицо.

— Какая ты нервная, девонька, — сказала Кузьминишна. — Разве можно так!

— Я не нервная, — шепотом сказала Лелька и прямо поглядела в глаза Кузьминишны. — Беременная я. Второй месяц.

Допоздна сидели они на веранде, не зажигая огня, — два старых друга.

В доме суетились — устраивали на жительство молодых, что-то втаскивали наверх, что-то спускали по узкой лесенке.

Друзья сидели у раскрытого окна веранды. К ним поднимались запахи маттиолы, табаков, нагретой земли. Их мягко освещала луна. Когда луна скрывалась за облако, вокруг темнело и на рамы окна, на листья и на лица друзей падали блеклые отсветы дальнего зарева — Металлургический выдавал плавку.

Уже все было переговорено о Лельке, о Никите, об Игоре. И дошло до своего, до личного.

— Другим я этого не скажу, Кузьма, а тебе скажу. Наговорили на меня лишнего, но сняли правильно. Никакой я сейчас не начальник.

— Клевещешь на себя, Матвей.

— Нет, не клевещу. Знаешь, что делается с человеком, когда засела в голове какая-то мысль — и сверлит, сверлит?

— Знаю.

— Вот это и произошло со мной... И я не хочу — понимаешь? — не хочу себя обуздывать. Обуздаю — тогда не успеть мне. Годы не позволят. И самое смешное, Кузьма, что никогда мне не увидеть свою мечту исполненной. Не увидеть! Вот Кузька твой, быть может, успеет, Галинка успеет. А я — нет. Не хватит мне годов. Дальнего прицела идея, очень дальнего.

— А нужная?

— Необходимая! Совершенно необходимая — для наших потомков. Накопит страна промышленной мощи, вскроет свои недра, разовьет производительные силы — и станет ей тесно в нынешних географических рамках. И понадобятся большие, прямо-таки гигантские работы по коренному изменению природы. И вот тогда какой-нибудь будущий Госплан вспомнит чудака Митрофанова — товарищи дорогие, Митрофанов-то все подготовил, смотрите-ка, все, до деталей, — бери и пользуйся!

Луна проплыла за дом, теперь ее лучи падали на веранду через дверь, освещали лысую голову Матвея Денисовича и лежали, как ладони, на его сутулых плечах, а Кузьма Иванович был весь в тени, только красной плошкой попыхивала трубка.

И в доме все затихло, одни молодые еще не спали, шептались наверху на порожке балкончика.

— ...Ты только подумай, Кузьма, что такое социализм в действии. Сейчас нам у-ух как трудно, мы бьемся, срываемся — и все-таки перевыполняем пятилетки! Пе-ре-вы-пол-ня-ем! А ведь это всего лишь разбег. Что такое новый завод? Толчок, чтобы завтра гораздо быстрее поднялось еще три! Индустрия растет не в простой, а в возрастающей, геометрической прогрессии. Вот Игорь сейчас на стройке гидростанции. Что

такое Светлоградская ГЭС? Производство электроэнергии? Нет, много шире! Индустриализация целого края! Заводы, рудники, железная дорога, приток населения... Вокруг каждой новой точки растет всякая всячина. И все быстрей, быстрей! А теперь загляни на десяток лет вперед, на два десятка, на три... Каков будет уровень?

— Силен ты мечтать, Матвей. Но правильно. Вспомнишь, как первую шахту пустили... Первая социалистическая — шуму было! А потом пошло. Удивляться перестали. В газете мелкой строчкой: пустили шахту такую-то... А поначалу на целую страницу гремели. Но скажи, Матвей, ты что ж — всю силу на эту мечту положишь?

— Думаешь, не стоит того?

— Стоит, если взвесить. Да трудно в одиночку.

— Мне бы только разработать, хоть вчерне.

— Знаешь, Матвей, у нас так складывается, что если гурьбой, коллективом — все одолеешь. А пойдешь один — ну кто ты есть для людей? Ни тыла, ни флангов. Мои задумки против твоих, конечно, мелочь, усовершенствование в пределах шахты... А только любую задумку я двигаю вместе с людьми. Как в наступлении полагается: тылы обеспечь, фланги укрепи, ударную группу — вперед.

— Хитер! Видно, не зря мы воевали — обучился.

— Зачем же зря? Опыт!

Наверху, на балкончике, заговорил Никита — ни Матвей Денисович, ни родной отец не знали, что его голос может звучать так ласково:

— Спать пора, Лелик. Или ты всю ночь сидеть собираешься?

Лелька ответила — тоже будто и не ее голос:

— Жалко уходить. Гляди, как та крыша блестит. И небо... Никогда не видела такого неба.

Кузьма Иванович улыбнулся, тяжело поднялся:

— Пойдем в хату, Матвей, этот опыт нам уже не пригодится.

Матвей Денисович уснул в ту ночь с легкой душой, а когда проснулся, дом уже опустел, только Кузьминишна караулила гостя да Кузька держал самовар наготове.

Кузька и поехал проводить Матвея Денисовича на поезд.

Пока пустой в этот час трамвайчик резво бежал мимо шахты, мимо Чубаковского парка и новых домов, вдоль шоссе, обсаженного молодыми, победно зелеными деревцами, к городу, Матвей Денисович успел рассказать Кузьке, как живет Галинка и как она мечтает работать вместе с Матвеем Денисовичем, когда вырастет.

— Это реки поворачивать? — равнодушно спросил Кузька.

Потом он задал много разных «почему» и «как это», но чувствовалось, что затея с реками представляет для него интерес чисто технический — одна из многих задач, существующих на свете. А душу его волнует подземная газификация угля. Трамвайчик постепенно наполнялся пассажирами. Пока он медленно полз по городу, Кузька подробнейше рассказывал Матвею Денисовичу обо всех событиях на опытной станции.

Соседи прислушивались, какие такие серьезные дела волнуют паренька, и Кузька, замечая это, говорил все обстоятельней и популярней — для непосвященных. И для каждого уха повторял то, что его привлекало всего сильнее: подземного труда не будет! Нажал кнопку — и весь процесс идет под землей без людей!

— Агитируешь, Кузька?

— А конечно!

Вот оно как! Паренек тоже понимает, что идея сильна тогда, когда овладеет массами! Идею надо пускать вширь, вширь! Чтоб она напоминала о себе то в газетной статье, то в научно-фантастическом романе, то в лекции географа или экономиста, то запросто, в мальчишеском разговоре...

— Галинке привет передать?

— Можно.

Кузькина улыбающаяся физиономия мелькнула за оконным стеклом и отлетела назад. Вокзал и станционные пути отлетали назад...

Завтра — Москва...

Ничто неприятное, что может там случиться, не занимало мыслей. Что значат мелкие неприятности, когда человеку есть что делать и хочется делать!

6

Наступила осень.

Дороги раскисли, а на опытную станцию №3 потоком шли грузы. Лили нудные дожди, а монтажные работы только разворачивались, приходилось под дождем тянуть и сваривать трубопроводы, устанавливать головки скважин. Близились холода — а с жильем было плохо, новый барак был забит до отказа, большинство рабочих по-прежнему не имело крова.

Липатов совершенно замотался. Подрядчики подводили со сроками, находя сотни причин, в том числе и отсутствие жилья. Поставщики тоже подводили, находя еще больше причин. Отгруженное оборудование застревало в пути, и нужно было разыскивать его на линии, а когда оно наконец прибывало, железная дорога требовала немедленной разгрузки, но не хватало грузчиков и автомашин, приходилось платить штрафы за простой вагонов. Как правило, прибывало не то оборудование, которого больше всего ждали, а то, для которого еще не приготовили крыши, и начинались мучения — куда сгрузить, чем укрыть...

Такое уж было время — неспокойное, напряженное. Фашистская Германия усиливалась и собирала огромные армии. Гитлер не скрывал своих воинственных планов — на Восток, против коммунизма! Угроза войны стала непосредственной. Медлить было нельзя: скорей, скорей преодолеть вековую техническую отсталость, скорей, скорей создать могучую социалистическую индустрию! Сроки решали все. Планы были напряженнейшими. Каждая стройка, каждый завод и железная дорога, каждый станок работали и должны были работать на полную мощность...

Хотя ни Липатов, ни тысячи других работников страны в общем-то не тревожились предчувствиями назревающей войны, а жили заботами текущего дня,— они повседневно испытывали на себе все напряжение предвоенного времени.

Замызганный костюм болтался на Липатове, как снятый с чужого плеча. Глаза ввалились, голос осип от ругани. Если бы еще удавалось отдохнуть как следует! Если б у него был нормальный семейный дом, где можно поесть горячего, после всей беготни и пере-

бранок поболтать с женой и дочкой и хоть на часок забыть, что существуют на свете фонды, лимиты, товарные станции, подрядчики и поставщики!..

Жены не было — жена сама была начальник, замотанный и озабоченный.

Дочка... Дочки тоже не было. С началом учебного года Иришку пристроили под надзор Кузьминишны. Она бегала в школу вместе с Кузькой, а возвращалась одна, потому что во втором классе занятия кончались раньше, чем в Кузькином седьмом; Липатов беспокоился — ей приходилось пересекать железную дорогу. Кузьминишна успокаивала:

— Мои все бегали — и ничего. Посмотрит направо, посмотрит налево — и перебежит.

Иришка именно так и делала: направо, налево — и бегом!

Что с нею произошло в семье Кузьменок, не могли понять ни Липатов, ни Аннушка. У тети Сони, считавшейся педагогическим гением, Иришка всему сопротивлялась, капризничала, плохо ела и плохо училась. Здесь она с полуслова понимала, чего от нее требуют, и подчинялась. По субботам она сама приносила дневник Кузьме Ивановичу, гордилась четверками и пятерками, горестно замирала из-за тройки, плакала, если случалась двойка, — а между тем Кузьма Иванович никогда не отчитывал ее, только говорил: «Полный порядок!» или «Подкачала!»

Когда Липатов сказал, что скоро приедет мама и они будут жить дома, Иришка поскучнела и прошептала:

— А я хочу здесь.

Аннушка наезжала на денек, на два, присматривалась к жизни дочери и пугалась: я так не сумею.

На мужа она глядела виновато, торопилась что-то наладить в его холостяцком быту, ахала, что на нем лица нет, — и думала об экспедиции. Порывисто ласкала Иришку — и думала об экспедиции. У нее настало решающее время — анализ изысканий и выводы. Анализ подтверждал, что решение Митрофанова об изменении будущего русла правильно. Проектировщики хвалили Митрофанова и Аннушку, Аннушка радовалась за себя, а еще больше за Матвея Денисовича.

Собиралась в Москву докладывать результаты экспедиции: «Уж я там все выскажу!»

Этим оиа жнла.

Лнпатов сочувствовал ей, ио сочувствие не меияло горького факта — опять нн жеиы, ни дочери.

В сутолоке и тревогах ои не сразу осознал, что в дружном коллективе станцин появились трещииы. И где? В его основиом ядре! Да еще по вине Сашн Мордвниова, — Саши, который так умел всех объединнть!

Поиачалу иикто ие обращал виимаиия иа то, что заместитель директора по иаучио-нсследовательской работе Мордвинов все реже бывает иа опытиой моделн, что ои как-то отстранился от текущих работ. Потом это стало бросаться в глаза, особеино с тех пор, как Саша с Любой переехали в иовый барак. Казалось бы, круглые сутки на стаиции, так жмн вовсю! А Саша прнвез в свою комнатушку пропасть киег, обложнлся нми н сидел взаперти с утра до иочи. Люба ходила на цыпочках, инкого не впускала, да и сама боялась зайтн в собствениую комиату: Саша работает...

На опытной модели исследования вели Сверчков, Федя Голь и Леня Коротких. Когда они пытались затащить к себе Мордвииова, тот говорил:

— План работы ясеи — делайте. Вы же прекрасио справляетесь. А в теоретнческнх обоснованиях у нас кругом белые пятиа. Хочу кое-что подработать.

Первым возмутнлся Палька Светов. В сложиых случаях опытиики все чаще звалн его вместо Сашн. Палька и рад бы сутки иапролет проводить на модели, но у него было по горло свонх ииженерных дел. Ои пошел к Саше.

— Ой, Павлик, ои даже ие слышит, когда с ним заговоришь, — шепотом сообщнла Люба. — Обедать звала — ие пошел. Прииесла в судочке, он ест, а глядит в киигу.

Вечером, прнхватив иа помощь Лнпатова, Палька решил всерьез объясниться с Сашей.

Вид у Саши был сосредоточеиио-отсутствующий. И встретил он друзей, как досадиую помеху.

Палька загляиул в книги, разложеииые по столу. У-у-у, в какие теоретические дебри Саша забрался! И какое отиошеиие этн дебри имеют к сегодияшиим исследоваиням?

— Сегодня — отдаленное, завтра — близкое,— сказал Саша.

— Ну, теорней мы успеем заняться после пуска станцин!

— Нет, — коротко возразнл Саша, — не успеем.

Лнпатов недовольно просматривал названия кннг. Хнмня, химия, хнмня! Капнтальный труд академика Лахтнна... Ученые запнскн его ннстнтута... Может быть, Саша мечтает вернуться к Лахтнну н заннмается, чтоб не отстать?..

— Ннкак, ты в другие ворота смотришь, а, Саша?

Саша бережно сложнл потревоженные друзьями кннгн.

— Ворота у нас одни, но открыть их гораздо труднее, чем вы думаете.

Это «вы» задело обонх друзей — Саша как бы отделял себя от ннх.

— Конечно, где уж нам, — проворчал Лнпатов.

Вероятно, они бы поспорнли и договорились до общей точки зрения, если б Саша мог в эту минуту разговаривать. Но он не умел и не любнл отвлекаться от своих размышленнй.

— Не прнставайте, братцы, — мирно сказал он. — Обсуднм как-нибудь потом.

Раньше друзья понимали такие слова н не обнжалнсь. Но тогда не было строящейся опытной станцнн! Тогда они не былн так перегружены и нн за что не отвечалн вместе!..

Люба, бродившая возле дверн, первой услыхала раздраженные голоса.

Затем услыхалн и в соседних комнатах, и на кухне, а немного погодя и на улице — проходнвшне мимо окон работники станции останавливались в недоуменнн, услыхав, как онн кричат друг на друга...

Длительная дружба создает прнвычку говорить все, что прнходнт на ум, не выбнрая выраженнй.

Эта прнвычка сейчас н действовала, подогреваемая раздраженнем усталости.

— Надо быть круглыми ндиотами, чтобы не понять!..

— В конце концов, как директор, я имею право требовать!..

— Легче всего уткнуться в книги, пока другие...

— Знаете что? Идите к черту!

В середине спора Люба ворвалась в комнату.

— Мальчики, вы с ума сошли! Как вам не стыдно!

Но было уже поздно. Палька убежал, хлопнув дверью. Липатов сказал директорским тоном:

— И все же я тебя попрошу заниматься как следует своими прямыми обязанностями.

Когда он ушел, Саша ошеломленно постоял посреди комнаты и сказал:

— Хоть ты-то не плачь. Они просто не понимают.

Ссора томила всех троих. Она бы закончилась быстро, если бы Саша выполнил требование друзей. Но Саша продолжал сидеть затворником над книгами и почти не появлялся возле опытной модели. Федя Голь деликатно объяснял:

— В нем есть одержимость ученого. С этим надо считаться.

А Липатов чертыхался — всему свое время. Одержимость одержимостью, а работать кому?

И тогда же он заметил новую, быстро расширяющуюся трещину, на этот раз между Световым и Алымовым.

В те дни Палька выискивал повсюду, добывал и осваивал различные приборы и устройства для дистанционного управления процессом подземной газификации. Без телеавтоматики нельзя было и думать о регулировании процесса. Молодое советское приборостроение еще только набирало силу, приходилось закупать за границей или добывать в различных организациях приборы иностранных фирм. У Алымова был какой-то особый нюх — он находил нужные приборы в самых неожиданных местах и с бою вырывал их у таких организаций, где, казалось бы, нет никаких надежд что-либо выпросить. Так он неведомыми способами раздобыл, чуть ли не похитил маленький прибор — газоанализатор «Моно».

У Пальки дух захватило, когда он увидел его: стоит себе миниатюрный изящный шкафчик, под стеклом юркие самописцы выводят кривые — и каждую минуту можно получать отдельный анализ газа: углекислота, водород, сумма горючих...

Ссора с Сашей моментально забылась.

— Позовите поскорей Александра Васильевича, — задыхаясь от восторга, бросил он, но не выдержал и побежал сам, с порога крикнул: — Саша! Саша! Ты только посмотри!..

Они вместе как бы приросли к чудесному прибору. Они вместе переживали чистую радость, которую испытывают инженеры при виде хорошо придуманной и сделанной вещи. Они переглядывались, полностью понимая друг друга.

— Умница! — нежно приговаривал Палька, разглядывая детали прибора. — Красавец! Ты погляди, Сашок, как здорово!..

Народу набилось полная комната, но все держались в стороне, не мешая друзьям разглядывать прибор... и мириться. Но вот появился Алымов и с ходу вклинился между друзьями. Ему не терпелось похвастаться тем, как он добывал это маленькое чудо. Ничего не понимая в нем, он пытался что-то показывать и объяснять — ликующим, чересчур громким голосом.

— Да, да, да,— соглашался Липатов, приняв на себя поток его похвальбы и ничуть не досадуя, потому что человек, сумевший раздобыть такой прибор, имел право не только хвастаться, но и глупости пороть.

Саша вежливо слушал.

И вдруг раздался разъяренный голос Пальки:

— Константин Павлович, не говорите о том, чего не понимаете. Вас слушают инженеры.

Прежде чем Алымов воспринял этот окрик, Палька стремительно вышел.

Через час Липатов разыскал его на дальней буровой. Палька стоял рядом с Никитой на вышке и помогал свинчивать штанги.

— Ну-ка, спускайся! — крикнул Липатов.

— Не могу! — ответил Палька, как будто Никита без него не обошелся бы.

Липатов ругнулся и сам полез наверх. Ветер, мало замечавшийся внизу, на вышке подхватил полы его пальто и чуть не сорвал кепку.

— Остываешь? — добродушно спросил Липатов, понимая, что Пальку нужно укротить, прежде чем заставить извиниться перед Алымовым.

— Люблю поразмяться,— так же добродушно

ответил Палька и вместе с Липатовым подошел к краю площадки.— Красота какая!

Липатов понимал, что Палька отводит ему глаза, но, чтобы добиться своей цели, был готов и постоять на ветру, и полюбоваться красотами. Он ухватился для верности за грубо приколоченную доску, поглядел и удивился — в самом деле, до чего ж отсюда далеко видно и до чего красиво! Снизу Азотнотукового завода и не разглядишь, только домишки его поселка, а отсюда отчетливо видны вытянувшиеся в длинный ряд здания цехов и стройка второй очереди завода — стены в лесах, краны, розовые штабеля кирпича, снующие туда-сюда грузовики... Ветер распластал над ними три пушистых хвоста от заводских высоченных труб — два темно-серых, дымных и один огненно-желтый, лисий. Посмотришь в другую сторону — простирается с детства знакомая степь, перерезанная Дубовой балкой с редкими зелеными пятнами еще не пожелтевших дубов, а за степью смутно виднеются крыши поселка Челюскинцев, окруженные золотисто-желтой листвой садочков.

Отсюда, издали, два сросшихся террикона шахты и черная махина Коксохимического завода с его четырьмя трубами казались еще более грозными, нависающими над поселком. Слева, в дальней дали, угадывались очертания Донецка.

— Да, красотища! — согласился Липатов и сбоку поглядел на Пальку.— Пожалуй, скоро наши газопроводы станут неотъемлемой частью пейзажа?

— Конечно! — И Палька с удовольствием оглянулся на раскинувшиеся позади них готовые и строящиеся здания станции, на черные нити газопроводов, будто расчертившие на квадраты желто-бурую степь.

— И вот как раз теперь, когда все на мази,— тем же тоном продолжал Липатов,— мы начнем по-глупому ссориться! Обижать людей и разменивать большое дело на глупые дрязги.

Палька дернулся, но промолчал, недовольно сжав губы.

— Подумаешь, знаний ему не хватает! Но прибор-то раздобыл он! И помогает нам, как никто другой. Наконец, он и тебя выручил из беды — или забыл?

— Ах, вот что! — со злостью выговорил Палька.— Выручил, а теперь мне платить по векселю? Сестрой... торговать.

Он отвернулся, скула подрагивала.

— Не дури, Павел. Ну что ты болтаешь? Она, слава богу, не маленькая, и ты ей не прикажешь и не помешаешь.

Палька упрямо пригнул голову.

— А вот я его выгоню. Выгоню к черту! Не могу я смотреть, как... Бабник паршивый! Его приняли, как человека, а он...

— Врешь! — гаркнул Липатов.— Не выгонишь! Дура ты, ей-богу! И чего взъелся? Имеешь красивую сестру, так терпи, что мужики заглядываются. И ведь ничего между ними нету, разве не видно!

Липатову самому не очень нравилось внимание Алымова к Катерине — не той среды человек, не того возраста, не того характера... Но Липатов умел извлекать выгоду для дела даже из влюбленности Алымова.

Он радовался, что Алымов все чаще наезжает из Москвы и еще энергичней помогает, стараясь отличиться так, чтобы Катерина Кирилловна узнала.

— Ты, Павел, возьми себя в руки,— сказал он и сжал побелевшие от напряжения пальцы друга.— Ко всему нужен подход. Скажем, появился новый фактор — любовь. Так надо превратить любовь в деловую энергию!

— Ну, знаешь...— пробормотал Палька, хотя на его лице промелькнула улыбка.

— Ты только скажи ему пару мирных слов. Он же к тебе всей душой. А там... Вот увидишь, я из него искры высекать буду, да еще с помощью Катерины!

Палька видел: Липатов высекает искры.

Создать на базе станции № 3 научно-исследовательский институт — это придумал Саша. Сперва идея показалась совершенно нереальной. Конечно, в будущем институт необходим, но пока до такого роскошества дело не дошло. Липатов первым сообразил, что «под идею» можно получить дополнительные деньги, жилье, кадры инженеров, лабораторное оборудование...

Шепиув несколько слов Катерине, Липатов при ней заговорил с Алымовым о создании НИИ.

Катериина заинтересовалась.

Липатов иачал увлечеино объяснять ей, какой должеи быть институт и чем он будет заниматься.

— Хорошая мысль, правда, Константин Павлович?

Так спросила Катерина — и Алымов загорелся, потребовал письменные соображения и помчался в Москву добиваться небольших ассигнований иа ближайший год.

Меиьше всего Алымов занимался жилищными делами. Он с бешеной эиергией торопил пуск станции, а как живут люди и удобно ли им — попросту не замечал.

Липатов нарочно заговорил об этом у Световых. Не Алымову, а Катерине пожаловался, как плохо устроены работники станции, как трудно семейным, сколько людей переболело...

Катерина вскинула глаза:

— Константин Павлович, неужели вы ничего не можете сделать?

И Алымов «завертелся» в нужную сторону.

Палька сам не понимал толком, почему его раздражает влюбленность Алымова. Мать прямо-таки захлебывалась от восторга: конфет привез огромную коробку! Светланочке пять погремушек подарил, московских! Цветы на самолете доставил, целую корзинку, каждый стебель в мокрый мох обернут!

Палька отворачивался от цветов и не попробовал конфеты.

Недоброжелательно следил за Катериной — ишь как похорошела и повеселела! Щеки горят, глаза горят, голос какой-то особый, со звоночками. Обновки шьет одну за другой... И что нашла в нем? Веки как тряпки, нависают на глаза. Закуривает — руки прыгают. Концы пальцев желты от табака. И весь пропах табачищем. Резкий, неуравновешенный, чуть что — кричит. На Катерину смотрит как кот на сало. Надо думать, женщин у него было видимо-невидимо...

Ничего плохого о нем не скажешь — ну, сперва был противником, так не он один! Зато как только разобрался, помогает вовсю. Характер бешеный? Так характер пока на пользу делу...

И все-таки Пальку передергивало, когда в их доме появлялся Алымов — свежевыбритый, с белым подворотничком на гимнастерке военного образца.

Что угодно, но не мог он вынести мысли о близости сестры с этим человеком!

Катерина понимала, почему не заходит Кузьма Иванович в дни, когда гостит Алымов, почему у Кузьминишны растерянное и огорченное лицо,— тут ничего не поделаешь. Но молчаливая злоба брата ее смущала. Ему-то что не по душе?

Однажды, уже в октябре, когда зарядили дожди, Алымов не приехал в назначенный день, а Палька был тут как тут. Поужинал и устроился в своей комнате, где теперь повсюду попадались вещи Алымова: книги, бритвы, мыльница, резиновые сапоги...

Катерина, не спрашиваясь, вошла и села напротив Пальки.

За окном лил и лил дождь, сбивая с деревьев последние листья.

— Тополь облетает,— сказала Катерина.

— Да. Он позже всех, кажется.

— На яблоньках тоже долго держатся... Павел, что ты думаешь об Алымове?

Черт бы побрал дурацкое положение брата при взрослой сестре!

— В данной ситуации важней, что думаешь ты.

Катерина не приняла шутливого тона.

— Меня как-то Леля спросила о родителях Никиты, хорошие ли они. Я тогда... Ну, в общем, теперь я спрашиваю: хороший он человек или нет?

Палька нехотя вытягивал слова:

— Он умный. Очень энергичный.

— Я не о том.

— Вот, право, как я могу ручаться?..

Из степи порывами налетал ветер. Бросал в стекло дождевые струи и постукивал по нему черной тополиной веткой. На ветке мотался одинокий лист.

— Опять дороги развезет.

— Люба говорила, в бараках крыши протекают.

— Починили вчера... Слушай, Катерина, это не мое дело, но он же вдвое старше тебя. Знаешь, сколько ему? Больше сорока.

— А я сама стала взрослая-превзрослая.
— Ты уверена, что он не женат?
— Почему же? У него жена и сын, он мне рассказывал. Только они живут врозь. Уже три года. Это вторая жена. С первой он разошелся в молодости.
— Так я и думал! И что же он тебе предлагает? Стать третьей?
Катерина взвилась с места — покраснела, ноздри раздуваются.
— Ничего не предлагает. Понимаешь ты, не смеет ничего предлагать!
— Закипел кипяток! Садись, не распаляйся. Чего ж ты тогда выспрашиваешь?
— Понять хочу.
— Просто так — из любопытства?
— Нет, не просто так.
Она подошла к окну и поглядела, приблизив к стеклу лицо,— льются, льются, искрясь на свету, нескончаемые струи. И откуда столько воды?
Присела на подоконник, подтянула стул, чтоб поставить ноги, и тотчас вспомнила день, когда вот так же сидела и вела с братом серьезный разговор... Шла на подвиг. Думала, этим закроется от жизни! Нет, она ни о чем не жалеет. Есть Светланка. Даже подумать страшно, что ее могло бы не быть. Но жизнь есть жизнь... Год назад казалось, что можно прожить памятью. Нельзя.
— Способен ты понять, Палька, что мне интересно? Он старше, умней, опытней. Что я такое? Поселковая девчонка. Один человек сказал — шахтерская мадонна.
— Игорь?
— Игорь... Что я видела? Дальше Ростова не бывала. Компрессорная, поселок, эта хата — все. Понимаешь, мало мне. Тесно. Вот когда в партию вступала, некоторые удивлялись — родить должна, до того ли! А я — всего хочу. Во мне силы много. На том собрании — помнишь? — я ж крылья ощутила. А когда Чубак говорил, для меня это было... ну, самая-самая высота.
— А при чем тут Алымов?
— Ты бы видел, как он тогда... почти как Чубак. Рукой потрясает, гремит...

Она засмеялась.

— Гремучий он. Есть у вас в химии такая гремучая смесь?

— Она, между прочим, взрывается.

— Ага. И он тоже. И вот когда я чувствую, что могу его поворачивать как хочу... Злющий, а я поверну — и он добрый. Нет, ты не поймешь!

Палька подошел к ней, взял ее за плечи.

— Катерина, не выходи за него.

Она упрямо повела плечом. Не выходить?.. И он не предлагал, и сама не думала — выходить. Но что делать, если ей интересно и жутко — каждый день заново испытываешь свою власть над ним, и радуешься, и даже злорадствуешь порой, и вдруг обмираешь от странного ощущения, что сама — в его власти.

Недобро усмехнувшись, Катерина бросила:

— Я и не собираюсь, с чего ты взял?

Стряхнула с плеч его руки, пошла к двери, остановилась.

— Ты мне так и не ответил. Хороший он человек?

— Не думаю.

Она постояла, глядя перед собою, кивнула и вышла.

А назавтра приехал Алымов, и Палька снова увидел ее оживление, услыхал ее особый голос — со звоночками.

Весь вечер он сидел за столом, как прикованный, ни на минуту не оставляя их. Ему почти хотелось, чтоб сестра попробовала избавиться от него — уж он бы ее проучил! Он бы наплевал на все и шуганул этого старого бабника так, что его сапоги и мыльницы полетели бы через забор!

Но Катерине, кажется, и брат не мешал, и Алымов был не так уж нужен.

Она опять завела разговор о жилье:

— Зима надвигается, неужели вы так зимовать будете?

Ушла кормить Светланку и не вернулась.

Алымов курил, зажигая одну папиросу от другой.

— Поедем с утра к вашему Чубаку,— тоном приказа сказал он.— Поставим вопрос ребром.

Пальке хотелось нагрубить Алымову... Но как грубить, если он собрался ставить вопрос ребром?

Скрипиув зубами от злости, Палька начал обсуждать с Алымовым, что н как говорнть Чубаку.

Чубак сказал:

— Роднть вам жнлье не могу. Добром взять негде. Ищнте и захватывайте, я поддержу.— Он лукаво поглядел на Алымова и Светова.— Неужелн мне вам подсказывать, где и какое ведомство что-то ие использует? Может, Клаша Веснейок что-нибудь вам присоветует?

Намек был ясеи. Трн дома, не достроеиных железиодорожннкамн, давно прнвлекалн нх вннманне — близко, стены под крышей, осталось поставить перегородкн, навеснть дверн, настелнть полы... Еслн бы их отдали «добром»!..

Переговоры с железиодорожииками велись долго и ин к чему не прнвелн.

Управленне дорогн не хотело продавать «коробкн», иадеясь со временем добнться ассигнованнй на нх достройку.

От Чубака пошлн в горком комсомола. Клаша покраснела и обрадовалась: в последнее время она мало бывала иа опытной станцни. Что-то в ней появнлось новое: хмурнт белесые бровки, строго сжимает губы, а губы розовые, пухлые.

— Материалы н средства вы иайдете? — спросила Клаша, обращаясь к Алымову.— Важно все подготовить сразу. А достроить комсомол вам поможет.

Пальку забавлял ее деловнтый, «ответственный» тои — снднт в кабннете с телефоиом, руководящее лицо!

Зазвоннл телефон. Клаша выслушала кого-то н отчитала за плохую посещаемость. Потом прншлн два паренька, Клаша н нх отчитала за отсутстввне комсомольской ннициатнвы. Только онн ушли, она вспомнила еще что-то, сама побежала за ннмн и в корндоре отчитала дополнительно. Палька отметил, что иогн у иее маленькне и очень симпатичные.

— Вот что, товарищ Светов,— прндав пухлым губам строгое выражеиие, сказала Клаша.— Мне сейчас иекогда, а вечером я к вам зайду, и мы обсудим весь плаи.

— Слушаюсь, товарищ начальник!

— А вы, товарищ Алымов, выясните с материалами и деньгами. Хорошо бы достать готовые двери и рамы.

— Можно подумать, Клашенька, что ты специалист по захвату чужих домов.

— Если бы ты раньше посоветовался, товарищ Светов, эти дома были бы уже ваши,— авторитетно заявила Клаша и снова покраснела.

Почему покраснела, Палька не понял.

Когда он предупредил Катерину, что придет Клаша и надо угостить ее чем-нибудь вкусным, Катерина усмехнулась.

— Угостить догадаемся. А вот ты, дурачок, догадайся потом проводить ее.

— До самого города? Или можно до трамвая?

— Знаешь, Палька, если бы такой парень провожал меня только до трамвая, я бы с ним и говорить не стала, с невежей.

Деловитую строгость ответственного комсомольского работника Клаша оставила в горкоме. Пришла милая, застенчивая девушка в белой блузочке, в туфельках на каблучках, в красном берете с хвостиком на макушке. Этой девушке полагалось помочь — снять пальто, подать стул, что Палька и проделал.

Но когда началось обсуждение плана, Клаша оказалась изобретательным «домокрадом». За день она успела придумать много ухищрений, обеспечивающих скрытность работ: в темноте подвезти стройматериалы и сложить их так, чтоб не видно было со стороны разъезда; работы начать все сразу и потолковей; окна, обращенные к разъезду, забить фанерой, чтоб с проходящих поездов ничего не заметили железнодорожники. Стеклить в последнюю очередь и тут же привезти жильцов со всем имуществом: если кто и хватится, дом будет заселен — поди-ка высели!

Катерина наблюдала — не только у Пальки, но и у Липатушки и Алымова пробилось детское озорство. А Клашенька-то рада! Эх, Палька, слепой ты или глупый?

С трудом уловив, о чем тут сговариваются, Марья Федотовна испугалась:

— Ой, дорогие, что-то вы недоброе затеяли!

— Нет, доброе! — раньше всех ответила Клаша.— Очень даже доброе. Людям жить негде, а они — как собака иа сеие. Я это где хочешь скажу!

И вперила взгляд в стену — нет, в воображаемого обвинителя, взгляд убежденный и серьезный,— должно быть, мысленно уже спорила и утверждала свое. Палька с удовольствием наблюдал за нею, и вдруг к нему пришло слово, определившее Клашу: иадежиая. Она — надежная...

Обсуждеиие продолжалось, а Палька все смотрел на нее и думал — надежная, ии в чем не подведет, ни крутить, ни лукавить не станет. На такой жениться — ие прогадаешь... И сам над собой посмеялся — ишь какие мысли в голову лезут! Оио бы, может, и неплохо — остепениться, да тут, кажется, Степка Сверчок дорогу перебежал?..

Провожать пошли Палька с Липатовым. Липатов жил иедалеко от Клаши. У трамвая Клаша сказала:

— Спасибо, дальше не нужно. Иваи Михайлович меия доведет.

— А если я вежливый и хочу проводить?

Клаша вздернула носик:

— Из вежливости? Вы предложили, этого вполне достаточно.

Вот оно как! С гоиором девчушка!..

На ближайшую неделю все дела были отброшены — шла подготовка к захвату домов. Бухгалтер Сигизмуид Антипович проявил иеожиданиую изворотливость и подвел иепредвиденные расходы под какую-то «растяжимую» статью сметы. Алымову удалось бешеным иажимом получить деньги в банке и выхватить под иосом у других оргаиизаций целый вагон досок.

В мастерской опытной станции все, кто умел столярничать, делали рамы и двери.

Липатов всеми правдами и неправдами раздобыл иесколько ящиков стекла. Обои купили «нефондовые», за иаличный расчет — деньги собрали в складчииу, у кого сколько есть. Для оплаты рабочих иашли еще одну растяжимую статью. Клаша подобрала комсомольцев различных строительных специальностей, в целях конспирации не сообщив им, где придется работать.

Всю неделю Палька часто встречался с нею. Они ездили добывать железные кровати и столы в каком-то общежитии, где у Клаши были друзья.

Клаша взяла Пальку «для храбрости», когда пошла к начальнику Автотранса просить на воскресенье машины «для комсомольской экскурсии»,— Палька быстро разобрался, что начальник влюблен в Клашу, и с удовольствием наблюдал, как лукавая девчонка за одно спасибо получила десять автомашин.

Всю неделю он исправно провожал ее до дому. Они разговаривали о чем придется. Под беретом с хвостиком на макушке скрывался проницательный ум и много юношеской романтики, которая хорошо уживалась с незыблемыми принципами комсомольской активистки, судившей обо всем с забавной уверенностью. Клаша твердо знала, что правильно, а что неправильно, как поступать в одном случае, а как в другом, что общественно полезно и с чем нужно бороться. Кажется, года четыре назад Палька знал это так же твердо. Единственное, чего Клаша не знала,— как не краснеть и не смущаться, но это нравилось Пальке, пожалуй, больше всего. Разговаривая с нею, он узнавал самого себя недавнего и все лучшее, что сохранилось в нем и в пережитых испытаниях, окрепло, а в Клаше еще только созревало. Он чувствовал себя много старше ее и в то же время вспоминал, что ему всего двадцать три года.

Однажды, когда они весь день не виделись, Палька нашел какое-то дело и забежал к ней домой. Она выскочила на стук в летнем полинялом платьице, из которого явно выросла, с веником в руках, в спортивных тапочках.

— Ой! — вскрикнула она и залилась краской.

— Я забыл тебе сказать...

Он объяснял причину, которая привела его, а сам смотрел во все глаза, так она была сейчас мила и женственна.

— Что же мы стоим в коридоре? Ты заходи. Я сейчас...

— Пожалуйста, не вздумай переодеваться. Это платье тебе идет.

— Правда?

— Погляди в зеркало, увидишь сама.

Она не стала глядеть в зеркало.

Комнатка была крохотная, очень похожая на нее — девичьи пустячки соседствовали с учеными книжками. Клаша посадила гостя на единственный стул, а сама чем-то занялась за его спиной — Палька скосил глаз и понял, что она всовывает ноги в туфли на каблуках. Затем она подошла и пристроилась на кровати, став на коленки и положив локти на спинку кровати.

— Ты всегда так принимаешь гостей — на коленках?

— Какие у меня гости, я ведь и сама дома не бываю.

— А Сверчок?

— Что Сверчок? — сердито спросила Клаша и соскочила с кровати.— Почему, если парень и девушка дружат...

— Не буду! — подняв руки, сдался Палька.— Только не читай мне лекций о дружбе и товариществе, я их сам читал. И с успехом. Многих убедил. Перестали ухаживать за девушками, всё перевели на дружбу.

— И ты перестал?

— Конечно! Раз и навсегда.

Теперь она стояла у стола, сбоку от него. Он старался не разглядывать ее, но все-таки заметил, как из коротких рукавчиков мило выступают тонкие девичьи руки, как узкое платьице нежно облегает грудь,— так и тянет дотронуться... Он испугался этого желания и больше уже не смотрел, но в душе радостно отдавался ее сердитый возглас: «Что Сверчок?» Может, и правда — ни при чем он тут?..

Затем начались веселые, сумасшедшие дни. Весь коллектив опытной станции настилал полы, приколачивал доски, носил, оклеивал, стеклил. Комсомольцы приезжали вечерами и с ходу включались в авральную работу. Уже в ночь с субботы на воскресенье в некоторых комнатах праздновалось новоселье, в то время как другие комнаты существовали только на плане. На рассвете начался новый аврал — завершающий.

Все осмелели: воскресенье — начальство отдыхает, а случайные прохожие если и увидят, то не поймут, что происходит.

Под вечер Палька поехал вместе с Клашей за кроватямн и столамн. Оии стояли в кузове грузовнка н хохотали, представляя себе, что поднимется в управлеинн дорогн, когда там узнают.

На обратном пути кузов был битком набнт, н с инмн увязался Алымов. Алымова они посаднлн к шоферу, а самн прнстроились на краешке перевериутого стола. Над ннми скрещнвалнсь, как пнкн, железиые ножкн кроватей, им в бока упирались колючие сетки. Какая-то особо упрямая сетка то и дело наезжала сзади. И все этн иеспокойиые вещи скрнпелн, дребезжали, стоиалн н хихикали.

Машнна мчалась, встряхнвая свой груз, одушевлеиный и неодушевленный. Ветер, которому полагалось обтекать машину, почему-то завнхрялся вопреки всем законам, задувая и сбоку, и в спины, н в лнцо. Того и глядн, сдует. Было естественно прндержать Клашу и защнтнть ее от сеткн, наезжающей сзади.

Она взглянула на иего доверчнво-радостио н устронлась так, чтобы ему было удобней держать ее. На юру, иа ветру он ощутил под рукой жнвое тепло н притянул ее к себе настойчивей. Она сндела, слегка прнкрыв глаза, будто н ие замечая. Девнчьн уловкн. Еслн бы ей не нравилось, отодвннулась бы. Игорь как-то сказал: большннство нз ннх говорит «ах», когда все уже кончено. Что бы сделал Игорь? Нет, она славная девчушка. Игорь — цнннк нли напускает на себя. Она мне нравится. Очень нравнтся. И все последиее время оиа сама подстранвает встречн. А на Сверчка н не смотрит. Может, выдумалн насчет Сверчка? Какая тоненькая, вся в руке помещается.

Его рука скользнула выше н коснулась ее грудн.

Он ие сразу понял, что пронзошло. Оттолкнула его Клаша нлн сама рванулась от него, ио онн оба чуть не слетели с машнны. Потревожеиная сетка наехала на них.

— Так н шлепнуться недолго,— проворчал Палька, отпихивая сетку.

И вдруг увндел, что Клаша плачет.

Грузовик по-прежиему мчался, встряхнвая свой иеспокойный груз, а Клаша стояла, держась за иожку стола, н плакала.

— Ну что ты, Клаша? Я ж инчего такого...

Он видел, как по ее щеке скатываются одна за другой слезы — пробежит слеза, повисит на скуле и сорвется, а за нею поспевает следующая.

Напуганный и раздосадованный, он бормотал какие-то жалкие слова. Много месяцев спустя он сообразил, что вместо всего этого вздора нужно было сказать одно слово, которое все извинило бы. В эту минуту такого слова не нашлось.

Клаша повернулась к нему, и он увидел ее глаза — не глаза, а две огромные лучезарные слезищи.

— Почему вы, парни, считаете, что все можно? Вот так...

За скрежетом и шумом он не сразу уловил, что она добавила, потом понял: ни с того ни с сего. Невольно улыбнулся:

— Почему ни с того ни с сего?

— Думаешь, простая девушка, шахтерка, так можно?

И тут он понял, что она знает о нем больше, чем ему хотелось.

— Если бы вместо меня была какая-нибудь ученая, столичная, ты бы никогда не посмел...

Ответ дался ему легко, не вызвав ни боли, ни досады:

— Хочешь, я тебе выдам секрет? Ученые да столичные очень любят, когда их обнимают, как самых простых!

Клаша не выдержала, улыбнулась.

И тут они совсем некстати приехали.

Она уже не сердилась как будто, но, когда кончилась веселая суматоха заселения домов, уехала вместе со Степой Сверчковым.

А затем разразились события, которые надолго выветрили мысли о Клаше Весненок.

Управление дороги не только передало иск в прокуратуру, но и подняло партийное дело, обвинив Липатова в антиобщественных поступках, пережитках капитализма и насаждении во вверенном ему коллективе антисоциалистических нравов, «что выразилось...».

На бюро горкома Липатов выдвинул встречное об-

винение в антисоциалистическом замораживании средств, пережитках капитализма — сами не пользуются и другим не дают, а кроме того — в бюрократическом нежелании решить вопрос в интересах дела, «что выразилось...».

Чубак нашел мудрое решение: пусть управление дороги сдаст, а Углегаз возьмет в аренду года на три эти дома, с условием достройки на взаимоприемлемых условиях. Липатову за самоуправство поставить на вид без занесения в личное дело. Управлению дороги в лице товарища такого-то указать на неправильность длительного замораживания средств. Дело о выселении жильцов прекратить.

— Электричество подводи, — подмигивая, сказал Чубак после заседания,— заехал я на днях вечерком новоселов поздравить, а они при свечках да керосиновых лампах... Несолидно!

Управленцы обжаловали решение горкома в обкоме, дело перешло в Комиссию партийного контроля...

Прокуратура вела дознание не только по захвату домов, но и по всем расходам, связанным с достройкой. «Растяжимые» статьи сметы оказались роковыми — теперь привлекали не только Липатова, но и бухгалтера. И вдруг выяснилось, что милейший Сигизмунд Антипович — бывший жонглер, утративший «координацию движений» и какими-то сложными путями попавший на финансовую работу. Весь коллектив хохотал, но Липатову приходилось отвечать и за прием кадров «без должной проверки».

Алымов, формально ни за что не отвечавший, проявил новые качества — во всех инстанциях выдвигал множество возражений и вопросов, требовал подробнейших расследований и вызова десятков свидетелей.

— Дело надо затягивать, тогда оно помрет естественной смертью.

И дело действительно из острого, грозного постепенно превращалось в нечто безысходно-тягучее...

В эти же дни из Москвы пришли важные вести: опыты по методу Колокольникова — Вадецкого газа не дали. Профессор Граб на обсуждении результатов отказался от собственных «вариаций», а заодно и от самой идеи:

— Я давно предполагал, что практически эта интересная задача невыполнима.

Вадецкий вяло поспорил с ним, но неделю спустя на коллегии наркомата выступил с погромной речью, обвинив Углегаз в разбазаривании государственных средств на дорогостоящие опыты по теоретически не обоснованным проектам. Профессор Граб заявил, что торопиться с выводами не стоит, но:

— ...Я лично не склонен заниматься дальше этой проблемой, у меня просто не хватает времени.

Так неудача одного из проектов поставила под угрозу все дело.

Алымов слетал в Москву и вернулся растерянным: не только о создании научно-исследовательского института, но и об ассигнованиях на расширение работы опытной станции говорить бесполезно. Олесов напуган, Колокольников зол как черт и отказывается выслушивать, не то что решать! А Вадецкий открыто перешел в стан врагов подземной газификации угля...

— Давайте вечерком соберемся и обдумаем, как действовать,— сказал Саша.

— Да что тут обдумывать,— сердито возразил Палька,— работать надо!

В тоне, каким это было сказано, чувствовался отзвук недавней ссоры. Нужно засучить рукава и делать дело, а не сидеть над книгами и не заниматься зряшными разговорами!

Саша продолжал настаивать.

— Ладно,— примирительно сказал Липатов,— обсуждать так обсуждать. Соберемся в восемь.

К концу дня на одной из буровых вышел из строя турбобур — забарахлил редуктор, пришлось поднимать турбобур на-гора́, разбирать его и ремонтировать. Не только механик Маркуша, но и Светов и Липатов толклись возле турбобура, чтобы с утра возобновить бурение. Около восьми Липатов вспомнил о том, что решили собраться.

— А, подумаешь! — отмахнулся Палька.— Тут дело поважней.

Ровно в восемь Саша сам пришел за ними.

— Далось тебе! — раздраженно огрызнулся Палька.

Однако пошли заседать. Алымов ждал их, он не-

довольно посмотрел на часы — четверть девятого. Вероятно, торопился к Катерине.

— Общее положение обсуждать вроде бесцельно,— сказал он.— Обсудим, что и как форсировать здесь?

— Нет! — возразил Саша.— Именно общее положение!

На него смотрели как на чудака. Второй месяц не допросишься его, оторвался от всех дел, и вдруг — пожалуйста!..

— Плоды просвещения,— насмешливо проворчал Палька.

— Поднабрался мыслей, это верно,— беззлобно отшутился Саша и сразу посерьезнел — видно было, что он хорошо продумал то, что хочет сказать; но тем более странными были его слова:

— Ограничиться ускорением работ — полумера. Именно сегодня надо переходить в решительное наступление по всему фронту. В Углегазе растерянность? Но для нас все случившееся — уже победа. Произошло то, что мы предвидели: методы, основанные на механическом воспроизведении газогенератора, провалились один за другим. Слово за химией. Наше решение — единственно верное. Будущее покажет многие несовершенства нашего проекта, но все дальнейшие разработки пойдут от него...

— Вот и нужно пустить станцию и доказать! — перебил Алымов.

Саша поморщился.

— Это само собой, но ждать результата нельзя. Осень! Утверждаются годовые планы и сметы. Мы должны уже сегодня потребовать расширения опытных работ в новом году. А значит, более крупных ассигнований. Это — первое требование. Второе — через наркоматы договориться, чтобы один из донецких заводов, лучше всего Азотнотуковый или Коксохим, принял наш газ под котел. Иного способа доказать реальность подземной газификации я не вижу. Да и зачем пускать газ на ветер, когда можно употребить его с пользой?

Эти решительные требования из уст человека, далекого от повседневных забот строительства, всем показались неуместными.

— Так-таки требовать всего сразу и иемедлеиио?— усмехиулся Липатов.— Сидел — в киижки глядел, а потом, пожалуйста, подавай ему развериутое наступлеиие!

Саша улыбиулся смущеиио и немиого вииовато.

— Зиаю, товарищи, ие помогал. Но ииаче иельзя было. За эти иедели я подработал иекоторые иаши проблемы и устаиовил кое-что иитересное. Думаю, теперь Вадецкому будет трудио спорить с иами. Я вас озиакомлю иа диях... Но все же моя работа — кустарщииа... Чем дальше в лес, тем больше дров. Возиикает миожество специальиых проблем. Кустаричать тут иевозможно. Если мы буквально завтра ие добьемся НИИ, мы затормозим дело сразу же после успеха. Создаиие НИИ — третье иеотложное требоваиие.

— Но как ты себе представляешь — требовать?! — вскричал Алымов.— Кому и где? Что ты предлагаешь коикретио?

— Рииуться в бой. Ехать всем вместе в Москву, дойти до иаркома, до ЦК, до самого Сталина — и добиться.

Давио уже ие проявлял Саша такой иепреклоииой иастойчивости. Его иастойчивость иачала действовать. Коиечио, требования важиейшие. Но ие забегает ли Саша вперед? Ведь до пуска станции осталось два-три месяца...

— Если будем ждать пуска — потеряем год,— упорствовал Саша,— и ие только год — кадры.

— Какие еще кадры?

— Того же Вадецкого, Граба, Катеииııа. Работников других станций. Если мы допустим спад эиергии в Углегазе, люди рассеются кто куда.

— Так то ж ие люди, а палки в колеса — твои Вадецкие! — рыдающим голосом вскричал Липатов.

Всем казалось дико: зачем иасильио удерживать людей, которые не помогали, а мешали? Наивиые рассуждеиия без учета реальиых фактов!..

Саша встал, как-то особеиио светло, без обиды вглядываясь в насупленные лица друзей. И заговорил с редкой для иего взволиоваииостью, и обращеиие само собою пришло теплое, юиошеское, возрождавшее давиюю дружескую близость:

— Очень большое дело, ребята. Получим газ —

и дело станет государственным, всесоюзным. Нам его развивать. А что мы одни? Всех, кто хоть как-то причастен, пора собирать, втягивать... Мы в своем котле варимся — наш проект, наша станция. А надо выходить за пределы. Успех у нас будет? Будет! И мы должны оказаться на высоте.

В доме Световых собрались провожать Сашу, Пальку и Алымова — Липатов оставался руководить предпусковыми работами. После того как приняли решение ехать в Москву для «развернутого наступления», разногласия забылись. Все были возбуждены предстоящей борьбой, поэтому никто не обратил внимания на приход Кузьмы Ивановича — раздвинулись, дали место за столом и продолжали говорить о своих делах. Только Катерина встревожилась — избегает Кузьмич Алымова, без серьезного повода не пришел бы.

— Д-да, так вот...— протянул Кузьма Иванович, старческими пальцами уминая в трубке табак.— Был в горкоме — нет больше Чубака. Сняли. Одни говорят — отозван, другие — самое плохое.

И не то вздохнул, не то всхлипнул.

7

И снова било вверх стойкое голубое пламя, слегка подкрашенное желтыми и красноватыми струйками.

Оно ничем не напоминало скромный язычок огня, полтора года назад вспыхнувший над тонкой трубкой, торчавшей из смешной кустарной печки в сарае Кузьменок. И недавно пылавший над опытной моделью факел оно напоминало не больше, чем взрослый — ребенка.

Оно было вознесено высоко-высоко в темное мартовское небо двадцатипятиметровой трубой, которую так и называли — свеча. Свеча была внушительная, богатырская. Трепет восторга охватил всех, всех, кто тут был, вплоть до заезжих шоферов, когда после долгих ожиданий на конце свечи вспыхнуло и утвердилось пышное пламя, осветив всю территорию станции колеблющимся голубым светом.

Несколько часов назад на глубине 130 метров электрической искрой разожгли огонь. Право включить рубильник предоставили Ване Сидорчуку. Ваня сделал это просто, даже слишком просто, без торжественности: двинул рукоятку от себя и отошел. Но с этой минуты он уже никого не видел и не слышал. Закинул голову — да так и простоял, пока не завился над трубой легкий сизый дымок.

Внутри трубы время от времени раздавались хлопки, потрескивания. Словно кто-то там ворочался, распрямлялся и сердился — тесно. Когда хлопки и потрескивания усиливались, некоторые из присутствующих отходили подальше. Ваня стоял неподвижно и вслушивался в живой голос той самой газификации...

Но вот у подножия трубы запалили просмоленную паклю, уложенную в банку. Зашевелился тросик, повизгивая на блоке, и потянул пылающую банку вверх, на трубу. Все выше... выше... вот уже у самой верхушки...

Громко ахнула труба. Взметнула могучий язык, будто лизнувший темное небо. Язык вытянулся, потом опал, заколебался — и вот оформилось и утвердилось ровное пышное пламя.

И тогда Ваня Сидорчук бросился к трубе и обнял ее, прижался к ней захолодевшей щекой, сморгнул слезу.

Потрясая длинными руками, от которых метались длинные тени, Алымов раскатистым голосом перекрыл радостный гомон:

— Великой победе техники — ура! Ура! Ура!

Первое «ура» подхватили кто как, не в лад, второе и третье — слитно, во всю мощь голосов. В колеблющемся свете факела люди подкидывали шапки и кепки, обнимались, плясали, хлопали в ладоши. Все это походило на фантастический праздник огнепоклонников. Фантастическими, незнакомыми выступали из мглы светлая махина градирни и поблескивающая башня скруббера, будто подбоченившаяся причудливо изогнутыми трубами. Все стекла, какие были вокруг, включились в праздник — в каждом пылала маленькая свеча.

Светов, Мордвинов и Липатов стояли рядом, пле-

чом к плечу. Им тоже хотелось крнчать «ура», обнимать друг друга н всех, кто труднлся вместе с ннмн. Но онн не моглн двннуться, не моглн нздать ни звука. Только стоять рядом, плечом к плечу, н смотреть, смотреть завороженнымн глазамн на ровное снльное пламя, рвущееся в высоту!

— Вндnте красноватые языкн? Метан.

Это былн первые слова. Их пронзнес Саша.

Липатов уважнтельно прнгляделся к этнм красноватым струям, а Палька н не слышал, кажется...

К ннм подошел секретарь горкома партнн Тетернн, сменнвшнй Чубака. К новому руководнтелю в городе прнвыкалн медленно, прнднрчиво оценнвая каждое слово н каждый поступок. И Тетернн, до отъезда на учебу работавшнй здесь же, в Донецке, чувствовал себя на новом посту неуверенно, чуть что — подозрнтельно настораживался. Много лет он уважал Чубака, а теперь выходнло — должен распознавать н нскоренять «чубаковщнну». Его глаз партнйного работннка обнаруживал добрые следы деятельностн Чубака, но мог лн он вернть нм, еслн Чубак оказался врагом? Не склонен лн он к беспечностн н увлеченню успехамн?.. Вот н с этой опытной станцней! Ему сразу понравнлся самый замысел — обойтнсь без подземного труда, но с первого дня работы ему прожужжалн ушн, что «этн молодцы» — авантюрнсты н самоуправцы, что коллектив засорен не заслужнвающнмн доверня людьмн, которых покрывал Чубак, что «деламн» опытной станцнн уже заннмалнсь н Комнссня партнйного контроля, н прокуратура, да Чубак прнкрыл... Впервые приехав на станцию № 3, Тетернн обвел взглядом раскннутые по обшнрной площади сооружения н уходящне вдаль трубопроводы:

— И такое строительство — всего лншь для опыта?!

Руководнтелн станцнн давалн объяснення. Был тут н Светов, восстановленный в партнн «уснлнямн Чубака», как говорнл Алферов, «заносчнвый юнец н анархнст». Светов казался дельным н увлеченным парнем, но Тетернн недоверчнво выслушнвал все, что ему рассказывалн, не торопясь соглашаться нлн возражать.

— Подождем, что покажет опыт.

Сегодня он тоже не торопился радоваться — ходил по станции, прислушиваясь, о чем говорят люди, и стараясь отделаться от неотступно ходившего за ним Алымова, так как Алымов слишком явно его «обрабатывал». Праздничная и взволнованная атмосфера, царившая вокруг, затягивала Тетерина и без обработки Алымова. Когда банка с горящей паклей поползла вверх, чтобы запалить свечу, Тетерин с горячей надеждой следил за нею и мысленно поторапливал: «Да ну же, скорей!» — не только потому, что успех сам по себе был бы прекрасен, но и потому, что он означал бы: все, что ему наговаривали, неверно, люди тут делают стоящее дело, и нужно их поддержать, а не бороться с ними...

Газ вспыхнул — и будто гора с плеч! Уже не скрывая своей радости, Тетерин подошел поздравить руководителей опыта с победой.

— А говорили, не будет у вас газа! — Он укоризненно покачал головой кому-то, кого здесь не было.— Ну, молодцы! Бо-оль-шое дело начали! Как думаете... доживем до того дня, когда новых шахт больше закладывать не будут, а вот эту штуку... заместо?..

— Рассчитываем дожить,— сказал Саша.— Но для этого надо вовсю развернуть опыты и научные исследо...

Алымов, как таран, врезался в их разговор:

— Ну-с, можно рапортовать товарищу Сталину! Я уже набросал черновик! — Прыгающими от возбуждения пальцами он совал Тетерину лист бумаги, исписанный колючим почерком.— Отредактируем, подпишем — и на телеграф!

Тетерин прищурился, обдумывая.

— Скажите по совести, товарищи: мы уже вправе рапортовать товарищу Сталину?

— Конечно, вправе! — сказал Липатов.

— Не раньше, чем авторитетная комиссия запротоколирует ход процесса и анализы,— строго сказал Саша.

— А по мне, так и вчера можно было! — воскликнул Светов и, увидев Маркушу, закричал во все горло: — Маркуша! Сергей Петрович! Иди сюда!

Маркуша подошел, с достоинством поклонился Тетерину, по очереди обнял и поцеловал друзей.

И всем было приятно видеть, как человек распрямился и будто разгладился.

— Это и есть Маркуша? — спросил Тетерин и протянул руку.— Тогда поздравляю с двумя победами сразу.

После длительных проволочек Маркушу наконец восстановили в партии. Завтра Тетерину предстояло вериуть ему партийный билет.

— Думаю, что пора возвращаться и на свою печь?

— Печь от меия не уйдет,— проговорил Маркуша и повернулся лицом к пылающему факелу, отбросившему синие отсветы на его впалые щеки.— Повремелю. Тут доконочить надо.— И он стремительно пошел прочь, к группе слесарей и монтажников — к людям, с которыми перебедовал эти долгие тяжелые месяцы.

Тетерин проводил его задумчивым взглядом. Вот и еще один человек, о котором он наслушался и худого и хорошего... и которому хочется доверять, потому что Маркуша затеял на Коксохиме полезные перемены и сейчас крайне иужен на заводе...

— Где же ваша авторитетиая комиссия? — встряхиваясь, спросил он.

— Из Углегаза никто ие соизволил приехать, если не считать Алымова,— не без яду сообщил Липатов.— Видно, не ждали успеха. Передоверили Катениину и местным профессорам.

И тут все впервые увидели, как сердится новый секретарь горкома. Чубак, бывало, ругался на чем свет стоит. А Тетерии промолчал, только весь потемнел, губы сжались в полоску, и на скулах вздулись желваки.

— Профессоров у нас хватит! — воскликнул Алымов.— Тут почитай что весь институт! Сейчас же составим комиссию! А кто не приехал — тем хуже для иих, ие подпишут рапорт!

— Подписать — это не штука,— мрачно сказал Тетерин.— Но... Товарищ Липатов, позвоии дежурному горкома, пусть закажет через час прямой провод. Я их пошевелю! Я их сюда всех вытребую, маловеров!..

Пока Липатов звонил, начали составлять комиссию. Оказалось, не только Троицкий и Китаев, но и Соиии и Алферов тут, из иститута примчалась целая делегация в крытом грузовике.

Увидав знакомый фургон, Палька на минуту замер — давняя тоска прихлынула к сердцу. Сквозь колеблющийся свет факела проступила посеребренная лунною степь и голубое лицо женщины со странным выражением не то ласки, не то насмешки. Лицо тут же растаяло, исчезла степь в лунном серебре, и не было ни того счастья, ни той боли...

Стойким надежным пламенем пылал в высоте горючий газ, извлеченный прямо из целины угольного пласта. Рядом стояли люди, сделавшие это чудо своими руками. Товарищи. Соучастники победы. В дружной толпе победителей он был одним из многих. И его главная радость состояла в том, чтобы делить победу с ними — и отсечь тех, кто ни при чем.

Он позволил себе расцеловаться с профессором Троицким, холодно поклониться профессору Китаеву и отвернуться от Алферова и Сонина — этим двум, облеченным партийной ответственностью и недостойным ее, он не прощал ничего.

Предоставив Алымову хлопотать о составлении нужных бумаг, Палька ускользнул от формальностей и столкнулся лицом к лицу с человеком, которого никак не ждал увидеть здесь.

Взволнованный, с жалкой, заискивающей улыбкой, к нему рванулся Леня Гармаш. Леня Гармаш, струсивший в тяжелые дни...

— Павел Кириллович! Такой успех, такой успех! — воскликнул Гармаш, протягивая руки.— Вот мы и дождались желанного дня!

Протянутые руки повисли в воздухе.

— Мы? — спросил Палька и, как мальчишка, пронзительно свистнул в лицо Лени, в его русалочьи неверные глаза.

Шагая по замусоренной, еще не приведенной в порядок территории станции, Палька по-мальчишески подкидывал ногой щепки и осколки кирпича, на ходу пожимал десятки рук, с кем-то обнимался, кого-то целовал и снова шагал — веселый, усталый, счастливый до одури.

Час был поздний, но толпа не расходилась, было похоже на праздничное гулянье — кругом народ, звучат оживленные голоса, смех, а то и песня. В центре шумной группы молодежи Ваня Сидорчук «христо-

суется» со всеми девчатами по очереди, девчата взвизгнвают, ио, виднмо, ннчуть не возражают...

Мелькиула в толпе гордо посажениая голова в веице кос — сестра, Катерниа. Все последиее время оиа ходила мрачная, злая, что ин скажи — идет иаперекор. А сегодня — веселая, улыбчивая, шагает в обиимку, по одиу стороиу — Люба, по другую, в яркосиием берете... это кто же такая? Ои пробился к иим, и иавстречу ему из-под нового беретика засветилось, засияло милое лицо Клашн Весиеиок. Какая же она умнница, что пришла! И как могло случнться, что ои так давио ие видел ее н даже ие вспомииал... долгие иеделн!.. Целые месяцы?!.

— Девушкн, прииимаю поздравлеиия и поцелуи!

Они поцеловали его — все три. Клаша густо покрасиела н еле дотронулась губами до его щеки.

— Так не годится, Клашеиька, разве это поздравлеиие!

Он полушутя обиял ее и поцеловал в губы, ощутнл трогательиую робость ответного поцелуя — н на какое-то время забыл обо всем остальиом.

И вдруг увндел окамеиевшее лицо Степы Сверчка.

Минуту оии нспытующе и иедобро смотрели друг иа друга.

— С праздником, Степа! — опомиившись, сказал Палька, обиял Степу и троекратно крепко поцеловал.— Все в порядке, дружище.

И пошел дальше, не позволив себе огляиуться на Клашу.

С комиссией все было улажеио, договореио. В конторе станции коллектнвио редактировалн рапорт Сталииу.

Саша вышел из прокуреииой комиаты на воздух.

Где-то тут бродила Люба, но где? Да н не мог ои сейчас говорить с Любой о том, что его томило. Люба радовалась возвращеиию в Москву. Любе уже мерещилась московская просторная комната, театры, Сокольиики, где оии так и ие побывали, оиа верила, что сиова возьмется за учебу... Он виннл ие ее, а себя. Не помог, а сбнл с толку. Поселил в бараке и не позаботнлся о том, чтобы у иее был хотя бы угол для занятнй. Она самоотвержеино помогала иа стройке

всем, чем могла: наводила порядок в столовой и общежитии, бралась и за лопату, и за метлу. Защищала мужа, когда ребята злились на него...

Не мог он теперь обрушить на нее новые тревоги.

Когда он уезжал в Москву три месяца назад, чтобы ринуться в бой, он и подумать не мог, что так все обернется.

Они ринулись в бой. Первая схватка произошла на техническом совете Углегаза, где они с Палькой доложили результаты опытов на крупной модели. Их доклады имели успех. Олесов прямо расцвел, да и Колокольников подобрел — на других опытных станциях удач не было, станция № 3 могла выручить... Но когда докладчики изложили свои планы и требования, поднялся шум. Колокольников язвительно напомнил о скромности. Вадецкий выступил с раздраженно-злобной речью: искусственно создали благоприятные условия, выдают результаты за открытие и хотят, чтобы все перед ними расступились! Вы из настоящего целика дайте газ, тогда посмотрим!

— Могу предсказать, что после пуска станции у вас будут взрывы,— вещал Вадецкий,— выход газа окажется неравномерным, а процесс — неуправляемым!

Поддержал Вадецкого и Катенин, правда более мягко: дело новое, трудное, нельзя торопиться. Цильштейн снова доказывал неосуществимость газификации без дробления угля и высмеивал «самообольщения наших молодых друзей...»

И тут Саша, для удобства поднявшись с места и обращаясь то к одному, то к другому, вступил в теоретический спор со всеми. Палька слушал, приоткрыв рот,— Саша бил противников на их ученом языке, против каждого их довода выставляя свой контрдовод — обоснованный, продуманный. Так вот для чего он просидел эти месяцы над книгами и расчетами!

После долгого, временами резкого спора удалось провести нужные решения, хотя сформулировали их туманней, чем хотелось.

Затем шли бои у Бурмина и у Клинского, заменившего Стадника, затем — на коллегии наркомата, в планирующих и финансовых органах. Клинский сперва очаровал всех, вежливый, внимательный,

с обезоруживающей улыбкой; потом — вызвал досаду, потом — привел в ярость. Он не жалел времени, чтобы разобраться в вопросе. Но как раз тогда, когда казалось, что он разобрался и может принять решение, Клинский скучнел, замыкался и говорил невыразительным голосом:

— Подумать надо, товарищи. Взвесить. Мы еще к этому вернемся.

Палька фыркал:

— Ты лицо его запомнил? Я так не помню ни глаз, ни носа. Вежливая туманность.

Бурмин, как всегда, ругался, а то хохотал:

— Иш торопыги! Им подавай все сразу!

В общем-то он их поддерживал, но спуску не давал:

— Добреньких ищете? А вы убеждайте, кладите противников на обе лопатки, тогда и победите. Работа упористых любит.

Деньги на расширение опытов в наступающем году получили. Попробовали договориться о том, чтобы после пуска станции подвести газ на один из донецких заводов, но тут их и слушать не стали: забегаете вперед! После долгих споров удалось провести решение о создании научно-исследовательского института, но в последней инстанции Колокольников сумел доказать, что институт нужно создать не в Донецке, «не на базе малозначительной опытной станции», а в Москве, «на базе квалифицированнейших научных кадров столицы»...

И вот накануне отъезда Сашу вызвал Бурмин.

— Навоевался? Выдохся?

— Нет, не выдохся.

— Вот и хорошо. Надумал я... Делать — так делать до конца. Пойдешь директором НИИ и одновременно — заместителем директора Углегаза по научно-исследовательской работе.

Саша мигом ухватил смысл предложения. Ничего не скажешь, разумно. Сейчас Углегаз — вроде стороннего и не очень-то доброжелательного наблюдателя. Надо его завоевывать изнутри. Если отказаться, назначат какого-нибудь Вадецкого или в лучшем случае Катенина... Разве они обеспечат правильное развитие исследований? НИИ может стать не опорой, а поме-

хой, научной трясиной, в которой захлебнется живая мысль.

— Чего молчишь? Соглашайся, вам же на пользу.

Саша медлил. Делу — на пользу, это ясно. А мне...

Он будто увидел перед собою умное старческое лицо Лахтина, будто услышал негромкий голос: «Как только сможете, я приму вас... если сам к тому времени *буду*...» До сих пор все еще мечталось: пройдет несколько недель или месяцев, и можно будет напомнить об этом обещании, сказать: «Я свое выполнил, я уже могу, не предав дело и товарищей...» Нет, далеко то время, когда можно будет так сказать! Работы у нас — на годы... И мое сегодняшнее «да» или «нет» — выбор на всю жизнь... Люба обрадуется возвращению в Москву. А мне предстоит борьба в одиночку с недругами и маловерами. Колокольников будет очень зол, Вадецкий и Граб тоже... Съедят? Не дамся.

— Согласен, Петр Власович.

Хотелось добавить: только поддержите. Не добавил. Когда станция № 3 начнет выдавать газ, само дело поддержит.

— Одно непременное условие, Петр Власович: до пуска нашей станции не перееду. Пока — главное там.

...И вот станция пущена. По стойкости и цвету пламени и без анализов видно, что газ неплох и выдается равномерно. Но как еще далеко до промышленной газификации! Сколько впереди исследований, опытов, поисков — и сколько борьбы!

Ребята будут изучать, совершенствовать, пробовать так и этак, отрабатывать детали... А мне — уезжать. Именно теперь, когда мы снова так хорошо понимаем друг друга и научились ценить свою дружбу... Уехать от них и крутиться там одному. С одного боку — Колокольников, с другого — Вадецкий, или Граб, или Цильштейн, или Катенин с его грошовым самолюбием и нежеланием сотрудничать... Все это надо преодолеть. Людей повернуть и завоевать. Отбивая наскоки, доказывая, убеждая каждого в отдельности и всех вместе,— вывести дело на государственный простор.

И я сумею! Должен суметь. Пусть совсем один...

— Вот ты где, Сашенька!

Почему она всегда чувствует, что нужна? Нету, нету, и вдруг появляется в нужную минуту. Приникла к его плечу и одним глазком поглядывает, какой он. И осторожно, как бы невзначай, спрашивает:

— Ты что один стоишь?

Обнял, пошутил — как же один, когда нас двое? А первым побуждением было ответить: привыкаю. Нет, даже в шутку не стоит пугать Любу предстоящими трудностями. И рассказывать ей о всяких Вадецких. Любе хочется, чтобы все было хорошо и правильно. В жизни так не получается, всегда есть какие-то наслоения, примеси. Но зачем ей-то тревожиться? У него хватит сил — самому. Да и какое одиночество, если Люба рядом?..

— Ты чего вздрагиваешь? Озябла?

— Переволновалась. Я сейчас поставлю чай. И у меня еще кое-что припасено. Ты ребят позовешь?

Она и это поняла — что сегодня он никак не может без них.

В тесной клетушке конторы кипели страсти. Впрочем, по виду все было деловито, обсуждался как будто чисто юридический, формальный вопрос: чьи подписи должны стоять под рапортом Сталину. Тетерин выписывал фамилии на отдельной бумажке. Хотя фамилия Алымова (а за нею и Мордвинова, как нового руководителя НИИ) уже значилась в списке сразу после Тетерина, Алымов тяжело придавил кулаком чистовик рапорта, подчеркивая, что не допустит перемен,— а между тем Сонин мягко, но настойчиво доказывал, что гораздо больше прав «у руководителей Института угля».

— Проект наш, институтский, и это гораздо важнее, чем... А вашего НИИ еще и нет, одно название...

Профессор Китаев, молча высидевший в уголке все время, пока рапорт редактировали, теперь тоже возвысил елейный голосок:

— Я не для себя, я не честолюбив, товарищи, но в качестве научного руководителя проекта... как-никак именно моя кафедра...

— Один с сошкой, семеро с ложкой,— бурчал Липатов, сердито поглядывая в окно: куда это запропастились Саша и Палька, когда тут такое...

Тетерин решительно отодвинул кулак Алымова и подтянул к себе рапорт:

— Хватит, товарищи! Добавляю директора института Сонина и начальника опытной станции Липатова. Пять подписей — в самый раз.

Но тут взвился Липатов:

— А Светов?!

Тетерин поморщился, он предпочитал, чтобы фамилии Светова на рапорте не было — что там ни говори, человека недавно исключали, толки ходят разные, лучше обойтись без него...

— Подпись главного инженера совсем не обязательна...

— Ну конечно, зачем уж Светов, когда столько желающих! — закричал Липатов, багровея.— Давайте уж и Сонина, и Китаева, можно и еще поискать, кто нам палки в колеса ставил!

— Тише, тише! — поднял руку Тетерин.— Чего раскричался? Никто же не против Светова, только подписей многовато. Или?..

— Вот именно — или! — задохнулся от гнева Липатов.— Такой малый пустяк — автор проекта!

— Ну, впишем и Светова.— Тетерин набело переписал фамилии в конце рапорта.— Успокоился?

Потеряв всякий интерес к дальнейшей процедуре, как только увидел свою подпись на подобающем месте — вторым от начала, Алымов выскользнул из конторы и разыскал в поредевшей толпе Катерину.

— Разрешите отвезти вас домой, Катерина Кирилловна. Уже поздно.

Взял ее под руку — и стремительно повел к машине.

За ними все так же пылало пышное пламя, отбрасывая широкий круг света, перед ними вытягивались их тени — все длиннее, длиннее, вот уже головы канули в темноту за пределами круга.

— Поехали? — спросил из темноты шофер, которого Катерина побаивалась, потому что у него всегда кончался бензин.

Сегодня шофер был щедр и весел.

У машины стояла черная нахохлившаяся фигура.

— Константин Павлович, вы в город? Захватите меня, пожалуйста, я, понимаете ли, не предупредил жену, что задержусь...

Когда он приехал сюда — Катенин? Где пробыл весь вечер, никому не попадаясь на глаза?..

Алымов в бешенстве повернулся спиной к Катенину, но пальцы Катерины слегка сжали его локоть, он поперхнулся и процедил:

— Садитесь впереди.

Катерина откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза. Как сквозь сон слышала она рокот мотора и удивленный голос шофера:

— Скажи пожалуйста, вышло! А я, грешным делом, не верил, думал — чепуха, не будет уголь за здорово живешь гореть под землей. И что же, так и будет теперь — «гори, гори ясно»?

Алымов не ответил. Пришлось отвечать Катенину. Он объяснял что и как сдавленным голосом, но добросовестно.

Катерина понимала, что творится в душе у этого малознакомого человека, которого она однажды защитила. Надо бы заговорить с ним, сказать дружеское слово. Но она ничего не могла придумать. Она очень устала от долгого стояния на ногах, от волнений и счастья этого вечера, оттого, что рядом Алымов, и оттого, что дома нет Светланки.

Вот уже неделя, как она отняла Светланку от груди. Кузьменковская бабушка забрала девочку к себе, «пока не отвыкнет». Без Светланки в доме стало пусто и тревожно. Ночами Катерине не спалось, ей чудилось, что она слышит Светланкин плач и голодное кряхтенье... Все правильно, ребенок должен отвыкнуть от материнской груди, забыть. Так всегда делают. Но матери как забыть? Неотрывная близость с дочкой оборвалась. Что-то трогательное, утоляющее ушло из жизни. И, как назло, приехал Алымов, еще более взвинченный, чем обычно. И не было спасительной возможности укрыться возле Светланки — единственного прибежища, где можно спрятаться от всего тяжелого и непонятного, что замутило жизнь... Свободна — и беззащитна перед чем-то негаданным, надвигающимся помимо ее воли.

Из угла машины она поглядывала на Алымова — сидит выпрямившись и дышит громко, торжественно, раздувая ноздри.

А впереди безжизненно покачивается на опущенных плечах голова Катенина, тускло и уже с досадой звучит его голос:

— Да нет, почему же. Скважины бурят по пласту...

— Какая ночь! — воскликнул Алымов и схватил руку Катерины.— Если б мне посулили сто лет жизни, но без нее — я бы отказался!

Его длинные, цепкие пальцы то ласкали, то стискивали до боли ее руку, и тут уж ничего нельзя поделать — такая ночь выдалась, такое настроение породила.

Подъехали к гостинице. Катенин впервые оглянулся:

— Спасибо, что подвезли. До свидания.

— До свидания,— буркнул Алымов.

Кажется, он уже не помнил, кого подвез. Ему не было дела до этого человека. Как только за Катениным захлопнулась дверца, Алымов заговорил вполголоса, чтобы не слышал шофер, но с бурной торопливостью,— вероятно, всю дорогу копил и с трудом удерживал слова.

— Это — мое торжество, Катерина, мое! И со мною вы! Вы всегда должны быть со мной! Ныне, присно и во веки веков. Вы мне нужны, вы сами не понимаете, как вы мне нужны! Я знаю, я старше вас, хуже вас. Вы меня боитесь иногда, ведь правда, я чувствую — боитесь! Я не скрываю, я недобрый, я скверный человек, Катерина! Но вы меня потрясли, нет,— не то слово, вы меня перетряхнули всего, я стал совсем другим, я становлюсь добрей, чище, я буду таким, каким вы хотите, чтоб я был!

Катерина слушала не дыша, ей казалось, что и сердце остановилось в ожидании.

— Вы не можете отказать мне! Это судьба! Рок! Вам смешно, да? Несовременно звучит — судьба, рок... Но я верю, они свели нас! На том собрании... ах, как трудно было выступать в защиту вашего несправедливо обвиненного брата! Трусость шептала: не надо, наживешь неприятностей, ты здесь посторонний, молчи... Но судьба подняла меня и бросила на трибуну,

и только это свело иас, только это дало мне право подойти к вам! Я хочу целовать пол, по которому вы ступаете. Я буду иосить вас иа руках, сиимать обувь с ваших иог и молиться иа вас. Да! Да! Молнться!

Оиа жадио слушала этот полубред. Она владела этнм взрослым, диковатым человеком. В ее властн — повериуть его по-своему, сделать велнкодушиым н справедливым...

— Остаиовн! — вдруг крнкнул Алымов н распахиул дверцу.

Взвыли тормоза.

Алымов почтн вытащнл Катерииу из машниы н бегом увлек ее по склоиу холма. Сбоку блеснула речка, выступили светлые перила моста...

Ои ие обратил виимаиня на темиый силуэт обелиска, венчающего холм. Ои иичего ие зиал, он понятия не имел ии о Кирилле Светове, ии о ней. Даже о ией! Ои иикогда н ие спрашивал ее ин о чем.

— Смотрите, Катерниа! Смотрнте! — самоуверенно выкрнкивал он, как будто ои был тут своим, а оиа — чужая.

Катерина могла бы, закрыв глаза, перечислить все огнн н огонечкн, что видны отсюда ночью. Обелнск и мост считались граиицей между городом и поселком, до моста в хорошие вечера доходнли поселковые парочки, а крутой бережок считали своим все влюблеииые. Катерниа была здесь с Вовой дия за три до его гибели, в траве трещали сотни кузиечиков, Вова сказал:

— Самодеятельиый оркестр! Зиаешь, что они пиликают? Послушай: «Мы кузнецы, и дух иаш молод...»

И ей тоже показалось, что оиа слышит «Мы кузиецы...»

Много месяцев оиа не вспоминала Вову так отчетливо — лицо, голос, руки. Упасть бы иа холодиую, как могила, землю, завыть по-бабьи...

Она споткнулась. Алымов обиял ее за плечи н повериул лицом в ту стороиу, где всегда была голая степь, чериая мгла без едииого огоиька.

И сегодия мгла была черна, но в этой мгле ясным огнем пылала торжествеииая свеча подземного газа, преображеииая расстояиием в обыкиовеиную домашнюю свечу. Оиа стояла посредн равнины, как на сто-

ле. Вокруг ее ровного, вытянутого вверх пламени колыхалось радужное кольцо света.

— Этого торжества я ждал два года,— как в горячке, говорил Алымов, прижимая к себе Катерину.— Я мотался, как бездомный пес, не имел ни тепла, ни покоя, дрался, спорил, шел напролом, подставлял голову под все удары. И вот он — факел моего торжества! Он мой! И вы — моя, нас свела сама судьба, это наша победа, наш святой, незабываемый праздник!

Они снова сели в машину, и он держал ее в объятиях, целовал ее склоненную голову и шептал горячечные слова, каких никто никогда не говорил ей.

Дом был темен.

Катерина нащупала над дверью проволоку, просунула ее в щель и откинула крючок. Они вошли в коридорчик, разделявший их комнаты. Катерина повернула выключатель и зажмурилась — не от света, а потому, что стало жутко и стыдно. Чужой, немолодой, непонятный человек стоял рядом, уже чем-то близкий, чем-то связанный с нею. Надо уйти, а ноги не идут.

Она заставила себя шагнуть, но в тот же миг Алымов упал на колени и прижался лицом к ее ногам.

— Дайте мне молиться на вас, Катерина. Я не могу без вас. Вы не можете оттолкнуть меня.

— Встаньте. Ну, встаньте.

Было трудно называть его, как прежде, по имени и отчеству, и неизвестно, как назвать иначе. Мягко отстранила его, бросилась в свою комнату. Остановилась у пустой детской кроватки, подержалась за холодные прутья. Прислушалась — за стеной тяжело, с присвистом дышит мать. А в коридорчике — тишина. Светлая полоска под дверью исчезла.

Сердце билось гулко, сильными толчками.

Не зажигая света, проскользнула на кухню, долго умывалась, прижимая мокрые ладони к щекам, к глазам. Вернулась. Постояла у двери, пугаясь того, что сейчас сделает, но зная, что изменить уже ничего не может.

— Катерина, я жду вас,— совсем тихо позвал Алымов.

Наверное, он тоже стоял у двери, их разделял узкий коридорчик, три шага.

В доме было тихо и темно.

— Катерина, я жду вас.

Она рывком распахнула дверь, вытянула руку, как слепая, и сделала эти три шага.

8

...Я совсем не один. Почему мне представлялось, что я тут буду совсем один? Вот чепуха-то! Уже полгода... да, шесть месяцев и четыре дня я в Москве — и сколько нашлось сторонников!

Саша размашисто шагал по улице Горького, щурясь от вечернего солнца. На всех углах торговали цветами — с лотков, из корзин и прямо с рук. И все продавщицы нацеливались на Сашу:

— Молодой человек, купите цветочков!

— Молодой человек, букет для барышни!

Вид у него такой счастливый, что ли?

Купил охапку осенних астр. Половину — Любушке, половину возьмем в гостиницу — Катерине. Хорошо, что Алымов привез ее. Если они поженятся, у Любы будет в Москве подруга. Но главная радость нынешнего вечера не в Катерине, а в Пальке и Липатушке. Люба говорит: когда приезжает один из дружков, я знаю по тебе: ты становишься благостный.

На этот раз в Москве оба друга. Четыре дня виделись с утра до вечера, а поговорить толком не пришлось. Первое всесоюзное совещание по подземной газификации угля! — это была идея Саши, он его готовил, он его проводил. Собрались не только инженеры опытных станций, но и много научных работников. Саша все эти месяцы привлекал к решению отдельных проблем то один, то другой научно-исследовательский институт, а к совещанию подсчитал и удивился — сколько разных людей уже втянуто! Собственный НИИ Углегаза еще слабоват: денег в обрез, штаты крохотные, помещения нет — лаборатории разбросаны по всему городу и оснащены случайными, устаревшими приборами. В своем НИИ Саша чувствовал себя не директором и не научным руководителем, а борцом, добытчиком, таранной силой для разрушения преград.

Это его не смущало, усталости он не чувствовал — что бы ни было, дело растет, развивается. Полгода он

терпеливо налаживал опытные работы, осторожно, стараясь не задевать самолюбий, подталкивал работников других станций к объединению усилий, от разочарований и апатии после неудач незаметно приводил их к сознанию причастности к общему большому труду.

И вот — первые итоги.

Совещание признало метод донецкой станции (его теперь называли бесшахтным методом) основой для всех дальнейших разработок. Палька Светов — молодчага! — сделал блестящий доклад о полугодовой работе станции № 3. Когда он сообщил, что началась прокладка газопровода под котел Азотнотукового завода, академик Лахтин зааплодировал — и весь зал подхватил. И еще раз аплодировали все, когда Палька сказал, что пора испытать бесшахтный метод в разных условиях — на горизонтальных и наклонных пластах, на каменных и бурых углях. Саша видел, что и Катенин, и Вадецкий, и Граб хлопают в ладоши — не очень увлеченно, но все же...

Это был успех. Однако ощущение счастья вызывалось не только успехом, и Саша по своей привычке анализировать и все уяснять до конца добирался до глубинных причин.

Мучительный 1937 год остался позади. Последний Пленум ЦК осудил перегибы минувшего года. Саша верил, что с этим покончено, что все станет на свои места. От этого легче дышится, веселее работается. Вторая пятилетка выполнена досрочно — в четыре года три месяца. Началась третья пятилетка — рост по всем отраслям хозяйства, захватывающие перспективы! Снова главный тонус жизни — созидание.

Вспоминая, какую борьбу они выдержали, Саша понимал, что порой они все — энтузиасты подземной газификации — висели на волоске, что они трудились и побеждали *вопреки* обстановке, которая вокруг них сложилась. Дело Пальки. Дело Маркуши. Арест Стадника, потом Чубака. Любая ошибка, любая заминка — и тебя берут на подозрение: не враг ли ты?.. А мы стискивали зубы — и работали, работали. Все преодолели — и победили. Теперь наши усилия вливаются в русло общего развития и нарастающей энергии творчества. Тогда — захлестывало, вот-вот пото-

пнт. Теперь — будто подхватывает и подинимает иа доброй волие.

Но почему ие возвращается Стадинк? Почему нет Чубака?

Может ли быть, что они... Нет, ие может быть. Ну, Стадника зиал меньше, ручаться трудно. Хотя... есть же такне человеческне черты и проявлення, которые не обмаиывают! Но уж насчет нашего Чубака!.. Да спроси кого хочешь в Донецке — иа глазах вырос, на глазах жил и работал. До сих пор оговариваются — чубаковский парк, чубаковскне дома...

Нет, онн вериутся! Там пересмотрят ошнбочиые дела, разберутся, вернут их. Говорят, Чубака обвиили в поддержке Маркушн. Но Маркуша-то восстановлеи! Конечио, оин вернутся!..

Так думал Саша, вольно шагая вверх по улице Горького и размахнвая связкой астр, как свежнм веиником. Затем его мысли вернулнсь к закончнвшемуся только что совещанию, потому что нменно там ои осознал что-то новое в самом себе — и это иовое радовало.

Лнпатушка вчера сказал: ты, Сашок, всегда был — голова, а теперь вылупнлся из скорлупы — деятель!

Да, председательствовал замиаркома Клннскнй попеременно с Бурмнным, суетнлся Олесов, но фактнчески всем ходом совещання руководил Саша н чувствовал, что это у него получается, что его покинула мальчншеская робость перед авторитетами, что он порой умеет подсказать авторнтетам тему выступлення или убеднть нх взять на разработку ту нлн иную проблему... Но главное — ои иаучнлся мыслнть шнре и государствеиней, чем прежде.

Вылупнлся из скорлупы? Что ж, пожалуй, мы были иесколько замкнуты в своей скорлупе. Наш метод, иаша станцня. Мы как рассуждалн? Прндумали, испытали,— значит, давай внедряй, кто медлнт — тот бюрократ, ннчего ие понимает. Конечно, нх немало, бюрократов. И непоннмающнх тоже. Но есть попросту трезвые руководители, вроде Бурмнна, умеющне охватить целое — народное хозяйство. Да еще в его развнтин н преобразованнн. Да еще с учетом многообразных потребностей страны. Да еще — с учетом всех особениостей международной обстановкн... Ко-

нечно, мы жили всеми событиями страны и мира — пятилетки, оборона страны, героическая борьба испанского народа, угрожающий рост фашизма в Германии и Италии... Но большие события были для нас — вне нашего дела. А теперь я ощутил государственный масштаб. Пособничество фашизму со стороны Америки или Англии, какая-нибудь воинственная речь Гитлера — и я чувствую, как это отражается на моих делах практически, повседневно: напряженнее сроки, труднее дают деньги и фондовые материалы, откладывают заказы на приборы, жестче решают наши вопросы в общем плане обеспечения страны топливом.

Люди, охватывающие целое — государство, торопиться не могут, хотя направляют самый стремительный рост, какого не знал мир. Им подавай гарантию, чтобы не было осечек и перебоев, чтобы экономическая целесообразность была доказана. И мы должны соразмерять свои планы и желания со всем этим — с государственными задачами и заботами.

Палька рассердился, услыхав такое рассуждение:

— Сашка, обрастаешь начальственным жирком.

Ничего начальственного во мне нет, ну его к черту! Без масштабов, координаций и учетов того и этого намного легче, в своей скорлупе — легче. Но я уже не могу и не хочу — в скорлупе...

А в общем, золотые дружки мои тут, совещание кончилось, и уж сегодня вечером никакой я не деятель и не директор НИИ, и не зам, и никто. Просто — Саша, один из трех «не разлей водой». Хорошо бы избежать большого сборища, а пойти втроем по Москве, как ходили в Донецке. Говорить о чем вздумается, захочется — подурачиться, а не захочется — помолчать, никто не обидится. Вот славно было бы!

Нет, вечер прошел не так, как мечталось Саше. А все из-за того, что у Липатушки было чересчур веселое настроение!

Используя свободный день, Липатов с утра носился по делам жены и не без обходных маневров добился того, что Аннушку перевели в Донецк старшим геологом конторы буровых работ. В наркомате он по-

встречал Игоря, прилетевшего в командировку из Светлограда, и напросился к Митрофановым обедать, где на радостях изрядно выпил. Выпив, захотел продолжить гульбу, но Игорь уже условился о встрече с Труниным и Александровым; Липатов потребовал, чтобы Игорь привел в гостиницу и приятелей, после чего позвонил Рачко — похвастался своим успехом и пригласил Григория Тарасовича «спрысиуть» его. Накупив на все оставшиеся деньги вина и закусок, Липатов кое-как дотащил свои покупки до гостиницы и у лифта столкнулся с Катениными — отцом и дочерью.

Липатов недолюбливал Катенина, зато дочь его нашел хорошенькой.

— Заходите вечером ко мне. Будет весело!

Всеволод Сергеевич хотел уклониться от приглашения, но Люда всего на недельку вырвалась в Москву и жаждала развлечений.

— Придем непременно,— сказала она и уточнила час.

Свалив покупки на диван, Липатов улегся вздремнуть, да и проспал сладким сном, пока его не разбудили друзья. Вслед за ними пришел Рачко, затем — Алымов с Катериной. Кроме Липатушки, все понимали, что соединять Рачко с Алымовым не стоило — они не очень-то ладили. Увидав Алымова, Григорий Тарасович помрачнел, насупился, но Липатов сразу нашел выход: пока другие наладят ужин, наскоро выпить «по первой».

Делать нечего — Саша и Палька занялись открыванием бутылок и банок, а Люба засуетилась, расставляя закуски, и украдкой шепнула Катерине, что нужно припрятать две-три бутылки водки, а то Липатушка переберет. Катерина спрятала две бутылки в ванной, но от прочих хлопот отстранилась, села за стол и оперлась подбородком на сложенные руки.

Алымов бродил по комнате, натыкаясь на стулья, и восторженно вспоминал разные подробности закончившегося вчера совещания. Он жил ощущением победы и не мог говорить ни о чем другом. Размахивая длинными руками над головами Липатова и Рачко, он высмеивал Вадецкого — хамелеон! А Колокольни-

ков! — можно подумать, что он никогда не ставил нам палки в колеса!

Алымов не злобствовал, он смеялся — Саша впервые услышал его громкий, почти добродушный смех. Оттого ли в нем меньше злобы и желчи, что пришла победа? Или оттого, что тут сидит Катерина? Он говорит и поглядывает на нее, смеется и поглядывает на нее, а потом подойдет и как бы невзначай положит руку на ее плечо или поправит выбившуюся из ее косы прядку.

А Катерина за последние месяцы похудела и повзрослела — ничего в ней не осталось от прежней поселковой дивчины. Движения медлительны, плавны, на губах теплится улыбка, обращенная не к людям, окружающим ее, и даже не к Алымову, а к чему-то происходящему в ней самой. Люба шепнула Саше, что Катерина польщена любовью Алымова и своим влиянием на него.

— И что ж, она — любит его?

— По-моему, да. Она какая-то... упоенная.

Да, взрослая и упоенная, до чего верное слово подыскала Люба! Видимо, этот человек и в любви неистов... Что ж, может, оно и к лучшему для обоих. Алымову обещали квартиру в новом доме. Катерина переедет к нему. А дочка? Она ведь не оставит дочку. Старикам Кузьменко — новый удар. А Катерина? Найдет ли она в Алымове отца для Светланки? Кто знает!..

Как только все уселись за стол, почувствовалось, что не стоило соединять не только Рачко с Алымовым, но и Алымова и Катерину с Палькой. Липатов запоздало понял это и решил все притушить выпивкой. Саша только пригубливал, он не любил пить, зато Палька, против обыкновения, приналег на водку. К общему удивлению, и Катерина залпом выпила рюмку, потом вторую. Алымов подсел к ней и обнял ее.

— Она у меня пьянчужка,— сказал он ласково,— только давай!

— Очень жаль, что у *вас* она стала пить! — с бешенством выкрикнул Палька и отодвинул от сестры рюмку.— Не дури.

— Скажи пожалуйста, учитель какой! — усмехнулась Катерина.

Она уже немного опьянела, но рука ее крепко сжала локоть Алымова — промолчи, не ссорься. Алымов промолчал, только губы побелели и задергались.

И в эту минуту ввалились еще трое гостей — Липатов не сразу сообразил, кто они такие, эти шумные молодые люди, он забыл о своем приглашении. А Палька устремился им навстречу, ему все эти дни хотелось повидать и Трунина, и Александрова, и особенно — Игоря.

Игорь громко приветствовал его, но вдруг густо покраснел и будто запнулся у двери: он смотрел на сидевшую за столом женщину и на немолодого, некрасивого человека, обнимавшего ее. Палька оглянулся на сестру — Катерина натянуто улыбалась.

Липатов начал шумно знакомить незнакомых. Почуял ли что-то Алымов или ему хотелось похвастаться, но, пожимая руку Игорю, он сказал:

— Знакомьтесь — моя жена.

Игорь церемонно склонил голову. Жена! «У меня этого никогда не будет», — а потом, не прошло и двух лет — муж. Старый урод, плотоядный, при людях лапает...

— Да ведь они знакомы! — простодушно воскликнул Липатов и прикусил язык.

Но Люба подхватила как ни в чем не бывало:

— Конечно, знакомы. Вы приезжали к нам с отцом из экспедиции. Помнишь, Катерина?

Липатов только крякнул — до чего ловки женщины! Еще не родился тот, кто их перехитрит. Но Катерина не хотела хитрить:

— Мы и потом встречались,— сказала она.— Я рада видеть вас, Игорь Матвеевич. Я не знала, что вы в Москве.

В настроении собравшихся возникли два течения. Палька и Липатов, включив в свою компанию Трунина и Александрова, хотели веселиться — выпал такой вечер, пусть уж дым коромыслом! Второе течение образовалось вокруг Катерины — медленное, тихое, но с подводными камнями. Сама Катерина молчала, говорил Игорь. Он рассказывал о Светлострое, о лодке с подвесным мотором, которую назвал своей верной подругой,— при этом он вызывающе посмотрел на Катерину, а Катерина опустила глаза. Алымов все при-

метил и начал мотаться по комнате, как маятник, что доводило Рачко до нервной дрожи.

Сашу заинтересовало, как используют молодых инженеров на стройке. Игорь ответил, что с первых дней руководит всеми изысканиями по будущему водохранилищу, а в ближайшие недели получит полную самостоятельность, он приехал в связи с одним своим предложением, если оно пройдет, его назначат...

— Сперва пусть назначат, а потом и хвастайтесь! — каркающим голосом прервал Алымов.

Игорь насмешливо улыбнулся и поднял рюмку:

— Простите, я делюсь надеждами со старыми друзьями, а не с вами. За встречу, друзья!

И он залпом выпил.

— Желаю вам удачи! — сказала Катерина и тоже выпила. И поглядела на Алымова — перестань, ну что ты злишься?

Приход Катениных на время рассеял назревавшую ссору. Люда сразу затараторила с непринужденностью хорошенькой женщины, уверенной, что новое платье ей к лицу, а любая ее болтовня — мила. Пока новых гостей усаживали и наделяли штрафными рюмками, Катерина подошла к Алымову, желая успокоить его. Никто не слышал ее тихих слов, зато все услышали грубый окрик Алымова:

— Последи за собой, а меня воспитывать хватит! Надоело!

Палька рванулся из-за стола, но Саша властно удержал его — не вмешивайся, не заводи скандала.

В наступившей тишине раздался голосок Люды:

— Константин Павлович, идите сюда, мы с вами так давно не виделись!

Она усадила Алымова рядом с собой; будто не замечая его мрачного лица и дергающихся губ, щебетала и улыбалась ему, как лучшему другу.

Катерина постояла в стороне от всех, медленно подошла к столу, собрала пустые бутылки, принесла из ванной непочатые.

Два человека следили за нею — ее брат и Игорь. Держится превосходно, но глаза померкли. Ни разу не поглядела на Алымова, но чувствуется — видит каждое его движение, слышит каждое слово. Любит?..

Расплескивая водку, Палька налил себе и ей:

— Выпьем, сестренка?

— А вот теперь уж пить ни к чему,— с трезвой усмешкой сказала Катерина и села, уткнув подбородок в стиснутые кулаки.

Люда царила за столом, кокетничая напропалую со всеми мужчинами одновременно. Катерина видела, что и Алымов оживился, а у Липатушки помасленели глазки — этот готов! Она видела, что Люда и хороша, и одета с таким столичным изяществом, какого не знала Катерина, и умеет быть веселой, занятной в компании, чего Катерина никогда не умела. А Игорь посматривает то на Люду, то на нее, на Катерину,— сравнивает?

Игорь невольно сравнивал. Люда ему не понравилась, но рядом с Людой Катерина казалась тяжелой, провинциальной. И подумать только, что он так наивно поверил ее решимости быть «как камень», мучился, вытравливал ее из памяти и все-таки помнил ее как лучшую из женщин!.. А она — как все... Что ее толкнуло замуж за этого грубияна? В столицу захотелось? А приехала — и потускнела. Старого мужа да еще караулить приходится! Нет больше шахтерской мадонны. Жаль...

Но только он подумал это, Катерина встала и негромко сказала брату:

— Не могу так долго за столом сидеть, привычки нет. У нас в Донбассе уже вторые сны видят.

С достоинством отвесила прощальный поклон и вышла из комнаты — не вышла, выплыла неторопливой поступью. Мадонна...

Алымов проводил ее испуганным взглядом и, не докончив разговора с Людой, опрокинув стул, побежал за Катериной.

— Вот оно как! — с удовольствием отметил Палька и хватил рюмку водки.

— Так! Так! — злобно выдохнул захмелевший Рачко. — А вот зачем ты допустил!.. Зачем ты ее отдал этому!.. Этому!..

Палька махнул рукой и хотел налить себе еще, но Саша отнял у него бутылку. Люба, страдая, смотрела на Сашу — и для чего только пришли сюда? Одни неприятности...

Неприятностей не замечал, а может не хотел замечать Липатов. Он громко требовал — петь! петь! Игорь поддержал его и попытался вспомнить песню, которую полюбил в Донецке.

— Любушка, ты же знаешь ее, запевай,— сказал Саша.

Люба запела. За ее чистым голосом было легко следовать. Когда голоса окрепли и пошли в лад, Саша наклонился к самому уху Рачко:

— Григорий Тарасович, выйди за мной в коридор.

Люде вздумалось танцевать. Не было музыки. Александров предложил танцевать под пение. Попробовали, но толку не вышло. Вспомнили, что Липатов купил радиоприемник, тут же распаковали его, Александров и Палька наладили подобие антенны и заполнили комнату воем, свистом и грохотом своего путешествия в эфире,— как всегда у радиолюбителей, музыка, что ловилась, их не устраивала, а музыки, которой им хотелось, не было; но тем упорнее и самоотверженней они искали, не щадя своих и чужих ушей.

Катенин сидел вместе со всеми, но один. Чувствовал себя старым и никому не нужным. Зачем он здесь? Победители веселятся, победители и их друзья. А он кто? Их победа — его поражение. Он выступил на совещании с дружеским признанием «удачи на первом этапе, позволяющей надеяться...». Иначе он не мог, было бы неблагородно, мелко. Да и нет у него отступления теперь! Вернуться на старую должность? Его место уже занято. А как показаться сослуживцам, знакомым? — неудачник после провала! Но и здесь он — чужой. Мордвинов сегодня предложил перейти его заместителем в НИИ. Обещал выхлопотать квартиру. Ставка неплохая, больше прежней, харьковской. Жить в Москве... Люда мечтает — папа, я буду приезжать к тебе! И Катя сказала — в Москве так интересно! Но этот парень даже не моргнул, предлагая место своего заместителя. Сколько ему — двадцать пять? Двадцать восемь? Старому, опытному инженеру... «От щедрот своих» решил пристроить неудачника!..

— Людмила, я пойду спать. А ты?

— Что ты, папка, так раио!

Закрывая за собой дверь, он с обидой понял, что никто ие замечает его ухода.

В середиие длииного коридора, там, где ои расширялся, образуя маленькую гостиную, в двух глубоких креслах сндели Рачко н Мордвииов. Рачко навалился грудью иа разделявший нх столнк н что-то говорил с иажимом, с эиергнчиой жестикуляцией. Саша слушал, прнкуснв губу, н встретнл Катеннна такнм мрачиым взглядом, что Катеиин заспешил прочь.

Люба заскучала без своего Сашеньки и вышла поискать его. Саша встретил ее тем же мрачиым взглядом, обращениым сквозь иее в пространство,— смотрит в упор и не замечает.

Она медлеиио побрела обратно.

— И почему у вас всех возиикает что-ннбудь ужасио серьезное даже в часы, когда решнли повеселиться? — со вздохом спроснла она и подсела к Игорю.— Все — одержимые. Вы — тоже?

— Да.— Он прндвииулся к ией н потребовал: — Расскажнте, зачем оиа вышла замуж. И что это за тип.

Палька и Жеия Труиин подошли к окиу покурнть и задериулн за собой тяжелую штору — стало прохладней, тнше, и как-то сразу выветрнлось опьянеиие.

С высоты десятого этажа им открылась вытянутая в длииу площадь: по площади между белыми пуиктирами пешеходных троп в разиых иаправлеииях спешилн люди, очень забавиые в иеобычиом ракурсе — укороченные, будто сплюсиутые. Прямо иапротнв окна горела большая красиая буква «М» — вход в метро, а вправо от нее, за витиеватыми башеикамн Исторического музея, в темиом иебе алела пятикоиечиая звезда — одиа из пятн недавно установлеииых кремлевских звезд. Эта звезда так соразмерно венчала Спасскую башню, что ие казалась ии большой, ии тяжелой, ио н Палька н Жеия Труиии зиали, что весит оиа около тоины, что между ее остриями три метра семьдесят пять саитиметров и что это была сложная задача — иайти форму стекла, рассчитать прочиость, систему освещеиия, смены ламп, охлаждения... Оии с полиым зианием дела поговорили об этом, гордясь хорошей работой незиакомых инженеров н любуясь

тем, как светло и торжественно сияет звезда в московском небе.

Слева от станции метро, под старинной церквушкой и домами с узкими окошками, каких уже давным-давно не строят, тянулась старая кирпично-красная стена. Между ее тяжелыми зубцами в незапамятные времена, наверно, помещались воины с пищалями. Ни Палька, ни коренной москвич Трунин не знали, как называется стена, и очень смутно представляли себе, что такое пищали, с кем и когда воевали тут их далекие предки...

Стена упиралась в гостиницу «Метрополь», возле «Метрополя» дежурили роскошные лимузины «Интуриста», а под стеной была установлена бензиновая колонка, вокруг нее кружились, подъезжая и отъезжая, разномастные автомобили. Три электрифицированные надписи то вспыхивали, то гасли высоко над площадью, призывая хранить деньги в сберкассе, пользоваться самолетами Аэрофлота и лучшим видом городского транспорта — такси.

— Целая программа жизни! — сказал Трунин, щелчком отправляя за окно окурок и следя, как он летит красным огоньком.— Послушаюсь и стану чертовски благоустроенным: с получки — прямо в сберкассу, на работу — в такси, в отпуск — самолетом.

— Много ты тогда накопишь в сберкассе!

— Я бы тут запалил совсем другие надписи: «Помни, что жизнь прекрасна!», «Влюбленные, берегите свою любовь!»

— А я бы завернул такую: «Жизнь коротка, не теряй ни минуты зря!»

— Жизнь длинная,— задумчиво сказал Трунин и сел с ногами на подоконник, подтянув колени руками, чтоб не задеть Пальку.— Если не будет войны, жить нам еще долго.

— Если учесть все, что хочется сделать?!

— А ты знаешь все, что тебе хочется сделать?

— Конечно!

— Что же?

Палька ответил, ни на минуту не задумавшись:

— Распространить подземную газификацию на все угольные месторождения. Получить хороший технологический газ, годный для замены кокса в металлур-

гии,— без этого нельзя целиком покончить с подземным трудом.

— А замена кокса в металлургии — возможна? — усомнился Трунин.

— Почему же нет? Ведь не сам кокс восстанавливает железные руды, а CO и H_2, так? Окись углерода и водород извлекаются из кокса, превращаемого в газ. Эти компоненты газа забирают кислород из руды, освобождая железо. Так почему бы не подавать в домны готовый газ нужного состава? Мы на днях начнем опыты получения технологического газа.

— Счастливый ты человек!

— Ага! Но почему ты подумал об этом?

— Я вот не знаю, чего хочу — на всю-то жизнь! И очень боюсь ошибиться.

Помолчав, Трунин проронил еле слышно:

— Я сегодня поругался со стариком... ну, с Русаковским.

Сердце Пальки замерло на миг — так оно отзывалось на эту фамилию.

— Из-за чего? — спросил Палька, удерживая другой вопрос.

— Да все из-за того — что делать. Чтоб не ошибиться.

Трунин не объяснил подробнее, задумался. Отсветы реклам пробегали по его пухлому лицу. Палька не удержал вопроса:

— Как они... как Татьяна Николаевна?

— Превосходно,— равнодушно ответил Трунин.

— Мальчишники бывают по-прежнему?

— Мальчишники? — рассеянно переспросил Трунин.— А, мальчишники! Те — иногда. А наши... Понимаешь, мы ведь все-таки склонили старика на свою сторону. ОРАТ — помнишь? Олег Русаковский, Александров, Трунин. Старик долго сопротивлялся. Не хотел ввязываться в промышленность, в практические дела. Есть у него этакая олимпийская недоступность! Ну, втянули. Даже не мы. Сама обстановка — пятилетки, оборона страны, Гитлер. Что такое алюминий для авиации, да и не только для авиации, понятно. А наш метод — огромное увеличение и ускорение производства алюминия. Он это понял. И до чего же мы

славно работали! Каждый вечер, вчетвером, иногда до ночи...

— Вчетвером?

— Да, с Татьяной Николаевной. Мы ее прозвали богиней вдохновения — не без подхалимства, конечно. Она здорово помогала. Чертежник, регистратор, библиограф. И ночью также ужины закатывала!

— Что же, заинтересовалась алюминием? — натужным голосом спросил Палька.

— Да нет! Когда мы закончили, она сказала: придумайте еще что-нибудь, Иленок, что вам стоит!

— С алюминием — Илька придумал?

— Он. Такая уж у него голова. Русаковский говорит: чудесный сплав сосредоточенности и непостоянства. Хорошо сказано?

За тяжелой шторой нашли наконец танцевальную музыку, зашаркали подошвами. Ночной холод приник к щекам, сочился за воротники рубашек.

— Ты мне скажи, Павел. Вот ты — был аспирантом. Наука, теория и все такое. Не жалеешь ты, что ушел от всего этого в свою газификацию?

— Это ж мое! Как я могу жалеть! И потом — тут и наука, и техника, и все вместе.

Лицо Трунина было до странности серьезно.

— Зовут меня на внедрение нашего проекта. Главным инженером. Полгода продвигали свою идею, дрались, теперь — осуществлять! Это ж такое дело! А старику кажется — измена науке, разбрасываетесь, нет настоящей целеустремленности...

— А тебе хочется пойти?

— Очень.

— Что ж ты, не можешь уйти без его согласия?

Трунин покачал головой и надолго умолк. За шторой кончили танцевать, Липатов и Игорь что-то напевали — нестройно, хрипло. У самой шторы зазвучали два голоса, мужской и женский. Женский принадлежал дочке Катенина, в мужском Палька с удивлением узнал Алымова. Значит, Алымов вернулся?

— Мне так хотелось увидеть! — сказала Люда.

— Представьте себе — ночь. Южная черная ночь — и в темноте сверкающий голубой факел! Все голубое, как при луне. Только лучше, потому что сделано человеком! Вы понимаете?

Так говорил Алымов, и Палька слушал его возбужденный рассказ, как собственный, только более связный и поэтичный, у самого Пальки так не получилось бы. За эти слова, за это волнение он разом простил Алымову все прошлые и будущие грехи.

— В университете я учился средне, — заговорил Трунин, — чуть не бросил, хотел ехать в Арктику. А потом — Русаковский. Учитель с большой буквы. Я ему обязан всем, что во мне есть. И обидеть его... Однако холодно. Выпить, что ли?

Палька придержал Трунина за локоть. Ему было страшно важно понять:

— Значит, Русаковский — действительно большой человек?

Трунин удивленно вскинул брови, отчего лицо его стало еще более круглым. Ответил не он, а Илька Александров, проскользнувший к ним под штору.

— А кто сомневается? Только он у нас Рыцарь Железная Рука. — И без перехода спросил: — Что такое камча?

Ни Палька, ни Женя Трунин не знали, что такое камча. Технический термин какой-нибудь?

— Узколобые ученые крысы — вот вы кто! Послушайте!

Давайте бросим пеший быт,
Пусть быт копытами звенит,
И, как на утре наших дней,
Давайте сядем на коней.

— Та-та-та-та-та та та-та-ми... Тут забыл... и —

Проверив, крепки ль стремена,
Взмахнем камчой над конским глазом —
В полет скакун сорвется разом.
И ну чесать то вверх, то вниз...

— Так это термин конных кочевников, какая разница, — сказал Трунин, зевая. — Ты собираешься заняться конным спортом? Записался в манеж?

— Жалкий, приземленный толстяк! Ты не способен понять ничего, что не химия и не техника. Я читаю для Павла, понял?

В камнях, над гривой не дыша,
Прошепчешь: «Ну, прощай, душа!»
И — нет камней, лишь плеск в ушах,
Как птичьи плески в камышах.
А ты забыл, что хмур и сед

И что тебе не двадцать лет,
Что ты писал когда-то книги,
Что были годы, как вериги,
Заботы, женщины, дела,—
Ты помнишь только удила,
Коня намыленного бок,
И комья глины из-под ног,
И снежных высей бахрому
Навстречу лету твоему.

— Это не Багрицкий,— убежденно сказал Трунин.— Кто твой новый бог?

— Тихонов, — ответил Александров и перевесился через подоконник. — Смотрите, ребята, топает лысый без шляпы. В университете, когда шел дождь, мы вспоминали сорок лысых. Всех профессоров переберем — но почему-то натягивали только тридцать девять. И дождь не переставал.

Палька усмехнулся, досадуя про себя. Рядом с этим парнем, похожим то на фабзайчонка, то на мыслителя, он всегда чувствовал себя причастным к новому для него, высокоинтеллектуальному миру и ждал откровений — будь то научные догадки или, как на этот раз, стихи. То, что прочел Александров, взволновало его. Собственная жизнь обрела образ, отлетали в прошлое «заботы, женщины, дела» — оставалось захватывающее чувство движения... И вдруг — сорок лысин! Как он может?

— А что, ребята, если мы вовсе не на главном направлении? — вдруг сказал Александров, откидывая волосы со лба.— Алюминий, газификация угля или нефти... А может быть, наш век будет веком совсем новых металлов и сплавов? Веком энергии расщепленного атома?

— Чего, чего?

— Какой еще энергии?..

— Расщепленного атома. Теоретически это возможно. И вот я думаю — вдруг все, над чем мы бьемся, — детство совсем новой эры?

— Ну тебя к черту! — проворчал Трунин.— Новая эра не приходит сама, она рождается из того, что сделано. Без химии никуда не скакнешь даже на твоем скакуне, который с камчой. Ты сам-то знаешь, что такое камча?

— Думал поглядеть в словарь — да бог с ним!

Мне нравится это слово. К-а-м-ч-а. Мы не знаем кучи чудесных вещей.

Палька уже не слушал. Голова его окончательно протрезвела. Может ли быть, что какой-то стремительный рывок науки откроет новую энергию, которая сбросит со счетов человечества энергию, рождаемую углем и газом?

— Ничего подобного! — с горячностью заявил он.— Уголь не будут сжигать в топках, это уж точно, это — вчерашний день. Но только потому, что мы извлечем его в виде газа. А без производных угля ты в химии не обойдешься, какие ни делай сплавы.

— Павел — самый счастливый парень из всех, какие мне попадались, — сказал Трунин.— Это и Татьяна Николаевна говорила нам, помнишь, Илька?

— Что говорила?

Удивительно, от этого имени до сих пор бросало в жар.

Ответил Александров:

— Говорила, что ты счастливый, потому что веришь, мечтаешь и осуществляешь.

Трунин соскочил с подоконника.

— Как вспомню, что вдрызг поругался с ним!..

Он раздвинул штору.

— Дождались! Одни пустые бутылки!

Перебрав бутылки, он нашел на дне одной из них немного вина. Палька разлил поровну, с отвращением выпил. Она все поняла. И сказала, что он счастливый. Это хорошо, что она не воображает, будто он ходит несчастным...

Ему стало грустно и захотелось остаться одному, лечь и немедленно уснуть, уснуть, пока не полезли в голову ненужные мысли. Липатушка привалился к углу дивана и похрапывает. Алымов продолжает обольщать красотку пылкими речами. Спит Катерина — или ждет его? А Саши нет. И Рачко смылся. И вообще пора разбегаться кто куда... Неужели может быть, что наука, открыв какую-то новую энергию, просто перечеркнет уголь и нефть как не нужные? И человечество оставит несметные богатства лежать в недрах без движения? Нет, вздор, вздор, вздор! Чем дальше идет прогресс, тем стремительней растет потребность в энергии. Будут расти скорости, темпе-

ратуры, а это все — топливо, энергия. Богатства недр будут использоваться все полнее и целесообразней. Газификация — одна из этих целесообразных форм. И я счастливый. Да! Верю, мечтаю и осуществляю. Скажи пожалуйста, какая догадливая!..

Дверь распахнулась от толчка, грохнув ручкой об стену.

На пороге остановился Саша. Бледный до синевы.

— Сашенька, ты что? Тебе нехорошо?

Саша отстранил Любу и пошел к Пальке, по пути обойдя Алымова так, как обходят колючую проволоку.

— Уже поздно! — громко сказал он, досадуя, что здесь столько посторонних, ненужных ему людей. — Палька, ты...

Он не докончил. Палька стоял перед ним взъерошенный, галстук набоку, улыбка пьяненькая. Сказать ему — такому? Отложить на завтра? Саша представил себе, как он завтра расскажет, и Палька разъярится, и что из этого может выйти — для него самого, для дела, для Катерины, для всех...

— ...ты не забыл, что нам с утра в наркомат? — после паузы докончил Саша и повернулся к гостям.— По домам, товарищи, по домам. Пора и честь знать!

Это было невежливо. Гости потянулись к вешалке. Люда кокетничала в дверях, не торопясь уходить. Алымов ждал ее за дверью.

— Мы вас проводим, Людмила Всеволодовна,— заявил Палька, делая вид, что не замечает Алымова.— Игорь, пойдем, сдадим дочку папе.

— Чудесно! До свидания, Константин Павлович!— со смехом сказала Люда и взяла под ручку своих провожатых.

Алымов глядел им вслед, прикуривая одну папиросу от другой.

Александров и Трунин одевались, с удивлением поглядывая на Сашу Мордвинова. Что это с ним? И Люба остолбенела — никогда еще не был Саша вот таким: споткнулся о стул, поддал ногой бутылку, опрокинул рюмку. Неверными шагами пошел к двери, заплетающимся голосом позвал:

— Кон... Константин... Павлович... на минутку!

И когда Алымов шагнул через порог, пьяно выкрикнул:

— Обижать Катериину!.. Не позволю!

И с размаху ударил Алымова по щеке.

Лицо Алымова задергалось, как в припадке. Ои подиял побелевшие от иапряжеиия кулаки. Но кулаки опустились, ие ударив.

— Не обижал... и ие могу... обидеть, — еле слышио произиес Алымов и почти побежал по коридору — к Катериие.

— Что же это, Сашеиька! — повисиув на руке мужа, бормотала Люба. — Ои ведь ничего плохого... Разве ж так можно!

Труиин вбивал иоги в галоши, ии иа кого не глядя, ему было противио — подрались, как в кабаке. Но Илька Александров как ни в чем не бывало подошел к Саше, понятливо заглянул в глаза и спросил с искренией заиитересованностью:

— Что, действительно стоило дать ему?

И встретил ясиый, совершеино трезвый взгляд и доверительный ответ:

— Просто иеобходимо было!

Когда Саша вызвал Григория Тарасовича в коридор, тот был настолько хмелеи, что Саша заколебался — стоит ли сейчас подиимать разговор. Но ждать он уже ие мог.

— Выкладывайте иапрямки — что вы имеете против Алымова?

Рачко отшатнулся.

— Э, иет! О ком другом — об этом ие буду.

Оии помолчали. Саша иаблюдал, как Григорий Тарасович быстро трезвеет. Вот блесиули глаза. Вот в раздумье сошлись к переиосице брови. Торопить его ие нужио.

— Верю я тебе, Саша,— после раздумья сказал Григорий Тарасович и вдруг с силой дериул себя за растрепаииые, проиизаииые седииой волосы. — Трус я! Жизиь прожил как надо, фронты прошел — ие трусил, а теперь...

Ои долго молчал, потом спросил:

— Зиаешь, зачем ои тогда к вам иа партактив помчался? Думаешь, отстаивать Светова? Спасать вас от разгрома?

— Но он именно это и сделал.

— Знаю. Но ехал он — топить вас. Да, да! Топить! Из партии исключать, капитал на этом наживать!

— Но тогда зачем же...

— А он человек бешеный, импульсивный. Ясной цели у него нет, если не считать одной, которая от честолюбия, от желания во что бы то ни стало добиться успеха, славы, власти. Ставил он ставку на Катенина — не вышло. Перекинулся на Вадецкого — Колокольникова, думал — эти вытянут! А вы ему были как бельмо в глазу. Помчался он на расправу с вами, перед отъездом ко мне заскочил: вот, мол, твои подшефные каковы, с троцкистами путаются, Светов уже разоблачен, другим тоже не долго осталось! А в Донецке понюхал-понюхал — нет, что-то не то. Есть у вас такой дядька, Чубак фамилия?

Саша кивнул.

— К нему забежал, проинформировался. Получилось — вроде и не потопят, и в успех верят. А на собрании сидел, слушал... Ну вот как хочешь — нюхом своим собачьим учуял, что к вам примазаться — стоит! А уж раз ставка поставлена — ну, тут он землю роет! Темперамент, демагогия, напористость — этого у него не отнимешь.

Саша взвесил мысленно: ладно, честолюбив, о карьере своей заботится,— но дело-то он делает!

— А пусть его мечтает о славе, — добродушно сказал он. — Мы тоже от славы не откажемся, а поделиться можем.

— Да, да, конечно, — забормотал Рачко, то ли снова пьянея, то ли притворяясь пьяным; именно в эту минуту, наблюдая Григория Тарасовича, Саша впервые подумал, что бывает выгодно показаться пьяным. Рачко не высказал главного. Боится?

— Григорий Тарасович! Или вы мне доверяете, или кончим разговор.

— Какой скорый! Если хочешь знать, я тебе сперва тоже не доверял. Вот когда ты сюда начальством приехал.

— Почему?

— Посчитал, что ты разменный козырь в руках Алымова.

— Не понимаю.

— А ты многого не понимаешь. Думал ты, отчего... со Стадником такое случилось? — Рачко понизил голос до шепота: — Стадник понимал Алымова — ну, насквозь, как рентгеном просвечивал. И Алымов это знал. Пока Стадник над ним сидел, Алымову ходу не было. А есть такой способ — доносы, намеки, убийственная реплика в подходящий момент... и еще доносик, и еще. Ну — вся гамма подлости! Понимаешь, Саша, вся! И нет Стадника.

Глотнув воздуха, Рачко продолжал еще тише:

— По роду службы имею соприкосновение со всякой перепиской. Так вот, кое-что видел сам. Этими глазами читал, этими руками держал. И на Стадника, и на Олесова, и на Бурмина... Но с Бурминым ему не удалось, у Бурмина заручка большая и характер не тот. Бурмин сам придавить может. Алымов с Бурминым — коса на камень. Бурмин, видимо, знает, что Алымов на него капал, да только разделаться с ним не может...

— Почему?

— Если Алымова тронуть — он такое развернет со своим бешеным темпераментом, что и заручка не поможет. Знаешь, один донос — могут не поверить, а сто доносов в разные места...

В эту минуту мимо них прошел Катенин. Саша видел его как сквозь туман, — он ослеп от гнева и отвращения.

— Тоже — бывший разменный козырь! — усмехнулся Рачко.— Прикрываясь Катениным, Алымов пер прямо в директора. Случись у Катенина удача — как по маслу прошел бы. Если б не Бурмин, он давно свалил бы Олесова. Когда тебя назначили, Олесов так и понял: Алымов подтягивает своих.

— А я все думал — почему Олесов так сухо встретил.

— Олесов — мужик превосходный, да слаб стал. Возраст, ранения, сердце. И — дружба со Стадником... О ней знают. Уже тягали его, и так при случае кольнут... Вот и скис.

Теперь в коридоре мелькнула Люба. Она уже скрылась, когда Саша осознал, что только что видел ее, и тепло надежного, своего счастья на минуту согрело его — сейчас это счастье расширилось необы-

чайно, оно включало не только любовь, но и верных друзей, и здоровую чистоту среды, взрастившей их, и весь большой, желанный мир, в котором существовали творчество, труд, общие цели и мечты, бескорыстие, честность и честь — и не могли существовать Алымовы.

— А Катерина!..

— Похоже, женщина она замечательная?

— Как змея вполз!

— А между прочим — любит он ее.

— К черту такую любовь! Задушить его хочется! Или дать в морду хотя бы!

— А потом что?

— А потом скажу — так и так. Чтоб все знали.

Григорий Тарасович поник в кресле. Глаза прикрыты, дышит тяжело. Хмель скрутил? Или — тоска?

— Вот я сказал себе — трусом стал, — проговорил он, не открывая глаз.— Неправда! Не трус я и не размазня. Сто раз казнился, сто раз решался... Да что сделаешь-то?! Вот я читал эти его... документы. «Считаю своим партийным долгом сигнализировать о том, что...» Ночью вскочу — душит! Пойти, крикнуть людям — берегитесь, клеветник! А как идти?.. Стадник-то — в тюрьме! Выслушают меня, скажут: позвольте, какая ж это клевета? Разоблачил врага народа! Выполнял долг!.. Вот и молчу, здороваюсь с ним за руку, если не удается избежать рукопожатия, за одним столом сижу... У-у-у!

— Не могу я так. Не буду!

Рачко открыл глаза — печальные, ласковые, умные:

— Держаться надо, Саша. Не давать сволочи избивать нас поодиночке.

Кто же дело-то поведет? Алымовы? Колокольниковы? Это ж — наросты. Поганые грибы. А есть народ, есть большевики — не для карьеры своей большевики, а для коммунизма на земле. Держаться! И знамя свое... Знаешь, нес я как-то знамя. Не в бою, просто на демонстрации седьмого ноября. Вручили мне, обещали смену — и забыли. Холодище, а я без перчаток. Ветер как-то сбоку бьет, ну — валит с ног и знамя валит. А я несу. Мыслишка вертится — свернуть бы знамя, чтоб не парусило. А вот — не могу, что ты скажешь, не могу свернуть его! Не кусок

бархата на древке — знамя!.. Так кто же его понесет, Саша, кроме честных большевиков? Кто?

— Это я понимаю. Но ведь под этим знаменем не имеет права болтаться... накипь. И должны стоять такие люди, как Стадник, как Чубаков. Вот вы спросили — есть ли у нас такой Чубак. А он... был! Нету! Почему?!

— Не знаю, Саша.

— Вот тридцать седьмой год... Враги — это понятно. Классовая борьба, засылка шпионов, подготовка к войне,— да, конечно, фашизм наступает и готовится к войне. Его агентуру надо выловить. Понимаю. Но вот — свои? Те, кого — зря?

— Знаешь, Александр Васильевич, тут или с ума сойти, или — не ломать голову над тем, что ты не знать, не решить не можешь.

Рачко встал, крепко сжал Сашины руки.

— Я пойду. А ты, Саша... Ну-ка, постой на месте и сосчитай до двухсот. Почувствуешь, что мало, — до трехсот. А потом иди и не делай глупостей.

В тот самый вечер, когда Саша, притворившись пьяным, дал пощечину Алымову, в пересыльной тюрьме по пути на север встретились Стадник и Чубаков.

На маленьком, будто сжавшемся в комок лице Стадника еще пронзительней сияли глаза-фары. На минуту эти глаза заволокло слезами — но только на минуту. Обняв давнего друга и выученика, Стадник сказал прежним, напористым голосом:

— Лучшие люди встречаются на одном маршруте!

И обшарил Чубака зорким взглядом. Все тот же! Только залегли по краям губ резкие морщины да на ежике остриженных волос поблескивают сединки. Но широкие плечи развернуты, как всегда, держится прямо, губы по-прежнему улыбчивы.

— С кем ты тут? Знакомцы есть?

— Как не быть, — усмехнулся Чубак.— Помнишь Гаевого? Бюрократ такой из облисполкома, враждовал я с ним из-за смет... Так вот Гаевой. И Суровцев с нами, ты должен знать его — старый чекист. Такой длинный. И еще Мятлев, крестничек мой, директор химзавода, которого мы вечно прорабатывали за самостийность. Как видишь, общество что надо! А с тобой!

— Со мной Зыбин из нашего наркомата. Знаешь? Недавно попал, прямо с вокзала, из-за границы возвращался. До сих пор не опомнился. Первое время все охал, что у него путевка в Кисловодск, — понимаешь, путевка с первого октября пропадает! А парень славный. Еще Василь Васильич, был у нас консультантом, ученый-экономист. А так — всякого народу много, и всё люди.

— Тебе сколько припаяли?

— Десять. А тебе?

— Десять. Лет.

Чубаков как бы точкой отделил одно слово от другого. Взгляды встретились и подтвердили — лет. И лета представились обоим во всей их протяженности — триста шестьдесят пять умножить на десять плюс три високосных — итого три тысячи шестьсот пятьдесят три дня.

Стадник прикинул эти десять к своим годам — мне будет пятьдесят четыре... если выживу.

Чубаков тоже прикинул — мне будет сорок два. Без «если». Он верил, что все перенесет и — вернется. Да не через десять лет — раньше. Но и один год, даже один месяц казались ему чудовищной растратой жизненной энергии. С этим нельзя освоиться. С этим не надо смиряться!

Ночью, когда тюрьма затихла и только храп нарушал тишину, они кое-как собрались вместе — на тесных нарах, голова к голове, — семь знакомцев, семь товарищей по беде, семь коммунистов.

Подтянутый, даже здесь сохраняющий осанку и аккуратность, экономист Василь Васильич криво усмехнулся:

— Совещание партийного актива.

— Да! — воскликнул Чубак и, снизив голос, подтвердил: — Да! Если хотите, именно этого нам не хватает!

— Ох, перестань! — взмолился Гаевой.

— Видали? — насмешливо вздохнул Чубак. — Ну словно приговорили меня к нему — там житья не давал, и здесь — нá тебе, Гаевой!

С тех пор как они встретились на этапе, два давних недруга, — оба почувствовали, что все их разногласия и споры — только штрихи бесконечно милой жизни,

и отрадно, что можно повспоминать о них, а иногда заспорить вновь: своевременно или еще не по карману освещать улицы всю ночь, как будто и теперь это зависело от них. Они прибились друг к другу, как два земляка, и полюбили друг друга — Чубак подозревал, что он и раньше любил Гаевого, хотя считал, что терпеть его не может: Гаевой был для него той противоположностью, которая помогает отшлифовывать собственный характер. В их прежней жизни Гаевой был сановит, неповоротлив, с раздражением оборонялся от делового темперамента Чубака и был до крайности скуп, — к его чести, скуп в трате государственных денег, а личные щедро расходовал на обильную пищу и прочие блага. Теперь его солидное брюшко обвисло, вместо трех розовых подбородков под неряшливой щетиной морщилась дряблая кожа. Поначалу он совершенно пал духом. Чубак встряхнул его и уже не отпускал.

— Ну что ты, дурной? — сказал он и силой поднял голову товарища. — Нас во враги записали, но мы-то какие были, такие и есть! Или не так?

Никто не ответил. В полумраке белели лица, слышалось взволнованное дыхание. Лишенные всего, что им было дорого и привычно, в тягостных, унизительных условиях, в которых так легко потерять человеческий облик и человеческое сознание, эти люди ощутили себя по-прежнему коммунистами, членами великой организации, связанными даже здесь той же ответственностью, теми же законами самоконтроля и дисциплины. Казалось бы, нелепо, дико до смешного... Но никому из семи это уже не казалось нелепым и смешным, хотя и диковатым, — но ведь и все, что с ними произошло, было дико!

— Расскажи-ка, Виктор, что на свете делается, — попросил Стадник.

Зыбину все еще казалось, что происшедшее с ним — дурной сон, вот-вот развеется. Опытный пропагандист, он сам делал доклады о ликвидации вражеской агентуры и притаившихся двурушников, сам не раз ахал, какие видные люди разоблачены, — и, пожалуй, только в двух-трех случаях, когда речь шла о хорошо знакомых, сомневался: да враги ли они, может — ошибка? В первое время он шарахался от других заклю-

ченных, не желая смешиваться со всякой дрянью. Потом он встретился с Василь Васильичем, потом со Стадником... Теперь он был сбит с толку, измучен недоуменными мыслями, растерян.

— Рассказать — о чем? — вяло откликнулся он.

— Да обо всем! — воскликнул Чубак. — Что в стране делается. Чем люди живы. С пятилеткой как? В Москве что?

Зыбин несколько минут молчал, вглядываясь в лица товарищей. Да так ли? Действительно ли они хотят именно такого рассказа?.. О том, как началась третья пятилетка, и о том, как выглядят рубиновые звезды, установленные на башнях Кремля, и как Щукин у вахтанговцев великолепно сыграл Ленина в «Человеке с ружьем», и что по последним подсчетам четыре пятых всей промышленной продукции страны дают заводы и фабрики, построенные за годы двух пятилеток, а на полях работает около пятисот тысяч тракторов?..

Он начал неуверенно, боясь, что кто-нибудь из слушателей, хотя бы Гаевой, со стоном воскликнет: «Да нам-то теперь что за радость!» Но именно Гаевой вдруг оживился:

— Да ну? На всех башнях? И что же, большие эти звезды? Видны издалека? И как они освещаются — изнутри?

Постепенно Зыбин увлекся, и его горячий шепот слушали жадно, и задавали все новые и новые вопросы. Мрачная камера перестала существовать, семь советских людей, семь коммунистов жили трудами и думами Родины.

— Пятьсот тысяч тракторов...— мечтательно повторил Суровцев.— А ведь я слушал Ленина, когда он говорил о ста тысячах тракторов как о мечте, пока недостижимой!.. Как далеко мы ушли!.. Ну а с колхозами как?

Бывший комиссар, а затем чекист из соратников Дзержинского, он был арестован раньше других — и теперь поторапливал Зыбина, задавал уточняющие вопросы и сердился, если Зыбин не умел ответить. Можно было уловить, что он со страстью проверяет, прощупывает — все ли там, на воле, в порядке, а если что-то не ладится — те ли меры принимаются, какие

нужны. Мятлев, сатанея от досады и гнева, бессознательно искал подтверждений, что без них все стало трудней. А Суровцев, похоже, даже удовлетворение испытывал оттого, что жизнь страны и без них не остановилась, идет на подъем.

Японская провокация на Дальнем Востоке, в районе озера Хасан, взбудоражила его.

— Чувствуете, товарищи? Разведка боем! К войне это. Ну а в Европе что? Гитлер, Муссолини что?

Зыбин пробыл две недели в Париже. Как там?

— Марианна прикрыла глаза, чтоб не видеть страшного. Ни фашизма, ни надвигающейся войны, ни позора «невмешательства». Кажется, так и живут с закрытыми глазами.

Суровцева не устраивали общие оценки, он хотел фактов. Это правда, что Чемберлен и Даладье ездили в Мюнхен на свидание с Гитлером и Муссолини? А что французские коммунисты? Народный фронт? А как дела в Испании?

— Разгромили республиканцев...

Долго подавленно молчали. Каждый из них — и все вместе, советский народ — много месяцев жили тревогами, надеждами и страданиями героического народа Испании. Победы республиканцев были их победами, поражения — их поражениями и болью.

Чубак вспомнил, как осаждали горком юноши и девушки, мечтавшие сражаться за свободу Испании, как восхищались пламенной Долорес Ибаррури, как пели испанские песни...

— Теперь фашизм ринется дальше, — жестко определил Суровцев. — Ну а в Германии не были?

Как ни странно, Зыбин растроганно улыбнулся.

— Шли мы обратно Кильским каналом. Идем под советским флагом, с берегов на нас глаза пялят. И вот проходим мимо судна какого-то немецкого. Матросы смотрят. И вдруг один люк приоткрывается и оттуда выглядывает такой чумазый парень, кочегар, наверно, — оглянулся и быстро вскинул кулак над головой — «Рот фронт!» И сразу захлопнул люк...

Улыбка сбежала с лица Зыбина:

— А уж их фашистские молодчики!.. Стоят — молодые, наглые. Дать бы им волю, они бы наш крас-

ный флаг в клочья изорвали, по мордам видно. Пусти таких молодчиков действовать — натворят дел!..

— А они готовятся...

— Я однажды поймал речь Гитлера,— заговорил Мятлев,— по-немецки я немного кумекаю, кое-что понял. Кликушество, конечно, но, между прочим,— опасное, зажигательное. Для самых низменных чувств. Он орет, а слушатели его так вопят и топают, аж радио дребезжит! Ну, послушал я, выключил с отвращением и сел работать. Доклад на хозактиве готовил. Конечно, взялся за Сталина — речь перед хозяйственниками, «Шесть условий». И так я его оценил! Спокойно, продуманно...

Мятлев говорил — и вдруг недоуменно смолк. И шесть человек, дышавших рядом с ним так напряженно, что он чувствовал на лице их дыхание,— подумали об одном и том же...

— Умирать буду — не пойму! — простонал Гаевой.— В голове не укладывается! Почему? Для чего? Как это — с нами-то!..

— Тишшш!..

И все покосились на дверной глазок.

Кто-то из окружающих всхлипнул во сне. Люди спали тяжело, ища забвения, но и во сне к ним приходила их беда.

— Если бы понять, легче было бы, а то я и на воле извелся, — зашептал Чубак. — Вижу — своих бьем. Стараюсь спасти то одного, то другого... Кручусь, путаюсь... Вот ты, Мятлев, говоришь — «спокойно, продуманно»... Я его речь «О мерах ликвидации двурушников» сто раз перечитывал — не находил подтверждения в жизни! Бешеное обострение классовой борьбы внутри страны, враги с партбилетами... Где? — Он горько усмехнулся. — А это, оказывается, мы. Мы, которых партия годы и годы учила работать, мыслить, бороться... Учила по-ленински решать и отвечать.

— Странно, — еле слышно проронил Стадник и подтянулся еще ближе к товарищам, но все-таки не решился назвать имени. — Он говорил, что идет борьба на уничтожение. Призывал к бдительности. Как же он сам не увидел, что под этой маркой происходит избиение, уничтожение самых опытных кадров партии!

— Ты думаешь, он не понимает? — выдохнул Мятлев.

Теперь голоса чуть шелестели:

— Не мог же он...

— Докладывают ему подтасованные дела...

— Но ведь должен же он видеть! Была бы одиночная ошибка или подтасовка, можно не заметить. А ведь тут самый цвет партии!..

И снова замолчали. Думали. Томились непониманием и страхом, самым большим и благородным страхом — не за себя, за свою партию.

Суровцев сказал очень тихо, но отчетливо:

— Если он не видит и не знает, — какой же это руководитель? А если видит и знает...

Он не докончил, только скрипнул зубами.

— Так что же это?!. Что же?!.

И снова молчали, стиснув зубы, чтобы не закричать.

Первым заговорил Стадник:

— Я иногда думаю — потерял он доверие к людям. Вспомните, какой напор начался после смерти Ильича. И троцкисты, и зиновьевцы, и бухаринцы, и промпартия, и всякие недобитки. Одни тянули вправо, другие — влево, но все — против ленинизма. Он боролся, разоблачал их...

Суровцев холодно уточнил:

— А теперь мерещится то, чего нет?

Опять кто-то жалобно всхлипнул во сне, кто-то пробормотал ругательство. А семь бодрствующих молчали и слышали тревожные удары собственных сердец.

— И как мы не заметили этого процесса,— прерывисто зашептал Суровцев,— постепенно оно шло — замена чекистских кадров, отказ от традиций Дзержинского... Ведь как со мной получилось? Пошел к новому начальнику: не понимаю, мол, заводим дела на коммунистов, на партийный актив. По-моему, говорю, это перегибы. Мы же коммунисты. А он заорал: «Идиот! Нового этапа не понимаете! Живете устарелыми понятиями! Мы, во-первых, чекисты, а уж потом, между прочим, коммунисты, так вопрос стоит, а отсюда и выводы». Ну, схватился я с ним! Я коммунист не между прочим, говорю, я за это с пятнадцати лет

боролся, в тюрьмах сидел. И в Чека пошел по приказу партии, и сам Дзержинский меня учил, что такое настоящий чекист, но он таких слов — «между прочим» — не говорил, он бы за такие слова выгнал вон. А этот гад поднялся и тихим голосом: «А я вас — вон. Поняли?» Назавтра приказ — в отставку. А на мое место — этакого молодого из ранних...

— Знаю, Тукова,— подтвердил Чубак.— Он меня допрашивал прямо-таки с наслаждением,— дескать, был моим партийным начальством, а теперь у меня в руках, что хочу, то и делаю!

— И меня Туков,— вскрикнул Мятлев,— гнида такая.

— А вы что смотрели? — истерически заговорил Василь Васильич. — Ну я — рядовой научный работник. А вы-то как просмотрели, вы-то что ж, не видели?

— Видели,— мрачно сказал Чубак,— да только все мы задним умом крепки. Ведь доверяли! И потом, мил человек, они ж и действительных гадов брали. Троцкистов, вредителей. Вот хотя бы...

Он повел глазами в дальний угол камеры.

— Вон, белобрысый, Анопов фамилия. Из гадов гад. Я б таких стрелял, не то что...

Они смотрели в тот угол, на белобрысого спящего человека с розовым, во сне наивно-добродушным лицом. Никто не шевельнулся, но все семь мысленно отодвинулись подальше.

— На сколько он?

— На десять.

— Да что ж это такое? — в ярости простонал Гаевой.— И почему я должен рядом с ним?!. И что же нам теперь?..

— А ну, дружок, давай без истерик,— остановил его Чубак, — худо нам. Очень худо. Но не может оно не раскрыться! Есть партия, есть народ. Понимай так: попали в диверсию. И надо продержаться. Выстоять.

— Но ведь сажали-то нас свои! Свои!

— Нет, не свои,— отчеканил Суровцев.— Вот эти, кто нас терзал, фальшивки стряпал? Самые из самых — враги.

Голоса снова чуть шелестели:

— Но маска-то у них советская?

— Попробуй, разоблачи их отсюда!

— И ведь подумать — на воле не знают!

Суровцев тихо проронил:

— А дети?

Теперь и дыхания не слышно было. Каждый видел свое, своих — самых дорогих. Тех, которые должны верить, не могут не верить, но... Что они думают? Как понимают? И дети... Как они найдут объяснение позору, случившемуся с отцом? Какими людьми вырастут, если будут знать, что отца сгубили ни за что? А если они поверят, что отец — враг, как жить самому?..

— Не могут они не понять,— со слезами в голосе сказал Зыбин, говоря «они», но думая только об одной женщине, которая ждала его в Кисловодске первого октября — и не дождалась.— Не могут они поверить, что мы сволочи, враги!

— А ты не верил, когда других касалось? — со злостью перебил Василь Васильич, и вся сдержанность интеллигента покинула его.— В лучшем случае утешались: лес рубят — щепки летят. Так вот, мы и есть те щепки — груда щепок на свалке!

— Тишш-ш ты...

— Плевать.

— А как дела пошли! — вдруг тихо заговорил Мятлев.— Год от году лучше! Начинали — ведь не умели ничего. Посадили меня красным директором, я ж бухгалтера как огня боялся, инженер заговорит со мной о технике — холодею. А научились хозяйствовать! Разобрались во всем и так разворачиваться начали! Взять мой завод. Два новых корпуса начал строить. Автоматику... Дворец культуры заложил. На этот год план — почти вдвое...

Он протяжно вздохнул, зашептал с тоской:

— Поверите, братцы, тоскую о нем, как о человеке. Ночью снится и снится. И все тот же сон. Будто иду по заводу с какой-то авторитетной комиссией и выкладываю свои самые заветные планы, о которых пока и не заикался. А они все записывают и говорят: обязательно, немедленно, завтра же подайте докладную — утвердим. А я радуюсь и удивляюсь и где-то в глубине сознания понимаю, что это — сон, а хватаюсь за него, чтоб не проснуться.

Слышно было, как он заглатывает слезы.

— Напортачат там без меня!

— Психуешь, дорогой,— сжав его плечо, сказал Чубак.— Какие ж мы с тобой работники, если без нас все развалится? Вот пришел на мое место Тетерин. Знаю я его. Сам и посылал на парткурсы при ЦК. Дельный парень.

Он говорил спокойно, рассудительно. А боль резанула по сердцу: на черта мне, что он — дельный! Люди избрали меня, сотни дел начаты мною, «наш Чубак» — так они меня называли, они любили меня — и я их любил и растил, они мне нужны — и я им нужен, нужен!

Он подавил готовый сорваться крик и с силой сказал:

— Народ могуч. Так могуч, что и это выдюжит. Мы же с тобой такие пласты подняли! Сотни тысяч воспитали. Вспомни, вспомни, каких людей мы год за годом в партию принимали. Ленинский призыв, ударники, стахановцы, интеллигенция из рабочих и крестьян, плоть от плоти... Неужто ж они не сумеют!

— Есть такая воинская команда,— вставил Суровцев,— сомкнуть ряды!

— Сомкнут! — прошептал Гаевой и заплакал.— Сомкнут! А нас и не вспомнят...

— Врешь! И в делах и в людях — наше есть. Имена сотрутся, а за каждым осталось сделанное.

— А мы тут пока — сдохнем?

На это нечего было ответить. Но Суровцев сказал с присущей ему аскетической отрешенностью:

— Мы — это только мы. А вот сколько еще передышка продлится? Ведь войной уже пахнет...

Глубокое молчание сковало всех. Привычная опасность, которую они ощущали то сильнее, то слабее всю свою сознательную жизнь, эта опасность встала перед ними — близкая, грозная, они увидели ее предательское начало. Дети своего века, сызмала бойцы революционного фронта, они привыкли к мысли о том, что капитализм не уйдет без боя с исторической арены, что он может снова попробовать сокрушить первую страну социализма. Каждый на своем посту, они хранили боевую готовность, точно зная, что и как делать, если грянет час,— а потому и не подпускали к сердцу страха. Теперь, отринутые от своей партии и своего народа,

сорванные с боевых постов, они почувствовали свое горькое бессилие и ужаснулись.

Мятлев пролепетал совсем по-детски:

— Что ж, нас и воевать не пустят?

— Мы же «враги», «опасные элементы»,— с издевкой напомнил Гаевой.

Его остановил холодный голос Суровцева:

— А ты не злись. Может, это и пытаются сделать— смять нас, превратить в озлобленное ничтожество, в требуху, уже ни на что не годную.

— Что?! — вскрикнул Чубак, подскакивая.

— Тишш-ше...

Гаевой приподнялся и сказал с неожиданной у него силой:

— В требуху?! А вот не будет этого! Почувствую, что сволочью становлюсь,— сам себя!

Он сдавил себе горло, потом провел ладонями по лицу, словно смывая воображаемую грязь.

— Когда начнешь становиться сволочью, поздно будет,— прозвучал иронический голос Стадника.

И тотчас откликнулся Суровцев:

— С партбилетом быть коммунистом легче, а ты вот теперь сумей остаться им.

Прошло много времени, прежде чем раздался внятный шепот Чубака:

— Верить нужно, товарищи. Верить в партию. В народ. Остальное от нас пока не зависит. А вот кем мы выйдем отсюда — отщепенцами, моральными уродами или большевиками? Это зависит от нас. Это теперь — наша партийная работа.

Так он сказал, и товарищи потянулись к нему, как всегда тянулись к нему люди, потому что он продолжал жить и видел—даже в нынешнем унижении и бездействии,— что нужно делать.

В то же утро, когда на безрадостном рассвете семь товарищей по беде, бодрствовавшие почти всю ночь, очнулись от окрика: «Вста-вай! Становись!»,— в то же утро Светов проснулся в номере гостиницы «Москва» и, сонно улыбаясь, поглядел в окно.

В рассветных лучах розовели стекла нового Телеграфа. В небе над ним висел тонюсенький рожок молодого месяца.

Палька до хруста в костях потянулся и решил, что спать в такое утро глупо, он сейчас же вскочит и побежит на улицу, пройдет через Красную площадь и постоит у Мавзолея Ленина, выйдет на Москву-реку и пройдется по набережной, а может, свернет в какой-нибудь незнакомый переулок и заговорит с первой встречной девушкой: «Здравствуйте, очень здорово, что мы встретились. Доброе утро!» Она удивится, распахнет свои глазищи, сияющие, как у Клаши Весненок,— кто такой? Почему?

Он вскочил и проделал самые трудные гимнастические упражнения. Принял холодный душ. Ух, до чего здорово! На опытной станции нужно устроить душ во всех домах. Обязательно! Как ребята выкрикивали, сами не веря в возможность такой роскоши,— с ваннами, с балконами! А мы возьмем и сделаем: балконы, цветы, кафельные плитки, ванны — или хотя бы душ.

Прогуляюсь, а потом позавтракаем и пойдем в наркомат. Теперь договориться по всем вопросам будет нетрудно — после успеха совещания! Теперь и Бурмин станет покладистей, и осторожный Клинский осмелеет. Хорошо! Вернусь в Донецк — ох и заверну на полный разворот!

Оттого, что дела складывались хорошо и он сам был так счастливо настроен, мысли обо всем трудном и неясном, мешавшем полноте счастья, стали по-новому отчетливы и жестки. Все, что я сам накрутил,— вздор, нелепый вздор! Хватит болтаться неприкаянным, хватит цепенеть, когда произносят ту фамилию,— что мне до нее! Есть Клаша. Мне нужна Клаша — не на час, на жизнь. И нечего играть в благородство—это ж фальшь, вздор, никому не нужные тонкости. При чем тут Степа, если Клаша любит меня, думает обо мне,— а она любит, и думает, и ждет, и Степе не легче оттого, что я благородничаю. Я так и скажу: не обижайся, Сверчок, ты же видишь сам... И женюсь. Прямо с поезда пойду в горком комсомола, всех вытолкаю и скажу: вот и я, Клашенька, к тебе и за тобой!.. А она покраснеет-покраснеет, до самых корней ее белесых волосиков, это у нее так мило получается...

Натягивая пальто, Палька вышел в коридор.

Дверь номера, где жил Липатушка, была раскрыта настежь.

— ...на ближайший самолет! Очень срочно!—кричал Алымов.

Липатов сидел на кровати — босой, в нижней рубахе, кое-как заправленной в брюки.

Саша стоял рядом с Алымовым, глядя ему в рот и стараясь понять, что ему отвечают.

Увидав Пальку, он глазами показал на стол, где белел листок телеграммы:

Произошло несчастье погиб инженер Голь ранены Сверчков и Кузьменко тчк выезжайте немедленно тчк

Маркуша

9

Катерина дежурила около Никиты и Степы Сверчкова.

Обожженные руки Никиты уложены поверх одеяла двумя белыми куклами, они ноют днем и ночью. А Степу и не видно, все лицо забинтовано — при взрыве ему запорошило глаза угольной пылью, ослепило пламенем... Навсегда? Или зрение спасут? Это выяснится позднее, в Одессе, у знаменитого Филатова.

Катерина поила обоих из чайничка, кормила с ложечки, рассказывала им о Москве и читала вслух. Никите было легче, чем Степе, но Никита все время скулил и чертыхался. Только вечером, когда приходила Лелька, он веселел, ласково смотрел на ее подурневшее, в желтых пятнах, расплывшееся лицо и шепотом обсуждал с нею свои семейные дела.

Старики Кузьменко уговаривали Лельку уйти с работы, чтоб ухаживать за Никитой и не переутомляться перед родами, но Лелька стала расчетлива:

— Что вы, декретный отпуск терять? Зарплату терять? Еще когда Никитка на работу пойдет!

Удивительно вышло с Лелькой. Ведь как невзлюбили ее старики, в дом не пускали, а теперь души не чают.

И Лелька прилепилась к семье Кузьменок: приедет с работы — сразу хватается то за мытье полов, то за стирку, воды принесет, мусор вынесет, посуду перемоет. Только и слышится в доме: «Мама, как вы скажете?», «Папа, как вам лучше?..»

В больницу она прибегает прямо с работы, с порога тревожно спрашивает: «Что Никита?» Переведет дух и входит к нему с веселым видом; ласкает, утешает, но и журит:

— Чего хнычешь? Все цело, а боль пройдет. Ты же герой, ну и держись героем!

Герой?.. Катерина часто думает об этом. Казалось, наплевать ему на все, был бы заработок, чтоб жить в свое удовольствие. А тут, в страшную минуту, когда убило Федю Голь и ранило Сверчка, именно Никита рванулся к месту взрыва и перекрыл дутье, спасая станцию. В «Донецкой правде» так и написали: «Рискуя собой, молодой бурильщик Никита Кузьменко героически...»

Вот о Степе ничего не написали — Степа отвечал за опыт, за технику безопасности, Степа и Федя Голь. Но Федя погиб. Силой взрыва отбросило его прочь от скважины, рваный кусок металла ударил вдогонку — в голову... Степе обожгло и запорошило лицо, а Феде — нет, он лежал в гробу как живой.

Его мама, прилетевшая из Москвы, совсем еще молодая и очень на него похожая, сидела у гроба и все повторяла безнадежно: «Мальчик мой, мальчик мой...»

Маму устроили жить у Кузьменок. Кузьминишна ухаживала за нею и вместе с нею плакала. И у Кузьмичей и у Катерины раскрылась затянувшаяся было рана — вместе с Федей они снова оплакивали Вову...

Наверно, не так томилась бы Катерина, не вернулось бы с такой силой прежнее горе, если бы Алымов был рядом. Почему он не приехал? Почему именно сейчас его нет?..

За последние месяцы Катерина оторвалась от всего, чем дорожила раньше. Жила будто в опьянении — и не давала себе трезветь. Алымов увез ее в Крым, к морю. Катерина впервые увидела море. Как во сне — дом обвит глициниями; засыпая, слышишь плеск волн. Сад — розовый питомник, целые плантации роз. От их аромата кружилась голова. И рядом Константин. «Дай мне помолиться на тебя...» Потом Москва. Две комнаты с ванной, называется: полулюкс. Каждый вечер — театр или прогулка по Москве. Придешь усталая, а Константин усаживает в кресло: «Дай я сниму твои

туфли, ноженьки-то набегались...» Никогда с нею не было ничего подобного.

А в эти дни — без него, возле чужого горя — опомнилась, вернулась на землю. Родной поселок, родные люди, привычные отношения и заботы... Горе снова сблизило ее с Кузьменками, Никита снова стал братишкой. И Степа Сверчков — приятель детства, поселковый дружок — ближе родного...

У Степы — адские боли. Каждые два-три дня его оперируют — вынимают из глаз кусочки угля. Хирург говорит — Сверчков поразительно вынослив. Когда его навещают, он еще и шутит: «Райская жизнь, вкусное прямо в рот кладут, только глотай!» Ничего не видит, а все улавливает.

— Мама, зачем плачешь? Я ж вижу.

— Чего мнешься, Павел? Неприятности меня ждут, да?

Катерина знает, что неприятности от Степы отвели, Палька все взял на себя, как главный инженер. Степе этого не сказали, он взбунтовался бы.

Степа радовался посетителям, меньше всех—Пальке. И Катерина догадывалась почему. Вот и теперь Клаша Весненок ежедневно навещает Степу, а сама поглядывает на дверь. По странному совпадению она приходит в те часы, когда бывает в больнице Светов. И Степа все понимает. Однажды Палька не пришел, Клаша все томилась и на дверь поглядывала. Степа не мог видеть этого, но вдруг сказал:

— Павел сегодня не придет, на станции партсобрание. Ты иди, Клашенька, мне поспать хочется.

Спал он или нет? Когда Катерина подошла поправить одеяло, он движением руки попросил ее наклониться и прошептал:

— Она ж его любит. Скажи ты этому дураку.

— Что ты выдумываешь, Степа!

— Ах, перестань. Глупо же! Скажи им. Скажи. Пусть.

Нет уж, решила Катерина, чему быть, того не миновать, но я в этом деле не помощник.

Сидя возле Сверчка, Катерина думала, думала. Как раскрывается в беде душевное богатство человека! Был Степка и Степка, как-то не принимали всерьез ни его самого, ни его любовь. А он — вот какой! И Марку-

ша — сразу после взрыва принял на себя обязанности руководителя станции, они вдвоем с Леней Коротких работали день и ночь, не считались, кому что поручено, не боялись ответственности. Саша, Липатушка и Палька изучают причины взрыва, налаживают процесс — и тоже не боятся ни риска, ни ответственности. Когда снова подавали кислород (а он и вызвал взрыв), Палька стоял один на том самом месте, где стояли в минуту взрыва Федя и Сверчок. И все знали — иначе он не может.

Катерина понимала брата, понимала его товарищей — иначе они не могут. Из всех близких ей людей она не понимала одного, ставшего самым близким,— Алымова. Что же он-то за человек? И почему он не приехал?

В то утро они собирались второпях, все были взволнованы, Алымов не отходил от телефона, добывал билеты на самолет, кого-то вызывал, кому-то угрожал.

Катерина была уверена, что он летит с ними, только перед отъездом в аэропорт выяснилось — остается. Крепко обняв ее, он сказал срывающимся голосом:

— Не скучай и не забывай, слышишь? Сейчас такая минута, когда все решиться может! Все!

Она не поняла, что именно.

В самолете спросила у Саши, почему не поехал Алымов.

— Дипломатия — кто кого съест,— неожиданно грубо ответил Саша и отвернулся.

Катерина вспомнила все, что случайно слышала от Алымова и от брата, вспомнила странную сцену в гостинице между Алымовым и Олесовым: было очень рано, часов семь утра, все сбились в номере Липатова, туда же примчался Олесов, оповещенный о телеграмме. Люба плакала: Никитка тяжело ранен, может быть умирает... Катерина успокаивала Любу как умела, когда до ее слуха дошел раздраженный крик Алымова:

— Тогда и я не поеду! Вы меня не проведете!

Олесов был очень бледен, он сказал задыхаясь:

— Следовало ждать.

— Будет вам! — вмешался Липатов. — Константин Павлович, полчаса прошло, звоните в Аэрофлот.

Что означала перепалка между директором Угле-

газа и его заместителем? В чем Олесов хотел «провести» Алымова? Чего «следовало ждать»?

По отрывистым замечаниям Алымова Катерина знала, что он не любит директора и хочет, чтоб Олесова сняли. Палька тоже не раз говорил, что Олесов — тюфяк, «и вашим и нашим». Вероятно, Константин мечтал стать директором Углегаза. Катерина понимала это желание: ведь не только в том причина, что он честолюбив — ему хочется более смелых действий, более решительной борьбы за расширение работ. Но может ли быть, что Алымов намерен воспользоваться несчастьем, чтобы добиться своего?..

Все последние месяцы она не давала себе задумываться. Не хотела задумываться и спасалась от невеселых мыслей возле Алымова. Люба сказала: «Ты какая-то упоенная». Да, она упивалась этой любовью. Не будь такой разницы в возрасте, все, наверно, сложилось бы проще, естественней, она не чувствовала бы себя с Алымовым стесненно, как с чужим. Не будь он таким нервным и — часто — злым, они сумели бы дружить, откровенней делиться всем... Но об этом Катерина тоже не хотела думать, так же как не хотела заглядывать в будущее.

Пальку волновало, что у Алымова в Москве семья. Катерина отмахивалась и от этого. Ведь разошлись давно, какое ей дело? Сыну он помогает, и хорошо. Когда она переедет в Москву, нужно будет познакомиться с сыном. Если переедет...

Ни мама, ни Кузьменки не хотели отдавать ей дочку. Кузьминишна прямо бухнула: «С этим идолом? Не отпущу!» Константин привозил множество игрушек, но раздражался, если Катерина при нем возилась с дочкой. Уехать без Светланки? Ни за что!

В первые недели их близости Катерине казалось, что Алымов становится добрей, мягче. Он уступал ей. Старался не ругаться при ней... Наконец, в тот недобрый вечер он закричал и на нее! Правда, он приревновал... Приревновав, наивно старался возбудить ее ревность, любезничая с дочкой Катёнина. А потом, ночью, целовал ей ноги и бормотал, как в бреду: «Я тебя никогда не обижу, никогда, никогда!»

Но все-таки и ей он крикнул:

— Хватит воспитывать, надоело!

Значит, и с нею он может быть груб?..

Катерина удивлялась самой себе — как легко она согласилась бросить работу, стоило Алымову попросить! Как будто выхватила у жизни передышку... Разом кинула все, как в сон окунулась — Крым, потом Москва...

Ничего не сказав Алымову, она все же договорилась на шахте, что уходит временно,— где-то в подсознании ощущала, что ничто в жизни не переменится и она не сошла с выбранной дороги, а только повременила, переводя дух. Урывками, кое-как продолжала заниматься делами в шахткоме и готовилась к экзаменам в заочном институте. Но прежней увлеченности не было.

Теперь, впервые за много недель раздумывая о самой себе, Катерина поняла: когда Кузьмич сообщил об аресте Чубака, в ней надломилось что-то важное. Она потеряла уверенность и ясность. Надо было до конца разобраться в мучительном и непонятном, а она прижмурилась, отстранила тяжелые мысли, с головой погрузилась в бабьи чувства...

И вот спустя полгода вернулась в привычную жизнь и не нашла ни в ней, ни в самой себе того, что так жарко грело раньше. Старательно, как виноватая, возится с дочкой, дежурит возле Никиты и Сверчка, зубрит политэкономию, разбирает заявления о жилье, о ссудах — и не знает, что будет завтра, что за человек ворвался в ее жизнь, на горе или на радость, и почему этого человека нет сейчас рядом, и как ей снова обрести ясность, без которой она не может быть сама собой.

Это продолжалось всего несколько минут. Он истошно заорал на Липатова, сунувшегося было к нему, и остался один у головки скважины. Положил ладони на штурвал, в последний раз искоса поглядел на товарищей, сгрудившихся поодаль, на окно пульта управления, где белым пятном виднелось лицо Саши, а затем перевел глаза на приборы и еще мгновение помедлил, решая, какой глаз прикрыть и сохранить в случае...

Именно сейчас он совершенно отчетливо увидел, как все произошло в тот раз. Конечно, Федя Голь и Степа учитывали, что на совещании идут разговоры о перспективах дела, и хотели поддержать нас вестью

о возможности получения технологического газа, который мог бы заменить кокс в металлургии.

Опыт намечалось провести после совещания. Федя Голь со Сверчком решили не ждать. Все было продумано и как будто рассчитано. Повышенная концентрация кислорода, задутая в зону высших температур, то есть в район газоотводящей скважины, создаст процесс, при котором газ будет насыщен водородом и окисью углерода и почти избавлен от метана. Вероятно, Федя и Сверчок подумали о возможностях взрыва, но ведь дутье с меньшей концентрацией кислорода подавалось много раз, было уже установлено, что в подземном процессе образуются водяные пары от испарения подземных вод, а они делают газ менее взрывоопасным,— ну, получатся хлопки, их бывало много, их перестали бояться...

Вот так же, как сейчас он сам, Сверчок подошел к головке скважины и взялся за штурвал. Рядом стоял Федя. Переговариваясь с Федей, Степа начал крутить штурвал влево... Может быть, он сказал: «То-то наши обрадуются!» или «Сразу же пошлем телеграмму»...

Только что произвели реверсию. Газ пошел через другую скважину, а в эту ринулась под давлением струя воздуха, обогащенного кислородом. Восемьдесят процентов кислорода—такой концентрации еще никогда не пробовали! В раскаленной до полутора тысяч градусов подземной зоне процесс соединения кислорода с горючими компонентами газа — окисью углерода, водородом и метаном — произошел в какую-то тысячную долю секунды...

Вся сила взрыва пришлась на головку скважины — под землей деться некуда. Фонтан горящего газа, смешанного с еще не сгоревшими кусочками угля, ринулся вверх, сорвал и откинул на десятки метров головку, разрывая металл, как картон... Дунул в лицо Сверчка, отшвырнул на несколько метров Федю... И пошел полыхать, разбрасывая огненные брызги, закидывая горящие уголья на крыши зданий и за колючую проволоку, ограждавшую бочки с бензином и смазочными маслами.

Палька отчетливо увидел все это и даже физически ощутил силу рвануввшейся из-под земли струи, злобный, обжигающий удар по глазам, по лицу...

Прикрыв один глаз (он так и не вспомнил потом, который), он сжал руками штурвал и начал крутить его влево.

Задвижка медленно открылась, пропуская в трубу водяной пар. Слышно было, как он там шипит и словно приговаривает, прищептывая: «Расчищаю, очищаю...»

Палька отключил пар и включил кислородное дутье. Осторожно. Сперва обычную концентрацию — двадцать пять процентов, потом — с каждой минутой — увеличивая содержание кислорода.

Одним глазом он все время видел показания прибора:

Шестьдесят пять...

Семьдесят...

Семьдесят пять...

Восемьдесят!

Саша прав — теоретически взрыв не исключается, поскольку пиросернистые соединения могли образоваться на стенках труб, упасть в нижнюю часть скважины, загореться в воздухе...

Все дело в том, что с газом нужно обращаться деликатно. Не на «ты», а на «вы».

Прислушался — ровное гудение.

— Хорош! — крикнул он и медленно пошел прочь, мельком заметив, что ноги стали ватными, а лоб и шея — в поту.

— Вот в чем и была ошибка,— сказал он Липатову.— Надо сперва продувать паром и затем подавать дутье постепенно.

Они пошли к Саше, на пульт управления, и занялись показателями процесса, не считая нужным возвращаться к тому, что пережили.

— А Никита — молодец! — в середине обсуждения сказал Палька. Теперь ему ясно представилось, как из группы растерявшихся людей выбежал Никита, как он пробежал мимо убитого Феди Голь, мимо ослепшего Сверчкова, пригнув голову под огненными брызгами. Как он глотнул воздуха побольше, бросился в огонь, схватился голыми руками за нагревшийся штурвал и начал крутить его вправо, вправо, вправо, перекрывая дутье...

— Ого, вот это показатели! — воскликнул Саша, не отрывавший глаз от самописцев.

Палька кииул взгляд иа показания, улыбнулся н прнтянул к себе графни.

Стакаи куда-то запропастнлся, он начал пнть нз горлышка. Вода стекала по подбородку, горлышко было неудобиое. Но ои выпнл всю воду, сколько ее было.

— Схожу к ребятам, расскажу,— вслух подумал ои.— Сверчок обрадуется.

Больиица всегда виушала ему страх, а теперь — больше, чем обычио. Белая безглазая мумня, лежавшая на одиой из коек, заставляла его содрогаться от ужаса и жалости.

Выдержка Сверчка, его оживлениый голос были иепостижнмы. Палька не знал, как держаться с инм — проявлять сочувствне илн делать внд, что все в порядке.

Истннктом ои выбрал лучшее — докладывал обо всем, что пронсходило на опытной стаицнн. Ннкнту это не интересовало. Работает станцня, и ладно, только взрывов больше не устранвайте. А Сверчку нужно было знать все. Палька отчитывался перед ннм, как перед дотошиым начальством, по всем показателям. Сверчок имел на это право. И Палька заставлял себя прнходнть ежедиевно.

Здесь он встречался с Клашей.

Решенне, прннятое ранннм утром в Москве, оказалось легкомыслеиным и иесбыточиым. Но нменио потому, что теперь об этом н думать было стыдно, мыслн о Клаше стали неудержимы, онн всегда были с ннм, тревожа н мучая, н нужны былн все снлы, чтобы держаться, держаться, держаться...

Поняв, в какне часы бывает Клаша, он перемеиил час, но н Клаша переменнла — так уж выходнло, что оин сталкивались у постели Сверчка. В такие мниуты Сверчок держался еще веселей — до ужаса. Палька спешнл уйтн, оставить Клашу с ним вдвоем. Но Сверчок говорнл дребезжащим голосом:

— Ну, чего спешншь? Я теперь провожатый плохой. Будь другом, проводн Клашеньку, ведь темиеет уже!

Откуда он зиал, что темиеет?

— Я еще не собнраюсь уходнть, Степа,— говорнла Клаша,— чего ты меня торопишь?

— Сейчас начнутся вечерние процедуры, тебя выгонят.

Они уходили вдвоем и шли по сумеречным улицам, сохраняя между собою дистанцию в добрый метр. Они говорили о Сверчке, обсуждали, поможет ли ему Филатов.

И однажды Клаша сказала, опустив голову:

— Если он ослепнет, я его не оставлю.

После этого они долго молчали. Наконец Палька спросил самым безразличным тоном, на какой был способен:

— У вас все уже было решено?

— Нет,— быстро ответила Клаша.— И не могло быть решено. Я сказала — *если.*

— Степа не тот парень, чтоб принять жертву.

— Он никогда не почувствует жертвы. И с ним всякая девушка... Он такой хороший!..

— Да,— подтвердил Палька.

Они подошли к ее дому. Несколько метров от угла до ее двери были самыми трудными. Палька заставлял себя не замедлять шаги, не топтаться на месте, а дружелюбно попрощаться и уйти. Обычно это удавалось, но сегодня, чтобы отвлечься от того разговора, он начал рассказывать ей о московских друзьях, о стихах поэта Тихонова...

— Я знаю их,— сказала Клаша.— «А ты забыл, что хмур и сед и что тебе не двадцать лет...»

И тогда он сказал:

— Но нам-то двадцать! Давай прогуляемся немного.

— Мне еще к семинару готовиться,— ответила Клаша — и прошла мимо дома, припоминая разные стихи, и произнесла две изумительные строчки:

Так мужество по-новому встает,
Когда к нему приходит испытанье.

Рассказать бы ей, как он недавно стоял один возле скважины, положив руки на штурвал и зная, что держит в руке жизнь или смерть... Нет, получится похвальба.

Они еще долго бродили по тихим улицам, открывая все новые совпадения вкусов и мыслей.

Прощаясь, он спросил:

— Ты когда завтра придешь?

— Как всегда. А ты?

— И я.

Но на следующий день он не увидел Клашу. Сверчок как бы между прочим сообщил, что она приходила днем и читала вслух.

Палька вышел с ощущением пустоты. Прошел мимо ее дома — в окне не было света. Занята вечером? Нет, не захотела. Из-за Степы. Но это же невозможно! После вчерашнего вечера он твердо знал, что это невозможно.

Подходя к своей калитке, он услышал в палисаднике два детских голоса — ломкий, захлебывающийся голос Кузьки и другой, звонкий, с замираниями.

— ...А оно ка-ак ахнет! Ка-ак рванет из-под земли! Всю надстройку на полкилометра кинуло!

— А он?..

— А он кинулся прямо в огонь, хвать за рычаг — и отключил дутье. Руки — как нет их, все скрозь прожжены!

— А иначе все взорвалось бы?

— Все!

Звонкий голосок сказал с непреклонной убежденностью:

— Он самый замечательный, я еще тогда видела.

Палька узнал этот непреклонный голосок. Но откуда она — здесь?

Две фигурки поднялись ему навстречу со скамьи.

— Здравствуйте, Павел Кириллович,— тоном воспитанной девочки произнесла Галя Русаковская и вытянула из кармана маленький душистый конверт. — Мама прислала.

— Ничего не понимаю. Откуда вы здесь взялись?

— А мы с папой. На защиту и консультации.

— И ты на защиту и консультации? Тебе, по-моему, в школу ходить полагается.— Палька разглядывал конверт и принюхивался к запаху знакомых духов.— И надолго вы сюда?

— На пять дней. А меня взяли, потому что бабушка со мной не может справиться.

— Похоже. А ну, Кузь, проводи эту девицу до трамвая!

Галя чинно попрощалась, как полагается образцовой девочке, но выбралась из палисадника по-своему: не в калитку, а через нее. Судя по удаляющимся голосам, к трамваю они не спешили.

Павел Кириллович! Мне нужно вас видеть! Буду ждать в сквере возле театра от восьми до половины девятого. Надеюсь, вы меня узнаете?

Т. Н.

Было без четверти восемь. Если удачно попасть на трамвай, можно поспеть до половины девятого... Но зачем?

Приехала на пять дней, заскучала возле ученого мужа и вздумала возобновить старый флирт? Дудки! В сквере возле театра нас не будет. Можете злиться сколько угодно, а мы займемся делом. Где у меня старый учебник сопромата?..

Сегодня утром Маркуша предложил ставить на головках скважин заглушки. Как это говорил профессор-сопроматчик: «При приложении усилия рвется там, где тонко»? Маркуша сказал: «Значит, давай сами создадим это «тонко»; пусть рвется там, где нам выгодно. На верху головки поставим тонкую заглушку из менее прочного материала, скажем, из алюминия или дюраля».

Палька разыскал потертый учебник, нашел таблицы сопротивления материалов. Сопротивление на разрыв у алюминия намного меньше, чем у железа...

Он припомнил, как студентами они испытывали на разрыв на специальном прессе разные материалы. Зажатый в кулаках столбик металла недвижим, а стрелки подскакивают выше, выше и вдруг — трак!

Он думал именно об этом, но перед глазами вдруг возникла женщина в черном облегающем пальто, в маленькой шляпке, открывающей волнистые рыжие волосы. Такая, какой она была однажды на московской улице,— небрежно простилась и вошла в трамвай, даже взгляда не бросила. А теперь ходит, ждет.

— Павлуша, ужинать!

Мать сунулась в дверь, он огрызнулся:

— Ты же видишь, я работаю. Сколько раз просил— не сбивай!

Половина девятого. Она ходит по круговой дорожке, прикидываясь, что никого не ждет. Каблучки столбиками, при каждом шаге пристукивают. Ну и пусть ходит, пристукивает.

Занятно, как все улетучивается! Год назад помчался бы опрометью...

Четверть десятого. До чего душно в комнате!

Он вышел на крыльцо, закурил, понаблюдал, как из-за копра вылезает скошенная набок луна. Совсем недавно, ранним утром в Москве, над Телеграфом висел тонюсенький бледный рожок. А теперь вон она какая! Еще один-два дня, и округлится совсем, как в ту давнюю ночь в степи...

Когда он вернулся в комнату, было без двадцати трех десять. Даже если бежать бегом к трамваю и от трамвая, доберешься до сквера в одиннадцатом часу. Она давным-давно ушла. Готовит супругу ужин, от злости бренчит посудой.

Ночь холодная, а в комнате нечем дышать.

Он нажал на разбухшие створки окна и распахнул их — прямо в темноту, пронизанную косыми полосами лунного света. И в этом свете увидел ее, как живую,— голубоватая от луны, стоит за калиткой и улыбается. Почудится же такое!

Но она не собиралась исчезать. Она открыла калитку, нащупав рукой щеколду, и зашагала к нему сквозь полосы лунного света, заложив руки в карманы широкого светлого пальто, пригнув голову в светлой шапочке, похожей на шлем.

— Почему вы не пришли? — спросила она так, будто они виделись вчера или сегодня днем.— Я ждала вас больше часу. Дайте же руку! — Она запросто перебралась через подоконник.— У вас такое лицо, словно я спустилась к вам с луны по веревочной лестнице.

У нее был очень деловой вид — в шлеме, руки в карманах. А он никогда еще не терял дара речи так безнадежно, никогда не был так неуклюж.

Татьяна Николаевна сама прикрыла створки окна, села у стола, свободно положив ногу на ногу.

— Так почему же вы не пришли?

Из всех возможных ответов он выбрал самый нелепый:

— Я все равно, вероятно, не успел бы.

— Допустим! Так вот, милый, безукоризненно вежливый Палька Светов! Известно вам — или неизвестно,— что послезавтра к вам приезжает разгромная комиссия наркомата?

— Н-нет.

— Приезжает. Насколько я поняла, отвратительная по составу и по цели. Олега Владимировича тоже включили, узнав, что он будет в Донецке.

Это было настолько серьезно, что он сразу забыл смущение.

— Вы не слыхали, Татьяна Николаевна, кто там еще?

— Слыхала и постаралась запомнить: кроме Олега Владимировича, там профессора Вадецкий и Цильштейн, инженер Катенин — этого взяли как специалиста по технике безопасности. Здесь к ним подключатся местные профессора. Во главе — новый замнаркома Клинский.

— Так. А цель?

— Как я поняла, они хотят сменить руководство станции и отдать вас под суд в связи с этой... с этим несчастьем.

— Судить и надо,— грустно сказал он.— Федю Голь уже никто не вернет. А Сверчков... если он останется слепым — разве я сам себе прощу?

Татьяна Николаевна встала и погладила его по волосам.

— Этого можно было избежать?

— Нет. То есть... Теперь-то мы знаем, что нужно сперва продувать паром. На днях я повторил ту же операцию, и все сошло хорошо.

— Повторили?

— А что было делать? Когда идет опыт, без риска нельзя.

— Вы... сами?!

— Что же, по-вашему,— рабочего послать, а самому спрятаться? Новую прививку врачи испытывают на себе. Иной раз и помирают.

Она снова провела рукой по его волосам, навертела на палец и подергала ту прядь, что всегда выбивалась на висок.

— Мне пора. Выходить будем через окно?

Перелезая через подоконник, она не забыла пока-

зать свои красивые ноги. И пошла впереди него, руки в карманах. Луна посверкивала в ее волосах.

Она снова была — ненаглядная. Ненаглядная, которая пришла к нему сама.

Он придержал калитку.

— Скажите... почему вы пришли? Я поступил как последний хам, вы прождали час — и пришли. Почему?

На ее голубоватом лице промелькнуло знакомое выражение не то ласки, не то насмешки.

— Я бываю легкомысленной... но я ненавижу подлость. Я подумала, что за сутки вы как-то подготовитесь. И если нужно подсказать Олегу Владимировичу...

— Пусть будет объективен и честен, вот и весь подсказ!

— Честности его учить не надо. Но бывает, что нужно понять какие-то хитрые ходы и неизвестные обстоятельства...

Нет, он и теперь не хотел ни в чем зависеть от ее мужа, какие бы ни грозили хитрые ходы.

Он отпустил калитку — и она быстро зашагала по улице. Ему всегда нравилась ее легкая, летящая походка. Он позволил себе поглядеть ей вслед, потом догнал и взял под руку. Ему хотелось сказать ей, что она хорошая, лучше, чем он думал, но вместо этого не без насмешливости спросил:

— Говорят, вы увлеклись производством алюминия?

— О-о, нисколько! Меня увлекает другое. Должно быть, во мне пропадает творец чего-то... хотела бы я знать — чего!

— Так узнайте, найдите, схватите! На кой черт пропадать?!

— Это не так просто.— Она помедлила и продолжила другим, кокетливо-беспечным тоном, который он ненавидел:— Вы понятия не имеете, как очаровательно... и как ужасно быть женщиной!

— Ничего подобного! Это зависит от...

Но она не захотела узнать, что от чего зависит. Она заговорила об Александрове и Трунине, передала от них приветы.

— Что Женя... поладил с вашим супругом? Ушел на завод?

— Ох, нет! Ссорятся, мирятся и снова ссорятся.

— На кой дьявол задерживать человека, если его тянет?

Она нашла нужным заступиться за супруга:

— Он считает Женю талантливым. И очень любит его.

— Те, кого Олег Владимирович любит, должны отказаться от собственной жизни?

— О-о-о!

— А что в самом деле! Вот вы, например...

Она резко отстранилась. В неверном свете луны не разобрать было выражения лица — гнев? Или горечь? Или обида?

— Что вы знаете о жизни? Да еще женской! — воскликнула она и пошла дальше, на ходу роняя отрывистые фразы.— Когда мы очень молоды, мы хотим всего-всего!.. А потом вдруг покажется, что все-все — в одном человеке. Сами отказываемся от всего остального!.. Добровольно,— значит, наиболее прочно!.. А если эта жизнь еще и легка, н счастлива!.. И все же все-все не вмещается!.. Никак!.. Конечно, просто рассуждать, когда двадцать лет и ничем не связан!..— Она вдруг оборвала речь и деловито пригляделась, есть лн на кольце трамвай, и заторопнлась.— Вы бы поддержали под локоток, мои каблукн не прнспособлены к таким дорогам.— Она еще что-то болтала и снова подшучивала, но его уже не мог обмануть этот прежний, обманный голос.

У гостнннцы он потянул к себе ее руку:

— Дайте поцелую. Вы сегодня заслужилн.

Она промолчала, только поглядела, широко раскрыв глаза.

В ту мннуту, когда он поднес ее руку к губам, он увндел Клашу.

Клаша шла в группе комсомольцев, зажав под мышкой учебники. Наверно, с семинара. Она заметила две фигуры на шнроких ступенях гостиницы,— еще бы, полный свет, как на выставке! — запнулась и встретилась взглядом с Палькой. Палька отпустил руку Татьяны Николаевны, так и не поцеловав ее. Клаша отвела взгляд н быстро прошла мимо в нескольких шагах от злосчастных ступеней.

— До свидания! Спасибо!

Он умчался прежде, чем Татьяна Николаевна отве-

тила. Пробежал по улице, надеясь догнать Клашу, но Клаша куда-то исчезла. Поискать? Добежать до ее дома? Но как объяснить ей — и позволит ли она объяснять? У нее бывает этакое замкнутое лицо и авторитетный голосок: «Мне совершенно неинтересно, кому и почему ты целуешь руки, это — твое личное дело».

Новость насчет комиссии неизмеримо важней и срочней всяких объяснений, кому целовал, зачем целовал... До того ли сейчас!

Он побежал к театру — там иногда удавалось подхватить «левака». Как назло, ни одного. До опытной станции — девять километров. Можно дотопать за час.

Он купил в киоске две черствые булочки и, на ходу утоляя здоровый голод человека, оставшегося без ужина, развил максимальную пешеходную скорость.

Всеволоду Сергеевичу Катенину очень не хотелось ехать в Донецк. В поспешности и нарочитости создания такой большой и грозной комиссии было что-то стыдное. Колокольников вызвал Мордвинова в Москву, не предупредив его, что он разминется с комиссией! Алымов неожиданно для всех полетел в Кузбасс, где инженеры одной из шахт сами провели какой-то опыт подземной газификации. Видимо, дни «вихрастых» сочтены? Хорошо бы не участвовать в последнем акте...

Но в поезде, где он заодно с профессорами попал в международный вагон, Всеволод Сергеевич сразу успокоился. Грозный Клинский оказался культурным, деликатным человеком, он был взволнован главным образом «смертоубийственной неосторожностью» молодых руководителей станции № 3. Вадецкий отдавал должное молодежи, но считал, что на данном этапе во главе должны стоять более квалифицированные, зрелые работники. Олесов соглашался с ним. Арон... Арон за последний год постарел, как-то увял и был углублен в свои раздумья.

Вечером, закрыв купе, Арон вдруг сказал:

— Говорят, есть тысячи способов быть подлецом и только один способ быть честным.

Настольная лампа оранжевым светом освещала его постаревшее лицо и отражалась в больших потускневших глазах.

— Арон... ты думаешь?

— Я не о том. Тут задача ясная — разберемся и решим по справедливости. Я о себе.

— У тебя что-либо неладно?

На вокзале Арона провожала жена, они простились очень ласково. Всеволод Сергеевич еще порадовался — слава богу!

— У меня как раз все ладно, до предела честно и ладно,— проговорил Арон и закурил, чего раньше, кажется, не делал.— Вот ты, Всеволод, осуждал меня. Я и сам осуждал себя... Но я... я ее любил. С нею я чувствовал жизнь. Биение жизни. Ты знаешь это состояние, когда все — напряжено и все — прекрасно? Может, это невероятно, я старше на восемнадцать лет, но она тоже... любила. Любила и потому соглашалась на всю мучительность тайных отношений.

— Тогда... почему же?

— Все из-за того единственного способа!

Он надолго умолк, потом заговорил приглушенно, в шуме поезда Катенин еле слышал его:

— Она была моей аспиранткой, вот в чем ужас. Будь уверен, я относился не менее требовательно. Но я видел, что сплетни вьются, вьются вокруг нее. Страдает всегда женщина, а разница возраста... Ну, выходило, что она из корысти, потому что я — профессор. Если бы я мог все сломать и жениться на ней... Но этого я не мог...

А потом — тридцать седьмой год. Я тебе не говорил, но долгое время я был на краю... Тут все припутали — и ее в том числе. Разврат. Злоупотребление своим положением... ну, повторять противно. Биографию перекопали всю. Даже то, что я был прописан лакеем твоего отца, и то поставили в вину,— лакей!.. Ждал ареста. До сих пор не понимаю, как выскочил из этого.

И вот однажды ночью — трезвон на парадной. Надо сказать, жена все понимала. Мы никогда не говорили об этом, но я часто давал советы... Без объяснений — хотел бы, чтоб мальчики поступили на работу и учились в вечернем; в библиотеке я дорожу только специальными книгами — и так далее. Она говорила — хорошо. И вот тут, когда затрезвонили... Она обняла меня и сказала: «Арон, я всегда буду ждать, и ты не тревожься, мальчики вырастут как надо». Перед тем я

получил большую премию и положил в сберкассу на ее имя. Раньше мы всегда все тратили, а тут... И вот, под трезвон на парадной, она вдруг говорит: «Арон, если нужно кому-то помочь — скажи, я буду помогать». Понимаешь?!

Он оперся локтями на столик и прикрыл руками лицо.

— Что ж это было — звонок?

— А-а... дурацкая телеграмма: «Днями выезжаю поезд сообщу отдельно дядя Ося». Если б он мне попался в ту минуту, дядя Ося, я б его придушил. Но с той ночи... В общем, понимаешь, друг всей жизни — это друг всей жизни. И мучить человека, который... Вот я и обрубил.

Катенин осторожно спросил:

— И совсем не встречаетесь?

— Нет. Она защитила диссертацию и уехала. Очень тяжело было. Молодая. Я ж ей тоже жизнь переломал.

Стараясь утешить друга, Катенин сказал, что в молодости такие раны залечиваются быстро, жизнь возьмет свое.

Арон вскинулся, будто его ударили.

— Вот этого я и боюсь. Как представлю себе...

И выскочил в коридор.

Решающее заседание комиссии всем запомнилось по-разному. Липатов помнил, что он отбивался, «как тигр», и ловко «ущучил» Вадецкого, сказав с убийственным сарказмом:

— Звание — штука почтенная, но ведь бывает и так, что у молодых получается дело, а у знаменитых профессоров — пшик.

Павел Светов больше всего запомнил душевное напряжение, какого ему стоило вести себя рассудительно, как на чисто научной дискуссии. Саши не было — пришлось заменить Сашу. Сыпал формулами. Сопоставлял теоретические возможности несчастных случаев в подземной газификации с такими же возможностями аварий и жертв в шахтах. И продолжал гнуть свое, хотя понимал, что все предрешено и Клинский ведет обсуждение к одному выводу — пусть молодежь

разрабатывает дальнейшие проблемы в НИИ, а на станции нужны иные руководители. Станцию решили отнять...

Станцию — отнять!..

Вот почему Вадецкий так пламенно восхваляет перспективы опытных работ, так восторженно говорит о предстоящем снабжении Азотнотукового завода подземным газом! Именно сейчас, когда станция превращается в опытно-промышленную и перспективы расширяются,— именно сейчас решили воспользоваться несчастным случаем и отнять станцию у ее создателей!

Палька угадывал, кого прочат в руководители. Недаром так уважительно обращаются к Катенину, подчеркивая его инженерный опыт и длительный стаж работы по технике безопасности. Недаром Китаев привез с собою на обследование станции Леню Гармаш и не устает нахваливать его.

Оказывается, и Русаковский прекрасного мнения о новоиспеченном аспиранте, взявшем темой диссертации проблему подземной газификации.

— Он ведь, кажется, один из ваших соавторов? — добавил Русаковский.

Палька с досадой вспомнил предложение Татьяны Николаевны — подсказать. Если бы он подсказал насчет этого дрянного молодца!..

И вдруг Русаковский безмятежно спросил:

— Я не понимаю, почему из-за одной аварии столько шума? Я прошу директора станции ответить: была ли тут преступная небрежность или — ошибка, вполне возможная в экспериментальных работах? Повторили этот опыт или нет? А если повторили, кто именно провел опасный эксперимент? Кто стоял у штурвала?

Палька вспыхнул.

Липатов, сдерживая торжество, ответил. Когда он назвал фамилию — Светов, все посмотрели на Светова с уважением, а профессор Цильштейн сказал:

— Вот видите! Это поступок настоящего работника науки!

Встал и пожал руку Светова.

Русаковский запомнил именно это торжество молодого человека. Он задал свой вопрос потому, что Татьяна вчера сказала: говорят, Светов сам повторил опыт,

рискуя жизнью; узнай, пожалуйста, так ли это. А минута запомнилась потому, что по каким-то неуловимым приметам он понял, что Светов сам рассказал ей,— а она скрыла их встречу.

Испытывая горькое удовлетворение оттого, что стал выше ревности, Русаковский потерял интерес к заседанию и незаметно покинул его. За обедом он весело сказал жене:

— Я, кажется, помог сегодня твоему хахалю.

Она шутливо поправила: «Бывшему!», начала расспрашивать, как все было, и пожалела, что он не дождался решения.

— Ты так заинтересована?

— Очень! Они же творческие ребята, а против них выставили целую артиллерийскую батарею профессоров.

Она была права — целая батарея профессоров должна была своим авторитетом отнять у них станцию № 3. В предварительных разговорах профессоров Китаев со вздохом признался, что Светов всегда был необуздан и крайне неосторожен, у него все взрывалось и лопалось. Конечно, ему нужно предоставить работу в Углегазе, а на его месте при таком опытном директоре, как Всеволод Сергеевич, окажется ценным один из соавторов проекта, серьезный и вдумчивый Гармаш.

Китаеву льстило участие в комиссии, возглавляемой замнаркома. Китаев был в восторге оттого, что его коллегу хватил припадок люмбаго и Троицкого на заседании не будет. Еще лучше было то, что Вадецкий взял на себя роль главного обвинителя, оставалось только поддакивать.

Но вышло так, что заседание запомнилось Китаеву сценой, разыгравшейся под конец. Слово предоставили Катенину, уже знавшему о предстоящем назначении. Все ждали, что Катенин выступит авторитетно, а он мямлил, делал массу оговорок и в общем не находил в аварии состава преступления. Клинский начал сбивать его резкими вопросами. И в это время в комнату, стуча палкой, ввалился профессор Троицкий.

— Прошу извинить, — сказал он, скинув зимнее пальто и оставшись в домашней фуфайке, поверх которой были намотаны два шарфа, заколотых булавка-

ми.— Прошу извинить за опоздание и... э-э-э... диковинный вид. Прослышал, что в этой заварухе могут пострадать невинные люди,— вот и притащился. Здешних руководителей знаю и ценю, обстоятельства взрыва изучил. Своим суждением готов поделиться, ...э-э-э... если уважаемая комиссия найдет нужным выслушать.

Затем профессора схватил припадок боли. Но прежде чем уехать, Троицкий потребовал, чтобы его мнение записали в протокол.

— Категорически! — диктовал он, держась за поясницу.— Возражаю! Против снятия! Ценных работников! Доказавших! Свое уменье! Ну и... все, что из этого следует.

От двери он уничтожающе оглядел Китаева:

— А вам, Иван Иваныч, совестно! В вашем возрасте ...э-э-э... пора и о душе подумать. А вдруг все-таки он существует — ад? Ведь поджариваться вам ...э-э-э... на горячей сковороде!

Засмеялся вместе со всеми, вскрикнул от боли — и уехал.

Китаев хихикал — шутник! Но именно шутка Троицкого отпечаталась в его памяти — и потому, что она поставила его в смешное положение, и потому, что он отнюдь не был твердым атеистом и в глубине души оставалась саднящая царапина — а вдруг?..

Эта же сцена запомнилась Клинскому — не только своей необычностью, сбившей привычный ход заседания. Клинский вдруг заподозрил, что его самостоятельное решение, которое он вынес на авторитетную комиссию только для проформы,— что это его решение не так уж самостоятельно. Он припомнил, как разные люди — Вадецкий, Колокольников, Олесов — исподволь подводили его к этому решению... Он почувствовал себя игрушкой в чужих и, возможно, корыстных руках — и разозлился.

— Хотел бы я знать, что тут происходит? — гневно спросил он.— Товарищ Олесов, может, вы объясните?

Олесов глотал воздух, подыскивая подходящие слова. Его самого убедили, что так будет лучше, и он дал себя убедить, потому что смерть инженера Голь испугала его. Но никакой уверенности у него не было, а происходящее ему смутно не нравилось.

— Разрешите, я объясню,— раздался голос Цильштейна.

Арон неторопливо поднялся и невольно взглянул на Катенина. Два дня они вместе изучали положение дел на станции, причины аварии и последующий удачный опыт с получением технологического газа. Два дня они поглядывали друг на друга все более вопросительно. Иногда Катенин оживлялся — вот это нужно делать иначе, вот тут я бы добился того-то... Арон понимал, что Всеволоду не хочется идти в заместители одного из молодых, что его увлекает размах предстоящих работ и он надеется внести что-то свое, новое,— есть же у него и знания и опыт! Но бесспорно и то, что здешние парни — молодцы, и отстранить их от родного дела — несправедливо.

Готовясь выступать, Арон сам себе внушал, что организационные решения — дело Олесова и Клинского, а дело ученых — сформулировать научно-техническую сторону вопроса. Но чем больше он слушал выступающих, тем яснее понимал, что никого тут не волнует научно-техническая сторона, все упирается в организационный вопрос: кому вести дальше вот это перспективное дело.

— Мне кажется, происходит не очень красивая игра,— сказал Арон и от возбуждения помолодел, стал прежним стремительным Ароном.— Под разговоры об аварии кое-кто пытается отобрать станцию у тех, кто ее сотворил. Отодвинуть авторов в тень. Я против. Я никогда не замараю свое имя участием в подобной сделке. Я за то, чтобы сказать честно: их метод оказался верным, а наши возражения — неверными.

Несколько часов спустя они снова сидели вдвоем в купе международного вагона. Настольная лампа озаряла оранжевым светом помолодевшее лицо Арона и угрюмое, поскучневшее лицо Катенина. Выпили чаю. Выпили вина. Беседа никак не налаживалась. Арону не хотелось объясняться по поводу того, что он помог провалить подстроенное решение,— получилось бы, что он в чем-то виноват, а чувствовал он себя правым и счастливым оттого, что ради дружбы ничем не поступился. Да и разве друг выиграет, воспользовавшись чужой подлостью?

А Катенин снова и снова переживал сегодняшнее заседание, особенно три момента его: момент, когда выяснилось, что Светов повторил опасный опыт, и Арон пожал его руку; появление профессора Троицкого; речь Арона. Теперь Катенин отдал себе отчет в том, что давно чувствовал,— молодые победили, ему остается помогать им — или отойти. Но раз так, это он должен был встать и пожать руку Светова — он сам! Автор другого, провалившегося метода. Старый инженер, проживший жизнь честно и чистоплотно.

— Выпьем еще по рюмочке? — спросил Арон.

— Выпьем.

— Ты что... сердишься?

— Нет, почему же.

Нужно было ответить прямо, как есть. Высказать все, что мучает. Это же Арон. Старый друг. Глупо, но сегодня между нами пролегла трещинка. Зряшная трещинка. Высказать все — и ее не станет. Я же сержусь только на самого себя...

Пауза затянулась. Арон пристально взглянул на сгорбившегося, угрюмого человека, сидевшего напротив него, и недоброжелательно поморщился.

— Ну что ж. Будем устраиваться спать.

— Пожалуй, пора.

Арон подтянулся на руках и тяжело перекинул полное тело на верхний диван. Перевел дух, преодолевая одышку. Повозился, устраиваясь, — и потушил верхнюю лампочку.

10

Игорь впервые летел на самолете. Это была всего лишь «уточка», самолетик почтовой, или, как ее окрестили на стройке,— «подвязанной» авиации: злые языки уверяли, что крылья подвязаны бечевками. «Уточка» доставляла на строительство почту, дефицитные детали и разных начальников — тех, кто решался вверить жизнь старенькому самолету и молодому летчику. Сам Луганов летал и в областной центр, и на узловую станцию, если там скапливались грузы, но своим работникам разрешал полеты редко — скупился. Игорь впервые получил эту привилегию и упивался ею.

Открытая кабина была загружена приборами, так что Игорь торчал наверху подобно радиомачте и при-

нимал грудью удары ветра. Пальцы судорожно впивались в борта, особенно при крутых виражах, — а летчик, знаменитый на Светлострое двадцатилетний Васька, любил крутые виражи, бреющий полет и всякие фокусы, подтверждающие его мастерство и бесстрашие. Он боготворил Чкалова и Молокова, сокрушался, что не поспел ни к спасению челюскинцев, ни к полетам на Северный полюс, ни в Испанию. Летать с Васькой было опасно — и доставляло наслаждение еще более острое, чем моторная лодка.

Игорь с Васькой совершили полет, окрашенный романтикой,— определяясь по карте на незнакомом маршруте, они искали в тайге геологическую экспедицию и сели на разбитую дорогу, чуть не перевернувшись. В связи с реорганизацией центрального управления эту экспедицию передавали в ведение геологоразведки. Конечно, работники экспедиции волновались — какие будут оклады, какой объем работ, все ли окажутся при деле. Игорь случайно узнал об этом, доложил свой план Луганову и полетел переманивать на Светлострой работников, а заодно, если удастся, разжиться кое-каким оборудованием. Луганов благословил: подписывай любые ручательства и обещания, а там разберемся — и выдал из личного фонда ящичек с коньяком. Этот коньяк и красноречивые рассказы о Светлострое помогли Игорю заполучить два новеньких потенциометра и цейсовский нивелир последнего выпуска под немыслимую расписку, где было сказано: «Во временное пользование в связи с необходимостью ремонта в мастерских Светлостроя». Потенциометры ему достались заодно с молодым расторопным геофизиком, нивелир — вместе с опытным топографом. К ним прибавились четыре техника и два буровых мастера. Приборы лежали на дне кабины, люди находились в пути.

Игорь чувствовал себя джек-лондоновским отчаянным парнем, который нигде не пропадет. Весело сознавать, что через тайгу, на лошадях, спешат люди, полные надежд и доверия к тебе, твои будущие подчиненные. А ты, сделав дело, летишь самолетом, ты такой, что некогда плестись по земле, твои темпы — авиация! Летишь — и знаешь, что приказ о назначении руководителем отдела изысканий лежит в сейфе на-

чальника Светлостроя, ты уже видел этот приказ, Луганов показал его и объяснил посмеиваясь:

— Пока не подписываю, вдруг Васька тебя угробит. Вернешься с удачей — считай себя шишкой всестроительного значения.

И вот Игорь возвращался с удачей, привыкая к тому, что он — шишка всестроительного значения.

Приметы ранней весны были очень заметны сверху. В горах полно снегу, а на полях — проплешины бурой земли, по всем распадкам, по всем канавам переливается, играет на солнце талая вода, речки вздулись. Во дворах МТС тракторы, возле них копошатся люди,— скоро посевная. Дороги — месиво мокрой глины, тут и там видишь — застрял грузовик, под буксующие колеса летят жерди, ветки и целые деревца...

Васька озорничает — снизится и промчится над самой дорогой, над головой бедолаги. Оглянувшись, Игорь видит, как бедолага грозит кулаком. Хорошо! Ветер режет лицо, пальцы и в двойных перчатках закоченели, порой страшновато,— но зато скорость, скорость и блаженство озорного риска!

Васька вывел самолет к реке Светлой. Как поднялась вода! Вот базовая хибарка — недавно стояла высоко над берегом, приходилось карабкаться к ней, а теперь вода подступила к порогу. Водомерщик Калистратов отвязывает лодку, отправляется на замеры... Игорь помахал рукой. Узнал Калистратов?.. «Ого, — подумает он, если узнал, — нашему-то Игорь Матвеичу какой почет!» Обрадуются люди моему назначению? Конечно! Видят же, кто работает.

Самолет тряхануло над ущельем, а затем раскрылась панорама Светлостроя. В возбужденную полетом душу Игоря ударила несравненная ее красота. Сверху люди и машины кажутся совсем маленькими, а все, что ими сделано, выглядит огромным, потрясающим. Среди гор и лесов вырос целый город, захлестнув оба берега, река перегорожена, стиснута, бежит по совсем узкому руслу, злится, плюется — а подчиняется. И над нею — ну да, конечно! — над нею по черным шнурам тросов скользят, покачиваясь, бадьи с бетоном. Подвесная дорога вступила в строй!

Задыхаясь от гордости — и от ветра,— Игорь смотрел на свое строительство. Пусть его труд пока не

воплотился в видимые создания, скажем в гладь водохранилища,— все равно это его строительство, его душа, его судьба — Светлострой, родина света и жизни. Да, мы создаем свет, а значит, и новую жизнь — мы — новые люди, люди творческих дерзаний, от нас зачинается будущее страны...

Так думал Игорь, пока Васька делал круги над стройкой, пугая бетонщиц ревом мотора. Бетонщицы что-то кричали,— наверно, ругали Ваську. Шоферы выглядывали из кабин, экскаваторщики выглядывали из кабин, дети глазели из окон школы, приплюснув носы к стеклам. Должно быть, и Луганов глянул из окна кабинета — ага, прилетел молодец!

Вот и Тоська на своей лодчонке. Техник запустил вертушку, а Тоська удерживает лодку на стрежне. Заслонилась от солнца ладонью, смотрит — прилетел ее милый. Заждалась?

Тоська заждалась. А Игорь только к вечеру добрался до дому. Тоська кинулась к нему на шею и заплакала.

— Ты что, глупыха?

— Изныла вся... Милый ты мой, касатик мой!..

Плакала, и целовала, и смеялась.

— Я уж думала, угробил тебя Васька, лихач проклятый!

Все у нее было приготовлено — ужин, и водочка, и самовар с песнями. И все осталось на столе — забыли.

А на следующий день началось непонятное.

Приказ был вывешен с утра. Многие люди поздравляли Игоря, но при этом как-то конфузились. Спрашивали: а куда же теперь Николай Иванович? Игорь пожимал плечами: а мне какое дело! Он торжествовал. Николай Иванович один возражал против его поездки — неумеренная щепетильность! «Это не государственный подход. Перемащивать работников — все равно что перекладывать из одного кармана в другой». Так рассуждал Николай Иванович. Вчера, увидав потенциометры, Николай Иванович залюбовался ими, а потом сказал:

— Ваше счастье, что Луганов любит подобные методы, а то я закатил бы вам выговор. С предупреждением.

Ну-ка, что он скажет сегодня?

Николай Иванович очищал ящики стола от ненужных бумаг. Руки дрожали, лицо то бледнело, то багровело. Выглядел он до странности ошарашенным, растерянным. И чего он не в меру расстроился? Опытного инженера без работы не оставят, еще сманивать будут!

— Николай Иванович, мне очень неприятно, если...

— Не будем об этом, Игорь Матвеевич. Я бы хотел сегодня же сдать дела.

Сдачу дел он проводил деликатно, но весьма нудно. Игорь был несколько уязвлен тем, что Николай Иванович обстоятельно записал в акте, какие работы и в какие сроки были проделаны при нем. Получилось внушительно — хоть премию давай! Не собирается ли он с помощью этого акта обжаловать увольнение?

Николай Иванович, видимо, угадал мысль Игоря и усмехнулся:

— Не беспокойтесь, я воевать не собираюсь.— Он продолжил, не глядя на Игоря: — Поработаете — узнаете, что на стройках бывает два этапа. Начальный, когда все утрясается, скрипит и не клеится — тут высоких темпов не дашь. Потом все отладится — и начинается разворот. Вам повезло. Вы прибыли ко второму этапу, миновав первый.— Он пожевал губами.— Ну-ка, пересчитаем кубометры...

Проканителились допоздна. Тоська несколько раз приносила им чай, с особой лаской угощая Николая Ивановича. Когда Игорь освободился, Тоська уже спала, занавеска была старательно задернута. Игорь не стал ломать голову, из-за чего Тоська дуется, улегся на свою койку и тотчас уснул.

Только на рассвете, проснувшись от стука двери (Тоська пошла делать утренние замеры), он понял, что вчерашний день оставил неприятный осадок. Что-то досадное, тревожащее возникло вокруг него. Люди, которых он считал приятелями, почему-то хмурились. Изыскатели излишне подчеркивали свое расположение к снятому начальнику. Чем он так подкупил их? Ничего не скажешь, работал неплохо — для условий начального этапа стройки. Но инициативы, молодой энергии явно не хватало. Разве не видят люди, что Митрофанов внес в работу горячность и выдумку,

что он делал для них то, чего не умел сделать Перчиков!

Ну, ничего. Уедет Николай Иванович — все наладится.

Чтобы не томиться в ожидании, Игорь отправился на моторке по всем базам. Трое суток разъездов и встреч с людьми оттеснили неприятные впечатления. На дальних точках Игоря ценили, его назначение приняли как должное, но и тут заботливо спрашивали: а что Николай Иванович? Куда он едет? А с семьей как же? И всем хотелось проводить бывшего начальника.

Подавляя досаду, Игорь взял с собой — провожать — только двух техников, работавших с Николаем Ивановичем еще на Днепрострое.

Предоставив желающим таскать чемоданы, Игорь явился на станцию за пятнадцать минут до отхода поезда. У единственного классного вагона, прицепленного к длинному составу платформ, толпилось множество людей. Кроме изыскателей, тут были и заместители Луганова, и начальники разных отделов и участков, и почему-то — много бетонщиц. С чего бы это? Вне рабочей обстановки боевые девчата выглядели смирными, на Игоря и не смотрели — а уж они ли не заигрывали с ним!

Протиснувшись сквозь толпу, Игорь увидел Николая Ивановича — затурканного, с потным лицом, и двух маленьких мальчиков в матросских бескозырках рядом с ним, и рыхлую женщину, сидящую на раскидном стуле. Жена, что ли? Ну и ну!

— Не знаю, право,— говорил Николай Иванович.— Пока отвезу их к матери, в Калугу, там все же есть кому позаботиться...— Он увидел Игоря, и гордо выпрямился, не докончив. И все молчали, с угрюмым интересом поглядывая на Игоря.

— Что ж, пора садиться,— сказал Николай Иванович.

То, что произошло в последующие минуты, навсегда врезалось в память Игоря. Рыхлая женщина, сидевшая на стуле, положила руки на чьи-то плечи, ее подняли и начали медленно, с предосторожностями вносить в вагон. Когда ее кое-как подняли на площадку, она обернулась, прощально улыбаясь. Игорь

впервые увидел ее лицо — нездорово белое, напряженное, бесконечно грустное и — славное, хорошее лицо.

— Прощайте, девушки! — крикнула она и помахала одними пальцами, так как рука опиралась на чужое плечо.

— До свидания, Вера Семеновна! Счастливого пути, Вера Семеновна! Пишите! Не забывайте! — кричали бетонщицы, глотая слезы.

Вокруг Игоря тревожно переговаривались:

— А на пересадках как же?

— Провожатых двое едут, посадят. А уж дальше...

— До Калуги три пересадки...

— Носильщиков придется.

— Кто мог думать! Сколько сделали люди, и вдруг — пожалуйте вон!

— Подкопались под него.

Женский голос гневно бросил:

— Совести нет! Ну как он теперь с таким-то грузом?

Николай Иванович торопливо совал всем без разбору руку лодочкой — отсутствующий, погруженный в свою тревогу. Кто-то подсадил детей. Проплыл над головами раздвижной стул.

Дежурный дал сигнал отправления.

Николай Иванович стоял на площадке и вяло махал рукой.

Среди людей, шагавших рядом с вагоном, Игорь заметил Тоську — заплаканные глаза, скорбные губы.

Постепенно отставая, он не смешался с толпой, уходившей тропочкой через пути, через горы шлака, а побрел к пассажирскому выходу, которым никто не пользовался, так как пока за ним была незастроенная площадь.

Ослепительная вывеска просияла над его головой — «Светлоград».

С площади открывались кварталы соцгорода и леса строящегося Дворца культуры. Реки не видно, только скалистый склон того берега, исчирканный витками дорог. Там, где должна быть река, скользят в воздухе бадьи: одни, полные бетоном, плывут тяжело — трос прогибается, другие легко бегут обратно. А по берегу тут и там белеют столбики — горизонт будущего водохранилища. Светлострой! Моя жизнь,

моя веселая судьба — Светлострой! Что же случилось? Как же это случилось?!.

В конторе было пусто. Ни один человек не зашел с проводов.

Тоська мыла пол в своей комнате. И когда успела? Все сдвинуто с мест, стулья громоздятся вверх ножками на столе и кроватях. Ни сесть, ни лечь. Высоко подоткнув юбку и переступая босыми ногами по мокрому полу, Тоська рьяно скребла доски голиком.

— Ух ты, какой аврал! — добродушно сказал Игорь.

Тоська еще более рьяно заработала руками.

— Тося, что с ней такое... с женой Николая Ивановича?

Тоська помедлила. С затаенной злостью ответила — будто официальную справку дала:

— Вера Семеновна была техником по бетону. Еще на Днепрострое. И здесь с первого дня. В паводок бетонировали — кто скорей, вода или бетон. Оступилась, упала. И вот — ноги. Отнялись у нее ноги. Второй год.

В новом освещении всплыли в памяти когда-то раздражавшие картинки: Николай Иванович гуляет с двумя детишками... Николай Иванович выходит из магазина с полной сеткой...

— Я не знал.

— Все знали, один ты не знал! — сказала Тоська и выплеснула ему под ноги воду из ведра.

— Чего ты злишься? Я не виноват, если Луганов решил...

Тоська отжала тряпку так круто, что она побелела на сгибах. Распрямила занемевшую спину. Оглядела Игоря, будто впервые видит. И вдруг закричала:

— Передо мной-то не прикидывайся, я-то уж знаю, как ты охорашивался! Я такой, я сякой, у меня планы, силушка по жилушкам! А Луганову что, бегемоту, он любит горяченьких!

Стараясь утихомирить ее, Игорь сказал шутливо:

— А ты не любишь?

Тоська в сердцах отшвырнула тряпку. Согнув руку в запястье, откинула со лба прядки волос. Гневно зашептала:

— Ну и любила, потому что — дура. Да разве я

думала?.. Ведь кого сгубил, чертов кот! Такого человека! Мало тебе было! На ставку его польстился? На должность-звание? А подумал ты, куда он теперь денется с безногой женой да с малыми детьми? Вспомнил ты, как он тебя учил-наставлял, когда ты сюда желторотым прибыл? Я помню! Через дверь слушала — вот, думаю, добрая душа! При таком начальнике любой студентишка в два счета в люди выйдет. А ты его же и подсидел!

— Знаешь, ври, да знай меру. Подсидел! С ума ты сошла, что ли? И откуда я знал, что у него с женой такое несчастье? Говорила ты мне?

— А ты спрашивал?

Игорю хотелось хлопнуть дверью, уйти раз и навсегда. Дура! Но что-то мешало ему. Если уж Тоська так думает... Нет, это просто ужасно, что даже Тоська...

А Тоська как с цепи сорвалась. Расставив ноги и крепко упираясь босыми пятками в мокрый пол, подбоченясь, гневно сверкая глазами, она так и сыпала, так и сыпала:

— Людей-то — замечаешь? О людях — интересуешься? Вот ты со мной спишь, а что ты обо мне знаешь? Фамилию мою — и ту навряд слыхал! Веселая да покладистая, полез обнимать — по рукам не шлепнула, еще и прижалась? А какая у меня жизнь была — спросил? Кто ее вытоптал, кто распрямил? Тебе и неинтересно. Сыт, обогрет, обласкан — и ладно. А в душу мою заглянул хоть раз, какая она — эта самая душа в теле? Тело-то сладко, а душа, может, горше полыни? А? Ни к чему тебе? С бумажками сотенными разбежался, кот поганый, ну и чист!

Еще и это припомнила. Случилось однажды — приболела Тоська, еле ходила. Игоря к себе не подпускала. Он встревожился:

— Да что у тебя, Тося? Может — доктора нужно?

— Что, что! — усмехнулась Тоська.— Будто не знаешь, кобелек, что у баб бывает, когда с вашим братом спутаются!

Потом еще и так посмеялась:

— Зря я не окрутила тебя по такому случаю. Неплохое было б дите от тебя, кучерявенькое, культурное.

Он мучился тогда, не знал, как вручить ей денег: ведь аборт чего-то стоил, и немало стоил, аборты запрещены...

— Ах ты, чистоплюйчик! — воскликнула Тоська, поняв его намеки.— Откупиться от греха захотел? Так ведь я бабочка вольная, на аркане в постель не затащишь, сама выбираю, кого хочу, сама и выпутываюсь. Ты бы лучше цветков нарвал, когда по базам своим шатаешься, или шампанского деми-сек — какое оно, и не пробовала. В субботу принеси, слышишь? Деми-секу! Гуляет в субботу Тоська, конец великому посту!

Они славно повеселились в ту субботу. Ни одного упрека не слыхал он от Тоськи. И денег не взяла. А теперь припомнила: с сотенными бумажками... кот поганый... Ну и язычок!

— Хватит! — прикрикнул он, рассердившись.— Намолола, наорала. Давай-ка домывай пол да освободи мне постель!

— Освобожу! — буркнула Тоська и подняла тряпку.— Сегодня освобожу, а вообще-то... квартирку похлопочите. Начальник теперь! Что вам — в углу-то!..

Как это понимать — отставка?

Хлопнув дверью, он выскочил из дому.

Кругом люди: кто гуляет, кто на крылечке сидит, кто по делу торопится. Людей много, а видеть никого не хочется.

У берега поскрипывала, покачивалась лодчонка с подвесным мотором, верная подруга.

Отомкнул замок, бросил в корму цепь, оттолкнулся...

Тихо шла лодка по вечерней реке, стрекоча мотором. Сумрачно сияла вода, вбирая блеклые краски закатного неба. Расходясь от носа лодки, широко разбегались волны, с шипением и всплесками ударяя в берега. Впереди пугающе темнело ущелье. Позади мрачно серела бетонная махина головного сооружения, зловещими пиками утыкались в небо черные стрелы кранов. Светлострой... Новые люди... Что же произошло, как же это вышло так нехорошо?

Пронзило воспоминание о рассказе приятеля: на оперативке Николай Иванович докладывал ход изысканий. Луганов прервал:

— Ваш заместитель доложил мне проект перестройки работ. Хвалю. Поддержу.

Николай Иванович замялся, так как не знал, о чем речь.

— Способны вы провести всю эту историю? — напирал Луганов.— Тогда действуйте поэнергичней.

Николай Иванович молчал.

— Да проснитесь вы! — закричал Луганов.— Вот, ей-богу, рыбья кровь!

Когда Игорь вернулся из Москвы, Николай Иванович сухо заметил ему, что не следует действовать через голову своего начальника.

Игорь сказал:

— Это был частный разговор у костра.

А это была — подлость. Как ни верти — подлость.

Темнела река, закручивая струи воронками. Низко нависало небо. Без цели моталась по реке лодчонка с подвесным мотором. И сотни горьких мыслей, клочковатых воспоминаний давили голову. Хоть плачь, хоть кричи. Слез не было, и крика не получилось, слово сорвалось с губ совсем тихо, жалобно: папа!

Он повторил про себя — папа!

Но тысячи верст между ними. Отчуждение — между ними. И нельзя помчаться к нему, чтобы припасть к родной руке, и ничего не суметь — в письме. Нужно — самому.

11

Как оно приходит — возмужание?

Ты уже вырос как будто, раздались плечи, погрубел голос, ты кое-чему научился, с тобой уже считаются всерьез, как с работником, но тебе еще в диковинку уважение взрослых и забавно, если тебя величают по имени-отчеству. Еще подводят самолюбие и беспечность, еще не умеешь ни взвесить, ни проконтролировать самого себя, и никто не догадывается, как часто ты спотыкаешься и как больно бьет тебя по носу жизнь. Ты считал лучшими свойствами человека мужество и неподкупное благородство. Как же случилось, что вдруг, опомнившись, ты обнаружил, что тебе изменило благородство, а мужество оказалось незатейливым позерством?.. Ты проверяешь себя еще и еще, все тревожней, все смущенней. Сколько неле-

пых поступков, мелких побуждений! Решений всего два: или прикрыть глаза на то, что обнаружил, и жить как придется, как поведут желания и страсти,— или взять себя за шиворот и судить самого себя жестче, чем судишь других.

Ты выбираешь второе. Ты учишься руководить — нет, не людьми, самим собой; это трудней. Среди соблазнов и увлечений ты прислушиваешься к голосу разума и совести. У тебя не было недостатка в идеях и принципах, но они порой существовали сами по себе, а поступал ты так, как подскажет минута; и вот ты продираешься к сочетанию идей и воплощения, принципов и поступков...

Двадцать шесть лет. Еще чуть-чуть мальчишка, уже — совсем мужчина. Все силы развились, и ничто не потускнело. Мир еще нов и влекущ, но ты уже определился в нем.

Это — зрелость?

Игорь стоял у окна вагона и с немного выспренней многозначительностью обдумывал жизнь и самого себя. Это помогало смирять нетерпение,— он подъезжал к Москве.

Какими прелестными показались ему подмосковные округлые холмы, неспешно струящиеся речушки в зеленых берегах под задумчивыми ивушками, деревни — такие зеленые, что домов почти не видно, только заросли кустов, ветви яблонь с желтеющими плодами да крыши, возносящие в небо торчки антенн. Поля раздольны — на одних желтеет стерня, другие только что вспаханы, и даже издали чувствуется, как сочна земля.

Нет ничего блаженней возвращения домой. Наверно, через две недели, подъезжая к Светлограду, тоже будешь радоваться — место, где ты как следует поработал, становится родным, и ревниво хочешь участвовать во всем, что там будет. Если бы сейчас предложили на выбор — Светлоград или Москва, ответил бы не задумываясь: Светлоград! И все-таки нет ничего милее московских неровных улиц и улочек, суматошных трамваев и роскошных залов метро, пестрой московской толпы, где певучий московский говор перемежается сотнями говоров и языков. Нет ничего милее дома в кривом переулке, где на осип-

ший от времени звонок выбежит мама, где в дверях кабинета, заваленного книгами, покажется отцовская сутуловатая фигура в домашней куртке...

Они казались неизменными — и переулок, и дом с облупившейся штукатуркой, и запах табака, тянущийся из отцовского кабинета, и уж, конечно, неизменны мама и отец. А вот он изменился. Почувствуют они перемену в нем? Отец — почувствует?

Отец скажет: валяй, рассказывай. О делах изыскательских — тут отец поймет с полуслова. Что-то одобрит, в чем-то осудит или предостережет. А вот о том, главном... «Папа, я узнал простую истину, что каждый работник — человек со своей жизнью». Звучит наивно — подумаешь, открытие! Отец говорил об этом не раз. И Аннушка Липатова. Но в том-то и дело, что мало знать, нужно ощутить изнутри. Я не ощущал. Наука далась нелегко. А потом оказалось, что это не так уж трудно, самому приятней. «Папа, я перевел Калистратова с дальней точки в Светлоград, потому что у него жена вот-вот родит, она молодая и боится». Нет, об этом не стоит, отец скажет — правильно, но чем тут хвастаться? «Папа, трех парней, которые готовятся в техникум, я свел с разных буровых на одну, чтобы они могли заниматься вместе». Тоже ничего особенного. С Калистратовым были кое-какие сложности, а тут обычная переброска. Но ведь не в ней главное. Главное — я сам узнал о том, что жена Калистратова нервничает, а те парни учатся. Раньше меня уважали, подчинялись мне,— а о своем, о личном не рассказывали. Даже Тоська...

О Тоське определенно нельзя — ни с мамой, ни с отцом. Для мамы все женщины, что появляются в жизни сына,— это «такие женщины», способные окрутить, а то и заразить болезнями, которые она брезгливо называет по-латыни. Мамины разговоры на эту тему — сплошная профилактика. С папой... нет, и с папой все еще чувствуешь себя мальчишкой, которому нужно притворяться, что он не курит, не пьет и чурается женщин. Папа сам поглядывал на Лельку Наумову с нежностью, это уж точно. Но рассказать ему о Речной Тоське?..

Три недели Игорь спал на раскидушке в конторе. Тоська первая пришла к нему. Ничего не простив, не

требуя покаяний,— пришла, поманила. Он хотел объясниться, она лениво улыбнулась:

— Не надо. Ты ж не злой, глупый еще. Я ж понимаю.

Были дни в их возродившейся близости, когда он решил, что честность требует женитьбы. Заговорил об этом с Тоськой. Она растрогалась, а потом сказала:

— Дурость все, Игорек! Дурость! И я тебе не жена, и ты мне не муж.

Может, она ждала, что он будет спорить, просить? Кажется, нет, не ждала.

Однажды он простудился, захворал. Тоська часами сидела возле него. И как-то ночью, когда он лежал ослабевший и смирный, начала рассказывать о себе:

— Знаешь, как дурешки молодые влюбляются? Так и я. Только и свету в окошке — Фролушка! Красивый он был. Ну и я — ничего. Кто ни поглядит — парочка! Поженились, я думала — не бывает лучшего счастья у людей. Он на меня дышит, я на него. Рыбачим — вместе, домой — вместе. А только запало мне, дуре, в голову — пусть станет инженером по рыбному делу. Приезжал к нам один такой. Интересно все объяснял. Понравилось. Размечталась. Он говорит — давай вместе. А тут сыночек родился. Куда с ребенком ехать? Уговорила я его — жизнь большая, мы свое возьмем, только выучись! Уехал. Далеко уехал, в Астрахань. Первый год писал, и я писала, деньги посылала, на каникулы ждала. И вдруг пишет — летняя практика на Каспийском море, не отпускают. Могло так быть, как думаешь?

Помолчала, сама себе ответила:

— Хотел бы — нашел бы время. Да разве я тогда понимала! А на второй год, в октябре, заболел сыночек. Дифтерит. И как его, маленького, скрутило... У нас ни врача, ни фельдшера. А Фролушка мой задыхается, задыхается у меня на глазах. Схватила я его, закутала — и в лодку... все равно спасения нет, или в город добраться, или здесь похоронить. Всю ночь гребла. Погляжу, жив ли, и опять гребу. А один раз поглядела — кончается...

Она рассказывала, как закричала над ним, как пустила лодку обратно по течению — пусть бросит

на камни, потопит, все легче, чем остаться жить. Так ведь не потопило! А большой Фрол не вернулся. Ждала-ждала, потом запросила его институт, ответили: выехал на работу в район Азовского моря...

Рассказывала она с подробностями, взволнованно дыша, заново переживая обиду. А заключила с усмешкой:

— Вот тогда я и узнала цену вашему брату. Без вас — скучно, а только любви ни одни не стоит. Так, забавы ради...

Чувство, которое возникло у Игоря в последнее время, тоже было ново — он жалел ее. Подчеркивает Тося, что оба — вольны, сняла с него всякую ответственность — а он ее ощущает...

Спросить бы отца — как он рассудит. Да не спросишь такое.

В переулке снесли два деревянных дома, возводили каменный, многоэтажный. Дом, где он родился и жил, оштукатурили заново. Но лестница была старая, запущенная. Звонок звонил так же сипло. Открыла мама.

Она вскрикнула и обняла его точно так, как ему представлялось, а затем сказала своим деловым «депутатским» голосом:

— В командировку? Надолго? Зря не телеграфировал, я назначила на вечер заседание, которое могла отложить.

Потом она установила, что у нее есть два часа с четвертью, и снова превратилась в маму, как таковую,— заставила принять душ, начала хлопотать на кухне. Конечно, в доме не нашлось ничего, кроме сосисок и пирожных,— такая уж она хозяйка. Но сосиски были московские, поджаренные мамой, и пирожные были московские, и напротив сидела мама в темном свободном платье — докторском, под халат.

— Ты изменился, да?

Так спросила мама.

— Очень.

— Надеюсь, к лучшему?

— По-моему, да.

— Постепенно разберемся.

И все. Мамино золотое качество — не докучать расспросами.

— Знаешь, мама, наш Луганов так же, как ты, любит говорить «разберемся». Мы с ним весной умыкнули из одной экспедиции несколько работников, нивелир и два потенциометра. Он сказал: разберемся. И до сих пор разбираемся.

Мама-депутат сдержанно улыбнулась и спросила: как?

— Крутили, отговаривались, а недавно сообщили, что приборы сломались, пришлете счет — оплатим, а на большее не рассчитывайте.

Мамины глаза смеялись, но затем вступила в строй старая большевичка Митрофанова, которая считала, что нужно бороться за честные нравы и такой порядок, при котором... И обе мамы, прищурив близорукие глаза, спросили:

— Это и есть твое изменение к лучшему?

— Нет, я сперва умыкнул, а потом стал меняться. И знаешь почему? Краденый геофизик оказался порядочной дрянью.

— Так тебе и надо! Он не перебежит еще куда-нибудь с этими... потенциографами?

— Потенциометрами. Может и перебежать.

Было чудесно, что мама не ахала и не тревожилась, а говорила с ним как с равным. Было чудесно смотреть на ее круглое розовое лицо с мелкими морщинками у глаз, на ее коротко остриженные седые волосы — седина не старила ее, а украшала.

— Папа скоро придет?

— Нет.

По краткости ответа ясно, что мама чем-то недовольна.

— Что он делает? Работает?

— Он работает, но не служит,— точно ответила мама.— Числится в резерве. Ему предлагали экспедицию на Север — отказался. Просился в район Тургайского плато — не послали.

— Неприятности... кончились?

— Ты же знаешь папу — молчал, молчал...— Мама очень похоже изобразила упрямо молчащего папу.— А потом взорвался — да как пошел резать

правду-матку! Говорит, стер в порошок этого Сорокина. Ну, не знаю...

— И чем же он занят?

— Все тем же.— Мама пристально поглядела в глаза Игорю и веско сказала: — Все нужно, сынок. И твоя кипучка, и мои «дышите — не дышите», и его большие замыслы. Мне не нравилось, когда ты судил узко.

Припечатала — и не стала развивать мысль. Умному понятно.

— Так где ж все-таки папа?

Мама поглядела на часики и сказала, что сейчас папа делает доклад студентам географического факультета.

— Это в порядке чего же?

— В порядке личной инициативы,— сказала мама.— Множество докладов в самых различных аудиториях. Знаешь, у Маркса — идея, овладевшая массами, становится материальной силой. Он сейчас очень — в форме.

— Та-ак... А оттуда он — куда?

Мама презрительно дернула губами и сообщила, что сегодня — день рождения этой... Татьяны Николаевны, и папа пойдет «на весь этот шум».

— Сколько же ей лет?

— Не знаю. Говорит, что тридцать пять.

— А ты по-прежнему не любишь ее и к ним не ходишь?

— Я люблю Русаковского, когда он один. А ходить нужно только туда, куда хочется. На иное жаль терять время.

Это говорила старая большевичка. Она сердилась и, наверно, весьма преувеличенно представляла себе «весь этот шум», создаваемый Русаковской, но справедливости ради тут же объяснила:

— Он колебался, идти ли. Я сама его послала. Тем более что у меня заседание. Ему полезно встряхнуться,— добавила доктор Митрофанова.— Он слишком безотрывно работает. Как я понимаю, ты побежишь туда, как только я уйду,— насмешливо предположила мама.

— Это идея! Но сперва я провожу тебя на заседание.

После бивуачных условий Светлограда, работы с утра до ночи и общества Речной Тоськи было особенно приятно попасть в среду интеллигентную, блестящую и веселую, увидеть нарядных женщин,— вернее, нарядную женщину, потому что тут, как всегда, безраздельно царила Татьяна Николаевна, две пожилые родственницы шли не в счет.

Татьяна Николаевна была в восторге от появления Игоря,— видимо, не хватало молодежи. Женя Трунин все-таки уехал на Алюминиевый комбинат.

— А Илька Александров здесь?

Татьяна Николаевна с притворной веселостью сказала, что Илюша отбился от рук, целые вечера играет в теннис — новое увлечение! Приедет попозже.

Игоря уже не интересовало, будет ли Илька,— в приоткрытую дверь он заметил отца — отец что-то оживленно говорил и казался помолодевшим, посвежевшим, таким Игорь его не видел давно.

Встреча вышла еще лучше, чем он представлял себе. Отец, не стесняясь, обнял его, и расцеловал, и похвастал перед гостями:

— Вот какой сын вымахал! Строитель Светлоградской ГЭС!

И уже не отходил от Игоря.

По случаю дня рождения стол был парадно накрыт, а столовая уставлена цветами — в корзинах, в горшках, в вазах. Татьяну Николаевну посадили на возвышение, украшенное розами, — она была очень хороша среди роз, но уверяла, что муж придумал это нарочно, так как при каждом движении ее подстерегают шипы. Русаковский казался очень влюбленным. Большинство гостей — тоже.

И только два человека были заняты друг другом — отец и сын. Они и сели рядом, на конце стола, и при всех тостах чокались за что-то свое. Никаких объяснений между ними не было, объяснения оказались ненужными. Почему узнал отец, что сын много пережил и продумал? Какими путями он дошел до понимания того, в чем сын не признался? Только он сказал:

— Вот теперь можем выпить за отца и сына.— Чокнулся и лукаво спросил: —А святой дух не завелся?

— Святой — нет,— ответил Игорь.

Отец поперхнулся от смеха и с мамиными интонациями сказал:

— Разберемся!

Галя Русаковская — в кружевном платьице, с громадным красным бантом — сидела по другую сторону от Матвея Денисовича и старательно потчевала обоих.

— Выпьем за Галинку, папа? За то, чтобы гидротехник Русаковская повернула на юг те реки, которые не успеешь повернуть ты!

Произнеся тост, Игорь испугался слов «не успеешь»,— но Матвей Денисович уловил в этом тосте другое, неизмеримо более важное для него, выпил до дна, а потом нашел под столом и крепко пожал руку сына.

Звонок возвестил о приходе запоздавшего гостя.

— Это Илюша! — воскликнула Татьяна Николаевна, радуясь, что ее свита укомплектована полностью.

Действительно, за дверью мелькнул Илька Александров, но перед собою он пропустил в комнату высокую тоненькую девушку, одетую по-спортивному ловко.

— Прошу внимания! — провозгласил Илька.— Витя Сарычева. Кандидат физических наук. Теннисистка-перворазрядница. Привел, потому что отдельно от нее я уже не человек.

Первое, что заметил Игорь, было быстрое изменение в лице Татьяны Николаевны — внезапный гнев, минутное смятение, а затем чарующая улыбка. Вторым впечатлением Игоря было то, что девица, без которой Илька Александров уже не человек, некрасива и к тому же слишком высока и худа. Девица и Илька в четыре руки преподнесли Татьяне Николаевне небольшую, слегка потрепанную книжку.

— О, это библиографическая редкость! — воскликнул Русаковский.

— Сейчас мы вас усадим,— сказала Татьяна Николаевна, высматривая, куда приткнуть прибор.

Все засуетились, сдвигая стулья. Илька со своей Витей оказались рядом с Игорем. Илька смотрел на нее с такой восторженной преданностью, что Игорю начало казаться, что теннисистка и кандидат наук не так уж дурна, как сперва показалась. Мужская стрижка идет к ее узкому лицу. В глазах и улыбке —

много ума. Спортивный стиль выбран с толком. Нет, она — ничего.

Матвей Денисович осведомился, по какой теме защитила столь юная девушка кандидатскую диссертацию. За столом притихли, всех интересовало то же самое. Витя Сарычева понятливо блеснула глазами, но ответила уклончиво:

— Тема специальная, чисто теоретическая.

— О-о! — протянула Татьяна Николаевна.— Вы боитесь, что мы не поймем?

— Нет,— быстро откликнулась девушка и метнула в ее сторону взгляд, похожий на удар шпаги.— Я просто вспомнила, как после защиты ко мне подошел один почтенный профессор, поздравил меня и спросил: «А теперь признайтесь, милая девушка, неужели вы все это сами написали?»

Переждав, чтобы затих общий смех, Татьяна Николаевна с милой улыбкой сказала, что вопрос даже лестен, потому что для всякой девушки обаяние молодости в общем-то ценнее, чем признание больших научных знаний, недаром наша гостья кроме теоретических исследований увлекается изящным спортом. Пилюля была подана в нежнейшей упаковке, но это была все же пилюля.

— Обаяние молодости иногда отступает перед опытом зрелых лет,— немедленно ответила Витя Сарычева.— К тому же я занимаюсь атомами, а они такие маленькие, что прекрасно помещаются рядом со всем прочим.

— Два — ноль в вашу пользу! — воскликнул Игорь.

Теперь он находил девушку очаровательной. Тонкое, своеобразное лицо. И остра — палец в рот не клади! Даже страшновато опростоволоситься перед нею. Вероятно, это почувствовала и Татьяна Николаевна. Игорь видел, что она взбешена и потеряла уверенность. Но нет, она не сдалась. Она сделала лучшее, что можно было:

— Прошу тост! В этом доме давно ценят Илюшу Александрова. Сегодня мы принимаем в дом и в сердце его подругу. Так выпьем за талант, за молодость, за счастье!

— Ах, умна! — шепнул Матвей Денисович сыну.

— И хороша! — добавил Игорь, возбужденный стремительным поединком двух женщин и уколами мужской зависти; он даже не вспомнил Речную Тоську, он подумал о том, что вот и Илька нашел свое, а он — один, и нет женщины, которую он мог бы показать друзьям, любуясь ею и гордясь.

Удивительно, как отец сегодня понимал его!

— Когда есть молодость, талант шлифуется трудом, а счастье... счастье приходит само, и обычно не с той стороны, откуда ждешь.— Он улыбнулся Ильке и Вите Сарычевой, но говорил для Игоря.— Займешься спортом ради спорта, а оно вдруг выглянет из-за ракетки.

Игорь ласково присматривался к отцу — что сделало его, немолодого, обремененного всякими неприятностями,— таким счастливым? И что такое счастье? Для Ильки оно сейчас — синоним любви. Но счастье шире — и протяженнее, чем любовь. Пройдет начальное упоение — и любви окажется мало. Так в чем же оно? В ладу с самим собой? В полном удовлетворении тем, что делаешь! Не в достигнутом результате — за одной целью тотчас возникает другая... Вероятно, счастье — в процессе полного использования своих умственных и душевных сил ради того, что тебе дорого? Но тогда, значит, я счастлив, хотя и не думал об этом?

Позднее, возвращаясь домой пешком, чтобы проветриться, Игорь спросил:

— Папа, когда ты чувствовал себя всего счастливей?

Отец ответил после короткого раздумья:

— Много раз. И каждый раз по-иному.

— А самое-самое большое счастье — когда было?

Отец долго не отвечал, шел медленно, слегка закинув голову. Ищет в памяти? Или вопрошает звезды, которыми сегодня полным-полно открытое небо?

— Тебе покажется странным — от человека в пятьдесят пять лет,— проговорил он и повернул к Игорю энергически напряженное лицо,— но мне почему-то представляется, что самое-самое еще впереди.

12

Все началось с того, что в центральных газетах появились — одна за другой — статьи об успехах подземной газификации угля.

Кто мог думать, что статьи накличут беду? Им радовались, ими гордились. Липатов уже привык принимать журналистов и фотографов, не растерялся и перед кинохроникой — надел чистую рубашку, повязал галстук и вполне правдоподобно поразговаривал с Ваней Сидорчуком у головки скважины, не обращая внимания на лучи прожекторов и жужжание киноаппарата.

Дело развивалось. Уже заложили опытно-промышленную станцию в Кузбассе, где нашлись свои энтузиасты подземной газификации. Началось строительство станции в Подмосковье — там, где не так давно провели опыт по методу Вадецкого — Колокольникова. Проектировались новые станции. Наиболее пылкие энтузиасты утверждали, что пройдет лет пять, в крайнем случае — десять, и новых шахт строить не будут.

Уверенность в успехе преображала людей. Олесов, про которого Липатов говорил, что он жмется, мнется, переминается и лучше удавится, чем сам примет решение,— Олесов прямо-таки «землю рыл» — его доброе внимание ощущали все работники. Он уже не глядел в рот Вадецкому и позволял себе повышать голос на Колокольникова, если тот затягивал срочные решения.

Впрочем, и Колокольников изменился. Барственной холодности поубавилось, заинтересованность техническими проблемами, возникавшими в практике, проявлялась все чаще. Теперь и он позволял себе за глаза ругнуть Вадецкого «злыдней» и «другом на час».

Алымов был еще напористей и громогласней, чем раньше; его глазки неистово сверкали из-под набрякших век, ноздри раздувались. Он дышал воздухом удачи и счастливых предчувствий. В Донецке он бывал теперь реже, в его обращении с Катериной пробивались властные нотки. А Катерина будто и не замечала этого или ей нравилось — кто знает! Когда

приезжал Алымов, она бросала и дочку, и любые дела, у нее был вид человека, спешащего впрок наглотаться радости.

— Все не как у людей,— вздыхала мать,— муж он тебе или не муж?

Катерина отвечала заносчиво:

— А какая вам разница — кто?

Однажды она вдруг задумчиво сказала брату:

— Если ты переедешь под Москву, может, и мне с тобой поехать? Я бы в компрессорной могла работать.

Палька так удивился, что не ответил. Впрочем, она и не ждала ответа.

Опытных работников не хватало, одному из руководителей станции № 3 предлагали перебраться в Подмосковье. Палька считал, что ехать должен Липатов — там идет строительство, у Липатова по этой части больше опыта.

Липатов говорил: «Нема дураков». Он заявлял: «Предложи мне в Кремль — и то не поеду!» Он кричал: «За столько лет впервые семья в сборе, да чтоб я опять бобылем мотался?!»

Да, впервые за много лет Аннушка была рядом. Ее светлоглазое, дочерна загорелое лицо и фигурка в выцветшем комбинезоне постоянно мелькали на станции № 3 в тех местах, где закладывали новые скважины, а контора буровых работ теперь всегда отпускала доброкачественные штанги.

Липатову доставляло огромное удовольствие говорить людям: «мне пора домой», «меня ждет жена»...

На самом деле не все было так гладко, как он старался показать. Аннушка пыталась — и не умела наладить жизнь семьи. «Захолостячилась я, что ли?» — виновато вздыхала она, с досадой замечая, что хозяйство расползается в ее неопытных руках, что всех домашних дел не переделать, как ни старайся, а дочка не слушается и глядит в сторону. Осенью Иришка устроила настоящий бунт, отказавшись перейти в другую школу,— были и слезы, и крики, и умильные просьбы, а кончилось тем, что Иришка осталась в поселковой школе, ездила туда трамваем, а из школы забегала к Кузьменкам и норовила заночевать. Липатов сердился, Аннушка огорчалась

и нередко мчалась вечером в поселок Челюскинцев — за дочкой.

Всю неделю жизнь шла кувырком, зато в субботу начинался семейный аврал. Липатов занимался хозяйственными заготовками, Аннушка повязывалась передником и с подчеркнутой домовитостью стряпала всякие кушанья и пекла пироги — их потом хватало до среды. Иришка быстро усвоила, что за примерное поведение в субботу и воскресенье ей простятся грехи во все другие дни недели, являлась домой прямо из школы, убирала квартиру и лихо мыла пол, всеми ухватками подражая Лельке. Она умела подластиться к отцу и выпросить всякие поблажки. Утром она будила отца, водя теплой ладошкой по его колючей щеке:

— Ежику надо бриться!

Липатов таял от блаженства и покорно брился, а дочка подавала ему теплую воду и протирала бритву, между делом обеспечивая деньги на кино — себе и Кузьке, а то и еще кому-нибудь из поселковых приятелей.

С понедельника все опять шло кувырком, но до середины недели Липатову хватало субботних и воскресных ощущений. Ему казалось, что вот-вот все наладится. Срываться куда-то на новое место? Дудки! Пусть Палька едет, ему что! — собрал чемодан и готов.

Палька не говорил ни «да», ни «нет». Он понимал, как интересно и важно испытать метод на бурых углях Подмосковного бассейна, но ему было жаль покидать донецкую станцию — теперь, когда она начала выдавать промышленный газ, когда идут исследования, двигающие вперед всю проблему подземной газификации. На новой станции придется заниматься строительством и наладкой, то есть в известной мере повторением пройденного.

— Я могу приезжать консультировать их,— сказал он Олесову, а потом сам удивился: ишь ты, какой важный стал, соглашаюсь консультировать!

И все же порой хотелось все бросить и уехать куда глаза глядят, потому что здесь, в Донецке, было трудно встречаться и еще труднее — не встречаться с Клашей Весненок.

Перед тем как Степу увезли в Одессу, Степа сам заговорил о Клаше и высказал то же, что думал Палька,— бесполезно глушить любовь ради чего бы то ни было.

Если бы Палька мог честно взглянуть в глаза товарищу, разговор шел бы иначе. Но перед ним был человек с повязкой на глазах, с бескровными, мучительно сжатыми губами. С этим человеком, быть может обреченным на вечный мрак, Палька не мог говорить начистоту.

— Мудришь, дружище,— сказал он,— ты не так понимаешь наши отношения. Мы с Клашей приятели, но и только. Так что езжай спокойно и скорей поправляйся.

Поверил Степа? Может, и поверил.

Из Одессы сведения поступали неясные. Сверчкова-мама была не очень-то грамотна и легко впадала в панику. В общем, она сообщала, что Филатов надеется восстановить зрение Степы, но ничего не обещает, а операции мучительны... Иногда приходили короткие писульки от самого Степы. Из нацарапанных вслепую каракулей следовало заключить, что все идет прекрасно, Одесса — чудесный город, а Степа скучает без подземной газификации. В конце письма он передавал приветы всем товарищам — и Клаше. Ей он не писал совсем. Значит, все-таки не поверил?.. Клаша продолжала каждую неделю писать ему длинные письма — крупными буквами, чтоб разобрала мама.

Пальку Светова она избегала.

Долгое время Палька считал, что виной всему — та встреча у гостиницы, тот пижонский поцелуй руки! Конечно, Клаша и слушать не захотела, когда он попытался объяснить ей.

— Мне это совершенно неинтересно.

Среди других истин, известных Клаше абсолютно точно, была и та, что целование руки — буржуазный и даже феодальный пережиток. Палька тоже считал, что это пережиток, и не мог допустить, чтобы Клаша истолковала в позорном для него смысле тот несчастный поцелуй.

— Липатушка, будь другом, найди способ объяс-

нить Клаше, что сделала для иас Русаковская,— так он решнл выкрутнться из трудиого положения.

Липатов согласнлся неохотио. Как и все, он считал, что Клаша связаиа со Степой, а зиачит — нечего заглядываться иа других. Ои все же рассказал Клаше, как было дело. Оказалось, Клаше это интересио. Палька сразу почувствовал, что оиа перестала дуться иа иего. Но избегать — ие перестала.

Оии подолгу совсем ие виделись. Чтобы ие оказаться вечером возле ее дома, ои оставался иочевать иа стаиции. Так удавалось протянуть семь дией, десять дней, иногда — две неделн. И иаступал вечер, когда ноги сами вели его на ту улицу.

— Клаша, здравствуй! — восклицал он, подкараулив ее.

— Откуда ты взялся? — розовея, удивлялась Клаша.

Оии проходили мимо ее дома и бродили взад-вперед, выбирая безлюдиые улочки. Они так долго ждали встречи, что теперь моглн говорнть о чем угодио, лишь бы встреча длилась н длилась. Палька каждый раз открывал в ией что-то иовое — н даже ее иедостатки казались ему чудесиыми. Выясиилось, что она нетерпима и порой несправедлнва к своим иедругам — одного из иих, весельчака Кольку Бурцева, оиа считала вместилищем всех пороков; Палька зиал этого парня и поимал, что Клаша преувеличивает, но слушал с наслаждением — в ее несправедлнвости было столько страсти и потребности видеть людей прекрасиыми! И сиова к иему пришло определяющее слово «иадежиая». Надежиая — ие на час, иа всю жизнь...

Выясинлось, что у нее кремеиь, а не характер. Одиажды, споря и с нею, н с самим собой, он высказал мысль, что считаться с предвзятым мнением окружающих и радн этого подавлять себя — иедостойно. Клаша подумала и твердо сказала:

— Я иикогда ие считаюсь с миеиием неправильным.

Зиачнт, общее убеждеиие в том, что ее н Степу связывала любовь — правильно? Палька иасупнлся. Клаша поияла и, покраснев, быстро добавнла:

— Но с совестью считаться иеобходнмо.

В другой раз они заговорили о фашизме и о возможности войны — опасность войны, то грозно приближаясь, то отдаляясь, все время нависала над страной. Немного рисуясь, Палька спросил, будет ли она тревожиться о нем, если он пойдет воевать.

— А я сама буду на фронте,— сказала Клаша.

Когда позднее она прочитала ему строки Светлова:

Наши девушки, ремешком
Подпоясывая шинели,
С песней падали под ножом,
На высоких кострах горели,—

он мысленно видел именно ее...

Лучшие минуты их редких встреч были связаны со стихами. Все то, что они не позволяли себе сказать друг другу, говорили за них стихи. Можно было подумать, что поэты, сговорившись, писали для них двоих.

Слышишь, мчатся сани, слышишь, сани мчатся,—
Хорошо с любимой в поле затеряться,—

читала Клаша, и это они мчались на тройке, хотя никогда не видали троек, и он ее придерживал рукой в узких санках, и они терялись в снежном поле — совсем терялись, для всех и ото всех...

Нож сломанный в работе не годится,
Но этим черным сломанным ножом
Разрезаны бессмертные страницы.

И это было о них, о поколении самоотверженных, к которому они оба принадлежали всеми помыслами, свято веря, что новые счастливые поколения примут из их загрубевших рук все, что ими создано.

Я не знаю, где граница
Между пламенем и дымом,
Я не знаю, где граница
Меж подругой и любимой...

Эти строки были непосредственно о них — о ней. Клаше показалось, что не она, а он произнес эти слова — ей в упрек, и она не дочитала стихотворения, потому что дальше шли строчки, которые требовали от нее: встань рядом с любимым и не расставайся! Правда, в тех стихах речь шла о военной грозе, но Клаша подумала: если б грянул такой час, их ничто не разлучило бы, кроме смерти. Сейчас — сложнее.

— Забыла... Нет, вру. Думаю.

— О чем?

— Бывает, что граница все-таки есть и ее не перейти.

Он был не из робких, а перед нею робел. Перед путаницей их отношений и обязательств совести — робел. Но сейчас подошла минута, когда можно заговорить о том, о чем они так долго молчали.

— Хочешь не хочешь, а границы никакой нет. Ты — любимая.

Несколько минут — а может, секунд — они были очень счастливы, потом Клаша положила ладонь на его рукав и еле слышно произнесла:

— Я давно хочу сказать тебе. Ты здоровый и удачливый, во всем удачливый. И я — в общем, у меня тоже все хорошо. А у него плохо. И он надеялся... я сама виновата, что он надеялся, мы так дружили, я совсем не знала, какая она — любовь. А теперь я не могу подбавлять ему горя. Ты больше не приходи, Павлик. Не приходи. Пойми — нехорошо.

Сколько бы он ни сопротивлялся в душе ее требованию, сколько бы он ни убеждал себя, что их разлука не принесет Степе ни любви, ни облегчения,— он сам не мог подбавлять горя Сверчку.

«Уехать! — решал он.— Уехать, сменить обстановку, закрутиться в новых заботах!»

Он еще не дал согласия на отъезд, когда разразилась беда.

Вот уже два месяца шла перебранка между Липатовым и начальником шахты,— разработка пласта подходила все ближе к станции, переступая границу участка, отведенного для подземной газификации. Липатов требовал, чтобы шахта прекратила проходку. Руководители шахты упирались, потому что как раз на этом направлении добыча угля росла день ото дня... Липатову было трудно ссориться с ними. Все — дружки-приятели. Участок, вклинивающийся в запретную зону,— его бывший участок, где и сейчас работает Кузьма Иванович.

Он попробовал уговорить Кузьму Ивановича — уйди добром.

— Да ты что, Михайлыч? — огрызнулся старик.— Или позабыл, что такое план? Заграбастали этакий мощный пласт и в ус ие дуют!

— Так ведь опасно, Кузьмич!

— А ты погляди, где мы, а где ваши примуса — больше ста сажен. Породы там крепкие, не пропустят.

Стыдясь иетоварищеского поступка, Липатов всетаки позвонил в угольный трест и добился, что трест запретил шахте переступать границу размежевки. Начальник шахты в тот же день отругал Липатова по телефоиу:

— Экой ты сутяга оказался! Зарезать иас хочешь?

Приказ на то и приказ, чтоб его выполияли. Но Ваня Сидорчук, друживший с маркшейдерами шахты, разузиал и сообщил Липатову, что шахта продолжает «гиать добычь» из запретной зоиы и до коица квартала — то есть еще две недели — свертывать там работы не собирается.

— Эх, иадо бы дать сигнал в трест...

— Вообще-то говоря — надо бы...

Оба — шахтеры, они поимали, что их «сигнал» может сорвать шахте перевыполиение плаиа и получеиие премий.

— Пожалуй, за две иедели слишком близко не подойдут?

— Напишу-ка я им бумажеицию с протестом, а там — как хотят,— решил Липатов.

Он составил для проформы солидную «бумаженцию» и вручил ее секретарше: свезите! Секретаршей работала жеиа Сигизмуида Аитиповича, бывшего жоиглера, сумевшего все-таки доказать, что когда-то, до работы в цирке, он окоичил бухгалтерские курсы. Его бывшая партиерша писала плохо и все делала иевпопад, ио зато жила при стаиции и соглашалась на малеиькую зарплату, да еще и возила бумажки в город, так как любила заодно побродить по магазинам.

— У меия текут боты,— иитимиым шепотом сказала оиа Липатову и поглядела за окио — с утра лил дождь.— Я поеду завтра, хорошо?

Дня через три из Москвы позвонил Олесов и таинствеиным голосом сообщил, что «иекоторые представители» заиитересовались советскими работами по подземной газификации угля и *сам* — слышишь, Иван

Михайлович! — *сам* товарищ Сталин обещал предоставить им возможность посетить донецкую станцию! Нужно срочно подготовиться к приему важных гостей и поглядеть, можно ли обеспечить в Донецке «дипломатический комфорт».

Недавно был заключен договор о ненападении между СССР и Германией. Липатов с большим скрипом принимал этот договор — он предпочел бы дать Гитлеру по морде.

— Западные соседи? — хмуро спросил он.

— Видимо.

— И что же, будем все им рассказывать и показывать?

— А ты в меру, Иван Михайлович, в меру!

— Это я могу: они мне пять слов не договорят, а я им — десять. Нехай едут... Но, значит, *сам* о нас знает?!

— Как видишь! — Голос Олесова вибрировал от возбуждения.— Уж постарайся, Иван Михайлович! Если все обойдется лучшим образом, нас так поддержат, так поощрят!..

— Это уж само собой,— сказал Липатов, взвешивая в уме, какие выгоды можно извлечь, если Сталин будет доволен...

— А когда они приедут?

— Дело за нами. Мне поручено доложить, когда мы приготовимся. Так что ты, Иван Михайлович, ради бога, форсируй!

Не успел Липатов повесить трубку, как раздался новый звонок. Главный инженер Донецкугля кричал не своим голосом:

— Ваш газ проник в шахту! На смежном с вами участке! Девять человек отравлено! Отключите свои скважины или что там у вас! Безобразие! Под суд пойдете!

Спорить в такую минуту не имело смысла. Побелев, Липатов приказал разыскать Светова, Коротких и Маркушу. Он не мог решиться один, хотя решение было ясно — прекратить процесс и залить пограничные скважины жидкой глиной, чтобы закупорить все трещины. Другого выхода не было, а этот означал — закрыть станцию на неопределенный срок и прекратить подачу газа на Азотнотуковый завод.

Они сидели вчетвером — руководители станции — и думали, понимая, что ничего иного надумать не могут...

Спокойнее всех был Светов, обычно самый горячий и несдержанный. Еще до того как Липатов изложил единственно возможное решение, он мысленно решил то же — и с этой минуты как бы омертвел. Убийство самого дорогого, что у него было, уже совершилось. Оставались формальности.

— Я предупрежу Азотнотуковый, им нужно подготовиться,— сказал он и начал звонить на завод.

Трое слушали, как он лишенным выражения голосом сообщал директору завода о случившемся. Трое слушали, как директор ругался и грозил жаловаться.

— Ну вот, — сказал Палька, вешая трубку.

Леня Коротких, отвернувшись, спросил, где взять помпу, глину и все, что нужно для заливки скважин.

Новый звонок заставил их подскочить: что еще?!

Звонил начальник шахты.

— Иван Михайлович, предпринимаешь ты что-нибудь? Газ распространяется по штрекам. Вывели нагора́ всю смену! Как друга прошу тебя...

Липатов дал себе волю — отругался, а затем спросил, кто пострадал и в каком они состоянии.

— Двое умерли, не приходя в сознание. Семь человек очень плохи, в том числе Кузьма Иванович.

— Кузьменко? — ахнул Липатов.

— Кузьменко. Прошу тебя, Михайлыч, действуй!

— Действуйте! — сказал Липатов, не глядя на товарищей.— А я позвоню в Москву... Ох, боже ж мой! — Он вспомнил недавний разговор с Олесовым, совсем было выскочивший из памяти.— Ну, заварится каша!

Москву долго не давали. Липатов перевел заказ на срочный, потом на «молнию», но и «молния» оказалась медлительной.

Вбежал Ваня Сидорчук — его обычно румяное лицо побледнело.

— Иван Михайлович, что же это? Закрываем?

Липатов только рукой махнул: уйди ты со своей тоской, и без тебя муторно!

Не отходя от телефона, Липатов прислушивался

к нарастающей тишине — отключили дутье... затих компрессор... с шипением вырвался на волю пар...

Под рукой затрезвонил телефон.

— Соединяю с Москвой!

Оживленный басок Олесова восхищенно воскликнул:

— Иван Михайлович! Уже?! Ну, герой!

Липатов начал докладывать. То ли его голос был плохо слышен, то ли новость было трудно воспринять,— Олесов не понимал, требовал повторить, потом вскрикнул:

— Закрыть?! Да это же!.. Да ты понимаешь?!

И вдруг все смолкло в аппарате.

— Алло! Алло! — надрывался Липатов, остервенело дуя в трубку.

— Не кричите, абонент отошел от аппарата,— сердито вмешалась телефонистка и сама начала кричать: «Алло!»

— У аппарата Лидия Осиповна,— неожиданно ударил в ухо голос московской секретарши.— Бога ради, что случилось? Дмитрию Степановичу плохо.

— Пусть подойдет немедленно, черт вас дери! — заорал Липатов.— Немедленно!

— У него сердечный припадок, вызвали неотложную помощь,— тихо, а потому очень убедительно сказала Лидия Осиповна,— могу позвать Алымова или Мордвинова.

— Зовите Мордвинова!

Саша выслушал сообщение и несколько секунд медлил с ответом. Оба думали об одном и том же: мало того, что закроется на несколько недель или месяцев станция! — Сталин обещал показать станцию иностранным дипломатам, а теперь придется сообщать, что показывать нечего... Крупная удача может превратиться в катастрофу.

— И все-таки надо закрывать,— сказал Саша.— Ты уже распорядился? Отключили?

— Да.

— Заливаете глиной?

— Да.

— Новые скважины где будете закладывать?

— Видимо, на северо-востоке, там нет соседей.

— Хорошо. Приказ о прекращении процесса пришлю письменно, чтоб на вас потом всех собак не вешали.

— Олесов... подпишет?

Саша только чуть-чуть запнулся.

— Подписывать придется мне. Его увозят в больницу.

— Та-ак.

— Ничего. Ответим. Мы же правы? И сердца у нас покрепче.

— Сашенька, скажи Любе... пострадал ее отец.

Саша снова чуть-чуть запнулся.

— Серьезно?

— Отравление газом.

— Понимаю... Ей нужно выехать?

— По-моему, да.

Спустя час, когда они, стиснув челюсти, наблюдали, как помпа нагоняет в скважину подземного генератора жидкую глину, прибежала секретарша — вызывает Москва!

Они помчались к телефону. Липатов схватил трубку, Палька приник к ней ухом сбоку — и тут же отшатнулся от громового голоса Алымова.

— Вы сошли с ума! — кричал Алымов.— О закрытии станции не может быть и речи! Виновата шахта, а не мы! Идите в горком, в Донецкуголь, добивайтесь разрешения продолжать! Самоубийцы вы или кто?!

Трясясь от злости, Липатов тихо сказал:

— Я, например, не самоубийца, а коммунист. И шахтер. Рисковать жизнями сотен шахтеров...

— А ты понимаешь, чем ты рискуешь сейчас? Тут же головы полетят, и твоя и моя! Ты отдаешь себе отчет, кто заинтересовался?!.

Отставив трубку, Липатов и Палька вдвоем слушали, как все яростнее ругается Алымов. Должно быть, и телефонистка слушала, женский голос сердито вмешался:

— Разъединяю. Выражения по телефону запрещены.

Липатов повесил трубку и произнес несколько запрещенных выражений. Потом они снова пошли смотреть, как пожарная помпа равнодушно и споро накачивает глину в скважину.

Ваня Сидорчук стоял возле скважины и плакал. Не стыдясь, не вытирая слез.

— Павлушка, съездил бы в больницу,— сказал Липатов.

Палька повернулся и пошел. Машины не было, он пошел прямиком через степь к Донецку. Самоубийцы?.. Алымов боится неприятностей, а самоубийство — вот оно, в этой помпе, которая качает, качает жидкую глину...

У больницы стояла толпа. Родственники, товарищи. Палька прошел сквозь толпу, ни о чем не спрашивая. По лицу струился пот — крупный, как слезы: он бежал всю дорогу.

У справочного окошка толпились люди. Палька проскочил лестницу и остановил знакомого врача.

— Плохо,— сказал врач,— что же тут может быть хорошего!

— К вам привезли мастера Кузьменко, Кузьму Ивановича...

— Знаю я Кузьму Ивановнча,— морщась, сказал врач.— Сын его лежал с ожогами. А теперь... Ну, что я могу сказать так, сразу? — вдруг закричал он Пальке и людям, уже набежавшим снизу и окружившим их плотным кольцом.— Тяжелое отравление. Жизнь в опасности. Ближайшие сутки покажут. И не стойте вы все тут! Нельзя!

Врач торопливо пошел наверх, а Палька повернулся, чтобы уйти, и оказался лицом к лицу с десятком возбужденных и недобрых людей.

— То ж один из них! Светов! — выдохнула старая женщина с растрепанными волосами, свисавшими из-под платка. — Отравитель! — гневным шепотом выкрикнула она. — Сколько людей загубил, а еще пришел слезы наши смотреть?!.

— Совести нет! — закричала другая, молодая, наступая на Пальку.— Наобещали, нахвастались, а сами что?!

От стыда и волнения потеряв дар речи, Палька стоял в кольце разъяренных людей. Объяснить им, что не он виноват? Что виноваты те самые шахтеры, тот самый мастер Кузьменко?.. Но они лежат при смерти...

Старуха рванула его за рукав:

— Вон отсюда, пока не вбили!

Так и не сказав ничего, Палька вырвался из кольца, выбежал во двор, заполненный толпой, пригнул голову и прошел сквозь толпу, ожидая, что и тут начнется тот же ужас.

Его не узнали.

Он вскочил в трамвай и встал на площадке, спиной к людям, лицом к холодному осеннему ветру.

За его спиной говорили все о том же...

Он соскочил и зашагал к дому, все так же пригнув голову, чтоб его не узнали. Остановился — вот он, родной дом, где можно укрыться ото всех. А наискосок — дом Кузьменко, где новое лютое горе...

Он свернул к Кузьменкам, наткнулся на Лельку, спросил: дома?

— Только пришла,— испуганно сказала Лелька.

Он вошел в дом и увидел бледную и как будто спокойную Кузьминишну — она разматывала теплый платок, стоя у вешалки. Он помог ей снять платок и пальто, помог сесть и только тогда, опустившись на пол возле нее, положил голову на ее колени и разрыдался, как мальчик.

13

События начали развиваться стремительно.

На станцию № 3 прибыли почти одновременно инспектор горного надзора и следователь прокуратуры.

Появилась комиссия горкома партии.

Стало известно, что умер еще один из пострадавших.

Из наркомата за подписью Бурмина пришел грозный приказ — немедленно выслать «подробную документацию, подтверждающую наличие предупреждений о грозящем соприкосновении...»

Из обкома партии затребовали у Липатова и у начальника шахты кальку с утвержденными границами размежевки и справки о фактическом положении угольных выработок — с одной стороны и скважин подземного газогенератора — с другой...

Стало известно, что Кузьму Ивановича «отходили», но у него сдают легкие и сердце.

Клинский запросил телеграфом, нельзя ли отложить на неделю закрытие станции, принимая во внимание особые обстоятельства... Липатов ответил:

нельзя, процесс уже остановлен,— и тогда пришла вторая телеграмма Клинского: немедленно со всеми документами выехать в Москву для доклада правительственной комиссии.

Очевидно, подготовка к визиту иностранных дипломатов была уже начата, и теперь все боялись сообщить «наверх» о том, что визит невозможен, а главное — искали виноватых, чтоб было на кого свалить...

В довершение всего выяснилось, что написанная Липатовым «бумаженция» преспокойно лежит в сумочке секретарши. Секретарша, рыдая, объясняла, что шел дождь и она спрятала бумагу в ридикюль, чтобы отвезти завтра, а потом забыла, а потом подумала, что уже не нужно... Все предшествующие предупреждения делались устно, а в нынешней накалившейся обстановке было мало охотников записываться в свидетели.

Липатов подбирал материалы для доклада, когда на станции появился человек в штатском пальто и щегольских высоких сапогах. Удостоверясь, что перед ним Липатов Иван Михайлович, директор станции, он вручил повестку: в 22.00 явиться к майору госбезопасности Тукову.

Такой же вызов на 23.00 получил Светов Павел Кириллович, главный инженер, и на 0.30 — Маркуша Сергей Петрович, главный механик.

Беда сближает людей и оттесняет личные чувства. В эти дни не только Алымов, но и Колокольников проявлял кипучую энергию. Вся спесь слетела с этого барина. Он уже не считался, чьи тут проекты, чья слава под ударом, он знал, что спросят и с него, как с главного инженера треста, и неутомимо подбирал доказательства, что сделано много и сделано хорошо. Пожалуй, теперь он был даже энергичней, чем Алымов,— Алымов как-то растерялся, метался попусту, часами пропадал неизвестно где, а потом объяснял, что «ищет ходы» к людям, ведущим расследование. Саша считал, что «ходы» не помогут, но и не спорил с ним — каждый делает то, что может. В эти дни он особенно оценил Рачко: не шумит человек, а материалы подобраны и систематизированы, к ним на-

писана недлинная, но четкая пояснительная записка, кто ни возьми — все главное поймет.

Поначалу Саша нервничал меньше всех — нетрудно доказать, что руководители донецкой станции не виноваты в случившемся, а последующее закрытие станции было неизбежно. Но потом он понял, что никого, в общем-то, и не интересуют причины аварии,— все думали о том, как примут «наверху» необходимость отмены дипломатического визита и что может грозить тем, кто будет признан виноватым. Конечно, теперь за границей поднимется шум — мол, хвастались подземной газификацией, а она оказалась блефом!

Чувствовалось, что расследование из сферы наркомата перешло в другие более жесткие руки, приобрело не столько техническое, сколько политическое звучание. Говорили, что создана комиссия по указанию самого Сталина, но члены комиссии не были объявлены и в тресте не появлялись. Зато Клинский и Бурмин по три раза на дню нервными голосами требовали разные сведения. Работников Углегаза по очереди вызывали в наркомат, где их придирчиво допрашивали незнакомые люди, которых раньше в наркомате не видели. По их вопросам Саша понял, что готовится обвинение против работников подземной газификации в целом — снова припомнили прошлогодний взрыв и еще более давние «дела» Светова и Маркуши; как бы вскользь уточняли отношение к Углегазу Стадника и Чубакова... Саша угадывал, что на руках у спрашивающих есть какие-то заявления, может и анонимные, где хорошо известные авторам факты ложно истолкованы.

— Вас кто-то злостно запутывает,— сказал Саша.— Я протестую против того, что сюда притягивают старые, давно выясненные дела.

Ему отвечали вежливо и холодно: мы расследуем все, проверяем все факты, а ваше дело — отвечать на вопросы.

В эти тяжелые дни Саше позвонил профессор Граб:

— Александр Васильевич, у нас тут возникли некоторые занятные соображения, прошу вас приехать в институт.

В одной из его лабораторий разрабатывалась частная научная проблема, не очень-то интересовавшая Сашу даже в обычное время, а теперь и подавно. Саша попытался отклонить приглашение.

— Нет уж, извольте приехать,— желчно сказал Граб.— Работу включили в план по вашему настоянию, у нас есть обязательства и сроки. Вы нам нужны сегодня же.

Что ж, думал Саша по дороге в институт, жизнь продолжается. Не могут замереть все дела оттого, что наша станция закрыта, а нам плохо. Исследования идут и будут развиваться, даже если нас снимут и осудят. И это — главное, чего мы добились. Подземную газификацию уже не закроешь. Не закроешь!

В первоклассно оборудованной лаборатории Саша ощутил любимую, до мелочей знакомую атмосферу повседневного научного труда. Не разберешь, кто тут исследует огромную проблему, быть может открывающую новые пути в мировой науке, а кто уточняет давно известную истину,— здесь мысль детализирована и самое важное открытие находит выражение в том, подскочит или закачается стрелка прибора, поползет вверх или вниз столбик ртути в термометре, замутится или по-новому окрасится состав в колбе... Здесь особенно ощущаешь, что наука — это и черновой труд, что без труда в науке ничего не достигнешь.

В лабораториях Сашу всегда охватывало желание работать самому — вот так же, как эти старшие и младшие научные сотрудники, работать сосредоточенно, ничем не отвлекаясь, не зная административных хлопот и неприятностей. Хотелось подойти к каждому незнакомому прибору — потрогать, разобраться в его системе, испытать в действии его простой и хитрый механизм...

— Профессор вас ждет.

Саша пробирался через зал, с любопытством глазея по сторонам. Сегодня тут было много народу, над каждым столом, над каждым прибором склонялись два-три человека. Студенты? Ну конечно, первокурсников привели знакомиться с лабораторией. Они шепчутся за спиной гостя, и Сашу веселит мысль, что он для них — значительная персона, заказчик, руководитель НИИ Углегаза — таинственного института по

таинственной проблеме. Они, конечно, не представляют себе, какой это пока крошечный, бедный институт и как тяжело сейчас «персоне»!

В кабинете за стеклянной перегородкой восседал профессор Граб, еще более сухой и скучающий, чем всегда.

— Дима, останьтесь,— бросил он молодому человеку, который привел Сашу. И без лишних слов перешел к делу: — Я вас пригласил, Александр Васильевич, потому что нам показалось интересным...

Он сжато, но выпукло обрисовал ход проделанных опытов.

— Дима, принесите ленты записей.

Молодой человек вышел, а Граб продолжил тем же тоном, без всякого перехода:

— Вчера меня вызвали на Лубянку. Техническая экспертиза. Я не защищал вас и не чернил, можете верить моей порядочности. Но смысл вопросов и записей ясен... Да нет, Дима, не эти. Первые ленты, помните, с колебаниями температур? — Молодой человек снова вышел.— Вам хотят инкриминировать вредительство. Как я понял, делом интересуется сам Берия. Кроме меня вызывали Вадецкого, а он может... Вот теперь то, что нужно! — воскликнул он, принимая у сотрудника ленты с показаниями самописца.— Смотрите...

Обсуждение было недолгим. Саша благодарил за интересную разработку проблемы, Дима почтительно слушал. Когда молодой человек хотел выйти, Граб удержал его:

— Вы проводите нашего гостя, Дима!

Впрочем, и сам профессор проводил Сашу через лабораторию, а у двери, прощаясь, ввернул в официально вежливую фразу:

— Я вам ничего не говорил.

Саша ушел потрясенным — не тем, что сообщил Граб, об этом он догадывался сам. Его потрясло благородство «глазетового гроба» — еще сегодня утром ни за что не поверил бы, что Граб способен на такое! Значит, я плохо разбираюсь в людях? Значит, если бы я был внимательней и доверчивей, я сумел бы гораздо лучше привлечь к нам того же Граба?..

Мимо скольких людей мы проходим, не замечая или не умея распознать? Вот и еще один урок...

И сразу мелькнула горькая мысль: может, никого уже не придется привлекать...

Люба дважды звонила из Донецка. По ее голосу было понятно, что отец очень плох, но Люба говорила сдержанно, стараясь успокоить Сашу.

— Папа предлагает дать письменное показание. Заверенное. Что Липатов предупреждал об опасности. Саша, организовать это? Может оно иметь значение?

Оно не только имело значение, оно могло спасти их всех, это показание! Саша заставил себя ответить:

— Сейчас главное — его здоровье. Если он в состоянии и это не повредит ему... Как мама?

Люба что-то сказала. Саша не расслышал, переспросил, Люба повторила сквозь слезы:

— Окаменела. Понимаешь? Как неживая. Сашенька, тебе очень плохо одному?

— Пожалуйста, не думай обо мне. Пробудь дома столько, сколько нужно. У нас все в порядке.

— Да?! Правда?

Через день приехал Липатов, а с ним неожиданно вернулась Люба.

— Папе — лучше?

— Не знаю... Нет... Он написал показание. Вот. Заверенное. Он сам сказал, чтоб я ехала...

Она прижалась к Саше, ее глаза были полны слез.

— Любушка, ты навоображала всякие страхи?

— Ничего подобного! — Она смахнула слезы, улыбнулась...— Наоборот, я убеждена, что все кончится хорошо.

Когда Люба ушла, он набросился на Липатова — запугали ее? Наболтали?

— А про нас теперь только немые не болтают,— сказал Липатов.— Ничего ей не сделается, если поволнуется. Хорошо, если плакать не придется.

Он рассказал: Туков вызывает почти ежедневно, ведет следствие пристрастно, выискивая все, что может «закопать» их. Палька на него накричал: «Вы поставлены защищать меня, оберегать наш труд, а вы что делаете?» Туков отрезал: «А может быть, не вас, а — от вас?» Когда Липатов сообщил, что выезжает

в Москву, Туков произнес: «Ну-ну!» с таким видом, будто хотел сказать: погуляй напоследок.

— Гробокопатель он! Представь себе, даже историю с переменой пласта пытается использовать! Даже за Сигизмунда Антиповича зацепился — почему принял циркача да какая причина была у его мадамы задержать бумагу с предупреждением.

К возмущению Алымова, Липатов посмеивался, а когда Алымов истерически заметил, что смеяться нечего, любое обвинение, как бы вздорно оно ни было, ухудшает их положение, Липатов пожал плечами:

— Когда тонешь, уже неважно, сколько над тобой метров воды, шесть или три.

— Попробуем выплыть,— сказал Саша.

Они возлагали надежды на доклад в наркомате, но доклад был принят как-то формально, чувствовалось, что судьба их решается не здесь.

После доклада Бурмин поманил к себе Сашу и Липатова.

— Сегодня же езжай назад,— приказал он Липатову.— Жми вовсю, чтоб задуть новые скважины как можно скорей. Понял? А ты...— Он ласково, с жалостью поглядел на Сашу: — А ты, сынок, готовься, трепки не миновать...— Он выругался для облегчения души и закончил с обычной грубостью: — На кой ты сунулся подписывать приказ о закрытии станции? Первый зам — Алымов, пущай и подписывал бы. Выскочил поперед батьки!

Наутро стало известно, что у Колокольникова разыгралась печень и он лег в клинику на исследование.

Алымова чуть не хватил удар.

— Трус! Симулянт! Крыса!

Накричавшись, он куда-то исчез и появился уже в самом конце рабочего дня. Как бы между прочим, с кривой усмешкой проронил, что его сманивают в Заполярье на очень интересную новостройку.

— Обеспечивает себе отступление на заранее подготовленные позиции,— шепнул Рачко и сплюнул.

И вот позвонил Бурмин:

— Завтра весь день не отлучайтесь с места, ты и Алымов. Ни на минуту. Могут вызвать.

По тому, как он это произнес, Саша понял, к кому

их могут вызвать, и холодок страха и восторга ознобом прошел по спине.

Саша никогда не видел Сталина, но, как и все вокруг, привык считать, что все происходящее в стране определяется Сталиным, от него исходит и от него зависит. Со стен классов и аудиторий, с плакатов и витрин на Сашу неотступно смотрели зоркие глаза розовощекого, черноусого человека в военной тужурке. Этот официально-красивый, повторенный в тысячах копий образ сопровождал его повсюду и порой раздражал, потому что, чем бездарнее был копиист, тем приглаженней и розовей был этот лик и тем меньше соответствовал Сашиному представлению. Множество раз слышал Саша здравицы и восхваления Сталина, восторженно рукоплескал им, а порою и морщился, потому что не любил вранья: Китаев неизменно заканчивал свою вводную лекцию словами о том, что развитие советской химии связано с основополагающими указаниями товарища Сталина, а Саша знал, что таких указаний не было, иначе химики знали бы их наизусть. Он сказал об этом Китаеву, Иван Иванович скороговоркой пробормотал: «Не мной заведено, не мне менять, а кашу маслом не испортишь».

Изучая марксизм и историю партии, Саша не раз задумывался над марксистскими положениями о роли личности в истории. Он внимательно прочел недавно вышедший Краткий курс истории партии, который, по слухам, написал или во всяком случае редактировал Сталин. Там тоже было сказано, что не герои делают историю, а история делает героев, что не герои создают народ, а народ создает героев и двигает историю вперед... Зачем же мы приписываем все, что творит весь народ и вся партия, в заслугу одному человеку? Ему это не нужно, он и так велик, а для воспитания чувства ответственности за общее дело это — вредно.

Так иногда размышлял Саша наедине с самим собой. Эти размышления не уменьшали его восхищения Сталиным, а заставляли досадовать на слишком усердных восхвалителей. У него было свое, глубоко интимное представление об этом человеке, сложив-

шееся из собственных ощущений при чтении логически отточенных сталинских речей, из рассказов шахтеров, побывавших на совещании стахановцев в Кремле, из отдельных черточек и слов, тронувших Сашу за сердце. Он создал себе образ человека прямого, строгого и работящего, человека, который всегда ищет новое, никогда не останавливается на достигнутом и умеет глядеть вперед, любовно растит самых рядовых людей — трактористок и звеньевых, шахтеров и кузнецов, летчиков и полярников... Доброе, поощряющее слово этого человека казалось ему высшей из возможных наград...

И вот он ехал в Кремль, к Сталину.

Ехал — и замечал, как дрожат большие коричневые руки Бурмина, как мертвенно бледен Алымов. И с тяжелым недоумением осознавал, что его самого тоже пронизывает страх, он словно виноват в чем-то и ждет суда.

Утром он предупредил Любу, что может задержаться, но больше ничего не сказал, чтоб не волновать ее. Теперь он старался запомнить все, что видел в Кремле,— вход, где так тщательно проверяют документы и вглядываются в твое лицо, сверяясь с фотокарточкой; кремлевский двор со знаменитой царь-пушкой и чугунным ядром возле нее; боковую узкую улочку, по которой они шли,— Бурмин, понизив голос до шепота, сказал, что здесь жил Ленин... Все это он разглядывал и старался запомнить, чтобы рассказать Любе, и вдруг поймал себя на дикой мысли, что может больше не увидеть ее..

Что за бред! Глупый бред, нелепая трусость! Это все породила нервная обстановка расследования, и ласковые слова Бурмина: «А ты готовься, сынок, трепки не миновать», и уход Колокольникова в больницу, и истерическая взвинченность Алымова — он весь день писал нескончаемое письмо Катерине и говорил со всеми тоном человека, делающего устное завещание. И еще — предупреждение профессора Граба. И то, что все последние дни Клинский отказывался принять и даже поговорить по телефону. И — тишина в Углегазе. Странная тишина оттого, что никто не приходит и не звонит, а сотрудники разговаривают вполголоса, как в комнате умирающего.

Жизнь или смерть? Во всяком случае, судьба дела и каждого из нас. «Быть или не быть?»

От волнения он не видел — и потом не мог вспомнить,— как они входили в комнату заседаний и какая она, эта комната. За длинным столом сидели люди, как всегда сидят на заседаниях, переговариваясь или просматривая бумаги,— но многих из них Саша знал по портретам. Сталина не было.

Кто-то сказал: «Садитесь!» — и Саша сел. Почему-то он заметил и запомнил слегка покачивающуюся, присобранную белую занавеску на окне и синий табачный дымок, вьющийся в струе воздуха.

— Давайте. Пять минут,— сказал тот же голос. И Клинский — он сидел наискосок от Саши,— Клинский подобострастно вытянул голову на тоненькой шее (Саша не замечал раньше, что у него такая тоненькая шея) и начал докладывать.

И вдруг Саша увидел Сталина.

Он стоял в стороне, в тени между двух окон, и чиркнул спичкой, закуривая. Потом он сделал несколько коротких шажков и остановился у стола.

Клинский продолжал говорить, и Саша смутно понимал, что он с непонятной старательностью искажает все факты, но сосредоточиться на слушании Саша не мог: сейчас для него существовал только Сталин.

Он был ниже ростом, чем его изображали на фотографиях и картинах. На темно-бронзовой коже вмятинами — следы оспы, в черных волосах — заметная проседь. А усы без проседи, густые, прикрывают рот. И брови — черные, с властным изломом. От уголков глаз бегут вверх, к вискам, мелкие морщины, какие образуются у людей, часто прищуривающихся. Он и сейчас щурился, попыхивая трубкой.

Оттого, что он был старше и обыденней, чем его изображали, он показался Саше очень близким. Но в эту минуту Сталин недоброжелательно взглянул на Сашу и сказал гневно, с сильным акцентом:

— Как же вы? Такое великое дело вам доверили, а вы... обгадили его.

Жесткие складки обозначились возле его рта.

В полной тишине Саша услышал громовой стук собственного сердца. На миг и Сталин и все вокруг расплылись в тумане, потом из тумана выплыла при-

собраииая белая занавеска, потом он увидел лица, все до одного обращеииые к Сталину, снова увидел по-домашнему ссутулившуюся фигуру Сталииа и за его локтем — чей-то ледяиой взгляд, через стекла пеисне устремлеииый иа иего, иа Сашу.

Клинский продолжал докладывать, еще больше вытянув шею. Теперь он не боялся быть резким. Неиадежно. Экономически ие оправдывается. Дорогостоящие сомнительиые опыты. Аваитюризм. Надо сказать прямо — обмаиули доверие партии и правительства...

Жесткие складки все глубже прорезали лицо Сталииа. Вот он взял какой-то лист бумаги,— иаверио, проект решеиия...

Сидевший за иим человек с ледяиым взглядом выдвинул вперед малеиькую лысую голову с холеиым лицом и иегромко сказал:

— И кадры у иих страиио подобраиы, Иосиф Виссариоиович. Вот...

Теперь Саша узиал его — Берия.

Берия открыл папку и иачал быстро перекидывать листки:

— Светов — исключался за подлог. Маркуша — исключался как троцкист. Липатов — дважды привлекался прокуратурой и Комиссией партийного коитроля. Мордвинов — самовольио бросил аспираитуру, хлопотал за троцкиста. Что думали работиики иаркомата, подбирая кадры Углегаза?

Побагровев, Бурмин срывающимся голосом объясиил, что эти товарищи — авторы проекта, поэтому пришлось...

Сталин снова поглядел иа Сашу — острым, беспощадным взглядом — и сказал презрительио:

— Проекты есть, учреждеиие есть, рапорты товарищу Сталииу посылали, вот только газификации нет.

До этой мииуты Саша был в состояиии оцепеиеиия и какой-то детской увереииости, что все должно повериуться по-иному, что Сталин сам все поймет и выправит. Но, увидав этот беспощадиый взгляд и услыхав презрительиые слова, Саша поиял: это — конец. И оттого, что это был конец и хуже того, что случилось, уже ничего ие могло быть, оцепенеиие про-

шло, и страх исчез. Поднявшись, Саша сказал высоким сильным голосом:

— Товарищ Сталин, вас вводят в заблуждение! Все совсем не так!

И остался стоять, глядя в лицо Сталину отчаянными и бесстрашными глазами.

— Даже совсем не так? — насмешливо переспросил Сталин и развел руками.— Что ж, послушаем, как оно на самом деле. Говорите, товарищ...— Ему шепотом подсказали, и он повторил:— Говорите, товарищ Мордвинов.

Это была одна из высших точек Сашиной жизни. Бывают такие высшие точки, когда все силы напряжены и все на подъеме, когда ум работает ярко, слова приходят точные и вся энергия характера сосредоточена на одной цели.

Он опровергал заключение Клинского — пункт за пунктом, они, оказывается, отпечатались в памяти все до единого. Он говорил сжато и, как ему казалось, очень убедительно. Но Сталин вдруг перебил его, еще сильнее прищурясь:

— Значит, вы отвергаете все замечания? Совершенно не признаете никакой критики?

Они столкнулись взглядами. Силы были неравны. Сталину достаточно было сказать одно слово, чтобы все рухнуло. И он, кажется, готов был произнести это слово. А что мог Саша? Но он верил в силу правоты и на пределе нервного напряжения, без подготовки выпалил то, что давно чувствовал, но ни разу не сформулировал даже для самого себя:

— Критику я признаю, товарищ Сталин, но есть критика ради того, чтобы помочь и двинуть дело вперед, и есть критика ради того, чтоб угробить. А гробить это дело нельзя!

Тишина. Ох, какая настала тишина!..

Сталин весь окутался дымом трубки, потом ладонью как бы рассек дым и медленно сказал:

— Да, дело гробить нельзя. Но ведь это вы его угробили, именно поэтому мы и вынуждены сегодня заниматься вами.

Снова стало очень тихо, и в этой тишине Саша, словно откуда-то издалека, с ужасом услышал собственный дерзкий голос:

— Авария произошла не по нашей вине. Пусть нам не мешают — через месяц-полтора мы задуем новые скважины и опять дадим газ.

— Через месяц-полтора? — Сталин резко повернулся к Клинскому: — Это верно? Существует такая возможность — в короткий срок возобновить работу станции? Так, чтобы ее можно было показать без стыда?

У Клинского прыгали губы. Саша не столько услышал, сколько угадал ответ:

— Постараемся... Если вы признаете целесообразным...

— Так почему же вы не доложили нам о такой возможности? Сосредоточили все внимание на недостатках?..

Клинский пробормотал тоскливо:

— Но ведь вы... я имел прямую установку...

— Установкой товарища Сталина прикрыться хотите? — раздраженно прервал Сталин, рукой отмахнул табачный дым, а вместе с ним и помертвевшего Клинского, и вдруг обратился к Саше с какой-то новой, доброжелательно-веселой интонацией:

— Очевидно, доклад надо отнести к критике гробовой. Так, может, вы сами, в порядке полезной критики, доложите нам, что же у вас все-таки плохо и что не решено?

Пожалуй, никогда еще Саша не излагал так четко и то, что уже достигнуто, и то, что не решено, никогда не определял так логично внутренние трудности, которые можно преодолеть только опытами и исследованиями, и трудности внешние, которые нужно устранить с их пути. Он говорил — и видел, как смягчаются жесткие складки на лице Сталина, чувствовал, как будто переламывается весь ход заседания, как исчезает предубежденность.

Сталин слушал, посасывая погасшую трубку, потом подошел к карте угольных месторождений и поманил к себе Сашу:

— Покажите, где вы предлагаете построить новые станции.

Спокойно, как к любому другому заинтересованному собеседнику, Саша шагнул к нему и карандашом поставил несколько точек на карте; и тут же

объяснил, сколько неразведанного их ждет на разных углях и разных пластах и как важно провести опыты в различных условиях. Вспомнив утверждение Клинского о том, что подземный газ дорог и поэтому подземная газификация экономически не оправдывается, Саша начал доказывать, что стоимость газа на маленькой опытной станции... Не дослушав, Сталин обернулся к участникам заседания:

— Так вообще нельзя рассуждать. Подземная газификация угля имеет для нас не только экономическое, но и большое социальное значение. Это — возможность ликвидации тяжелого подземного труда.

Округлым движением руки с зажатой в ней трубкой Сталин как бы вызвал притихшего докладчика:

— Какую экономику вы имеете в виду, товарищ Клинский? Есть экономика бакалейного лавочника и есть экономика государственная. Я стою за экономику государственную. Мы должны смотреть вперед и думать о проблеме кадров для шахт. В Соединенных Штатах Америки миллионы безработных, там вопрос о кадрах решается легко. А у нас благосостояние народа растет и будет расти с каждым годом. Безработицы у нас давно нет, а нехватка рабочих рук становится острой. Вот этот вопрос кадров для угольной промышленности мы должны учитывать при решении вопросов подземной газификации. Газ пока обходится дорого? Пусть товарищи нам докажут, что дело реальное, возможное, а уж мы сумеем создать новую отрасль промышленности и удешевить подземный газ. Так обстоит дело с экономикой. Неправы товарищи, которые не понимают этого, не понимают социального значения задачи.

Саша мельком увидел, что Клинский совсем вобрал голову в плечи, тоненькой шеи уже не было, никакой шеи не было.

Сталин подошел к столу и одним пальцем брезгливо отодвинул бумагу, которую просматривал несколько минут назад. Чья-то услужливая рука убрала ее совсем.

— Снимать, арестовывать хотели,— как бы про себя сказал Сталин.— А выходит, помогать надо. По-деловому помогать новому делу.— Он чиркнул

спичкой и раскурил трубку.— Еще кто-либо хочет сказать?

Бурмин несмело приподнял руку — вроде и просит слова, вроде и не просит.

— Теперь уж молчи, раньше надо было,— сказал Сталин, и большая коричневая рука Бурмина стыдливо спряталась под стол.

— Так будем решать, товарищи? Видимо, надо в трехдневный срок подготовить документ, как и чем помочь Углегазу...

Саша все еще стоял у карты. Стараясь не шуметь, он на цыпочках прошел к своему месту, сел — и вдруг почувствовал себя обессиленным, выпотрошенным, будто в эти несколько минут израсходовал всего себя. Как сквозь сон, доносились до него деловые голоса:

— Обеспечить финансирование...

— Очень важно испытать на бурых углях Подмосковного бассейна...

— Организовать в вузах подготовку кадров...

— ...а главное, всячески ускорить работы.

В этот деловой лад врезался громкий, страстный голос:

— С таким директором, как Олесов, не очень-то ускоришь!

Саша вскинулся и увидел бледное лицо Алымова, трепещущее вдохновением и надеждой.

— Директора и сменить можно,— весело сказал Сталин,— в Углегазе, видимо, хватает энергичных, настойчивых людей!

И он улыбнулся Алымову.

Вышли вчетвером: Бурмин, Клинский, Алымов и Саша.

— Ну, счастлив твой бог! —отдуваясь, сказал Бурмин.— Понравился ты!

— Феноменальное везение! — нервно подергиваясь, поддержал Клинский.— Кто мог предвидеть, что так обернется? Ведь установки были прямо противоположные!.. Прямо противоположные!..

О чем они? — удивился Саша. Как они могут — об этом такими словами? Понравился... везение... обернулось... Разве могло решиться иначе?..

И вдруг из всей массы впечатлеиий память выделила те страшные, но как-то будиичио прозвучавшие слова: «Снимать, арестовывать хотели...» Значит, это нам действительно грозило! Вот какими были эти «прямо противоположные устаиовки»! И все было подготовлено к тому? Проект решения уже лежал на столе, справки на каждого — в папке у Берия. Сталии уже произнес свои презрительио-гневные слова. И если бы смелость отчаяния ие подняла его, Сашу, иа спор... если бы он испугался и промолчал, как Алымов и Бурмин...

— Д-да, это победа! — говорил рядом с ним Бурмин, тяжело дыша оттого, что ему трудио было нести свое массивиое тело.— Теперь можете рассчитывать иа самую широкую помощь. Теперь...

Горькие мысли сразу отлетели,— нет, Саша отстранил их: потом додумаю, потом... Ведь победа! Как бы там ни было — победа! Вся тяжесть последних недель — позади. Победа!

И уже не хотелось слушать ни рассуждений Бурмииа, ни жалких оправданий Клииского, ни захлебывающегося голоса Алымова, запомнившего только последние слова и улыбку Сталина, которой он придавал какое-то особое значеиие.

Упоительно дышалось. Кажется, иикогда в жизни Саша не дышал так глубоко, полной грудью, и воздух еще никогда не был так свеж и чист.

Светлая ширь Манежной площади лежала перед ним, осиянная двойными рядами огией — каждый фоиарь повторялся, отражаясь на мокром асфальте. Десятки автомобилей скатывались по спускам Исторического проезда и улицы Горького, десятки автомобилей шли им наперерез, то устремляясь вперед, то замирая у перекрестка, и все их бессчетные огоньки двоились в отражениях, и на их мокрых капотах преломлялись беглые отсветы.

Оказывается, моросило. Каждая ворсинка на пальто поблескивала крохотной капелькой.

Как хорошо! А ты и не видишь, Любушка, как сегодия хорошо! Я тебя вытащу иа улицу и покажу тебе, как славно все блестит, мы с тобой давно не замечали иичего такого...

— До завтра, товарищи! — крикнул он и побежал за троллейбусом.

Всю дорогу он мысленно рассказывал Любе все, что произошло сегодня. А вышло так, что он и позвонить не успел, она распахнула дверь и выдохнула: «Что?» Он торопливо сказал: «Все прекрасно!», — и Люба тут же ткнулась лицом в его мокрое пальто и разрыдалась так, что он долго успокаивал ее, поил водой, подшучивал над ее страхами, опять успокаивал и думал про себя: откуда она узнала? Я же ничего не сказал ей, а она знала...

14

В те самые дни, когда в Москве ждали решения — быть или не быть, на Донецкой опытной станции дела шли все хуже. Подрядные организации, напуганные угрозой полного закрытия станции, под разными предлогами сворачивали работы и отзывали своих людей. Контора бурения, несмотря на возражения Аннушки Липатовой, отказалась бурить новые скважины до получения полного расчета по прежним работам. Обследования на месте и вызовы к следователю затуркали руководителей и создали нервное настроение у всех работников станции. В довершение несчастий — банк закрыл счет.

Проводив Липатова в Москву на невеселый доклад, Палька вернулся на станцию — и тут на него навалились разом все неприятности.

Еще на подходе его поймал буровой мастер Карпенко:

— Павел Кириллович, как же с девятой и одиннадцатой скважинами? То ж зеленая чепуха — пробурено до сорока метров, и вдруг — псу под хвост?! Вы б поговорили с начальством, чи есть у них мозги, чи нет?

Маркуша выбежал встречать на крылечко барака:

— Насосы прибыли! Надо немедленно выгружать и перевозить, а то штраф заплатим!

Леня Коротких выглянул из лаборатории:

— Звонили из ЦЛ — пора вносить очередной аванс.

Секретарша, за последнее время преисполненная чувства ответственности, раскрыла блокнотик «для памяти»:

— Первое: завтра к 9.00 вас вызывает майор Туков... Ой, Павел Кириллович, у меня колени дрожат... Второе: звонили из больницы, просят вас зайти к Кузьменко Кузьме Ивановичу. Сказали — обязательно, больной нервничает.

Сигизмунд Антипович вошел бочком и доложил зловещим шепотом:

— Финансирование нам закрыли. Я уж не говорю о других потребностях, но первого числа мы не сможем выдать зарплату... Вы не думайте, Павел Кириллович, что касается меня и моей жены, мы вас не оставим... но как быть с людьми?

Липатушка умел как-то выкручиваться. Палька не умел. И откуда взять деньги хотя бы на получение долгожданных насосов? И на зарплату? Кто теперь поможет, когда... И еще этот вызов к Тукову!..

Он удрал ото всех сразу и спустился в новый ствол к проходчикам, к дяде Алеше — дядя Алеша был на станции секретарем партийной организации.

— Подпирает, Павлуша? — спросил он.— А ну, посторонись, голубь, зашибут!

Мимо Пальки пошла вверх бадья с углем — выбирали уголь из канала, соединяющего новые скважины.

— Дядя Алеша, соберите коммунистов. Я должен сообщить положение.

— Это можно. А ну, берегись!

Пустая бадья, раскачиваясь, летела назад.

Коммунисты собрались через полчаса. Их было немного — девять человек. Палька — десятый. Он рассказал им, ничего не утаивая, как бедственно положение станции. Что они могли подсказать, эти девять человек? Кроме Маркуши и Лени Коротких, все — рядовые рабочие: проходчики, машинист компрессора, монтер, слесари-монтажники... Чем они могут помочь, когда и начальство бессильно, когда все решается в Москве?

Они и не подсказывали. Они решили только одно — выстоять, продержаться!

— Вешать нос не будем,— сказал Ваня Сидорчук.— Выход найти надо, а раз надо, то и найдется, верно, товарищи? Наши ж люди, понимают!

— Ты езжай, Павел Кириллович, раз Кузьма Иванович призывает,— сказал дядя Алеша.— А завтра... ну и завтра не дрейфь, ты ж не виноватый. О станции не беспокойся — развалить ее не дадим.

— Да, но насосы...— вздохнул Маркуша.

— Тю! Сами выгрузим, подумаешь, эко дело! — сказал машинист.— А грузовики... пошукать надо, может, и с грузовиками чего придумаем, знают же нас, неужто не поверят?

Это было наивно — кто поверит в долг предприятию с закрытым счетом, находящемуся под следствием? Но Палька ушел богаче, чем пришел, — он был не один, у него была немногословная, но безоговорочная поддержка девяти человек, нет, не девяти человек — организации.

Только у больницы, где он не был с того злосчастного дня, Палька понял, как мучительно снова войти в это здание — мучительней даже завтрашнего разговора с Туковым. Там, у Тукова, он спорил, отбивался, чувствовал себя правым. Здесь, перед отравленными газом людьми, их женами и родственниками, он невольно чувствовал себя виноватым.

Тех женщин не было. Врач, что тогда закричал на него, теперь встретил приветливо:

— Старик очень вас ждет. Но предупреждаю: пять минут, и не давайте ему много говорить.

Затем врач сказал, что состояние больного тяжелое, началась пневмония (Палька не знал, что это такое, и онемел от страха), кроме того, есть явления силикоза (об этой шахтерской болезни Палька знал с детства и внутренне охнул), а кроме того, что вы хотите, возраст...

Кузьма Иванович лежал на высоко поднятых подушках и сперва показался здоровым, даже посвежевшим, только позднее Палька сообразил, что яркий румянец на запавших щеках и лучистый блеск глаз — от сильного жара.

— А-а, Павлуша! Видишь, как скрутило меня,— заговорил он не своим, жидким голоском.— И винить некого. Ты Любушку видал? Я полное показание написал, печатью припечатали. Она повезла в Москву. Говорила тебе?

— Говорила. Спасибо вам, Кузьма Иванович.

— Это за что же? Что свою вину на вас не перекинул? — Он зорко глянул на Пальку и заторопился высказать все, что надумал. — Тягают вас? Так вот. Не выгораживай. Благородство не разводи, понял? Я виноват. Я! Начальник шахты приказывал размежевку не нарушать, и Липатов просил... Моя вина! Единственный виновник — я!

Он говорил возбужденно, даже радостно — и Палька вдруг понял, что он уже чувствует близкий свой конец, а потому берет всю вину на себя и рад этому простому выходу.

— Ведь в шахте что самое главное? — продолжал он. — Не горячиться! Не забывать, где ты и где она. Это мне, еще мальчишке... еще Харлампий учил меня: «Не забывай об ей, и она тебя не обидит». А я забыл. Вот она и наказала.

Палька все время помнил: пять минут, и не давайте ему говорить... Но как не дать? И что скажешь?

— Простился я с Любушкой, не увижу больше, — пробормотал Кузьма Иванович, прикрывая замутившиеся глаза. — А Вова ходит... И Катенька... Ты ее не помнишь, Катеньку. Славная такая девочка. Все дети у нас русые, а она темненькая... А главное — Ксюша! Не привыкла она... без меня. Пусть Леля с ней. Леля... она сумеет.

Бредит? Или все уже путается в его голове? Давясь слезами, Палька сжал горячую сухую руку с темными пульсирующими венами.

— Не мучьте себя, Кузьма Иванович. Доктор говорит — поправитесь вы, еще молодцом будете.

— Даже молодцом? — усмехнулся Кузьма Иванович и, приоткрыв один глаз, оглядел Пальку. — Ну что ж. Раз доктор сказал... Ты это брось! — вдруг недовольно прикрикнул он. — Брось! И слушай, что я скажу.

Глаз снова закрылся.

Кузьма Иванович продолжал шевелить губами, — может, думал, что говорит вслух? Палька склонил голову к самым его губам, но ничего не услышал, кроме рвущегося вместе с дыханием хрипа воспаленных, забитых угольной пылью легких.

— Не отступайте! — резко сказал Кузьма Иванович и открыл снова заблестевшие глаза. — Не отсту-

пай, слышишь? Святое дело у вас в руках... для людей... Святое! Не отступайте! Я все написал... И печатью припечатали... Должно оказать...

— Вы все еще здесь! — Рядом возникла фигура в белом халате.— Вам же сказали: не больше пяти минут.

— Уже все.— Кузьма Иванович чуть приподнял для пожатия бессильную руку.— Иди, сынок. Ксюшу... Ксюшу не забывай.

Из больницы Палька послушно отправился к Кузьминишне. В трамвае было нестерпимо — что-то подкатывало к горлу и душило, душило. Он выскочил на первой остановке и пошел пешком. И заметил, какая уже глубокая, безрадостная осень — на черных мокрых сучьях болтаются одинокие потускневшие листки, на земле — сплошная масса пожухлых, затоптанных листьев, не шуршащих, а чавкающих под ногой. Бурые пустыри. В облетевшем парке — пусто. И даже здесь, на воле, что-то душит и давит... А-а, это сырость пригибает к земле лисий хвост азота. Гадость какая! Надо найти способ избавления от этого лисьего хвоста... Найти способ? Тут и со своими хворобами не нашел способа управиться. Насосы. Зарплата. И еще в 9.00 — Туков...

Мост. Обелиск.

— Где-то там, в черной глуби земли, зарыт Кирилл Светов. Отец...

Палька совсем не помнил отца. Катерина немного помнила, хотя ее детские воспоминания давно смешались с тем, что ей потом рассказывали об отце, а помнили его многие: Кирилл Светов жил на виду, на людях. Палька с малых лет знал, что у всех мальчишек отцы как отцы, а у него — герой, похоронен под обелиском, и гордился этим. А вот сейчас впервые схватила за сердце тоска по живому, незнакомому... Какой он был? Говорят, большой, всегда веселый, озорной, шумный... А вот что он думал один на один с самим собой? Чем он жил? Чего хотел? Тогда пели: «...и как один умрем в борьбе за это!» Он хотел, чтобы весь земной шар принадлежал тем, кто трудится. И умер за это. Я тоже мог бы. В бою. Ну а так, в жизни,— будь он на моем месте, что бы он сказал сегодня Кузьмичу? Промолчал бы, как я, или закричал бы:

врешь, не клепай на себя! И тем разъяренным женщинам на больничной лестнице — что бы он сказал в ответ? Нашел бы он какие-то верные, доходчивые слова? И с Туковым... Как он говорил бы завтра с Туковым? Может, схватил бы его за грудки и тряханул как следует — не темни, гад, сам ведь не веришь, а накручиваешь!..

Ну и я скажу Тукову это самое. Не темни!..

А вот Кузьминишне... Что я скажу сейчас Кузьминишне?

Он ничего не сказал. Не нужно было ничего говорить.

Кузьминишна сидела за столом и с ложки кормила младшего внука. Матвейка баловался и уворачивался от ложки. Рядом Светланка, как старшая и рассудительная внучка, сама уписывала за обе щеки такую же кашу. В открытую дверь видна Лелька — стоит у стола в бывшей Любиной комнате и гладит белье, а белья возле нее — груда. Наверно, опять берется по вечерам стирать и гладить чужим людям. С тех пор как у нее родился Матвейка, она хватается за любой заработок. А теперь, когда заболел Кузьма Иванович, особенно.

— Вы со станции, Павел Кириллович? — Лелька выбежала к нему с утюгом в руке. — Никиту не видали?

Оказалось, после работы Лелька поспешила домой — белье пересохнет, а Никита остался на собрание. И вот его нет и нет.

— Да какое собрание? Нет у нас собрания.

— Может, он еще куда зашел? — поспешила выручить сына Кузьминишна. — Он хотел насчет кровельного железа похлопотать...

— Знаю я его хлопоты! — сердито блеснув глазами, бросила Лелька, вернулась к белью и уже оттуда, наглаживая очередную вещь, весело крикнула Пальке: — Его на поводке водить нужно, гулену несчастную! И этот баловник такой же, весь в батьку!

Матвейка действительно был весь в батьку — даже в младенческой его улыбке было что-то кузьменковское.

Знакомый голос сказал за дверью:

— Придет твой Никита, никуда не денется.

Палька с удивлением заглянул в ту комнату — Катерина сидела с ногами на кровати, плотно завернувшись в вязаный платок, руки сложены. Мрачная.

— Ты что тут делаешь?

— Ничего.

— Да ты что — такая?

— А чего мне веселиться?

В те дни, когда разразилось несчастье, Катерина была спокойней и решительней всех. Она без промедления вернулась на работу в свою компрессорную, а Светланку перевела жить к «кузьменковской бабушке», грозно цыкнув на родную мать, когда та запротестовала.

— Вам бы только охать и переживать,— сказала она тогда.— Кузьминишне дело нужно, руки занять нужно...

Палька подсел к сестре и тихонько, чтоб не услыхала Кузьминишна, рассказал о Кузьме Ивановиче. Катерина слушала рассеянно. И вдруг спросила дрогнувшим голосом:

— Почему от него ничего нет?

Палька понял, что она все время думала об Алымове.

— Некогда ему сейчас писать. Вот уляжется все...

— Очень мне нужно, чтоб он писал! — страстно воскликнула Катерина.— Не понимаешь ты ничего. Ведь он сумасшедший! Сумасшедший! Саша — разумный, сдержанный, а Костя напролом пойдет, он же себя не пожалеет, он же наговорит такого, что...

Первый раз он слышал, что сестра называет Алымова так ласково — Костя. И только в эту минуту поверил, что раздражавшие его отношения Катерины с Алымовым глубже, чем он думал, что она любит.

Они долго сидели в этот вечер у Кузьменок. Уже уложили детей. Поужинали, попили чаю. Кузьминишна подремывала над вязаньем, то и дело вздрагивая и прислушиваясь — не идет ли загулявший сын. Лелька, как вихрь, носилась по дому — перемыла посуду, убрала ее; догладила, сложила и увязала в узел белье; постелила постели, собрала ужин для Никиты... На ходу и между делом она ворчала и чертыхалась, грозилась рассчитаться с Никиткой так, как он еще и не подозревает,— и все-таки ощущалось, что она

в этом доме самый счастлнвый, еднннственно счастлн- вый человек.

В полиочь ввалился Никита — грязиый, перемазаииый, то лн подвыпнвшнй, то ли просто веселый. Ои виновато зиркнул глазом на мать, погасил улыбку, но оживление так н просилось наружу.

— Ишь красавец! — обрадоваино закрнчала Лелька.— Улицу мордой подметал? Руки тебе не отдавилн, пока домой шел?

— Цыц, дуреха, детей разбудншь! Прнготовь-кз помыться. Работалн мы.

— Ра-бо-талн?

Ннкита осиовательно помылся н сменнл рубаху, прежде чем войти в комиату.

— Ты бы поглядел, Павел, что иа стаиции делается! — сказал он, набрасываясь на еду.— Освещеине как в праздинк. Возы, мажары, тачки. И Сигизмунд под зоитиком! — Он расхохотался и сиова виновато зиркнул глазом на мать.— Подогрей-ка самовар, Леля, горячего хочется.

— Нет, ты погоди.— Палька положил руку на самовар, будто самовар был необходим ему, чтобы понять.— Какне возы? Что делается?

— А вот то,— удовлетворенио сказал Никита.— Полный субботинк! Гоият уголь на-гора́. Сигизмунд со своей гимиасткой продают его населенню. За иаличные. А мы с Маркушей выгружали иасосы.

После того как Палька уехал в больиицу, коммуиисты еще поговорнли между собой, а потом Ваня Сидорчук пошел по всем участкам стаицнн беседовать с людьми. Беседовали н другне, ио у Вани было то преимущество, что он никогда о себе ие рассказывал, а уж если решил заговорить, зиачит, душа горит, значит, нужно вникиуть.

Он ходнл н рассказывал людям, как служнл в армии, н как наткнулся на ту самую статью Владимира Ильича Леинна, н как послали кавалернсты запрос — что делается по лениской статье. Ои рассказывал, как обрадовался по возвращеннн домой, услыхав, что есть в Доибассе станция подземной газифнкацнн, н иачал работать у Катеннна, но там ннчего не вышло... Он

говорил о том, сколько борьбы выдержали молодые донецкие химики со своим проектом и как им все же удалось получить газ, а вот теперь все дело под угрозой — и только из-за того, что закрыли счет и нет денег, а если бы рабочие подождали и немного поработали в долг...

Когда начали скликать на собрание, все уже были подготовлены к принятию жесткого решения — работать без зарплаты.

— Перетерпим! — первым закричал тот молодой землекоп, что когда-то добивался отправки в Испанию. — Ремешки подтянем, раз нужно! В гости ходить будем!

— К теще на блины! — подхватил другой. — По дружкам-приятелям!

— Семейным подсобить придется, — сказал один из проходчиков. — А так что ж, ведь не закрываться же. Тем более, утрясется все. Должно утрястись.

Решение приняли без споров, как будто оно не сулило каждому всяких лишений. Так же просто решили — самым сильным парням поехать на выгрузку насосов. Но где взять деньги?.. Думали, гадали. Оттого, что ни Липатова, ни Светова тут не было и все знали, что начальникам сейчас приходится туго, особое настроение царило на этом недлинном собрании — мы *сами*! Сами собрались и хотим помочь.

Выступление Сигизмунда Антиповича было для всех неожиданно — старого циркача никто не принимал всерьез, над ним и его кокетливой супругой посмеивались. Смехом встретили и первые его слова:

— А я предлагаю, товарищи, продать уголь.

Смех рассердил Сигизмунда Антиповича.

— Что тут смешного?! — срывающимся голоском выкрикнул он. — Зачем у нас валяется без пользы уголь? Только территорию портит! — Люди прислушались, — еще недоверчиво, с усмешками, но прислушались, а Сигизмунд Антипович продолжал: — У нас до революции был случай, когда мы прогорели. Цирк Шапито, с места на место переезжали, всякого навидались, а тут — прогорели. Совсем. Вы этого не поймете, вы безработицы не знаете... а куда мы тогда разбрестись могли? Кому мы нужны были — сами-то по себе? А у нас в труппе дрессированные живот-

ные — собачки, морские свинки, две белые крысы...

Кто-то из молодежи засмеялся, на него зашикали.

— Их кормить нужно. А денег ни шиша. Так мы по дворам, по базарам пошли — фокусы всякие... Акробаты... Клоун прямо на базаре выступал... И мы с женой — целый день свой лучший номер с бутылками исполняли...

Опять кто-то из молодежи неуверенно засмеялся — и смолк.

— Так почему же теперь не помочь своей социалистической станции?! — с неожиданным пафосом воскликнул Сигизмунд Антипович.— Объявить по соседним поселкам — продаются излишки угля. По дешевой цене. Отбою от покупателей не будет! А зачем он нам, этот уголь? И территорию очистим. И насосы перевезем.

— Товарищи, да он же дело говорит!

— Ай да Сигизмунд!

— Это уже не Сигизмунд, а Антипович! Смекалистый мужик!

— Угольку подбавить надо! Кто хочет проходчикам помогать? Записывайся!

— Товарищи! Товарищи! Кто пойдет объявить по поселкам? У кого там знакомые есть?

— Всем работать вечер! Субботник объявляй, дядя Алеша!

Так родился этот необычный субботник. Машинисты и землекопы спустились в ствол подсоблять проходчикам, а возле навала угля, спасаясь от моросящего дождичка, сидели под зонтом Сигизмунд Антипович с супругой; она держала зонт, он аккуратно записывал в ведомость количество отпускаемого угля, пересчитывал рубли и десятки, складывал их по порядку в железный ящик. А в ворота тянулась очередь телег и тачек за дешевым — дешевле, чем на складе,— углем...

Липатов вернулся из Москвы с мрачноватой формулой — «еще потрепыхаемся, как та муха на липучке»,— но не успел он поделиться с друзьями невеселыми московскими впечатлениями, как позвонил Саша и восторженно, но не очень понятно сообщил, что победа полная, в самом главном месте! Потом

позвонил Рачко и рассказал все подробности, какие можно было передать по телефону, и посулил широкую помощь.

Липатов начал названивать в банк и в подрядные организации, а Палька поспешил сообщить о победе тем, кто не растерялся в дни беды. Он ходил от одного участка до другого, поздравлял, принимал поздравления и бежал дальше.

Наконец на станции не осталось ни одного человека, который не знал бы счастливой новости.

Мстительно усмехаясь, Палька позвонил Тукову.

Туков помолчал минуту, потом быстро сказал:

— Рад за вас. Есть документ?

— Если вам нужен документ — запросите сами! — сказал Палька и, не прощаясь, дал отбой.

Кому сообщить еще?

Он взялся за телефонную трубку — и отпустил ее.

— Я съезжу к Кузьмичу, ладно, Липатушка? Все равно работать... ну, не могу я сегодня работать!

По пути в больницу он свернул к зданию, где помещался горком комсомола. Так просто было бы подняться на второй этаж, открыть четвертую дверь справа и увидеть...

Постоял — и пошел в больницу. «Не надо» — так она сказала. «Нельзя» — она в этом уверена.

К Кузьме Ивановичу не хотели пускать:

— Ему очень плохо.

— Ему станет лучше, честное слово!

Палька приготовился увидеть что-то страшное, а Кузьма Иванович выглядел почти так же, как в прошлый раз, даже спокойней и легче дышал. Но когда он поднял глаза на подошедшего вплотную человека, Палька содрогнулся, таким отрешенным был его взгляд.

— Зашел? Садись,— проговорил тусклый голос.

Пробиваясь через эту пугающую отрешенность, Палька начал рассказывать. Слушал старик — или нет? Все тот же невидящий, чуждый всему взгляд устремлен куда-то мимо Пальки. Но вот что-то затеплилось в глазах, судорогой прошло по лицу.

— Повтори,— произнесли губы.

Палька повторил с еще более радостными интонациями.

— Жаль...— еле слышно сказал Кузьма Иванович.—Жаль...

Мучительиое недоумение возникло в его глазах вместо недавней отрешенности. Будто он никак не мог освоиться с тем, что его жертва уже не нужна, а жить — иет сил.

— Иди, Павлуша...— Ои слегка махнул пальцами.— Иди.

В той внутренней работе, что началась, он не хотел ии участииков, ни свидетелей.

В вестибюле больницы Палька подошел к автомату. Если найдется в кармане гривенник, позвоню. Гривенник нашелся.

— Весненок слушает.

Этот ее авторитетно-ответствеиный голосок! Он уже ие раз звоиил только для того, чтобы услышать его — и, помолчав, повесить трубку.

— Клаша, это Павел. Мие нужно рассказать тебе большую иовость.

Она не может отказаться от встречи, раз у него большая иовость!

— Павлик! — воскликнула оиа. — Поздравляю, Павлик! Я уже все зиаю, мне звонил Леня. Замечательио!

Если б этот Леия подвернулся сейчас под руку, было бы здорово дать ему трубкой по башке.

— Значит, ты рада за нас? — упавшим голосом спросил он.

— Ну еще бы! Я всегда верила, что коичится хорошо.

— И я тоже.

— Да.

— Что ты сейчас делаешь?

Оиа не ответила. Кажется, он слышал ее напряженное дыхание.

— Тебе не пора коичать работу?

Она все еще медлила. Потом твердо сказала:

— Работу я коичила. Я пишу письмо Степе. Надо же ему сообщить такую новость.

Теперь молчал он.

— Что ему передать?

— Привет. И поздравление. Ну, до свидания!

— До свидания!

Такой получился разговор...

Катерина была дома. Она сидела одна и читала длиннющее письмо.

— Победа? — первою воскликнула она еще до того, как он открыл рот,— видно, и после того разговора что-то победное в лице сохранилось.

— ...И ты понимаешь, все уже было гробово, все подавлены, молчат... И вдруг встает Саша и говорит: неправда, все не так, вам наврали!

— Саша? — бледнея, переспросила Катерина.

Затем она отвернулась, вложила длиннющее письмо в конверт и сунула конверт в ящик комода.

— Конечно, Саша! — Он вдруг понял, быстро поправился: — Да неважно кто, важно, что нас поддержали, что теперь можно...

— Да, конечно,— сказала Катерина.

После этого дня прошло еще пять. Ликование сменилось ожиданием. Что-то долго не было ощутимых результатов победы — даже финансирование еще не открыли, уж нет ли там какой-нибудь осечки?

На шестой день пришла телеграмма:

> Финансирование открыто тчк Примите меры полному развороту работ тчк Липатову или Светову выехать Москву обсуждение перспектив и потребностей тчк Директор Углегаза Алымов

Алымов — директор?

Интересно, что там произошло с Олесовым? И какие перемены в аппарате? Останется ли Колокольников? И что значит — обсуждение перспектив и потребностей? Это и есть — начало широкой помощи?..

Палька был в восторге от того, что Липатов не может ехать, так как нужно «подкрутить» все, что тут запустили и приостановили.

Катерина отнеслась к новому известию непонятно — и обрадовалась как будто, и стала колючей.

— Поедем вместе, сестренка! Собирайся, а? Сделаем приятный сюрприз новому директору.

— Разве новый директор меня вызывает?

— Ну, в данном случае директор, кажется, ты?

Она холодно улыбнулась и сказала:

— Кажется, да. Но ведь я на работе.

15

Снег выпадал — и таял. Выпадал — и таял. Ветры носились над донецкой землей, то ледяные, пронизывающие до костей, то теплые, сырые, от которых по телу шел озноб.

Катерина носила кирпичи по дощатой сходне на растущую стену новой компрессорной. Она взялась за такую грубую работу со злости на себя и на весь свет: прогуляла семь месяцев, а вместо нее приняли другого машиниста, теперь ее кидают из смены в смену — то подменить больного, то поработать за отпускника или за товарища, занятого на общественном деле. В нынешнем ее душевном состоянии налаженная, четкая работа могла успокоить, всякая бестолочь была нестерпима.

В отделе кадров ей сказали:

— Поработай на стройке компрессорной, тогда поставим тебя на любой новый компрессор, сама выбирать будешь.

В первые дни — да что дни! — в первые недели спина болела так, что утром не разогнуться.

Движения грубы и однообразны — опустили носилки, наложили из штабеля кирпичей, разом подняли носилки, перехватив в ладонях поудобней, и пошли — в лад, размеренным шагом. Ноги привычно нащупывают ребрышки сходни. Когда идешь с грузом, доски прогибаются, когда сбегаешь налегке обратно — еле ощутимо пружинят.

— Ну куда спешишь, скаженная? — ворчит напарница.— Надорваться хочешь?

Спешить ей некуда, но приятно чувствовать, как напрягается, горит, дышит на ветру ее молодое, здоровое тело. Опустив носилки возле каменщиков, она успевает распрямить спину и увидеть сверху знакомый двор шахты и свою старую компрессорную, где ей бывало так легко на сердце, вход в нарядную, где всегда входят-выходят знакомые люди и где она встречала когда-то Вову... Копер, два сросшихся в основаниях терриконa, здание шахтоуправления, возле которого останавливаются грузовики, ожидающие нарядов, а то и легковые из города. Она успевает увидеть, как по склону одного из терриконов ползет вагонет-

ка — ползет, доползла, задрала хвост и опрокинула на вершине склона дымящуюся породу... Почему здесь, на воле, среди привычных картин знакомого труда, она ощущает в себе неведомое буйство сил, и радость жизни — пусть со стыдом и горечью пополам, и все-таки — надежду, надежду вопреки всем и всему?!.

И тут самая пора хватать носилки, и бежать вниз, и брать груз потяжелей, и расходовать, расходовать неуемную, непрошеную силу...

Бригадир каменщиков, тридцатилетний женатый богатырь, дуреет и запинается, когда она подходит. Парни помоложе после неудачных попыток поухаживать пялят на нее глаза и величают царевной-недотрогой. Пропади они все пропадом! Был один-единственный — он никогда не обидел и другим не дал бы обидеть. Второго такого нет. Кому я доверилась, дура? Уж если я Игоря прогнала... А, Игорь, наверно, не лучше других. Разлетай с кудрями! Нет, никого мне не надо.

В старой компрессорной о ней знали все, она была — своя. Здесь, на стройке, народ пришлый, она для них — чужая, и она не старается сблизиться с людьми, ей легче, что они ничего о ней не знают и не могут судачить.

Дома — хуже.

Еще по дороге к дому, вступая в поселок Челюскинцев, она томится желанием склонить голову, опустить глаза, проскочить незамеченной. Нет, она не позволяет себе ничего подобного, она идет по середине улицы, смотрит людям в глаза, останавливается перекинуться словом, задирает шутками самых отъявленных сплетниц. Ей не приходится заблуждаться на их счет, она знает, что они усиленно чешут языки: «А на что она надеяться могла?», «В столице и получше есть!», «С чего бы нос задирать?», «А долговязый-то и думать об ней забыл...»

Самое противное, что всё — правда.

Дома — мать с невыносимым выражением сострадания. Катерина пыталась скрыть правду, отговаривалась тем, что Алымов очень занят, ведь директор теперь! Но вышло так, что пришлось сказать.

Это случилось вскоре после того последнего пись-

а. Письмо пришло во время обеда, Катерина распечатала и начала читать, в тарелке стыл борщ, а Катерина читала: «...я боролся с собой, я старался стать достойным Вас...», «...я понял, что надо расстаться, пока Вы не связали свою жизнь с моей...», «...я кляну себя за то, что не могу дать Вам всего, что Вы заслуживаете...».

— Какие новости? — спросил Палька, подставляя тарелку для добавки.

Катерина налила ему и съела свой борщ, достала из кастрюли и разделила мясо. Кажется, она и мяса поела, и вынесла посуду на кухню. Потом прибежала от «кузьменковской бабушки» Светланка. Катерина обещала ей книжку с картинками: пришлось почитать книжку. Единственную слабость позволила себе Катерина — оставила Светланку дома и взяла ее к себе в постель, прижалась к маленькому сонному человечку, да так и заснула — глухим каменным сном.

А дня через три, придя с работы домой, она застала Светланку во дворе. Было мокро, грязно, Светланка всунула ноги в большие алымовские сапожищи и с хохотом топала по лужам — веселый котик в сапогах из детской сказки. Марья Федотовна была тут же и любовалась внучкой.

— Это что такое? — гневно спросила Катерина.

— Папины сапоги! — торжественно прокричала Светланка.— Я — папа!

Марья Федотовна густо покраснела. Это она потихоньку приучала внучку называть Алымова папой.

Катерина метнула на мать испепеляющий взгляд, рывком выхватила Светланку из сапожищ, шлепнула ее и унесла в дом. Светланка заревела, мать кинулась выручать из лужи сапоги.

— Какая гадость! — кричала Катерина позднее, когда девочку увели к Кузьменкам.— Кто вас просил вмешиваться не в свое дело? Один у нее отец был и будет!

— Она сама...— лопотала испуганная мать.— Ты пойми, девочке хочется... Он привозит ей игрушки...

Катерина перестала кричать. Игрушки! Вот именно — игрушки. Это он может. Всех купил игрушками. Меня — первую. За что кричу на маму?

— Не сердитесь,— сдерживаясь, сказала оиа,— только постарайтесь, мамо, чтоб она навсегда забыла этого дядю с нгрушками. И самн забудьте. Мы разошлись.

Оиа хотела беспощадно добавить — ои меня бросил, но увидела иесчастное лицо матери, пожалела ее н сказала:

— Не плачьте, мамо, так лучше для всех.

Мать, конечио, пересказала разговор Пальке. Брат и без того хмурился, нзбегая упомииаиий об Алымове,— особенно после иедавией поездки в Москву. Сначала Катериа решила, что Алымов, став директором, перегиул в проявлеииях власти. Теперь она услышала раздражеииый ответ Пальки:

— Ну н слава богу. Я иикогда в это все... не верил.

Его слова жгли Катерину. Он ие верил. Должио быть, и Саша, н Липатушка, и Люба ие верили... чему? Серьезиости его любви? Его иамерeиий? А я... верила? Я не позволяла себе думать, что будет дальше, но как можно было ие поверить в его любовь? И как забыть о ией теперь, если память, как нарочио, подсовывает все лучшее, все, что волновало и трогало?.. Ту комнату иа берегу моря и окно, распахиутое навстречу лунному блеску моря, запахам водорослей и цветов, его руки, его голос, такой необычиый для иего,— ведь нельзя же выдумать такую нежность, и страсть, и покорность во всем!

Куда ж это все ушло? Что же ои за человек, если все так быстро разгорелось н — сгорело?..

Закрывшись от всех, оиа сиова и сиова пыталась разобраться в нем, перечитывала по миогу раз все те же два письма — последнее и предпоследиее, иаписанное в ожидаиин вызова в Кремль. В тот день он испнсал мелким, невнятным почерком шесть страинц. Длинное, путаное, отчаянное письмо: «Видно, надо нскать свою судьбу на новом попрнще...», «Нас свела победа, как же ты посмотришь иа меня сражеиного?..», «Громко тикают и тнкают надо миой часы, может быть отсчитывая мои последиие минуты...».

Как страино! Я думала, ои риется напролом, не жалея себя, а ринулся Саша. Было ли у Саши в тот деиь такое отчаяииое настроение? Позволил ли ои

себе... Нет, он не мог впасть в панику. И он не мог думать только о себе — «искать на новом поприще...»

Она зло засмеялась, сличив два письма.

В первом, отчаянном: «Поедешь ли ты со мной в неизвестность, быть может, на черную работу и нужду?»

Во втором, прощальном «...Кляну себя за то, что не могу дать Вам всего, что Вы заслуживаете». Вот как! Именно теперь — не может...

Что же с ним случилось за месяц, прошедший между двумя письмами?

Смирив гордость, она спросила брата:

— Что с ним стряслось, с Алымовым?

Палька помолчал, потом покрутил пальцем вокруг головы:

— Головокружение от успехов. Административный восторг!

— А еще?

— А что еще? Хватит и этого.

Он шагнул к ней и положил руку на ее непокорное плечо:

— Перечеркни, сестренка. К черту!

— Я уже давно... к черту.

Нет, ничего еще не было перечеркнуто. Сколько ни глуши себя тяжелой работой — от правды не спрячешься, ее-то не заглушишь. Поиграл — и отбросил, как надоевшую вещь.

Палька много раз собирался — и не мог рассказать Катерине о том, что было в Москве.

Как бы ни раздражала его связь сестры с Алымовым, в прочность которой он не верил,— Алымов все же был их сторонником и соратником, его назначение директором Палька воспринял так же, как Липатов: «Наша взяла! Лучше свой Алымов, чем неизвестно кто».

В Углегазе царило нервическое ожидание перемен. Лидия Осиповна сидела на своем посту с непроницаемым лицом, но, когда раздавался звонок из кабинета, вздрагивала всем телом.

Рачко приводил в порядок дела. На всеобъемлющий вопрос Светова: «Ну как тут у вас?» — он фаль-

шиво пропел: «Ныиче в море качка!» — а потом тихо сказал, что, по-видимому, доживает в Углегазе последние дни.

— Почему, Григорий Тарасович?! Как это может быть, когда вы...

— Да нет, Павел, ты не так понял! — с ироиией перебил Рачко.— Партсекретарей не выгоняют со службы, если хотят от иих избавиться... партсекретарей выдвигают. Вы-дви-гают! Как ценных работников — на более самостоятельную работу... куда-нибудь подальше.

— Но почему?.. Ведь вы?!

Рачко пригляделся к Светову — действительно парень не знает ни о том ночном разговоре с Мордвиновым, ни о той пощечине? Да, не знает. Ну и хорошо. Молодец Саша, не болтлив.

— Иди к Алымову, он тебя ждет,— сдержанно сказал Рачко.— Добивайся всего, что нужно станции. Помощь идет немалая — нам отпускают средства на расширение работ, решено проектировать большую опытно-промышленную станцию в Сибири, нашему НИИ дали наконец помещение и приличные штаты научных сотрудников, есть надежда получить новые приборы...

— Так ведь это здорово!

— Конечно, здорово,— согласился Рачко,— но и то здорово, когда человек умудряется из одной улыбки и шутливой реплики сварганить себе директорский пост!

Поначалу, встретившись с Алымовым, Палька подумал, что Григорий Тарасович не сумел сработаться с новым директором и дал волю недобрым чувствам. Алымов был в празднично-возбужденном настроении, его огненная энергия, казалось, не знала преград, раскаты его голоса доносились до самых дальних комнат Углегаза. Он прямо набросился на Светова — чем вам помочь? Все сделаю! Все вырву зубами! Запрашивай с походом, не стесняйся, сейчас такая ситуация!..

Пальке только того и нужно было. Он завертелся в хлопотах, все время чувствуя напористую поддержку Алымова. Приборы... Заказы на трубы... Штаты... Ситуация оказалась действительно подходящей.

Сашу удавалось видеть редко — институт переезжал в новое помещение. Саша был задумчив и замкнут, обсуждать назначение Алымова не захотел, только сказал:

— Нам его недостатки и достоинства известны,— значит, надо удерживать его от опрометчивости и направлять его энергию на пользу дела.

Люба расспрашивала о Катерине, вскользь обронила:

— Не пара они... Неужто она не понимает!

Палька и сам думал так же, но в отношении друзей к Алымову проскальзывала непонятная ему предубежденность. Он напрямик спросил — в чем дело?

— Приглядись,— коротко посоветовал Саша.

Палька стал приглядываться. Впрочем, особой догадливости не потребовалось, у Алымова все рвалось наружу. Нежданный взлет карьеры разжег его честолюбие — он жаждал до конца использовать счастливую ситуацию, искал известности и похвал, упорно добивался, ссылаясь на перспективы Углегаза, своего утверждения членом коллегии наркомата, добыл персональную машину и вот-вот должен был получить квартиру, выхлопотал увеличенные ставки руководящим работникам,— и все это не из корысти, а для престижа: его потребности были невелики, бытовые удобства его не занимали. Когда Пальке случилось вместе с ним поехать на новой машине и Алымов небрежно уселся на обитое ковром сиденье, Палька увидел, как победно раздуваются его ноздри и сверкают глаза, с какой блаженной гордостью он едет на *своей* машине в потоке других начальственных машин, а потом, у входа в наркомат, бросает шоферу: «Жди здесь...»

Черт с ним, пусть тешится, думал Палька. Это не так уж страшно. Хуже другое...

Поверил ли Алымов, что его выдвинул не случай, а личные качества? Во всяком случае, он день ото дня все более властно командовал, все меньше советовался, вмешивался и в решение чисто технических вопросов, причем нередко попадал впросак. Молодые инженеры проектного и технического отделов, фыркая, рассказывали анекдоты про его невежество.

Палька присутствовал на нескольких заседаниях,

и на каждом Алымов произноснл «руководящие» речн, безапелляционио высказывая свою точку зрения. Когда он говорил иелепости, Колокольников деликатио поправлял его, обрамляя поправку рассуждеииями о том, что теперь, когда руководство в твердых руках... в данное время, когда дело ведется с такой эиергией и умеиием...

Казалось, Алымов первым делом постарается освободиться от Колокольиикова — этот человек достаточио ставил нм палкн в колеса. Но иет, Колокольииков удержался, теперь ои был работящ, скромеи, старался стать иеобходимым иовому директору.

Упориые слухи о предстоящих перемеиах будоражнли весь аппарат. Палька ие очеиь прислушивался — в таких случаях всегда болтают! Но затем слухн сталн уж очеиь определениыми — якобы приказ уже заготовлеи и даже согласоваи в инстаициях: Рачко — в Кузбасс, Мордвиниова — директором Подмосковной стаиции, а в НИИ иа его место — Катеиниа. По этому поводу молодежь как-то загадочио переглядывалась. Палька иичего ие поиял, ио пришел в ярость и помчался к Саше — ты слыхал?

— Слыхал,— ответил Саша,— только ие будет этого. Поедем к Алымову, будешь свидетелем. Но, пожалуйста, в разговор ие встревай.

Алымов встретнл нх с подчеркнутым радушием и первый заговорил о намечаемых перемеиах: «Я как раз собирался выясинть вашу точку зреиия», «Я уверен, что вы поймете мои иамереиия»... Получалось, что эти перемены — чуть ли ие благодеяине, зиак особого доверня — «ключевые позиции будут в ваших руках», «само собою разумеется, Александр Васильевич, что вы по-прежиему будете числиться одиим нз моих заместителей и по зваиию и по окладу»...

Саша слушал, ие перебивая. Палька терпел, помня его просьбу, н старался поиять, чего хочет Алымов. Показать свою власть? Убрать подальше человека более умного и знающего, чем ои, то есть возможиого соперника?..

Когда Алымов выговорился, Саша сказал негромко и очень спокойио:

— Вы хотите отправить Григория Тарасовича в Кузбасс. Но там и свой неплохой коллектив созда-

ется. А вам без Рачко будет трудно, Константин Павлович. Он здесь с первого дня, все и всех знает, у него в руках все нити...

— Обойдусь! — сверкнув глазами, рявкнул Алымов.— А нити будут здесь! Здесь! — И он стиснул большой костлявый кулак.

— Если вы попробуете подменить аппарат и все взять на себя, вы провалитесь,— тем же дружелюбным тоном возразил Саша,— а проваливаться вы не имеете права.

Алымов раскрыл рот — и промолчал.

— Вот вы задумали менять руководителя НИИ. Ради чего?

— Да что ты, Александр Васильевич! — вскричал Алымов.— Я думал усилить Подмосковную! А в НИИ, в конце концов, справится и Катенин, если им руководить...

— А кто будет руководить им? — не удержался Палька.

— Я! — снова рявкнул Алымов.— Я! Колокольников, наконец...

— Ну, Колокольникова мы с вами знаем!

Саша осторожно придержал Пальку за рукав.

— Вы энергичный организатор, Константин Павлович, но знаний для руководства научно-исследовательской работой у вас нет,— жестко сказал он,— а сейчас главное — обосновать и теоретически разработать процессы газификации. Недооценка теории нам обойдется чересчур дорого. Я на это не соглашусь и буду с этим бороться...— он взглянул Алымову в глаза —...всеми доступными мне средствами.

Алымов вскочил и начал мотаться по комнате, спотыкаясь о края толстого ковра.

Саша тоже встал, побледнев.

— Вы ведь знаете, Константин Павлович, я не боюсь драки.

Алымов круто остановился. Лицо его задергалось, в глазах сверкнуло бешенство.

Палька замер, чувствуя, что есть в этой схватке двух характеров что-то, чего он не понимает — или не знает.

И вдруг лицо Алымова преобразилось, он всплеснул руками и раскатисто засмеялся — да что это,

чуть не поссорились! — он привлек обоих друзей на диван и сел между ними:

— Вот что, дорогие, давайте напрямик! Советуйте, подсказывайте, если чем недовольны — ругайте в бога, в душу! Мы с вами главные борцы! Как же мы можем ссориться!

Во время последующего откровенного разговора Алымов то вспыхивал, то смирял себя, то злился, то с громким смехом каялся: виноват, есть такое дело! — и вдруг бросил многозначительные слова:

— Не думай, Павел Кириллович, что я дурак и не видел, что тебе не нравилось. Так вот, больше ничто нас ссорить не будет.

Как это понимать? Палька чувствовал, что услышал нечто важное — не для себя, для сестры. Но почему Алымов, обращаясь к нему, смотрит на Сашу, говорит как бы для Саши?..

Алымов вдруг обхватил голову руками, закачался, как в припадке:

— Да, да, да, что я такое? — забормотал он.— Немолодой, грубый, неуравновешенный...

Он казался искренним и несчастным, Палька даже пожалел его, а Саша сказал без всякой мягкости:

— Вот и хорошо. Что ж, Константин Павлович, давайте подумаем о координации научных и опытных работ...

В последующие дни Алымов был сговорчив и прост, как раньше. Разговоров о переменах больше не было.

Палька уже готовился уезжать, когда стало известно, что Алымов решил воспользоваться присутствием в Москве руководителей станций и устроить дружеский банкет: отпраздновать победу и развитие дела, такая была мотивировка.

Накануне банкета Лидия Осиповна шепотом попросила внести пятьдесят рублей на банкет. Палька чертыхнулся, но внес.

— Ивана Михайловича телеграммой вызвали,— шепнула Лидия Осиповна и пошла дальше — собирать деньги.

Вызвали — ради банкета? И все же было приятно, что Липатушка не забыт.

Банкет состоялся в особом зале гостиницы. Офи-

цианты сновали вокруг заставленных закусками и бутылками столов, в своих черных костюмах и галстуках «бабочкой» они выглядели весьма торжественно — графы среди простецких гостей. Им под стать была, пожалуй, только Люда Катенина — в очень открытом шелестящем платье до полу, вызывающая и возбужденная. Она сидела рядом с Алымовым и держалась хозяйкой банкета. Когда она чокалась с Алымовым, как-то особенно улыбаясь ему, а он скашивал глаза на ее открытые плечи и грудь, Пальке делалось стыдно и жарко.

— Что сие значит? — спросил быстро захмелевший Липатов.

— Не знаю.—Палька с болью вспомнил, как волновалась Катерина за Алымова: «Он же сумасшедший, себя не пожалеет!» — и как она впервые сказала об Алымове: Костя...

— По-моему, рассказывать об этом не стоит.

— Не стоит,— неуверенно согласился Палька.

Тостов было много — за победу и за того, кто дал нам эту победу. За развитие подземной газификации. За энтузиастов. За нового директора. Последний тост провозгласил Колокольников, вкрадчиво улыбаясь Алымову и Люде Катениной, а Люда, привстав, заглянула в глаза Алымову и что-то сказала. Алымов радостно вспыхнул и, усаживая, обнял ее голые плечи.

Вадецкий, хихикая, рассказывал соседям по столу, как однажды перед мировой войной «по случайному стечению обстоятельств» попал в этом же зале на купеческий банкет и как резвились купчики,— он как будто и не намекал ни на что, но слушатели хохотали, косясь на Алымова.

— Братцы, давайте смоемся, а? — с тоской предложил Саша.

Но в это время Алымов поднял бокал за авторов метода газификации, сказал о каждом сердечные слова и пошел чокаться и целоваться с ними.

Палька встать-то встал, а сесть уже не мог, его повело куда-то в сторону. Опьянение навалилось сразу. Потом он смутно припоминал, что бродил по залу, с кем-то целовался, с кем-то спорил, пытался полить

шампанским пальму и допытывался у официантов, так ли гуляли купчики...

Последнее, что он видел перед тем, как его увезли домой, была странная сцена у вешалки. Катенин вырывал у дочери шубку и выкрикивал сдавленным голосом:

— Прошу тебя, Люда! Заклинаю тебя, Люда!

Жена Катенина перехватывала его руки и шептала:

— Всеволод, не здесь, Всеволод, на тебя смотрят...

А он все тянул к себе шубку и выкрикивал свою мольбу.

Хорошенькое лицо Люды было искажено досадой. Потом оно исчезло, и шубка исчезла, а возле вешалки одиноко стоял Катенин и всхлипывал, зажимая рот полосатым шарфом.

Остаток ночи Катенин просидел у себя в прихожей.

— Оставь меня, Катя,— говорил он, когда жена, кутаясь в халат, выходила к нему.— Если можешь спать, спи.

Она ложилась и снова вставала — такое невозможно было терпеть: сидит, как пришел, в пальто, шарф свешивается на пол, шапка в руках.

— Сева, это же бессмысленно — ждать. Неужели ты думаешь, что она среди ночи придет домой? Где бы она ни была...

— Оставь меня, Катя.

Она вздыхала и ложилась в постель, задремывала и снова вскакивала.

— Всеволод, уже светает.

Да, светало.

С улицы глухо доносились звуки начинающегося движения.

Где-то хлопнула дверь, застучали каблучки... Люда?! Нет. Кто-то, пристукивая каблучками, сбегает по лестнице.

Он уже не ждал Люду. Да он с самого начала не ждал ее. Он сидел, отупев от горя, и думал о ней и о себе, о крахе всего, что ему было дорого... Его коробило, когда он вспоминал, как Алымов пьяно бормотал ему в ухо:

— Держитесь за меия, Всеволод Сергеевич, я вас в большие люди выведу!

Ои и тогда ие хотел доверять этому человеку, которому, было время, так слепо подчииялся...

Ои миого пил иа этом дурацком баикете, ио хмель давио выветрился. Никогда еще ие судил он так трезво, как сегодия, и никогда ие поимал свою дочь так ясио...

Оии приехали иеожидаиио — Люда и ее муж. Полк Аиатолия Викторовича переводили из-под Харькова в пограиичиую область, майор привез Люду пожить у родителей, пока ои все устроит иа новом месте.

— Когда мы с мамой ехали в Доибасс,— сказал Катеиин,— мы даже ие зиали, где остаиовимся. Вместе приехали и вместе все иаладили.

— Это было так весело!— сказала Екатерина Павловна.— Помиишь того старичка, как ои боялся, что от моей спиртовки загорится дом?..

Оии улыбались милым воспомииаииям своей юиости, а Люда покрасиела пятиами:

— Вы забываете, что я пиаиистка! Не ты ли требовал, папа, чтобы я ии иа одии деиь ие прекращала заииматься?!

— Коиечио, с ииструментом сразу ие устроишь,— виновато сказал Аиатолий Викторович,— ио меия заверили, что для клуба привезут пиаиино...

— Пиа-ии-ио?! Мие иужеи коицертиый рояль, а ие пиаиино, я ие тапер для вашего клуба!

Катеиин иикогда ие видел дочь такой раздражеииой, ои старался смягчить и загладить ее резкость, ему было стыдио перед майором. Но тогда он еще обмаиывал самого себя: музыка для иее — главиое. Вскоре ои сумел выясиить, что оиа давио ие работает по-иастоящему.

Накаиуие отъезда Аиатолия Викторовича зашел разговор о сгущающейся предвоениой обстаиовке.

— Вы считаете возможиым, что, иесмотря иа договор, придется воевать?

Майор был серьезеи и задумчив.

— Трудио сказать. Но поскольку Гитлер открыто заявляет, что его цель — уиичтожение коммуиизма... думаю, воевать придется. Договор — только отсрочка.

— Вот видишь, Толя, что может быть,— раздался голосок Люды,— а хочешь везти меня на границу! Я просто боюсь!..

— Люда, что ты говоришь!

Это воскликнула мать. Катя, всегда готовая следовать за мужем повсюду, куда бы его ни забросила судьба.

Анатолий Викторович внимательно смотрел на Люду. Ни виноватости, ни робости в нем уже не чувствовалось. Но голос звучал по-прежнему мягко:

— Знаешь, детка, если начнется война, все привычные представления отступят и жить придется по другим меркам. А война страшна для всех — и для военных тоже.

— Ну, это ваша профессия,— сказала Люда.

Он грустно усмехнулся:

— Профессия? Вряд ли в такой войне обойдется профессиональными военными. Под угрозу будет поставлено все. Все. И коснется она — всех.

— Но будет же тыл? — возразила Люда.

Катенин терпел вплоть до отъезда Анатолия Викторовича. Гнев прорвался на следующий день, когда Люда начала прочно располагаться в родительской квартире.

— Папочка, я узнала, можно взять рояль напрокат.

— Не стоит,— жестко сказал Всеволод Сергеевич,— ты ведь скоро уедешь.

— Не думаешь ли ты, что я себя закопаю на этой границе?

— Думаю, что поедешь к мужу.

Она плакала и кричала с неприкрытой злостью:

— С какой стати? Почему я должна жертвовать собой? Жить в каком-то захолустном гарнизоне! Я не привыкла, мне неудобно! Если он хочет жить со мной, пусть готовится к академии, переводится в Москву! У меня своя жизнь!..

— Ты поедешь! — гаркнул Катенин так, как он и не умел никогда.— Ты поедешь, иначе ты мне не дочь!

У Люды случались мгновенные переходы от злости к улыбке.

— Папка, ты просто влюблен в моего Толю! Мужская солидарность! А еще сердился, когда я вышла

замуж! Конечно, я поеду, но хоть немного погулять в Москве можно?..

Он был наивен и глуп, ничего не понял даже тогда, когда Люда забежала поздравить Алымова с назначением. Алымов был польщен и проводил Люду домой. Катенину было приятно такое внимание. Он обрадовался, когда Алымов заговорил с ним о возможном назначении директором НИИ...

Однажды вечером Люда со смехом рассказала:

— Представьте, я сегодня выступала авторитетным советчиком при выборе новой квартиры! Алымов просил меня помочь, ему дали четыре адреса на выбор. Это было так забавно! Он ничего в этом не понимает, он мне сказал: выбирайте так, как выбирали бы для себя. И уж я развернулась! — Она изобразила, как она там разворачивалась: — Константин Павлович, здесь нехороший вид из окон, одни трубы! А тут прелестно, в этой нише можно поставить кровать, здесь поместится рояль...

— Зачем ему рояль?

— Конечно, незачем, хотя он обожает музыку. Но ведь я выбирала как будто для себя. Это была очень веселая игра!

В другой раз она «вытащила» Алымова на концерт. Они были вчетвером. Екатерина Павловна первая заметила, что Люда напропалую кокетничает с Алымовым и всячески льстит ему...

— А конечно! — со смехом призналась Люда.— Люблю задурять головы! А он самолюбив и честолюбив, он прямо мурлыкает, когда им восхищаешься. Но знаешь, мама, он — настоящий мужчина, он далеко пойдет!

Ночью родители решили ускорить ее отъезд к мужу. Когда они заговорили об этом, Люда загадочно улыбнулась:

— Мой супруг еще не приготовил для меня дворца. С роялем пока ничего не выходит. Неужели вы хотите меня выгнать раньше, чем призовет супруг?

Она старательно ухаживала за отцом. Катенин таял оттого, что Люда делает ему бутерброды и подает домашние туфли. А она просто выгадывала время, чтобы поступить по-своему.

И вот она сделала решительный, точно рассчитанный шаг.

Утренний свет просочился в переднюю. Катя уже готовила завтрак, запах кофе распространился по квартире.

Катенин скинул пальто и шарф, пошел в ванную, долго освежался холодной водой, потом встал на пороге кухни.

— Катя, у этого подлеца есть жена и сын. Кроме того, к нему приезжала из Донецка другая... жена. Я ее видел. Совсем молодая. Я сейчас пойду и скажу ему, что он — подлец.

— Выпей кофе,— сказала Катя и сняла с конфорки кофейник.— Я не буду тебя удерживать, Сева... но мужчины редко могут устоять, если женщина сама...

— Вешается на шею? — грубо докончил Катенин.— Но ей двадцать, а ему сорок, и надо быть мерзавцем...

— Скажи ему, если считаешь нужным. Но ты знаешь, чем это тебе грозит?

— Знаю.

— Может, лучше пойти мне? Я мать...

— Я не буду прятаться ни за чью спину, когда речь идет о чести моей дочери!

Он устремился в Углегаз, всю дорогу подогреваясь повторением своих доводов и упреков.

У входа стояла длинная черная машина — «ЗИС-101». Машина нового директора. Положив локоток на спущенное стекло, в ней сидела Люда, беспечно выглядывая из пушистого воротника шубки.

— Папунька! — окликнула она Катенина. — С добрым утром!

Ее глаза смеялись и предупреждали — так и будет, не вздумай вмешиваться.

— Что ты здесь делаешь? — угрюмо спросил Катенин, досадуя на присутствие шофера.

— Жду Константина Павловича, он был так мил, что заехал за мной и просил помочь ему выбрать мебель.

Заехал за нею — куда? Или это говорится для шофера?

— А-а, Всеволод Сергеевич! Доброе утро, дорогой!

Алымов прнветствовал его как нн в чем не бывало.

— Очень хорошо, что я вас встретил. Надеюсь, вы ие волновались? Я проводнл Людмилу Всеволодовну...

— Ои завез меия к подруге,— вставила Люда, нагло глядя на отца смеющнмнся глазамн.

Алымов взялся за ручку дверцы.

— Очеиь хорошо, что я вас встретнл,— повторнл ои.— Зайдите сейчас же к Колокольникову, мы вам даем очень срочное, очень ответственное поручение.

Это был приказ иачальннка, на него полагалось ответить: слушаюсь. Катеиии промолчал, мучнтельно собирая снлы для того, чтобы как-то достойно прервать уиизительиую для иего сцеиу.

— Я на вас рассчнтываю, не теряйте время,— сказал Алымов и пригнулся, влезая в машину.

Машииа плавно взяла с места и умчалась.

— Как спалось, Всеволод Сергеевнч? — приветствовал его Колокольннков. — Голова не болнт после вчерашнего?

— Алымов сказал мие...

— Ах, вы уже видели его?! — Он иевольно покосился на окио, окно выходило в переулок, туда, где только что стояла длиниая машина. Можно было поручиться, что Колокольннков с удовольствием наблюдал всю сцеиу.— Так вот, дорогой Всеволод Сергеевнч, вам придется сегодня же выехать в Снбнрь. В связи с иамечаемой промышлениой станцней иадо квалифицироваииым оком осмотреть место и договориться с угольщикамн. Билет вам уже заказан, в бухгалтернн подготовлены деньгн. Самое главное, на что вам следует обратнть вннмаиие...

Колокольников говорил безостановочио, давая Катенниу справиться с собой. Похоже, он был пренсполиеи сочувствия...

Одна фраза вертелась в мозгу Катеннна: «Никуда ие поеду, прежде чем не выясию!..» Он так н не проиизнес ее. Чувствуя себя глубоко несчастным, записал главные пункты поручеиия и выслушал напутствеиные пожелаиия Колокольннкова...

Затем он получил у Лндии Осиповны командировочные документы, а в бухгалтерии — деньги и бнлет в мягкнй вагон. Даже отметнл ие без удовольствня —

мягкий. При Олесове ему оплачивали только жесткий.

Все были предупредительны, как никогда. Уже знают? И жалеют? А кое-кто, быть может, и завидует?..

— Счастливого пути, Всеволод Сергеевич!

— Удачной поездки, Всеволод Сергеевич!

Презирая себя, он пожимал чьи-то руки, кого-то благодарил, кому-то улыбался — и торопился уйти, чтобы никого не видеть и чтобы его никто не видел.

Катерина стеклила окна — высоченные и широченные, прямо-таки необъятные окна будущей компрессорной. Ей нравилось тонкое позванивание стекол, вязкая податливость замазки, и сама себе она нравилась, когда стояла на стремянке, ловкая и умелая, в комбинезоне, облегавшем ее похудевшую, снова будто девичью фигуру.

Ей нравился ее будущий цех — весь сквозной, пронизанный светом, ее веселили ящики с оборудованием — они ежедневно прибывают и ждут своего часа под брезентом. Скоро начнется монтаж, и Катерина перейдет в бригаду монтажников, и сама будет участвовать в установке и наладке своего нового, гораздо более совершенного компрессора, и будет учиться вечерами на курсах: ведь на этих машинах много новой автоматики...

Ночью ныли плечи и руки, потому что весь день приходилось работать вытянутыми или поднятыми руками, но спалось крепко. Оттого ли, что уже пахло весной, или оттого, что время брало свое и появилась в жизни перспектива, — горькие мысли приходили реже и не удерживались, а за работой, на стремянке, хотелось петь. Когда она пела, все, кто был поблизости, слушали и смотрели на нее — и это веселило.

Однажды целое утро не работали: не было стекла. Когда грузовик наконец прибыл, вся бригада побежала выгружать.

Осторожно принимая тяжелый ящик со стеклом, Катерина увидела — к управлению подкатила знакомая «эмка», которой когда-то пользовался Алымов, бывая в Донецке. Из машины вылез начальник шахты,

а за ним... — Катерина чуть не выронила ящик — Алымов!..

Удержав ящик, Катерина стояла и смотрела на Алымова. Он стал неуловимо другим. Спокойней? Удовлетвореннней? Что-то солидное появилось в его движениях, в том, как он выпрямился и переложил из одной руки в другую портфель, как скользнул взглядом по рабочим, выгружающим ящики, и, не заметив Катерину, зашагал впереди начальника шахты в управление.

— Чего стоишь? Пошли!

Осторожно ступая, Катерина отнесла ящик в цех и вернулась за следующим. «Эмка» все еще стояла, а возле «эмки» прогуливалась женщина в пушистой шубке и такой же пушистой шапочке. Она с любопытством поглядывала кругом и, пригибаясь к окну, о чем-то спрашивала шофера.

И вдруг Катерина узнала ее.

Уронив руки и забывая принять очередной ящик, она стояла и смотрела на Люду Катенину... Может ли это быть?.. Обозналась я?.. Или — та самая?..

— Замечталась, Катерина? Давай, бери!

Ящик за ящиком.

Ящик за ящиком.

«Эмка» все еще стояла. И женщина в шубке прогуливалась взад-вперед, бережно ступая по глинистой земле своими блестящими ботами.

— Все! Перекур!

Катерина не села отдыхать, она взобралась на стремянку, будто подготавливая рабочее место.

Она видела, как вышел Алымов — начальник шахты провожал московского гостя до машины.

Алымов подсадил женщину в шубке под локоть и сам, согнувшись пополам, влез за нею в машину.

В ту самую машину, где он бормотал когда-то: судьба, рок, вы должны быть со мной ныне, присно и во веки веков... Вы меня потрясли, Катерина, я буду таким, каким вы хотите, чтобы я был...

А потом: хватит воспитывать, надоело.

А потом — скользнул взглядом и не узнал.

Что он нашептывал вот этой в шубке?

Она кое-как доработала до конца смены. Ругала себя, а слезы душили. Шла домой поселковыми улоч-

ками и в каждом встречном взгляде читала: а твой-то долговязый приехал с новой зазнобой, о тебе и думать забыл!

У калитки ее дома стояла та самая «эмка».

Он?!.

За соседними заборами и калитками торчали любопытные.

Вскинув голову, Катерина медленно подошла к «эмке» и поздоровалась с шофером — тем же самым...

— За сапогами прислали,— сказал шофер, с любопытством глядя на Катерину.— К вашей мамаше.

Невероятных усилий стоило Катерине ответить:

— Давно пора, сейчас найду их, там и другие вещи остались.

Пожалел сапоги и пригнал за ними шофера... Как просто!

Мать трясущимися руками собирала алымовские вещи.

Светланка была тут же, хватала то мыльницу, то бритву.

— Оставь, Светочка, порежешься,— сказала Катерина и толково, одну к одной, сложила и упаковала вещи Алымова. Подумала — и всунула в пакет брошку, подаренную им в Москве.

Отстранив мать, сама вышла за калитку:

— Вот, передайте Константину Павловичу.

Шоферу, видимо, до смерти хотелось что-нибудь разузнать.

— Чего ж сами не появдаетесь?

— А зачем?— улыбнулась Катерина. —Мы теперь комнату не сдаем, самим тесно. Да и Константину Павловичу в гостинице удобней.

Она пошла к дому, спиной чувствуя любопытные взгляды и не позволяя себе ни заторопиться, ни опустить голову.

16

В начале весны приехал Степа Сверчков.

Жалость прямо-таки пронзила Пальку, когда он увидел, как Степа шагает по двору, для верности опираясь на палку, когда он увидел лицо Степы —

в тонких рубцах и розовых пятнах от ожогов. Он уже знал, что у Степы осталось десять процентов зрения, что есть надежда на улучшение, хотя возможны и осложнения. Он со страхом взглянул в эти глаза, но они были совсем прежние, веселые и добрые Степины глаза, которые слегка посуровели и насторожились при виде Павла Светова,— но тут болезнь была ни при чем.

Клаша появилась на станции в конце рабочего дня. Палька не вышел к ней, он смотрел из окна, как они шагают под ручку и как Степа, дурачась от избытка хорошего настроения, крутит и подкидывает свою суковатую палку.

Павел позвонил в Москву, дал наконец согласие перейти главным инженером на подмосковную станцию и рекомендовал на свое место Сверчкова.

На следующий день он начал сдавать дела, вернее — знакомить Степу с новшествами, появившимися в его отсутствие, и с результатами опытов. Во время этой совместной работы чувство жалости проходило — Степа был дотошно внимателен и рвался к работе с жадностью человека, много месяцев томившегося по больницам.

— Я бы там пропал с тоски, если бы не море,— сказал Степа.— Знаешь, Павел, когда в душе какая-либо муть, нужно море. Возле него все в ясность приходит... Я еще не мог смотреть, только слушал, слушал... Море — великий философ! — дурашливо закончил он и вернулся к делам.

Клаша приезжала почти ежедневно.

Она вела себя по-дружески просто и ласково, казалось — всей душой обращена к Степе, ни на кого другого и не смотрит, на Пальку — меньше чем на кого бы то ни было: здравствуй-прощай — и все. А Степа был с нею раздражителен, порою даже резок. Пальку передергивало, когда он слышал, как Степа грубит Клаше. Почему она позволяет?.. Если бы ей захотелось порвать с ним — он дает ей десятки поводов. Значит, не хочет?..

Сверчковы затеяли ремонт в своем домике, заново оклеили лучшую комнату и купили в городском универмаге платяной шкаф с зеркальной дверцей. Когда шкаф проплыл в кузове грузовика по улицам

поселка, изо всех окон, от всех калиток смотрели вслед.

— Никак, Сверчковы сына женят?

— Из города деваха, но, кажется, ничего.

— Дай-то бог, парень золотой.

— За такого кто ни выйди — не прогадает.

До Пальки доходили и эти разговоры, и перестук молотка в доме Сверчковых, и даже запах масляной краски, которой старуха Сверчкова красила двери и окна,— Сверчковы жили за два дома от Световых.

Только товарищи на станции избегали говорить о возможной свадьбе, и сам Степа не сказал ни слова. Когда старый и новый главные инженеры занимались сдачей-приемкой дел, мимо них ходили пугливо, будто сидят вдвоем не давние приятели и сотрудники, а двое опасно больных.

Говорили они только о деле, но иногда Палька ловил на себе очень внимательный взгляд. Может быть, оттого, что зрение ослабело, глаза так напряженно-пристальны? Теперь Палька видел, что они совсем не прежние, не открытые навстречу тебе, а что-то затаившие или чего-то ждущие. И сам Степа не был уже прежним добродушно-покладистым хлопцем. Что он там понял, слушая море,— кто знает! Что бы ни было, рядом со Степой жалость казалась нелепой... а без жалости к нему Пальке нечем было держаться самому.

История с Леней Гармаш показала ему Степу с новой, неизвестной стороны.

У Липатова как раз собрались инженеры опытной станции, когда позвонил Сонин. После первых его слов Липатов шутливо округлил глаза и знаком показал товарищам, что происходит весьма интересное. Голос Сонина рокотал в трубке на предельно убедительных нотах.

— Значит, институт рекомендует нам товарища Гармаш? — нарочно повторил Липатов и подмигнул.— А почему Гармаш не приходит наниматься сам?

Все слушали, как снова зарокотал голос Сонина, можно было разобрать и обрывки фраз: «он ведь один из авторов проекта»... «пора помириться»... «он специализируется на ваших проблемах»...

— Валерий Семенович, все это так, но почему он

не приходит мириться сам? Или вы соломку подстилаете, чтоб дите не ушиблось?

Снова пророкотал голос Сонина.

— Даже главным инженером? Вот так, сразу? И опять-таки, Валерий Семенович, пусть приезжает сам. Такая у меня привычка — когда нанимаю работника, люблю ему в глаза заглянуть.

— Симптом показательный! — презрительно бросил Палька.— Беглецы возвращаются, почуяв успех!

Липатов расхохотался:

— Ах, хорош! Нашкодил, а теперь скулит и хвостом виляет. Что, ребята, шуганем его — или как?

Леня Коротких считал, что нужно «все высказать и послать к дьяволу!». Видно, нелегко дался ему разрыв с закадычным другом. Палька гадливо морщился: Гармашу на станции делать нечего, надо было сразу сказать, что главный инженер уже назначен!

И вот тут заговорил Сверчков:

— А по-моему, мы не частная артель, а новая отрасль государственной промышленности. Если работник подходит по деловым качествам, а Гармаш — человек талантливый,— мало ли что нам не нравится! Будем его обламывать — но на работе, в коллективе. Я бы его взял руководить научно-исследовательским отделом, поскольку это мое место освобождается.

— Степа, ты прямо Спиноза! — воскликнул Липатов.

А Палька подумал: так решил бы и Саша. Я не знал, что Степа может быть таким... И тотчас мелькнула догадка: а Клаша знала. Клаша знает, что он такой — умный, добрый, широко мыслящий. И ценит это. И — любит?

— Дайте мне договориться с ним,— сказал Степа,— *НИИ* — моя компетенция.

Липатов глянул на него хитрущим глазом:

— Раз компетенция — пусть будет так.

Когда приехал Гармаш, все были в сборе. В полном молчании Леня признавался в том, что струсил и отступил, долго мучился, а теперь хочет исправить... что давно уже понял, как ему дорого дело подземной газификации...

Он возмужал и посолиднел за последние годы, Ленечка Длинный! Но его миловидное лицо все так

же вспыхивало девичьим румянцем, а русалочьи глаза растерянно метались.

— Примем к сведению,— сухо заключил Липатов.— Работники нам нужны, дело растет! То, что мы можем вам предложить,— это компетенция главного инженера, так что я вмешиваться не буду. Степан Дмитриевич, прошу!

Палька еще увидел, как у Лени передернулось и покраснело лицо, потом уткнулся в бумаги, чтоб не мешать Степе. Степа начал разговор весьма резко:

— Уходил ты от нас, сжигая все мосты. Сжег?

— Сжег...

— Так строй их!

Леня пробормотал:

— Я для того и пришел. Но — как?

— Так, как строят. Опора за опорой, ферма за фермой. Трудом.— Степа выждал немного и заговорил будничнo:— Так вот, в твои функции будет входить...

После того, как Леня Гармаш заполнил анкету и написал заявление, его проводили подчеркнуто дружелюбно: раз приняли в коллектив, на прошлом — точка.

Все уже собирались домой, когда Палька в окно увидел Клашу — она стояла во дворе и разговаривала с комсомольцами. И Степа увидел ее. Оба замерли у вешалки, каждый стеснялся опередить другого.

— Совсем забыл! Я ж в Москву хотел позвонить! — и Палька подсел к телефону, спиной к окну.

Степа потоптался на месте, оделся и быстро вышел.

Палька снял руку с телефонной трубки.

Липатов вздохнул прямо-таки со стоном:

— Уж ехал бы ты скорей, Павлуша, раз такое дело...

— Да. Надо... Закажи мне билет на завтрашний ночной...

— Это мы сейчас сварганим! А то, ей-богу, уж и я психовать начал.

Утром он вручил Пальке билет. На скорый московский, отходящий из Донецка в 19.35. Еще раньше, чем думал Палька,— обычно они ездили ночным, 0.50. Тогда оставалось бы еще часов пятнадцать, теперь — меньше десяти...

И сразу все окружающее и самый воздух наполнились Клашей. Станки в механической мастерской вызванивали: «Вес-не-нок! Вес-не-нок!» — а пар в котельной тихонько шептал: «Клаша, Клаша...» Все следы во дворе казались следами ее маленьких ног. Грузовики, въезжающие в ворота, хранили за стеклами ее ускользающий облик. Телефоны откликались ее голосом.

С этой минуты — первой минуты из оставшихся... да, из оставшихся пятисот тридцати минут — он начал ее терять, терять, терять. Безвозвратно терять.

— Ну что ж, Павлуша, давай подписывать сдачу-приемку.

Он вздрогнул от осторожно-ласкового голоса Степы и понял, что таким же осторожно-ласковым голосом говорила с самим Степой Клаша, именно поэтому Степа раздражался и грубил.

Они подошли к столу, где лежал акт. Служебная формальность не имела для них никакого смысла — ни в их деловой дружбе, где лжи быть не могло, ни в личных отношениях, где все держалось на недомолвках и где уже ничто не могло помочь, кроме скорого московского, отходящего в 19.35.

Степа, не глядя, подписал акт.

Палька тоже подписал, и впервые открыто посмотрел в глаза Степы, и увидел в них отражение своей боли — или какой-то другой, еще более тягостной.

Он положил ладонь на руку Степы и придавил ее к столу.

— Удачи тебе, Степка. Теперь увидимся только в Москве, если какое совещание...

— Что ж ты, и домой не приедешь?

— Теперь мой дом под Москвой.

— Все-таки здесь у тебя мать. Сестра. Да и... все.

Палька посмотрел на него в упор и сказал:

— Нет. Не приеду.

Степа вдруг сорвался с места. На нем лица не было.

— Ты куда?

Степа посмотрел на часы, поднося их почти к самым глазам, и жалость снова потрясла Пальку, и он

еще раз повторил себе: я делаю правильно! Правильно!

— Мне в двенадцать к глазнику,— ответил Степа и подошел к вешалке. Он очень долго надевал пальто. Очень долго расправлял кепку.

— Вот что,— сказал он, уже держась за дверную ручку.— За дружбу спасибо, а в жертвах не нуждаюсь. То, что вы... глупо!

Он постоял, раскачивая дверь.

— Вы все не понимаете. Бывает, человек заглянет в такую черноту... в вечную черноту. После этого появляется... внутреннее зрение. Его не обманешь. И не нужно.

Палька встал. Он готов был сказать: да, не нужно! Я ее люблю, и она... Но в это время Степа вспомнил о своей палке и потянулся за нею, но не просто взял ее, а пошарил в углу, нащупывая ее. И Палька удержал готовые сорваться слова.

— Так что имей в виду...— сказал Степа в дверях.

Вот он идет по двору, по колдобинам разбитой грузовиками дороги — медленно, палкой проверяя путь...

До поезда осталось четыреста двадцать минут. Но они уже не нужны. Все правильно. Теперь пробежать по цехам, со всеми попрощаться... заехать домой и сунуть в чемодан самое необходимое на первое время... попрощаться с Катериной и мамой, с Кузьменками...

Знает Клаша, что я уезжаю?

Неоткуда ей узнать.

Может быть, позвонить и попрощаться? «До свидания, Клаша». Нет. «Прощай, Клаша, я больше не приеду и хочу тебе сказать, что...» Что я могу ей сказать? Нельзя. Не нужно. Уеду — узнает. Погрустит — и выйдет за Степу.

Она так решила,— значит, хочет этого. Она с детства любила его. Он золотой парень. Он не дает жалеть себя. С ним нельзя не быть счастливой, он золотой парень. Золотой парень...

На вокзале собрались все работники опытной станции, кроме вечерней смены. Последним прибежал Леня Коротких, хотя он был дежурным инженером: оказывается, пришел Сверчков и отпустил его.

А сам — не захотел проводить? Ничего. Он мой друг, и я его друг, так и будет, проводил или нет, неважно.

Подкатил поезд — он стоял тут двенадцать минут. Начали прощаться.

Заплакала Марья Федотовна, стыдливо отворачивая лицо.

Невыносимо острил Липатушка.

Катерина обняла брата, шепнула:

— Ты все-таки пиши хоть изредка.

Жалкое, потерянное выражение мелькнуло на ее лице. Одна остается сестренка! Он растроганно поцеловал Катерину — и через ее плечо увидел Клашу.

Клаша бежала вдоль вагонов, прорезаясь сквозь толпы провожающих. Платок отлетел назад, волосы отлетели назад...

Она с разбегу остановилась перед ним, быстро и громко дыша. Бежала, а в лице — ни кровинки.

— Я только сейчас узнала! — Она не замечала никого, кроме одного человека, уезжающего через несколько минут.— Я не думала, что уже сегодня. Трамвая, как назло, не было. Меня подкинула коксохимовская полуторка...

Громоподобно ударил вокзальный колокол.

Зашипел паровоз, выпуская пар.

Все отступили куда-то, на всей платформе была только она, Клаша.

— Я весь день хотел позвонить. А потом подумал, что...

Еще два раза ударил колокол — прямо в сердце.

— Граждане, кто едет, занимайте места!

Они стояли, оцепенев.

— Он тебе напишет, Клаша,— сказал Липатов и засопел носом.— Напишет! Напишет!

За спиною Пальки толчком сдвинулись колеса. Скрежетнули по рельсам и пошли неторопливо кружиться.

— Садись, Павлушенька, садись! — прокричал голос матери.

Клаша сделала какое-то непонятное движение к нему — и еле слышно сказала:

— Прощай, Павлик. Я...

Колеса заторопились. За спиной проходили окна и площадки, заполненные людьми что-то кричащими, машущими...

— Она тебе напишет! Напишет! — в самое ухо кричал Липатов.

В конце поезда возник просвет — проходил предпоследний вагон... Последний...

Палька так и не сказал ни слова. Липатов подтолкнул его, он вскочил на тормозную площадку и под ругань железнодорожника с флажком повис на поручне, глядя на уплывающую в сумрак перрона Клашу.

Много рук машут, а ее руки — опущены.

Вот уже видно только белое пятно ее лица и эти две опущенные руки.

— Невеста, что ли? — устав ругаться, спросил железнодорожник и скатал флажок.

— Не-вес-та, не-вес-та, чу-жа-я не-вес-та! — тупо выговаривали колеса, пока он пробирался по составу в свой вагон.

— Она тебе напишет! Напишет! Напишет! — пришепетывая, долбили колеса, когда он лег на полку лицом к стене, чтобы с ним не заговорили попутчики.

Напишет — что?

Он мысленно писал весь вечер. Отполированные спинами желтые доски тряслись перед самыми его глазами, на одной из них под краской выступал темный срез сучка с выпавшей сердцевинкой. Слова приходили сами и легко складывались вместе, складывались убедительно, нежно, неоспоримо.

Ночью, когда попутчики угомонились, он попробовал записать хоть часть того, что слагалось весь вечер. Писал, рвал, опять писал...

Харьков.

Серое утро, серый, скучный вокзал. И прямо перед окном вагона на тусклой стене — серебристые крылья. Аэрофлот. «Пользуйтесь самолетами Гражданского воздушного флота!»

Чуть в стороне надпись: «Почта. Телеграф. Телефон».

Он схватил чемодан и выскочил на перрон.

— Дайте мне Аэрофлот!

Да, самолет на Донецк будет. В семнадцать ноль-ноль. Билет стоит...

Он пересчитал деньги — отпускные, подъемные, зарплата — должно хватить на все.

— Девушка, вызовите Донецк, коммутатор горкома, тридцать четыре.

— В течение двух часов, гражданин. Будете ждать?

— Двух часов?!

— Берите молнию. Нормальный тариф два рубля восемьдесят копеек, молния — четырнадцать рублей за минуту.

Он кинул деньги в окошечко:

— Молнию! Две минуты! Коммутатор горкома, тридцать четыре, товарища Весненок!

— Как?

— Вес-не-нок...— Нужно быть дурой, чтобы не уловить сразу такую изумительную фамилию! — Вес-не-нок!

Пока телефонистка выкликала промежуточные станции, он схватил телеграфный бланк и, не раздумывая, послал телеграмму Липатову:

> Вылетаю обратно закажи два билета Москву ближайший поезд помоги Клаше встречай аэродроме
>
> Павел.

— Молодой человек! Донецк отвечает! Вторая кабина.

Он вскочил в душную кабину и сквозь черную раковинку услышал, увидел, ощутил Клашу. Ее милый голос был ясен, будто они обо всем сговорились давным-давно. Ее пальцы с короткими круглыми ноготками сжимали трубку. Ее лицо было потрясающе светлым, таким он видел его только раз, когда она прочитала стихи о какой-то границе, а он сказал — хочешь не хочешь, границы никакой нет, ты — любимая...

— Клаша, я вылетаю за тобой в семнадцать ноль-ноль. Самолетом! Липатов возьмет билеты, а ты скорей бери расчет и собирайся. Мы сегодня же уедем вместе!

— Хорошо,— сказала Клаша.

— Две минуты кончаются,— сказала телефонистка.
— Найди Липатова, он тебе поможет! — крикнул он уже в гулкую пустоту междугородных пространств.

Клаше не нужна была никакая помощь. Вместо того чтобы задерживать ее, секретарь горкома комсомола сказал: «Ну, слава богу!» И сам пошел с нею в бухгалтерию, чтобы для нее нашли деньги, и сказал: «Ну смотри, чтоб была самая счастливая на свете!» Соседка дала чемодан, и вещи улеглись в нем ни свободно, ни тесно. Липатов поймал ее по телефону как раз перед тем, как она убежала из горкома, и сообщил, что на сегодня есть только два боковых жестких, брать или не брать, и она ответила: «Какая разница, конечно, брать».

В аэропорту ей сказали, что самолет будет в 6.30, если не опоздает. Самолет не опоздал ни на минуту.

Липатов ждал у выхода с машиной, он не пошел на поле встречать: он бывал очень умным, Липатушка!

Палька первым показался из самолета и в два прыжка соскочил по лесенке еще до того, как ее толком установили. Он подбежал к Клаше и крепко прижал к груди ее голову, и они постояли так, ничего не говоря. Они стояли на самом проходе, но пассажиры и встречающие обходили их двумя деликатными потоками.

— Молодой человек, это ваш чемодан остался в сетке?

Это был его чемодан. Они взяли его и понесли, вдвоем держась за потрепанную ручку.

— Поезд отходит через час,— флегматично сообщил Липатов.— Куда денемся?

— На вокзал!

Они молчали всю дорогу, сидя рядом на заднем диване и глядя на укоризненный затылок Липатова.

— На завтра можно было взять мягкие,— говорил Липатов, тяготясь молчанием за своей спиной.— Я за всяческое сумасшествие, раз такое дело, но обе-

дать все-таки нужно. Ты небось и не ел ничего со вчера. А ты, Клаша, ела?

Клаша сказала, что, кажется, ела.

— Аннушка приглашала заехать пообедать, если успеем. И как-никак спрыснуть полагается.

— Мы еще спрыснем, старик! — пообещал Палька.

Они никуда не хотели заезжать: они боялись опоздать на поезд.

На вокзал приехала только Катерина — маме решили пока не говорить, чтоб избежать ахов и охов.

— Катериночка, вы объясните всем...— попросила Клаша, и свет в ее лице ненадолго замутился.

— Я уже всем сказала,— энергично ответила Катерина.— Леня и Степа поздравляют вас, говорят — правильно.

— Да?!

— Да,— подтвердила Катерина,— правильно.

Весело поторопил колокол: дон-н-н!

Потом еще веселее: донн! донн!

Они стояли рядом на площадке и рассеянно махали руками, глядя друг на друга.

Их места были сбоку, койки раскидывались поперек окна, одна над другой. Поезд шел с юга, постельного белья не было, Пальке удалось улестить проводницу и получить для Клаши тюфяк.

В шуме вагона, сидя по двум сторонам откидного столика, они ошеломленно молчали. Мимо них ходили туда-сюда неугомонные пассажиры. В том отделении, что помещалось против них, трое парней играли в карты на перевернутом чемодане, а четвертый пассажир, седой и чем-то недовольный, лежал на верхней полке и осуждающе смотрел на парочку, молчавшую возле окна так, будто они давно наскучили друг другу.

А они сидели, все еще ошеломленные своей решительностью и быстротой, с какой все произошло.

— Ты со вчера не ел,— вдруг прошептала Клаша.— У нас есть пирожки.

Это был солидный пакет, сунутый им на дорогу Липатовым. В пакете оказалось десятка два довольно черствых пирожков с капустой,— вероятно, остатки Аннушкиной субботней стряпни.

Они ели пирожок за пирожком, подхватывая в ладонь крошки, и смеялись тому, что они, оказывается, страшио голодные, а пирожки все же вкусные, и они едут, едут, едут...

Заговорили они только иочью, когда Клаша улеглась внизу, прикрытая его одеялом, а ои наверху, иа жесткой полке, под пальто. Вагон кидало из стороиы в сторону, вокруг раздавались храпы, мимо их проходили железиодорожники с фонарями, странные блики прыгали по стеиам и полкам от свечи, догоравшей в фонаре над дверью.

Неудобио вывериув плечи, упираясь виском в стекло, Палька заглянул в щель между окиом и полкой.

— Клаша! Ты ие спишь?

— Нет.

— Я тебя иемного вижу. Щеку и висок. Подвиньея к стеие, чтобы я тебя видел.

Она подвинулась. Страиное у нее было лицо в этих качающихся отсветах — незнакомое и очень родное.

— Просунь ко мне руку.

Она приподнялась и просунула пальцы, он подержал их в своих и поцеловал. Оказалось, никакой это не пережиток, если рука — ее.

— Это правда, что ты тут?

— Правда. А это правда, что ты тут? И это твой иос торчит в щели?

— Правда. Симпатичный иос?

— Хвастун! Очень симпатичный.

— Клаша, я тебя люблю.

— И я.

— Нет, ты скажи само слово.

Недовольный человек с верхней полки завертелся и что-то проворчал. Оии помолчали, ожидая, чтоб ои уснул.

— Павлик!

— Я смотрю на тебя.

— Знаешь, вчера иа вокзале... нет, уже позавчера... я прибежала и вдруг подумала: если он скажет — прыгай и уедем, я прыгну. Ты это понял?

— Нет, я думал, что ты... Нет, я иичего не думал. Я тебя терял, понимаешь? Терял и терял... За это всю остальиую жизнь я не отпущу тебя ни на шаг.

— Хорошо. А в Москве мы куда денемся?
— Понятия не имею.
— Вот Саша и Люба удивятся!
Недовольный человек приподнялся и пробурчал:
— Кончите вы шептаться когда-нибудь? Второй час!

Клаша тихонько засмеялась. В качающихся отсветах поблескивали ее глаза и чуть белели зубы.
— Клаша!
— Что?
— Ничего. Хотел услышать тебя. Это здорово, что я тебя увез! И ты приготовься, теперь так и будет — куда я, туда и ты. Не улыбайся, я серьезно.
— И я серьезно. А что, на вашей Подмосковной станции тоже — поле и больше ничего?
— Наверно. Не знаю. Но что-нибудь мне там приготовили, я же все-таки главный инженер и авторитетная фигура. Это ты меня недооцениваешь.
— Я дооцениваю. Очень!
— То-то!
— А что я там буду делать, на вашей станции?
— Слушай, я скажу совсем тихо: любить меня.
Он сказал совсем тихо, но сердитый сосед именно в эту минуту взорвался и посоветовал ездить в отдельном купе, в международном вагоне.
— Учтем,— сказал Палька.
— Сидели бы дома и миловались, раз не терпится, — не унимался сосед.
Вероятно, он был очень обижен жизнью и ни с кем не миловался уже давным-давно, а может быть,— никогда.
— Мы и едем к себе домой,— сказала Клаша.
В ее ответе не было ни насмешки, ни желания поспорить, только счастье. Такое полное счастье, что и до сердитого соседа дошло его умиротворяющее дыхание.
— Ну и поспите пока. Скорей доедете.
Он заворочался, охнул и уже не им, а себе сказал:
— А мне вот не уснуть. Духотища!
Клаша подскочила, как на пружинке.

— Товарищ, а товарищ! Там, над вашей головой, вентилятор. Вы дерните веревочку, он и откроется.

Ворчун дернул веревочку. Вытянув жилистую шею, подышал холодным воздухом, слегка шевелившим его седые волосы. Свесил голову, пригляделся к Клаше и спросил:

— Муж?

И тут произошло самое удивительное, чудесное, невероятное. Клаша улыбнулась ворчуну и без запинки ответила:

— Муж.

ДЕНЬ, ВЕЧЕР И НОЧЬ

День был обычный, он ничем не выделялся из череды других дней, люди заполняли его тем, чем они жили повседневно, и если потом этот день вспоминался по-особому и все события, мысли, поступки и чувства того дня приобрели завораживающую значительность, то лишь потому, что он надолго стал последним днем их мирной жизни. Но в тот солнечный день, в тот теплый вечер конца недели они об этом не знали и даже подумать не могли, что истекают последние часы привычного бытия, что с завтрашнего утра придется в долгой кровавой борьбе отстаивать свое право жить так, как они хотят и любят жить, что в этой борьбе одни падут мертвыми, другие потеряют любимых, что не будет среди них ни одного — без жертв и утрат, что души их пройдут через огонь нечеловеческих испытаний...

В тот день в небе не было ни единого облачка.

...С утра испытывали новый способ сбойки скважин. Павел наволновался и нажарился на солнцепеке. Только он успел выкупаться на запруде и пообедать, как дежурная телефонистка сообщила: звонили из Тулы, к вам идут гости.

— Кто такие?..

— Просили сказать — неизвестные гости.

Клаша испуганно оглядела свое незатейливое хозяйство и спросила: может, что-нибудь испечь? Стряпала она неумело, и вид у нее был как на экзамене, причем экзаменатором оказывался Павел. Она смот-

рела на него робкими, сияющими глазами и говорила с ним слегка задыхающимся от радости голосом, будто он только вчера ее привез. А ему казалось, что Клаша была с ним всегда...

— Никакой возни! — решил он.— Пойдем навстречу, кто бы они ни были.

Гадая, что за чудаки тащатся пешком, когда есть автобус, они неторопливо шагали по траве — ярчайше-зеленой и сочной, усеянной белыми крапинками ромашек и синими — васильков. Клаша то и дело наклонялась, срывая цветы, а Павел с непроходящей гордостью оглядывал все, что было вокруг, потому что на сухом языке техники это место называлось подземным генератором.

Раздольное поле, недавно принадлежавшее соседнему колхозу, было разрезано на широкие полосы линиями массивных труб: по одним подавалось дутье, по другим выходил газ. От этих магистральных труб, дробя полосу на квадраты, разбегались трубы потоньше — к скважинам. Скважины обозначались рядами черных «головок» с приборами контроля и ручным штурвальным колесом,— когда-то возле такого колеса Павел пережил минуты огромного душевного подъема, страха и торжества... Они стояли в ряд, как на параде, а глубоко под ними, в раскаленном до 1500° забое, шел процесс превращения угля в газ. Это было уже привычно — и к этому все же нельзя было привыкнуть...

— Ой, Павлик, опять коровы забрались!

Да, колхозные коровы невозмутимо щипали траву возле самых труб, отмахиваясь хвостами от их легкого гула, который принимали, вероятно, за жужжание неведомых насекомых.

— Пускай... Знаешь, Клаша, пройдут годы, уголь выгазуется, мы перейдем на новые участки, а эту землю вернем колхозу, и очень скоро никто не поверит, что тут было предприятие, имевшее дело с углем. Почему вот эту сторону дела не замечают всякие-разные Вадецкие?..

— Потому что не хотят замечать,— твердым голоском сказала Клаша, взобралась на трубу и пошла по ней, притворяясь, что высматривает гостей,— на самом деле она боялась коров.

Павел следил, как она ловко идет по трубе своими детскими ножками в носочках и сандалиях, и продолжал мысленный спор с противниками. Ну, ладно, отстранимся от главного — что тут нет подземного, опасного и тяжелого труда. Допустим, что этого недостаточно. Но когда шахта вырабатывается, все, что построено внутри,— пропадает, капиталовложения списываются. А у нас девяносто пять процентов капиталовложений — надземные, все легко переносится на новые участки. И за нами остается непотревоженная, цветущая земля, нет угольной пыли и уродливых черных отвалов пустой породы. Действительно, не хотят замечать!..

Он усмехнулся, сообразив, что ни Вадецкий, ни другие скептики не были на опытных станциях — ни в Донецке, ни здесь. Вот Лахтин приезжал, не поверил на слово. Поглядев в лаборатории анализы газа, пожевал губами и спросил: «Где у вас скважина?» Ему говорят: это далеко, и туда не подъехать. «Ведите!» Повели под руки. Пришел. «Отверните!» Понюхал, вытащил из кармашка собственную пипетку, взял пробу. «А теперь — в лабораторию!» Лаборантку отодвинул, сам сделал анализ. «Гм... действительно. Вот теперь — верю!» А ведь ему восемьдесят семь!

— Павлик! Смотри, кто это?

Два человека — мужчина и женщина — шли по полю, взявшись за руки и размахивая ими в такт шагам. Остановились... он потянул ее к себе... поцеловал!.. Она оттолкнула его, оглядываясь.

— Илька Александров! Витя!

Павел побежал к ним навстречу, довольный,— они давно обещали нагрянуть, эти непутевые молодожены, и все не ехали.

— К вашему сведению, вы целуетесь прямо над огневым забоем.

Витя изумленно посмотрела себе под ноги:

— Как странно, что под таким деревенским полем бушует пламя!

— Хо-хо! Если б оно бушевало, мы бы получали один дым. Это означало бы, что мы не умеем управлять процессом. А мы уже год бесперебойно даем газ двум заводам.

Витя улыбнулась:

— Показывайте ваше чудо, только не агитируйте, мы и так готовы восторгаться. Мы сегодня счастливые и легкомысленные. Клаша, вы спуститесь или нам лезть на трубу?

Клаша спрыгнула, прижимая к себе охапку цветов.

— Символично! — воскликнул Илька.— Женщина и цветы над огневым забоем!

— Я тут и не такую символику разведу,— сказала Клаша, — эти трубы всю зиму горячие, даже в мороз под ними травка. Начальники как хотят, а я поставлю парниковые рамы и буду выращивать овощи и розы! У меня уже есть энтузиасты!

— Вы оба из породы одержимых,— решил Александров,— недаром одна... один человек сказал про Павла, что он счастливый парень: верит, мечтает и осуществляет.

Он запнулся, подумав, что при Клаше не стоит упоминать того человека, но Павел сам сказал:

— Русаковская? Что ж, она права. По-моему, иначе и жить не стоит.

Илька задумчиво вскинул глаза, но промолчал. Он охотно знакомился со станцией и порой увлекался: узнав, что строится цех, в котором из газа будут вырабатывать серу и гипосульфит, он начал доказывать, что нужно построить собственную кислородную станцию, а при ней наладить производство аргона и ксенона. Затем он снова задумался и уже не слушал ничего.

— Илья, ты мозгуешь что-то новое?

— Так, кое-что,— с блуждающей улыбкой ответил Илька,— вроде небольшого переворота в мировом масштабе.

Павел постеснялся расспрашивать: в таких случаях человек сам решает, когда и кому рассказать.

— Это я его сбила с толку,— весело призналась Витя,— но я и сама бросила тему на середине. Лето есть лето!

— Мы с нею — шатучие! — подхватил Илька и обнял Витю. — Будем до осени шататься по стране — без маршрута, куда потянет. И ни о чем не думать.

Так он говорил, так он хотел бы поступить, но мысль возвращала его в лабораторию, где он последние недели возился с выделением аргона из различных

пород, дотягивая работу до отпуска, потому что браться за что-либо новое ие имело смысла.

Процесс был однообразен и уже наскучил. Проделывая в сотый раз одно и то же, он задумался: как происходит естествениый процесс образования аргона в недрах земли? Миллионы — нет! — миллиарды лет тянется этот процесс.

Он посмотрел кривые распространения элементов. Точка, соответствующая аргону, резко выскакивала вверх. Крутой пик. Почему?

Стоило ему задать себе этот вопрос, как все остальное перестало существовать. Почему? Откуда этот крутой пик?

Он старался представить себе медлительную работу, совершающуюся в земных глубинах. Аргон образуется главным образом при распаде калия-40. Чем длительней был процесс распада калия в какой-либо породе, тем больше аргона в ней содержится. Но тогда?!

Догадка поразила его своей простотой. Тогда, значит, по содержанию калия и аргона можно установить возраст породы!

До сих пор мы его определяли только геологически — по условиям залегания, по остаткам фауны, характерной для такого-то периода истории Земли. Способ — приблизительный, для очень древних пород вообще непригодный... А тут — можно совершенно точно определить возраст любой породы — и самой древней, и относительно молодой. Сколько на единицу калия-40 приходится аргона? — вот что потребуется узнать для того, чтобы определить возраст Земли и даже возраст метеоритов — загадочных посланцев космоса... Но это еще не все! Если в образованиях такого-то возраста найдены нефть или уголь, можно рассчитывать, что и в других местах в одновозрастных породах они также могут быть... Черт возьми, я, кажется, напал на что-то стоящее!..

Как ему не хватало «старика»! Или хотя бы Женьки Трунина! Конечно, тот добился своего и переворачивает производство алюминия... чудесно! Но будь он здесь, педантичный и высокоорганизованный Женя Трунин, мы бы вместе засели за эксперимен-

тальную проверку,— а потом вместе накатали бы статью. Одному — лень. И жарко. И есть Витя...

—...или, скажем, в методе сбойки скважин! — дошел до него голос Светова.— Работы еще уйма! Уйма!

Конечно, в сходной ситуации этот целеустремленный парень отказался бы от всех соблазнов, какие есть на свете,— уж он бы, не откладывая, засел за разработку!.. А я не засел. Рюкзаки за спину, взял Витю за руку — и потопали. За два месяца мир не перевернется без аргонного метода!..

— Слушайте, друзья! А что, если нам пойти вон к той роще и разжечь костер, рассказывать страшные истории, читать стихи и печь в золе картошку? Клаша, в вашем целеустремленном доме картошка найдется? И вы оба способны на целый вечер, а то и на целую ночь забыть, что существует газификация, сбойка скважин и все прочее?

— Способны!

Так и провели они этот вечер и всю тихую, теплую ночь до рассвета...

За пять минут до отхода курьерского поезда Москва — Сочи выяснилось, что нет Иришки. Все время была тут, сидела на чемоданах, и вдруг — исчезла.

Возбужденный боями у билетной кассы, Липатов закричал, что сойдет с ума, распустили ребенка и вообще — семьи нет! Аннушка, чуть не плача, металась по перрону и спрашивала всех подряд — не видали девочку в красной кофточке?..

— Вот она, ваша красная кофточка,— сказал высоченный дядя в тюбетейке и тапочках, гулявший вдоль поезда.

Иришка стояла у последнего вагона и смотрела, как с шумом и гамом грузится в вагон компания молодежи, видимо альпинистов или туристов. Аннушка сгоряча поддала ей как следует и за руку потащила к своему вагону. Не успели войти в купе, как поезд тронулся.

— Многообещающее начало,— сказал Липатов, отворачиваясь от задумчивого, отнюдь не виноватого лица дочери.— Если она еще раз выкинет что-либо подобное...

Когда он сердился, он говорил об Иришке в третьем лице и возлагал всю ответственность на Аннушку.

Дядя в тюбетейке оказался соседом по купе. Иришка внимательно оглядела его и спросила:

— А зачем у вас тюбетейка? От лысины?

Высокий дядя расхохотался, хотя и покраснел. Липатов прошипел над ухом Аннушки, что вот они — плоды воспитания, ребенок не имеет никаких понятий...

— Знаешь что, Ванюша,— кротко сказала Аннушка,— ты едешь отдыхать, и я еду отдыхать, так что давай без нервов.

И Ванюша притих.

А Иришка, сидя напротив высокого дяди, спрашивала:

— Это провода телеграфные? А зачем провода, когда можно передавать по радио?

— А почему, когда хочется пить, можно пососать камешек — и пить расхочется?

— Как вы думаете, если альпинист упадет и разобьется, он — герой или просто так?

Липатов изредка говорил с верхней полки:

— Не приставай к дяде с дурацкими вопросами.

— Я и не пристаю,— откликалась Иришка,— мы разговариваем.

Дядя в тюбетейке отвечал охотно, потом менее охотно, потом совсем кратко: — Не знаю. Возможно. По-моему, да.— Наконец он решил поспать, наверно для того, чтоб отвязаться от Иришки.

Липатов уже похрапывал. Иришка смотрела в окно, подперев голову кулачками. Аннушка вытянулась на скамье и скинула туфли, но не спала, а думала. Что-то у меня не получается, что-то я упустила... На работе во всем поспеваю, а дома — нет. И мать из меня — никакая... Ее бесконечные вопросы оттого, что умишко — пытливый, а мы ею мало занимаемся... Но теперь впереди целый месяц, я займусь ею... займусь...

Аннушка не заснула, она только чуть-чуть задремала, а когда открыла глаза — Иришки не было. Она вскочила, похолодев от страха...

Все сбились с ног, прежде чем Иришка нашлась в том вагоне, где ехала компания альпинистов. Аль-

пинисты рассказывали ей о ледорубах, о лавинах, о правилах восхождений «на веревке». Они заступились за нее, когда набежал разъяренный Липатов, и сообщили, что она просится с ними в горы.

Слушая долгое и гневное нравоучение, Иришка смотрела на отца немигающими глазами и вдруг сказала:

— А если я плохая, пусть я и поеду с ними.

Дядя в тюбетейке прыснул в подушку, потом начал уверять Липатова, что все мы в таком возрасте были не ахти какие послушные, она еще маленькая.

— Блошка — невеличка, да спать не дает,— буркнул Липатов.

— Спать? Да-а... А вы помните историю о гадком утенке?

Иришка уже уснула, дядя в тюбетейке тоже уснул, а Липатов и Аннушка все посматривали на своего мирно спящего утенка, и каждый по-своему со страхом родительским обдумывал, что же в ней таится, в этой непоседе, и может ли быть, что у них, ничем не замечательных,— подрастает лебеденок?

Липатов решил: что ж, все может быть! — но тем более Аннушке пора оставить работу и заняться дочерью. Аннушка же убеждала себя: чепуха, случайные слова случайного попутчика! Обыкновенная, немного безнадзорная девочка... самая обыкновенная девочка... но и сквозь дрему ей мерещились два размашистых белых крыла.

В этот день у Митрофановых ждали приезда Игоря и собирали в путь Матвея Денисовича — завтра он уезжал наконец в район Тургая.

Четыре года он гнул свое, не отступая, не смущаясь насмешками. Выступал везде, где только хотели выслушать его, писал статьи и упрямо ходил из редакции в редакцию, пока не находил такую, где соглашались напечатать. После того как две его статьи появились в молодежных журналах, он получал множество писем — и отвечал на каждое, будь то письмо раздраженного скептика или восторженного мальчишки,— так он вербовал сторонников. За границей его успели объявить сумасшедшим, а его проект —

«вершиной коммунистического прожектерства». Его вызвал нарком и недовольно спросил:

— Кто вам разрешил выступать с неутвержденными проектами?

— К сожалению, я выступаю как частное лицо,— сказал Матвей Денисович и перешел в наступление: — А вот знаете ли вы, что сейчас идут изыскания для железной дороги как раз там, где по моему проекту — зона возможного затопления? Построят дорогу,— а потом придется переносить ее. Как же я могу молчать?!

— Экой вы настырный! — сказал нарком.

Он продолжал писать, докладывать, требовать... Но с каждым днем все яснее чувствовал, что не может человек — в одиночку, не должен — в одиночку. И оттого, что приходилось все же действовать одному, временами охватывала усталость, чувствовался груз лет...

И вдруг все чудесно изменилось. Всесоюзная партийная конференция приняла решение о разработке перспективного плана строительства на пятнадцать лет. И почти сразу же Матвея Денисовича вызвал к себе Юрасов.

Никогда еще не видал он Юрасова таким, как в этот раз,— оживленным, деятельно-счастливым, открытым...

— Дошло дело и до нашего дальнего загляда! Создаем специальную проектную группу! Конечно, пятнадцать лет для нас с вами маловато, не так ли? Мы замахнулись на столетие! Но...— Он сделал паузу: — Приглашаю вас в эту группу старшим проектировщиком по проблеме, которую мы условно назовем... ну, скажем Обь — Енисей — Каспий. Пока что выделю вам всего двух сотрудников и очень мало денег, но буду как бы не замечать, что ваши разработки выходят далеко за пределы ближайшего пятнадцатилетия...

Прощаясь, он вдруг положил руку на плечо Матвея Денисовича.

— Вот бы придумала наука какое-то продление жизни... еще на нашем веку. Не отказались бы?..

С этого дня Матвей Денисович не чувствовал ни усталости, ни груза лет. Он уже не один, его идеи

нужны! Средств на самостоятельные экспеднцни не хватает, но можно вклинnваться в чужне. И вот он включен в состав комплексной экспедицнн Академии наук, направляющейся в обшнрный район Тургайского плато — в эту малоразведанную страну сокровищ... в эту пустынную страну, которую н не освоншь, пока не будет решена — крупно, с размахом — проблема воды...

То лн он уже отвык от кочевой жизни, то лн слишком волновался, но сборы получалнсь суматошные — что-то забывал, чего-то не мог найти. И Знналде Грнгорьевне все казалось, что она не уложнла самого нужного, без чего Матвею будет неудобно... Или уже стареем оба? Нет, нет, просто отвыклн!

Но вот прнехал Игорь, она ахнула н слегка нспугалась: ннчего юношеского не осталось в нем — мужчнна! Взрослый, погрубевший, обветренный, плечи раздалнсь, голос баснстый... Вот он н вырос, Игорек! А мы рядом с ннм — старнкн, никуда от этого не денешься...

— У меня перед глазамн плещется водохраннлнще,— растроганно сказал басистый голос,— плещется н плещется. Ты поймешь, папа,— готовнл, строил, н вот... Паводок нынче бешеный, вода как пошла! Затопнло дорогу, по которой мы еще вчера разобранные дома вывозилн, потом фундаменты под воду ушлн, только мусор крутнтся на волнах... Стою, и плакать хочется. Всю ночь торчал на плотнне, оторваться не мог. Ты чего улыбаешься?

— Рад,— коротко ответнл отец.

Когда после обеда сын устронлся у телефона, роднтели понялн — все! Свою долю онн получилн сполна. Сейчас созвонится с кем-нибудь, убежит н вернется под утро.

Игорь положнл перед глазамн запнсную книжку и начал названивать друзьям, Зинанда Григорьевна называла это — «обзвоннть всех от Авдюшкнна до Ярышкнна». Но что-то у него не получалось. У Александрова ответнли, что «они за городом»,— онн? Значнт, Илька женился! Трунин на Волхове. Русаковские в Севастополе. Инстнтутскне дружкн кто где, один случайно оказался в Москве, но... «свндание, Игорек!

Созвонимся завтра!» Мордвинова нет дома, Люба сама не знает, куда он девался...

— Первый тур закончен,— сказала мама, мимоходом курчавя его кудри,— настает пора «добрых душ»?

— Нет,— сказал Игорь, но от телефона не отошел.

Записная книжка все еще лежала перед ним. Мать видела, как Игорь заглянул в нее, взял было трубку... и решительно отвел руку.

— А что, если уважаемые родители и уважаемый сын проведут вечер втроем, никуда не разбегаясь?

Так сказал Игорь, пряча записную книжку.

— Зинушка, где у нас «гостевая»? — ликующим голосом закричал Матвей Денисович и сам же вытащил бутылку из книжного шкафа.

Затем они сидели втроем, и отец с сыном разговаривали о реках и водохранилищах, о паводках и гидростанциях — двое мужчин, двое товарищей по профессии. А Зинаида Григорьевна радовалась, что оба тут и ладят между собой, и немного тревожилась: уж не влюблен ли Игорь? Кому он хотел позвонить — и не позвонил?

— Жениться не надумал еще? — спросила она, улучив минуту.

— Я?!

— Ты,— смешливо щурясь, подтвердила мать,— или все еще... «в плену веселых заблуждений»?

Так она называла его увлечения.

— Кажется, нет,— серьезно ответил Игорь.

Он и сам не понимал, почему его так задела последняя встреча с Речной Тоськой. Получив комнату в новом доме, он бывал у Тоськи все реже, их отношения сошли на нет постепенно, без драм. Потом начался скоропалительный роман с красоткой, которая приехала навестить мужа, но быстро отдала предпочтение Игорю. Муж узнал, произошли неприятные объяснения, красотка поспешила уехать, но украдкой передала Игорю листок с московским телефоном.

Игорь был очень занят, шли последние работы по очистке дна водохранилища. Рубили деревья, разбирали рыбацкие домишки, причалы, склады... И тут он увидел Тоську и своего техника Милешкина — они дружно грузили потемневшие бревна и доски на бар-

жу: Тоська переносила свой дом на водомерный пост Милешкина.

Из женского лукавства она подошла проститься:

— Что ж, будьте здоровеньки, Игорь Матвеич.

Его бесила мысль, что она будет с этим увальнем такою же, какой бывала с ним. Но он все-таки пожелал ей счастья.

— А как же! — сказала Тоська и доверительно шепнула: — Хозяйство разведу, детей нарожаю кучу! Чужие гнезда разорять — ума не надо. Свое попробую свить.

И пошла, покачивая бедрами, довольная тем, что последнее слово осталось за нею.

Тогда он постарался забыть ее слова. В пути готовился позвонить по тому телефону, продолжить приключение. А не позвонил. Не захотелось.

— ...и мы совсем не торопимся в бабушки и дедушки,— рассудительно говорила мама,— но хочется увидеть, как определилась жизнь сына. Это совершенно естественное желание...

Что такое — мама уговаривает жениться? Или ведет глубокую разведку?

— Мамочка, не на ком! — сказал он полушутя-полусерьезно.— За всю жизнь я один раз подумал о женитьбе... но, представь себе, получил отказ. Не пугайся, это было давно, она вышла замуж... но — никому другому не удалось подбить меня на столь опрометчивый поступок.

Мама растерянно молчала — не понимала, как могла та девушка предпочесть кого-то другого.

Отец покашлял, покряхтел и ушел к себе. Вернулся он с потрепанным конвертом:

— Вот, письмо от Липатовой. Может, тебе интересно будет.

Письмо было давнее, новости тоже давние... Чего ради отец разыскивал его?

«...Катерина работает теперь на стройке. Что у них получилось с Алымовым, не знаю, но они разошлись, чему я очень рада, потому что он дурной человек. Она переживает, замкнулась, но время возьмет свое...»

Перечитывая эти строчки, он старался вспомнить лицо Катерины, замкнутое, гордое лицо, и этот ее взгляд — как с дальнего-дальнего берега. Лицо почти

забылось. Но сердце вдруг застучало, тревожно и радостно застучало сердце, будто не было ни той обиды, ни доводов разума, ни четырех лет вдали от нее.

Он опомнился, увидав две пары настороженных глаз. Мама прямо-таки потрясена, видно, я был хорош! А папа... он, оказывается, все знал?

— Ничего интересного,— небрежно сказал Игорь, возвращая письмо.— Что мне хочется, так это поглядеть, как поживает наша речка в новом русле. Может, заверну туда по пути в Крым...

Папа, вопреки своим склонностям, пробормотал, что речка как речка, смотреть нечего, а мама метнула на отца сердитый взгляд — вот, наделал дел! Кто тебя просил вытаскивать старое письмо?!

Катерина вернулась из Ростова и вышла работать в ночную смену. Она устала от зубрежки и экзаменационных волнений, а еще больше оттого, что Светланка далеко, а ясности нет ни в чем...

Товарищи из обеих смен все до единого подходили узнать, как она сдала экзамены, спрашивали: значит, еще полгода — и прости-прощай, товарищ учитель?

— Не знаю,— отвечала она.— Там видно будет.

Когда со всеми было переговорено, она осталась одна возле своего красавца компрессора, превосходного мощного компрессора ленинградской марки, которым она гордилась так, будто сама его спроектировала и сработала. Чисто, тихо и очень светло было в новой компрессорной. За громадными окнами, которые она когда-то стеклила, чернела ночь, прорезанная рядами огней: два ряда обозначали откатку, один, взбегающий вверх,— скиповую дорожку на отвал. В неярком свете ночных огней видно было, как ползут наверх тележки — ползут, ползут, вползают, задирают хвост и вываливают на вершине терриконa свой бесполезный груз.

Следя за приборами и прислушиваясь к ровному, мягкому гулу компрессора, Катерина не спеша думала обо всем, что составляло ее жизнь, обо всем, что еще никак не решено. Сколько усилий стоило учиться в заочном институте! Многие однокурсники смалодушествовали и бросили учебу. Она пропустила год — тогда,

с Алымовым,— но не позволила себе сдаться. Пробные уроки прошли хорошо, ее хвалили, и она сама чувствовала, что у нее «получается»...

Но вот она вошла в этот зал, построенный ею самой, встала возле компрессора — и чувствует, что никуда ей уходить не хочется, что здесь — ее дом, надежный дом, где она никогда не пропадет и не останется одна...

Здесь — все ясно. Центральная компрессорная — нерв всей угледобычи двух больших шахт. Замри ЦКС — и замрут пневматические молоты и угольные комбайны, остановится труд полутора тысяч людей... Но ЦКС замереть не может, все продумано и создано так, что перебои исключаются, один компрессор страхует другой, а сотни точных приборов проверяют, защищают, предупреждают, регулируют... Тысячи людей придумали и сработали всю эту сложную систему машин, труб, приборов. Их труд конкретен: сделал — и видишь дело своих рук. Почему я не пошла в технический вуз? Я бы видела дело рук своих, как вижу сейчас,— стою, как часовой, на страже бесперебойной работы, даю сжатый воздух молотам и комбайнам, и идет, идет уголь — мой уголь. Во всей сумятице моей жизни — простое, ясное, ощутимое действие.

А труд педагога? Год за годом будешь учить всяких сорванцов арифметике, алгебре и геометрии, а они будут норовить провести тебя за нос, списать задачу, заглянуть в шпаргалку,— мы тоже так делали! Они будут приходить и уходить от тебя, вымотав тебе нервы шалостями и хитростями... Как учесть, что сделала я? Что от меня запало в их головы?..

— А ведь я трушу!

Она произнесла эти слова громко, благо никто не мог услышать. Трушу! Захотела более легкого, простого? Без риска?..

Разве в том только моя задача, чтобы научить их арифметике, алгебре и геометрии? Взрослого переделать трудно. Сделать злого, желчного, эгоистичного — добрым, отзывчивым, широким... я-то знаю, как это трудно! А может, и невозможно? Человек создается с детства. И нет профессии выше. И тяжелей. Сейчас слишком много насущных дел. Строится са-

мый дом. А кто в нем будет жить? Какие люди? Пройдут годы, и Учитель станет самым уважаемым работником. Тот, кто закладывает основы знаний, характера, отношения к людям, к труду, к будущему...

А я — струсила? Струсила потому, что была безрассудна, обожглась... а теперь хватаюсь за привычное, надежное?.. Так она думала, и это не мешало ей внимательно следить за работой машины и чувствовать — именно чувствовать всем существом — малейшее изменение звука, колебание стрелки, вспышку сигнальной лампочки...

...Всего на две недели уезжала, а приехала — и все видится ярче. Открыла калитку, увидела бегущую навстречу Светланку и вдруг застыла в удивлении — навстречу бежит уже большая, длинноногая девочка с Вовиным лицом... Ведь знала, что похожа, но только теперь увидела — лицо Вовино, с тем же милым взглядом из-под приспущенных ресниц, с тем же Вовиным неповторимым движением губ...

И когда прибежал Степа Сверчков — прямо в глаза бросилось и его радостное смущение, и наблюдающий взгляд мамы, и доброжелательные лица соседок... На всех написано — ну, слава богу! А суть в том, что все знают — у этих двух случились в жизни аварии, вот их и прибило друг к другу, вместе доживать легче...

А я? Разве я сама иногда не думала — легче?

Наблюдала, как он возится со Светланкой, как он стал своим в доме, и думала — ну что ж... может быть...

Да, нас прибило друг к другу горем. Когда мне было плохо, ему было еще хуже. И я его понимала — не то что все эти жалельщики! Сама прошла через такое, вот и понимала, что за месяцы болезни и мрака он нашел силу преодолеть боль, а потом, когда к нему вернулся свет солнца, научился радоваться тому, что есть. А его окружили ватой, ему начали лгать — Палька и Клаша больше всех...

В день, когда эти двое уехали, я должна была пойти к нему — и я пошла. И сказала ему первую и последнюю ложь: Степа, мне хуже, чем тебе, пойдем походим и поговорим, я не могу одна...

Кто кого утешал? Не поймешь. Но обоим стало легче. А потом так и повелось. Милый Степка Сверчок,

приятель детства, вместе коз пасли, вместе взрослыми стали и вместе бедуем... А любви-то нет. Я за него горой, он за меня горой, — а любви нет...

Почему я не замечала, что все окружающие, даже старики Кузьменко, толкают, толкают нас к самому нелепому — поженитесь, горемыки, вместе доживать легче.

А я не хочу!

Не хочу — доживать.

Жить хочу. Счастливой хочу быть.

Все сначала. Рискуя ошибиться, сломать голову, обжечься еще больней...

Мама стряпала на летней кухне, Матвейка и Танька крутились во дворе, отец со стариком Сверчковым играл под яблонькой в шахматы — с тех пор как он вышел на пенсию, это — его главное занятие.

Все было обычным, но положение Кузьки в доме ощутимо переменилось. Это была его первая суббота рабочего человека, и он сказал отцовским неспешным голосом:

— Пожалуй, схожу в баню. Собери мне белье, мама.

Мама стрельнула смеющимся взглядом, но белье собрала. А Лелька собрала белье Никите. И двое работников вместе пошли в баню, надраивали друг другу спины, ухали от удовольствия — Кузька ухал совсем как Никита, любовался сильным, ладным телом Никиты и сам себя представлял таким же.

Вернувшись, Кузька в ожидании обеда степенно подсел к старикам, и Дмитрий Васильевич уважительно спросил, сколько получает лаборант и какая в лаборатории перспектива жизни. Кузька твердо решил поработать на разных участках опытной станции, а с осени поступить на вечернее отделение института, но болтать об этом не имело смысла; он солидно рассказал о своих обязанностях и заработке, а про перспективу скромно сказал, что она зависит от человека.

Сели обедать, и Кузька почувствовал, что ему теперь и за столом почет другой: и борща погуще, и мяса побольше, и добавку предлагают, не дожидаясь, чтоб он протянул тарелку.

После обеда Никита с Лелькой началн собираться на выпускной вечер — Никита кончил техникум. Лелька щипцами закручивала локоны, громко топала по дому иа высокнх каблучнщах, шелковое платье иа иеи потрескивало, так ее развезло после рождения Таньки.

— И как же сегодия, Лелнчка, однн вам диплом дадут илн два? — спроснл Кузьма Иванович н закашлялся от смеха.— Я бы... кхе-кхе... будь моя власть... раиьше Ннкиткн тебе выдал!

Что верио, то верио: все эти годы Лелька донимала Ннкиту — учись! Кузька через стенку слышал, как оиа требовала, чтоб он все урокн отвечал ей назубок. Никита сердился: ведь ие поинмаешь, какой ты проверяльщик, я ж тебе что угодио иаговорю! Лелька отвечала: совести ие хватнт, но, еслн у тебя такая совесть, я нюхом почую, что врешь. А в последннй год перед сессиямн Лелька заставляла его брать отпуск за свой счет, сама на сверхурочиых оставалась, стирку брала, какую-то коитору ианималась мыть,— а Никнтку вытянула. Другая бы хвасталась или попрекала мужа, а Лелька только улыбалась да обнимала его.

Кузька присматривался — любовь! Ннкнту разглядывал будто ее, жеискнмн глазамн: вот он стонт у зеркала, в сиием костюме, в белой рубашке с сииим в полоску галстуком, стоит н расчесывает мокрой щеткой чуб, чтоб лежал волной. И подмнгивает Лельке озориым глазом. Во всем поселке иету парня лучше Никиты.

Когда оии ушлн, Кузька тоже стал собираться — куда, и сам не решнл, но не сидеть же в субботннй вечер дома. Костюма у него не было, н галстука не было, но мама перелицевала ему отцовскнй пиджак и вышила крестиком рубашку — тоже неплохо. Оделся, иамочил щетку и подошел к зеркалу. Хотелось увидеть себя хоть иемного похожим иа Никиту, а увидел тощего, непомерио вытяиувшегося пареиька с белесыми вихрамн, которые иикакой щеткой ие заставишь лежать волной. Попробовал вскииуть бровь, как Никита, не получилось, да и бровн выгорели, еле видны. Попробовал озорио подмигнуть — не вышло.

И все-такн...

Одно воспоминание жило в нем и тревожило. Он еще сдавал экзамены, сидел зубрил, и вдруг раздался знакомый свист за окном. На улице, опираясь на велосипед, стояла Галинка Русаковская. Он выглянул, она крикнула: «Здорово! Поехали на ставок купаться!» За год, что не виделись, она выросла и стала какая-то другая — уже не девчонка и еще не девушка, а повадка прежняя, мальчишеская. Кузька сторонился девчонок и презирал их, но Галинка была не как все. Он выскочил в окно, встал перед нею и оказался на голову выше ее, и вдруг смутился, и она покраснела, это было заметно несмотря на то, что была она коричневая от загара. Они поехали на ставок, и он учил ее плавать под водой. Она была молодец, каталась на мужском велосипеде, прыгала с мостков в воду. Но на этот раз что-то мешало им, прежнего приятельства не было. И когда прощались, она опять покраснела... Почему она покраснела?..

Он прошелся по улицам поселка, походил возле техникума, заглядывая в окна,— там усердно танцевали, промелькнул и Никита с какой-то черномазой девицей. Поехал в «Пятилетку» — знакомые ребята толпились возле танцплощадки, завидуя танцующим и не решаясь подойти к девушкам. Стояли гурьбой, подбадривая себя шутками и слишком громким смехом. Кузьке хотелось спать, с непривычки он уставал на работе, но возвращаться домой так рано было стыдно, и он вернулся, как полагается взрослому парню,— далеко за полночь.

Только он уселся, пришли Никита с Лелькой. Они ходили на цыпочках и шипели друг на друга: она шипела сердито, он виновато. Поднялись к себе, но и оттуда доносился Лелькин злой шепот. Потом вдруг отчетливо раздались два энергичных шлепка. И все стихло.

Поссорились? Из-за той черномазой?

Он был прав — из-за черномазой. Но мог ли он себе представить, до чего независимо вела себя Лелька весь этот нескончаемый вечер, словно и не видела, как липнет черномазая к Никите и как он исчезает с нею то на улицу, то на черную лестницу! Она ушла одна, пройдя в нескольких шагах от этой парочки, стоящей в палисаднике. Никита догнал ее уже на прос-

пекте, у трамвая. Она молчала всю дорогу, будто его и не было.

— Ну, Лель! Ну чего ты? — бубнил Никита, шагая рядом.

— Иду домой.

— Ну что я такого сделал? Ведь ничего особенного...

— Ничего, так и не кайся.

— Ну, Лель!.. Не сердись, а, Лель!..

Так он бубнил и дома, ходя за нею по пятам. Она сорвала с себя слишком узкое платье, отшвырнула туфли на невыносимых каблучищах и босиком стала у двери на балкон, только бы не ложиться рядом с ним.

Он подошел, пощекотал ей затылок. Лелька неуступчиво дернула плечом. Он попытался обнять ее. И тогда Лелька повернулась и быстрой-быстрой скороговоркой высказала ему все. Все, что накипало целый вечер. Припомнила и прошлогоднюю дуреху Муську, и позапрошлогоднюю уродину Фроську, и все вечера, когда она его ждала, а он где-то путался. С нее довольно! Возьмет детей и уедет, пусть приводит в дом хоть эту цыганку, то-то все обрадуются!

— Да ну, Лелик, чего наговорила, — с затаенной улыбкой протянул Никита. — Все пересчитала, чего было и не было. Да на что мне сдалась эта цыганка? И всего-то чуть-чуть потискал ее...

— Ах, потискал? — выкрикнула Лелька и со всей силой ударила его по щекам — по одной и по другой, не жалея ладоней.

— Ну и ну! — сказал Никита и смешливо прищурился. — Хватит? Или еще будешь?

И тогда Лелька кинулась к нему на шею, больно дернула за чуб, ущипнула теплое тугое плечо.

— Все! — сказала она. — Забыли!

И они легли рядком, и обнялись, и действительно забыли.

Катенин давно не встречался с Ароном запросто, по-дружески — что-то треснуло в их отношениях, смущал проницательный, иронический взгляд Арона, будто вопрошавший: ну и как же ты, молчишь? Ему легко

осуждать, думал Катенин, он в стороне, он не вмешивается, а я — что я могу?

Но в этот день, как только распространилась волнующая новость — Алымов снят, снят по настоянию ученых,— любопытство пересилило, и Всеволод Сергеевич помчался к Арону.

— Мне только что сообщили — об Алымове... Ты уже знаешь?

— Знаю ли я? — усмехнулся Арон.— Снимай пальто, заходи, садись. Зачем обсуждать стоя то, что можно обсудить сидя?

Он был очень доволен, Арон! И конечно, оказалось, что он принимал деятельное участие в отстранении Алымова.

— Вперед мы выдвинули таранную силу — академика! — рассказывал он.— Представь себе, старичина поехал в ЦК и заявил, что, по его наблюдениям, у партии хватает квалифицированных людей, так что незачем держать во главе новой отрасли техники невежду. А когда его спросили, какие еще недостатки он замечает у Алымова, он сказал... нет, ты послушай! — он сказал так: недостаток это или беда его, но Алымов любит слишком громко говорить о том, что недостаточно хорошо знает. И чем хуже знает, тем громче говорит!

К удивлению Катенина, и профессор Граб на этот раз не отстранился, он написал наркому, что терпеть грубость Алымова не намерен, а потому посещать заседания, руководимые Алымовым, отказывается. Сам Арон тоже обращался к наркому и ходил в ЦК.

— Я долгое время думал, что за энергию ему многое можно простить. Но в истории с газовой турбиной... да он же вспышкопускатель! Ему же не дело дорого, а собственный успех в деле!

Катенин сидел в кресле понурясь. Да, этот ненавистный горлопан и из такого сложного эксперимента пытался извлечь быструю славу, всех загонял, затормошил во вред делу — лишь бы поскорее рапортовать и прогреметь в газетах!.. А может, и заткнуть рот недовольным, которых становилось с каждым днем больше?.. Все это так. Но история с газовой турбиной совсем по-иному затрагивала и самого Катенина: харьковский профессор, создавший турбину для

работы на подземном газе, был ему знаком и через него связался с Углегазом. Почему же он, Катенин, отстранился от опытов, не придал им должного значения? Казалось бы, ухватись, помоги, вложи свое... Нет! Когда маленькую газовую турбину — первую советскую газовую турбину — привезли в Донецк, туда помчались Арон и Мордвинов, им принадлежали слова — *энергетическое направление* подземной газификации, они поняли: связать подземный генератор непосредственно с электростанцией, на месте перерабатывать газ в электроэнергию удобно и выгодно. Почему же я не увидел будущие возможности этого начинания? Почему я — в который раз! — остался в стороне?..

И вот теперь — с Алымовым. Кто больше меня ненавидел этого человека? Не чью-нибудь — мою родную дочь он держит при себе куклой для забавы, сам не разводится с первой женой и ее не торопит разводиться,— зачем ему, у него не последняя!.. Кто, как не я, мог сказать ему в лицо, что он — мерзавец?.. Ходят слухи, что однажды Мордвинов дал Алымову пощечину — за Катерину Светову. Катерина ему чужая. А у меня — единственная дочь!..

— Как ты относишься к назначению Мордвинова? — спросил он, предчувствуя ответ и сквозь горечь понимая, что и сам не нашел бы более подходящего руководителя.

— Полностью — за! — воскликнул Арон. — Кстати, его кандидатуру предложил Лахтин. Одно из двух, говорит: или назначайте его начальником, или отдайте обратно мне.

Зазвонил телефон.

— Тебя, Всеволод. По-моему, дочка.

Голос Люды звучал приглушенно:

— Наконец-то разыскала! Папа, что случилось и как это понимать?

— Так, как оно есть,— ответил Катенин, злясь оттого, что Люда месяцами не вспоминала о нем, а в беде сразу вспомнила.— Одного сняли, другого назначили. Ничего больше.

— Ох, папка, перестань дуться, когда у меня такое несчастье! — Она еще приглушила голос, он еле разбирал слова.— Костя в неистовстве, ругается — сте-

ны дрожат. Пишет жалобы, опять ругается, опять пишет... Я совершенно извелась! Еле уговорила принять ванну — для успокоения. Он сейчас в ванне. Скажи правду, папа, он натворил чего-нибудь? За что его?

Катенин пытался объяснить ей. Люда начала всхлипывать.

— Тебе хорошо! А каково мне! Вот уже четыре часа он орет как бешеный... Верно, что это Мордвинов подсидел его? Что они свалили его, потому что он не хотел плясать под их дудку?

Катенин не выносил, когда Люда плачет, он зримо представлял себе, как она, заплаканная, прикрывает трубку рукой и с испугом прислушивается, не выскочил ли Алымов из ванны. Но боже ж мой, какие подлые домыслы она повторяет?!

— Глупости! — прикрикнул он. — Если хочешь знать, нам всем давно невтерпеж! А Мордвинов, говорят, еще пожалел его и предложил ему поехать директором на большую новостройку в Сибирь.

— В Сибирь?!

— Ах да, я совсем забыл, что ты не согласна — в отъезд! — совсем уж раздраженно сказал Катенин.

Люда вдруг охнула, протяжно всхлипнула и торопливо дала отбой,— наверно, Алымов выскочил-таки из ванны...

— Нашел, когда сердиться,— сказал Арон.— Раньше надо было, а сейчас девочке и так не сладко.

Саша Мордвинов с трудом втиснулся в троллейбус. Это был на редкость веселый троллейбус,— видимо, все тут ехали за город, предвкушали разные удовольствия и готовились к ним: стиснутые так, что не повернуться, люди вздымали над головами чемоданчики, волейбольные мячи, теннисные ракетки, сумки с позвякивающими бутылками... В такой тесноте неизбежно возникают или перебранки, или веселость; в этом троллейбусе смех перекатывался из конца в конец.

Среди празднично настроенных людей Саша чувствовал себя самым серьезным, но и самым довольным

человеком. Он долгое время делал меньше, чем мог, и ему часто мешали делать то, что было необходимо. И вот — простор и свобода! Все в моих руках! Это громадная ответственность. И тяжелейший труд. Этот труд потребует больше таланта и умения, чем у меня есть. Но разве руководители рождаются умелыми? Надо хотеть — учиться и советоваться. У нас есть превосходные люди. Сейчас все зависит от нас самих!..

Только на лестнице он вспомнил — Люба! Я не позвонил ей...

Он ворвался в квартиру, увидел ее радостно обращенное к нему лицо — и вдруг по-мальчишески вытянулся перед нею:

— Признайся абсолютно честно — похож я на ответственного руководителя?

Люба, улыбаясь, оглядела его и качнула головой:

— Нет, не похож.

Она не сразу поверила, что он действительно назначен вместо Алымова. А когда поверила — испугалась.

— Ну вот, теперь ты совсем забудешь меня. Ты уже сегодня забыл позвонить... и пропадал до вечера...

Ему стало стыдно — в ее положении, когда в любой момент может начаться...

— Любушка, я буду звонить каждые два часа, я тебе обещаю! Ты не хлопочи, я сам...

— Сам, сам! У меня все готово, только подогреть.

Она ходила в кухню и обратно, осторожно ступая. За последние дни она отяжелела, исчезла подвижность, которая сохранялась у нее все месяцы беременности. Он очень любил ее сейчас, и очень боялся за нее, и не понимал, почему она, такая трусиха, не боится родов. Она говорит: это естественно, ведь все рожают... Но как она бледна!

— Любушка, ты здорова? Ты сегодня такая бледненькая.

— Мне нужно на воздух. Мы пойдем?

Так у них было заведено— каждый вечер гулять. Они и маршрут выработали — по тихим улицам и бульварам, туда и обратно — два часа. Шли медленно, рука в руке, и говорили обо всем, что их занимало. Люба чувствовала, когда ему необходимо уяснить самому себе новую мысль и найти ее точное выражение,

и в таких случаях слушала молча. Они очень дорожили этими двумя часами.

Сегодня Саша думал вслух:

— ...Газовая турбина уже дает три тысячи двести оборотов. Надо довести до трех пятисот. Энергетика на газе вместо угля — вот перспектива! Ни дыма, ни копоти, ни подземного труда. Одолеем такое дело — это уже техника коммунизма!..

— ...Настала пора платить долги. Затрачено немало сил и средств — тратили на опыты, на науку. Это правильно. Но пора начать серьезную отдачу в народное хозяйство. Новая Сибирская — вот где мы развернем свои возможности! По проекту она в сорок раз больше Подмосковной. Тут придется побороться как следует, чтоб утвердили. Но иначе получается заколдованный круг: боимся больших предприятий, потому что пока нет выгодной экономики, а выгодной экономики нет, потому что на малом предприятии ее быть не может...

Люба попросила — посидим.

— Тебе нехорошо?

— Устала немного. Ты говори, говори. Мне интересно.

Бульвар был темен и почти пуст. Сквозь густую листву свет уличных фонарей проникал мелкими пятнами, неподвижно лежавшими на аллее, на скамье, на коленях Любы. Лицо ее было в тени, но и в тени было заметно, как она бледна.

— Может, лучше вернуться домой? Любушка, ты не храбрись.

— Нет, нет, мне уже хорошо. Ты продолжай.— Она заглянула ему в глаза.— Ты очень доволен, да?

— Доволен, да. Но что было сегодня тяжело, так это — Алымов. Ты бы видела! Руки прыгают, глаза как ножи...

— А я понимаю, почему он оставил Катерину,— сказала Люба.

Саша, как и все, считал, что они с Катериной слишком долго жили врозь, а дочка Катенина проявила настойчивость.

— Нет, не в этом суть. Он ведь любил Катерину. Насколько такой эгоист может любить — любил. Но

перед Катерннной ои с самого первого дня встал иа цыпочки.

— На цыпочкн?

— Хотел казаться лучше, чем ои есть. Все время притворялся лучшнм. А долго прнтворяться иельзя.

— Любушка, ты умница.

— Пойдем походнм.

Оиа почему-то свернула с их привычного маршрута — для разиообразня, так она сказала. Повела его боковымн улочкамн, где ои ннкогда н ие был.

— Ты говорн, говорн!

— Главное — ие дергать людей. В техннке есть поиятне — коэффнцнент полезного действия. Так вот, иужио заботиться, чтобы и у людей был максимальный коэффицнент полезного действня, чтобы снлы ие тратнлнсь впустую. Прн Алымове все нервнннчалн, а работать иадо в хорошем настроеннн. У иас н так хватает борьбы н препятствнй. Я постараюсь принять все, что возможно, на себя, чтобы остальные спокойно заннмалнсь делом.

— Все иеприятностн — на себя?

— Знаешь, Любушка, есть такая штука — громоотвод. Хороший руководитель должен быть, иаверно, н громоотводом. Ты что?

Она остановилась, тяжело опнраясь иа его руку.

— Ничего. Почувствовала себя женой громоотвода.

— Глупышка, ты что вообразила? Сейчас будет намиого легче, хотя бы потому, что иет нстерик Алымова. А борьба н была и будет. Ннкакого прогресса без этого не достнгнешь. Где есть мысль, там и столкиовеиие мненнй, борьба взглядов. Так будет и при коммуннзме, ведь коммуинзм — не рай, где все неподвижно н все достнгнуто. Коммуинзм — движенне, развнтне. Может, тогда-то н начнется самый размах творческой борьбы. Но без дрызготин, без постоонинх помех... Ты что, Любушка?

— Посидим... вот тут...

Она опустнлась иа узкую дворницкую скамеечку у чужнх ворот.

На лбу ее выступнли капелькн пота, поблескнвая на свету.

— Любушка... началось?

Она молчала, навалившись на его плечо.

— Трубы... трубы....

— Что, Любушка?..

— Это я слышала по радио... уже давно... музыку... Такие трубы — та-та-та-там! та-та-та-там!.. Когда ты говоришь, я слышу, как они трубят... У меня уже с утра что-то... только редко, а теперь часто. Я переволновалась, что тебя долго не было...

— Любушка, поедем в больницу. Я сбегаю за такси...

— Какое такси? Больница за углом. Я немного посижу, и пойдем.

— Люба! Ты знала... шла к больнице... и скрывала? А я говорил черт знает о чем!..

— Я думала, это еще не то... Ой, Сашенька! Ой! Я боюсь, боюсь. Ты не уходи. Я боюсь!

Когда он довел ее и сдал дежурному врачу, он сам боялся гораздо больше, чем Люба: в больнице она сразу успокоилась.

Потом он ходил взад и вперед возле страшного подъезда.

Начало светать, он попытался проникнуть в больницу: старуха в белом чепце пожалела его и позвонила в родилку и сказала: все хорошо, рожает. Что — хорошо? Столько часов...

Он сидел на ступенях, отупев от страха. А старуха вдруг сама позвала:

— Ты тут, парень? С сыночком тебя! Девять фунтов!

Он не сразу понял. Уже? Какие девять фунтов?

— Девять фунтов весу в твоем сыночке. Все хорошо. Иди спи, не майся.

Он не пошел спать. Он бродил по безлюдным улицам и бульварам, где они ежедневно гуляли с Любой. Чудо произошло. Сын! Не было, не было — и вот родился новый человек. Его сын, Вовка...

Уже совсем рассвело, когда он снова очутился в больнице. В приемной мыли полы, пахло хлором. Старуха пила чай. Он написал записку и попросил переслать, чтобы Люба, проснувшись, сразу прочитала.

Затем он как-то неожиданно оказался дома и в открытое окно увидел город, окрашенный теплым светом встающего солнца. Начинался первый день жизни его

сына. Он подошел к календарю и, еще ничего не зная, красным карандашом торжественно обвел этот день — 22 июня.

Была уже ночь, и хотелось уснуть, но за стеной шумели и смеялись гости, и Галинка все прислушивалась, улавливая среди других голосов папин звучный и веселый голос, и думала о том, что лето складывается чудесно, папа обращается с нею как с большой, они вдвоем заплывают далеко от берега и там отдыхают, лежа на спине,— в прошлом году она боялась заплывать, а теперь совсем не боится, хотя глубины тут прямо невероятные. Вот поглядел бы Кузька, как она научилась плавать под водой — иногда с папой, а иногда и сама. Кузька доставал со дна ставка блестящую пряжку, она тогда не умела и завидовала, а вчера бросила десять белых пуговиц и подобрала все, кроме одной... И на скорость научилась, не хуже мальчишек. Выпросить бы у папиного «корабела» часы-хронометр!.. Завтра утром, когда пойдем купаться,— даст он или не даст? Наверно, даст. Вот хорошо бы!..

Блестящие часы с отпрыгивающей на место стрелкой возникли и помаячили перед глазами... папин звучный веселый голос подал команду... Она прижмурилась, готовясь к прыжку, и с ощущением воли, и счастья, и здоровой силы оттолкнулась... и упала прямо в крепкий, блаженный сон.

Сон оборвался разом.

Галинка подскочила на кровати и села, бессознательно натягивая на теплые, сразу озябшие плечи простыню. Еще не рассвело, но комната странно озарялась каким-то прерывистым летучим светом, и звонкий, тоже прерывистый грохот заполнял комнату, небо за окном и весь мир. Человечий неистовый крик не испугал, а даже обрадовал Галинку своей понятностью — где-то рядом человек, и ему тоже страшно. Ей хотелось закричать, чтобы тот человек услыхал, но голоса не было.

Она не поняла, что это война, но ощутила, что перевернулось и отступило куда-то все, чем она жила. И, будто в подтверждение, в том пространстве неба, какое ей было видно за окном, наискось пронеслась

черная тень большого самолета, окруженная вспышками огня. Затем ухнуло так, что качнулась кровать и задребезжали, запрыгали стекла, будто кто-то снаружи тряс раму.

— Мам! — беззвучно крикнула Галинка, до подбородка натягивая простыню.

И мама появилась — с совершенно незнакомым, суровым лицом, с очень родными, сильными, охраняющими руками.

— Ничего,— каким-то незнакомым голосом сказала она.— Ничего, ничего.

И Галинка припала к матери всем телом, продолжая глядеть в грохочущее небо, полное недоброго летучего света.

СОДЕРЖАНИЕ

Вера Казимировна Кетлинская
ИНАЧЕ ЖИТЬ НЕ СТОИТ

Редактор О. В. Трунова
Художник В. И. Чистяков
Художественный редактор Э. А. Розен
Технический редактор В. А. Авдеева

Сдано в набор 14/V-1963 г.
Подписано к печати 15/VIII-1963 г.
Формат бум. 84×108 1/32. Физ. печ. л. 23,5.
Усл. печ. л. 38,54. Уч.-изд. л. 39,02. Изд. инд. ХЛ 552:
А09036. Тираж 200 000, 2 завод (100 001—150 000) экз.
Цена 1 руб. 32 коп.

Издательство «Советская Россия»,
Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Фабрика высокой печати
издательства «Советская Россия».
г. Электросталь, ул. Школьная, 25.
Заказ № 228.

К ЧИТАТЕЛЯМ!

Издательство просит отзывы об этой книге и пожелания присылать по адресу: Москва, Центр, проезд Сапунова, д. № 13/15, издательство «Советская Россия».

1 р. 32 коп.

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ